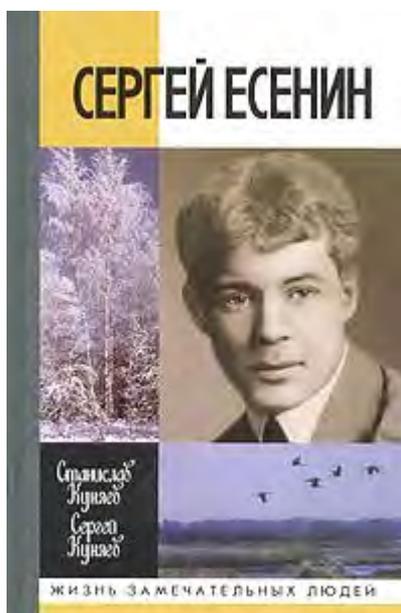


Станислав Куняев, Сергей Куняев

Сергей Есенин

Жизнь замечательных людей



Аннотация

Эта книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомиться с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных. В книге прослеживаются сюжетные линии, до сих пор не разработанные в литературе: Есенин и Троцкий, Есенин и Сталин, Есенин и семья Романовых. По-новому освещены взаимоотношения поэта с Зинаидой Райх, Айседорой Дункан и другими спутницами жизни, роль Есенина в становлении русского национализма 1920-х годов. С использованием многих неизвестных ранее документов написаны главы о пребывании Есенина за границей и, конечно, о его трагической гибели.

Третье издание книги дополнено новыми материалами.

Ст. Куняев, С. Куняев
Сергей Есенин

*Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горюшь?*
Марина Цветаева

Глава первая Бесконечная легенда

*Я ведь теперь автобиографий не пишу. И на анкеты не отвечаю.
Пусть лучше легенды ходят!*

С. Есенин в разговоре с В. Эрлихом

«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы, – иначе...»

Эта отповедь Пушкина публике, казалось бы, универсальная и окончательная, оказывается вдруг несостоятельной, когда задумываешься о судьбе Есенина... Да, жизнеописание его, вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же легендарно. И конечно же, горы страниц о нем, написанные не только сильными мира сего – политиками, поэтами, актерами, художниками, но и «маленькими людьми» – обывателями, рядовыми журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, – чрезвычайно противоречивы. Во многих воспоминаниях поэт предстает алкоголиком, психически нездоровым человеком, самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, хулиганом и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода – житейская правда. Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине как о «черном человеке» не в силах ни размыть, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. В сказочном облике поэта, загадочность которого с течением времени не только не исчезает, а напротив, разрастается до гигантских размеров, приобретая немислимые масштабы, так или иначе высвечиваются все его лучшие черты: ум, человечность, обаяние, гениальность, мужская стать, искренность... Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни «мелким», ни «мерзким», ни «подлым». И никакому давлению официальной идеологии любых эпох – бухаринской, сталинской, ждановской, яковлевской и т. д. – неподвластно это стихийное творчество вот уже нескольких поколений.

Кажется, окончательно оформились в российской литературной истории легенды о Лермонтове, Некрасове, Блоке, получили свое завершение жизнеописания – с некоторыми блестящими легендарности – Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Но по-настоящему полной и цветущей жизнью дышит лишь есенинская легенда. Она все время выбрасывает новые весенние почки, разворачивается свежей листвой, и никому не ведомо, закончится ли когда ее цветение. Думается, это произойдет не раньше, чем закончится история России.

И да не сочтет читатель нашу мысль кощунственной, но хочется вспомнить слова Гоголя о том, что Пушкин – «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет», и приложить их к Есенину. История России и судьба русского человека были подвергнуты таким испытаниям, которые не могли предугадать ни Пушкин, ни Гоголь, и именно есенинская жизнь, как нам кажется, определяет сердцевину русской истории XX века. Русскую революцию – ее ход и характер – определяли не люди «меры», а широкие русские натуры, которые любили «выплескиваться» через край и о которых Достоевский говорил, что их «надо бы сузить». Именно люди есенинского «безразмерного» склада были главными созидателями истории во всех социальных и политических слоях – у монархистов и большевиков, у эсеров и анархистов, у махновцев и антоновцев... Поэтому велик соблазн поменять имя в пророчестве Гоголя, поменять с дерзкой надеждой: а может быть, сущность русской жизни и русского национального характера мы поймем тогда, когда завершится сотворение легенды о Есенине и когда нам станет окончательно ясно, что он есть для России. Как будто бы он – последняя и роковая, самая крупная наша ставка. Оснований к тому не счесть. И сегодня история идет «по есенинскому пути»...

Русское время за последнее десятилетие переломилось еще раз, и даже в пророчества «ушедших и великих» Провидение вносит поправки. А в том, что именно Гоголь и Пушкин были бесспорными кумирами Есенина, есть тоже некое предначертание свыше. Ведь не случайно же крупнейшие поэты и писатели эпохи (как в советской России, так и в эмиграции), замечательные актеры, художники и скульпторы, влиятельные идеологи и известные политики сочли своим внутренним долгом, какой-то даже обязанностью оставить воспоминания о Есенине; причем именно в них делали они свои предположения о будущем России и русского человека.

Любопытно, что многие весьма именитые современники Есенина, хорошо знавшие его, чуть ли не на другой день после смерти поэта, отвернувшись от фактов и житейской правды, начали сочинять о нем бесконечную сказочную эпопею. Борис Пастернак, к примеру, знал о Есенине многое: его характер, стихи, быт, странный роман с Айседорой, чудачества и порой весьма расчетливое отношение к жизни. Но он пишет о Есенине так, будто они разделены морем пространства и времени, словно о Байроне или Казанове: «Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами...»

Валентин Катаев попытался сочинить несколько легенд («Алмазный мой венец»): о Пастернаке, Юрии Олеше, Владимире Маяковском, Михаиле Булгакове, Эдуарде Багрицком... Все эти жизнеописания, однако, как ни старался Катаев, не превратились в легенды и остались всего-навсего новеллами. У них не было подлинной основы, ядра, к которому должны были бы прирасти эти новеллы, ибо легенда не сочиняется после смерти, она должна зародиться еще при жизни. И поэтому совершенно естественно, что из всех катаевских новелл один лишь рассказ о «королевиче» Есенине как бы «прилип» к медленно катящемуся есенинскому снежному кому, следуя тайным законам притяжения легендарных частиц к уже существующему ядру воспоминаний.

Сейчас уже почти невозможно разобраться в том, где сам Есенин осмотрительно или легкомысленно рассыпал зерна своей легенды, а где их сеяли его современники. Достаточно вспомнить самые первые шаги... Когда двадцатилетний поэт всего лишь на два неполных месяца приехал в Петроград, он побывал в нескольких редакциях, встретился с Блоком, Городецким, выступил на нескольких поэтических вечерах, был принят в салоне у Зинаиды Гиппиус. Но тут же по литературному Петрограду поползли слухи. Вот как вспоминает о них один из современников: «О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом... О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петроград, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а главное, больше устраивала всех» (М. Бабенчиков) ¹.

Создается впечатление, что литературная столица ждала пришествия некоего поэтического «мессии» из народа и признала его в Есенине. Один из рецензентов даже написал: «Это была нечаянная радость». Осторожно напомним, что «Нечаянная Радость» для людей той эпохи была не только названием блоковской поэтической книжки, но и чтимым в России иконописным образом Богородицы. Дальше, как говорится, некуда. Поэт сразу же почувствовал какую-то религиозную основу интереса к себе. В январе 1918 года он рассказывал Александру Блоку, что происходит из «богатой старообрядческой семьи», потом повторил И. Розанову, что его дед был «старообрядческим начетчиком», который знал «множество духовных стихов наизусть и хорошо разобрался в них».

¹ Здесь и далее по всей книге цитируемые письма, мемуары и документы приводятся без каких бы то ни было стилистических и пунктуационных исправлений (прим. ред.).

Однако дед поэта по отцу, Никита Осипович Есенин, умер еще до рождения Сергея, а дед по матери, Федор Андреевич Титов, был отнюдь не книголюбом, а лихим купцом, владельцем нескольких барж. Не думая о священных книгах, он после удачных заработков гулял по неделе с земляками, и, как вспоминала Екатерина Есенина, «бочки браги и вино ставились около дома.

– Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! – говорил дедушка. – Нечего деньгу копить, умрем, все останется... Давай споем!»

А когда сам И. Розанов в 1926 году приезжал в Константиново, дед поэта откровенно сказал, что ни к каким раскольникам он не причастен, что духовных стихов почти не знает, а его сын говорил, что в их селе никаких раскольников и старообрядцев в помине не было.

Однако уже после смерти Есенина Сергей Городецкий, выступая на одном из вечеров памяти поэта, заявит, что «от деда-начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои песни»!

Легенда Есенина такова, что если этот «сказочный мешок» опрокинуть, то содержимое будет сыпаться из него бесконечно. Высыплются десятки сообщений из газет 1915–1917 годов о молодом крестьянском поэте, который ведет «мужицкое хозяйство» и «пашет землю». Ни тем ни другим Есенин в жизни не занимался. Посыплются слухи о близости Есенина к царской семье. Дело это настолько запутано и мифологизировано, что до последнего времени не просто было разобраться, кому Есенин читал стихи 22 июля 1916 года. Установлено, что императрице Александре Федоровне в присутствии великих княжон Марии и Анастасии. Неизвестно было – чем наградили поэта за чтение стихов – то ли золотыми часами с орлом, то ли перстнем с изумрудом, который якобы до сих пор хранится у троюродной сестры поэта. А одна из мемуаристок вспоминает о том, что Есенин рассказывал ей, как великая княжна Настенька Романова выносила ему с черного хода царскосельской кухни горшочек со сметаной, которую они съедали с ней «одной ложкой поочередно». «Какая глупость!» – возмутится трезво мыслящий читатель, с порога отмечающий все мистическое. Однако для того, кто не является рационалистом до мозга костей, в этом фантастическом сюжете не случаен даже тот факт, что, сочиняя подобную историю, поэт выбрал из четырех княжон именно Анастасию, которая потом якобы спаслась от расстрела и лишь совсем недавно скончалась в Англии, окруженная ореолом то ли наследницы престола, то ли самозваной авантюристки. Нельзя считать случайным и то обстоятельство, что именно Анастасия Романова «воскресла» в гениальной «Погорельщине» «антимонархиста» Николая Клюева в облике спившейся, опозоренной, изнасилованной, забывшей свое имя России. Любая выдумка, любая оговорка, любая блажь Есенина таинственным образом обретала дальнейшую судьбу. Любая фантазия, и его собственная и чужая, как репей прилипала то к его голубой с крестиком «а-ля рюс» рубашке, то к пушкинской крылатке, то к европейскому модному костюму, то к его родным и близким, то вообще к русской истории. Аж страшно подумать – почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая или, может быть, наоборот, такая тяжелая рука.

В пирамиду есенинской легенды вложили свои камушки чуть ли не все, кто встречался с поэтом: друзья и недруги, родные и близкие, русские и евреи, коммунистические идеологи и столпы белоэмигрантской литературы – Георгий Адамович, Георгий Иванов, Роман Гуль, Ирина Одоевцева. Не говоря уж о Максиме Горьком. Доходило до курьезов. Так, например, трагикомически (вплоть до повторения одних и тех же эпитетов и проклятий) совпало отношение к Есенину у Ивана Бунина и Николая Бухарина. Все то, что сказал о Есенине Бухарин – как о поэте «некрофилии», «жарких свечей», «пьяной икоты», «мордобоя», «российской матерщины», «сисястых баб», «шовинизма», – все или почти все в подобных же словах повторил великий русский писатель Бунин. Какой уж тут «златокудрый Лель» и «светлый отрок»! (Бедный Жданов – как он ни старался, из-под его пера не вышло ни одной легенды ни об Ахматовой, ни о Зощенко!) История коварна. Ну скажите, кому сейчас интересны труды «интеллектуала» академика Бухарина «Азбука коммунизма» или «Экономика переходного периода»? А «Злые заметки» живут и останутся в истории лишь

потому, что замешены они на нескольких капельках живой есенинской крови. А кому интересна груда литературно-идеологического хлама, нагроможденная в свое время усилиями Троцкого, Луначарского, Сосновского? Достойна изучения, пожалуй, лишь та клевета, которую они сочиняли о Есенине...

В последние годы переизданы почти все книги Анатолия Мариенгофа. Но читаешь их и видишь, что действительно обращает на себя внимание лишь то, что он написал о Есенине. Однажды отец Есенина Александр Никитич, вернувшийся из Москвы, на вопрос матери поэта – видел ли он «Мерингофа» – с простодушной крестьянской пронизательностью ответил: «Ничего молодой человек, только лицо у него длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея...» Вот и получилось так, что все эти мерингофы, бухарины, сосновские, шершеневичи, крученыхи и иже с ними до сих пор кормились и в необозримом будущем обречены «кормиться возле нашего Сергея»...

Поскольку в обиход ныне снова вошла легенда о Есенине, сотворенная Мариенгофом, не обойтись и без свежих комментариев к ней. Один из нынешних публикаторов «Романа без вранья», размышляя о неоспоримых достоинствах мариенгофских воспоминаний, настаивает на том, что они «достоверны», представляют собой «незаменимый источник для изучения биографии Есенина» и т. д. В конце концов можно согласиться с публикатором, что обвинения современников «в оскорблении памяти поэта» несправедливы и что ни в коей мере нельзя считать мемуары «пасквилем»... Но тем не менее какое-то общее неприятие современниками Есенина мариенгофского «Романа» не случайно. Просто никто из них не сформулировал в свое время, почему названные мемуары, можно сказать, недостойны памяти Есенина. Попробуем это сделать мы.

В одном из эпизодов «Романа без вранья» Мариенгоф рассказывает не новый, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура: об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и ежедневно два раза поливать в течение трехсот лет. В заключение автор легкомысленно заявляет: «Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского».

Анатолий Мариенгоф, не являясь коренным русским, мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что известно из ее мемуаров.

Они сидели втроем – Есенин, Мариенгоф и Вольпин – возле бронзового Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал.

«– Ну как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?»

Вольпин ответила:

«– Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь, как на ладони, да и я для вас... (Тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа.) Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей... Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!»

– Как это?

– Нашей с вами почве – культурной почве – от силы полтора года лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский.

(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)...

Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что, кроме «девятнадцатого века», во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подружек на две тысячи лет?

Сергей слушал молча, потом встал.

– Ну а ты, Толя, ты-то ее раскусил?»

...Ассимилированный в русской жизни в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с

ветхозаветным багажом, не говоря уж о Сергее Есенине. Но следует заметить, что Вольпин как литератору ее двухтысячелетняя традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма «россиян», подобных Вольпин. Кстати, более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа. А главный изъян его мемуаров не в «пасквильности» или «вранье», а совсем в другом. «Моя Пенза» – «есенинская Рязань», «Эпоха Есенина и Мариенгофа», «Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу „Пугачева“... Я привез первое действие „Заговора дураков“»... Или вот еще: «Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой „Буян-остров“ был издан к осени»...

Ну кто сейчас помнит «мариенгофскую Пензу», «Заговор дураков», «Буян-остров»?! Не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф с первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он – величина, равновеликая Есенину! Он просто «лезет» как равный в есенинскую легенду.

Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил:

– А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.

Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы!

«Мне нравился Клюев, – вспоминает Мариенгоф. – ...И то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромским пивом... и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере».

В этом отрывке Мариенгоф выступает как «черный человек» по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и, в сущности, рисует свой автопортрет циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не «великая фальшь», Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь «мистическим ряжением». Потому-то как литератор он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии.

Когда же Есенин понял суть своего друга и почувствовал его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре:

«Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

– А я тебя съем!

Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.

– Ты не Серый Волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку... Скрипнул челюстями.

– А все-таки... съем!..

Вот наша ссора. Первая за шесть лет».

Мариенгоф не понял, что это не ссора, а конец игры в «двух гениев». Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. «Я тебя съем» означало: «Все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия „великая фальшь“, а для меня – жизнь и смерть...»

«Роман без вранья» – не столько завистливая книга (зависть пришла позже, в 1950-е годы, когда всем стало ясно, что автор – лишь одна из теней есенинского окружения), сколько глупо самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Мариенгоф в «Романе» творил легенду не только о Есенине, но и о самом себе, причисляя «себя любимого» к сонму бессмертных.

Самовлюбленная пошлость Мариенгофа особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: «А Есенин на другой день после смерти догнал славу». Это очень похоже на

лихорадочно-завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил...

Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы... Наивные люди! Да не Есенин после смерти догнал славу – она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить.

«Алкоголик», «хам», «хулиган» и «златокудрый Лель», «светлый отрок», «русский гений» – две великие легенды о нем. А всех мелких и не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью и найденная утром 28 декабря 1925 года в «Англетере», о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что «Послание евангелисту Демьяну» – одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 1920-х годов – принадлежит именно его перу. Оно не раз печаталось за рубежом, как принадлежащее Сергею Есенину, и Екатерина Есенина в 1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат – автор «антисоветского» православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легендой не поверил ей. Чтобы стал ясен диапазон легенды – «от великого до смешного», – вспомним напоследок, что маститый литератор Давид Бурлюк перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал глупости о жизни поэта: «Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки...»

«Дар поэта – ласкать и корябать, роковая на нем печать», – сказал поэт о себе. Но роковой печатью отмечены так или иначе все, кто был причастен к Есенину и его судьбе. И в этом также таятся суеверные корни есенинской легенды. Судьба многих друзей и недругов Есенина, судьба его родных и близких поистине страшна. В начале «перестройки» в 1987 году один казенный членкор, литературовед, наводя «тень на плетень», писал о том, что коммунистическая власть преследовала среди писателей только революционеров-новаторов. «Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали, больше того, они Сталину были нужны». Эту же точку зрения сформулировал в 1960-х И. Эренбург в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». Он писал: «Вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу... вскоре в „формалистических вывертах“ оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов». Чего в этом утверждении больше – лжи или невежества, – сказать трудно, если вспомнить о стихах Пастернака, прославлявших Ленина и Сталина, о лакейском романе Катаева «За власть Советов», об эпопеях Эренбурга, отмеченных сталинскими премиями, о ленинских панегириках Тихонова. Все перечисленные «страдальцы» (за исключением Бабеля и Заболоцкого) прожили (кто относительно, а кто и абсолютно) благополучные жизни и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве с Брежневым. Дотошный летописец эпохи и маститый литературовед «забыли», что в первое советское двадцатилетие была уничтожена именно самая «традиционная», народная есенинская ветвь русской литературы. Расстреляны Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Иван Макаров, Наседкин, Иван Катаев, Иван Приблудный, Павел Васильев, Иван Касаткин. Вместе с ними погибли два самых заметных рабочих поэта той эпохи – Кириллов и Герасимов, любившие Есенина и сотрудничавшие с ним... Расстрелян товарищ есенинской юности поэт Леонид Каннегисер. Он, в сущности, первый, на ком была поставлена роковая печать уже осенью 1918 года. Повесился в 1932 году при невыясненных обстоятельствах свидетель последних часов жизни Есенина, его многолетний «враг-приятель» Георгий Устинов. Расстрелян в 1937 году автор книги «Право на песнь» поэт Вольф Эрлих. Отбыла северную ссылку близкая поэту женщина Анна Берзинь. Умер в карагандинской ссылке товарищ Есенина Александр Сахаров.

А о родных и близких и говорить нечего. Расстрелян в 1937 году его сын-первенец Юрий Есенин. Вкус сумы и тюрьмы узнала сестра Екатерина. Зверски была зарезана в своей квартире мучительная любовь поэта, мать его двоих детей Зинаида Райх...

Бениславская, Блюмкин, Сосновский, Андрей Соболев, Маяковский, Цветаева, Айседора Дункан – все они «убийцы, самоубийцы, невинно убиенные», которые «прошли, как тени», так или иначе коснувшиеся есенинского огня, навеки, каждый по-своему, остались жить в есенинском мире. И совсем не случайно круг людей, превратившихся, по словам Пимена Карпова, в «растерзанные тени», круг теней, бывших друзьями, врагами, любовницами, собутыльниками и гонителями Есенина, оказался таким необъятным. В этом кругу и его счастливый соперник Всеволод Мейерхольд, и его партийный покровитель Киров, и расстрелянный ЧК лейб-гвардии полковник Ломан... Несть им числа.

«Особую мету» близости к Есенину признавали даже те из его друзей, которые, как говорится, никогда не верили «ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай». Анатолий Мариенгоф в книге «Мой век, мои друзья и подруги» вспоминает о том, как Есенин, вернувшийся из-за границы, увидел новорожденного сына Мариенгофа и решил окрестить его:

« – Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются».

Крещение не состоялось, но в 1940 году, как пишет Мариенгоф, «Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный...». Повесился...

Под грудой мемуаров о Есенине можно задохнуться. Уже опубликовано все, что десятилетиями копилось в спецхранах, в архивах, в частных собраниях, и книги, изданные когда-то в Берлине, Нью-Йорке, Париже наконец-то пришли к нам. Многие новые исследования жизни поэта, которые вроде бы должны были заполнить «белые пятна» его судьбы, еще больше усложняют и затемняют ее. Так, в одной из книг можно прочитать о матери Есенина следующее: «Несчастлива была Татьяна. Полюбила она парня, забеременела от него, но что-то не сладилось у молодых. А тут Александр Есенин уже в который раз добивался ее руки. Вышла замуж без любви. Муж обещал скрыть позор, но разве что утаишь в деревне».

В этом же исследовании описываются две встречи Есенина со Сталиным. Во время первой вождь якобы уговаривал Пастернака, Есенина и Маяковского заняться переводами на русский язык грузинских поэтов («Сталин с кавказской гостеприимностью угощал их чаем, фруктами и вином»), а во время второй встречи, на которой Есенин должен был читать стихи Сталину и старым партийцам, поэт с похмелья, «вместо того, чтобы читать стихи, пару раз качнулся из стороны в сторону, смахнул волосы со лба и зло бросил в зал:

– Вы хотели слушать мои стихи! – помолчал. – Х... вам, а не стихи! – Он повернулся и вышел...»

По мнению автора книги, именно это хулиганство по отношению к Сталину якобы решило судьбу поэта; и не стоит удивляться, если подобная версия станет восприниматься через некоторое время читателями как историческая правда.

Так что создание есенинского апокрифа продолжается. «Что быть должно, то быть должно»... А чем, в сущности, отличается новая есенинская фактография от прежней, ну, к примеру, хотя бы изложенной в «Калужской коммуне» от 31 декабря 1925 года: «Слишком остро носил в себе Есенин память бабки, которую заперол во времена крепостные рязанский помещик»? Ну чем же «эта штука» слабее приема у Сталина?

По-прежнему самыми честными, самыми бесхитростными, самыми «нелитературными» остаются воспоминания о Есенине его сестер, его дальних родных по Константинову, его земляков и товарищей детства. То есть тех, для кого он всю жизнь да и после смерти оставался Сережей, Сергунькой, Сергухой. Они рассказывают, как приезжал Есенин на родину, как вместе ловили рыбу, переплывали Оку, купали лошадей. Как играл он на гармошке, во что был одет, какие песни слушал, какие частушки пел. Это – воспоминания тех, кто бы «вилами пришли вас заколоть» – вас, чужих, за каждый «крик», брошенный в поэта. Но каждый «брошенный крик» тоже ложится камушком в необъятную для взора пирамиду.

Вполне достоверны «женские» воспоминания о поэте (Г. Бениславской, Н. Вольпин, А. Берзинь) хотя бы потому, что единственная пристрастная нота в них сводится к сетованиям

на то, «как она одна его спасала» и спасла бы, если бы не роковые пьяницы-друзья и другие соблазнявшие поэта женщины.

Зачатки легенды человек конечно же приносит в мир сам – своим лицом, жестами, словами, поступками и чем-то еще не до конца объяснимым. Но есть несколько объективных условий для ее развития. Необходимо, чтобы древо легенды разрасталось в пассионарное время и в пассионарном народе. В Европе XIX – XX веков лишь несколько – по пальцам можно пересчитать – поэтов удостоились легендарного ореола. Джордж Байрон, Поль Верлен, Гарсиа Лорка...

Для субъекта легенды крайне важно, чтобы ему самому не до конца была ясна роль, ради которой он пришел в мир. Много раз Есенин спрашивал сам себя: «Кто я?», «зачем пришел я в мир?» И как бы пытаясь помочь поэту, его сотворцы по легенде вот уже несколько десятилетий ищут ответ на эти вопросы. Но волю к поиску спровоцировал он сам, примерившийся к Пушкину, а Пушкин, как известно, это «наше все».

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Не зря же все крупнейшие русские поэты XX века – Блок, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Пастернак – каждый по-своему пытались поговорить с пушкинскими памятниками. Один прощался с Пушкиным на «тихой площади Сената», другой с фамильярной застенчивостью докладывал: «Александр Сергеевич, разрешите представиться». Третья вспоминала о «треуголке и растрепанном томе Парни», четвертая ревниво заявляла – «мой Пушкин»...

Есенин же примерял свою жизнь к пушкинской почти буквально, когда искал себе оправдания:

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

Да, эти милые забавы если не затемнили реальный облик есенинского собеседника, то и не прояснили его, потому что он ушел от прояснения в бронзу, в памятник, в легендарную жизнь. Есенин хотел не реальной судьбы, не биографий и автобиографий, а «бронзы», закутанной в «туман». Поэтому, воссоздавая его образ, одними бесхитростными воспоминаниями сестер и земляков не обойдешься. Он и сам не желал этого. Однако без них мы тоже не поймем, почему Есенин стал бронзой, песней, «русской судьбой».

И разве могла быть другой судьба поэта, стихи которого волновали душу московского чекиста и врангелевского офицера, могли увлечь царицу Александру Федоровну и Сергея Кирова, московскую проститутку и Василия Качалова? По мнению современного русского писателя Ю. Мамлеева, совершенно особое место Есенина в русской ауре определено тем, что его поэзия «вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой». Миф о Есенине в течение XX века постепенно изменил свое «молекулярное» строение и из явления истории переродился в явление природы.

* * *

Эта книга была задумана и рождалась в тяжелейшее для России время. Может быть, не менее тяжелое, чем есенинское. С неменьшей яростью, нежели тогда, унижаются Россия и ее

национальные поэты. Но тщетны потуги русофобов затемнить светлую часть есенинской легенды. Она обречена разрастаться и увеличиваться. Тщетны и благие усилия исследователей-лакировщиков перечеркнуть тень, отбрасываемую «черным человеком» Есенина. Чем больше тень, тем крупнее и монументальнее фигура, отбрасывающая ее. Нечистая сила, пытающаяся увеличить есенинскую тень, обречена с отчаянием наблюдать, что ее действия приводят к противоположным результатам, что работа против Есенина чудесным образом оборачивается работой на его легенду и на его славу. Есенин, в отличие от Хомя Брута, спокойно выходит за очерченный меловой круг и не падает, как гоголевский герой, замертво, а стоит с непостижимой улыбкой на лице и смотрит, как нечисть в панике от своего бессилия бросается после третьего петушиного крика в решетчатые окна заброшенного храма и при свете зари превращается в прах, ветошь, пыль, небытие...

Глава вторая Родина кроткая...

Он не такой, как мы. Он Бог его знает кто...
Александр Есенин о сыне Сергее

«Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники. Многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.

На хилый курятник похожа магазинная будка села Константинова. Селедка. Всех сортов водка. Конфеты – подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Черных буханок булуги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.

В избе Есениных – убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде – слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами – обыкновенное польце.

Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас живущие заняты хлебом, наживой и честолубием перед соседями, – и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать: «На бору со звонами плачут глухари...»? И об этих луговых петлях спокойной Оки: «Скирды солнца в водах лонных»?

Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..»

Этот вопрос А. И. Солженицына – «какой же слиток таланта?..» – задавали многие и многие на протяжении десятилетий. А ответил на него сам Есенин буквально за день или два до смерти.

Ведя полушутливый разговор с соседкой по «Англетеру» Елизаветой Устиновой, он проронил тогда: «Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь «Божья дудка»».

И когда Елизавета попросила объяснить, что это значит, поэт ответил ей: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же».

«Он смеялся с горькой складочкой около губ», – вспоминала через несколько дней после гибели поэта Устинова, придавшая его словам фатальный смысл. А это определение своего творческого дара вовсе не было для Есенина неким роковым озарением – он всю жизнь жил с этим сознанием, безжалостно тратя свой бесценный дар, и лишь временами с его губ срывалось подобное сожаление.

И еще на одно размышление наталкивает солженицынская «крохотка». Солженицын писал ее, видимо, в плохом настроении. Потому что, во-первых, высокий берег Оки, заливные луга, темная кромка леса, зеленые овраги, ширь небесная на много верст – все это делает Константинове одним из красивейших уголков России. Во-вторых, конечно же, местные жители всегда замечали и чувствовали эту красоту, только выражали ее по-своему: отражалась она в их нарядах, в вышивках на рушниках и сарафанах, в песнях и плясках, в свадебных обрядах, в узорчатых причелинах и наличниках, в пословицах и поговорках – да всего не перечислишь... И все-таки... и все-таки, почему именно здесь появился Есенин?

Прежде всего надо обратить внимание на то, что дерево есенинского рода было несколько необычным, отмеченным «особой метой». Все его ближайшие родные – оба деда, обе бабки, отец и мать, – если присмотреться к ним повнимательнее, были людьми необычными: или с некой тонкой душевностью, или с сильным характером, или с тягой к личной независимости, или с любовью к песне, к игре, к молитве, то есть со своеобразным художественным складом. Может быть, унаследованные от каждого из них свойства таким счастливым образом переплелись в Есенине, что он стал средоточием особого крестьянского аристократизма, который проявлялся буквально во всем – в походке, душевной чуткости, одежде, гибком и сильном уме, целеустремленности натуры. И представьте себе, что все эти свойства были увенчаны сверх того поэтическим даром. Дедушка поэта по отцу – Никита Осипович, проживший всего сорок два года и умерший до рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всякие прошения, был трезвым и умным человеком и не зря, видимо, занимал в деревне почетный пост сельского старосты. В молодости Никита Осипович хотел уйти в монастырь, за что он и все его потомство получили кличку «монахи» и «монашки».

«Я до самой школы не знала, что наша фамилия Есенины, – вспоминала сестра поэта Екатерина Есенина, – и была уверена, что мать и я с сестрой „монашки“, а отец с Сергеем „монахи“».

Редкостным в русской деревне было, наверное, встретить молодого крестьянина, мечтавшего не о хозяйстве, не о женитьбе, а о жизни «не от мира сего».

После смерти деда Никиты в доме его вдовы – бабки поэта Аграфены Панкратьевны – часто жила сельские богомазы, работавшие в церкви, что была напротив. Бабка постоянно давала приют монахам и монашкам, странникам, богомольцам. Для дохода: ведь осталась молодою вдовою с четырьмя малолетними детьми на руках. Сама она была женщиной с особым художественным даром. Любила петь, но поскольку в деревне считалось, что вдовам петь как бы неприлично, бабка отводила душу, когда причитала по покойникам или исполняла обрядовые песни на свадьбах. «Лучше 'монашки' никто не покричит», – говорили мужики о нашей бабушке. Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она «покричала» о них:

– Эх, тетка Груня! Покричи обо мне несчастном. Вот тебе деньги за труд, ты бери, а то ведь все равно пропью!

Бабушка причитала, а мужики плакали сами о себе».

(Кстати, и у Николая Клюева матушка была плачеей, известной на всю олонецкую округу.)

Сознавая все это, Сергей Есенин впоследствии, будучи уже известным стихотворцем, не раз с раздражением отрешивался от звания «крестьянский поэт».

– Не хочу надевать хомут Сурикова и Спиридона Дрожжина. Я не крестьянский поэт, я просто поэт!

Да, он мог с гордостью сказать: «У меня отец – крестьянин, ну, а я крестьянский сын», мог укорить себя: «Только я забыл, что я крестьянин», мог спросить сестру: «Крестьянин я или не крестьянин?!» Он мог с гордостью сознавать, что отцу и матери он дорог «как поле и как плоть», но одно дело быть «крестьянским сыном», «плотью», и совсем другое – поэтом. Ведь поэзия – жизнь души, а душа принадлежит не отцу с матерью, не крестьянскому миру, а лишь Господу Богу и ему самому – Сергею Есенину...

Николай Клюев уже после смерти Есенина рассказывал:

«За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям, как писателя „из низов“. Есенин долго плевался на такое непонимание: „Мы, – говорит, – Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России; самое аристократическое, что есть в русском народе“».

Бельгийский поэт Франц Элленс, переведивший на французский язык есенинского «Пугачева», встречался с русским поэтом в 1923 году в Париже. Есенин был тогда не в лучшей душевной и физической форме. Много пивший, опухший, с темными подглазьями, он тем не менее произвел на Элленса неотразимое впечатление: «элегантность в одежде и совершенно непринужденная манера держаться», «он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия», «этот крестьянин был безукоризненным аристократом»...

Но ведь и отец Есенина, Александр Никитич, не был похож на обычного крестьянина. Мальчиком он пел в церковном хоре, у него был прекрасный дискант, его, как и Аграфену Панкратьевну, приглашали на свадьбы и похороны, а мать даже пыталась отдать мальчика в рязанский собор в певчие, однако он сам не согласился и поехал в Москву, чтобы начать свою самостоятельную жизнь в мясной лавке. На фотографии видно, какое у него тонкое породистое лицо, аккуратные, даже изящные усы, как он чисто одет, какие у него печальные глаза. Он был болен астмой, у него не хватало ни сил, ни опыта для тяжелых крестьянских работ; когда в 1921 году, после того как в Москве закрылись все мясные лавки, Александр Никитич вернулся в деревню, он зажил там жизнью трудной и безрадостной. Однако заметим, что поэт, который из-за распрей с отцом редко вспоминал его, в автобиографии 1916 года обмолвился: «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их».

Дед поэта по матери, Федор Андреевич Титов, не был вопреки уверениям внука ни старообрядцем, ни начетчиком. Грамотой он владел еле-еле, но колоритности, характерности, своеобразности ему было не занимать. Неравнодушен был дед к тому, какая слава ходит о нем по деревне. Когда он возвращался из Петербурга, куда гонял баржи с различными грузами, то закатывал пир на весь мир, чтобы все знали, как он щедр, самостоятелен, удачлив. Выкатывал Федор Андреевич на лужайку перед домом бочонок вина, вешал на него ковшик. Как увидит, что мужики, идущие из церкви, нацеживаются в ковшик зелье, выходил из дома, выпячивал грудь колесом и – коренастый, рыжебородый, громкоголосый – ударял себя в грудь и похвалялся, словно Васька Буслаев либо Садко – богатый гость:

– Ладная посуда – славой проживу!

«Любил, любил старик похвастать, себя потешить, что и говорить, – вспоминала о нем соседка Анна Ефремовна. – Его хлебом, бывало, не корми, только дай ему гоголем себя среди других выставить...» Он даже часовенку напротив своего дома в благодарность Николе-угоднику за удачи воздвиг. Из красного кирпича. Когда Крестный ход, бывало, шел в праздники по селу, то возле его часовенки останавливались, чтобы отслужить молебен... Любил, любил быть во всех делах первым Федор Андреевич и в душу малого внучонка Сергушки заронил с детских лет желание первенствовать.

Сестра поэта Екатерина вспоминала, что дед был «умен в беседе, весел в пиру и жестокий в гневе... умел нравиться людям... Со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей».

В этом доме с 1899 по 1904 год – четыре первых своих детских сознательных года, когда для ребенка так новы «все впечатленья бытия», – прожил Сергей Есенин. А попал он в дом деда Федора и бабушки Натальи трехгодовалым дитятей.

Все началось с того, что Татьяна Титова вышла замуж за Александра Есенина не по любви, а по воле своенравного Федора Андреевича. Ходили слухи, что она была просватана за некоего угрюмого мужика из деревни Федякино, но нравился ей другой, развеселый, бедовый. Идти замуж за «угрюмого» она отказалась, а кто ей нравился – тот сватов не заслал.

Именно тогда отец и присмотрел для дочери тихого, скромного, задумчивого Александра Есенина. Может быть, отсюда и всплыла сегодняшняя легенда о том, что Александр Есенин покрыл ее девичий грех. А была она, как вспоминают подруги, «хороша необыкновенно, считали ее первой деревенской красавицей». Словом, «хороша была Танюша – краше не было в селе».

Александра Ивановна Разгуляева – жена второго сына Татьяны, прижитого ею в те годы, когда она расходилась с отцом Есенина, – вспоминает домостроевские страсти, бушевавшие в доме Титовых:

« – Татьяна Федоровна рассказывала мне: отец ее кнутом, а она не шла за Есенина. „Я, – говорит, – сроду его не любила“. А отец ее плетью: „Пойдешь, и все“. – „Я, – говорит, – реву: не пойду!“ А он: „Нет, пойдешь!“»

Как бы то ни было, но именно отсюда берет начало короткая, но яркая драма ребенка, ставшего сиротой при живых родителях.

Шумная свадьба была сыграна в доме Федора Титова на второй день после престольного праздника Казанской Божьей Матери. Молодых обвенчал о. Иван Смирнов, и вскоре после свадьбы Александр Есенин вернулся в Москву в свою мясную лавку, а красавица Татьяна вошла работницей шестнадцати с половиной лет в чужую семью под начало властной свекрови Аграфены Панкратьевны. Молодой муж, отъезжая, дал жене наказ ни в чем не противиться свекрови, которая получила даровую работницу. Весь свой заработок Александр Есенин посылал не жене, а матери. Жене же оставалось только убирать избу, вставать чуть свет, кормить и доить скотину, готовить обеды и ужины для постояльцев и лишь изредка, когда на побывки из Москвы приезжал Александр Никитич, вспоминать, что она не просто работница, а жена и женщина. Но судьба по-прежнему была немилостива к ней: первый ребенок – мальчик – умер в 9 месяцев, а рожденная после Сергея девочка Ольга не дожила до двух лет. Есенин в конце жизни вспомнил о них в стихах:

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

А 21 сентября 1895 года (3 октября по новому стилю) у Татьяны родился третий ребенок. При крещении о. Иван уговорил Аграфену Панкратьевну назвать внука Сергеем (она не любила соседа с таким же именем):

– Аграфена Панкратьевна, не бойтесь, это будет добрый, хороший человек!

Но вражда матери Сергея со свекровью и неприязнь к нелюбимому мужу все нарастали, и наконец с трехлетним Сергеем на руках Татьяна ушла из есенинского дома к своим родителям. Дед с бабкой взяли внука к себе на воспитание, а дочь послали в Рязань, зарабатывать на жизнь для себя и для ребенка. К тому времени Федор Андреевич разорился, две его баржи сгорели, остальные унесло половодьем. Другая бабушка Сережи – Наталья Евтеевна, в отличие от певуньи и плачеи Аграфены, была женщиной кроткой и набожной. «Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: „Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст“» (С. Есенин. Из «Автобиографии». 1924 г.).

Память ребенка сохранила картины жизни в доме, где часто собирались странники, слепцы, пели духовные стихи о Голубиной Книге, о райском вертограде, о Лазаре, о заступнике крестьянском Миколе, о Женихе Светлом, Госте из Града Неведомого. Сам полуграмотный, дед пытался учить внука читать, а по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи из Священной истории. Через четверть века внук с благодарностью вспоминал:

Наивность милая
Нетронутой души!
Недаром прадед
За овса три меры
Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить «Достойно есть»
И с «Отче» «Символ веры».

Хорошего коня пасут.
Отборный корм
Ему любви порука.
И, самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

В повести «Яр» двадцатилетний Есенин изобразил деревенского дурачка, который катается на хворостине и задает землякам всяческие загадки.

« – Эх, мужик-то какой был! – сказал, проезжая верхом, старик. – Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался... Дотошный был. Все пытал, как земля устроена... „Это, грил, враки, что Бог на небе живет“. Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили азбуки узнать, а более не моги».

В отрывке угадываются какие-то приметы судьбы самого деда, которого обучали у дьячка за «овса три меры», и несколько самоотстраненные религиозные сомнения молодого поэта, и что, может быть, самое главное – явное соотнесение своего облика с обликом деревенского юродивого, рехнувшегося «с думы», то есть от слишком глубоких и дерзких мыслей. Многие воспоминания родных и земляков о детстве Есенина как бы сфокусированы на одном: «У Татьяны сын какой-то не такой», «не от мира сего», «он не такой, как мы. Он Бог его знает кто». Да и прозвище от деда Никиты – «монах» – время от времени мелькает в воспоминаниях земляков применительно к поэту.

А жизнь его в доме бабки и деда складывалась не просто. Вроде бы любила бабушка Наталья золотоголового внука, и нежности ее не было границ, мыла его по субботам, стригла ноготки, гарным маслом гофрила голову, расчесывала кудри деревянным гребешком. Но бабка – бабкой, а мать – матерью. Рос мальчонка без материнской любви.

Сиротство Есенина при живых родителях в какой-то степени всегда затушевывалось литературоведами. Ну про отца еще писали. А про мать – поскольку сын в стихах 1924–1925 годов создал почти общенародный культ матери, ждущей сына и страдающей о нем, – есениноведы долгое время предпочитали умалчивать.

Видимо, всякого рода этические причины до смерти матери удерживали и авторов мемуаров, и издателей от публикации подробностей из жизни есенинского рода. Ну а по инерции, оглядываясь на еще многочисленную в 1960–1970-е годы есенинскую родню, литературоведы не торопились осмысливать всю сложность душевного склада поэта, исходящую от семейной драмы его родителей.

Знакомая Есенина по московской жизни двадцатых годов Софья Виноградская вспоминала в 1926 году со слов поэта: «Мать свою он в детстве принимал за чужую женщину, и, когда она приходила к деду, где жил Есенин, и плакалась на неудачи в семье, он утешал ее: „Ты чего плачешь? Тебя женихи не берут? Не плачь, мы тебе найдем жениха“».

То, что это не выдумка, а суровая правда, подтверждают и воспоминания сестры поэта Екатерины: «Мать пять лет не жила с нашим отцом, и Сергей все это время был на воспитании у бабушки и бабушки Натальи Евтеевны. Сергей, не видя матери и отца, привык считать себя сиротою, а подчас ему было обидней и больней, чем настоящему сироте. Бабушка Наталья Евтеевна часто кормила его потихоньку от снох, на всякий случай, чтобы не вызвать неприятности».

Получается так, что Есенин, как и Лермонтов, в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, не отцом, а бабушкой. Сиротство при живых родителях, безусловно, сказалось на его душевном облике. Впечатлительность, душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным деревенским «юнкерством», за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта, – вот, видимо, суть есенинского детства и отрочества. В 14 лет, как вспоминает Николай Сардановский, Есенин наизусть выучил «Мцыри». Такой подвиг можно было совершить только от необыкновенной любви к герою поэмы и от сознания братской близости к нему – одинокому, ранимому, беспредельно обиженному судьбой отроку-монаху. А тут еще по-деревенски грубые дядя: ну представьте себе, чтобы трехлетнего ребенка посадить на лошадь без седла и сразу пустить в галоп! «Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку». Тут очумеешь. От этого и нервные припадки можно заработать, и заиканье получить, не говоря уже о том, что сломать шею или руки-ноги мальчонке ничего не стоило. А дядя Саша брал дитенка в лодку, отъезжал от берега, раздевал и бросал, как щенка, в воду, пока тот, неумело побарахтавшись, не начинал захлебываться. Дядя Саша при этом кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься!» Стерва у него было словом ласкательным.

Дядьям и в голову не приходило, что их брат Петя стал припадочным из-за того, что отец его, восьмилетнего, спрятавшегося из-за какой-то проказы на чердак, в приступе грубого гнева сбросил с чердака и на всю жизнь искалечил психику ребенка. Наверное, когда Есенин рисовал образ юродивого в повести «Яр», он думал и о себе, и о несчастном дяде Пете, который, как вспоминает Екатерина, «был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки». Поэтому, творя легенду о себе, Сережа Есенин старался представить себя коноводом, вожаком, лидером, как бы мы сейчас сказали, во всех своих автобиографиях. Он всюду подчеркивает свою силу и ловкость, любит вспоминать, как дрался со сверстниками, как был «среди мальчишек всегда герой», как удачливо ловил рыбу, как ловко – ловчее всех! – лазал по деревьям к птичьим гнездам, как «обносил» огороды, играл в бабки, плавал за подстреленными утками. Но маска деревенского «супермена» на самом деле скрывала легко ранимую душу и отнюдь не богатырское тело. В ранних стихах он не единожды проговаривается о своей некрестьянской хрупкости, о физической и душевной утонченности, что, конечно, отличало его от обычных константиновских ребяташек.

Рыжеволосый внучонок
Щупает в книжке листы,
Стан его гибок и тонок,
Руки белей бересты.

Нечто женственное есть в этом внучонке, и даже его рыжеволосость – признак некой физической утонченности, почти слабости. (Недаром рыжеволосых людей и блондинов на нашей земле становится все меньше, они почему-то вырождаются, их генетическая система не выдерживает давления современной цивилизации.) В разговорах поэт признавался, что из-за физической слабости ему частенько приходилось в детстве терпеть неудачи. И. Розанову он как-то рассказал, что и дед и бабка «видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить». Сверстник поэта Василий Ефремов вспоминает: «Был горяч, куда там... и все время драки затевал, ему же поэтому больше всех и доставалось». А переплывши однажды реку с двумя товарищами, Сергей долго сидел на

песчаном откосе и отплеывался кровью, видимо, от переутомления. Бабушка знала о слабостях своего любимца и укрепляла его здоровье всеми средствами.

С глазу ль, с немилого ль взора
Часто она под удой
Поит его с наговором
Преполовенской водой.

Да никакой он не коновод, не драчун, не атаман – все это он придумает о себе году в 1919–1920-м, а пока, в 1915–1916-м, он еще не стесняется говорить о своей почти девичьей стати, о милой ему немужественности, о природной изнеженности:

Ждут на крылечке там бабка и дед
Резвого внука подсолнечных лет.

Строен и бел, как березка, их внук,
С медом волосьев и бархатом рук.

(Впоследствии Есенин будет сравнивать «березку» лишь с женщиной или с девушкой!) И уже непонятно, то ли бабушка держит на руках женственного внучонка, то ли юная Дева Мария своего Сына, лишённого по замыслу Божию облика мужественности:

С тихой улыбкой на тонких губах
Держит их внука она на руках.

Отроческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность – все это определило во многом и тон и тематику поэзии Есенина на рубеже 1916–1917-го годов.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе – высокая светлица,
А мне – далекий монастырь.

«Константиновский Мцыри» через поколение как бы повторяет монашеские настроения деда Никиты.

Полюбил я тоской журавлиного
На высокой горе монастырь.

Пахота и жатва – основные вехи русской крестьянской страды – обойдены поэзией Есенина. Он живет более светлыми, более праздничными чувствами и картинками: сенокос, хоровод, гулянка, песня, молитвенная служба. В этих картинах нет некрасовских, надрывающихся под тяжестью труда пахарей, нет несжатых полосок. Поэту, как он вспоминает в позднейшем стихотворении, гораздо ближе сад в цветенье, нежели необходимое для жизни картофельное поле.

Отцу картофель нужен,
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...

Иль восемь лет назад.

Далекий от сына, скептически относящийся к его «стихоплетству» и во многом не понимающий его отец становится губителем столь нужной для отроческого сердца красоты – цветущего вишневого сада.

Всю свою жизнь, любя родину и крестьянство, Есенин тем не менее чувствовал, что многое и отделяет его от тех,

...Что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Он не брезговал этим трудом, не унижал его, называя эту ношу даже «веселой». Он просто никак не хотел и не мог «опростеть» сердцем и душою. Не желая опрощения, он бежал в книги, в песни, в кашинскую усадьбу на театральное представление. Потому и сочинил легенду о деде-старобрядце, чтобы усложнить свое происхождение, выделить себя из окружения «опростевших», даже любя их и осознавая свою кровную связь с ними.

Не скандалистом и сорванцом рос мальчик Есенин, а скорее мечтателем. Мечтал о любви, тайне, дружбе. Эта мечтательность порой оборачивалась для него тяжким осознанием своего изгойства, и он сам начинал обвинять себя в этом.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

И так всю жизнь. Вплоть до предсмертного:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле...

Усталый от жизни, почерневший, замученный гонениями, предательством, тоскою, он по-прежнему не может опростеть сердцем...

Образ «забияки и сорванца» стал соблазнительным для Есенина значительно позднее – после жизни в Петрограде, а потом в Москве, когда жестокие нравы революционной эпохи как бы вынудили его сделать ставку на «хулиганство», «пугачевщину», «разбойность». Ему хотелось в детстве и отрочестве быть гораздо отчаяннее и бесстрашнее, чем он был на самом деле, но об этом он всегда думал с затаенными чувствами ужаса и восторга:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

...Это стихи 1915 года, до них еще долго жить, а пока после пятилетнего бунта мать поэта возвращается в дом к мужу. Бунтовала она отчаянно. Судилась с Александром Есениным, требовала развода, требовала разрешения на получение паспорта, даже прижила ребенка на стороне. Муж был неумолим. Закон защищал его права властвовать над женой. Татьяна ничего не смогла добиться. Муж не дал ей развода. То ли он все-таки любил свою строптивую жену, то ли считал развод позором для себя, но в конце 1904 года, когда Сергей уже пошел учиться в Константиновское земское четырехгодичное училище, семья объединилась. Мальчику пришлось вернуться в отцовский дом к другой бабушке и к женщине, которую надо было называть своей матерью.

«Когда Сергей вернулся с матерью в наш строгий и угрюмый дом, где хозяйствовала другая бабушка и другая сноха (жена нашего дяди по отцу), он до смерти бабушки Аграфены не мог привыкнуть к нашему дому и часто из школы уходил к Титовым» (из воспоминаний Е. Есениной).

* * *

Учебный день в училище начинался с «Отче наш». Закон Божий преподавал священник Иван Смирнов, пятьдесят (!) лет прослуживший в Константиновском приходе. Он венчал родителей поэта, крестил его самого, и ему пришлось через много лет служить панихиду по рабу Божию Сергею, потому что отец Иван так и не поверил в то, что крещенный им его ученик наложил на себя руки.

В Константинове Сергею жилось тогда довольно легко и беззаботно. В доме хозяйничали три женщины, но у семьи не было ни земли, ни лошади, чтобы пахать, сеять, боронить, жать, скирдовать, возить снопы на гумно, а зерно в амбары. Единственно, где требовались его руки, – в лугах во время сенокоса. И эта работа была Сергею по душе, как никакая другая.

«Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки. Разбросанные то тут, то там покосные станы походят на цыганские таборы. Мерцают вдали огоньки многочисленных костров, и в тихую погоду дым от них, расстилаясь по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, застланный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю».

Так выразительно вспоминает о сенокосной поре Александра Есенина, как бы еще раз подтверждая особую художественную одаренность всех Есениных. В летние каникулы Сергей с утра до вечера пропадал в лугах или на Оке, грелся у костров, рыбачил, собирал утиные яйца и конечно же начинал потихоньку прислушиваться к самому себе, произвольно складывая в рифму свои мысли и чувства и про себя напевая их. Его школьный друг Н. Калинин рассказывал, как однажды ученики узнали, что Есенин пишет стихи. Сергей показал их как-то учителю Власову. Учитель был суров:

– Ты, Сережа, учись. А сочинять всякие глупости – это не твое дело. Рано еще тебе...

Несмотря на то, что Сергея однажды за баловство оставили на второй год, он закончил сельское училище с похвальным листом. Тот же Николай Калинин вспоминает, как они завершили учебу: все ребята серьезно готовились к выпускным испытаниям, несколько человек, в том числе и Сергей, сдали экзамены на пятерки. Когда вручали похвальные листы и подарки, священник Иван Смирнов объявил: особо отличившиеся ученики Есенин, Воронцов и Данилин рекомендованы для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или в Рязанское духовное училище.

Дома у Татьяны Федоровны случился настоящий праздник. Неожиданно из Москвы приехал отец Сергея с гостинцами и двумя красивыми застекленными рамками. Одна для сыновнего похвального листа, другая – для свидетельства об окончании сельской школы. Обе награды отец повесил на стенку. А вечером за столом обсуждали, что делать с Сергеем дальше? Отец Иван настаивал на своем:

– Учиться Сереже надо дальше, учиться. Мальчик способный!

Так и порешили. Через несколько дней к есенинскому дому подъехала подвода, мать помолилась на лик Николы-угодника, собрала сыновние вещички в сундучок, села вместе с Сергеем на подводу, и неторопливая лошадка повезла их в Спас-Клепики.

В год окончания Есениным сельской школы отмечалось столетие со дня рождения Гоголя. По случаю юбилея дирекция народных училищ распорядилась в этот день освободить учащихся от учебных занятий, в стенах училищ отслужить панихиды по Николаю Васильевичу, раздать учащимся его портреты, а также поелику возможно и «отдельные сочинения его, существующие в дешевых изданиях». В Константинове по этому случаю был устроен праздник, и каждый выпускник школы получил по четыре книги –

«Ночь перед Рождеством», «Старосветские помещики», «Вий», «Тарас Бульба». С той поры Гоголь стал для Есенина писателем, о котором в автобиографии 1922 года поэт записывает: «Любимый мой писатель». Не счесть гоголевских образов, строчек, словечек, намеков, которые растворены в его стихах и письмах... Знакомая поэта учительница Полина Гнилосырова вспоминает о том, как однажды она с Есениным поехала на подводе в Рязань за учебниками для школьной библиотеки. Сергей был за кучера, и, возвращаясь, возле угора, за которым начиналась деревня, он хлестнул кобылу вожжами.

– Прокатимся под уклон, Полина Сергеевна, чтобы в ушах звенело, а? – И погнал лошадей, крича: – И какой же русский не любит быстрой езды!

Учится Сергей в Спас-Клепиках в школе-интернате, как бы сказали сейчас, живет среди сверстников, как Лермонтов в юнкерском казарменном общежитии, а все никак не становится похожим на всех, никак не подладится к бурсацким правилам жизни, все больше и больше с каждым месяцем выделяется он из толпы собранных со всей рязанской земли подростков. Свидетельства тех времен при всей их разноречивости сходятся в одном: Сергей отличался от других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, интеллигентностью.

Вскоре после начала учебы он приехал с константиновскими мужиками обратно в деревню. Соврал, что распустили всю школу, но на другой день показал матери следы от побоев на теле и заявил, что больше в школу не воротится. Бунт был подавлен, но стало ясно, что Сергей в школе живет на положении «белой вороны». Учитель литературы Е. М. Хитров вспоминал, что Есенин отличался «нежностью своего характера», «у него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном».

Учился Есенин хорошо, и учителя поручили ему проверять уроки у всех лодырей, которых оставляли без обеда за несделанные домашние задания. Естественно, что такое возвышение над ними своего однокашника лодырям не нравилось, и на этой почве частенько возникали драки.

Способности к стихосложению не прибавляли Есенину авторитета. Однокашник Сергея Н. Сардановский вспоминает: «Его намерения и способности писать стихи ничуть не возвышали его в наших глазах, а его заносчивость при оценке своего таланта и его постоянные разговоры о своих стихах казались нам скучными». Уязвленное самолюбие, непризнание его талантов, драки и ссоры – все это развивало в отроке мнительность, замкнутость, склонность к сопротивлению и ощущение своего особого пути, особого призвания. Вольно или невольно, но в нем все явственней проступали странности характера, сближающие его с юродивым, свихнувшимся от чтения книг, из будущей повести «Яр». Домашние стали обращать внимание на эти странности:

«К Рождеству на каникулы приехал Сергей... Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку... Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было, в это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

– Ты что смеешься-то?

– Да так, смешно, – ответил Сергей.

– И ты часто так смеешься, один-то?

– А что? – спросил Сергей.

– Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А от чего? Все книжки. Дьячок-то какой был!..

...Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но ничего из этого не выходило» (из воспоминаний Е. Есениной).

Летом Сергей плел младшей сестре Шуре платья из цветов, разных фасонов шляпы, приносил ее домой всю в луговых цветах. Ходил к Поповым играть в крокет либо на берег Оки – созерцать бескрайнюю ширь лугов, черную кромку леса, голубую, отражающую небо

и облака, извилистую ленту реки. Любил прогуляться по деревне, одевшись в свой хороший, хотя и единственный костюм. Стеснялся сестры Кати, когда она в потрепанном пальтишке прибегала к Поповым поглядеть на чудную игру в крокет:

– Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой, – тихо, чтобы не слышал никто вокруг, говорил он огорченной сестренке.

Была в нем эта неприятная черта: стеснялся своих родных, когда они появлялись в «интеллигентном» обществе на вечерах у священника Ивана Смирнова, где молодежь порой ставила простенькие пьесы или разыгрывала музыкальные концерты. Однажды мать с дочерью Катей в тайне от него проникли на представление. Сергей увидел их и досадливо нахмурился.

– Уходите сейчас же, а иначе я уйду! – И настоял на своем.

Так же ревниво и настороженно оберегал юноша свои отношения с семейством местной молодой помещицы Лидии Кашиной от посягательств и насмешек домашних. К самой Лидии Кашиной, несмотря на то, что она, мать двоих детей, замужняя женщина, была на десять лет старше его, Есенин, несомненно, испытывал чувства более глубокие, нежели почтительные или уважительные. Есенин любил бывать в кашинском доме, богатом и красивом, обрамленном декоративными кустарниками и цветочными клумбами. Каждое лето Лидия Кашина приезжала в деревню с детьми, но без мужа. По деревне ходили слухи, что ее муж – очень важный генерал, но она не хочет с ним жить. А потому молодая барыня развлекалась в деревне, как только могла. В усадьбе появились породистые лошади, на которых барыню учил кататься верхом хмурый наездник. Ее нередко видели в костюме амазонки во время верховой прогулки по полям. Она любила играть с гостями в крокет, в ее доме ставились спектакли. Однажды друг Есенина Тимоша Данилин, приглядывавший за детьми Кашиной, пригласил в усадьбу Сергея. С тех пор шестнадцатилетний поэт и зачастил в барский дом, поразивший его воображение.

Татьяне Федоровне очень не нравилось, что ее сын пропадает в барской усадьбе. Она спокойно относилась к тому, что он флиртовал с учительницами или коротал вечера в доме священника, но – барыня! Замужняя, старше его намного, да с двумя детьми! Нет, это не дело!

– Опять у барыни пропадал? – сердилась мать. – Что вы там делаете?

– Читаем, играем, – хмуро отвечал Сергей. А иногда и огрызался: – Какое тебе дело, где я бываю!

Мать ворчала:

– Не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь, нашла с кем играть!

Кульминацией этого странного и таинственного романа была, видимо, встреча Есенина с Лидией Кашиной летом 1917 года, после того как хозяйка усадьбы уже отдала свой двухэтажный дом в Константинове деревенскому миру, а сама переехала жить в другую усадьбу – в Белый Яр, на луговую сторону Оки, в нескольких верстах от Константинова. Однажды утром Сергей сказал домашним, что уезжает в Яр с барыней. После обеда в округе началась настоящая буря, ливень хлестал тяжелыми струями по стеклам, старые деревья ломались под порывами бешеного ветра, сверкала молния, и раскаты грома то и дело проносились над разбушевавшейся Окой. От Оки вдруг раздались крики: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать Сергея бросилась вон из избы. Сестренки остались дома. Чтобы как-то отвлечься, в мыслях о Сергее Катя стала сочинять стихи:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Татьяна Федоровна вернулась вся вымокшая и сердитая: на реке оборвался паромный канат, и паром унесло к шлюзам. Но Сергея там не было. Он вернулся поздно ночью, никому

ничего не объяснив, взял полушубок и ушел ночевать в амбар. Воспоминания об этом дне, о встрече с Лидией Кашиной, видимо, отразились впоследствии в поэме «Анна Снегина». Но не только:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

В память о том лете и о каком-то прощании, ведомом только ему одному, Есенин через год написал стихотворение, посвященное Лидии Кашиной:

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

.....

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленыя.
За голые колени
Он обнимал меня...»

Лидия Кашина в отличие от героини поэмы «Анна Снегина» никуда не эмигрировала. После того как новая власть отобрала у нее усадьбу на Белом Яру, она переехала в Москву. Работала переводчицей, машинисткой, стенографисткой. Об отношениях ее с Есениным в то время можно судить по есенинскому письму осени 1918 года, адресованному Андрею Белому (Борису Бугаеву):

«Дорогой Борис Николаевич, какая превратность: хотел Вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели.
Черкните мне (если не повезло мне в сей раз), когда Вы будете свободны еще.
Любящий вас С. Есенин.
Адрес: Скатертный пер., д. 20.
Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.».

Умерла Кашина в 1937 году и похоронена на том же Ваганьковском кладбище, где покоится и ее поэт.

* * *

«У нас все уехали на сенокос. Я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности, – писал Есенин 7 июля 1911 года своему ближайшему другу по Спас-Клепикам Грише Панфилову. – Я был в Москве одну неделю. Купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию... Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе». И так, Есенин уже начинает делать вылазки в большой мир. Письма его той поры – а ему всего-то

15–16 лет – необыкновенно интересны. Они очень многое добавляют к внутреннему облику юноши, раздвоенного, мучительно ищущего свой путь в жизни, пытающегося нащупать ее цели и смысл. Он часто, но ненадолго влюбляется в девушек из учительских семей – то в Анну Сардановскую, то в Машу Бальзамову, пишет им письма искренние, трагические и мелодраматические одновременно, как бы желая вызвать сочувствие к своей судьбе в девичьих душах: «Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии?.. Или – жить, или – не жить?.. Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле...» (*М. Бальзамовой, июль 1912 г.*). Из другого письма ей же: «Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску веселия, но это еле-еле заметно... Ох, Маня! Тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить... Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти. Потому что он меня проклянет, если это узнает».

Как раз в это время у Есенина происходит разлад с отцом: отец против того, чтобы сын пытался жить стихами. Он требует, чтобы Сергей пошел по его стезе, поступил в торговую лавку, имел надежный кусок хлеба. А в конце 1912 года Есенин, разочарованный охлаждением к нему Анны Сардановской, уязвленный, как ему показалось, насмешками над ним, вообще совершает отчаянный поступок, подтверждающий, насколько хрупкой и уязвимой была его натура:

«Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и... и теперь оттого болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мною немного все застилалось какой-то мутной дымкой...»

Словом, как пелось в популярном романсе тех лет, «Маруся отравилась». Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой. Несомненно, в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся со своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. «Небольшую, но ухватистую силу» поэт приобрел позже, после знакомства с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от «страшного мира». С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души – это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и темных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в «Черном человеке»:

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство.

Первые его стихи 1912–1913 годов лишены всех масок, всей многомерности натуры, всех защитных средств, которыми он в совершенстве овладел позднее:

Душно мне в этих холодных стенах,
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах —
Вот она, доля поэта.

В 1912 году он составил маленький цикл стихотворений и назвал его бесхитростно: «Больные думы». В них явственно прослеживается влияние Надсона, самой риторической части наследия Алексея Кольцова, поэзии Ивана Никитина и молодого Лермонтова.

Названия стихотворений говорят сами за себя: «Звуки печали», «Мои мечты», «Слезы», «Брату Человеку» и т. д. Надсоном Есенин переболел очень быстро. Сергей Соколов – учитель Константиновской школы – вспоминает разговор с Есениным летом 1925 года:

«Заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах... Есенин слушал внимательно, а потом сказал:

– Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин – вот истинно русская душа...»

Весь цикл «Больные думы» вместе с другими стихами спас-клепиковского периода, написанными в 1910–1912-х годах, настолько несамостоятелен, подражателен, однообразен, что Есенин впоследствии никогда не вспоминал о них и не включал ни в один из своих сборников. Тем более парадоксальным кажется то, что несколько стихотворений: «Выткался на озере...», «Сыплет черемуха снегом...», «Дымом половодье...», подготавливая последнее Собрание сочинений, он датировал незадолго до смерти 1910 годом! Эти стихи – подлинные шедевры есенинской лирики, неизмеримо значительнее, нежели подражательные опыты из спас-клепиковской тетрадошки, написанной вроде бы гораздо позже.

Объяснение такому противоречию может быть только одно: ставя в 1925 году даты, Есенин, либо случайно, а скорее всего сознательно, для того чтобы внедрить в читательское сознание легенду о необыкновенно раннем созревании своего поэтического таланта, «прибавил возраста» нескольким любимым стихотворениям. Лишних два-четыре года. Но для того, чтобы написать их, он должен был знать не только народные песни, частушки и жестокие романсы, звучавшие в константиновской избе, прочитать не только Надсона и Кольцова, но еще и Пушкина с Гоголем, и Алексея Толстого, и, конечно, усвоить современную ему поэзию: Блока, Белого, Клюева. Не просто прочитать, но еще и прочувствовать, обдумать, сделать ее своей, а потом написать по-блоковски:

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заморозит, не обмахнет
Твой разукрашенный рукав.

И «Выткался на озере...», и «Подражание песне» перекликаются с этим стихотворением 1916 года, служат как бы подступами к нему.

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец...

Блоковский бубенец...

Глава третья В Москву! В Москву!

Я люблю этот город вязевый...
С. Есенин

Москва. Август 1912-го – март 1915-го. В эти три московских года жизни начинающего поэта уместилось многое: работа в типографии ради хлеба насущного и роман с Анной Изрядновой, закончившийся рождением сына, флирт с социал-демократией и полтора года образования в университете имени Шанявского, признание в литературно-музыкальном Суриковском кружке и переписка с другом юности Гришей Панфиловым.

Первая встреча с «порфиноносной вдовой», «городом вязевым», «сердцем России» произошла у него год назад. Есенин вспоминал, как он впервые бродил вокруг златоглавых соборов и дворцов Кремля, как возле Китайской стены попал в шумное чрево Никольского книжного рынка. С затаенным дыханием листал он тогда сборники русских былин, бережно ощупывал старые издания «Слова о полку Игореве», приценился к заветным томикам Лермонтова, Некрасова, Кольцова...

И вот он снова в Москве, в комнатке у отца, в доме в Строченовском переулке. Он заходил в этот дом с тяжелым сердцем: отец не верил, что можно прожить на деньги, заработанные стихами. Ему казалось, что ничего путного из стихотворства не выйдет. Именно поэтому, получив впервые гонорар за стихи, Есенин отдал его отцу. Целых три рубля! Но эти рубли стали как бы доказательством его правоты в споре с отцом. Отец отнесся к «жертве» весьма спокойно, не счит ее священной и все равно не дал отцовского благословения на стихотворство... Это случилось чуть позже, в 1914 году, а пока летом 1912-го отец устроил сына в контору к своему хозяину с условием, что Сергей осенью поступит в учительский институт. Однако Сергей сразу же показал характер, ему не понравились конторские порядки, он не мог примириться с тем, что всем служащим конторы словно школьникам надо вставать, когда к ним заходит хозяйка. Через неделю он взял расчет и заявил отцу, что ни в какой учительский институт не пойдет и что сам будет искать себе место в жизни.

Из письма Грише Панфилову в Спас-Клепики: «Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом, не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души... Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить – спать и после сна на мгновение сознаваться, слишком скверно. Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю».

Письма Есенина к Грише Панфилову – удивительная страница жизни поэта. Он посылал их из Москвы. Было ему тогда 17–18 лет. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Блока (да кого угодно возьмем – Гоголя, Некрасова, Тютчева) мы не найдем в таком юном возрасте столь глубоких размышлений о самых сложных тайнах бытия, совести, человеческого призвания, религиозного поиска. Диапазон сомнений и чувств в письмах чрезвычайно широк – от наивности до мудрости, от глубочайшей веры до отчаяния, от мучительного самоанализа до растворения своего «я» в море христианского чувства. Именно последнее обстоятельство сыграло свою роковую роль: содержание писем не исследовалось всерьез.

«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как образец в последовании любви к ближнему.

Жизнь... Я не могу понять ее назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому не известно. Невольно почему-то лезут в голову думы Кольцова

"Мир есть тайна Бога,
Бог есть тайна мира".

Да, однако, если это тайна, то пусть ей и останется...»

Автору этих мыслей всего лишь семнадцать с половиной лет.

Из письма Грише Панфилову от 23 апреля 1913 года: «Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы, и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего? Ох, Гриша! Как нелепа вся наша жизнь. Она коверкает нас с колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды... Меня считают сумасшедшим и

уже хотели было взять к психиатру, но я послал всех к сатане и живу, хотя некоторые опасаются моего приближения... Да, Гриша, люби и жалея людей – и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любимым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей... *Все люди – одна душа. Истина должна быть истиной, у нее нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега...* Нет истины без света, и нет света без истины, ибо свет исходит от истины, а истина исходит от света. Что мне блага мирские? Зачем завидовать тому, кто обладает талантом, – я есть ты, и мне доступно все, что доступно тебе. Ты богат в истине, и я тоже могу достигнуть того, чем обладает твоя душа... Так вот она, загадка жизни людей... Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди: вокруг тебя стоны и плач заглушают твою радость...»

Право, если бы не поэтический талант, Есенин мог бы стать незаурядным религиозным проповедником, ибо перед нами не письмо, а готовая проповедь...

Кто-то из древних проницательно заметил, что «душа человеческая от рождения христианка». Видимо, есенинская душа была именно такой. Но с одной поправкой: на нее наложили роковую печать все религиозные сомнения русского XX века, что сделало душу поэта родственной душам главных героев Достоевского. Через год с небольшим после того, как он написал Грише Панфилову о том, что «Христос для меня совершенство», девятнадцатилетний Есенин посылает письмо Маше Бальзамовой, в котором обнаруживает глубокое знание характеров Ставрогина, либо Версилова, либо вообще человека «из подполья». Актерское самоуничтожение, которое он выказал в этом письме, поистине восхищает: «...хранить письма такого человека, как я, – не достойно уважения. Мое "я" – это позор личности. Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту, – и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека – у меня... Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек... Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, – подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь...» И далее он заключает почти что как Раскольников: «Значит, я еще больше мерзкий человек».

Такое письмо талантливый русский девятнадцатилетний интеллигент, конечно же, мог написать лишь после того, как целых два русских поколения «прошли» через Достоевского, угадавшего в новых людях такую веру и одновременно такое религиозное сомнение, что оно могло быть разрешено либо выстрелом в Распятие, либо расщепкой иконы на лучину, либо залихватскими, похабными надписями на стенах Страстного монастыря...

Любопытно в этом письме еще одно обстоятельство, подтверждающее то, что Есенин мог играть уже в 20 лет с петроградскими мэтрами, словно кошка с мышками. Он цитирует Бальзамовой строки Сологуба: «Хулу над миром я поставлю и соблазня – соблазню». И добавляет: «Эта сологубовщина – мой девиз». А год спустя он побывал у Сологуба, и тот рассказывал Георгию Иванову: «Я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться, и что стихов он моих не читал...» Наивный старик! Он так и не понял, что его стихи просто не понравились Есенину.

Гриша Панфилов был чуть-чуть постарше Сергея. Его отец служил приказчиком у купца в Спас-Клепиках. В просторном панфиловском доме часто собирались Гришины товарищи по интернату, естественно, и Сережа Есенин приходил с ними и настолько привязался к Гришиному дому, что частенько оставался там ночевать, и вскоре они стали близкими друзьями. Гришина мать Марфа Никитична из всех учеников выделяла Сергея – «может, потому, что видела, как он тоскует по дому, по материнской ласке». Когда Сергей писал Григорию письма, тот умирал от скоротечной чахотки. (Видимо, поэтому у Есенина позднее появился страх перед этой болезнью.) Наверное, осознание близкой утраты лучшего друга и побуждало Есенина исповедоваться перед ним, искать в глубинах своей души все самое искреннее, человеческое, доброе, что он обычно таил от других. Не потому ли его письма похожи на сокровенные страницы дневника, на тайную исповедь человека, пишущего для себя, для своей совести, а не для кого-то другого: «Мои муки – твоя печаль,

твоя печаль – мои терзания. Я, страдая, могу радоваться твоей жизнью, которая протекает в довольстве и наслаждении в истине...

Злобою сердце томиться устало,
Много в нем правды, да радости мало.

Да, Гриша, тяжело на белом свете».

Последнее письмо Есенин написал Грише в феврале 1914 года. В том же месяце Панфилов умер. Он ждал этого письма. Перед смертью все время вспоминал о Есенине:

«Я прихожу в 6 ч[асов] вечера, – писал Гришин отец Сергею о последних предсмертных часах сына. – Первым его вопросом было: – А что, папа, от Сережи письма нет? – Я ответил: – Нет. – Жаль, – говорит, – что я от него ответа не дождусь». После смерти Гриши Есенин подобных столь искренних и столь исповедальных писем не писал больше никому и никогда...

В начале марта 1913 года Есенин устроился работать в знаменитую типографию И. Д. Сытина. «Был болен, и с отцом шла неприятность, – писал он через месяц Грише. – Теперь решено. Я один... Ну что ж! Я отвоевал свою свободу. Теперь на квартиру к нему я хожу редко. Он мне сказал, что у них мне нечего делать».

Трудовая жизнь Есенина сразу же осложнилась чрезвычайным событием. Буквально и двух недель не прошло после его устройства на работу, как он попал в центр сомнительной политической интриги: неизвестно при каких обстоятельствах Есенин подписал письмо «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района», которое, как пишет один из исследователей жизни Есенина, «резко осуждало раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газеты „Луч“».

Дело это было сугубо партийное, склочное, сектантское, в его основе лежали противоречия между семью депутатами-меньшевиками и шестью депутатами-большевиками, которые составляли в Государственной думе одну социал-демократическую фракцию. «Семерка» имела перевес в один голос перед «шестеркой» и проводила какую-то «ликвидаторскую платформу». Письмо, подписанное пятьюдесятью «сознательными рабочими», среди которых была и подпись Есенина, начиналось так:

«Мы, нижеподписавшиеся, пять групп сознательных рабочих Замоскворецкого района гор. Москвы, прочитав в газетах „Правде“ и „Луч“ о тех разногласиях, какие существуют среди депутатов с.-д. фракции и рабочей прессой, мы приветствуем отказ шести депутатов от сотрудничества в газете „Луч“... Мы возмущаемся тем насилием, производимым семи против шести, которые лишают последних возможностей проводить взгляды пославших их, требовать осуществления тех начертанных старых лозунгов, за которые боролись и пали жертвой наши товарищи в 1905 году... Ликвидаторы, приспособляясь к национальным чувствам народности, идя к им навстречу, для того чтобы привлечь их в свой лагерь, выставляют требования: „Культурно-национальную автономию“. Этим самым ослабляют единство пролетариата России к Интернационалу. Идя на компромисс с правительством и реакцией, выставляют требования полного народного представительства, а не полномочие народа... Мы глубоко возмущаемся узурпаторством семерки против шести. Если они будут уклоняться и дальше от старoprogramмных требований... прикрываясь единством, а в принципе делая раскол, то мы их более не можем признать, как принадлежащих к с.-д. п. ...Кто же является в действительности раскольником, антиликвидаторы, признающие подполье и партию, объединившись вокруг газеты „Правды“... или, может быть, ликвидаторы „Луча“, ведущие борьбу против подполья и старой партии?» И т. д. и т. п.

Мы так подробно цитируем это полуграмотное, написанное на революционно-местечковом жаргоне письмо только потому, что оно наглядно свидетельствует, как задолго до 1917 года в недрах социал-демократии уже вырабатывался склочный, сектантский, мертвенно-бюрократический стиль борьбы за власть, как легко эти косноязычные штампы перешли в резолюции и постановления партсъездов и партконференций двадцатых годов, в

формулировки о «правом» и «левом» уклонах, о всяческих «троцкистских», «военных», «рютинских», «шляпниковских», «профсоюзных» и прочих оппозициях. Как естественно, что это письмо, написанное якобы «пятью группами сознательных рабочих», но на самом деле составленное каким-то партийным функционером, хорошо знавшим расстановку внутривнутрипартийных сил, настроения и политику партийных лидеров, живших в это время то ли в Швейцарии, то ли в Париже, стало на десятилетия «праосновой» всех документов подобного рода, писавшихся от имени «сознательных рабочих», «общественности» (обязательно «прогрессивной»), крестьянства (обязательно «трудового»), пролетариата (обязательно «мирового»). Впрочем, стиль этот сложился еще в 70-е годы XIX века. Народнические штампы практически без изменений перекочевали в документы, составленные марксистами. Манифест «Народной расправы» или лавровские статьи мало чем отличались от документов плехановской группы «Освобождение труда».

Несомненно, что стратегия письма выработывалась ленинским окружением или даже самим Лениным, писавшим приблизительно в это же время: «Каждый русский социал-демократ должен сделать выбор между марксистами и ликвидаторами». Неудивительно, если Ильич был прямо или косвенно причастен к тексту письма. Оно в его стиле: его въедливая казуистика, его демагогический напор, его сектантская ярость.

А характерные штампы вроде «мы, нижеподписавшиеся», «мы приветствуем», «мы глубоко возмущены», «мы их более не можем признать», «мы предлагаем», выработанные в письме, утвердились на десятилетия как образцы классического железобетонного стиля для сотен и тысяч писем и постановлений подобного рода, без которых просто невозможно себе представить историю РСДРП.

Ну разве можно поверить в то, что Есенин, думающий в это время о тайнах Бога и Человека, действительно разбирался в сектантско-подпольной казуистике этой меньшевистско-большевистской склоки? Мог ли он вникнуть в политические хитросплетения всяческих Малиновских, бадаевых, петровских и прочих социал-демократов, заваривших сию кашу? Есенин, вопрошающий в письмах к Грише Панфилову – «что есть Христос?», Есенин, буквально в те же дни писавший умирающему другу: «...люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей»? И вдруг: «ликвидаторы», «антиликвидаторы», «платформы», «фракции»! Есенин, который их речей, их программ, их внутривнутрипартийных злобных и мелких распрей уже и тогда, конечно, «ни при какой погоде» не читал, и чтобы он «сознательно» подписал письмо, инспирированное какими-то функционерами как «мнение народное»? Есенин, всего только как две недели ставший рабочим-экспедитором (то есть грузчиком) при типографии? Есенин, в то время запоем читавший Блока, Клюева, Андрея Белого?

Об этой, видимо, совершенно случайно поставленной юношей подписи приходится говорить столь подробно потому, что история с письмом сыграла определенную роль в его судьбе. Она привела к полицейскому расследованию дела (письмо, адресованное депутату Государственной думы Р. Малиновскому, попало в полицию), к поискам упомянутых «сознательных рабочих», а в конце концов даже к слежке за Есениным и к двум обыскам на квартире, которую он тогда снимал. Несколько месяцев полиция разыскивала «подписантов». Дело было не простым: одних «Есениных», как сообщил адресный отдел охранному отделению, в Москве в то время проживало аж 200 человек. Лишь через несколько месяцев после появления письма полиция всех «вычислила» и вышла на Сергея. За ним в начале ноября на целую неделю было установлено наружное наблюдение, был заведен специальный журнал, на обложке которого значилось: «1913 год. Кличка наблюдения – „Набор“. Установка: Есенин Сергей Александрович, 19 лет». Царская бюрократия бросила вызов бюрократии социал-демократической. Целую неделю филеры добросовестно заносили в журнал – в какое время Есенин выходил на работу, в какое – возвращался, когда заходил в «мясную и колониальную лавку», когда к нему на свидание приходила его гражданская жена Анна Изряднова. Ей тоже дали кличку – «Доска». Следили, писали, наблюдали целую неделю, а потом, видимо, решили, что толку не будет. На всякий

случай в ноябре произвели на квартире Есенина второй обыск. Первый был в сентябре. Ничего не нашли. Никаких прокламаций, никакой социал-демократической брошюры. И отстали.

Ну какие еще у Есенина были заслуги перед социал-демократическим движением? В начале 1913 года он помогал распространять журнал «Огни». Есть воспоминания о том, что иногда «приходил домой с целой охапкой прокламаций, возбужденный, взволнованный. Надо прокламации разослать по адресам». Видимо, Есенин бывал на каких-то рабочих собраниях и митингах. О том, чтобы выступал на них, – ничего не известно. Когда сытинская типография бастовала, естественно, не работал и он, то есть бастовал. Словом, у есенинских биографов 1950–1980-х годов были некоторые (хотя и весьма незначительные) основания предполагать, что Есенин играл в типографии роль эпизодического пропагандиста, маленького «винтика» большого пролетарского дела. Но пустячные поручения, которые довелось выполнять тогда Есенину, вовсе не заслуживают такого огромного количества страниц, посвященных исследователями данному эпизоду. В дальнейшем сам он не придавал никакого значения этой социал-демократической странице своей жизни. Ни в одной из нескольких своих последующих автобиографий он даже не упомянул ни о письме «сознательных рабочих», ни о прокламациях, ни о слежке за ним и двух обысках. О том, что бабушка таскала его за сорок километров в Радовецкий монастырь, о том, что дед «не дурак был выпить», о том, что он самой императрице стихи читал, – помнил, а о своем революционном прошлом – нет. Легенду о своих революционных заслугах он предоставил сочинять есениноведам. Но сам-то он умел сочинять легенды, как никто другой. Каким бы революционером-профессионалом мог изобразить себя Есенин в те времена, когда от этого зависело действительно многое – и репутация в глазах Троцкого, Луначарского или Кирова, и благосклонность цензуры, и издание книг (их тиражи могли быть не меньшими, чем у Демьяна Бедного), и получение квартиры. Маяковский в своей автобиографии не забыл ничего. Все вспомнил. А Есенин «забыл»... все начисто.

Сразу после второго обыска он с легкой иронией пишет Грише Панфилову: «Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все. Живется мне тоже здесь незавидно». Но почему? Из-за слежки и обысков? Нет, по другим причинам, о чем он дальше пишет уже безо всякой иронии: «Думаю, во что бы то ни стало удрать в Питер... Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала... Есть, но которые только годны на помойку, вроде „Вокруг света“, „Огонек“...»

Вот где собака зарыта, вот почему, побаловавшись игрой в «сознательного рабочего», Есенин начал собираться в Питер, который влечет его отнюдь не как «колыбель» будущей революции, а как средоточие настоящей литературной жизни.

* * *

Типография «товарищества И. Д. Сытина», где Есенин сначала работал грузчиком в экспедиции, а потом корректором, была крупнейшей в России. Каждая четвертая русская книга печаталась здесь. Сам хозяин приехал в Москву, будучи еще моложе Есенина (четырнадцати лет), из костромской глуши. Так же, как Есенин, без копейки в кармане. По-есенински, без отцовской помощи, поступил «мальчиком на побегушках» в книжную лавку на Никольском рынке, что раскинулся возле Китайгородской стены. (Есенин двадцатью годами позже, как и Сытин, зарабатывал какое-то время на жизнь в книжной лавке на Страстной площади.) Четыре года Сытин отворял в книжной лавке дверь посетителям. Но, как вспоминает писатель Н. Телешов: «Призванный „отворять двери“ в книжную лавку, Сытин впоследствии... во всю ширь распахнул дверь к книге, так распахнул, что через отворенную дверь он вскоре засыпал печатными листами города и деревни, и самые глухие „медвежьи углы“ России».

Интересы народного просвещения для Сытина всегда были выше интересов предпринимательских. Он был человеком из породы Третьяковых, Мальцевых, Сувориных, Морозовых, работавших для России и ценивших русского человека. «Это великолепный, может быть, лучший в Европе рабочий! Уровень талантности, находчивости и догадки чрезвычайно высок... Во главе моей фабрики, которая как-никак была самой большой в России и насчитывала сотни машин, стоял сын дворника, человек без образования и без всякой технической подготовки... Как он вел дело? Выше всякой похвалы», – писал уже после революции Сытин в книге воспоминаний.

...Три сестры – Анна, Серафима и Надежда Изрядновы, жившие тогда в Москве, были типичными «прогрессивными» девушками эпохи. Сами зарабатывали себе на жизнь, бегали на лекции и митинги, увлекались модными поэтами Бальмонтом, Северяниным, Ахматовой. Сергей Есенин при первой же встрече взволновал сердце Анны: «Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был... На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это». Как все случилось дальше, можно только гадать: то ли молодая Анна (носившая, кстати, особенно притягательное для поэта имя) влюбилась в «сказочного херувима», то ли он, страдавший от одиночества, ушедший от отца, без друзей в Москве, истосковался по чьей-нибудь заботе и ласке? Но, как вспоминает Изряднова, «ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать».

Молодые сняли комнатку возле Серпуховской заставы и начали семейную жизнь. Однако скоро выяснилось, что Есенин не из тех мужей, которые ищут счастья у семейного очага, в жене, детях, налаженном быте. «Жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить», – сетовала Анна. А думать между тем надо было: Анна ждала ребенка. Но Есенин словно и не замечал этого. Его внутреннее состояние резко и капризно меняется. Он мечется, не зная, как ему жить и что делать дальше. Жена ждет ребенка, а он летом 1914 года бросает работу в типографии: «Москва неприветливая – поедем в Крым». В Крым едет, но без жены – денег на двоих не хватает. О жизни поэта в Ялте можно судить по письму домой, которое сохранилось в архиве Екатерины Есениной.

«Дорогие родители!

Кланяюсь я вам и желаю всего хорошего. Папаша! Письмо я твое получил. Ты пишешь, когда я приеду в Москву, я готовлюсь ехать каждый день. Оставаться в Ялте опасно, все бегут. Вследствие объявленного военного положения в Севастополе тут жить нельзя. Я бы и сейчас уехал да нельзя. Все приостановлено. Теперь найму автомобиль до Симферополя со своими товарищами и поедем в Москву. Дела очень плохи. Никуда нельзя съездить. Почта большие пакеты не принимает. Я только выручил себя на стихах, в Ялтинской газете 30 к. за строчку.

Кругом паника.

Недавно я выступал здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Заработал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, брюки и башмаки, заплатил 7 рублей.

Остальные дела ни шиша не стоят.

Больше не пиши.

Скоро буду в Москве.

Любящий тебя сын Сергей Есенин.

Больше никуда никогда не поеду, кроме Питера и Москвы.

Тоска ужасная. Так и хочется плакать».

Из Крыма кое-как вернулся через месяц – Анна была вынуждена пойти на поклон к отцу Есенина и выпросила у него деньги на обратную дорогу для Сергея. Есенин возвращается, но, как вспоминает Изряднова, «опять безденежье, без работы, живет у товарищей». Чтобы как-то содержать семью, он снова в отчаянии идет на корректорскую работу в типографию Чернышева-Кобелькова. Но его энергии хватает всего лишь на два

месяца: «Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями... В конце декабря у меня родился сын» (*А. Изряднова*). Молодая жена уже почувствовала, что его «чистота» и «свет», его «нетронутая хорошая душа» предназначены не для семейной жизни, а для чего-то другого. Хотя, воротясь домой с ребенком на руках, она была тронута: «У него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: „Вот я и отец“... Твердить-то твердил, но «в марте поехал в Петроград искать счастья». От добра добра и от счастья счастья не ищут. Юная мать, видимо, понимала, что убранная квартира, обед с пирожными – это лишь трогательный эпизод, и с виноватой застенчивостью писала: «Есенину пришлось много канителиться со мной». Он же в это время был занят только мыслями о стихах, о будущей поэтической судьбе, и конечно же его первый брак (впрочем, как и все остальные) был обречен на неудачу. Несмотря на то, что Изряднова была верной и преданной ему женщиной, одной из тех, по воспоминаниям современницы, «на которых мир стоит».

В подобной ситуации разные поэты ведут себя по-разному.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить, —

писал о подобном периоде в своей жизни Борис Пастернак. Есенин бросить свое «ребячество» не мог и не желал. Но воспоминание о прошедшем осталось, и причудливым образом оно высветится в стихах 1916 года:

Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

О преданной ему Анне Есенин помнил всегда. В трудную для него осень 1925 года пришел именно к ней во Вспольный переулок, в ее полуподвальную комнатку, попросил затопить плиту, вытащил какой-то сверток с бумагами и стал бросать их в пламя. «В своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным» (*А. Изряднова*).

Точно так же незадолго до смерти Александр Блок сжег какие-то свои бумаги и записные книжки. У поэтов, видимо, есть предчувствие, когда им пора освободиться от лишних бумаг. Что сжег Есенин в сентябре 1925 года, мы не узнаем никогда.

В последний раз Анна Изряднова видела его перед роковой поездкой в Ленинград: «Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: „Что? Почему?“ – говорит: „Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру...“ Просил не баловать, беречь сына».

Не уберегла. Юрий Есенин был расстрелян 13 августа 1937 года в Москве, где и родился, по обвинению в подготовке покушения на Сталина.

* * *

В семидесятые годы XIX века в Москве вокруг довольно известного в то время поэта Ивана Сурикова образовался кружок литераторов, который стал называться Суриковским.

Он объединял начинающих писателей из рабочей и крестьянской среды и был тем очагом культуры, возле которого грелись не великие и не знаменитые, но по-своему тянущиеся к литературе люди.

Весной 1912 года в Суриковский кружок Есенина привел его московский знакомый, тогдашний руководитель кружка С. Кошкарлов. Есенин был принят сначала членом-соревнователем, а в начале 1914 года оформил свое полное членство, написав следующее: «Настоящим покорнейше прошу Совет кружка зачислить меня в действительные члены. Печатные материалы появлялись „Рязанская жизнь“, „Новь“, „Мирок“, „Проталинка“, „Путеводный огонек“».

Все перечисленные журналы были крохотными, малоизвестными детскими и юношескими изданиями. Но тем не менее для поэта все-таки был праздник, когда в журнале «Мирок» он увидел первое свое опубликованное стихотворение «Береза» под высокопарным псевдонимом «Аристон», заимствованным у Державина.

Правда, в письмах к Бальзамовой он сообщал ей о публикациях своих стихов под еще одним «красивым» псевдонимом – «Метеор», но эти материалы до сих пор не обнаружены, так же, как и первая публикация стихотворения «Сыплет черемуха снегом...», о котором через десяток без малого лет Есенин рассказывал Ивану Никаноровичу Розанову – своему возможному биографу, и которое уже содержало в себе мотив ожидания чудесного пришествия.

Радугой тайные вести
Светятся в душу мою...

Суриковский кружок был своеобразным профсоюзом, где существовала касса взаимопомощи, устраивались выставки, имелось слабенькое кооперативное издательство. Некоторое сектантство суриковцев было явлением неизбежным, потому что, отворачиваясь от питерской дворянской и интеллигентской литературы, они считали, что в их кружке «действительным членом может быть писатель, вышедший из народа и не порвавший с ним духовной связи». Этот народнически-классовый, вульгарный подход к литературе, своеобразная «махаевщина» на короткое время подействовали на Есенина и как бы «помрачили» его сознание, о чем свидетельствует одно из писем поэта к Грише Панфилову, в котором он выражает «симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Зла-товратский», и вдруг отказывает в любви Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Гоголю... («Гоголь – это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский...») Но вульгарное народническое помрачение (рецидив писаревщины) у Есенина быстро прошло и, к счастью, больше к нему никогда не возвращалось. Около года Есенин грелся возле суриковцев, слушал их стихи, «полные печали и гнева», призывающие народ к борьбе «с темными силами». Вершиной славы суриковцев было стихотворение Филиппа Шкулева «Мы кузнецы, и дух наш молод, кую мы к счастью ключи...». Есенин в подражание Шкулеву даже написал своего «Кузнеца»: «Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот. Зажигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод...» Однако поэт быстро понял, что путь социально-народнических деклараций не для него, и резко отошел от самостоятельности кружковцев.

Как это происходило – в 1926 году весьма выразительно рассказал критик и публицист Г. Деев-Хомяковский. Из его воспоминаний явствует, что суриковцы приняли Есенина лишь как перспективного общественника и пропагандиста передовых идей, умеющего писать стихи: «Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков-литераторов, но и на политическую работу... Под видом экскурсий литераторов мы... ввели Есенина в круг общественной и политической жизни... Сережа был очень ценен... как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы... Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник».

Им «казалось», а девятнадцатилетний Есенин между тем быстро постигал науку жить своим умом. Авторитетным старейшинам кружка – Кошкаррову, Дееву-Хомяковскому, Завражному, Арскому вскоре стало казаться странным, что юноша, которого заметили, обласкали, устроили на работу, не делает никаких усилий, чтобы стать хорошим «общественником». («Правда, нам через товарища Клейнборта удалось на некоторое время задержать падение Есенина».) Ему гораздо интереснее было ходить в университет Шанявского, вести переписку с питерскими журналами, постоянно отлучаться из Москвы то в Крым, то в Константиново, нежели распространять легальную и нелегальную литературу. Он уже не тот, каким был в первые месяцы дружбы с суриковцами, когда «выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны со значительным риском». Думается, что Деев-Хомяковский чересчур преувеличивает степень риска во время выступлений, но он отмечает, что вскоре Есенин «стал выказывать некоторую нервозность», стал тяготиться «безденежьем» суриковского кружка, не позволявшим кружковцам издавать свои книги. В марте 1915 года Сергей уехал в Питер. По словам председателя суриковцев, «с этого момента и начинается гибель Есенина как поэта-общественника и появляется поэт тоскующей лиры», «он окончательно ушел в салоны», «это возмутительное хождение Есенина по салонам... заставило кружок, вследствие ареста ряда товарищей... переживавший тяжелый кризис, порвать окончательно с ним [Есениным]».

В последнем письме, посланном суриковцами Есенину, «указывалось на его предательство делу рабочих и крестьян». Вот так. Ни больше ни меньше. Суриковцы даже после смерти поэта так и не поняли, что в 1915 году ему нужны были не маевки и нелегальщина, а лучшие поэты России, лучшие ее газеты и журналы, находящиеся в столице, лучшие издательства. А тут – Арский, Шкулев... Когда Есенин читал им свои стихи, то, по воспоминаниям очевидца, «они, искушенные поэты, просто пожимали плечами в крайнем недоумении и смущении... А когда он кончил читать, то все смотрели друг на друга, не зная, что сказать, как реагировать на совсем непохожее, что приходилось слышать до сих пор».

Любительский уровень Суриковского кружка Есенин перерос меньше чем за год. Но с ним считались. Когда зимой 1915-го он прочитал на очередном заседании стихотворение «Русь», то был избран в редакционную комиссию кружка и... тут же повел себя как хозяин. Он заявил, что уровень стихотворений, публикующихся в журнале суриковцев «Друг народа», жалок и что надо отбирать стихи более строго. Комиссия возмутилась, и Есенин был выведен из ее состава.

В отместку он через день принес старейшинам-суриковцам заявление: «Прошу Совет кружка вычеркнуть меня из числа действительных членов и возложенных на меня обязанностей кружка». Не очень грамотно, но зато очень ясно объяснил Есенин кружковцам, что делать ему у них больше нечего.

Когда речь шла о его поэтической судьбе, молодой Есенин умел принимать самые резкие решения и делать самые рискованные шаги, не обращая внимания на недовольство товарищей, помощников, меценатов. В будущем эта способность к разрывам и к стремлению жить своим русским умом не раз помогала поэту разговаривать на равных с самыми значительными людьми его эпохи.

* * *

Гораздо больше, нежели Суриковский кружок, дал Есенину народный университет имени Шанявского, который он начал посещать в сентябре 1913 года. Меценат польского происхождения, Альфонс Львович Шанявский, разбогатевший на золотых сибирских рудниках, в 1905 году предложил Московской городской думе «принять от него в дар дом в Москве для почина, в целях устройства и содержания в нем или из его доходов народного университета». Три года шли в Государственной думе дебаты о том, открывать его или не открывать. Пуришкевич не без оснований предупреждал депутатов, что новый народный университет может стать «источником новых вспышек революции». В том же духе

высказывался и министр просвещения Шварц. Однако сопротивление охранителей и консерваторов было в конце концов сломлено, и в 1913 году университет открылся. Преподавателями института были поэт Валерий Брюсов, критик Юлий Айхенвальд, ботаник К. А. Тимирязев, физик П. Н. Лебедев, московские гуманитарные профессора П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, М. Н. Сперанский.

Полтора года университета дали Сергею Есенину ту основу образования, которой ему так не хватало до сих пор.

«Слушаем лекцию профессора Айхенвальда, – вспоминает однокашник Есенина по университету Б. Сорокин, – он почти полностью цитирует высказывание Белинского о Боратынском. Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу, как его рука с карандашом бежит по листу тетради: „Изо всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит Боратынскому“. Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает. После лекции идем на первый этаж. Остановившись на лестнице, Есенин говорит: „Надо еще раз почитать Боратынского“».

Вместе с товарищами-шанявцами, будущими поэтами Василием Наседкиным, Николаем Колоколовым, Дмитрием Семёновским, Есенин наслаждается культурной жизнью Москвы, посещает Третьяковскую галерею, где на него производят сильное впечатление картины Поленова, Репина, Левитана.

– Смотрел Поленова. Конечно, у «Оки» его задержался, и так потянуло от булыжных мостовых домой, в рязанский простор, – обмолвился он как-то Борису Сорокину.

Их компания собирается в маленькой квартирке студентки Марии Бауер, дочери богатого сибирского промышленника, впоследствии, в 1930-е годы, проходившей по «делу» старшего друга Есенина критика Иванова-Разумника и отправленной после этого в ссылку. Мария угощает их чаем с пирожными, кокетничает с Есениным, предлагает всем вместе пойти на «Вишневый сад», посмотреть тогда уже знаменитых актеров – Качалова, Москвина, Леонидова, Книппер-Чехову... «В антракте... облокотившись на кресло, Сергей молчит. И только когда Наседкин спросил его, нравится ли спектакль, он, словно очнувшись, сердито проронил: „Об этом сейчас говорить нельзя! Понимаешь?“» (Н. Саратовский).

На одном из поэтических вечеров в университете Есенин прочитал новые стихи:

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Свое впечатление от стихов один из студентов выразил так:

– Особенно хороши были стихи о деревенской природе. Как на свежий стог сена сел...

Именно в университете Есенин основательно знакомится с европейской и американской литературой, впоследствии он свободно будет ориентироваться в ней, вспоминая произведения Данте, Шекспира, Оскара Уайльда, Эдгара По, Лонгфелло, Уитмена.

Услышав о молодом поэте, его приглашает к себе маститый профессор Сакулин, просит почитать стихи. «Отзыв критика был, по-видимому, очень лестен для Сергея. Из передаваемых им подробностей этого визита я помню, что стихотворение „Выткался на озере...“ Сергей для Сакулина читал дважды» (Н. Сардановский).

Но с кем бы он ни встречался, какие бы разговоры и споры ни вел, а к концу 1914 года он все чаще и чаще повторял:

– Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет!

Недаром французская поговорка гласит: «Поэты рождаются в провинции, а умирают в столице». Судьбоносное решение было окончательно принято. В марте 1915-го Есенин сошел на платформу Николаевского вокзала. Не зная, где искать Блока, побрел по Невскому, увидел большую книжную лавку, зашел. Робко спросил продавца, не знает ли он, где живет поэт Александр Блок. Продавец, к счастью, знал адрес...

По сравнению с тем юношей, который появился в Москве три года назад, Есенин, идущий по Невскому, был уже совершенно другим человеком. За эти три года он навсегда расстался с мыслью о работе, о службе, о постоянном заработке. Его будущая жизнь виделась ему только как жизнь поэта, только как жизнь свободного художника.

Ясно ли, смутно ли, но он уже понимал, что поэзия окончательно взяла его душу в полон, что не его судьба – семья, дети, жена, уют, покой. Ни сил, ни желания для этой столь необходимой каждому обычному человеку стороны жизни у него не будет. Женщины, романы, увлечения – другое дело, как же поэту без них?

Он навсегда расстался с мыслями о своем месте в революционном движении, о социал-демократических соблазнах, с мыслями о нелегалитине, общественной работе, политической карьере. Он поэт. А все, что с ним произошло, – лишь временная лихорадка молодого незрелого ума.

Он навсегда расстался с иллюзиями удобного самодельного полуграфоманского существования при всякого рода кружках и литобъединениях типа Суриковского. Он – Сергей Есенин, а они – все остальные.

Он понимал, что таких исповедальных писем, какие ему довелось писать Грише Панфилову, он больше никому и никогда не напишет. Во всех будущих письмах он откровенен, но в меру, практичен, прикрыт маской, защищен тем пониманием жизненного успеха, о котором сказал в «Черном человеке»: «Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство». А вся исповедальная энергия его души отныне только в стихах.

Глава четвертая Восхождение на Парнас

Быть в траве зеленым, а на камне серым...

Н. Клюев

Итак, к весне 1915 года девиз Есенина «В Москву! В Москву!» сменился на другой: «В Петербург! К Блоку! К Блоку!»

Но в «Автобиографии» поэт пишет нечто другое:

«19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде». Как бы случайно попал, по пути, проездом. А вообще мог бы и не заезжать... Лукавил Есенин, лукавил. Не хотелось ему, признанному поэту, в 1923 году, когда он сочинял свою очередную автобиографию, признаваться читателям в том, что в Москве он спал и видел, как бы добраться до столицы, до короля поэтов Александра Блока, добиться признания петербургской элитой его, Сергея Есенина.

С высоты достигнутого опыта и всероссийской славы эти честолюбивые планы, видимо, уже казались Есенину умяляющими его достоинство, и поэт умело замаскировал их: «попал проездом»...

Анатолий Мариенгоф, по всей вероятности, был более точен в «Романе без вранья», где привел слова Есенина:

«Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом...»

Возможно, что Есенин держал в уме: если его попытка завоевать Петербург будет неудачной – тогда делать нечего, придется ехать в Ревель. Но скорее всего он прогнал от

себя всякие мысли о неудаче. Петербург должен пасть перед его, Есенина, натиском. Путь к завоеванию столицы лежал через признание Есенина Блоком. Недаром, не теряя ни одного дня, прямо с вокзала, он отправился на Офицерскую. Не застав Блока, написал ему записку: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин».

И, как охотничья собака по следу, ринулся Есенин на поиски Блока по Петербургу. Сначала в редакцию «Огонька». Блока там не было. Подождал в приемной какое-то время, нервничал, комкал свою старенькую кошачью шапку; когда в приемную редактора, где он сидел, отворилась дверь, с надеждой вскидывал голову: кто пришел? Уж не Блок ли? Не вытерпел: а вдруг Блок уже воротился домой, а он здесь сидит, теряет золотое время. Попросил клочок бумаги, на котором торопливо и уже безо всяких подробностей и безо всякого политеса нацарапал: «Я – поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». Записка, по сравнению с той, которую Есенин оставил на квартире Блока, была глуповатой и бестактной, но он от волнения уже не понимал ничего. Хлопнул дверью и помчался на Офицерскую. Дверь квартиры ему отворил сам Александр Александрович. Высокий, статный, замкнутый, в темной домашней фланелевой куртке с белым воротничком. Через десять лет после того свидания уже знаменитый Сергей Есенин напишет в последней своей «Автобиографии»:

«Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта».

Тем самым Есенин сразу как бы отделил и Блока, и себя от всех якобы поэтов, с которыми ему пришлось встречаться в трехлетний московский период жизни. Всем «суриковцам» и всем «шанявцам» – Колоколову, Семёновскому, Филипченко, Белоусову, Кошкаррову, Шкулеву, – всем им, недавним своим товарищам и наставникам, Есенин отказывал в высоком звании поэта, потому что «не капал у него пот со лба», когда он встречался с ними...

Вскоре он встретился с Зинаидой Гиппиус и Мережковским, навестил живших в Царском Селе Ахматову и Гумилева, осенью побратался с Николаем Клюевым, приехавшим в Питер, чтобы познакомиться с рязанским Лелем... Но пот на лбу, оттого что видел «живых поэтов», уже более не проступал ни разу.

Петроград 1915–1916 годов жил призрачной жизнью. Прошлое интересовало петербургскую художественную элиту куда больше, нежели непонятное настоящее и грозное будущее.

Петербургские снобы жили в мире Оскара Уайльда и Обри Бердслея, Эрнста Теодора Амадея Гофмана и Карло Гоцци, встречались на спектаклях, воспроизводивших античные и средневековые сюжеты, на выставках старинных портретов, дорогого фарфора, мебели XVIII века, гравюр.

Особняки и квартиры меценатов, модных артистов и художников были обставлены так, словно они жили во времена Людовика XVI или в крайнем случае Александра Благословенного. Преобладал стиль модерн, но коллекции составлялись из мебели и безделушек самых разных эпох. Костюмы, прически, манеры – все дополняло этот грандиозный исторический маскарад... Любовь к маскараду в среде петербургской богемы подогревал замечательный поэт и лицедей Михаил Кузмин, с его культом игрушечности окружающего мира, в котором жизнь упрощалась до своеобразного мюзик-холла на сцене «Бродячей собаки», до костюма и прически.

Есенин, пожелавший завоевать художественный Петербург, не мог, естественно, миновать его соблазнов, о которых предупреждал Александр Блок:

«За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души: сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло».

С легкой руки Александра Блока, давшего Сергею Есенину рекомендательные письма к поэту Сергею Городецкому и влиятельному журналисту из «Биржевых ведомостей» Михаилу Мурашеву, начинается есенинское восхождение к славе в северной столице.

Мариенгоф, сильно шаржируя, так передавал рассказ Есенина:

« – Знаешь, как я на Парнас восходил?.. Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? – Ввел. Клюев ввел? – Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? – Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел – скопил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уже он тоненьким таким голосочком: „Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах!..“ – и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои „ахи“ расточая тоненьким голоском. Сам же я скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!.. Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: „Не надо ли чего покрасить?..“ И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: „Так-де и так“. Явился сам барин. Зовет в комнаты – Клюев не идет: „Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощенный наслежу“. Барин предлагает садиться. Клюев мнетя: „Уж мы постоим“. Так, стоя перед баринком в кухне, стихи и читал...»

Наверное, за исключением некоторых деталей, дело обстояло именно так, но Есенину повезло в том, что петербургское общество было в известном смысле подготовлено к его появлению.

Мистическая, экзальтированная любовь к России во время войны достигла своего апогея. Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и Рериха, увлечение вышедшим из олонецких лесов Николаем Клюевым, новые дворцы в древнерусском стиле – все это как бы увенчалось появлением чудесного гостя, вестника, гения из народа, который, в отличие от Клюева, завоевал не только умы, но и сердца пресыщенных искусством петербуржцев.

«Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда», – так написал в 1926 году один из первых покровителей Есенина в Петербурге Сергей Городецкий.

«Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь, но даже такие „мэтры“, как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой» (Р. Ивнев).

Итак, приехав в Петербург 9 марта и в тот же день встретившись с Блоком, 11 марта Есенин – уже у Городецкого. От него получает два рекомендательных письма – к журналисту С. Либровичу, а также к издателю «Ежемесячного журнала» В. С. Миролюбову с просьбами помочь, напечатать, дать авансы, заплатить хорошие гонорары – поскольку появился «новый юный талант» из народа.

Михаил Мурашев, к которому Есенин пришел с запискою от Блока, радушно принимает юношу, кормит обедом, слушает его стихи, оставляет ночевать, а утром отправляет сразу в несколько редакций со своими рекомендательными письмами. Публикации стихов Есенина и отзывы о нем посыпались, как из ведра. Поэта наперебой стали приглашать в салоны петербургских меценатов и на литературные вечера.

Поэт Всеволод Рождественский вспоминает, как уверенно и в то же время умно вел себя Есенин в редакциях тогдашних чопорных журналов.

...Он вошел в приемную редактора, окинул взглядом не без некоторой дерзости всех ожидающих приема – сесть было негде. Распознав в юноше в потертой студенческой тужурке начинающего поэта, Рождественского, он решительно направился к нему через всю комнату.

– Может, вдвоем поместимся? – широкая улыбка сузила его лукавые глаза. – Стихи? – спросил он шепотом.

– Стихи! – ответил ему студент.

Молодые поэты разговорились, а когда к концу их беседы выяснилось, что редактор, которого они ожидали, давно уехал, Есенин расхохотался:

– Ловко! А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного! Ну да ладно! Я еще своего добыю. Будут Есенина печатать!

28 марта 1915 года Есенин был на вечере поэтов в Зале армии и флота, где выступали Александр Блок, Игорь Северянин, Федор Сологуб. Вечером он уже в гостях у молодых поэтов Рюрика Ивнева и Кости Ляндау. А через день читает стихи в редакции «Нового журнала для всех» вместе с Осипом Мандельштамом, Георгием Ивановым, Георгием Адамовичем.

Литературный быт Петербурга той эпохи, достаточно рельефно изображенный Анной Ахматовой в «Поэме без героя», был конечно же странен и удивителен для Есенина. Он сразу почувствовал, что интерес к нему в этом обществе – не всегда чист и бескорыстен.

В литературных салонах его окружили молодые поэты, равнодушные к женщинам, остроумные сплетники, представители не столько золотой, сколько «голубой» молодежи. Они пудрили щеки, мазали помадой губы, подкрашивали брови и ресницы. Их называли «юрочками», имея в виду самого типичного из этой среды Юрия Юркуна, интимного друга Михаила Кузмина, петербургского «александрийца». Такая же атмосфера была и на вечеринках у Рюрика Ивнева, где однажды Сергея Есенина, который был «гвоздем» вечера, настойчиво попросили спеть частушки, причем обязательно «похабные»... Сергей с легкой ухмылочкой согласился, однако простая деревенская похабщина не заинтересовала изысканных снобов. По углам шушукались одинокие парочки, то ли посмеиваясь над Есениным, то ли увлеченные своими интимными отношениями. Есенин, обескураженный, стал сбиваться, петь с перерывами, нескладно и невесело. Ему стало не по себе. И когда чей-то голос громко произнес что-то изощренно непристойное, Есенин оборвал частушку на полуслове. Наступило общее неловкое молчание, и развлечение бесславно закончилось.

По-другому было на вечерах в богатых буржуазных салонах. За ним ухаживали, ему удивлялись, ахали, охали, его лорнировали толстые дамы, ему подавали угощение на коллекционном фарфоре, он читал стихи, сидя на золоченых стульях, вдыхая дым благовонных дорогих папирос, которыми дымили под шартрез отцы семейств. Внутренне посмеиваясь над публикой, поэт читал:

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Дамы изнывали от восторга:

– Как вы сказали? «Ухватами»? Прелестно!

– Махотка? Ах, это замечательно! Вы слышали, милочка, как он произнес: «Махотка!» «Мо-ло-ко!» «Ко-ро-ва!» Ну конечно же, он истинный поэт! И кудри, крупные какие, поглядите! Пастушок, истинный пастушок!..

Молодой Есенин улыбался, позволял гладить себя по «бархатной шерсти», воспринимая эти благоглупости спокойно, в чем сказывалась его крестьянская благовоспитанность. Лишь иногда в глазах загорался недобрый огонек и чувствовалось, что долго такое добродушие длиться не может.

На всю жизнь Есенину запомнился вечер в салоне Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Хозяйка навела на него лорнет и с холодной издевкой спросила:

– Что это на вас за гетры?

Есенин, опешив, что с ним тогда случилось редко, ответил:

– Это валенки!

Прозорливая ведьма не успокоилась:

– Вы вообще кривляетесь!

Несмотря на ставший уже привычным свой успех в ее салоне, Есенин всю жизнь не мог простить Зинаиде Гиппиус унижения и растерянности, которые тогда испытал.

В очерке «Дама с лорнетом», написанном уже после возвращения из-за границы, Есенин дал волю своему застарелому гневу, назвав Мережковского «дураком и бездарностью», а Гиппиус – «лживой и скверной». По правде говоря, это было ответом на фельетон Мережковского о Есенине, опубликованный в парижской газете, где почтенный эмигрант тоже не постеснялся в выражениях. Любопытно, однако, что Есенин «расплевывается» с Гиппиус, но помнит, что когда-то, в 1915 году, она написала о нем в «Голосе жизни» хвалебную статью под псевдонимом «Роман Аренский» («Хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные...»). Такое признание означало для него в те времена многое. Недаром в своем первом письме Николаю Клюеву от 24 апреля 1915 года Есенин не преминул сообщить о статье Зинаиды Гиппиус.

О том, что юноша уже тогда был себе на уме, все запоминал и вел свою игру, свидетельствует его письмо к Н. Ливкину, написанное через год с лишним после посещения «дамы с лорнетом».

«Когда Мережковский, Гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скитании... Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их – и с деньгами, и со всем, что в них есть... Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны».

Есенин кое-что придумывает и преувеличивает в этом письме («ночлежки», «взять за горло»), но ясно одно: к славе и успеху он идет самым кратчайшим путем, понимая, как надо использовать всех журналистов, всех издателей, всех хозяев салонов, встречающихся на его пути и равнодушных к нему... Лишь к немногим из них он сохранил на всю жизнь бескорыстные и дружеские чувства.

Он очень рано сообразил, какими средствами достигаются успех и слава. Пристально следил за журналами и газетами, вырезал все, что они писали о нем. Бюро вырезок, существовавшее тогда в Петрограде, присылало ему все отзывы и рецензии на его стихи. Есенин, живший в то время весьма стесненно, не жалел на это денег.

В ответ на наивное и хвастливое письмо Есенина, где тот сообщал о своих успехах («Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли „Северные записки“, „Русская мысль“, „Ежемесячный журнал“ и др.»), о статье Гиппиус, о том, что «осенью Городецкий выпускает мою книгу „Радуница“», – Николай Клюев, прошедший до Есенина все соблазны питерских салонов, летом 1915 года присылает ему письмо, которое, видимо, было для Есенина чрезвычайно важным и которое, несомненно, помогло ему выжить и не отравиться угаром салонной славы.

Многое из того, что Есенин ощущал инстинктивно, у Клюева было взвешено, измерено и четко сформулировано. Они еще не знакомы. Клюев знает Есенина лишь по стихам и по двум письмам. И тем не менее открывает ему свою душу, делится своим опытом, и поистине после такого письма брат Николай мог написать в «Плаче о Сергее Есенине» после его смерти: «Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка».

«Голубь мой белый... Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем... Особенно я боюсь за тебя: ты, как куст лесной щипицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драченами объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском... Быть в траве зеленым, а на камне серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, между тем как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь „Бродячей собаке“, где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наименее несчастным существом... Я холодею от воспоминания о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей

публики... Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: „Да, хорошо быть крестьянином“... Видите ли – неважен дух твой, бессмертное в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, заговорил членораздельно...»

Несомненно, что такие предостережения были необходимы Есенину. Каким бы здоровым и трезвым умом ни обладал он сам – трудно было ему, девятнадцатилетнему, понять, где лесть, где зависть, где искреннее чувство, слишком уж по-ребячески наивно относился он к каждой своей публикации, к каждой статье или газетному отчету, где упоминалось его имя.

«Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось...» (из воспоминаний М. Мурашева).

А имя его все чаще и чаще попадало на страницы самых разных изданий. И несомненно то, что Есенин, собиравший все упоминания о себе, прочитывал эти номера газет и журналов вдоль и поперек. А исторический, политический и социальный фон, отраженный в изданиях 1915–1916 годов, был чрезвычайно поучителен.

Газета «Кубанская мысль» от 29 ноября 1915 года опубликовала стихотворение Есенина «Плясунья».

Ты играй, гармонь, под трензель,
Отсыпай, плясунья, дробь!
На платке краснеет вензель,
Знай прищелкивай, не робь!

В этом же номере статья П. Кузько «О поэтах из народа» – Есенине, Клюеве, Городецком. И тут же информация «Еще о „черном съезде“», в которой журналист издевается над черносотенцами, сеющими панику от предчувствия какой-то наступающей мифической революции: «А шумят-то как! В России – революция, Москва и Петроград уже захвачены революционерами. Отечество на краю гибели». (История показала, кто был прав – прогрессивный журналист или реакционеры-черносотенцы.)

В солидных «Биржевых ведомостях» от 13 декабря 1915 года опубликовано стихотворение Есенина «В лунном кружеве украдкой...», тут же – информация об отъезде государя императора в действующую армию, но что самое любопытное – газета призывает своих читателей подписаться на 1916 год и привлекает их списком авторского актива газеты. В нем наряду с литературными знаменитостями В. Брюсовым, А. Блоком, Л. Гумилевым, А. Куприным, Вяч. Ивановым, Д. Мережковским – философы Н. Бердяев и Л. Карсавин, политические вожди В. Маклаков и П. Струве, академик Рерих, профессор Ф. Зелинский и... девятнадцатилетний юноша Есенин, который лишь несколько месяцев назад переступил порог салона Мережковских и вытирал пот со лба при свидании с Александром Блоком!

В этом же номере – информация о вечере поэзии Бальмонта («Лекции Бальмонта были похожи не на лекцию, а на литургию солнцу, огню и луне»).

Рядом, в рубрике «Летопись войны», – «Записки кавалериста» Николая Гумилева – о буднях войны, ее бестолковщине, об окопах, залитых водой, об отступлении, о смертях и ранениях.

И конечно же опять о черносотенцах. Не могла же уважающая себя газета не пинать тогда в каждом номере этих замшелых антисемитов, то и дело пугавших общество якобы приближающейся революцией!

«Петроградские ведомости» от 11 июня 1915 года:

«Из рязанской губернии приехал 19-летний крестьянский поэт Сергей Есенин. Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделял лучшее в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами. Стихи его очаровывают прежде всего своей

непосредственностью; они идут прямо от земли, дышат полем, хлебом и даже прозаическими предметами крестьянского обихода».

Автор рецензии цитирует стихотворение «Пахнет рыхлыми драченами...» и продолжает:

«Вот поистине новые слова, новые темы, новые картины! В каждой губернии целое изобилие своих местных выражений, несравненно более точных, красочных и метких, чем пошлые, вычурные словообразования Игоря Северянина, Маяковского и их присных».

Автор заметки – Зоя Бухарова. «Петроградские ведомости» были авторитетной официальной газетой с эмблемой Государственного герба России – двуглавым орлом – и примечанием: «Сто восемьдесят девятый год издания».

4 ноября 1915 года тот же автор в той же газете публикует рецензию на вечер «Красы» – литературной группы «крестьянских» поэтов и писателей, созданной в 1915 году Сергеем Городецким и Алексеем Ремизовым.

Вечер состоялся 25 октября в концертном зале Тенишевского училища. Рецензентша была очарована Есениным и Клюевым.

«Когда-нибудь мы с восторгом и умилением вспомним о сопричастии нашем к этому вечеру, где впервые предстали нам ясные „ржаные лики“ двух крестьянских поэтов, которых скоро с гордостью узнает и полюбит вся Россия...

Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкой вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу уже одним милым доверчиво-добрым, детски чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на "о" рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни («Русь»), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, когда перед нами предстал овеванный ржаным и лесным благоуханием «Божией милостью» юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля».

17 апреля 1916 года «Биржевые ведомости» напечатали одно из лучших стихотворений Есенина тех лет «Запели тесаные дроги...», а на первой полосе – размышления сербского премьера Николая Пашича, которыми он поделился с корреспондентом газеты незадолго до Сараевского выстрела: «Сербия навсегда связала свою судьбу с судьбой России. Мы, если привязываемся, то навеки, всем сердцем, и никакие испытания не могут поколебать сербских тяготений к своей защитнице... Великая война неизбежна, и тогда-то Россия убедится, кто будет верен ей». Может быть, прочитав это пламенное слово, Есенин написал сонет о войне, в котором обратился к Греции: «Возьми свой меч, будь Сербии сестрою».

Летом 1915 года Сергей Есенин, по свидетельству сестры поэта Екатерины, за 18 ночей набросал вчерне повесть «Яр», которая вскоре была опубликована в журнале «Северные записки».

20 апреля 1916 года в «Биржевых ведомостях» появилась статья Измайлова «Темы и парадоксы». Статья о Горьком, но одновременно рецензент обращает внимание и на повесть Есенина, что само по себе было необычным (мировая знаменитость и молодой поэт, начинающий прозаик!). Г-н Измайлов понимает, что «Есенин отнюдь не сторонник Горького», он называет его «свободным писателем» и заключает, что Есенин в повести, видимо, хотел произнести проклятие деревне, а изрек «благословение». Но дело даже не в оценке первого прозаического опыта Есенина, а в отрывках из публицистики Горького, приведенных в статье, из которых видно – где, в каких салонах и каким людям приходилось в то время читать стихи Сергею Есенину: «Наживая огромные деньги без труда, без забот, люди болезненно стремились к развлечениям: кабаки и театры битком набиты, развилась маниакальная страсть покупать предметы роскоши. Уж если мы можем похвастаться чем-то перед Европой, так это тем, что у нас воруют бесстыднее и больше...»

Любопытен номер «Биржевых ведомостей» от 10 января 1916 года. Рядом Есенин – стихотворение «Лисица» – и Блок – «Мадонна», некролог А. Куприна, посвященный Анатолию Дурову. А в следующем номере продолжение «Записок кавалериста» Н. Гумилева, которое стоит того, чтобы его процитировать:

«Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать в „гражданстве северной державы“, то они незаменимы „в ее воинственной судьбе“, а поэт знал, что это – одно и то же».

Есенин как комета ворвался в сонм петербургских светил.

В номере «Биржевых ведомостей» от 25 декабря 1915 года, посвященном «Дню Рождества Христова», – целый парад планет: новелла Леонида Андреева, стихотворения Мережковского, Бальмонта, Бунина – и Есенин:

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Любопытно, что отрывок из «Возмездия» Александра Блока о Польше и Варшаве, начинающийся строкой «Страна под бременем обид...», напечатан здесь с цензурным исправлением одного блоковского слова:

Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных прусских пошляков?

Но ведь у Блока было «русских пошляков», а цензура, видимо, воспользовавшись тем, что в то время Варшава находилась под немецкой оккупацией, ловко отредактировала строчки Блока, написанные задолго до начала войны.

Анна Ахматова весной 1965 года в разговоре с литературоведом А. П. Ломаном вспомнила, как именно этот номер «Биржевых ведомостей» на Рождество полувековой давности привезли в Царское Село ей и Николаю Гумилеву Сергей Есенин и Николай Клюев:

«Видимо, это было уже на второй или третий день Рождества, потому что он привез с собой рождественский номер „Биржевых ведомостей“. Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, Есенин весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его „вечный спутник“ Клюев.

– Как же, высокочтимая Анна Андреевна, – расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, – мой Сереженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская «знать», как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты – Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремизов, Скиталец, Сологуб, Тренев, Тэффи, Шагинян, Щепкина-Куперник, и Есенин, и Клюев. Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя...

Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имен и каких-то идей, ведь ему было всего двадцать лет, и он был, или только казался мне, страшно открытым.

Но я чувствовала, что ему очень хочется прочесть его стихи, и попросила прочитать. Он назвал меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать – Сережа, но это противоречило бы всем правилам неписаного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей «вере», вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович.

И он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения, жесты были угловаты.

Край родной! Поля, как святцы,
Рощи в венчиках иконных...
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы – кроткие монашки...

Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые, он считал, имеют особое значение, растягивал, и они действительно выделялись...

Я просила еще читать, и он читал, а Клюев смотрел на него просто влюбленными глазами, чему-то ухмыляясь. Читая, Есенин был еще очаровательнее. Иногда он прямо смотрел на меня, и в эти мгновения я чувствовала, что он действительно «все встречает, все примет», одно тревожило, и эту тревогу за него я так и сохранила, пока он был с нами, тревожила последняя строка: «Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть...»

Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был спорить. Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится – уж очень красивые и «о любви много», только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно...

Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви – у него преобладала любовь к далекой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские, и, может быть, поэтому я его в те годы всерьез не принимала...»

Эта запись, сделанная Александром Петровичем Ломаном, дальним родственником царскосельского полковника Ломана, опровергает усиленно внедряющуюся много десятилетий легенду о том, что Ахматова якобы не любила поэзию Есенина.

Воспоминания эти довольно обширны, мы процитировали лишь малую часть, относящуюся к 1915 году, а заканчиваются они так: «Ушел поэт, а это всегда катастрофа. После смерти Блока, ошеломившей меня, это была вторая утрата».

А в тот рождественский день поэты дружески расстались. Ахматова подарила Есенину свою поэму «У самого моря», вырезанную из журнала «Аполлон», с надписью: «Сергею Есенину – Анна Ахматова. Память встречи. Царское Село 25 декабря 1915 года». Николай Гумилев подарил ему свой сборник стихотворений «Чужое небо» с подобной же надписью...

* * *

Внешняя канва жизни Есенина в 1915 году заплеталась и завязывалась всяческими узелками.

9 марта, в день приезда Есенина в Питер, вышел царский указ об очередном призыве на военную службу, а к концу апреля Есенин отправился в Рязань на призыв в армию. По пути он заехал в Москву, навестил Анну Изряднову с сыном. Менее двух месяцев не было его в Москве, и любящая женщина заметила, что в нем произошли разительные перемены. Он был

уверен в себе, излучал обаяние человека возмужавшего и окрыленного, усмехался. «Приехал в Москву уже другой», – вспоминает Анна.

В конце мая Есенин приезжает в Рязань – на место призыва, но от армии ему удалось отвертеться. «От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли», – писал поэт петербургскому актеру Чернявскому. Поскольку со зрением у него всегда все было в порядке, можно предположить, что Есенин симулировал какой-то дефект. На самом деле 12 июня на заседании Совета министров Николай II предложил передать вопрос о призыве ратников на обсуждение Государственной Думы и Государственного Совета. В результате призыв ратников II разряда был отложен на осень.

Летом 1915 года Сергей Есенин писал тому же В. Чернявскому:

«Дорогой Володя!.. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере».

Бесполезно было до последнего времени искать в изданиях подробный комментарий к инициалу К. А между тем здесь идет речь о Леониде Каннегисере, гимназисте, поэте, будущем убийце Моисея Урицкого...

Вот отрывок из эссе Цветаевой «Нездешний вечер» с описанием собрания поэтов в начале января 1916 года.

«Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Лёня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостинной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее.) Ленина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Ленины карие миндалины».

Каннегисер, очевидно, стал одним из его первых петербургских знакомых наряду с Владимиром Чернявским, Рюриком Ивневым, Константином Ляндау. Они принадлежали к той «золотой молодежи», которая часто посещала салон Евдокии Наградской, где Есенин сразу же стал ощущать себя личностью чужеродной. Но лучших из этой молодежи он сразу выделил и потянулся к ним, как и они к нему. Среди этих немногих был Леонид Каннегисер.

Четыре письма Каннегисера – это все, что сохранилось из его переписки с Есениным. После 1917 года они, очевидно, не встречались, и Есенин никогда впоследствии не упоминал о друге, поэте, своей рукой уничтожившем кровавого палача Петрограда и погибшем в застенках ВЧК.

Впрочем, Есенин послал как бы прощальный привет Леониду в январе 1925 года, одновременно оспаривая наивную восторженность своего друга, которая владела им в дни февральской революции и воплотилась в стихотворении, написанном 27 июня 1917 года в Павловске.

На солнце сверкая штыками, —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос, – запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.
И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,

И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню – Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Почти через десять лет Есенин в «Анне Снегиной» с печальной улыбкой вспомнит своего восторженного друга и его стихи, и свою собственную восторженность, нахлынувшую в первые дни февраля, и подведет решительную черту под той «краснобанточно-лимонадной» эпохой краснобайства и фарисейства, непосредственно отталкиваясь от ликующего гимна молодого мстителя, так страшно закончившего свою жизнь:

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над страной калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

...Письма Сергея Есенина Л. Каннегисеру не найдены по сей день. Возможно, они были изъяты у Каннегисера при обыске его квартиры и уничтожены, а может быть, след их отыщется в архивах петроградской ВЧК.

Из писем Леонида Каннегисера Сергею Есенину:

21 июня 1915 года

«Свободны Вы на лето или нет? Если свободны, то пишите мне сейчас, когда думаете отправляться в путь, – я складываю вещи, котомку на плечи, за Вами в Кузьминское – и мы идем вдоль Оки до самого Нижнего. Так ведь мы с Вами решили?»

21 июля 1915 года

«Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) – мне всегда вспоминается Константиново, и не было еще ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его».

25 августа 1915 года

«А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестренки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провел у вас. А где теперь твой приятель Гриша? Помнишь: „проводила мужа – под ногами лужа...“ Я-то помню, и даже очень, как все, что касается милого Константинова. Помню, как мы взлезли с ним втроем на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был красивый вид!»

С.-Петербург, 11 сентября 1915 года

«Очень жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати – мне мало... Твой Лёня».

Летом 1915 года Есенин чуть ли не каждый день уходил в свой любимый овин и писал, писал. Кроме повести «Яр», закончил рассказы «У Белой воды», «Бобыль и Дружок». Когда надоедало свивать затейливую ткань прозы, выходил по вечерам на берег Оки за церковь, смотрел на покосные станы, на шалаши, над которыми тянулись дымки от костров, мерцающих то здесь, то там на огромном пространстве пойменного луга.

Отдыхая от повести и рассказов, играючи написал несколько стихотворений – «Я странник убогий...», «Корова», «Белая свитка и алый кушак...», «Табун»...

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями золотой налет со дней.

Эти строчки очень понравились ему, повторил раз, другой, щелкнул от радости языком, засмеялся. Слава Богу, что на недельку приехал Лёня Каннегисер, побродил с ним по старым заокским тропам, удалось передохнуть от каторжной добровольной работы. Это же надо – повесть «Яр» за восемнадцать дней написал!

Но на всякий случай Есенин в письме В. Чернявскому из деревни изображает себя не «работником в поте лица», а «гулякой праздным», легкомысленным поэтом, не придающим никакого значения своим архивам и черновикам: «Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать».

В конце сентября, получив письмо от Клюева, в котором тот извещал, что будет в Петрограде до 5 октября, Есенин заторопился; с Клюевым повидаться надо обязательно, ну и через Москву не проскочишь разом, жену да сына следует навестить.

«Осенью опять заехал, – с грустью вспоминала Анна Изряднова. – „Еду в Петроград“. Звал с собой... Тут же говорил: „Я скоро вернусь, не буду жить там долго“ ... Вот так было всегда: зовет с собой, а „долго жить“ не собирается».

Роковое свидание с Клюевым положило начало их легендарной «дружбе-вражде», в глубинах и тонкостях которой до сих пор разбираются литературоведы и биографы.

* * *

Клюев приезжает в Петроград и пишет Есенину письмо, полное дружеских излиятий, братских чувств и столь свойственной для него в письмах к Есенину экзальтации: «Я смертельно желаю повидаться с тобой – дорогим и любимым, и если ты – ради сего — имеешь возможность приехать, то приезжай немедленно».

Скорее всего они встретились и познакомились осенью у Городецкого, который помнит, как Клюев «впился» в Есенина. «Другого слова я не нахожу для начала их дружбы... Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением... Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время».

Что же увидел Клюев в молодом поэте и почему поистине «впился» в него? На этот вопрос пытались ответить многие мемуаристы и исследователи, останавливаясь в своих изысканиях перед некой невидимой чертой.

Клюев увидел в Есенине то, что не увидели ни Гиппиус, ни Сологуб, ни Чернявский, ни Ивнев с компанией, ни сам Александр Блок, ни, тем более, Городецкий. С первого же знакомства со стихами Сергея он понял, что перед ним не «молодое многообещающее дарование» и не «сказочный херувим», а зрелый, яркий поэт со своим уникальным зрением и неповторимым поэтическим миром. И центральное место в этом мире занимает живой Христос.

Это открытие Клюева ошеломило. Сам он, выходец из старообрядческой семьи, прошедший послушание на Соловках и искус в хлыстовских и скопческих сектах, подобрался к образу живого Христа трудными окольными путями. Возможность реального воплощения в слове Сына Божия он впервые, очевидно, ощутил, найдя тропку к хлыстам, которые в радениях своих видели возможность каждому в минуту наивысшего экстаза стать Христом и Богородицей. Но, используя мотивы их гимнов и песнопений, Клюев все же ощущал некую границу, которую он не в силах был перейти, и в своих попытках воплотить Христа опирался на Евангелие.

В стихах Есенина он увидел Иисуса-странника, нищего, просящего милостыню, одного из многих «слепцов, странствующих по селам» и поющих «духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Микеле и о женихе, светлом госте града неведомого». Иисус народных апокрифов, не теряющий своей божественной сути, естественно приходящий из Царства Божия на землю, неся с собой трагедию гибели и чудо Воскресения.

Я вижу – в просиничном платке,
На легкокрылых облаках,
Идет Возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.

Она несет для мира снова
Распятъ воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом
Я признавать пойду с тоской,
Не помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях – крылья херувима,
А под пеньком – голодный Спас.

Иисус приходит на землю «пытать людей в любви» в человеческом облике, подобно «жильцу страны нездешней» Микеле, герою есенинской поэмы, посланному Богом на русскую землю, дабы было кому защитить «скорбью вытерзанный люд» и соединиться с ним в единой молитве. Но есенинский Иисус в мгновение ока может расстаться с человеческой оболочкой и раствориться в русской природе, преображая ее и создавая на земле подлинное ощущение нездешнего мира.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным.

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

Так незримый божественный мир легко и естественно воплощается в земной ипостаси, и в то же мгновение земная реальность окутывается сказочной дымкой, обретает нездешние черты, и сам поэт преображается под впечатлением встречи с Иисусом в облике человеческом, обретает ощущение пограничности между двумя мирами.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын Покров.

Есенинская цветопись ранних стихов, по существу, в точности воспроизводит расположение цвета на русской иконе, а пламя, льющееся «в бездну зренья», как и «алый мрак в небесной черни» – основополагающий цвет образа «Спаса в силах», который возникает в глазах поэта именно на границе перехода из мира земного в мир небесный. И сама икона в его стихах становится подлинным окном в иной мир, а отворенное его словом, оно преображает и мир здешний.

Неудивительно, что естественная дерзость перехода непереходимой черты в стихах молодого Есенина ошеломляет и завораживает.

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

.....

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

Клюев сразу увидел: молоденький поэт легко и естественно достиг того, чего тщетно пытались добиться многомудрые и образованные символисты. Два мира – земной и потусторонний – слились в есенинских стихах совершенно гармонично без малейшего зазора, без отягощающей книжной риторики и поэтико-философских наслоений. Поистине Нечаянной Радостью стал этот «жавороночек» для него – одиночки – в холодном и неприветливом столичном литературном мире.

Всю осень 1915 года Есенин и Клюев неразлучны. Они вдвоем ходят в гости, позируют художникам, навещают Блока, постоянно печатаются, как правило, в одних и тех же петербургских газетах, сменяя друг друга, читают стихи на квартирах и в салонах.

И здесь не обойдем, не объедем то обстоятельство, что любовь у Клюева к Есенину была не только любовью поэта к поэту. Клюев, как и Кузмин с его окружением, как и многие молодые поэты из «Бродячей Собаки» и «Привала Комедиантов», был подвержен пороку, весьма распространенному в культурной элите той эпохи: содомскому греху. И естественно, что обаятельный Есенин сразу же стал объектом и его поклонения, и его притязаний.

«Видимо, Клюев очень любит Есенина, – записал в своем дневнике переводчик Ф. Фидлер, у которого два поэта как-то были в гостях, – склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам».

Есенин, который сразу же признал Клюева как учителя и в жизни, и в поэзии, оказался в дурацком положении. Рвать с Клюевым, стихи которого он ценил и без которого не мыслил своего дальнейшего пути к завоеванию читательских умов и сердец, ему вовсе не хотелось. Но и потакать Клюеву – он, молодой красивый юноша со здоровыми мужскими инстинктами, – конечно же не мог. В мемуарах В. Чернявского, опубликованных за рубежом, рассказывается о том, как Есенин, живший осенью 1915 года с Клюевым в одной комнате, уходил вечерами на свидание с женщинами, а Клюев буквально садился у порога и по-бабьи, с визгливой ревностью, хватал его за полы пальто и кричал: «Не пуцу, Сереженька!» Но Сереженька сжимал челюсти, щурил глаза, вырывался из цепких рук соблазнителя и, хлопая дверью, уходил в ночь.

Приставания «старшего брата», видимо, надоедали ему, иногда он жаловался: «Я его пырну ножом когда-нибудь! Ей-богу, пырну!»

Скорее всего Есенин отстоял себя от болезненных притязаний собрата, и именно это позволяло ему с добродушным смехом относиться к клюевской патологической слабости, видеть в ней не драматические, а именно комические черты.

Галина Бениславская вспоминает, как в 1923 году обычно доверчивый и наивный Иван Приблудный вроде бы ни с того ни с сего стал весьма злобно высмеивать и подзуживать Клюева:

«Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А С. А. слушал, стравлял их и покатывался со смеху. Позже я узнала, что одной из причин послужило то, что в первую же ночь в Петрограде Клюев полез к Приблудному, а последний, совершенно не ожидавший ничего подобного, озверев от отвращения и страха, поднял Клюева на воздух и хлопнул что есть мочи об пол; сам сбежал и прошатался всю ночь по улицам Петрограда»...

Есенин, отвергая ласковые домогательства Клюева, в отличие от Приблудного, понимал, чем он обязан Клюеву, и окончательно никогда не мог порвать с ним. «Клюев расчищал нам всем дорогу, – говорил поэт Бениславской. – Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Цитируя эти слова из разговора с Есениным, Бениславская от себя добавляет: «Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, С. А. не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему „смирненного Миколая“, хоть и хотел этого».

Однако отношения «жалости», «отчужденности» и даже «брезгливости» возникнут через несколько лет, а пока – пока поэты живут молодой, бурной, праздничной жизнью. Ради того, чтобы как-то обособиться от дворянско-интеллигентского слоя питерских литераторов и привлечь внимание к себе, как к писателям народным, по предложению Сергея Городецкого Клюев и Есенин вместе с Алексеем Ремизовым образовали осенью 1915 года группу писателей и назвали ее «Краса». Мечты и планы Сергея Городецкого простирались к

тому, чтобы в «Красу» вошли и Николай Рерих, и Вячеслав Иванов, и даже Илья Репин. Но это в будущем, а пока на Невском проспекте и примыкающих к нему улицах появилась афиша, что в Концертном зале Тенишевского училища 25 октября в 8.30 вечера состоится вечер «Красы». «Сергей Городецкий. Зачальное присловие. Ржаные лики. Алексей Ремизов. Слово. Сергей Есенин. Русь. Маковые побаски...» В программе были и «Избяные песни» Клюева, и «Рязанские и заонежские частушки, побаски, канавушки, веленки и страдания (под ливенку)». По одним сведениям, вечер «успех имел грандиозный», «обширный зал Тенишевского училища был буквально переполнен». По свидетельству других очевидцев, «в зале собралась немногочисленная, но благоговейно-чуткая и признательная аудитория».

Лариса Рейснер в журнале «Рудин», близком к взглядам социал-демократов, дала откровенно ироничный отчет о вечере со злой карикатурой, на которой Городецкий был изображен в облике попугая, Клюев – совы, Ремизов – снегиря, а Есенин – как желторотый, еще не совсем оперившийся воробей.

Но, несмотря на иронию такого рода, Есенин прочнее и прочнее входил в культурную жизнь столицы.

Он знакомится с Максимом Горьким и его окружением в журнале «Летопись». Но главного дела поэт не упускает из виду: в октябре-ноябре ведет переговоры с издателем М. В. Аверьяновым о выпуске книги «Радуница», которая вышла через несколько месяцев, в начале 1916 года, и окончательно узаконила пребывание Есенина на русском поэтическом Олимпе.

Общество «Краса» между тем прекратило свою деятельность. Вместо него возникло новое литературное объединение «Страда», учрежденное 17 октября 1915 года на квартире того же Городецкого. Председателем «Страды» был избран плодовитый романист и публицист Иероним Ясинский, и 19 ноября «Страда» закатила в «Зале гражданских инженеров» вечер в трех отделениях. В первом выступали все известные нам писатели и поэты, во втором популярные певицы О. Нардуччи и Л. Некрасова. Были «артисты императорских театров», «русские сказки», «хор гуслиаров». Словом, программа пестрая и богатая, как меню в ресторане. Вечер, о котором писали чуть ли не все питерские газеты, прошел успешно. А 1915 год закончился для Есенина и Клюева поездкой в Царское Село к Ахматовой и Гумилеву, о которой мы уже упоминали.

Побывав в Царском Селе, Есенин и не подозревал, что в этом «Питерском Версале» ему придется прожить чуть ли не весь следующий 1916 год. Внимательно вглядываясь в события из жизни поэта, произошедшие в 1915 году, отмечаешь некоторые любопытные устойчивые черты его характера.

С наслаждением играет он с питерской интеллигенцией в человека из глубинной сказочной Руси, из народного чрева, где и живут по-другому, и говорят на настоящем, живом, непонятном столичной, вымороченной интеллигенции языке. Эта черта, прикрытая лукавой иронией, угадывается в надписях, с которыми Есенин дарил свою первую книжечку самым разным питерским светилам:

«Иерониму Иеронимовичу Ясинскому на добрую память от размышливых упевов сохи-дерёхи и поёмов константиновских – мешчерских певнозубых озер».

«Другу Натану Венгрову на добрую память от ипостаси сохи-дерёхи за песни рыцаря, который ничего не ответил, когда спросили его о крови».

Ю. Балтрушайтису: «От поёмов Улыбыша перегудной мешчеры... от баяшника соломенных суёмов».

«Максиму Горькому... от баяшника соломенных суёмов»...

Есенин как бы с чувством превосходства, даже не утруждая себя разнообразием автографов, загадывает своим именитым адресатам филологические загадки и лукаво предполагает, как они недоуменно и растерянно полезут в словари, чтобы разгадать их... Недаром же он хлопал себя по лбу и говорил: «Даль-то у меня вот он где!» – и был прав. Ни у Натана Венгрова, ни у Балтрушайтиса в голове Даль конечно же и не ночевал.

«Провоняю я редькой и луком и, тревожа вечернюю гладь, буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять...» – написал как-то поэт. И добавил: «Оттого, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу».

С наслаждением «валял дурака» Сергей Есенин осенью 1915-го и в 1916 году. Иногда один, а иногда в паре с Клюевым, когда они выпрашивали деньги на жизнь у различных фондов и организаций, с удовольствием при этом сочиняя новые и дополняя старые легенды о самих себе.

Из прошения в Постоянную комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Императорской Академии наук:

«Мы живем крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не дает нам возможности учиться и складывать стихи».

Далее Клюев и Есенин заявляли, что они – «единственные кормильцы» своих престарелых родителей – просят по триста рублей на каждого. Вероятно, потому, что старцы из комиссии поняли, что никаким «крестьянским трудом» поэты не занимаются, «единственными кормильцами» не являются, они выдали вместо трехсот рублей Есенину – двадцать, а Клюеву, как более известному, – сорок.

В том же духе Есенин незадолго перед этим вышибал слезу из Иванова-Разумника, дабы получить помощь в Литературном фонде.

«С войной мне нынешний год приходилось ехать в Ревель, пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся... Ввиду этого я попросил бы... о ссуде руб. в 200...»

Ни в какой Ревель «пробивать паклю» Сережа, конечно, не ездил, но бессрочную ссуду «в размере 50 рублей» получил-таки...

А когда он уже служил санитаром в Царскосельском Федоровском городке и ходил в военной форме – новой, добротной, – в крепких яловых сапогах, шароварах и новой гимнастерке, он тем не менее разыгрывал комитет Литературного фонда: «Прошу покорнейше Литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное, в размере ста пятидесяти рублей. ...Получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принужден из-за немоготной пищи голодать и ходить оборванным...»

Но в комитете Литературного фонда сидели стреляные воробьи. Они выяснили, какой гонорар получил поэт от «Северных записок» за повесть «Яр», и пришли к выводу, что «г-н Есенин теперь не нуждается».

Осенью 1916 года он познакомился с Маяковским.

«В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир» (*В. Маяковский. Как делать стихи*).

Произошло это, если быть точными, на квартире у Юрия Дегена. Есенин был в сапогах, а не в лаптях. Лапти он никогда не носил. Есенина попросили почитать стихи после Маяковского. Он прочитал. А когда стали просить еще, с улыбочивой неприязнью заявил:

– Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими маяковскими. У них и одежда, и щиблеты модные, и голос трубный, а мы ведь тихенькие, смиренные.

Маяковский тут же отреагировал со свойственной ему показной грубостью:

– Да ты не ломайся, парень, не ломайся, миленок, тогда и у тебя будут модные щиблеты, помада в кармане и галстук с аршин.

А главный теоретик футуризма Давид Бурлюк, разглядывая Есенина, спросил:

– А зачем вы ходите в салоны?

Но не на того напал. Есенин не смутился и с лукавой откровенностью ответил:

– Глядишь, понравлюсь – и меня в люди выведут...

Вот как началась распря Есенина с Маяковским, которая длилась не только всю их жизнь, но продолжалась после смерти и того и другого.

Хмурым октябрьским днем Есенин, продолжая осуществлять свой план завоевания Петербурга, побывал на квартире сначала у Алексея Ремизова, потом – у Леонида Андреева. Андреева не было дома, и Есенин оставил ему в дар «Радуницу» с вариантом уже знакомой нам и неотразимо действующей на сердца столичных литераторов дарственной надписью:

«Великому писателю земли русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упеков старух и молодок на память сердечную о сохе и понёве»...

В конце года Есенин составлял книжку «Голубень», стихи в ней проникнуты уже совершенно иными мотивами, нежели стихи «Радуницы». Все чаще и чаще приникает в них мелодия «солончаковой тоски» бескрайних просторов России, в которой так легко раствориться, потеряться, исчезнуть «в мордве и чуде», и где чувство воли органически переплетено с предощущением неволи, каторжанского пути к Востоку.

О сторона ковыльной пуши,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.

Он и сам предчувствует свой возможный путь «до сибирских гор» вместе с такими же, как он – отверженными, изгоями, вдыхающими пыль бесконечной кандалной дороги на своем крестном пути.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Русский простор страшит и манит, наполняет грудь скорбным восторгом, подобным тому, что охватывает в минуты обретения великого чувства любви и понимания неизбежности утраты.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,

Кто разлюбил свой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

«Затерялась Русь в мордве и чуди...», «Край мой! Любимая Русь и Мордва!..» Не случайно Есенин поминает именно эту народность, с кротким нравом и доброй душой, народность, с которой у русского человека никогда не было никаких трений.

Наряду с составлением книжки «Голубень», Есенин занят и мелкими бытовыми заботами: просит «рублей 35» у издателя М. В. Аверьянова («Впредь буду обязан вам „Голубенью“»), пишет письма И. Ясинскому и Л. Андрееву с просьбой поспособствовать публикациям его стихов в различных газетах и еженедельниках. Настроение ухудшается: вроде бы все знают, печатают, хвалят, а все равно жизнь держит его в черном теле. Ну кто он такой – молодой человек, уже двадцати одного года от роду? Ни кола ни двора, служит рядовым санитаром, несмотря на льготы, все равно приходится выносить урыльники за ранеными да слушать назидания и пожелания Ломана... Для питерских интеллектуалов (прав Клюев!) он по-прежнему экзотический персонаж, побалуются, побалуются, да и остынут... Уже остывают.

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Поднимать глаза...

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

.....

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока
Встормошит других...

Заканчивался 1916 год. Слава, словно пена, осела в салонах, со всеми великими поэтами и писателями земли русской – знаком, а радости мало. Да и на лицах у всех – ожидание чего-то высшего и страшного. Все начинают жить иными, пока неясными предчувствиями, и не до Есенина уже им, а ему не до них. Не сказало еще в стихах то, ради чего он, «божья дудка», пришел в мир; да и скажется ли?.. Разгадает ли он свое предназначение? А если и разгадает – все равно «не изменят лик земли напевы»... Да, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, скучно... Полный переворот в жизни нужен. Революция. Народная. Крестьянская. Второе пришествие нужно. И чувствует он в себе силы, чтобы стать его глашатаем и пророком... Наступал одна тысяча девятьсот семнадцатый год... Но пока в жизни поэта возникает еще один сюжет.

Завоевав симпатии в революционно-народнических, а также в либерально-интеллигентских кругах, Есенин и Клюев не отказались от случая наладить связи с представителями русской знати из «Общества возрождения художественной Руси» князьями А. Ширинским, С. Лазаревым, М. Путятиным. Они были верны своему правилу – опираться

на всех, кто принимает их поэзию. Тут следует заметить, что в политическом смысле Сергей Есенин гораздо в большей степени, чем Клюев, был всеяден. Поскольку свою судьбу поэта он очень рано, еще в юности, осознал самым главным делом жизни, то ему было совершенно все равно, кто помогает ему, «божьей дудке», петь, жить, очаровывать... Народники? Хорошо. Социал-демократы? Годится. Суриковцы? А почему бы нет?! Питерские эстеты? С паршивой овцы хоть шерсти клок. Монархисты? Ну что же, и Пушкин, и Гоголь были монархисты. Левые эсеры? Ну что ж, у них газеты, крестьянская программа, влияние, организация... Большевики? Да я давно уже «гораздо левее» их...

В начале 1916 года они едут в Москву, где в течение января выступают не только в московском обществе «Свободная эстетика», но дважды (!) в аудиториях отнюдь не народнических и не революционных: в Марфо-Мариинской обители, находящейся под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны, и 12 января – перед самой великой княгиней в ее собственном доме. Тогда же, очевидно, Есенин и получил в подарок от Елизаветы Федоровны Евангелие из ее личной библиотеки.

Об этом выступлении остались интересные воспоминания близкого в те годы к высшему свету Москвы художника Михаила Нестерова.

«В начале месяца мы с женой получили приглашение великой княгини послушать у нее „сказителей“. Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке... Великая княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей». Далее Михаил Нестеров описывает встречу с зоркой точностью художника, запоминающего подробности:

«В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин, с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой – сумрачный, широколицый брюнет лет под сорок. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом».

В обществе же «Свободной эстетики» они читали стихи уже в новых костюмах, заказанных для них Ломаном и изготовленных в Москве в их присутствии. Как писала газета «Утро России»: «Оба были в черных бархатных кафтанах, цветных рубахах и желтых сапогах». Полковник Ломан, заказавший эти костюмы и устроивший, видимо, вечер «сказителей» у великой княгини, смотрел далеко вперед. Он уже думал о том, чтобы «сказители» стали своими людьми в Царском Селе. Его планы совпадали с планами и самих поэтов.

Дело и для Ломана, и для Есенина упростилось после того, как 25 марта, через месяц после возвращения в Питер, Сергей был призван в армию окончательно. Отсрочка подошла к концу, но поэт, почувствовавший над собой осязаемое покровительство лейб-гвардии полковника, уже не расстраивался. Он понимал, что в действующую армию, на передовую, под пули он уже не попадет.

Так оно и случилось. В течение февраля-марта Ломан, преодолевая бюрократические рогатки, делает все от него зависящее, чтобы Есенин не попал на фронт. Сначала Сергея Есенина, уже зачисленного в запасной батальон, переводят в трофейную комиссию, составляющуюся из работников искусств, а в начале апреля Есенин получает удостоверение, которое гласило:

«...С Высочайшего соизволения назначен санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны... Апрель 5–1916. Царское Село».

На прощанье Есенин выступает в Концертном зале Тенишевского училища вместе с Клюевым, Блоком и высокопарными и свято блюдущими свое «орденское» замкнутое братство акмеистами – Ахматовой, Адамовичем, Г. Ивановым, О. Мандельштамом...

Перед отъездом в Царское Село Сергей Есенин попал в один аристократический дом, к почтенному академику преклонного возраста с большими заслугами перед отечественной словесностью.

Хозяйке дома он понравился, поскольку вилокй и ножом пользовался за столом правильно, поддерживал беседу, не наглел, но и не конфузился. А разговор с академиком расстроил Сергея... Мэтр слушал его снисходительно:

– Милый друг, а Пушкина вы читали?

– Конечно, читал.

– Ну так подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится «на известку колоколен»? Во-первых, на известку креститься нельзя, во-вторых, неужели вы не понимаете, что крестится не рука ваша, а вы сами?..

Сергей опускал глаза, темнел лицом, сжимал скулы, но терпел...

Двадцатого апреля 1916 года он прибыл в Царское Село, на место своей льготной службы, под покровительство полковника Д. Н. Ломана. Его покровитель был любителем древнерусской старины. В царскосельской квартире «адъютанта императрицы» побывали в те годы художники братья Васнецовы, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин. Захаживали к нему в гости и знаменитый архитектор А. Щусев, и создатель великорусского оркестра В. Андреев. Д. Ломан руководил в Царском Селе строительством Федоровского городка. Это был как бы маленький русский Кремль в миниатюре – пять домов в древнерусском стиле, обнесенных кремлевской стеной, с резными каменными воротами. Городок был задуман как музейный экспонат, призванный воскресить древнее наше зодчество...

Благодаря покровительству полковника Ломана военная служба не была для новобранца тяжким бременем. Ему, правда, пришлось дважды – сначала в апреле и мае – сопровождать раненых из петроградских и царскосельских госпиталей в Крым, а потом, в июне, съездить с эшелонм за новой партией раненых к линии фронта – в Киев, Коно-топ, Шепетовку, но по возвращении он подал прошение об отпуске для поездки домой, и ему выписали увольнительный лист «в Рязань сроком на 15 дней». А всего Есенин служил в Царском Селе 11 месяцев и в течение этого срока отлучался в июне в Петроград, в июне же на две недели в увольнительную в Москву и Константиново после операции аппендицита, в начале июля – опять в Петроград, 17 июля уехал на день в Вологду с Алексеем Ганиным, с которым познакомился в Царском Селе, в октябре опять побывал в Петрограде, 3 ноября на три недели прибыл в Москву, в декабре – снова отлучился в Питер...

Так что в «Автобиографии» 1923 года поэт не очень уж присочинял, когда писал:

«При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.

Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове-Разумнике...»

В этом маленьком отрывочке смесь правды и поэтической фантазии. Ко льготам Есенин действительно был представлен. И стихи читал. На концерте, который был дан 22 июля 1916 года в царскосельском лазарете по случаю тезоименитства младшей дочери императора великой княжны Марии Николаевны. Одни исследователи считают, что, кроме двух именинниц, на концерте никого больше из царствующей фамилии не было, что Александра Федоровна лишь должна была приехать, но не приехала. Другие все-таки убеждены, что Сергея Есенина слушали все четыре великие княжны вместе с матерью и что разговор о «грустной России» произошел именно с ней, после того как Есенин прочитал стихотворение «Русь»:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,

Как синеют кругом небеса.

.....

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь – везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мгlistые
На березах висят галуны.

Конечно же невеселое стихотворение написал Есенин, посвященное страшной войне. И лермонтовскую строчку («Но я люблю, за что не знаю сам») по-своему переосмыслил:

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.

И все-таки его выбор для чтения был очень удачен. Он прочитал стихотворение императрицам и княжнам лишь потому, что в нем речь идет о войне как о великой страде народной.

«Понакаркали черные вороны» войну, и вот уже собираются ополченцы, провожают их жены с детишками. И поэт шлет им свое благословение:

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

Нет в этом стихотворении прямого «ура-патриотизма», но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий «империалистической бойне». Война в нем как тяжкая, но неизбежная работа, как общее переживание народное, особенно трогательное в те минуты, когда вся деревня, получив весточки с фронта, собирается, и кто-то из баб, умеющих читать, разбирает «каракули», выведенные «в родных грамотках»:

Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

А где-то между этими избами, среди баб и детей, бродит поэт и шепчет слова «люблю», «верю» – каждый раз по-разному:

Но люблю тебя, родина кроткая!..

Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

«Русь» – может быть, самое «соборное» стихотворение Есенина, никогда, пожалуй, больше он не растворял столь полно свое «я» в стихии народной жизни, как в этой маленькой поэме:

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,

Тепля свечку вечерней звезды.

Поэт в «Руси» предстает как бы лишь неким отражателем народного чувства, угадчиком не своих, а общих надежд и переживаний:

Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха...

Разгадал я их думы несметные...

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в даях за дымами
Над лугами веселый покос...

Бабы, невесты, ополченцы, ребята, матери... Мир... Просто «Русь». «Русь советская» и «Русь уходящая» будут потом, через несколько лет. Как и «Русь бесприютная»...

Есенин знал, что надо читать в царскосельском лазарете, голос его звенел, и стоял он, как древнерусский рында, в голубой рубахе, плисовых шароварах, желтых сапогах, и похож был не на какого-то опереточного ряженого, а на «отрока Варфоломея» с картины Нестерова...

Но крайне важно вспомнить, что на этом концерте он читал не только «Русь», но и специально написанное по заказу Дмитрия Николаевича Ломана стихотворное приветствие молодым царевнам. Лишь в 1960 году в газете «Волжская коммуна» был опубликован текст этого приветствия, «не отличающегося большим поэтическим достоинством», как сказано в статье одного из есениноведов.

Текст этот на листе ватманской бумаги был писан акварелью, древнерусской вязью и окружен орнаментом... Конечно, исследователи есенинского творчества, которые делали из него стопроцентного советского поэта, приходили в ужас, вчитываясь в стихотворение, хранимое за семью печатями в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

Как странно! То, что казалось adeptам соцреалистического литературоведения «монархическими настроениями» поэта, сегодня для нас, как бы заново переживших екатеринбургскую трагедию, кажется чуть ли не предчувствием поэта, угадывающего будущий жребий царевен. «И кротость юная в их ласковых сердцах», и «скорбь», которая «кладет печать на лбу», и обращение к святой Магдалине помолиться за них – все это уже не кажется сентиментальной риторикой, но таинственным образом перекликается со стихотворением, которое читали и переписывали несчастные царевны перед мученической смертью:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей...

.....

И в дни мятежного волнения,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!..

.....

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!

Это стихотворение С. С. Бехтеева (1879–1954), забытого поэта, члена «Русского собрания», сосредоточившего в себе лучшую и умнейшую часть интеллигенции, сопротивлявшейся революционным «бесам», – русскую элиту, заклеянную этими бесами «черносотенной».

Николай Бухарин не знал есенинского посвящения великим княжнам, когда писал свои «Злые заметки» – посмертный приговор Есенину. Хотя он помнил, что поэт читал стихи государыне и царевнам («припадать к государевой ножке»). Но есть нечто роковое в том, что партийный монстр и профессиональный русофоб не удержался и с удовольствием-таки вспомнил о царевнах, которые, как он бестрепетно написал, «были немножко перестреляны за ненужностью». Есенин же скорбел о царских дочерях еще при их жизни. Читаешь бухаринскую палаческую фразу, и тут же в один мистический узел стягивается все: и эта фраза, и молитва-стихотворение Бехтеева, и мольба Есенина о царевнах, и его знаменитая строка «не расстреливал несчастных по темницам...».

Императрица распорядилась, чтобы за выступление на концерте молодой поэт был награжден золотыми часами. Все исследователи жизни и творчества Есенина не сомневались, что он эти часы получил, но лишь в 1968 году литературовед В. Вдовин выяснил, что Ломан вручил Есенину обычные часы, а золотые оставил себе. После революции, когда Ломан был арестован как фигура, близкая императорскому двору, у него были конфискованы золотые часы фирмы «Павел Буре» за номером 451560, предназначенные поэту. Уполномоченные Временного правительства даже попытались найти Есенина, чтобы вручить ему подарок императрицы, но якобы не нашли. В докладной было сказано: «Вручить их (часы) не представляется возможным за необнаружением местожительства Есенина».

Так второй раз золотые часы с цепочкой «из кабинета его величества» не дошли до Есенина. Прилипли к рукам какого-нибудь «уполномоченного» и пропали уже навсегда.

На этом фактически и оборвались отношения Есенина с меценатами и хозяевами либеральных литературных салонов. О том, как восприняла «чистая публика» известие о чтении стихов Есениным перед членами императорской фамилии, рассказывал много позже в «Петербургских зимах» Георгий Иванов:

«Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 г. вдруг распространился и подтвердился „чудовищный слух“: „наш“ Есенин, „душка“ Есенин, „прелестный мальчик“ Есенин – представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чайкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расхоронившуюся меценатку не портить здоровья «из-за какого-то ренегата»...

Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала... До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», достаточно было двух-трех телефонных звонков «папы» Милюкова кому следует из редакционного кабинета «Речи». Дальше машина «общественного мнения» работала уже сама – автоматически и беспощадно...»

Но объективности ради надо сказать, что Сергей Есенин после революции мог и по-другому, в зависимости от обстоятельств, изобразить и царское семейство, и свое отношение к нему.

Конечно, в некоторых рассказах многие чувства и мысли поэта подверстаны к воспоминаниям о нем задним числом, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. (Хотя определенные поправки в связи с тем, что мемуаристы могли раскрасить воспоминания Есенина своими собственными мазками, все же необходимы.) Всеволод Рождественский, например, вспоминает, как Сергей Есенин, с которым он встретился на Невском в декабре 1916 года, рисовал ему такую картину своего бытия-жизня в Царском Селе:

«И пуще всего донимают царские дочери – чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и „немку“ два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись – рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. И читаю, а они вздыхают: „Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце...“ И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю – что вы в этом народе понимаете!»

Даже если допустить, что слова Есенина в целом переданы Рождественским точно, все равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Все равно Есенин, написавший (да не написавший, а выдохнувший из глубины души) «не расстреливал несчастных по темницам», находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни, а все расстрелы – бухарины, юровские, урицкие – на другом – там, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие...

А теперь перейдем к словам Есенина из «Автобиографии» 1923 года о том, что он угодил в дисциплинарный батальон за отказ «написать стихи в честь царя».

Идеалы монархии и ее основы во время войны подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция жаждала демократии.

Самые яркие политические фигуры Государственной думы – Пуришкевич, Гучков, князь Львов, Керенский – изо всех сил раскачивали монархические устои государства. В этих условиях люди, близкие ко двору, пытались опереться хоть на какие-то чувства верности царю и отечеству в народных массах, главным образом – в крестьянстве. Монархическое «Общество возрождения художественной Руси» имело целую программу работы. Программа очень пессимистически оценивала состояние искусства XX века:

«1. Национальная несостоятельность современной русской литературы. Бессилие европейских форм...

2. Славянский классицизм как историческая неизбежность.

3. Преодоление «европеизма», необходимость литературного переворота, коренная ломка двухсотлетних навыков. Возврат к племенным источникам. Назад в дотатарскую Русь!»

Таков один из документов «Общества». А в другом – была дана положительная установка:

«Учредители „Общества возрождения художественной Руси“ с благоговением обращают свой взор к Царскому Престолу, как исконному средоточию русской самобытности»...

И конечно же не случайно, что один из организаторов «Общества», Д. Ломан, нашел Клюева и Есенина. После успешного концерта для особ царствующего Дома им, видимо, было предложено написать какие-то стихи монархического или верноподданнического склада, может быть, непосредственно о самом монархе. Поэты не то чтобы отказались, но ответили Ломану письмом-трактатом, написанным Николаем Клюевым от своего имени и от имени Есенина. У автора этого письма были давние крестьянские счёты с Домом Романовых:

«На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Федоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой – я отвечу словами древней рукописи: „Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и честь с духовными приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми“. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношения к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, кроме лжи и безобразия, не выйдет».

Вот так, юродствуя и оставаясь себе на уме, Клюев с Есениным отвергли ломановские посулы и соблазны. Но Есенин приукрасил, сказав, что его после этого отправили в дисциплинарный батальон.

Помимо Клюева, устоять против царскосельских соблазнов Есенину помогал, как он сам пишет в «Автобиографии» 1923 года, народнический критик и публицист Иванов-Разумник, живший тогда по соседству.

Пожалуй что, он влиял на Есенина не менее, чем Блок или Клюев. Есенин необычайно высоко ценил его мятежность, ум, его идеи. Через несколько месяцев в письме к Александру Ширяевцу от 24 июля 1917 года Есенин, уничижительно отзываясь о петербургских литераторах, напишет: «Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим (ценное признание! – *Ст. и С. К.*). Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя».

Клюев и Разумник Иванов удержали Есенина от «невыгодного», по их мнению, сближения со двором. Полковник Ломан понял это. Еще раз-другой в начале 1917 года

Есенина приглашали в высший свет: 5 января – на богослужение в Федоровский собор, а 19 февраля – на завтрак с чтением стихов для членов «Общества возрождения художественной Руси». На этом роман монархии и поэзии был исчерпан, и 22 февраля 1917 года Ломан подписал Есенину удостоверение, обязывающее поэта явиться в Могилев для продолжения службы во 2-м батальоне Собственного Ея Императорского Величества сводного пехотного полка...

Но тут наступили сумбурные дни февральской революции, и дальше с поэтом случилось то, о чем он сам откровенно написал в «Анне Снегиной»:

Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.

.....

Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

Стать дезертиром в те дни было легче легкого. 2 марта был опубликован знаменитый «Приказ № 1», обращенный к армии, где, в частности, говорилось: «Немедленно выбрать комитеты от нижних чинов... Всякого рода оружие... должно находиться в распоряжении комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане...»

Речь шла об уничтожении армии. А за ее уничтожением, естественно, должен был последовать крах государства. Есенин почувствовал всю грандиозность то ли преобразования жизни, то ли надвигающейся катастрофы.

Глава пятая «Наше время пришло...»

О Русь, взмахни крылами...
С. Есенин

Воздух надвигающейся весенней революции, как хмель, ударил в головы Есенина и его друзей, крестьянских поэтов.

«Помню Есенина очень хорошо в первые дни Февральской революции: он ходил „сам не свой“, точно опьяненный. Одна встреча особенно запала в память. Иду по Невскому. Голубой снег. Прошло всего несколько дней после февральского переворота. Кое-где еще летят грузовые автомобили, наполненные веселыми, розовыми, распеваящими новые революционные песни солдатами с винтовками. Вдруг вижу – прямо по улице идут четверо, взявшись за руки, точно цепью. Смотрю: Клюев, Клычков, Орешин и с ними Есенин. Все какие-то новые – широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто. Накидываются на меня. Колют злыми словами: „Наше время пришло!“ – шипит елейный Клюев. Есенин тоже старается от него не отстать: говорит какие-то бессмысленные колкости. Я смотрю на него и глазам не верю. Что это на тебя нашло? – спрашиваю. – Брось! Противно. – Он улыбается незаметно для остальных. В глазах его прыгают веселые бесенята».

Этот фрагмент из воспоминаний Рюрика Ивнева крайне любопытен и достоин развернутого комментария.

Обратим внимание, что революционные страсти поэтов пытается описать дворянин Рюрик Ивнев, которому «противно» видеть их революционный восторг и который вскоре начнет сотрудничать с большевиками, станет помощником Луначарского, государственным чиновником.

Сергей Есенин верен себе. Еще 19 февраля он читал в трапезной Федоровского городка стихи на завтрак, куда Ломан пригласил более 100 высокопоставленных царедворцев, а через две недели уже говорит какие-то революционные «колкости», но при этом подмигивая Рюрику Ивневу, как бы поясняя: «Да не сердись ты, дай потешиться, поиграть в очередную игру, время-то весеннее...» Вспомним, как Есенин, обнажая свою поэтическую сущность, писал А. Ширяевцу: «Выдумывал себя и подкладывал всем другим». Подкладывал царедворцу Ломану, – так почему бы не «подложить» себя февральскому весеннему ветру, сорвавшему с головы Помазанника Божия царскую корону? Все равно ведь суть есенинская не в дружбе с Ломаном и не в революционных веяниях. Она в чем-то ином – в мечте о главном устройении, о таком преображении жизни, о таком ее совпадении с грезами, которое не снилось никаким революционерам. И все-таки воздух свободы опьяняет, недаром Ивнев зорко подметил: «Все они какие-то новые – широкогрудые»...

И стихи Есенина искрятся, звенят, светятся мартовской синевой, дышат свежестью, талой водой, верой в свою уже неизбежно восходящую звезду.

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Стихотворение волшебное! Дорогой гость – кто только не расшифровывал этот образ. Вспоминается и «гость чудесный» – Христос-жених из стихов Клычкова, но скорее всего дорогой гость – это предчувствие Есениным полного обновления жизни, исполнения самых тайных и высоких надежд и желаний, пришествия будущего, наполненного смыслом и красотой. Скорее всего это облик судьбы, мчащейся навстречу поэту на сказочной колеснице:

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

Дорогой гость – судьба – обретает черты языческого, сказочного чуда:

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

И лошадь под ним сказочная – красная, как на иконе Георгия Победоносца или на картине Петрова-Водкина.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

И в последней строфе образ гостя сливается со всем, что дорого в жизни поэту. Гость

становится в центре его поэтического крестьянского мира, где рядом – мать, кров, печь, корова, петух:

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

Млечная река, как образ крещения, как святая вода при таинстве есенинской евхаристии.

На одном дыхании с этим стихотворением написано и другое, тоже программное:

О Русь, взмахни крылами...

В нем Есенин как бы реализует клюевскую цепкую и волевою мысль о том, что «наше время пришло», он, как юный князь, собирает перед решительным сражением свою дружину, в которой в «золотой ряднине» идет Алексей Кольцов, а за ним «с снегов и ветра из монастырских врат, идет, одетый светом, его середний брат» – «смиранный Миколай», мудрый Клюев, который в жизни совсем не «монашья мудр и ласков» – но не все ли равно Есенину, он творит легенду обо всех, в том числе и о Клюеве, здесь же и «сродник наш, Чапыгин, певуч, как снег и дол», но впереди – впереди сам Есенин:

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

За Есениным все остальные, всех не перечислить – это целое войско имен, лиц, талантов:

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звонит их бойкий стих.

Да, они новые люди, их бойкий стих «звонит», но главная цель, главная задача, главное дело, порученное им судьбой, – за ним, за Сергеем Есениным, – потому что

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Написал Есенин – и сам себе не поверил: неужели он может разгадать эту последнюю тайну, данную человечеству при его рождении, – тайну Бога, и закрубились в душе чувства, а в голове мысли, и забилося учащенно сердце, и из этого тумана вдруг дерзко выплыло, кристаллизуясь, ощущение того, что он воистину может все это сказать, может раскрыть тайну Бога, но для этого нужно, чтобы вдохновение и смелость его были не меньше, чем у знаменитых библейских пророков, разговаривавших с Богом:

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —

Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Да, надо писать свои пророчества, свой Апокалипсис, свой Третий Завет.

Цикл поэм 1917–1918 годов начал распирать его душу и проситься из ее недр на волю. Но все это совпало с трудными, прекрасными и драматическими обстоятельствами личной жизни поэта.

Весной 1917 года Есенин, в поисках той социальной силы, которая была бы наиболее близка его мечте о крестьянском рае на земле, сближается с эсерами. «...Работал с эсерами не как партийный, а как поэт», – вспоминал Есенин впоследствии. Вот в этом «не как партийный, а как поэт» – загадка многих превращений Есенина. Он легко и естественно (как Пушкин, который одновременно был певцом империи и свободы) мог примыкать к царскосельскому обществу, а через месяц примкнуть к эсерам, которые убедительнее других политических сил выражали волю крестьянства; потом к большевикам: а почему бы и нет, если они перехватили у эсеров лозунг «земля крестьянам» и начали проводить его в жизнь?

«В первый раз, – вспоминает В. Чернявский, – я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков». Вот так всегда и будет, и до сих пор было так: «золотая голова» поэта сияла среди скучных и правильных суриковцев, среди молодых лидеров с.-д. движения в типографии Сытина, с их форменными косоворотками; так же он будет «сиять» среди лощеных, затянутых в модные костюмы имажинистов и среди черных кожаных чекистских курток в толпе Троцких, Блюмкиных, раскольниковых, все так же будет светить и поражать это златоглавое чудо своей непохожестью на все другие головы, которые с хищным любопытством собирались вокруг источника света... Пока же Есенин – в окружении «черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков». «Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии» (В. Чернявский. *Воспоминания*).

Это свидетельство очевидца. Есенин, вроде бы поверив, что жизнь меняется коренным образом в его пользу («наше время пришло»), перестает осторожничать и подлаживаться к людям и обстоятельствам, перестает «подкладывать себя», ощущает редкое для человека вообще счастье быть самим собой. Недолго продлится эта иллюзия свободы – скоро придут другие времена. Через два-три года, в эпоху «военного коммунизма», ему опять, как в царскосельские дни, придется надевать на себя маску, идти на свидание к Троцкому, Калинин, Каменеву, деланно окать, снова притворяться крестьянином, уже не патриархальным «пейзаном», а талантом из низовых слоев сельской бедноты, выпрашивая у новых сильных мира сего бумагу для изданий или разрешение на открытие книжной лавки.

Снова начнется для него, который уже «значение свое разгадал», унижительное «подкладывание». Снова наступит пора взаимного недоверчивого изучения поэта и власти, снова маскарад с обеих сторон: власть будет притворяться народной, а поэт – рупором революции. Но это в ближайшем будущем, а пока Есенин наполнен новыми энергиями, энергиями надежд, творчества, и новым чувством к молодой секретарше из эсеровской газеты «Дело народа» Зинаиде Райх.

* * *

О Зинаиде Райх современники оставили взаимоисключающие характеристики. В одних воспоминаниях – она красавица и преданная жена. В других же изображается как неуравновешенная, экзальтированная особа, отнюдь не красавица, дававшая, однако, благодаря своей сексапильности реальные поводы для ревности обоим своим знаменитым мужьям – сперва Есенину, затем Мейерхольду.

Подруга Зинаиды Райх по 1917–1918 годам Мина Львовна Свирская, деятельница эсеровской партии, оставила весьма подробные и, по всей видимости, достоверные воспоминания о первых встречах Есенина и Райх.

Сама Свирская за сопротивление большевизму, за попытки возродить деятельность Учредительного собрания, разогнанного Лениным, не раз подвергалась арестам в начале 1920-х годов, а потом провела в тюрьмах, концлагерях и ссылках с небольшим перерывом около 25 лет. После 1956 года эмигрировала в Израиль, где, завершив свои воспоминания, умерла в 1978 году.

Надо сказать, что эсеры, так страстно протестовавшие в 1918 году в многочисленных воззваниях и решениях против закрытия своих газет, против незаконных арестов и гонений, пожинали плоды собственной же идеологии и практики террора. Совсем недавно они теми же методами закрывали черносотенные, буржуазные и правительственные газеты, провоцировали бессудную расправу над черносотенцами, бывшими чиновниками монархической системы, буржуазными публицистами, жандармами, судьями... А теперь с яростью упрекали большевиков в том, что те, вместо того чтобы добивать черносотенцев, взялись за них, за социалистов-революционеров... Змея теперь стала кусать свой хвост...

Но в счастливом 1917 году шестнадцатилетняя Мина Свирская еще не испила из этой чаши и дружила с Зинаидой Райх и Сергеем Есениным. Свирская встретила с Есениным у издателей «Северных записок» Сакеров, где поэт по просьбе легендарного народовольца Германа Лопатина пел для него частушки. В это время, летом 1917-го, Есенин вместе с Ганиным частенько заходил в редакцию «Дела народа», где литературным редактором был Иванов-Разумник, который и познакомил их с Зинаидой Райх. Молодая секретарша газеты не раз позволяла Есенину и Ганину ночевать в служебных апартаментах на обитых шелком великокняжеских стульях.

Есенин зачастил в общество распространения эсеровской литературы, где Райх стала председателем. «Он приходил всегда во второй половине дня. В легком пальтишке, в фетровой, несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Шапова „История раскольнического движения“ и усаживался читать... Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу» (Мина Свирская).

Позже появлялся Алексей Ганин, уже влюбленный в Зинаиду Райх, потом приходила она, и четверо молодых людей отправлялись бродить по Петрограду. Мина с Сергеем шли впереди, а за ними Зинаида с Алексеем. Поэты читали своим спутницам новые стихи, потом читали их друг другу, останавливались, начинали спорить, забывали о девушках, которые, потеряв терпение, уходили вперед.

Мина вспоминает, как между поэтами однажды произошел спор о строчке «небо озвездилось». Спорили долго, и с тех пор Зинаида, когда эти споры затягивались, говорила подруге: «Опять у них „озвездилось“, пойдем, они нас догонят». Замерзнув, они заходили в какую-нибудь чайную погреться горячим чаем из пузатых чайников.

Однажды в Павловске Алексей Ганин прочитал стихотворение «Русалка», посвященное Зинаиде. Есенин не остался в долгу и тут же сочинил экспромт, посвященный Мине, который не сохранился. Он сравнивал короткие, остриженные и всегда растрепанные кудри девушки с веточками берез. Практичная не по годам ее старшая подруга деловито заметила: «Будешь теперь причесываться».

Кто был тогда в кого влюблен – трудно сказать. Все по-своему были влюблены друг в друга.

Во всяком случае, летом 1917 года Есенин вбежал в помещение Общества и предложил Свирской: «Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алексеем едем». Старые революционеры и революционерки стали высмеивать затею их отъезда в то время, когда надо готовиться к выборам в Учредительное собрание, но все произошло всерьез.

«Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Соловки и Сергей пришел звать меня. Она вскочила, захлопала в ладоши – „Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться...“» Отпросилась, перехватила

инициативу. А Мина, как преданный революционному долгу человек, с сожалением, но отказалась... Райх нашла деньги на поездку. И тройца укатила на Север. При каких обстоятельствах произошло неожиданное объяснение в любви Есенина и Райх, можно только гадать. Ведь за Зинаидой ухаживал Ганин, и она благосклонно относилась к нему.

Известно лишь то, что на обратном пути с Соловков в поезде Есенин сделал предложение Райх. Венчались они в Кирико-Улитовской церкви возле Вологды. Шафером со стороны жениха был несчастный Ганин.

Есенин очень скоро начал жалеть, что поторопился снова связать себя семейными узами. В конце сентября молодые вернулись в Петроград. Приближался день рождения Сергея. Зинаида собрала гостей – несколько человек. Скучная закуска, не было электричества. На столе – маленькая керосиновая лампа, свечи и несколько бутылок. Впрочем, по тем временам стол выглядел празднично. Были Ганин, Иванов-Разумник, Петр Орешин. Есенин настоял, чтобы Мина с Алешей выпили на брудершафт. Выпили. Ганин стал придумывать для Мины штраф, если она будет сбиваться с «ты» на «вы». Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул девушку за руку: «Идем со мной, мы сейчас вернемся». Есенин сел за стол, показал ей на второй стул. Она села. Он стал писать.

– Сережа, я пойду.

– Нет, нет, посиди: я сейчас, сейчас.

Дописав, он прочел Мине следующее стихотворение. В нем было пять четверостиший, но пятое по истечении времени она так и не вспомнила. Стихи эти были опубликованы нами лишь в 1980 году, когда мы услышали их от ее подруги, дожившей до преклонных лет.

МИНЕ

От берегов, где просинь
Душистей, чем вода,
Я двадцать третью осень
Пришел встречать сюда.
Я вижу сонмы ликов
И смех их за вином,
Но журавлиных криков
Не слышу за окном.
О, радостная Мина,
Я так же, как и ты,
Влюблен в мои долины (?)
Как в детские мечты.
Но тяжелее чарку
Я подношу к губам,
Как нищий злато в сумку,
С слезою пополам.

– Сережа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить. – Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты, прочел стихотворение присутствующим и отдал его Свирской. Вечером, когда все уже собирались уходить, Ганин сказал, что пойдет провожать Мину. Он уже снял пальто с вешалки. Сергей подошел к нему, взял у него из рук пальто и быстро надел его на себя. Погода была прескверная. Моросил мелкий дождь. По мере того как они приближались к Неве, туман усиливался. На мосту Мина остановилась и сказала: «Давай смотреть на воду, интересно, что мы увидим в день твоего рождения». – «Ничего не получится», – ответил он и потянул ее за руку. И молча они дошли до ее дома. Через день или два пришел в Общество Ганин: «Если бы ты знала, как Сергуньке попало». – «Алеша, за что?» – «Нет, не за то, что он пошел тебя провожать. Зина упрекала его, что он не подарил ей ни одного стихотворения. Он слушал ее, надувшись, ничего ей не ответил, потом быстро

оделся и ушел».

Поездка Есенина с Зинаидой Райх и Алексеем Ганиным на Север – одна из самых малоизученных страниц жизни поэта. В сущности, о его пребывании в Европе и в Америке мы знаем гораздо больше, нежели о том, как он побывал на Соловках и на Белом море. Известно только, что все трое в конце июля уехали из Питера в Вологду... Алексей Ганин был расстрелян 30 марта 1925 года, не успев ни написать, ни рассказать о поездке Есенина на Север. Зинаида Райх, пережив смерть Есенина и Ганина, также всю жизнь хранила молчание, которое во второй половине 1930-х годов усугублялось смертельной опасностью, нависшей над Всеволодом Мейерхольдом и над ней, его женой.

Но она оставила план воспоминаний о жизни с Есениным, из нескольких пунктов которого их дочь Татьяна (она родилась через девять месяцев после упомянутого путешествия, в мае 1918 года) попыталась воссоздать мемуары матери.

Вот несколько отрывков из этих своеобразных «общих» мемуаров дочери и матери, которые дают более или менее точное представление о Зинаиде Райх и ее жизни с Есениным.

«В одном из первых пунктов она могла бы упомянуть, что еще до знакомства с Есениным у нее появился жених... она дала согласие, но сроки свадьбы не оговаривались».

Появление Ганина, а потом Есенина, видимо, заставило Райх забыть о женихе.

Неясно, в каком составе они путешествовали по Северу: «Слишком уж отчетливо я помню такие слова матери: „Все трое были ко мне немного равнодушны“, или такие: „Мы все четверо вышли к Вологде“. Кто был четвертым – об этом пока ничего не известно».

Алексей Ганин, видимо, ревновавший Райх к Есенину, понимал, что его возлюбленная все больше и больше отдает предпочтение его знаменитому сопернику. В его стихах, посвященных Райх, недаром есть такие строки:

Она далеко, – не услышит,
Услышит, – забудет скорей;
Ей сказками на сердце дышит
Разбойник с кудрявых полей.

По словам Зинаиды Райх, записанным ее дочерью спустя полвека, конфликт между супругами начался уже в первые месяцы их совместной жизни, в Петрограде.

«Об этой первой настоящей ссоре мне было рассказано подробно. До этого дня она ни малейших изменений в отношении к себе своего мужа не замечала.

Она пришла с работы. В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром: на полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы исписанной бумаги. Топилась печь, он сидел перед нею на корточках и не сразу обернулся – продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела разглядеть, что он сжигает рукопись своей пьесы. Но вот он поднялся ей навстречу. Чужое лицо – такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова – она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол – не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь?!» Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустила на стул и впала в оцепенение – не могла ни говорить, ни двигаться...

Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог ее оскорбить».

Может быть, все происходило и так, но надо сказать, что Зинаида Райх принадлежала к такому типу женщин, которые способны вызывать и неизбежно вызывают у мужей чувство ревности.

Музыкант Юрий Елагин, работавший в 1930-е годы в Вахтанговском театре и хорошо знавший театральную жизнь Москвы, после войны с поколением второй эмиграции попал в Америку, где в 1955 году издал книгу «Темный гений» о Всеволоде Мейерхольде. В книге

есть страницы, характеризующие Зинаиду Райх. Они, эти страницы, настолько откровенны, что сослаться на них можно, лишь цитируя буквально:

«Райх была чрезвычайно интересной и обаятельной женщиной, обладавшей в очень большой степени тем необъяснимым драгоценным качеством, которое по-русски называется „поди сюда“, а на Западе известно как *sex appeal*. Всегда была она окружена большим кругом поклонников, многие из которых демонстрировали ей свои пылкие чувства в весьма откровенной форме.

Райх любила веселую и блестящую жизнь: любила вечеринки с танцами и рестораны с цыганами, ночные балы в московских театрах и банкеты в наркоматах. Любила туалеты из Парижа, Вены и Варшавы, котиковые и каракулевые шубы, французские духи (стоившие тогда в Москве по 200 рублей за маленький флакон), пудру Коти и шелковые чулки... и любила поклонников. Нет никаких оснований утверждать, что она была верной женой В. Э. – скорее есть данные думать совершенно противоположное...»

Если это так, если действительно Зинаида Райх была из особой породы женщин, созданных для роскоши и адюльтера, женщин типа Ольги Книгшер, Лили Брик, Ларисы Рейснер, то конечно же ее жизнь с Сергеем Есениным (требовавшим, несмотря на свою в достаточной степени богемную жизнь, от жены верности, послушания, семейного очага, то есть всего того, что соответствовало его крестьянско-патриархальным взглядам на место жены в семье) была обречена на неудачу. Ведь недаром и Всеволоду Мейерхольду, который дал Райх все, что не мог дать ей Есенин, – материальное благосостояние, положение в обществе, возможность царить в собственном салоне посреди нэпмановской Москвы, недаром Мейерхольд испытал куда большие муки, живя с этой женщиной, нежели его предшественник. «...Его страстная любовь приняла болезненный оттенок под влиянием характера и поведения Райх, – пишет Юрий Елагин. – Мало-помалу его ревность развилась и приняла фантастические размеры... Он ревновал Райх ко всем, к кому только можно было ревновать... Часто он устраивал бурные сцены, не стесняясь присутствием друзей и знакомых».

Татьяна Сергеевна Есенина подчеркивала впоследствии: «Отец, как известно, не скрывал, что его семью помог разрушить Мариенгоф... Мариенгоф с помощью какой-то выдумки спровоцировал ужасающую сцену ревности. До родов оставался месяц с днями, мать прожила их у кого-то из знакомых. Вернуться к своим родителям она не могла, военные действия в районе Орла продолжались. Костя родился 3 февраля» (1920 г. – *Ст. и С. К.*).

В метрической записи о рождении Константина, заполненной со слов Зинаиды, в графе «Родители» стоит следующее: «Сергей Александрович Есенин, 24. Зинаида Николаевна Есенина, 25». Все честь по чести: фамилия, имя, отчество и возраст родителей. Но в графе «Род занятий», там, где речь идет об отце, стоит нечто странное: «Красноармеец».

Если к тому же принять на веру утверждение Татьяны Есениной, что «насовсем родители разъехались где-то на рубеже 1919–1920 годов, после чего уже никогда вместе не жили», то, может быть, ревность Есенина к Зинаиде Райх имела какие-то основания, и тогда становится понятным его поведение на ростовском перроне, где во время стоянки поезда встретились Мариенгоф и Зинаида Райх. Райх ехала с маленьким Константином в Кисловодск. Заметив бывшую супругу, разговаривавшую с Мариенгофом, Есенин вскочил на рельсу и пошел в обратную сторону, поддерживая равновесие руками. Райх попросила Мариенгофа:

– Пусть отец глянет на сына, он ведь его не видел, если не хочет встречаться со мной, я могу выйти из купе.

Есенин заупрявился, но после второго звонка все же пошел в купе поезда, где ехала Райх.

Мать распеленала младенца.

Есенин отшатнулся.

– Черноголовый!.. Есенины черными не бывают...

Так что, может быть, Есенин не так уж был и не прав, когда писал в «Письме к женщине», обращаясь, по-видимому, к своей бывшей жене:

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Может быть, поэтому он и признавался откровенно: «Свою жену легко отдал другому». Легко, значит, не мучась, не дорожа ею.

И вообще, расставание Есенина с женщинами всегда имело какой-то блоковский литературный подтекст, который прихотливо смешивался с житейскими драматическими извивами...

Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Все это живет в русле блоковской легенды: «Проклиная, спиной повернулась и, должно быть, навеки ушла».

А ссора с Зинаидой Райх, когда они прочитали стихи Александра Блока – «Я бросил в ночь заветное кольцо...» – и буквально повторили это действие, выбросив в окно свои обручальные кольца, а потом искали их на темной улице...

Сюжет с кольцом был обыгран Есениным по-блоковски и в стихах, посвященных Софье Толстой: «Вынул я кольцо у попугая – знак того, что вместе нам гореть» – строки, конечно же, восходят к блоковскому: «Ты всегда мечтала, что, сгорая, догорим мы вместе – ты и я...»

Возвращаясь к Райх, видимо, надо согласиться, что актрисой она была никакой – об этом пишут все, кто ее знал, и друзья и недруги: «...Среди всей молодежи, пришедшей в те годы учиться к Мейерхольду, была едва ли не самой бездарной. И в течение всех последующих лет понадобились нечеловеческие усилия В. Э., чтобы сделать из нее хотя бы мало-мальски приличную актрису» (Ю. Елагин).

Но Юрий Елагин и знаменитый актер Михаил Чехов хотя бы признавали, что эта бесталанная актриса была все-таки очень красивой и обаятельной женщиной. «У Райх было красивое лицо, и была она очаровательной и интересной женщиной» (Ю. Елагин). «Он (Мейерхольд. – *Ст. и С. К.*) любил страстно и преданно свою красавицу жену» (М. Чехов).

А вот Анатолий Мариенгоф, видимо, никогда не испытывший действия чар Зинаиды Райх, пишет о ней и как об актрисе, и как о женщине холодно и беспощадно.

«Райх актрисой не была – ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое – советские канцелярии...

Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание. – *Ст. и С. К.*), я обычно говорил о ней:

– Эта дебелая еврейская дама.

Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице, круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на райхитичные ноги!»

В другой рецензии злоязычный Шершеневич написал, издеваясь над знаменитым режиссером в открытую: «Конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем. Кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним». Мариенгофский и

шершеневичевский портреты 3. Райх в корне противоречат воспоминаниям Татьяны Есениной о матери: «Она была женственна классически безупречной красотой». Созвучны этим нежным словам дочери и мемуары В. Чернявского о первых месяцах жизни Есенина с молодой женой в Питере, в доме № 33 по Литейному:

«В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зин. Ник. Райх (тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок)».

Наверное, в каждом из перечисленных свидетельств Мины Свирской и Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа и Владимира Чернявского, Юрия Елагина и Татьяны Есениной есть и своя правда, и свои пристрастия, которые в целом создают образ конечно же незаурядной, но вместе с тем и типичной дочери своей эпохи, прожившей бурную жизнь с драмами и триумфом, которая закончилась в одну из зловещих ночей 1939 года, когда она после ареста Мейерхольда была найдена в своей квартире зверски зарезанной чьей-то бандитской финкой, истекшая кровью. Ходили слухи, что незадолго перед этим она в нервном состоянии на людях обещала рассказать какую-то правду о смерти Есенина.

* * *

В то время, летом 1917 года, когда Есенин, опьяненный свободой, мистическими прозрениями, мечтой о земном рае, с любовью создавал цикл своих религиозно-революционных поэм и завоевывал сердце Зинаиды, он был, наверное, на вершине своего здоровья, физического расцвета, мужской красоты и обаяния. Он шел по революционной России «красивый, двадцатидвухлетний», от его стройной фигуры веяло ладом, изяществом, «ухватистой силой», «свежей розовостью щек». Люди, читавшие его строки «свет от розовой иконы на золотых моих ресницах», вспоминают, что действительно его взоры излучали подобный свет. Он любил встряхивать головой, и тогда его волосы прихотливо развевались, образуя над ней корону, из-под которой светились два синих глаза.

Юношеская легкость походки, живое, постоянно меняющееся выражение лица, волшебная способность говорить и вести беседу без слов – легким кивком головы, жестами рук, движением бровей, прищуром глаз – таким запомнился Есенин всем, кто встречался с ним летом 1917 года.

Он почти совсем не пил вина, как вспоминает Владимир Чернявский, но запоем создавал циклы религиозно-космических поэм о революции, которые по недоразумению были окрещены «богохульными», и сразу же, с «горячего» еще листа бумаги, читал только что написанное друзьям, прямо за обеденным столом, подвинув чашку или тарелку; тряс кудлатой головой, бил кулаком по скатерти и читал, читал:

Тучи – как озера,
Месяц – рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!

Есенин встряхивал головой, расширял глаза и, словно бы молясь чудесному видению, шептал:

О чудотворец!
Широкоскулый и красноротый,

Принявший в корузные руки
Младенца нежного, —
Укачай мою душу
На пальцах ног своих!

В облике сказочного русского мужика в поэме «Отчарь» на глазах проступал то ли образ Святогора, то ли Микулы Селяниновича, то ли русского крестьянского Саваофа или Святителя Николая.

Всех зовешь ты на пир,
Тепля клич, как свечу,
Прижимаешь к плечу
Нецелованный мир.

На зов Отчаря откликается вся земля, все великие злодеи прошлых времен каются и получают его прощение, и даже «рыжий Иуда целует Христа, но звон поцелуя деньгой не гремит, и цепь Акагуя – тропа перед скит...». И пророк-поэт видит, словно Иоанн Патмосский, «новое небо и новую землю» и горд тем, что именно от России осуществляется преображение мира.

Там дряхлое время,
Бродя по лугам,
Все русское племя
Сзывает к столам.

Поэма написана в Константинове 19–20 июня 1917 года. Счастливая для Есенина пора. Вдохновение приходило к нему легко и в любое время – только записывай, «образы рвались с языка» – только успевай переводить «буйство глаз и половодье чувств» в строчки, стихотворения, поэмы. За год он написал тридцать стихотворений и несколько небольших поэм – «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение». Никогда больше в жизни (разве только на рубеже 1924–1925 годов) он не испытывал столь мощного прилива поистине пассионарной энергии. А к осени накопилось столько, что Есенин, как бы играючи, записал на бумаге еще три самые главные поэмы своего крестьянско-апокалипсического цикла, для воплощения которого он, держа в памяти «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева, «Библию», «Слово о полку Игореве», создал свою собственную мифологию. Небо в ней – символ отцовского мужского начала. Богородица – мать Христа – земное лоно, Приснодева – она же Русь крестьянская – она же священная корова:

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

А новая Россия, как когда-то Христос с его Новым Заветом, рождается по Божьей воле в лоне старой России, словно телок, выходящий из коровьего лона...

По всем поэмам 1917 года разбросаны ключевые для Есенина образы России, готовящейся к родовым схваткам. Русский Восток розовеет:

В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долог срок до встречи,

А гибель так близка!

Русь-Приснодева должна «отелиться» сыном, телком, в котором будущее человечества: «О верю, верю – будет телиться твой восток!» Тема «отёла», «рождения» переходит из одной поэмы в другую. Поэт внезапно ощущает, что исход родов зависит и от его пророчеств, и заклинает: «Господи, отелись!» Кошунственно? Но почему? Как Господь дал нам Сына («отелился») один раз, так почему бы не быть второму рождению, а Есенин лишь пророк, предтеча, ходатай за Русь-Приснодеву:

Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звездами спеленай
Телицу-Русь.

Петр Орешин вспоминает, как Есенин однажды пришел к нему и разыграл сцену: якобы он читал Иванову-Разумнику новую поэму, Разумник был в восторге, а сам он, Есенин, до сих пор не понимает – что написал.

– А ну-ка... – попросил его Орешин.

И тогда Есенин отодвинулся от него в глубину дивана и почти шепотом прочитал четверостишие:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

И вдруг громко, сверкая глазами: «Ты понимаешь: Господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: Го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать...»

Ходасевич совершенно справедливо замечает, что эти строки напрасно вызвали в свое время взрыв негодования и осуждения, «ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал главную свою мысль... Он говорил: „Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей“».

«Инония» – иная страна. Название, конечно же, рождено из «Откровения» Иоанна: «И увидел я новое небо и новую землю».

Такие катаклизмы бывают в душах больших художников, вспомним хотя бы Льва Толстого, но они сродни не плоскому атеизму, не антирелигиозному хулиганству, а скорее мощной религиозной ереси. Это не порицание Бога, а переосмысление его воли, это действительно отчаянная попытка создания своего нового Третьего Завета. Это не порицание христианства, а попытка по-новому истолковать его и по-настоящему приневолить на службу тяготам и нуждам земным.

Вошедши в образ поэта-пророка, Сергей Есенин заговорил в «Инонии» и других поэмах пророческим языком; он спорил с тайной Бога, но заодно и с тайной официальной церкви, и с тайной русского православия, и с тайной Николая Клюева. «Проклинаю я дыхание Китежа», «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта» – кошунство, но ради чего? Ради того, чтобы устроить Божескую жизнь на земле без жертвенных мук, от которых устало человечество?

Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест...

Христианство требует причастия жертве, принесенной за человечество, оно покоится на крови святых мучеников, а пророк Есенин Сергей хочет в «Инонии» иного:

Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!

«Бог должен быть Богом живых!» – кричит в своем откровении поэт Есенин Сергей. Сколько можно водой – символом крещения – гасить животворящий огонь, пылающий в человеческих душах от начала сотворения мира:

Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.

Спасение человечества – в преображении России, в рождении Богом и Приснодевой – Третьего Завета. Недаром Бог, как крестьянская корова, вот-вот готов разродиться; рев родовых мук разносится над миром, и от этого рева затыкают в ужасе уши монахи в пещерах.

Говорю вам – вы все погибнете.
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой бог.

И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно – он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.

Духовные роды России. Будущее в них, а не в атеистической Америке. «Богохульник» Есенин отвергает ее материализм, еще не побывав в ней, уже в 1917 году религиозно-мистическим чувством ощущает, что ее мощь движет человечество к концу света:

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

Да, совершенно не поняли «Инонию» и другие поэмы Есенина те его современники, которые объявили поэта богохульником и атеистом.

Он не принимает в Америке ни «чугунной радуги», ни «лавы стальной руды», ни «проволочных лучей» – это все враждебно рождению новой жизни в России... А что же будет после того, как роды закончатся?

И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

Перед взором поэта плывут райские картины того, как апостол Андрей пасет табун в приокских лугах, как мать гонит скотину в хлев. Он видит Инонию

...С золотыми шапками гор.

Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.

Словом, Инония неожиданно... оказывается той же Русью, которая всегда, и тысячу лет тому назад, и сегодня, для Есенина была раем, и все, что отпадало от этого рая, становилось «отколотой половиной земли».

Зачем искать новый рай, если всего-то и надо – открыть сердце, чуть-чуть прищурить глаза, и сразу увидишь рай здесь, рядом, в этой жизни, только надо чуть-чуть преобразиться, предстать пред миром в несколько ином образе, и тогда станет понятно, что

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Недаром же когда-то он написал: «...Не надо рая, дайте родину мою...» Но тогда поэт еще не понимал, что родина – преображенная – может стать тем земным будущим, которое не снилось ни эсерам, ни анархистам, ни большевикам, а грезилось лишь одному ему – Есенину!

В 1918 году на одном из политических сборищ он приветливо улыбался всем, кто бы и что ни говорил, потом сам решил высказать свои затаенные мысли, и сказал нечто непонятное для революционеров всех мастей:

– Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...

Это, в сущности, и означало: «левее большевиков», «левее левых эсеров», левее всех...

Есенин как бы творит в поэмах свой иконостас, свой де-исусный чин – и в первую очередь, перекрестясь, пишет родные лики: Русь, рай и святые – это же его родня, его русское село, доличное письмо – это его родные константиновские пейзажи.

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

Ну как тут не вспомнить, что Есенин бородой был в деда и всегда крайне тщательно брился и пудрился, чтобы никто не видел его рыжину.

«Преображение» посвящено Иванову-Разумнику, который к этому времени уже сформулировал основные выводы своих исследований по истории русской общественной мысли: социальная революция – лишь предтеча всемирной духовной революции; основное содержание всякой революции – борьба с Мировым Мещанином. Основная движущая сила этой борьбы – народ, охваченный идеей «революционного славянофильства», «почвенничества» в интерпретации Александра Герцена. Главные носители идеи – народные поэты Клюев, Есенин, Орешин, Карпов... Поэты, проникшие в самые глубины народного духа, куда заказан путь даже лучшим из дворян, разночинцев, интеллигентов... В феврале 1917 года он пишет статью «Вольга и Микула», где Вольга – либеральный интеллигент, которому не по плечу Микулова «сошка», а Микула – мужик, которого «любит мать-сыра земля» и силу и мощь которого не познать до конца Вольге, как бы тот ни пытался.

В это же время, работая над первым выпуском сборника «Скифы», Иванов-Разумник рисует новых пришельцев из глубин народных как «скифов» – варваров, под ударами которых падет старый одряхлевший мир: «"Скиф". Есть в слове этом, самом звуке его – свист стрелы, опьяненной полетом, полетом – размеренным упругостью согнутого дерзающей рукой, надежного, тяжелого лука. Ибо сущность скифа – его лук: сочетание силы глаза и руки, безгранично вдаль мечущей удар силы...»

Клюев и Есенин увидели в Иванове-Разумнике человека из чужого, «интеллигентского» стана, перед которым не нужно было прикидываться «в траве зеленым, а на камне серым» – первая подобная встреча в их жизни! Высокое задушевное слово авторитетного критика много значило, тем более что поначалу обманывало кажущееся единство цели – конечная духовная революция, признаки которой Иванов-Разумник отыскивал в их стихах.

На страницах «Скифов» последователь Герцена и Лаврова возмечтал объединить «варваров» с «эллинами» – Клюева, Есенина, Карпова, Орешина – с Ремизовым, Андреем Белым, Брюсовым, Пришвиным... Поначалу это объединение не сулило доброго результата, тем более что, беседуя с Разумником, Есенин лишний раз убеждался в справедливости ранних предостережений Клюева. Летом 1917 года он разъясняет свою «политику» в письме к Александру Ширяевцу и, выделяя Иванова-Разумника из общего ряда как глубокую натуру, весьма откровенно излагает свои взгляды на прочее «интеллигентное общество»:

«Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова, с повернем наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.

Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это – *ты*. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить...

С ними нужно не сблизаться, а обтесывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется, таков и Блок, таков Городецкий и все и весь их легион.

Бывают, конечно, сомнения и укоры в себе, что к чему и зачем все это, но как только взглянешь и увидишь кого-нибудь из них, так сейчас же оно, это самое-то, и всплывает. Любопытно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов...»

Время вносило свои поправки... Не пройдет и нескольких месяцев, как Есенин заявит о своем принципиальном расхождении с Клюевым и на время (опять же на очень короткое!) сблизится с Андреем Белым.

И Белый, и Иванов-Разумник видели в Клюеве безоговорочного вождя крестьянской купницы, а в статье Белого «Жезл Аарона», опубликованной в «Скифах», Клюев предстал как воплощение «подземного слова в дневном своем виде»... Можно понять восторг маститого символиста – на склоне лет, пройдя многочисленные искусства, он обрел наконец литературных соратников в дотоле чужой и незнакомой ему среде, соратников, уже воплотивших в своем творчестве то, к чему сам Белый подбирался на ощупь.

«Центр притяжения» *скифской поэзии* и он, и Разумник Иванов видели в клюевском цикле «Земля и железо».

В бору, где каждый сук – моленная свеча,

Где хвойный херувим льет чашу из луча,
Чтоб приобщить того, кто голос уловил
Кормилицы мирской и пестуны могил,
Там, отроку-цветку лобзание даря,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник,
Подобно рою звезд, многоочитый лик...

Мир выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня,
Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку без ваших ржавых книг!

«Цветы» и «ржавые книги» сошлись на страницах «Скифов» в единстве поистине уникальном. Совершенно несхожие друг с другом люди, диаметрально противоположные друг другу по стилю и духу писатели опубликовали в двух сборниках Разумника Иванова стихи, статьи и повести, объединенные одной идеей и единым порывом. Совершалось не мифическое, не умозрительное – а подлинное братание народа и интеллигенции в литературе!

Андрей Белый еще только писал в «Жезле Аарона» о возможности познать скрытый смысл слова, «рожденного в Боге», а Клюев и видом своим, и стихами своими являл образ обретшего «цветущий посох».

Мы внуки земли и огню родичи,
Нам радостны зори и пламя свечи,
Язвит нас железо, одежд чернота, —
И в памяти нашей лишь радуг цвета.

В кручине по крыльям пригожих лицом
Мы «соколом ясным» и «павой» зовем.
Узнайте же ныне: на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.

Изба – колесница, колеса – углы,
Слетят серафимы из облачной мглы,
И Русь избяная – несметный обоз! —
Вспарит на распутья взывающих гроз...

Смятутся народы, иссякнут моря,
Но будет шелками расшита заря, —
То девушки наши, в поминок векам,
Расстелют ширинки по райским лугам.

«Это – не творчество, а подражание природе, а нужно, чтобы творчество было природой», – скажет позже Есенин Блоку, находившемуся в дружеских отношениях почти со всеми «скифами». Сотворение природы Есенин увидел в «Котике Летаеве» Андрея Белого, написал о нем статью, где не столько анализировал само произведение, сколько высказывал свои самые сокровенные мысли по поводу природы поэзии: «Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина – „отворись“. Мы бьемся в ней, как рыбы в воде, стараясь укунить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что казалось так близко, взметнулось еще выше... Суть не в фокусе преобразования предметов, не в жесте слов, а в том самом уловлении, в котором если

видишь ночью во сне кисель, то утром встаешь с мокрыми сладкими губами от его сока... Слово, прорывающее подсознание нашего разума, безлично. Оно не вписывается в строку, не опускается под тире, оно невидимо присутствует. Уму, не сгибающему себя в дугу, надо учиться понимать это присутствие, ибо ворота в его рай узки, как игольное ухо, только совершенные могут легко пройти в них. Но тот, кому нужен подвиг, сдерет с себя четыре кожи и только тогда попадет под сень „словесного дерева“. „Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие“, – отвечал спрашивающим себя Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Россию. И вот слишком много надо этой „туге“, чтоб приобщиться...»

Позже Есенин вспоминал, что Андрей Белый оказал на него наибольшее влияние не своими произведениями, а своими беседами. И «Отчее слово», и будущие «Ключи Марии» – все вызрело в этих «скифских» беседах, где ощущение единодушия сменялось категорическим несогласием по основным мировоззренческим вопросам, где шли жаркие споры о значении слова в поэзии, о природе слова, пробивающего твердую оболочку.

Есенин и здесь умудрился «и от бабушки уйти, и от дедушки уйти»... Стоило ему почувствовать, что «общественные теории» Иванова-Разумника могут сковать его и в какой-то мере ограничить его творческую свободу, он, найдя благовидный повод, отошел от него, как в свое время с суриковцами и салонными завсегдатаями. Другое дело, что переписка их долго не прекращалась, и Есенин испытывал настоятельную потребность объяснить прежнему духовному наставнику свой очередной поворот, а точнее, стремление к новому духовному горизонту, невидимому для остальных. Он подробно и терпеливо объяснял, что заставило его уйти из-под крыла Разумника, Клюева, Белого, Блока...

А в те дни трогательного единения 1917 года Разумник проповедовал, что Русь обновится на новой религиозной основе, но не языческой или христианской, а на социалистической, что Социализм с большой буквы является не политической программой, а «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и Старой вере христианства». «Новая вселенская идея (социализм), – писал Иванов-Разумник, – будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества... В христианстве страданиями одного человека спасался мир: в Социализме грядущем – страданиями мира спасен будет каждый человек».

Такие мысли Иванов-Разумник изложил в предисловии к поэме «Инония». Есенин не возражал, но многое в этой метафизической гуще видел и комментировал по-своему.

Прежде всего он думал не о социализме, а о том,

...как Богородица,
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят.

В «Иорданской голубице», написанной летом 1918 года, он то ли заземляет библейские «новое небо и новую землю» до своих деревенских видений, то ли наоборот, подымает эти видения до библейских высот.

Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.
Снова зарею клубится
Мой луговой Иордань.

Да это же Ока – под константиновским угором!

Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланных коней.
С дудкой пастушеской в ивах

Бродит апостол Андрей.

Но как же он похож на юродивого дядю Петю, любившего водить племянника в луга, пасти с ним лошадей, вырезать из ивовых прутьев ему пастушеские дудки!

Богородица, «скликающая в рай телят», ну чем она не рязанская баба, загоняющая вечером по пыльной константиновской поскотине корову и телят в свой темный хлев, стоящий на задах есенинской усадьбы?

«Инония» была завершена в январе 1918 года. В то же время Александр Блок написал за несколько дней «Двенадцать». «Инония» заканчивается так:

Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.

Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе.
Наша правда – в нас!

Есенин заканчивает поэму образом Спаса, едущего на кобыле. Блок – Иисусом Христом «в белом венчике из роз», идущим впереди двенадцати мятежных разрушителей старого мира.

Владислав Ходасевич в книге «Некрополь» называет цикл этих есенинских поэм, и особенно стоящую в центре цикла «Инонию», «лебединой песней Есенина»... «С „Инонией“ он высказался весь, до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего... Инония реальная должна была настать – или не настать».

Но проницательный и умный Ходасевич недооценил Есенина. «Инония» при всем своем религиозно-богатырском размахе стала лишь этапом в его поэзии. К 1918 году Есенин, в отличие от Блока, еще не сказал своего последнего слова. Он сказал последнее слово о Руси идеальной, которая жила в его душе, «как песня и мечта», а в настоящую реальную Русь ему еще надо было взглядеться. Она в то время была совсем не той, какую поэт изобразил в цикле своих поэм.

В том, что он творил такую Русь-Инонию совершенно осмысленно, зная, что настоящий ее лик совершенно иной, нет никаких сомнений. Мы помним, что Есенин жадно и пристрастно собирал, отмечал, «приходовал» все свои публикации и все отзывы о себе, появляющиеся в газетах. А вот что рассказывают газеты 1917 года о русской жизни.

В воинских частях осуждают Корнилова, главного «гэкачеписта» той эпохи, «посягнувшего на священное право народа и своим мятежом пытавшегося открыть двери врагу. Части 73 пех. дивизии находят, что русский народ не преклонит знамена борьбы до тех пор, пока не восторжествуют идеалы демократии» (*«Дело народа» от 3 сентября 1917 года*).

Керенский, бывший с Корниловым в тайном сговоре, после неудачи предал его, власть окончательно упала на землю, ожидая, кто ее подберет. Ближе других к ней, упавшей, как можно понять из газет, все-таки оказываются большевики. Но до большевистского переворота еще почти два месяца. В Витебске арестованы как идеологи, обеспечивавшие корниловский мятеж, сотрудник «Нового времени» Никаноров и председатель Союза офицеров Новосильцев; оба посажены в тюрьму.

В том же номере «Дела народа», где опубликована поэма Есенина «Отчарь» (*от 10 сентября 1917 года*), — очерк М. Пришвина «Земля и власть», о том, как крестьяне в Смоленской губернии выбирают председателя управы Ивана Мешкова: «Человек он подходящий: хозяйства у него нет, живет на задворках у дяди, нет у него ни хаты, ни семьи,

свободный человек, как птица, не какой-нибудь „буржуаз“. Сидел он в тюрьме за уголовное дело, но потом исправил себя политикой. И сидел за политику, вроде как бы несчастный какой – этот не выдаст мужиков! А что малограмотный, так при нем же писарь будет». Есенин напишет о деревенском вожаке такого типа Оглоблине Проне в «Анне Снегиной», а также в «Сказке о пастушонке Пете».

«Русская воля» от 15 сентября 1917 года. Из статьи Леонида Андреева «Veni, creator!»:

«Ты почти Бог, Ленин. Что тебе все земное и человеческое?.. Ты победил русский народ. Единый – ты встал над миллионами. Маленький – и даже щуплый (вспомним у Есенина – „застенчивый, простой и милый“ – *Ст. и С. К.*), ты осуществил то, что не удалось и Наполеону: завоевал Россию, под ноги свои бросил всякого врага и супостата... Чем же ты недоволен, Великий? Улыбнись, взгляни ласково на твоих слуг и рабов, иначе... мы умрем от страха!.. – Горе побежденным!.. Вот ты уже выше старой Александровской колонны. Вот ты уже над городом, как дымное облако пожара... Уже нет человеческих черт в твоём лице; как хаос, клубится твой дикий образ, и что-то указывает позади дико откинута черная рука... Густится мрак, и во мраке я слышу голос: – Идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас огнем и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым... Клубятся тучи, свирепые, разъяряемые вихрем, и в их дымных завитках я вижу новый и страшный образ: царской короны на царской огромной голове... Мне страшно. Как слепой мечусь я в темноте и ищу Россию... Отдайте мне мою Россию, верните, верните!»

«Земля и воля». Газета Петроградского областного комитета партии социалистов-революционеров. В номере от 21 сентября 1917 года Есенин печатает стихи «Не бродить, не мять в кустах багряных...» – и тут же комментарий П. Гайдебурова: «Товарищи получили стихи для газеты от С. Есенина. Стихи очень хорошие, всем понравились. Но сомневаются – нужны ли они деревенскому читателю.

Спрашиваю: да ведь писатель, что стихи эти прислал, он и сам крестьянин. Это верно, отвечают, он и крестьянин, но на то он и стихотворец, поэт, чтобы понимать что к чему, а деревенскому жителю, пожалуй, непонятно, да и обидно – что толку в стихах непонятных».

В этом же номере опубликована речь Троцкого «На демократическом совещании»: «В эту эпоху коалиционная власть – историческая бессмыслица... Буржуазия не может взять власти, народные массы еще не умеют взять власти. Возникает потребность искать третьей стороны, диктатора». Вовсю идет подготовка к Учредительному собранию (где-то ради него работает Мина Свирская)... Тут же оптимистические стихи П. Орешина:

Будем как братья, как братья и сестры,
Будем дружны и свободны навеки,
В поле ковер ноздреватый и пестрый,
Полям текут синеводные реки.
Хижины наши красны и любимы,
В зарослях хлеба деревни и села,
Нас не обходит по осени мимо
Вечный заступник Святитель – Никола.

Но тут же у Орешина и «красное знамя», которое «как солнце» горит «в полях невеселых» и заступает «за нищего брата», – а Троцкий в это время стреляет словами «диктатура».

«До дня выборов в Учредительное собрание остается немногим более полутора месяцев...»

На следующей полосе письма из деревни, обзор которых делает все тот же Орешин. Из Неведрицы Витебской области: «Прошло пять месяцев революции, а народ все еще никак не может избавиться от бывших царских охранников, урядников, стражников и всяческих других прелестей... Однажды эти бывшие явились на волостной сход, и, когда комиссар влез на стол, чтобы познакомить крестьян с должностью волостного земства, эта ворвавшаяся

свора опрокинула стол вместе с нашим комиссаром, который тут же отказался от своего поста».

27 сентября «Земля и воля» печатает стихи Петра Орешина, 29-го – Алексея Ганина, 30-го – «Голубень» Есенина – самое умиротворяющее и кроткое его стихотворение о деревне, а деревня кипит: над «Голубенью» во всю страницу газетная шапка, набранная крупным кеглем: «Мы требуем закона о немедленной передаче земель в ведение земельных комитетов». И в том же номере сообщение:

«Ежедневно газеты приносят известия, что то тут, то там вспыхивают беспорядки, что крестьяне отбирают помещичьи земли, жгут усадьбы, ломают сельскохозяйственные орудия, рубят лес, уничтожают помещичий хлеб и корма.

В ответ на это правительственные власти высылают на места для усмирения воинские отряды».

«Русская воля» от 28 сентября 1917 года (о происшествии на Владикавказской ж. д. возле станции Аргунь, район Чечни):

«Произошло крушение почтового поезда № 4 вследствие развинченного шайкой абреков пути. После крушения абреки в числе 50 человек ограбили пассажиров и скрылись. Убито 8, ранено 40».

А Есенин как бы и не хочет слышать раскатов надвигающегося грома и по-прежнему странствует в небесах земного рая. Крестьяне режут племенной помещичий скот, а поэт вглядывается в свой мир Преображения.

О родина, о новый
С златою крышей кров,
Труби, мычи коровой,
Ревя телком громов.

Лишь иногда его посещают другие видения, более тревожные, и тогда Спас, едущий на кобыле к миру из Нового Назарета, вдруг на мгновение оборачивается нам более реальным русским ликом.

Он придет бродягой подзаборным
Нерушимый Спас...

А то вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, обнимет его душу тоска и предчувствие близкой потери родного дома:

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

.....

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

А над крестьянской Россией с каждым днем все плотнее сгущались тучи, чреватые не дождем, а каменным градом и кровью.

«Земля и воля» от 1 октября 1917 года:

«Революция дала населению Русской республики гражданские свободы, но это мало чувствуется деревней, она темна и безграмотна, это для нее еще не такое ощутимое приобретение, как для городского населения».

«Крестьянство до сих пор не получило самого дорогого, самого заветного, что оно ждало от революции, – это землю. Необходим закон о переходе земель в ведение земельных комитетов. Иными мерами не потушить бушующий пожар».

А Есенин живет в ином мире:

Звени, звени, золотая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, – кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, золотая Русь.

Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.

Стихи написаны осенью 1917 года... Но золотая Русь уже не жила пастушеской грустью, и «ропот буйных вод» приобретал уже совершенно другие, разрушительные формы, которых пока еще не хочет видеть Есенин.

«Земля и воля». Тот же число. Тот же месяц. Тот же год.

«Деревенская жизнь» – очерк Петра Орешина – рассказы о самовольных захватах крестьянами урожая, трав, леса, скота, принадлежащих священникам, арендаторам имений, крупным землевладельцам... Пострадавшие обращаются к комиссарам Временного правительства:

«В с. Дмитриевке Лебедянского уезда в контору графа Толстого явилась группа крестьян и в категорической и грубой форме потребовала передачи им земли под посев озимых на будущий год. На случай отказа крестьяне угрожали заведующему хозяйством даже убийством».

Но, пишет Орешин, «мало взять у помещика землю, надо еще и поделить ее между собою. И вот начинается дележка всех захваченных у помещиков земель...»

В Букинской волости Красынинского уезда крестьяне одной деревни напали на крестьян другой деревни за то, что последние не хотели уступить им помещичьи луга. В этой схватке оказалось 23 человека убитыми с обеих сторон, человек около 50 ранено. Были вызваны спешно казаки, которыми и был положен конец этому мамаеву побоищу с косами в руках...»

Орешин призывает срочно принять законы, выбрать в земства и в Учредительное собрание верных людей, которые скажут: «Вся земля всему трудовому народу без выкупа».

Через семь лет события, о которых идет речь, найдут отражение в «Анне Снегиной»:

Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.

.....

То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А всё это, значит, безвластье.

Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.

Вспомним, как земляки-крестьяне приставали к герою с вопросом:

Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?

Вспомним, какую задачу ставил Оглоблин Прон перед своими земляками, посылая их к Снегиной:

«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной!..
Р-раз и квас!
Дашь, мол, твои угоды
Без всякого выкупа с нас!»

А кончилось все дело принудительной «коллективизацией» 1917 года:

Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.

«Земля и воля» от 5 октября 1917 года. Петр Орешин в очерке «О попах» клеймит батюшку, который на вопрос «хуже али лучше стало без царя» заявил: «Смотри, какие все стали вольницы, никого не признают... Грех непрощенный будет за Помазанника Божия». А другой в проповеди сказал: «Учителя и учительницы хотят изгнать Закон Божий из школы. Придет скоро время, когда станут снимать кресты с церковей Божьих и храмы отбирать под начальные школы. Народ забыл Бога и забыл своих пастырей»...

«Земля и воля» от 10 октября 1917 года. Из статьи «Почему нужно выбирать в Учредительное собрание социалистов-революционеров?»:

«Государственная казна истощена. Останавливаются фабрики и заводы. Везде ощущается недостаток предметов первой необходимости. Широкой волной разлились по стране погромы, насилия и убийства. Горят помещичьи усадьбы. Крестьяне уничтожают помещичий хлеб, вырезают скот, захватывают земли отрубщиков и хуторян и готовы вступить между собой в бой за захваченные куски земли. Нестроения и развал проникли в нашу армию. Во многих воинских частях подорвана дисциплина и идет бесчеловечная и безрассудная расправа с офицерами».

Тут же стихи П. Орешина «Крестьянам»:

Дворцы, земля и барские усадьбы —
Все – достояние рабочих и крестьян...
Пора, товарищи, осмыслить и понять бы:
Куда несет страну погромов ураган.

Есенин пишет поэмы, возвеличивающие мужика до неба, а мужик в это время громит барские усадьбы и с косами идет на своих соседей из-за помещичьей земли. Почему Есенин не хочет видеть такого мужика? Или не видит? Видел же он его в «Яре» – в 1915 году? Ведь написал же он летом 1917 года в письме к М. Мурашеву: «Деревня бродит, как молодая

брага».

Да, конечно же, он все видит, но не хочет изображать деревню и мужика в самую низменную пору эпохи, когда ожесточены крестьяне, в мир которых, как дрожжи, влились миллионы солдат, дезертировавших с фронта с оружием в руках и лозунгом «грабь награбленное» в башках...

В начале 1917 года Ходасевич пишет Ширяевцу:

«Не понимаю, как могут писатели из народа, знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем... Ведь такой мужик вряд ли когда он и был, и уж, во всяком случае, больше его нет и не будет».

Позже, в очерке, посвященном Есенину, Ходасевич еще раз повторил, «что такого былинно-песенного „народа“ никогда и не было». Но если это так – значит, не было ни купца Калашникова, ни мужика Марая, ни некрасовской Дарьи, ни Яшки Турка, ни Касьяна с Красивой Мечи, ни Калиныча... Если так, то не было бы героев чеховской «Степи» (кто-кто, а уж Чехов относился к народу без иллюзий), ни Дарьи из «Последнего срока», ни Матрены из «Матренина двора». Видимо, Есенин все знал, но держал в уме и сердце одну необходимую для писателя истину, что главное в народе не то, каков он есть сегодня, на деле, а то, каким он хочет быть всегда, в истории, в вечности.

Если прав Ходасевич, тогда нет всей великой русской литературы, нет вечно живой русской песни, с ее ямщиками, красными девицами, добрыми молодцами, коробейниками, кудеярами...

Народ сам себя выдумать не может.

И Есенин, с его идеальной от природы натурой, ищущий и выражающий сказочные и самые высокие порывы русской души, был по-своему прав в своей гениальной слепоте, когда в 1917 году среди начинающегося темного Апокалипсиса писал Апокалипсис светлый.

Земля моя золотая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Несчислимая рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад...

Глава шестая Террор и воля

*Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.*

С. Есенин

«В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном», – из «Автобиографии» 1925 года. Он был бы более точен, если бы написал «с эсеровским уклоном». Да и связан был Есенин к осени семнадцатого года с эсерами гораздо теснее, нежели с большевиками.

Разобраться в вышеупомянутом «всецело» необходимо хотя бы потому, что революция продолжалась несколько лет и за это время изменились взгляды поэта и на нее, и на крестьянство, которое приняло ленинские декреты о земле, а через два года ответило большевикам восстаниями по всей России.

После Октябрьского переворота Есенин приезжает в Москву и попадает на Пресню, в мастерскую уже широко известного тогда скульптора Сергея Конёнкова. На выставке Конёнкова разыгрывалось целое действо. Пропагандисты и агитаторы привели туда с соседней Трёхгорки прямо в мастерскую революционного скульптора целую толпу рабочих и работниц. Те, открыв рты, слушали, как возле конёнковской статуи Паганини скрипач Сибор исполнял тарантеллу гениального итальянца... Взволнованный музыкой, Есенин вскочил на стул, поднял руку и начал читать: «Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, неуёмный ветер!..» С тех пор началась дружба Конёнкова с Есениным, а мастерская скульптора стала его прибежищем в дни и ночи будущей бездомной московской жизни.

Воротившись в Петроград, Есенин постоянно выступает со своими стихами, куда бы ни приглашали, ведь он нигде не служит, а семейному человеку надо зарабатывать на жизнь, за квартиру платить надо. То в Тенишевское училище приглашают, то в конференц-зал Академии художеств, то в театр завода Речкина. Во время последнего выступления Есенин расстроился: «Прочитал стихотворение „О Русь, взмахни крылами...“. Читал хорошо, но стихотворение по своей теме осталось чуждым рабочей аудитории, она вяло реагировала на чтение, и, когда поэт окончил, раздались весьма жидкие хлопки...» (В. Кириллов. *Воспоминания*). Семнадцатый год – год иллюзий и надежд, год большевистского переворота и начала никому не понятной еще новой жизни – заканчивался...

3 января 1918 года Есенин пришел для решительного разговора к Александру Блоку. Он многое в своей поэтической судьбе сверял по Блоку, но пришло время, когда ему захотелось окончательно объяснить Блоку и самого себя. Разговор, как и следовало ожидать, зашел, помимо всего прочего, о народе и интеллигенции.

– Александр Александрович! – прищуриваясь и разводя руками, как бы помогая себе, говорил Есенин. – Ведь русская дворянская интеллигенция всегда относилась к нам, поэтам из народа, лишь со снисходительным интересом. Ну помните, как Кольцова муштровал Белинский? Да и к нам – ко мне и Клюеву, когда мы появились в Питере, такое же отношение было...

– Откуда у вас все эти знания, Сергей Александрович? – мягко спросил Блок.

Есенин лукаво задумался: не хотелось ему признаваться, что до всего дошел своим умом, опять будут тыкать в нос: «самоучка», «самородок», «выходец из низшего слоя»... И он «на ходу» сочинил легенду о корнях своей культуры, не уступающих по времени дворянской.

– Я из богатой старообрядческой семьи. В семье книг было много, дед с бабкой читали мне их, как себя помню...

А когда Блок, вынашивавший в это время идею неизбежного возмездия дворянству со стороны народа за века рабства и унижения, заговорил о разрушении церквей, усадеб, Кремля и усмотрел в этом стихийное проявление классового чувства, Есенин возразил:

– Нет, это из озорства. Отговорить легко всякого, как ребенка. – И добавил: – Нечего вам, интеллигентам, бояться народа. Бьетесь вы, как птицы в клетке, а к вам рука протягивается здоровая, жилистая... Страшно! А рука возьмет птицу и выпустит...

Разговор был сложный, профессиональный. Есенин излагал замысел будущей своей работы «Ключи Марии», говорил о том, что народная образная система, скрытая для поэтов из интеллигенции, открыта ему, чувствующему энергию древних мифов... Приводил какие-то примеры с налимом, луной, льдом, отделяющим рыбу от воздуха... Блок сидел и с внимательным почтением слушал, Есенин, видя это, воодушевлялся все больше и больше.

– А вы женаты, Сергей Александрович? – спросил Блок на прощание уже с некоторой робостью, чуть ли не вытирая пот со лба от смущения. Спустя три года поэты точно поменялись ролями.

– Да, женат, но служить не собираюсь, свобода дороже, мы без свободы пропадем!

Но, несмотря на то, что в этом разговоре Есенин как бы окончательно утвердился по отношению к Блоку, он продолжал относиться к нему, как младший к старшему. Через две недели после упомянутой встречи Есенин вместе со своим приятелем Петром Кузько пошел

на вечер Блока в Технологический институт. Блок читал стихи в своей благородно-сдержанной манере, прислонившись к колонне. Читал «Соловьиный сад», «Незнакомку», «На железной дороге». За стенами зала стоял лютый мороз, грабители раздевали прохожих, обыватели топили буржуйки книгами и разбитой на лестничных площадках мебелью. А Есенин восторженно глядел на Блока, стоявшего у колонны; один раз не выдержал, толкнул своего соседа и с восхищением прошептал: «Хорош Блок! Надо его проводить до дома!» Провожая Блока, разговаривали о скором немецком наступлении, о близком голоде, о заградотрядах, о бандитизме. Блок был замкнут, молчалив. Он мужественно и мучительно вынашивал поэму «Двенадцать».

5 января 1918 года большевики разогнали Учредительное собрание. 10 января открылся III Всероссийский съезд Советов, спешно созванный для того, чтобы ратифицировать разгон Учредилки и провозгласить легитимность советского правительства, сняв с него эпитет «временное». После расстрела на Литейном демонстрации, организованной в защиту Учредительного собрания, положение большевиков осложнилось. Забастовки банковских служащих, учителей, работников телеграфа приняли угрожающие масштабы. Город был заполнен дезертирами, погромщиками, анархистами, матросами – «орлами и гордостью революции». Совнарком держался только на штыках латышских стрелков, оберегавших Смольный. 6 января солдаты стреляли по демонстрантам, думая, что защищают от них Учредительное собрание. В другой раз они могли разобраться точнее – кто за кого. Память жертв 6 января слилась с памятью о расстреле 9 января 1905 года. На траурных полотнищах во время похорон было написано: «Павшим в борьбе за власть народа». 9 января, еще задолго до немецкого наступления, чтобы избавиться от всех этих внутренних опасностей, большевики тайно приняли решение о переносе столицы из неуправляемого Питера в Москву. А Брест-Литовский мир, заключенный 3 марта, еще более усугублял уже существующую репутацию Ленина как немецкого шпиона. «Опять продает Россию немцам!» – толковали обыватели. Если в начале войны враги императора Николая Второго распускали слухи, что через царицу на него влияют тайные немецкие силы, и царь, чтобы хоть как-то нейтрализовать эти слухи, переименовал Санкт-Петербург в Петроград, то Ленин пошел куда дальше. Желая привлечь на свою сторону патриотическую, враждебную ему часть общества, он вообще переносит столицу из «антинационального города» в центр «национального» бытия – в Москву. Переезд проходил в кошмарной обстановке. Всякая власть в городе развалилась. Знаменитый матрос Железняков ушел к анархистам. Тысячи горожан штурмовали вокзалы. Трупы подошедших от голода лошадей валялись на Невском. Город жил под аккомпанемент стрельбы, погромов, самосудов. Но патриотизм – «последнее прибежище негодяев», и, следуя этой истине, правительственная газета «Известия» от 14 марта 1918 года писала:

«Какова же задача Московской Руси? Это задача повторения того исторического дела, которое уже выполнила однажды Москва и которое ей придется повторить вновь: дело пробуждения национального чувства и собирания России».

В «Вечерней звезде», где печатались С. Есенин, Е. Замятин, О. Мандельштам, Вяч. Шишков, было опубликовано сообщение о переезде правительственных учреждений из Петрограда в Москву. Петроград предполагалось объявить вольным торговым городом, а всех граждан призывали к оружию, чтобы дать отпор «германским белогвардейцам». Военная коллегия Совнаркома обращалась к народу: «Мы были вынуждены согласиться на грабительский мир, потому что еще не встал и не проснулся, не выпрямился во весь свой рост, не поднял повсеместно Красного знамени международный пролетариат... Каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка *должны уметь стрелять*. Из винтовки, из револьвера, из пулемета... На место старой армии ставит свободный народ свободную всеобщую армию свободных людей»... Далее газета публиковала адреса, где обучают стрельбе. Подписано воззвание руководителями наркомата по военным делам: Н. Крыленко, Н. Подвойским, главным комиссаром военно-учебных заведений И. Дзевалтовским.

Вместе с этими призывами в том же номере газеты напечатано стихотворение С. Есенина «Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать...». На полях газеты со стихами, хранящейся в подшивке в РГБ, кто-то написал (причем надпись сделана еще в те годы, о чем свидетельствует старая орфография): «Ахъ Есенинь! Чудакъ!!!» И действительно, стихи выглядели как чудачество рядом с таким, например, текстом:

«Безмерный развал старой армии, которую мы сами уже перестали называть гордым именем „революционной“, ее стихийный, панический отход с фронта обозначает, вместе с тем, сомнений нет, и начало отхода крестьянской массы от революции... Наступает полоса крестьянского термидора... „Крестьянская масса“ надеется в своей глуши, в своем пошехонском уезде, до которого ни в какой форме не добраться „немцу“, осуществлять беспрепятственно свой пошехонский социализм».

Подобные предсказания соседствуют с сообщениями о разграблении населением вагонов с мукой и сахаром, а также со стихами Эмиля Кроткого о том, как Ленин украл у эсеров их лозунги о земле:

Прохладен март. Коммуна же нага.
Мы без штанов – я буду откровенен,
Российскую стихию в берега
Решил ввести сие узревший Ленин.

.....

Как плавать без ветрил и без руля
Устали сухопутные де Гамы.
И радостно заладили: «Земля!» —
Наследники эсеровской программы.

В этом же номере сообщения об открытии детских питательных пунктов, о прекращении пассажирского движения на Александровской дороге, протесты против цензуры, закрывшей ряд газет, заявление министра иностранных дел Японии о защите своих интересов в Сибири.

В номере «Вечерней звезды» от 11 марта 1918 года стихи Алексея Ганина, выражающие разочарование в революции:

Опять над полем тяготееет
Усобиц княжичий недуг,
Опять татарской былью веет
От расписных узорных дуг.

События развивались с устрашающей быстротой. Если 5 марта «Вечерняя звезда» писала о добровольной армии вооруженного народа, то через две недели она уже ругает за «обязательный призыв молодых годов», на первое время по крайней мере полумиллиона мужиков, только что вернувшихся, вернее, сбежавших с фронта...

* * *

Между Сергеем Есениным и Ивановым-Разумником пробежала кошка. Слишком высоко оценил Разумник Васильевич клюевскую «Песнь солнценосца» – революционную риторiku поэта, назвав его «первым глубинным народным поэтом». Есенин возмутился: ну куда годится это, говоря по-блоковски, «публицистическое разгильдяйство»!

В потир отольются металлов пласты,

Чтобы солнца вкусили народы-Христы...

Или, к примеру:

Китай и Европа, и Север, и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг...

А тут еще Андрей Белый глаза закатывает: «Сердце Клюева соединяет пастушечью правду с магической мудростью... И если народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной, то прекрасен Народ, приподнявший огромную правду о Солнце над миром – в час грома...» Тьфу! Совсем заболтались! И Есенин, нахмутив брови, садится писать Иванову-Разумнику: «То, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышинный писк...»

Настолько это обидно Есенину, что не хочет он печататься в третьем выпуске альманаха «Скифы». Еще бы! Только что он разговаривал с Блоком как равный с равным, а тут Клюев – «первый поэт»! Да еще написавший: «Белый свет Сережа с Китоврасом схожий разлюбил мой сказ»... Сокрушается его бывший учитель, что Есенин охладил к нему и подло убил его, как коварный Борис Годунов беззащитного царевича Дмитрия!.. Так начиналась распря Есенина с Клюевым. Не личная распря, а гораздо более серьезная – поэтическая...

Клюев же в это время голодал в Вытегре. «...Все погибло... – писал он издателю В. Миролюбову. – Солома да вода, нет ни сапог, ни рубахи. На деньги в наших краях спички горелой не купишь...»

Разруха действительно, как половодье, пошла по России. Прежде всего разрушалась сама страна. В марте-апреле 1918 года Есенин съездил в Константиново поглядеть, чем живет деревня. Деревня была неузнаваема. Сотни солдат с винтовками, дезертировавшие из армии Временного правительства, уголовники, отпущенные по амнистии из тюрем и ссылок, освобожденные «политические», боровшиеся по-своему с царским режимом, наводнили ее, сделали шумной, крикливой, агрессивной. «1918 год. В селе у нас творилось Бог знает что. „Долой буржуев! Долой помещиков!“ – несло со всех сторон», – вспоминает Екатерина Есенина.

Поэт часто ходил на мужицкие сходки и митинги. Сам не выступал, не знал, что сказать. Больше слушал. Чаше других с речами, в которых «мать-перемать» прихотливо сочеталась с требованиями тут же отдать всю землю крестьянам и с заклинаниями о социализме, выступал Петр Мочалин, рабочий Коломенского завода. Он стал прототипом будущего образа Прона Оглоблина в «Анне Снегиной».

В эсеровской газете «Знамя труда» от 20 апреля 1918 года комиссар земледелия эсер Сергей Коллегаев сообщает: «Разгромлено имение Вяземского, оцениваемое до 50 миллионов руб. Сады вырублены, оранжереи разбиты, племенной скот часто резался. До 200 рысистых лошадей были уведены, и большинство из них на крестьянских кормах передохло». (Заслуживает внимания заголовок, под которым помещено это сообщение: «Как проходит земельная реформа на местах».)

Приведем несколько выдержек из эсеровских газет того времени, номера которых Есенин скорей всего читал, так как именно в них печатались в то время его стихи и стихи его друзей – крестьянских поэтов, статьи о них, сообщения о литературных вечерах, в которых они участвовали. Дело в том, что главным публицистом газеты «Знамя труда» был Р. Иванов-Разумник, с которым у Есенина, несмотря на размолвку по поводу стихов Клюева, дружеские отношения были прочными.

«Знамя труда» от 5 апреля 1918 года: информация о закрытии газеты «Русские ведомости» за помещение статьи Савинкова с клеветническими выпадами против советской власти и призывами к ее свержению. Революционный трибунал после речи Крыленко постановил: «Газету „Русские ведомости“ закрыть навсегда, а редактора Егорова

приговорить к принудительным работам на 3 месяца, но поскольку тот в преклонном возрасте, то в тюрьму на такой же срок».

В «Знамени труда» от 7 апреля 1918 года анонсируются на ближайшие номера стихи Блока, Ганина, Андрея Белого, поэмы Есенина, стихи Ширяевца и Орешина. В этом же номере опубликованы сразу две поэмы Есенина – «Пришествие» с посвящением Андрею Белому и «Октоих»:

Святись преполовением
И рождеством святись,
Чтоб жаждущие бденья
Извечьем напились.

Религиозно-метафизическая воля Есенина в этих поэмах очень сильна и возвышенна, но она вступает в противоречие с реальной жизнью, отраженной в той же газете. Немцы захватили Украину, высадились в Финляндии; японцы оккупировали Владивосток. Левые эсеры считают, что все эти беды – следствие капитулянтского Брестского мира.

«Знамя труда» от 12 апреля 1918 года. Приказы, декреты, сообщения сыплются, как из мешка... Каменева – послом в Вену, Адольфа Иоффе – послом в Берлин, информация о еврейских погромах. Совнарком Москвы сообщает о том, что в ночь на 12 апреля были разгромлены и захвачены все особняки анархистов на Малой Дмитровке и на Поварской. А Есенин печатает «Преображение»:

Ей, россияне!
Ловцы вселенной,
Неводом зари зачерпнувшие небо, —
Трубите в трубы.

Советская власть принимает Декрет о памятниках Республики за подписями В. Ульянова, Луначарского, Сталина, Горбунова:

«Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной сторон, подлежат снятию с площадей и улиц... Совнарком выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс».

Принимается декрет об отмене права наследования. После смерти владельца имущество, ему принадлежащее, становится «государственным достоянием».

Обыватели напрямую увязывали власть большевиков с террором и грабежами. Недаром стихия безграничной пугачевщины гуляет по страницам блоковской поэмы «Двенадцать».

Из газеты «Вечерняя звезда» от 12 апреля 1918 года:

И в пьяной власти радужных затей,
Став на дыбенки, распахнув крыленки,
Мы стали жить без розог и плетей...
Как буква Ъ, упразднены застенки.
Нас и карают мягко, как детей:
Не бьют, не жучат, только «ставят к стенке».
И, упростив Фемиды скучный торг,
Спокойно спать нас отсылают в морг.

(А. Радзиевский)

И как иллюстрация к этому стихотворению информация из следующего номера той же газеты: «Матросы расстреляли шестерых студентов, ссылаясь на приказ Ленина и Бонч-Бруевича – якобы был заговор».

Из «Вечерней звезды» от 23 марта 1918 года:

«Все управление страной советов происходит втемную. Лишь изредка промелькнет какая-то пара цифр, проливающих свет на то ужасное состояние наших финансов, народного хозяйства и т. д., до которого довела эта власть страну».

Первый год большевистской революции. Непроизвольно напрашиваются аналогии с нашим временем, их просто не счесть... Вот вариант своеобразной государственной «прихватизации»: сообщение из «Вечерней звезды» от 27 марта 1918 года:

«Учрежден комиссариат по заведованию всеми национальными именьями Крыма. Народным комиссаром назначен т. Раппопорт».

В номере той же газеты от 20 апреля опубликована статья «Россия без моря»: «...Итак, Россия может остаться почти вовсе без моря, превращаясь в государство, которое вынуждено будет связываться с остальным миром только через своих соседей и жить, и существовать их милостью».

Страна, начавшая раскалываться на куски уже при Временном правительстве, после того как большевики объявили о праве наций на самоопределение, окончательно затрещала и стала расплзаться уже на «законных основаниях». Брестский мир развязал руки всем желающим поживиться за счет России.

«Вечерняя звезда» от 23 марта 1918 года. Стихотворение А. Флита «Аукцион»:

Со всех концов большого света,
Надевши брюки на ходу,
Они бегут, почуяв где-то
Добычу в дьявольском году.

Раскрытый зал аукциона,
Гудит блестящая толпа,
Сверкают фраки и короны
И дипломатов черепа.

Германцев жирные затылки,
Балканских хищников носы,
Французов трепетные жилки
И профиль английской лисы...

Поодаль, скромником в сторонке,
Придав спокойный блеск глазам,
Оскалив желтые коронки,
Со звездным флагом – Дядя Сам.

.....

И ты, Россия, в гулком зале
Доступна для осмотра всем,
А я в часы твоей печали
Стою в углу за дверью нем...

17 апреля открылся Второй Всероссийский съезд партии левых эсеров. Они были, в сущности, единственной партией, с которой большевики хоть в какой-то степени делили к этому моменту власть. Основной доклад на съезде делала легендарная истеричка Мария Спиридонова. Она, в частности, сказала: «Большевики умели дерзать в моменты политического перелома: в этом их достоинство, в этом их сила. Должны уметь дерзать и мы».

Из политического отчета съезда: «Бывшая в начале нашей совместной работы психологическая пропасть между нами и большевиками постепенно исчезла, и в конце концов у нас работа совершенно спаялась...»

Большевики и левые эсеры дружно решили, что «Учредительное собрание должно быть упразднено, по вопросу о социализации земли большевики приняли программу левых эсеров».

Однако, согласившись с большевиками на разгон Учредительного собрания, одобрив политику закрытия всех либерально-демократических партий, газет, изданий, левые эсеры подписали сами себе смертный приговор. Через полгода, когда возникнет необходимость концентрации власти, большевики расправятся и с ними, последними своими друзьями-соперниками по революции. А еще через несколько лет, когда начнутся процессы эсеров, Мария Спиридонова, хорошо знакомая с царскими тюрьмами, отправится в советскую тюрьму и ссылки на двадцать лет; она будет расстреляна в Орле, городе, связанном с именем другой эсерки – Зинаиды Райх, в 1941 году, перед самым вступлением в город немцев.

Есенин, который в это время был одним из самых модных авторов эсеровских изданий, чувствовал угрозу, нависшую над его новыми политическими друзьями. При расколе летом 1917 года партии эсеров на «левых» и «правых» Есенин сделал не без влияния Иванова-Разумника свой выбор: «...пошел с левой группой».

Однако в партию эсеров он никогда не вступал, участвовал в движении «не как партийный, а как поэт». (Хотя, когда немцы наступали на Питер, записался в эсеровскую дружину.) Это была его обычная линия поведения. К политическим партиям Есенин относился как к женщинам: заводил с ними романы, а потом, когда чувствовал, что они могут ограничить его свободу как поэта, уходил от них. Но «дети» оставались. И свой «роман» с эсерами поэт опишет через несколько лет в «Поэме о 36».

Недаром она нашими есениноведами никогда серьезно не исследовалась. Не хотелось им видеть такого Есенина. Эсеры осуждены, загнаны в ссылки Свирская, Иванов-Разумник и другие друзья поэта. Зачем же соотносить его имя с людьми, «изъятыми из обращения»? Зачем все усложнять, копать в прошлом? А в «Поэме о 36», написанной после суда над эсерами 1922 года, когда вся их элита была приговорена к смертной казни, сказано многое, и весьма прозрачно.

«Поэма о 36» – реквием эсеровскому движению, эсеровскому истерическому героизму, эсеровскому сопротивлению большевикам. Обо всем этом Есенин написал в 1924 году, но понимать то, что происходит, он начал еще весной и летом 1918 года. Уже тогда становилось ясно, что социалисты-революционеры (после того как большевики использовали их лозунг «Земля – крестьянам!») как массовая партия обречены на гибель.

Строго говоря, Есенин никогда не принимал их идеологии и практики террора и сблизился с эсерами лишь из-за их ставки в революции на крестьянство. Но теперь, когда в последней схватке за власть левые эсеры вот-вот столкнутся с большевиками, они обречены. А потому следует отойти от них. У Есенина другие цели в жизни, другое призвание. Он рисковать не может. И жену надо уговорить, чтобы вышла из эсеровской партии. С огнем играем. Вот как оно получается...

Клубок политической борьбы затягивался все туже и туже. Всего лишь год назад Есенин с Зинаидой и с Ганиным гуляли по Соловкам, разговаривали с монахами, по тропам монастырским бродили аж до Секирной горы, останавливались у часовенок, где Алешка Ганин ставил свечи, а теперь «Голос трудового крестьянства» в том же номере, где Есенин опубликовал частушки, собранные им в последнюю поездку в Константиново, сообщает: «Соловецкий монастырь превращен в трудовую коммуну... Кемский уездный совет заслушал доклад тов. Степанова о его поездке в Соловецкий монастырь, монахи которого не подчиняются Советской власти. Решено остров Соловки объявить народным достоянием и организовать там трудовую коммуну, окончательно выяснив пока все продовольственные запасы, отобрав оружие и назначив комиссара с вооруженной силой...»

Лето 1918 года обещало быть жарким. Громадная страна то в одной, то в другой своей части начинала соображать, что с ней произошло. То там, то здесь вспыхивали крестьянские волнения, общественная ярость нарастала с каждым днем, приобретая иррациональные формы. Большевистско-левоэсеровское противостояние достигло точки кипения и должно было разрешиться кровопусканием.

Трибуналы по приказу Троцкого работали в армии во всю мочь, насильственная мобилизация ожесточала население. Брестская передышка заканчивалась. «Знамя труда» от 10 июня 1918 года публикует драматический отрывок Б. Пастернака о ночи с 9 на 10 термидора 1794 года. Русский термидор уже маячил перед глазами.

«Знамя труда» от 21 июня 1918 года: «Во многих местах наряду с лозунгом Учредительного собрания слышны крики: „Бей жидов“... Нужно изыскать средства для излечения революционных масс России от охватившего ее недуга разложения». В этом же номере в черной рамке сообщение об убийстве в Петрограде комиссара по печати т. Володарского. «Сообщение о гибели его получено нами поздно ночью. Убийца стрелял в спину».

Убийство Володарского, а вслед за ним Урицкого создало в стране ситуацию (сходную с той, что сложилась позднее в связи с убийством Кирова), при которой власти получали мандат на массовый террор. Недаром сразу после покушения на Володарского революционный трибунал вынес смертный приговор адмиралу Щастному, якобы готовившему Балтфлот к свержению Советской власти. Смертная казнь, юридически отмененная в 1917 году, была по предложению Крыленко восстановлена.

Есенин чувствовал, что время набухает кровью. Его очередная маленькая поэма «Сельский часослов», опубликованная в «Знамени труда» 11 июня 1918 года, резко отличалась от революционного пафоса «Отчаря», «Инонии», «Преображения». Впервые в этот цикл ворвались ноты отчаяния и гибели: «Где ты... Где моя родина?... Тайна твоя велика есть. Гибель твоя миру купель предвечная... Гибни, край мой! Гибни, Русь моя, Начертательница Третьего Завета».

У него уже не хватает ни смелости, ни вдохновения оставаться «пророком Есениным Сергеем», он вдруг чувствует себя маленьким, загнанным в угол крестьянским сыном и с трогательной интонацией открывает нам свою душу:

Пастухи пустыни —
 Что мы знаем?..
 Только ведь приходское училище
 Я кончил,
 Только знаю Библию да сказки,
 Только знаю, что поет овес при ветре...
 Да еще
 По праздникам
 Играть в гармошку.

В том же номере, где был напечатан «Сельский часослов», – рассказ о гибели казака Подтелкова, героя будущего, еще не написанного «Тихого Дона». Перед смертью Подтелков сказал: «Советы – вот наша партия». А был он левым эсером. Тут же призывы Ленина и Троцкого к борьбе с временным сибирским правительством, с белочехами... Неумолимо приближаются две страшные трагедии: расстрел в Ипатьевском особняке и восстание левых эсеров, после подавления которого большевики становятся единоличными правителями России. Левоэсеровские газеты к середине лета 1918 года уже отбрасывают прочь всякую коалиционно-партийную дипломатию и клянут ленинское окружение за Брестский мир, за союз с немцами, за предательство революции, за оппортунизм... Словом, кличут гибель на

свою голову...

Словно в предчувствии всех этих грядущих бед и катастроф Есенин не придает существенного значения событиям своей личной жизни.

Весной он возвращается из Константинова в Петроград; вроде бы надо перебираться в новую столицу, перевезти в Москву беременную жену, работавшую машинисткой в Наркомпроде у Цюрупы. Жена вот-вот должна родить, а Есенин, воротясь в Питер, не спешит к ней, даже не заходит в первые дни на Литейный, где ждет его Райх, остается на квартире у Михаила Мурашева. Тот недоумевает и сам звонит Зинаиде, докладывает, что, мол, муж твой прибыл, у меня остановился. Разгневанная Райх едет на квартиру к Мурашеву и забирает мужа домой.

А тут еще Зинаида Гиппиус публикует в «Новых ведомостях» фельетон под псевдонимом «Антон Крайний», где называет писателей, пошедших на сотрудничество с советской властью, «нелюдями». Это она о Блоке, о нем, Есенине, об Андрее Белом, об Иванове-Разумнике. Обо всех «скифах». «Они – не ответственные. Они – не люди».

Понимала бы хоть что-нибудь в поэзии, дрянь салонная! А переезжать в Москву все-таки надо. Туда, вслед за властью, перемещается все – политика, литература, поэзия, газеты, издательства. Будущая жизнь со славой или бесславием – там...

«Вместе с советской властью покинул Петроград» (*«Автобиография», 1923 год*).

Зинаида вскоре уехала рожать в Орел к родителям, справедливо решив, что при них и сытней, и надежней, нежели в Москве рядом с бездомным мужем, увлеченным поэзией и политикой.

29 мая 1918 года в Орле родилась дочь Есенина – Татьяна.

* * *

Летом 1918 года, в Константинове, Есенин за три дня написал «Иорданскую голубицу». В ней не было эмоционально-пророческого напора «Инонии» и «Преображения». Но было нечто новое – мягкое, умиротворяющее чувство печальной неизбежности русской судьбы, чувство какого-то внутреннего примирения с грядущими испытаниями, личными и народными, чувство причастности ко всем, покидающим нашу землю, уходящим «в ту страну, где тишь и благодать».

Стаи «преображенных душ» улетают в мир иной, в небесную Россию. В криках журавлей поэту слышатся их голоса, а впереди, как вожак, ведущий стаю в райские кущи, летит, подобно лебедю, «отчалившая Русь».

Братья мои, люди, люди!
Все мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,
Уходящих каждый час, —
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Рядом с названными чувствами и картинами становятся далекими и чужими эсеровские и большевистские дела, грядущие заговоры и убийства:

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Рядом с такими волшебными строками безвкусными и чужеродными кажутся лихие выкрики поэта из той же поэмы:

Мать моя родина,
Я – большевик.

То ли уже начинал хулиганить, то ли захотелось досадить Гиппиус, объявившей его за сотрудничество с большевиками «нелюдем»: на-ка, выкуси, вот говорю, что я «большевик», и тут же такое пишу, отчего у какого-нибудь Бухарина последние волосы на голове дыбом встанут и что тебе, эстетке салонной, в жизни не сказать, не понять! А если кому-то не нравятся его революционные образы или библейские видения, то ведь он может все вернуть и на русскую рязанскую землю, где

...полная боли и гнева.
Там, на окраине села,
Мати пречистая дева
Розгой стегает осла.

* * *

«Голос трудового крестьянства» от 10 июля 1918 года сообщал о мятеже левых эсеров: «Кучка легкомысленных авантюристов подняла преступную руку против Советской власти».

...На деле все обстояло так. Шел V съезд Советов. Но 6 июля «двое негодяев», как писали газеты, не называя фамилий, убили немецкого посла Мирбаха. Позже выяснилось, что он был убит неким Андреевым и чекистом-эсером Яковом Блюмкиным, будущим опасным приятелем Есенина. Блюмкин с Андреевым, совершив террористический акт, укрылись в чекистском отряде эсера Попова, туда и приехали, чтобы арестовать террористов, Дзержинский с Лацисом и Беленьким, но были сами арестованы и разоружены по приказу «матери» левоэсеровской партии Марии Спиридоновой. В ответ большевики задержали в качестве заложников всех делегатов от партии левых эсеров на V съезде Советов, проходящем в Большом театре.

Через несколько часов отряд финнов и латышей под руководством Берзиня обстрелял штаб Попова из орудий. Все руководство взбунтовавшегося эсеровского отряда разбежалось, Дзержинский и Лацис были освобождены. Ответ большевиков на убийство Мирбаха был весьма своеобразен: «Массовый, а не единичный террор против врагов народа... Класс против класса, организованная массовая борьба миллионов рабочих и крестьян против класса помещиков и капиталистов – вот верный путь освобождения всех угнетенных».

Большевики не мелочились. Зачем им индивидуальный террор? Класс против класса – вот это масштаб. Троцкий на продолжившем свою работу V съезде Советов доложил, что латышские части и венгерский отряд интернационалистов Белы Куна подавил левоэсеровский мятеж...

Что же касается Я. Блюмкина, то заслуживает внимания его портрет, принадлежащий перу секретаря Сталина Б. Бажанова, сбежавшего в конце 1920-х годов за границу, который вспоминал: «Еще в 1925 году я часто встречался с Мунькой Зорким. Это была его комсомольская кличка: настоящее имя Эммануил Лифшиц. Он заведовал Отделом печати ЦК комсомола. Это был умный, забавный и остроумный мальчишка...

Мы шли с ним по Арбату. Поравнялись со старинным роскошным буржуазным домом. «Здесь, – говорит Мунька, – я тебя оставлю. В этом доме третий этаж – квартира, забронированная за ГПУ, и живет в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно, слышал, я с ним созвонился, и он меня ждет. А впрочем, знаешь, Бажанов, идем вместе. Не пожалеешь.

Блюмкин – редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придем, он, ожидая меня, будет сидеть в шелковом красном халате, курить восточную трубку в аршин длины, и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина (кстати, я нарочно посмотрел: он всегда раскрыт на той же странице). Пойдем, пойдем». Я пошел. Все было, как предвидел Зоркий, – и халат, и трубка, и том Ленина. Блюмкин был существо чванное и самодовольное. Он был убежден, что он – исторический персонаж. Мы с Зорким потешались над его чванством: «Яков Григорьевич, мы были в Музее истории революции: там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена». – «А, очень приятно. И что на стене?» – "Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты, а вверху через всю стену цитата из Ленина: «Нам нужны не истерические выходки мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь железных батальонов пролетариата». Конечно, мы это выдумали; Блюмкин был очень огорчен, но проверить нашу выдумку в Музей революции не пошел.

Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и его сопровождавшие были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в Чека и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания. Дальше его чекистская карьера привела его в Монголию, где во главе Чека он так злоупотреблял расстрелами, что даже ГПУ нашло нужным его отозвать. Шелковый халат и трубка были оттуда – воспоминание о Монголии. ГПУ не знало, куда его деть, и он был в резерве...»

Между прочим, еще в период пребывания в Монголии Блюмкин выполнял поручения, связанные с работой резидентуры в Тибете и некоторых районах Китая. Он состоял советником по разведке и контрразведке в гоминьдановской армии у генерала Фэн Юнсяня, которого Москва по радио просила оказать содействие экспедиции Николая Рериха в Тибет. Позволительно будет предположить, что замысел сей экспедиции был непосредственной частью общего плана работы советской резидентуры на Среднем Востоке, в частности, в Индии, которой в середине 1920-х годов отводилась роль форпоста мировой революции. Блюмкин обеспечивал непосредственную связь на месте между китайским генералом и членами экспедиции.

Одна из наиболее интересных страниц в биографии Блюмкина – его пребывание в должности комиссара штаба «Гилянской рабоче-крестьянской армии» Гилянской Советской республики в северных провинциях Персии. Обращает на себя внимание и тот факт, что Есенин в трех автобиографиях, перечисляя свои путешествия 1918–1921 годов, неизменно упоминает Персию. Волей-неволей задаешься вопросом: не посещал ли поэт в 1920 году во время путешествия на Кавказ Гилянскую республику в сопровождении Блюмкина и не вспомнил ли об этом посещении через несколько лет, когда, уже будучи на Кавказе, работал над «Персидскими мотивами»?

Документальных доказательств этому нет. Одни догадки.

Мы так подробно остановились на фигуре Блюмкина потому, что его пути с Есениным не раз пересекутся...

* * *

В течение всего лета Есенин много печатается в самых разных изданиях – левоэсеровских, большевистских, советских, чисто литературных. Он не брезгует ничем, как бы демонстративно заявляя о своей позиции «поверх всех барьеров» – партийных, сектантских, групповых. То здесь, то там встречаются читатели его стихи и поэмы. «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Песнь о Евпатии Коловрате», «Зеленая прическа...»,

«Гаснут красные крылья заката...», «Вот оно, глупое счастье...», «Песни, песни, о чем вы кричите...» В начале сентября Есенин возвращается из деревни в Москву и здесь знакомится с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем, вместе с Клычковым он пытается разузнать, чем дышит только что созданная организация «Московский пролеткульт». Есенин взмывал над политикой, но для компенсации старался найти себе литературную среду – жить и творить в одиночестве, как, к примеру, Блок, Сологуб, он не любил и не мог. Да и жить было негде, ни кола ни двора. А если где и обретал он приют, то приходилось дружить с людьми, которые этот приют давали. На какое-то время Есенин прижился в литературной студии пролеткультовцев, в особняке Морозова, где они с Клычковым устроились на чердаке. Возможностей для заработка, для издания книг почти не было. Следовало крутиться, помогать Зинаиде, которая жила с ребенком в Орле... В одиночку выжить в то время было невозможно. И писатели стали сбиваться в коллективы, кооперативы, артели. Организовали «Московскую трудовую артель художников слова», куда Есенин с Клычковым пригласили и Андрея Белого. Белый крутил своей седой головой, улыбался, бормотал: «А я грузчиком буду, книги таскать!» Есенин толкал в бок Клычкова: «Смотри, как умело придуряется!» Артель выпустила несколько книжиц, которые дали ей какие-то копейки, и вскоре прогорела. Есенин в сердцах винил Клычкова: мол, тот то ли пропил, то ли как-то иначе растратил общественные деньги...

Вспомнил Есенин и о своем питерском друге Иванове-Разумнике. Написал ему слезное письмо: «Мне передали, что где-то можно издать в Петербурге мою книгу. Будьте добры, напишите, что это за издательство и на каких условиях... Деньги бы были мне весьма кстати...» И это – Есенин, год тому назад гордо провозгласивший на всю Россию: «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт!..» Ну стал – и что толку! Начиналась та же борьба за кусок хлеба, что и в четырнадцатом году. Или даже похлеще. Сходство усугубилось тем, что, будучи выселенным из чердачного пролеткультовского помещения, где он жил с Клычковым, Есенин, как и четыре года назад, вынужден был снова поселиться у отца: почтовый его адрес того времени был отцовским – Большой Строченовский, д. 24, кв. 6.

Примерно год спустя Александр Блок, обвиненный Зинаидой Гиппиус в большевизме, сделал в дневнике историческую запись: «Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей».

Но уничтожали не просто отдельных людей. Уже в августе-сентябре 1918 года по стране прокатилась волна красного террора, взявшая начало от стен Ипатьевского особняка в Екатеринбурге. «Голос трудового крестьянства» от 20 июля 1918 года: «По постановлению Президиума Уральского Областного Совета расстрелян Николай Романов... Кто приговорил Романова к расстрелу?» – спрашивает газета. И отвечает, что это сделал уральский рабочий председатель Облсовета Александр Белобородов, что, когда понадобился надежный комендант, выбрали русского рабочего И. Авдеева, и что когда надо было перевезти царя из Тобольска в Екатеринбург – это сделал «рабочий» В. Яковлев. В заключение автор статьи написал: «Белобородов, Авдеев, Яковлев – вот три рабочих, которым история отдала в руки „священную особу помазанника Божия“ Николая Последнего».

Еврейская коммунистическая элита, желая представить убийство Романова как возмездие со стороны «русских рабочих», умолчала, естественно, о Якове Юровском, лично застрелившем императора, о Шае Голошкекине, о Пинхусе Вайнере (Войкове) и уж, конечно, о главном организаторе убийства – о Янкеле Свердлове. В газетах сообщалось только о расстреле Николая, но через несколько недель слухи об уничтожении всей царской семьи доползли до столицы, дошли они, несомненно, и до Есенина. И не может быть, чтобы не вспомнил он, как читал стихи четверем прелестным барышням и «немке» Александре Федоровне. «Не дай Бог, кто-нибудь раскопает, что я царевнам посвящение писал», – эта мысль должна была мелькнуть в голове Есенина...

18 июля президиум Всероссийского ЦИК в составе Свердлова, Аванесова, Сосновского, Теодоровича, Розенгольца, Митрофанова, Розина, Владимирского, Максимова

и Смидовича признал решение Уральского Облсовета правильным. Из десяти голосовавших было лишь двое русских.

Тот же «Голос трудового крестьянства», тот же номер от 20 июля 1918 года. Из статьи о ярославском мятеже: «Для того чтобы удержать в своих руках фабрики, земли и капиталы, они (организаторы мятежа. – *Ст. и С. К.*) решили быть Мининскими: отдавали когда-то награбленные от тех же рабочих и крестьян деньги, посылали своих детей на борьбу с революционным народом».

А тут еще убийство Володарского! В газете «Новые ведомости» один из популярнейших либеральных журналистов Александр Амфитеатров писал с беспощадной иронией: «Убит один из большевистской толпы... Как первый выбитый из правительства большевиков насильственной смертью останется в памяти революции. Но право на то даст ему именно первость. Его отметила в календаре смерть, а не жизнь... В истории русской печати месяцы Володарского останутся периодом печального и стыдного анекдота»...

«Угловатое дитя эмигрантских колоний», комиссар по делам печати и агитации, Володарский, убитый неизвестным рабочим, работал в Лодзи закройщиком, потом уехал в Америку, поступил на фабрику. Типичная судьба многих мелких революционеров из «вагона Ленина» и с «корабля Троцкого». На это обратил внимание Джон Рид в своей знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли мир». Приехав в Москву, где только что было подавлено ноябрьское восстание юнкеров, он зашел в Московский Совет и в коридоре вдруг встретил человека, лицо которого показалось ему знакомым: «...Я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне (штат Нью-Джерси) во время знаменитой забастовки на предприятиях компании „Стандарт Ойл“. В те времена он был часовщиком и звался Джорджем Мельчером. Теперь из его слов я узнал, что он является секретарем Московского профессионального союза металлистов, а во время уличных боев был комиссаром Военно-революционного комитета».

Такие, как этот Мельничанский, – портные, часовщики, зубные техники – сотнями, тысячами хлынули в 1917 году в Россию и сразу же оказались в структурах власти, стали занимать крупнейшие государственные посты. И неважно то, что чекистский надзиратель за печатью Володарский или Карл Радек плохо говорили по-русски. Попробовал бы кто-нибудь в то время упрекнуть их в этом!

31 августа 1918 года все центральные газеты откликнулись на убийство еще одного такого же «героя революции» – Моисея Урицкого. В «Правде» раздирал на себе тельняшку и «поэтично» вопил Бухарин:

«Убит барчком-юнкером (и конечно – „социалистом“, ибо какой же негодяй теперь не социалист!) наш дорогой друг, незабвенный товарищ, при одном имени которого дрожала от бешенства вся шваль Невского проспекта – Моисей Соломонович Урицкий».

Среди имен многих мучеников пролетарской революции имя Урицкого будет вечно сиять нетленной красотой... Тов. Урицкий был тверд, как стальной кинжал, но в то же время он был добр и нежен как немногие... Мы будем отвечать на его смерть так, как требуют интересы революции».

А в «Красной газете» программу «ответа» излагал еще один палач – Лев Сосновский, с которым Есенину придется непосредственно столкнуться пять лет спустя: «Французские революционеры тащили мятежных аристократов „на фонарь“, вешали врагов народа тысячами. Русская революция ставит врагов „к стенке“ и расстреливает их... Завтра мы заставим тысячи их жен одеться в траур... Через трупы путь к победе!»

Есенина глубоко потрясла весть о расстреле в подвалах Петроградской ЧК его товарища, молодого поэта Леонида Каннегисера, с которым еще совсем недавно они бродили по приокским заливным лугам... В одиночку бросить вызов палачу Петрограда Урицкому, застрелить его и пожертвовать собой! Что им двигало? Что дало ему силы пойти на смерть? Есенин бродил по ночной Москве, вспоминая стихи и письма Леонида... Он никому не открывался, что был знаком с ним: террор крепчал с каждым днем. В конце концов поэт осмыслил драму Леонида Каннегисера так же, как определил ее чуть позже писатель Марк

Алданов: решение Каннегисера убить Урицкого исходило «...из самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых...».

* * *

Ни о каких серьезных заработках осенью 1918 года и думать было нечего. Есенин мечется. Нищета, беготня по редакциям, опять надо приспособливаться, но уже к новым «заезжим людям». От отчаяния он подражается писать монографию о Сергее Конёнкове в компании с Клычковым. Пишут слезное ходатайство «зав. отделом изобразительных искусств комиссариата народного просвещения», говорят, что якобы уже работают над монографией, просят «аванс в 1 (одну) тысячу рублей».

В ноябре 1918 года «Московская трудовая артель художников слова» издает вторым изданием «Радуницу». Книга расходилась плохо, выручки почти не было. Журналист Лев Повицкий, встретив на улице исхудавшего Есенина, увез его вместе с Клычковым в годовщину октябрьского переворота в Тулу к своему брату – владельцу еще не национализированного пивоваренного завода. Там хоть отъелись немного.

А заканчивался год тем, что большевики, разрушив немало мраморных, чугунных и бронзовых памятников «деятелям старого режима», начали ставить по Москве где деревянные, где гипсовые памятники-временки знаменитым людям прошлого, деятельность которых они считали созвучной революционной эпохе. Нищие и голодные скульпторы быстро слепили и сколотили за убогие пайки эти временки, на торжественных открытиях которых выступали самые первые лица государства. Участвовал в этих торжествах и Сергей Есенин.

«Известия» от 5 ноября 1918 года. Сообщение об открытии памятников «украинскому и нашим родным певцам народной печали» Т. Шевченко, А. Кольцову, И. Никитину и герою французской революции Робеспьеру. А надо всем этим красные плакаты: «Хай живе Советская влада Украины», «Пролетарьскому борьцю Т. Г. Шевченко, батькови Тарасу».

«Ровно в час дня приезжают на автомобиле т. т. Каменев и Коллонтай. Под медные звуки „Интернационала“ тов. Каменев поднимается на трибуну. Каменев говорит о том, что „на родине Т. Г. господствует насилие“, „да здравствует господство трудящихся и мужиков всего света, воздвигаем ему памятник в Москве, откуда его гнали когда-то батогами“...»

Все шло по-революционному чинно, но вдруг произошел конфуз: «Во время речи тов. Каменева появляется торжественно официальная депутация из украинского консульства во главе с г-ном Кривцовым, который возлагает к подножию памятника венки от... гетмана Скоропадского. Г-н Кривцов выражает желание говорить, но его предложение по понятным причинам отклоняется».

Все это действие происходило на Трубной площади. В тот же день открывались памятники Кольцову и Никитину, воздвигнутые возле кремлевской стены. «Певцу народной печали Кольцову», «Певцу народной бедноты Никитину» – надписи на венках. Опять выступает Каменев: «воспел народное страдание». «Тов. Каменева, – как пишут „Известия“, – сменяет поэт-футурист Есенин».

Есенин читал стихотворение «О Русь, взмахни крылами...», но, когда увидел газетный отчет, в котором его обозвали футуристом, аж сплюнул: «Нет, надо какое-то свое направление создавать, с запоминающимся названием... Мариенгоф предлагает „имажинизм“, „имаж“ – говорит, это образ по-французски. Французский знает, с гувернантками рос...»

7 ноября Сергей Есенин присутствует на открытии мемориальной доски в память павших в ноябре 1917 года. Доску изготовил Конёнков, слова кантаты, исполнявшейся на открытии, написали Есенин, Клычков и Герасимов. Заказ был правительственным и щедро оплачивался натурой: мукой, воблой, подсолнечным маслом, папиросами.

В последний месяц года Есенин судорожно пытается встроиться в какие-нибудь структуры – издательские, профсоюзные, культурные. Иначе загнешься с голоду в одиночку. Он заигрывает с пролетарскими писателями, предвидя, что власть поддержит в первую очередь их, пишет поверхностную (может, потому и не сданную в печать) статью о пролетарских поэтах, срочно вступает в Московский профессиональный Союз писателей и тут же подает следующее заявление:

«Прошу Союз писателей выдать мне удостоверение для местных властей, которое бы оберегало меня от разного рода налогов на хозяйство и реквизиции. Хозяйство мое весьма маленькое (лошадь, две коровы, несколько мелких животных и т. д.), и всякий налог на него может выбить меня из колеи творческой работы, то есть вполне приостановить ее, ибо я, не эксплуатируя чужого труда, только этим и поддерживаю жизнь моей семьи. Сергей Есенин».

Читаешь такое, и, говоря любимой фразой Есенина, «плакать хочется».

А в самом конце года, видимо, уже совершенно впав в отчаяние, Есенин пишет риторическую, трескучую, самую слабую, самую революционную, самую конъюнктурную свою поэму «Небесный барабанщик».

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчем.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.

Здесь же и «белое стадо горилл», ополчившихся на красную свободу, и «тени церкви и острогов», и «Гей вы, рабы, рабы! Брюхом к земле прилипли вы...» (Ну чем не Маяковский или самый худший Клюев!) И посвящена поэма была некоему Л. Н. Старку, личности совершенно ничтожной, бывшему всего-навсего комиссаром РОСТА. В эти дни Есенин настолько пал духом, что решил вступить в РКП(б). Написал заявление, которое несколько недель лежало на столе у партийного публициста Г. Устинова.

Устинов вспоминает, что «в эти огненные годы нужна была полная готовность умереть за коммунизм, чтобы быть революционером. Других революционеров партия не знала». Все это Устинов сказал Есенину, пришедшему к нему с заявлением и за рекомендацией. «Напиши, пожалуйста, рекомендацию... – просил Есенин. – Я, знаешь ли... Я понял... И могу умереть хоть сейчас», – пишет в воспоминаниях Устинов. Но «умирать» Есенину не пришлось. Слава Богу, Устинов каким-то чутьем понял, что Есенин на члена РКП(б) «не тянет», и не дал ему рекомендацию. А тут еще молодцом повел себя издательский работник Н. Мещеряков, который совершенно справедливо написал на оригинале поэмы «Небесный барабанщик»: «Нескладная чепуха. Не пойдет». Есенин был оскорблен, его самолюбие было уязвлено, и он, готовый «умереть» за идеалы коммунизма, окончательно отбросил мысль о вступлении в партию. Бог спас...

Понимая, что без вступления хоть в какую-то организацию не проживешь, Есенин в последние дни 1918 года взял на себя роль одного из организаторов имажинистской группы. Словом, хоть что-нибудь. Если не РКП, то – «Орден имажинистов».

Спустя некоторое время, случайно попав в ЧК и заполняя там анкету, в графе «партийность» Есенин напишет: «имажинист».

Глава седьмая «Великолепные»

У братьев моих нет чувства родины.
С. Есенин

В своих воспоминаниях 1950-х годов Анатолий Мариенгоф приводит красноречивый перечень сообщений из газет первой недели января 1919 года:

«В Архангельском районе противник превосходящими силами с артиллерийской подготовкой ведет наступление на наши позиции».

«Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создается Московская Чрезвычайная Комиссия».

«Одесса занята французами и добровольцами. Город разбит на четыре участка: французский (156-я дивизия); африканский (зуавы), польский (легионеры) и добровольческий».

«В связи с чрезвычайным переполнением московских тюрем и тюремных больниц сыпной тиф принял там эпидемический характер».

«Работники советской власти в провинции часто бывают в безвыходном положении: надо представить смету в 10 экземплярах, а бумаги нет».

«Английские адмиралы заявили, что они будут без предупреждения расстреливать всякое судно, имеющее на вымпеле красный флаг».

«Запасы нефти на Московской электрической станции почти совершенно иссякли».

«С 10 января хлеб в Петрограде выдается населению по прежней норме, то есть по I категории по $\frac{1}{2}$ фунта, по II – $\frac{1}{4}$ и по III – $\frac{1}{8}$ фунта на день».

«Объявляется на 5 и 6 января с. г. всеобщая обязательная повинность по очистке площадей, улиц, тротуаров и бульваров Москвы от снега».

Вот как начался 1919 год для России и для Сергея Есенина. Он жил тогда в «Люксе», где помещалось общежитие Наркомвнудела и где поэта приютил его новый друг, партийный журналист Георгий Устинов, твердокаменный большевик, типичный человек эпохи.

Каждый день Есенин сидел у Жоржа в кабинете «Центропечати», читал, кое-что записывал. В редакции «Правды», где также работал Устинов, пролистывал все ежедневные газеты. Вечером обедали в столовке на Среднем Гнездиновском, где кормили сносно, но за большие деньги. Дома, по вечерам, как вспоминал Устинов, «вели бесконечные разговоры обо всем: о литературе и поэзии, о политике, о революции и ее вождях, впадали в жуткую метафизику, сравнивали землю с женским началом, а солнце с мужским, бросались мирами в космосе, как дети мячиком». В спорах иногда принимал участие и Бухарин. Есенин своим темпераментом увлекал Устинова, и тот всерьез отдавался метафизике, а Бухарин заливался хохотом:

– Ваша метафизика не нова, это мальчишеская теория, путаница, чепуха. Надо посерьезнее заняться Марксом.

Есенин улыбался.

– Кому что кажется. Мне, например, месяц кажется барашком.

В интересной компании Есенин проводил время – Бухарин, Осинский. Люди, которым его поэзия и творческие размышления были чуждыми. Устинов же испытывал скорее всего эмоциональное увлечение от разговоров со своим антиподом – и не более. Уже в статье «Гармония образов», опубликованной в газете «Советская страна» в феврале того же 1919 года, он сурово выговаривал Есенину, Клюеву, Орешину, Ширяевцу за то, что они «в жертву хлесткому образу приносят ясность и общедоступность содержания».

Друзья неразлучные! Понятно, что у новой власти каждый творческий работник был на счету. Их (творческих работников) надлежало переделать в соответствии с указаниями вождя мирового пролетариата, которые были для этих «железных людей» абсолютными, как Нагорная Проповедь для христиан.

«...Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе... Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены, если заниматься этой побасенкой... У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего. Социализм должен победить, и мы, социалисты и коммунисты, должны на деле доказать, что мы способны построить социализм из этих кирпичей, из этого материала, построить социалистическое общество из пролетариев, которые культурой пользовались в ничтожном количестве, и из

буржуазных специалистов...» (В. И. Ленин)

Замечательно здесь отождествление живых людей с кирпичами, из которых можно строить новое общество, предварительно подвергнув их «новому обжигу». Не на эти ли фантазии отозвался Есенин спустя два года в «Пугачеве»:

Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново...

Так или иначе, в холодную и голодную зиму 1919 года Устинов стал одним из ближайших сотоварищей Есенина и «нового поэтического окружения» поэта.

Впрочем, этот любитель поэзии сплошь и рядом давал понять, что шутки с такими, как он, плохи, никаких вольностей он в своем присутствии не потерпит. Так, однажды Есенин и его новые приятели – Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич вместе с художником Дид Ладо, известным своим богемным образом жизни, – сидели за ужином в «Люксе» и пили спирт, выкачанный из автомобиля. Разговор велся под звон гитары еще одного поэта – Сандро Кусикова, а Устинов жаловался на положение на фронте и на то, что белые могут занять Воронеж. В ответ Дид Ладо по пьяной лавочке ляпнул:

– Большевикам накладут, слава Богу!

Устинов молча встал из-за стола, вытащил револьвер и спокойно прицелился в пьяного художника. Тот, на глазах трезвея, попятился к стене:

– Сейчас я тебя... (далее последовало нечто непечатное) прикончу.

Шершеневич и Кусиков попытались преградить Устинову дорогу, но тот ничтоже сумняшеся направил дуло револьвера на них – «Будете защищать – и вас заодно!».

Есенин единственный сообразил, как не допустить смертоубийства. Не обращая внимания на Устинова, он снял башмак, бросился с показным негодованием на Дид Ладо и начал лупить его башмаком по голове, пока остывший хозяин номера не спустил незадачливого «контрреволюционера» с лестницы.

– Жорку начали уговаривать не стрелять! – ругался Есенин. – Он в эту минуту не только Ладо, но и вас бы пристрелил.

Позднее, читая «Голый год» Пильняка, он останавливался на строчках, весьма точно рисующих внешний и внутренний облик «револьверной братии».

«В монастыре утром, в исполкоме (тоже на оконцах здесь грелись бальзамины), собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!), каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках у губ, в движениях утюжных и дерзании. Из русской рыхлой, корявой народности лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим; и баста!

.....

Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу, по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором... В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева...

.....

И когда пришли товарищи, и когда Архипов передал лист своей бумаги, среди прочих слов прочли товарищи бесстрашное слово: *расстрелять*».

Похож был Архип Архипов на Георгия Устинова, точно двойник его.

В этой веселой компании, состоящей из партийных деятелей – с одной стороны, и разношерстной группы стихотворцев, не обремененных ни яркими свершениями, ни заметной литературной репутацией, – с другой, Есенин оказался на рубеже 1918–1919 годов.

Что за причина потянула его в этот круг, совершенно чуждый ему по сути? Причиной было сильнейшее душевное потрясение, которое позже многие, писавшие о поэте,

прямолинейно связали с фактическим крушением левоэсеровской партии. Но корень все же глубже, ибо политическим поэтом Есенин не был никогда. Не политическая партия потерпела крах в его сознании, а идея вселенской гармонии, о которой он сочинил целый философский (точнее, эстетический) трактат «Ключи Марии». Создавая его в конце 1918 года, он верил, что «чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувство новой жизни». Но воскрешение «забытых знаков» крестьянской жизни оказывалось невозможным, и «новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины», оказалась слишком прочной и куда более черной. Что старая перед ней? Перед этой новой черной рясой, сотканной из идеологии, диктата, насилия? Чем дальше, тем настойчивей стучала в виски мысль: не случилось Воскресенья, и не дожидаться Книги Голубиной, выпавшей из-за тучи. Неужели так страшно оправдалось недавнее, с болью родившееся «Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил...»?

«Черная ряса» неистребима, к умирающему пришел отнюдь не ангел спасения, а тот, кто вместо исцеления хладнокровно добивал молящего о помощи.

«Ангелизм». Так они с Сергеем Клычковым хотели назвать новую поэтическую школу, манифестом которой и должны были стать «Ключи Марии». Название школы свидетельствовало об отторжении от официальной православной церкви. Гармония земли и неба, плоти и духа ожидалась в тот час, когда «пахарь пробьет... окно не только *глазком* к Богу, а целым, огромным, как шар земной, *глазом*».

По существу, о том же в это время размышлял Александр Блок, и едва ли поэты осознавали, насколько близки по глубинной сути.

«У нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная; нашим пространствам еще суждено сыграть великую роль. Мы слушали пока не Петрарку и не Гуттена, а ветер, носившийся по нашей равнине; музыкальные звуки нашей жестокой природы всегда звенели в ушах у Гоголя, у Толстого, у Достоевского».

Есенин уже наметил ориентиры, показав в «Ключах Марии», *что именно* воскрешает дух музыки и стихию русских пространств, овеянных огнем революции; будущее искусство, расцветающее, как «вселенский вертоград», построится на ангелическом – духовном – образе, который роднит лучшие творения нового и древнего искусства, начиная от «Слова о полку» и «Моления» Даниила Заточника.

«Въстругим, яко во златоконанныя трубы, в разумь ума своего и начнем бити в серебряныя органы возвитие мудрости своеа. Въстани слава моя, въстани въ псалтыри и в гусях. Востану рано, исповем ти ея. Да разверзу въ притчах гадания моя и провещаю въ языцех славу мою. Сердце бо смысленнаго укрепляется въ телеси его красотю и мудростию».

Он перечитывал эти огненные словеса, составляя книгу «О земле русской, о чудесном госте», и ощущал неистовое биение сердца. Вот таким языком надо вешать, чтобы у слышащих душа в пятки уходила от ужаса и восторга! Вот таким Словом надо преобразовать землю, пробивать небесный купол, дабы ни последний смертный, ни власти предержавшие не посмели закрыть слух и забронировать душу от его речения.

С кем теперь поделиться своими ощущениями? Как передать то, что ложится на душу? Кто поймет? В голодную и холодную зиму 1919-го он читал откровения Даниила Заточника в одном из немногих московских домов, где действовало паровое отопление, в Козицком переулке. Удалось выбить у Каменева ордер на коллективную квартиру для писателей! В этой «писательской коммуне» обосновались на жительство вместе с Есениным Борис Тимофеев, Сергей Гусев-Оренбургский, Иван Рукавишников и старый петроградский знакомый Рюрик Ивнев. Бывший посетитель «Лампы Аладдина», маленький богемный поэт, ставший секретарем Луначарского и автором боевых статей в поддержку большевиков на страницах «Известий ВЦИК», он встретился с Есениным, как со старым приятелем.

«Коммуна» просуществовала недолго, ибо ни о какой спокойной работе не могло быть

и речи. Валом валили друзья-приятели погреться и поразвлечься. Рекою лился плохой спирт. А Есенин, тогда еще не пивший, пытался работать и размышлять в этом бедламе. Перечитывал и правил рукопись «Ключей Марии»: «Гонители св. духа – мистицизма забыли, что в народе уже есть тайна о семи небесах, они осмеяли трех китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля *плывет*, что ночь – это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю».

Гонители, понятно, не поняли. Но неужели этого не понял никто, кроме него? Неужели этого никому не нужно?

Никакой случайности не было в союзе Есенина с Клычковым – единственным из «поэтов-новокрестьян», который остался в стороне от «скифской» идеологии. Идеи Иванова-Разумника отжили свое для Есенина – слишком уж отдавали пресловутой «общественностью».

Работая над «Ключами Марии», поэт осознавал себя не равным среди равных, но открывателем новых духовных горизонтов, новых форм, вождем новой поэтической школы...

Он не будет больше выслушивать ничьи поучения – ни Иванова-Разумника, ни Белого, ни Клюева. Пусть его даже проклянут, как «изменника». После «Ключей Марии» какие наставления могут быть? Он пойдет с другого фланга, он создаст поэтическую школу, которая *заставит* себя слушать.

Он не станет отшельником, даже если его будут превращать в отшельника. Это скорее подойдет для Клюева, отравленного «водой из нечистых луж сектантства», вроде охтинских богородиц или белых голубей. Аввакумовский путь не для Есенина. Он «утечет» хоть из монастыря, хоть из скита, хоть из салона, хоть из круга наставников и рачителей, впишется в *эту* проклятую жизнь любой ценой, но добьется своего.

Так ли, иначе ли думал Есенин, суть дела неизменна. Приглядываясь к новым знакомым, он подбирал себе единомышленников.

Только поди их подбери, когда даже Клюев на него в стихах жалуется: «Белый свет Сережа с Китоврасом схожий разлюбил мой сказ...» Да как же не разлюбить-то было! Вот что сегодняшней Клюев сует в свои стихи: «За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой идем мы на битву с врагами...» Ты ли это, Николай? Где же твое тайновидение, которому сам обучал меня? Получил в «Ключах Марии» по заслугам, друг, а сколько в этой книге твоего, сокровенного! Не взыщи, коли сам откачнулся! «Убийца красный – святей потира...» Читать тошно! А хуже всего, что тут же Клюев готов вывернуться в другую сторону:

Низкая, деревенская заря, —
Лен с берестой и с воском солома.
Здесь все стоит за Царя
Из Давидова красного дома.

.....

От зари восковой ветерок
Льнет как воск к бородам дубленным:
То гадает Сермяжный Восток
О судьбе по малиновым звонам.

Есенин с радостью ухватился за клюевский «Песнослов». Первый том проглотил запоем. Давно знакомые стихи из старых, милых сердцу книг: «Сосен перезвон», «Лесные были»... Чудесные «Избяные песни». Все настраивало на мирный лад, примиряло со старым другом до тех пор, пока не дошел до столь нелюбимой и разруганной «Песни Солнца», не стал перечитывать стихи, в которых славословия расстрелам сменялись проклятиями

«пролетарской культуре». Здесь раздражение достигло предела.

Только ли в идейном разладе было дело? Только ли в том, что для Есенина ничего не значили ни Нил Сорский, ни Серафим Саровский, на которых молился Клюев?

Иная жизнь властно требовала новых песен. Есенин совершал революцию духа и никогда «не расстреливал несчастных по темницам» в стихах. Воспевание кровавой одури и мгновенное истерическое покаяние, что сочеталось у Клюева, было для него плоским юродством. В последних стихах Клюева он увидел именно нищету духа. Духовного взлета не углядел, а неуклюжесть поклонов и неубедительность проклятий почувствовал. «Низвергайте царства и престолы, вес неправый, меру и чеканку, не голите лишь у Иверской подола, просфору не чтите за баранку...» Поздно, Николай! Нечего было вещать: «Пулемет... Окончание – мед. Видно, сладостен он для охочих...» Ну как, сладко показалось? «Товарищи, не убивайте, я – поэт!.. Серафим!.. Заря!..» Кого просишь, друг? Этих, в кожаных куртках? Да они твоей зари во веки веков не видывали, а на серафимов им плевать с высокой колокольни... Поэт... Да разжуют тебя и выплюнут вместе с твоими стихами. Нет, тут все иначе надо. Иначе...

И это – Клюев... Могучий, мощный поэт, русский до мозга костей, – а не помощник. Намертво держит его дедовское, стародавнее, заветное, ныне бессильное. Замер он на месте, подобно дубу с Лукоморья, ветер шумит, трещат ветки, и качается он из стороны в сторону, но не гнется и не падает... Только корни разъедает червь, да черное дупло видно из-под опавшей коры.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо кровя.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

А Есенин летел. И не просто летел. Парил.

«Москва, „Люкс“. Двенадцать часов ночи. Идет горячий спор о революции. Нас шесть человек. Сергею Есенину охота повернуть земной шар, нашу русскую зиму отодвинуть на место Сахары, а у нас цвела бы весна, цветы, солнце и все прочее. В нем горит поэтический огонь... Он живой, умный мальчик... Третий день не топят: нет дров» (*Дневниковая запись Ивана Репина от 6 марта 1919 года*).

А незадолго до этого в альбоме того же Репина появляются строки из «Пантократора» – последней из цикла «преображенческих» поэм, написанной Есениным в дни истощенной плоти и пирующего духа.

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро.

С земли, на незримую сушу

Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю – другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

Позже Иван Грузинов, вспоминая свою беседу с Есениным о немецком поэте Иоганне Гебеле, усмотрит явную перекличку «Пантократора» с гебелевской «Гленностью». При желании здесь можно усмотреть следы и Николая Федорова, и Петрова-Водкина, и, разумеется, Клюева... Есенин, как подлинный хозяин русской поэзии, брал у любившихся ему предшественников и своих многочисленных современников все, что считал нужным, и переплавлял в свой чудесный сплав. И «нет за ним апостолов, нет учеников...». Нет и друзей, соратников, способных разделить его помыслы.

А ведь, казалось бы, настал долгожданный час пришествия Красного Коня и сходит со креста Всемирное Слово! Нет, ничего не получилось. «Иная страна» по-прежнему в заоблачных высях, и не осталось иллюзий на ее земное воплощение. «Горьким стало молоко под этой ветхой кровлей...» Красный Конь обернулся воплощенным пророчеством из Апокалипсиса:

Конь Белый, имя коему Смерть...

Непрестанные размышления о «победе духа над космосом, создающей тот невидимый мир, в который мы уйдем», то сменялись объяснениями с Богом и солнцем уже на «низком», «площадном» языке («Нате, возьмите, лопаите души моей чернозем. Бог придавил нас жопой, а мы ее солнцем зовем»), то выливались в лирическую философскую печаль, редкую для русской поэзии 1919 года.

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилища.
Люблю, когда на деревьях
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...

О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.

Ведя речь об отношениях Есенина с Богом, следует помнить, что они были слишком сложны и мучительны на протяжении всей его жизни и не уместались ни в одну из простых схем. Еще в 1916 году он написал стихотворение, ставшее неким пределом, за которым его речь, обращенная к небесным силам, обретает уже совершенно иную интонацию:

Покраснела рябина,
Посинела вода.
Месяц, всадник унылый,
Уронил повод.

Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.

На протяжении шести строф происходит нечто фантастическое: в час, когда, по выражению Пушкина, «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», совершается преобразование земли и воздуха. Спаситель невидимо приходит в мир на рассвете, дабы новую зарю мир встретил преображенным и очистившимся. При этом старый мир со всем его духовным сокровищем, языческой прелестью, переживший свой предел, словно обретает новые силы, исцеленный живительной влагой нового Слова, и гармонически сочетается с новью, воцаряющейся на земле.

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Вольга под ивой
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.

Грех старого мира искупается жертвой, принесенной еще в старом времени, на закате предыдущего дня, а на наших глазах земля возрождается к новой жизни и приглашает к ней каждую тварь Божью... И сам поэт, в редчайших и строго обусловленных случаях использующий в стихах свое имя, становится действующим лицом совершающейся мистерии, преображается вместе с окружающим, поминая добрым словом ту земную ипостась, где Христос уже не «пытает людей в любви» в образе мытаря и странника, но небесной силой преображает ее.

Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожжи
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик

Я, Есенин Сергей.

А через год, в период всеобщего радостного буйства от лицемерия России, отпившей из кровавой революционной чаши, буйства, которому отдавали дань и Клюев, и Ремизов, и Разумник, и Андрей Белый, Есенин пишет поистине пророческое стихотворение в предчувствии грядущего катаклизма, воплотившее трагическое несовпадение мечты о «революции духа» и реального построения «земного рая», обернувшегося братоубийственным раздором. Прежнее умиротворение и ощущение «свежести» и «нови» сменяется ужасом перед Божьей карой, которой оборачивается новое Преображение.

Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.

Новое восславят
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря.

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

Само время оставляет людей, не чувствующих его перемены, не слышащих Божьего гласа о том, что «прежние небо и земля миновали» (Апокалипсис). И Есенин, этот «безбожник» и «богохульник», остается здесь с Богом, а не с людьми. И потому

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

И потому он посвящает «Инонию» пророку Иеремии, одному из библейских бунтарей, восставших против Моисеева Закона. Пророку, грозящему Иерусалиму неисчислимыми бедами, которые придут «от племен царств северных»: «Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли; держат в руках лук и копьё; они жестоки и немилосерды, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона...»

Через несколько лет, рассказывая о своей жизни Ивану Розанову, Есенин обмолвился о том, что в детстве полоса «молитвенная» сменялась у него полосой «богохульной» — «вплоть

до желания кощунствовать и хулиганить». И в одной из автобиографий он был недалек от истины, когда утверждал, что «в Бога верил мало. В церковь ходить не любил». Тайну Христа он постигал не в стенах храма и не обижался на оскорбление «безбожник», сняв с груди крест в 14–15 лет после знакомства с трактатом Льва Толстого «В чем моя вера».

«Богохульные» периоды сменяли «молитвенные» на протяжении всей жизни поэта, и перемена эта была следствием как глубокого внутреннего постижения и переживания тайн мироздания, так и ощущением крушения церкви, как одного из инструментов государственной власти. Внешне Есенин частенько бравировал своей «безбожностью» и в 1922 году в Берлине, записывая свою первую автобиографию, предназначенную для публикации в «Новой русской книге», демонстративно обмолвился, заранее предвкушая визг, который поднимет белая эмиграция: «Очень не люблю патриарха Тихона и жалею, что активно не мог принять участия в отобрании церковных ценностей».

Ни в каком «отобрании церковных ценностей» Есенин и не собирался принимать участие. Это так же верно, как и то, что все, связанное с официальным институтом церкви, будь то Синод или патриаршество, было для него если не чуждо, то осталось в далеком прошлом, не задевая и не тревожа души, не соблазняя красотой церковного обряда. Но обо всем этом будущим читателям и не надо было знать. Достаточно того, что им покажет язык «Распутин советского Парнаса», «хулиган» и «большевик»... Язык, впрочем, показать так и не удалось. При публикации эта провокационная фраза была предусмотрительно вычеркнута.

А в 1918 году идея «духовной революции», вплотную приближающей человека к космическим тайнам бытия, к разгадке «тайны Бога» была сконцентрирована в «Ключах Марии» – манифесте поэтической школы, так и не состоявшейся в XX веке в России. «...Только фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в пространство от луны до солнца, только через голгофу он мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением к отцу (то есть солнечному пространству); буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса... Душа наша Шехерезада. Ей не страшно, что Шахриар точит нож на растленную девственницу, она застрахована от него тысяча одной ночью корабля и вечностью проскваживающих небо ангелов. Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков чрез их иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа, мы радуемся потопу, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо места в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет».

Через несколько лет, пережив «потоп» и убедившись своими глазами, что «ковчег искусства» по-прежнему переполнен «нечистыми парами», Есенин уже с совершенно иной интонацией обращается к Богу, как бы исповедуясь и в то же время зная про себя, что его глобальные мечтания остались его личным достоянием, не понятые и не востребованные никем из современников.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

И так вплоть до последних месяцев, наполненных единственным желанием – продлить свое бытие на этой земле.

Ты ведь видишь, что небо серое
Так и виснет и липнет к очам.
Ты прости, что я в Бога не верую —
Я молюсь ему по ночам.

Так мне нужно. И нужно молиться.

И, желая чужого тепла,
Чтоб душа, как бескрылая птица,
От земли улететь не могла.

Поистине дико и нелепо звучат обвинения в «отступничестве» в адрес поэта со стороны нынешних «новых христианок», литературных и нелитературных дамочек, еще вчера не знавших, как лоб перекрестить.

Но все сомнения, покаяние и позднее умиротворение – в будущем, а тогда, в период всеобщего разлома, Есенин, жаждавший «рукой упруго повернуть весь мир», принимая на себя миссию апокалипсического ангела, обещал «царство живых» после столетий покаяния и молитвы. И когда буйный порыв пошел на спад, он обращался к Всевышнему, прося о сошествии Его на грешную землю, дабы смыть с нее всю грязь, нечисть и сукровицу братоубийственного раздора и вознести поэта туда, где «идуший по небесной тверди, окунувшись в темя ему, образует с ним знак того же креста, на котором висела вместе с телом доска с надписью И. Н. Ц. И.».

Сойди на землю без порток,
Взбурли всю хлябь и водь,
Смолой кипящею восток
Пролей на нашу плоть.

Да опалят уста огня
Людскую страсть и стыд.
Внеси, как голубя, меня,
В твой в синих рощах скит.

Схожий мотив «огненной купели» мы найдем в эти годы у многих поэтов. Ближе всего к есенинскому было, наверное, ощущение Максимилиана Волошина.

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало —
Господи, вот плоть моя!

Но Волошин декларировал. Есенин же переживал каждой частицей своей души. Рвался поделиться тем, что набухло, накипело внутри за все эти окаянные дни.

Поделиться?
С кем?

* * *

– А все-таки меня не все любят, а многие просто ненавидят.
– Ненавидят? Это тебе только кажется.
– Ты всего не знаешь. Ненависть эта рождена ненавистью или даже скорее полным равнодушием ко всему русскому. Интернационал здесь ни при чем. Это политическое понятие. Равнодушие к русскому – результат размышлений холодного ума над мировыми вопросами. Холодный ум – первый враг человека! Ум должен быть горячим, как сердце настоящего патриота. Возьми Ленина. У него огромный ум, но это не мешает ему быть горячим, как солнцу не мешают быть горячим его огромные размеры. Я поэт России, а Россия огромна. И вот очень многие, для которых Россия только географическая карта, меня не любят, а может быть, даже боятся. Но я никому не желаю зла. И каждого могу понять,

даже чуждого мне, если это настоящий поэт. Только каждый должен знать свое место и не лезть на пьедестал лишь потому, что он пустует.

Так беседовал Есенин в 1919 году с Рюриком Ивневым. Ивнев тоже был в творчестве «солнцепоклонником». Этаким «солнечным мальчиком», одна книга которого называлась «Самосожжение», а другая – «Солнце во гробе». Однако в его стихах и рассуждениях ощущался не огонь, а скорее белая горячка.

Этот мальчик искренне и естественно (если это слово здесь употребимо) доводил себя до полной истерики и в поэзии, и в прозе. Даже в спокойных по тону стихах слышался захлебывающийся визг человека, который по какому-то странному недоразумению попал в сей мир, умудрился в нем устроиться и при этом ощущал себя весьма неуютно. Может быть, то была поза, литературная маска. Но, так или иначе, она накрепко приросла к физиономии. Приросла настолько, что стала совершенно органическим выражением лица.

Вот эта органичность, естественная неестественность и привлекла Есенина к салонному стихотворцу.

И еще одно, пожалуй, самое важное: Есенин был падок на сердечное, человеческое к себе отношение. Душевная близость значила для него подчас гораздо больше, чем теоретические рассуждения, несовпадение поэтических или мировоззренческих принципов. Перед протянутой ладонью, проявлением душевного тепла все остальное отходило на второй план.

Отсюда и естественное стремление перевернуть свою же собственную мысль: если любят меня, значит, любят и Россию, а я – русский поэт.

Если любят меня, значит, любят мои стихи. Значит, воспримут все выстраданное и выношенное.

Одному пробиться нет никакой возможности. А реализовать и донести основные идеи «Ключей Марии» было для Есенина жизненной необходимостью.

Тихоня Рюрик и молодой самоуверенный провинциал Толя Мариенгоф казались наиболее удобными соратниками на новом пути. На их фоне Есенин стал самому себе казаться вождем новой школы, производящей переворот в русской поэзии.

Реальной силы за спиной, конечно, не ощущалось. «Кожаные куртки», по сути, ни малейшей симпатии к поэту не выказывали. Более того, давали понять, что «ты, друг, не наш...».

Не ваш? А кто ваши?

Футуристы?

О, да! Эти лезли напролом, перехватывали инициативу у идеологов Пролеткульта, явно сдававшего свои позиции. Все более отчетливо вырисовывались очертания новой «конкурирующей фирмы», грозящей захватить монополию в культурном строительстве.

Для успешной борьбы с ней нужен был человек из самого футуристического лагеря. Опытный делец, литературный дуэлянт дореволюционного закала.

И он появился.

«...Толпы жадно „ищут нового, резко нового“, и что это новое могут дать только „футуристы“ и, наконец, для того, чтобы это новое осуществить, нужна централизованная диктатура художественно-революционного меньшинства...»

Этим воплям в газете «Искусство коммуны» нужно было противопоставить нечто сверхвыразительное, перебивающее футуристическое горлопанство... В окружении Есенина появилась своего рода идеальная фигура для подобного рода журнально-газетных битв – Вадим Габриэлевич Шершеневич.

Репутация этого стихотворца не слишком-то располагала к нему. Сам бывший футурист, сначала соратник Маяковского, потом один из столпов эгофутуризма, он успел прославиться в литературных кругах своими «теоретическими изысканиями» еще до революции.

«Сегодня лохмотья вывесок прекраснее бального платья, трамвай мчится по стальным знакам равенства, ночь, вставшая на дыбы, выкидывает из бессмысленной пасти огненные

экспрессы световых реклам, дома снимают железные шляпы, чтобы вырасти и поклониться нам.

Мы отвергаем прошлое, все прошлые школы, но мы анатомировали их трупы без боязни заразиться трупным ядом, так как мы привили себе молодость и по этим трупам узнали об их болезнях. Мы видели, как славянизм и поэтичность, подобно могильным червям, изъели стихи наших современников...» и т. д. и т. п.

Подобные пассажи можно цитировать до бесконечности, но суть и так ясна: большего антипода Есенину, чем Вадим Шершеневич, представить себе невозможно.

«Нашим подголоскам: Шершеневичу, Маяковскому, Бурлюку и другим рожденным распоротым животом этого рогастого итальянца – движется, вещуя гибель, Бирнамский лес – открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики...» Это из рукописи «Ключей Марии». При издании отдельной книгой имя Шершеневича было вычеркнуто. Как-никак, он стал литературным соратником.

Эта странная компания – тихоня Ивнев, бездарный Мариенгоф и «эгофутурист», урбанист, «патологоанатом» Шершеневич составили новую группу, наделавшую много шума в литературной жизни 1920-х годов.

Кто был в этой компании Есенин?

Вождь новой школы? Он тут же убедился в том, что все его художественные принципы никому здесь не нужны.

Один из рядовых соратников? Сам он совершенно не ощущал себя в этой роли.

«Гость случайный»? Не слишком ли много для гостя совместных общественно-литературных акций?

Или, как он позднее утверждал, – *единственный* имажинист? А если они имажинисты – то не цепляйте на меня эту кличку...

Впрочем, все это следовало потом. Вначале же главным пунктом программы было: заявить о себе так, чтобы заткнуть всем рты.

И закрутилась карусель.

«До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства „Песни песней“, „Калевалы“ и „Слова о полку Игореве“».

Ни Мариенгоф, вспоминая все это уже в конце 1920-х годов, ни остальные имажинисты ничего не могли усвоить для себя из этих размышлений Есенина.

Что касается Шершеневича, то ему ничего и не надо было понимать. Он сам был «с усам». Ключом к открытию поэтических тайн для него было магическое слово «имаж». И в 1918 году Шершеневич официально провозгласил себя имажинистом в статье «У края прелестной бездны».

«...Молодой парень, – весь накрашен, глаза подведены, на щеке мушка, в петлице иммортелька, словом, не то Оскар Уайльд, не то блядь с Кузнецкого моста. И держится при этом таким Юлием Цезарем, что невольно хочется его спросить: „Где это ты, щучий сын, так насобачился?“» – таков отзыв современника о Шершеневиче 1913 года. Шершеневич-имажинист уже мало чем напоминал «блядь с Кузнецкого моста», он очень хотел быть вождем и полководцем в литературных битвах.

Вся литература для него заключалась в скандалах, борьбе, поединках. Такие, как он, не могли и не могут жить без военных действий в журналах и на эстраде. Есенинские размышления он встретил, располагая своей готовой теорией. И тут же засел за ее окончательное оформление, набрасывая самые «ударные» тезисы, заимствуя их из прежних своих статей. А во время одной из встреч с новыми приятелями прочитал готовый текст:

«Искусство, построенное на содержании, искусство, опирающееся на интуицию (аннулировать бы эту ренту глупцов), искусство, обрамленное привычкой, должно было погибнуть от истерики...

Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы. О, большего комплимента вы не могли нам

придумать, чудачки. Да, мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке – сердцу. И мы полагаем, что если у нас есть мозги в башке, то нет особенной причины отрицать существование их...»

Бывают такие периоды в истории искусства, когда на первый план выходят самые чудовищные и тупоумные декларации, претендующие на некий творческий универсализм, в то время как собственно творчество авторов подобных манифестов уходит на второй план и воспринимается лишь как приложение к провозглашенному лозунгу. Сами по себе стихи могут быть просто отвратительны, на картины нельзя смотреть, не совершая насилия над собой, от музыкальных сочинений впору затыкать уши... Причем общественное мнение формируется во вполне определенном направлении: собственно творческие потуги могут равным счетом ничего не стоить, главное – их *революционность*.

По прочтении «декларации передовой линии имажинизма» будущие «собратья по величию образа» буквально окаменели. Даже Мариенгоф, с ранней юности помешанный на имажах, был смущен. Что же касается ошеломленного Есенина – он бросился в контратаку.

Опять начались споры, дискуссии, пререкания. Есенин очень быстро почувствовал, что спорить не о чем. Бессмысленно. Он словно предугадал происходящее в «Ключах Марии».

«Тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира...»

А бывший подголосок Маяковского горячился и настаивал на своем во всю луженую глотку. Яркий полемист, отточивший свое оружие на многочисленных эстрадах, он умел убеждать. Скорей, скорей! Пока конкуренты не перехватили идею! Мы, мы, мы должны ее застолбить и повсюду мелькать, драться за читателя, слушателя, зрителя. Что, на откуп Маяковскому публику отдадим? Нет, не бывать этому!

На откуп Маяковскому публику отдавать не хотелось.

Есенин и в юности совершенно не воспринимал его стихов.

А Шершеневич помимо всего прочего пользовался удобным случаем свести с Маяковским счеты. Последний в свое время отряхнул его с каблуков, как ненужную ветошь. Вадим этого не забыл. И не простил.

Теперь же вешал: бить футуристов их же оружием. Переорать. Перехватить у них интерес публики. Тем более что обстановка благоприятствует. «Левые» в почете. Спекулируют на непризнании при царизме. Вовсю орудуют на эстрадных подмостках, на журнальных страницах. «Левой», значит? Мы им покажем, кто левее! Не упустим свой шанс! А идея, чем бредовее, тем лучше! Проглотят.

Есенин не мог и не хотел полемизировать больше. Уступил. Замкнулся. И поставил первую подпись под готовой декларацией.

Может, Вадим прав? Главное – заявить о себе. Выйти на авансцену. А то ведь и не услышат, и не узнают. Что помнят, кроме «Господи, отелись»? А он – пусть теоретизирует.

Но Шершеневич был не настолько примитивен, как стремился показать себя. Вечный литературный неудачник, бросающийся от одного течения к другому, так и не нашедший себя, несмотря на все громоподобные декларации, он сгорал от неутолимого честолюбия. Стремление выйти на первый план смешивалось у него с чувством горечи от того, что не все еще вокруг разрушено и перекорежено. В определенном смысле Шершеневич перед встречей с Есениным находился в мертвой точке. Состояние безысходности, порожденное этим ощущением, и продиктовало ему строки поэмы «Крематорий», написанной в 1918 году.

И случилось не вдруг. И на улице долго краснели
Знамена, подобные бабьим сосцам.
И фабричные трубы герольдами пели,
Возглашая о чем-то знавшим все небесам.

В эти дни отречения от старого мира

Отрекались от славных бесславий страны.
И уже заплывали медлительным жиром
Крылья у самой спины.

Только юный поэт и одна... с тротуара
Равнодушно смотрели на зверинец людей,
Ибо знали, что новое выцветет старым,
Ибо знали, что нет у кастратов детей.

И в воздухе, жидком от душевных поллюций,
От фанфар «Варшавянки», сотрясавших балкон,
Кто-то самый умный назвал революцию
Менструацией этих кровавых знамен.

Хор всех левых – пролеткультовцев, футуристов, имажинистов – представлял собой один утробный нечеловеческий рев. Одно творческое объединение напрягало голосовые связки: «Слава тебе, миллиардоголовый поджигатель миров – Герострат!», «Во имя нашего завтра – сожжем Рафаэля!» Другое откликалось не менее угрожающе: «Время пулям по стенкам музеев тенькать. Стодуюмовками глоток старье расстреливай!» Илья Садофьев жаждал соития с динамо-машиной: «К твоим вагранкам ты когда-то меня закликала на хвои, и этим огненным разворотом горим мы солнечно с тобою...» А Шершеневич, уже приравнявший «славянизмы» и «поэтичность» к «могильным червям», бежал петушком-петушком за Садофьевым: «Я пришел совершить свои ласки супруга с заводской машиной стальной...»

В манифестах можно было утверждать все, что угодно. В реальной жизни приходилось вербовать сообщников на стороне, идти на конкордат с другими группами, выступать под одной обложкой с другими поэтами.

Зимой 1919 года вышел в свет сборник «Явь», в котором имажинисты впервые собрались под одной крышей. Кроме Мариенгофа, Шершеневича, Ивнева, Есенина и Ванечки Старцева, мариенгофского приятеля, написавшего и напечатавшего здесь свое единственное в жизни стихотворение, в нем приняли участие Каменский, Андрей Белый, Галина Владычина, Спасский, Рексин, Пастернак, Оленин и Петр Орешин.

В этом сборнике во всей красе предстал перед публикой Толя Мариенгоф. Если ранее литературная Москва о нем вообще ничего не знала, то после «Яви» запомнила его надолго.

Кровью плюем зорно
Богу в юродивый взор.
Вот на красном черным:
– Массовый террор!

Метками ветра будет
Говядину чью подместь.
В этой черепов груди
Наша красная месть!

По тысяче голов сразу
С плахи к пречистой тайне.
Боженька, сам Ты за пазухой
Выносил Каина.

Сам попригрел периной
Мужицкий топор —

Молимся Тебе матерщиной
За рабьих годов позор.

Мариенгоф, вероятно, всерьез полагал, что следует за Есениным – автором «Преображения» и «Инонии». Не верящий ни в Бога, ни в черта, неизлечимо больной революцией, он развлекался цинично и устрашающе:

Что же, что же, прощай нам, грешным,
Спасай, как на Голгофе разбойника, —
Кровь твою, кровь бешено
Выплескиваем, как воду из рукомоиника.

Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала!..
Пыль бы у ног Твоих целовал за аборт!..»

Сам же коллективный сборник напоминал помойку, из которой неслись восторженные восклицания и жуткие крики. Старцев, Спасский, Орешин, Шершеневич, Каменский – все словно старались перекричать друг друга, изливая свои эмоции по поводу кровавой свистопляски, что вершилась на перепутьях России.

В Москве люди падали от голода, задыхались в тифу, замерзали в нетопленных, разоренных домах.

И в этой же Москве царило необычайное веселье. Творческий угар. Пир во время сыпного тифа.

3 апреля в Политехническом музее – первое крупное выступление имажинистов. Выставка стихов и картин. Уже афиша должна была крепко ударить по нервам людей: «С. Есенин: отелившийся бог. А. Мариенгоф: выкидыш отчаяния. В. Шершеневич: кооперативы веселья». Веселились ребята...

Есенин понимал кощунственность этого неестественного для него веселья. Пытался объяснить сам с собою, оправдаться в своих собственных глазах. Получалось неуклюже:

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотую плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Что и говорить, окунать лицо в сажу поэту приходилось не так уж редко. И эстрады Политехнического, «Домино» или «Стойла Пегаса» сплошь и рядом становились ареной «гладиаторских» ристалищ: «Мы пришли, великие обнажители человеческого тела!», «Старые писатели примазывались к властям – сейчас больше примазываются!» Все это, впрочем, были цветочки по сравнению с выходкой 28 мая 1919 года.

«Известия ВЦИК» поместили заметку, посвященную этому событию.

ХУДОЖНИКИ

Модным лозунгом дня стало вынесение искусства на площадь и художественное преобразование жизни нашей улицы. Весьма характерно поняли этот лозунг имажинисты. Они попросту проповедуют в искусстве то, что принято в общежитиях называть «уличным», «площадным» и т. п. (брань, цинизм, хулиганство, некультурность). И свое «искусство» в этой области выносят на заборы и стены домов Москвы.

28 мая утром на стенах Страстного монастыря объявились глазам москвичей новые письма «весьма веселого» содержания. «Господи, отелись!», «Граждане, белье исподнее меняйте!» и т. п. за подписью группы имажинистов. В толпе

собравшейся публики поднялось справедливое возмущение, принимавшее благоприятную форму для погромной агитации.

Действительно, подобной «стенной» поэзии допускать нельзя. Придется серьезными мерами охранять Москву от уличного озорства этого нового типа веселой молодежи.

Заметка, любопытная во всех отношениях. Ценно само по себе свидетельство того, что оголтелый большевистский атеизм нуждался в подобного рода прикрытиях. И в период настоящего погрома православной церкви больше всего было опасений, что хулиганство типа имажинистского приведет к «погромной агитации». По крайней мере, до шуйских событий и секретного ленинского циркуляра об изъятии церковных ценностей соблюдалась хотя бы видимость приличий.

Характерно и то, что в эпоху, когда махровым цветом распускалось хулиганство всех мастей и удивляться ничему не приходилось, подвиги нашей веселой компании даже на этом фоне воспринимались как нечто из ряда вон выходящее.

Через несколько месяцев удалая компания, «во исполнение» многочисленных постановлений о переименовании улиц, городов, поселков, отправится сдирать старые таблички с московских улиц и вешать новые – со своими именами. В течение суток Большая Дмитровка называлась «улицей имажиниста Кусикова», Петровка – «улицей имажиниста Мариенгофа», Большая Никитская – «улицей имажиниста Шершеневича», Мясницкая – «улицей имажиниста Николая Эрдмана». Тверскую улицу трое суток украшала табличка с именем «имажиниста Есенина». Это был веселый вызов идеологии – как говорится, чем мы хуже? Если новые вожди перекраивают карту Российской империи и на ней появляются дикие для русского сердца и ума неудобопроизносимые названия городов – Троцк, Слуцк, Зиновьевск; если вслед за первой жертвой в Москве, коей стала Золоторожская улица возле Андроникова монастыря, получившая имя Бухаринской, дальше посыпалось, как из рога изобилия...

«Конкурирующая фирма» в лице имажинистов просто-напросто показывала язык зарвавшимся новым правителям и одновременно напоминала широкой публике о том, кто есть кто. Напоминала в уже отработанной, многократно отрепетированной форме скандала, ибо, если не пошуметь хорошенько, кто же заметит?

Серьезных последствий *эта* акция не имела, наверное, лишь потому, что слишком недолго провисели таблички, которые убрали возмущенные прохожие. Грохнула петарда и потухла.

Есенин по-человечески сдружился со своими новыми приятелями и находил во всей этой кутерьме то облегчение, которое никогда бы не принесло ему одиночество. Сюда примешивалось еще одно обстоятельство: в «догутенберговскую эпоху» (печатать книги во время бумажного голода не было возможности) отстоять себя как первого в России поэта наилучшие шансы давала именно общая работа в группе, отличающейся наибольшей скандальностью.

Есенин включился в эту игру. Для него она сплошь и рядом оборачивалась то драматическими, то комическими ситуациями.

Приятели «дэндировали», а для него все было проще: «Гусей хочется подразнить».

И дразнили.

Даже цилиндры Есенина и Мариенгофа служили дразнилкой – цилиндры, полученные в одном из петроградских магазинов (на получение обычной шляпы необходим был специальный ордер). Кто бы еще по тем временам осмелился надеть на голову цилиндр, не рискуя быть застреленным вечером в подворотне, как «буржуй», у которого есть чем поживиться?

В общем деле необходим и общий стиль поведения. Компания стремилась поставить

свое дело на широкую ногу и маршировала с ходатайствами за бумагой, деньгами, помещением то к заведующему Центропечатью Борису Федоровичу Малкину, то в Моссовет к Каменеву, то в Кремль к Андреевой.

«Марья Федоровна в глухом длинном шелковом платье, – вспоминал через много лет Мариенгоф, – была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в сафьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. ...То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство...»

Несмотря ни на что, дела имажинистов в эти тяжелейшие два года продвигались очень и очень неплохо.

У Малкина подписывались заказы на издания поэтических сборников. В Моссовете было выбито разрешение на создание книжной лавки, которая открылась на Большой Никитской. Шершеневич и Кусиков торговали книгами в Камергерском переулке, Есенин с Мариенгофом также встали за прилавок. В лавку свозились книги из оставленных библиотек, из разоренных квартир бежавших или арестованных. А осенью 1919 года была зарегистрирована «Ассоциация вольнодумцев в Москве». По сему случаю была получена специальная бумага с разрешением «иметь отдельную печать» от Анатолия Луначарского.

Интересная это была Ассоциация. Текст устава гласил, что членами ее могут быть «поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы, а равно лица, приносящие активную пользу Ассоциации...». Обращает на себя внимание тот факт, что Есенин привлекал в эту «Ассоциацию» совершенно разных людей, готовых идти за ним и никоим образом не связанных с имажинистской братией.

Кроме Есенина, Мариенгофа и Рюрика Ивнева, устав Ассоциации подписали Иван Старцев и не менее «талантливый» стихотворец Матвей Ройзман, а также Марк Криницкий (о бездарности которого Есенин позже говорил в одном из писем), Вадим Шершеневич, старый приятель, «пролет-поэт» Михаил Герасимов и группа лиц, не имевших никакого отношения к литературе, – предприимчивый делец, зав. отделом полиграфического отдела ВСНХ А. Сахаров, А. Силин – бухгалтер и фактический распорядитель литературного кафе «Стойло Пегаса», которое было собственностью Ассоциации, старый пензенский друг Мариенгофа – Гриша Колобов, работавший в таких организациях, как ВЧК и транспортно-материальный отдел в ВСНХ...

Но одно имя среди подписавших устав обращает на себя особое внимание: Я. Г. Блюмкин.

Это был один из приносящих, так сказать, большую пользу Ассоциации. Есть туманные сведения о его стихотворчестве. Неизвестно, что это были за стихи, в данном случае скорее можно говорить о самом Блюмкине как о персоне авантюрного романа, хотя и вовсе не оригинального по тем временам.

В Ассоциацию этот «герой своего времени» попал «с корабля на бал», через несколько месяцев после дачи показаний в ВЧК по делу об убийстве Мирбаха. С Есениным он был знаком еще в период близости поэта к партии эсеров. Вполне возможно, что Есенин, привлекая Блюмкина в Ассоциацию, воспринимал его (или делал вид, что воспринимает) в качестве телохранителя имажинистской братии. Ощущение (хотя бы и сиюминутное) безопасности в то жестокое время значило многое. При всем том очень скоро пришлось убедиться, что названный «телохранитель», вынимающий револьвер где попало, произносящий угрожающие фразы и раздражающийся воплями «Убью!» и т. д., является на самом деле отчаянным трусом, что неоднократно проявлялось во время случайных уличных встреч с агентами Лубянки или УГРО, охотившимися на бандитов.

Подобного рода уличные встречи были не редкостью. Вечером на улице можно было нарваться и на «живых покойников» – грабителей, использовавших в «работе» простыни наподобие могильных саванов. Янька Кошелек, Сабан, Гришка Адвокат, Сережка Барин наводили ужас на жителей Москвы. Впрочем, трудно сказать, кто внушал больший ужас –

бандиты, руководствовавшиеся принципом «кошелек или жизнь», или чекисты – апологеты революционного правосознания.

Что же касается блюмкинского стихотворчества и его дружбы с поэтами... тут ничего странного нет.

Любители искусства из ВЧК частенько совмещали «приятное с полезным», посещая литературные и артистические кафе и салоны, заводя дружеские отношения с известными литераторами, режиссерами, артистами. Это давало им возможность держать под негласным контролем неуправляемую полубогемную среду, в которой циркулировали слухи, сплетни и новости, подчас дающие «железным рыцарям революции» ценную информацию. В данном случае объект наблюдения был вполне подходящий – известный в литературных и общественных кругах поэт, некогда связанный с левыми эсерами. Блюмкину тут, как говорится, и карты в руки.

Но это лишь одна сторона дела. Была и другая, не менее, а может быть, и более важная.

Мы уже отмечали, что у новой власти на счету был каждый талантливый литератор, зодчий, музыкант, актер, живописец. Литераторы занимали в этом ряду особое положение. Причем не в качестве «национального достояния», а в качестве соратников или противников в жестокой политической борьбе за торжество определенной идеологической линии, то есть в итоге – в борьбе за власть.

И, наконец, еще один немаловажный аспект: в ту эпоху, когда стихи печатались на обратной стороне продовольственных карточек, самые отъявленные палачи давали выход своим эмоциям в литературном творчестве.

Кровавый чекист Лацис (Судрабс) пробовал свои силы и в драматургии. Известен по крайней мере один из его опусов – «Последний бой. Революционная хроника в пяти действиях, семи картинах».

Драматургические опыты Раскольниковова...

Стихотворчество Вячеслава Менжинского...

Стихотворчество Феликса Дзержинского...

«О значении поэзии Ов. Туманяна» – исследование А. Мясникяна, руководителя ЧК Армении.

Пианист-виртуоз М. С. Кедров, начальник Особого отдела ВЧК.

Еще совсем недавно в наших «интеллигентских» кругах принято было восторгаться упомянутыми «культурными» людьми.

Этот восторг донесли до наших дней их современники – литераторы, славившие «подметание человеческой говядины».

«Вождями Октябрьской революции были идеалисты-интеллигенты с бородками второй половины XIX века (Ленин, Троцкий, Луначарский, Бухарин и др.).

Кончились бородки – кончилась революция».

Это из воспоминаний Анатолия Мариенгофа.

Нет большей радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых костей и жизнью,
Вот отчего, когда томятся наши взоры
И начинает бурно страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

Это стихи члена коллегии ВЧК А. В. Эйдука, напечатанные в тифлисском сборнике «Улыбка Чека».

«Как-то Эйдук засиделся у меня до 12-ти ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола, – вспоминал бывший торгпред в Латвии Г. Соломон. – Вдруг с Лубянки донеслось: „Заводи машину!“ И вслед за тем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на

полуслове. Глаза его зажмурились как бы в сладкой истоме, и каким-то нежным и тонким голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня:

– Наши работают.

– Кто? Что такое?

– Наши. На Лубянке... – ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и спуская курок револьвера. – Разве вы не знали? – с удивлением спросил он».

* * *

«Пантократор» подвел черту под периодом «поворота мира» и полета «скифской» вольницы. Конница опустила копыта. И единственное, что оставалось в душе и требовало выхода в слове, – нестерпимая жажда жизни и любовь ко всему живому в холодном и чуждом мире, лишившем человека права на существование.

Животный мир – последнее пристанище души поэта, ибо люди стали хуже зверей. Среди «братьев наших меньших» невозможно то, что творится в мире людском. Если где и осталось чувство любви, жалости, добра, то среди псов, кобыл, коров... обреченных на уничтожение.

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

Эта непритязательная история о собаке, чьей радости материнства хватило всего лишь на день – от утра до вечера, поначалу кажется жанровой сценкой в духе старых художников-реалистов. И лишь с третьей строфы проступает нота тревоги, доходящая до высшего предела в последующем четверостишии. Здесь, в середине, убыстряется темп в такт шагам собачьих лап: «По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать...» Далее – обрыв. Пауза. Реалистическая картинка испаряется, и читателя, слушателя обдает ледяным холодом от кругов, идущих по воде – последнего пристанища новорожденных кутят... Остается только ощущение бесконечной усталости, которое в пределах одной строфы сменяется ощущением боли, безнадежности. И когда скрывается месяц, лишь поманив призрачной надеждой, что несчастная мать сможет хоть в небесной выси увидеть свое утопленное дитя, только горестный собачий вой оглашает окрестность да в слезящихся глазах отражается свет бесстрастных светил.

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Художники Анненков и Осмеркин вспоминали, что не могли сдержать слез, когда Есенин читал им «Песнь о собаке». Не отрываясь, со слезящимися глазами, слушал ее позже, в Берлине, и Горький.

«Песнь о собаке» писалась, когда люди в тщетной надежде согреться топили дома мебелью и книгами, когда трупы умерших от голода лежали в подворотнях, когда

заградительные отряды не пропускали в голодающие города ни одного мешка с хлебом, когда по ночам не прекращались расстрелы в подвалах ЧК. Когда нервы совершенно притупились и люди стали *привыкать* к этой нежити. Когда даже слухи не оказывали уже никакого будоражащего действия, а истерический крик «все дозволено!» стал заповедью многих и многих, в первую очередь представителей «творческой интеллигенции».

* * *

Холодная комната в Богословском переулке – совместное пристанище с Мариенгофом. Тверская, 18 – кафе Союза поэтов «Домино». Столовая возле Газетного, где кормили кониной. Книжная лавка на Никитской. Обычный есенинский маршрут того времени.

На Мясницкой, от Богословского до Красных ворот почти на каждом шагу лежали лошадиные мертвые туши. Вороны, слетавшиеся на пиршество, оглашали своим карканьем пустынные переулки, размахивая черными крыльями. Медленно падал снег, словно пытаясь скрыть жуткую картину от человеческих глаз.

Есенин с Мариенгофом добредали до дома, входили в комнату, где температура не поднималась выше нуля. Снег на шубах не таял, и друзья тайком от соседей и домоуправа включали электрическую грелку, дабы не замерзали пальцы и можно было водить пером по бумаге.

На этом бытовом фоне рождались «Кобыльи корабли». Но отражение его в поэме исчерпывается уже в первой строфе. Именно в «Кобыльих кораблях» впервые зазвучала нота, на которую позже будут настроены «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «Волчья гибель», «Пугачев»...

Попранная и уничтожаемая ипостась земного мира являет человеку свой, дотоле неведомый ему, страшный лик. Если ранее ощущение слитности с природой возникало в есенинских стихах в ореоле первобытной радости, торжества плоти, языческого поклонения земному бытию, то теперь разрыв этой завязи оборачивается наступлением хаоса, мрака, проявлением звериной жестокости, исходящей от древнейших основ человеческой души.

«Разве можно теперь любить, когда в сердце стирают зверя?..» Нельзя, и посему в «Кобыльих кораблях» мучительный вопль человека, изнемогающего от утери прежней гармонии, вторил конвульсиям природного мира, разрываемого по живому.

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Плывите, плывите в высь!
Лейте с радуги крик вороний!
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.

Глубину этой поэмы можно оценить, вспомнив окончание есенинских «Ключей Марии»: «То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: „Ной выпускает ворона“. Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем – образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности».

Лошадиные трупы с воронами, напоминающими собой черные паруса, – вот чем обернулись мечты Есенина об Инонии, о Преображении, Иорданской Голубице. Большевицкая власть обманула? Он никогда особенно и не обольщался на сей счет –

«Ключи Марии» ясно дают это понять. Просто воочию стало ясно, что великая революция духа, о которой мечталось, не состоится при его жизни на этой грешной, омытой кровью земле. Хуже того, то омерзительное кровопролитие и всеразрушение, которое он еще недавно оценивал как некое озорство, от которого взрослых детей легко отговорить, стало основой жизни, бытом, привычным делом.

«Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием» (*Александр Блок*).

Есенин тоже слушал «музыку революции»... Более того, сам создавал ее. Кого же теперь винить?

И к кому он сам обращает свое страстное: «Кто это? Русь моя, кто ты? кто?»

Не дает ответа. Только крик вороний вместо чудного звона колокольчика...

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Вот он! Вылез, глядит луной,
Не увидит ли помясистей кости.
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.

Где же те? где еще одиннадцать,
Что светильники сисек жгут?
Если хочешь, поэт, жениться,
Так женись на овце в хлеву.

Причащайся соломой и шерстью,
Тепли песней словесный воск.
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Все, что некогда предавалось осмыслению в высших, разумных категориях, теперь было опущено на землю, в грязь земную и кровь человеческую. Кажется, ни единый солнечный луч более не озарит картину полного распада. Все залито мертвенным светом луны. Поэт, соединяющийся с овцой в хлеву, одновременно и выполняет свой завет «никуда не пойду с людьми», и заставляет вспомнить о рождении Спасителя, который в пору «злого октября» никого не спасет даже ценой собственной крови... Только поэту в дни всеобщей человекоубоины доступно, уже забыв о стремлении «пополам нашу землю мать разломить, как золотой калач», воплощать заповедь «не убий!» не в проповеди, а всем своим существом, отстраняющимся от остального холодного и чужого *человечьего* мира. Назад, к зверям, не знающим зла:

Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.

Мир есенинской поэзии в 1919–1920 годах явно менялся. Исчезала яркость и свежесть красок, пропадало ощущение прозрачности, одухотворения всего живого – черное, таинственное, пугающее вторгалось в поэтический мир, меняло музыкальный настрой, преображало мироощущение. Поэт уже не чувствовал себя пророком Третьего Завета и не

рвался «на колею иную». «Горечь молока под ветхой кровлей» надо было испить до конца. И родным становится ему свист ледяного ветра, гуляющего по России, кровью умытой.

Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.

Когда это стихотворение читалось с эстрады в богемных поэтических кафе, слушатели замирали. Едва ли кто-нибудь из них способен был дать себе отчет, почему их, которых уже, казалось бы, ничто не в состоянии пронять, начинала бить нервная дрожь.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Первое впечатление от «Хулигана» осталось незабываемым для невысокой худенькой женщины, впервые услышавшей есенинское исполнение на эстраде Политехнического, — Галины Бениславской.

«Он весь стихия, озорная, непокорная, — вспоминала она много позднее, кажется, уже в другой жизни, — безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, ветру бы у Есенина признаться удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль — разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.

Думается, это такой порыв ветра с дождем, когда капли не падают на землю, и они не могут и даже не успевают упасть.

Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.

Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.

Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесет неведомо куда...»

А в кафе «Домино» или в «Стойле Пегаса» посреди залитого светом зала разыгрывались действия под стать всей окружающей обстановке. Какой-то смертной тоской веяло от этого безудержного веселья посреди темной Тверской с мертвыми домами и заколоченными витринами магазинов.

На стене вывешены штаны — подарок Василия Каменского. Огромными буквами, перебегающими на потолок, выведены строчки стихов «собратьев по величию образа». В центре, конечно, есенинское: «О, какими, какими метлами это солнце с небес стряхнуть?» Гремит «румынский» оркестр, которому с замиранием сердца внимают сидящие за столиками спекулянты, уличные «дамы», бледные, кое-как одетые стихотворцы. Мариенгоф с эстрады «молится матерщиной», и тут же начинается перебранка с посетителями. «Не

оскорбляйте публику, хамы!» – «К чертовой матери!» Кажется, сейчас дело дойдет до мордобоя, и тут вступает Есенин, оглушая зальчик диким свистом.

– Толя, смело бей ту сволочь! Я тебе помогу... Молчать, или спущу с лестницы!

И он же являл всем своим существом удивительный контраст с происходящим вокруг. Всюду появлялся в одной и той же теснейшей дружеской компании, в которой не было ни одного приличного поэта. Заставлял замолкать публику своими стихами, которая за секунду до этого освистывала Мариенгофа и Шершеневича. Та простила ему любые оскорбления, сказанные перед началом чтения. В голодном и тифозном городе умудрялся находить подпольные столовки с очаровательными хозяйками вроде Надежды Робертовны Адельгейм. И выглядел в этих столовках, среди спекулянтов и воря, совершенно инородным телом. Причем там, где хотел «пошуметь», поскандалить, «чтоб не забывали», попадал в тон своим «собратьям» и ничем, по сути, не отличался от них. Там же, где оставался самим собой, в ту же секунду привлекал всеобщее внимание, как нечто удивительное, явно не от мира сего.

«Видите ли, товарищи, я поэт гениальный...» Это Шершеневич исполнял давно заезженную и всем надоевшую еще со времен футуризма роль. Но полагалось шуметь и протестовать – и публика шумела. Чтобы потом замолчать в недоумении и восторге, когда светловолосый юноша выходил на эстраду и хрипловатым голосом, не в такт жестикулируя, бросал в заплеванный и прокуренный зал:

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветр.
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

Бывали, правда, минуты, когда и чтение стихов «чужому и хохочущему сброду» становилось просто невыносимым.

И тогда происходило следующее:

– Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к е... м... Спекулянты и шарлатаны!..

Это было уже серьезно... И реакция последовала также не шуточная.

ДОКЛАД

11 января 1920 года по личному приказу дежурного по Комиссии тов. Тизенберга, я, комиссар МЧК опер. части А. Рекстынь, прибыла на Тверскую улицу в кафе «Домино» Всероссийского Союза поэтов и застала в нем большую крайне возбужденную толпу посетителей, обсуждавшую только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установила следующее: около 11 часов вечера на эстраде кафе появился член Союза поэт Сергей Есенин и, обращаясь к публике, произнес площадную грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в МЧК и просил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из ВЧК Шейкманом. Ко мне поступило заявление от Президиума Союза поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обещают не допустить подобных выступлений в дальнейшем. Мои личные впечатления от всей этой скандальной истории сложились в крайне определенную форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но о кафе, как таковом. По характеру своему это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти

неизбежными, так как и состав публики, и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против Советской власти, любителями грязных и безнравственных выражений и т. д. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающее о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины – и явно хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре Советской России. Единственная мера, возможная по отношению к данному кафе, – это скорейшее его закрытие.

Комиссар МЧК А. Рекстынь

Их было достаточно в ЧК в те годы – революционных фурий вроде Александры Рекстынь, Конкордии Громовой, Евгении Бош, Ревекки Майзель-Пластининой и других. Удивительно в этом докладе только одно: откуда вдруг у комиссара МЧК, хотя бы и женского пола, такая чувствительность к «грязным и безнравственным выражениям» в ту пору всеобщей раскованности?

Здесь интересны по меньшей мере два момента.

Первый. Обычная для тех лет ситуация – публичный скандал в литературном кафе, и вдруг требуется вмешательство чекистов. Причем звонили по телефону и вызывали «чеку» представители той самой публики, которая имела все основания опасаться встречи лицом к лицу с ее сотруdnиками.

Личное оскорбление еще можно было переварить – брань на восту не виснет. Но выражение «спекулянты и шарлатаны», публично заявленное с эстрады в кафе, где – об этом знали все присутствующие – в каждом углу сидели тайные и явные осведомители, было уже не оскорблением, а констатацией факта, что грозило немалыми, мягко говоря, неприятностями. И спекулянты бросились «стучать» на поэта, демонстрируя свою абсолютную лояльность режиму.

Второй момент. Поведение «собратьев по перу», которые тут же поспешили отмежеваться и заявили, что Всероссийский Союз поэтов не отвечает за поведение своего члена. Отречение было подано за подписью председателя ВСП – имажиниста Ивана Грузинова.

Среди работников ЧК был распространен секретный приказ Дзержинского, в котором, в частности, рекомендовалось «устройство фиктивных белогвардейских организаций в целях быстрого выяснения иностранной агентуры на нашей территории». Устраивались эти «организации» с помощью провокаций руками секретных агентов, чьи доносы ложились в основу «разработки». В том, что кафе «Домино» было под прицелом «всевидящих органов», – сомневаться не приходится.

Закрытие кафе автоматически означало бы дальнейшую разработку дела с привлечением не столько посетителей, сколько самих поэтов – организаторов публичных выступлений. Мало того, для многих чтение в кафе было единственным источником существования. Вполне можно было, придравшись к некоторым фразам, записанным филерами, арестовать как минимум нескольких человек по обвинению в контрреволюции. Иван Грузинов знал, что делал, составляя страшущий документ. Другое дело, что «друзья» в первый, но далеко не в последний раз по-крупному подставили Есенина.

«Дело» это, однако, не имело драматических последствий. В начале января 1920 года состоялось заседание ЦК РКП(б), на котором сами же большевики обрушились на ВЧК в целом и на Феликса Дзержинского в частности. Именно там и прозвучали слова о царящей в ВЧК «уголовщине», конкретно воплотившейся в бессудных расстрелах и зверских пытках арестованных. Дзержинский бился в эпилептическом припадке... Это, однако, не помогло.

15 января в губчека была отослана шифротелеграмма с приказом прекратить расстрелы по приговорам ВЧК и местных органов.

«Дело кафе „Домино“» № 10055 было передано в местный народный суд, куда Есенин вызывался 31 марта. В суд он не явился. 23 марта Есенин, Мариенгоф и их общий приятель А. Сахаров отправились в Харьков. Сахаров, как заведующий отделом полиграфии ВСНХ, был командирован на Украину для участия в организационном совещании украинских полиграфических отделов. Надо думать, Есенин и Мариенгоф упростили его взять их с собой – по судам таскаться не хотелось, а заодно появилась возможность ненадолго вырваться из голодной Москвы.

* * *

Харьков, 1920 год.

Здесь фактически только-только установилась советская власть. Город еще не опомнился от крови, которая лилась здесь реками, когда одна власть сменяла другую, терроризируя население.

«Тот город славился именем Саенки...» – писал позднее Велимир Хлебников в поэме «Председатель Чеки», вспоминая страшного чекиста, чье имя наводило ужас на весь Харьков, и воспроизводил монологи еще одного «рыцаря революции» – следователя Реввоен трибунала Андриевского, помимо своей основной работы пробовавшего силы (а как же иначе – культурный человек!) в театральной режиссуре. Представить Харьков той эпохи помогают следующие строки:

Приговорен я был к расстрелу
За то, что смертных приговоров
В моей работе не нашли.

.....

Но я любил пугать своих питомцев на допросе,
Чтобы дрожали их глаза,
Я поданных до ужаса, бывало, доводил
Сухим отчетливым допросом.
Когда он мысленно с семьей прощался
И уж видал себя в гробу,
Я говорил отменно сухо:
«Гражданин, свободны вы и можете идти».

Совершенно нищий и психически нездоровый «будетлянин» встретил имажинистов и молча протянул руку, на которую был надет ботинок. Мариенгоф пожал ботинок. Хлебников этого даже не заметил.

Есенин весело смотрел на Хлебникова, возвышающегося посреди пустой комнаты с единственным табуретом. Будетлянин. Футурист. Председатель Земного Шара. Друг злейшего врага – Маяковского. В висках гудела веселая идея.

– Вы, Велимир Викторович, Председатель Земного Шара!

– Председатель...

– Мы в Харьковском театре всенародно упрочим ваше избрание. Организуем церемониал!

Хлебников, очевидно, плохо понимавший, что происходит, крутился на сцене вокруг собственной оси, поворачиваемый Есениным и Мариенгофом. Те читали акафисты посвящения в Председателя. Как символ – надели на палец «посвященному» кольцо, занятое у Бориса Глубоковского.

После окончания церемонии кольцо было отобрано.

Потом Есенин возмутился: «Хлебников испортил все! Умышленно я выпустил его первым, дал ему перстень, чтобы он громко заявил: „Я владею миром!“ Он же промямлил такое, что его никто не слышал».

Очередное же выступление самого Есенина, как обычно, удалось на славу. В пасхальную ночь он на бульваре, вскочив на скамейку, надрывая голос, читал «Инонию» и «Пан-тократора».

Тысчи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

Кругом собралось много людей. Верующие дрожали от негодования. Воздействие этих стихов было посильнее, чем любой похабной антирелигиозной частушки.

– Бей его, богохульника! – раздалась крики.

Тут же они были перекрыты грозным ревом матросов-братишек, увидевших в Есенине «своего парня»:

– Читай, товарищ, читай!

Он продолжал читать и дочитался до бурных аплодисментов и подкидываний шапок в воздух.

Он и здесь шел наперекор всему – ситуации, людям, традиционному восприятию привычных вещей. А когда публика набилась в зал Харьковского городского театра и негодующими воплями и свистом встретила стихотворную бредятину Мариенгофа, Есенин, казалось, должен был продолжить скандал и довести его до высшей точки кипения.

Но... «просто невозможно было сердиться на этого светлого, радостного, рассеянно улыбающегося юношу», – вспоминал Эмиль Кроткий. Благостную атмосферу поэт взрывал изнутри. И гасил любой скандал чтением стихов, от которых затихал самый накаленный зал.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

* * *

В конце 1919 года вышли наконец отдельным изданием «Ключи Марии». Книга, которая Шершеневичу стояла поперек горла и которую он же из тактических соображений объявил теоретической основой имагинизма. Но после выхода «Ключей» тут же засел за собственную «теорию».

«Радостно посвящаю эту книгу моим друзьям ИМАЖИНИСТАМ Анатолию Мариенгофу, Николаю Эрдману, Сергею Есенину» – распинался он на титульном листе своего труда «2x2=5. Листы имагиниста». Посвящение Есенину здесь – не что иное, как воплощение форменного лицемерия. Ибо на первой же странице было заявлено:

«Эпитеты народного творчества – это нечто застывшее, что указывает на низкую ступень народного творчества вообще. Эпитет поэта есть величина переменная. Чем

постоянное эпитет поэта, тем меньше значение этого поэта, ибо искусство есть изображение, а не приготовление».

«Анти-"Ключи Марии"» – вот что писал Шершеневич, стремясь перехватить лавры теоретика. Каждая фраза этого сочинения, по сути, метила в Есенина, в том числе и в Есенина-поэта.

Теоретические претензии были в данном случае лишь поводом для выражения нешуточной неудовлетворенности тем положением вещей, когда публика отшатывалась от стихов «великолепных», как от истерики умалишенных. Но Шершеневич брал реванш в теории: «Искусство должно быть радостным, довольно идти впереди кортежа самоубийц. Имажинизм таит в себе зарождение нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка... Победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и переходом к неграмматическим фразам».

А разве мог после выхода есенинской книги остаться в стороне Толя Мариенгоф? Он ведь тоже теоретик! Автор книжки «Буян-остров. Имажинизм», написанной в мае 1920 года. По существу, его книга – это вопль всеми презираемого графомана. Да и куда денешься, если цельного художественного произведения, обладающего всеобщей ценностью, из-под собственного пера не выходит и остается только выдавать ремесленную стихотворную работу за грядущий «ослепительный молниевый листопад».

Масла в огонь подлил и Арсений Авраамов – личность весьма типичная для того времени. Времени, когда Татлин конструировал проект памятника III Интернационалу, который должен был превысить на 100 метров Эйфелеву башню и стать «оживленной машиной», сооруженной из форм, кружащихся вокруг собственной оси в различных ритмах, вмещающая в себя телеграф, кинозалы и залы для художественных выставок. Времени, когда Вс. Мейерхольд, основывая свой театр, декларировал: «На всех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок», не подозревая, что в один прекрасный день замок повиснет на дверях его собственного театра. Арсений Авраамов – р-р-революционер хоть и меньшего масштаба, но в том же духе. Под псевдонимом «Реварсавр», то бишь «Революционный Арсений Авраамов», он исполнял в «Стойле Пегаса» специально написанные для перенастроенного рояля «рев. опусы». На сем рояле надлежало играть не пальцами, а садовыми граблями.

Так вот этот самый Арсений выпустил в 1921 году книгу «Воплощение. Есенин – Мариенгоф», содержание которой названные герои знали задолго до выхода ее в свет. В результате устроенного автором «музыкального» разбора и ритмического «анализа» стихов выходило, что Мариенгоф обладает ритмическим мастерством, «коему мог бы позавидовать Себастьян Бах!».

Наконец, Шершеневич выпускает книгу под названием «Кому я жму руку». Эта книга наряду со статьями из «2×2=5», публиковавшимися в «Знамени», положила фактически конец какому бы то ни было взаимопониманию между ним и Есениным, которое и до того не особенно проявлялось.

Есенин не мог оставить без ответа серию увесистых булыжников в свой огород.

Еще зимой он подал в Отдел печати Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов заявление о разрешении на печатание четырех книг. Кроме трех книг стихов, в заявлении фигурировала «Словесная орнаментика», которая должна была стать своеобразным продолжением «Ключей Марии». Однако все, что от нее сохранилось – статья «Быт и искусство». Надо полагать, Есенин выбрал одну главу для публикации, дополнив ее заостренными полемическими инвективами, направленными против своих «собратьев». Публикация статьи «Быт и искусство» стала с его стороны последней попыткой убедить свиту, что «из ничего и выйдет ничего», что любые образы в стихе должны находить гармоническое согласование между собою, так же, как они согласованы в традиционном быту.

«Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям...

Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных впечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума».

Он обращался к глухим и слепым. И едва ли сам этого не понимал. Не единожды ведь приходилось убеждаться в том, что его понимание образа и природы поэзии не имеет ничего общего с воззрениями компании дикарей, в которой он осуществлял свою «литературную политику». Почему его взгляды на искусство были для «собратьев» китайской грамотой, Есенин исчерпывающе объяснил в конце статьи. Отнюдь не теоретические разногласия явились яблоком раздора, как это могла подумать публика. Корень был гораздо глубже.

«У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласованно все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния».

Казалось, логика развития событий требовала, чтобы после подобного объяснения всякие отношения были прерваны. Но ни малейшей логики в поведении «друзей», в литературной жизни и быте того времени невозможно было усмотреть при всем желании.

Наглядной иллюстрацией ко всем тогдашним литературным и теоретическим спорам, отражающей взаимоотношения Есенина с «собратьями», могла бы стать известная фотография «великолепных», снятая на Тверском бульваре летом 1919 года. Четверо модно одетых «русских дэнди» с тросточками в руках смотрят в объектив. На лицах Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова жизнерадостные улыбки. Тесным кольцом стали они вокруг Есенина, в глазах которого застыла какая-то затаенная печаль и тяжелая дума, неведомая улыбающимся товарищам...

* * *

В середине апреля 1920 года Есенин навестил родных в Константинове.

До этого он изредка встречал в книжной лавке или дома на Богословском односельчан, приезжавших в Москву. Встречал их радушно, угощал чем мог, дарил свои книжки, помогал, если это было в его силах. Одному из них он написал рекомендательную записку в костюмерную Большого театра, где тот получил костюмы для постановки спектакля в константиновском клубе.

Раз или два приезжал отец. Жаловался на тяжелую жизнь, на отсутствие денег. Есенин молча выслушивал. Никогда в деньгах не отказывал, хотя тяжело было вспоминать о прежних ссорах с ним, о пренебрежительном отношении отца к стихам молоденького Сережи и лицеизреть его теперь перед собой – просящего денег, заработанных теми же стихами.

Есенин прожил в Константинове более двух недель. И, наверное, нечасто приходилось ему видеть более тяжелые картины.

Екатерина Есенина вспоминала: «...После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи, как хочешь. Все обносилось, а купить негде».

Проливной дождь, ливший все эти дни, еще более усугублял тяжелое впечатление от увиденного. Многих односельчан поэт уже не застал в живых – кто убит на фронте, кто сгорел в тифу. Дед лежал на печке и проклинал советскую власть:

– Безбожники, это из-за них Господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над Богом, вот и живете, как кроты.

Страшно было смотреть теперь на эту *новую* жизнь, точнее, на отсутствие жизни, как

таковой, на убиение российской деревни, происшедшее именно в годы военного коммунизма и сплошной продразверстки. 1920 год поставил на старой русской деревне крест. Но к этому все и шло. В «Положении о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» было декретировано, что на все виды единоличного землепользования нужно смотреть как на отживающие. «Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой и частнохозяйственный капитализм, который в *каждом* мелком буржуа имеет своего агента» (В. И. Ленин).

Если перевести эту политическую терминологию на язык житейских фактов, то реальным ее воплощением и стало то, что увидел Сергей Есенин весной 1920 года в родном Константинове. Голод. Мор. Отсутствие продуктов. Невозможность ничего ни купить, ни продать. Потеря земельных наделов...

Вспомнились его лихорадочные споры с Петром Мочалиным. Вспомнились антирелигиозные частушки, которые с упоением распевались константиновской молодежью и его сестрицами.

«Вот и живете, как кроты...»

«Ах, Толя, Толя... Не ты ли говорил, что ничего не напишу здесь?»

Гибель породившего и вскормившего его мира неизбежно навевала мысль о неотвратимости собственной гибели.

Я последний поэт деревни,
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

Это стихотворение он посвятил Мариенгофу, думается, не без намека. Для тебя, Толя, деревня – пустой звук, и меня счел неспособным написать что-либо стоящее о разоренном и погружающемся в небытие родимом мире. А кроме того, сам Мариенгоф – порождение железного гостя и его неутомимый воспеватель. Это вам не разность поэтических манер, как считает Львов-Рогачевский. Тут дело серьезнее. Гораздо серьезнее.

Изъятие подчистую хлеба, борьба с мешочничеством, заградительные отряды, принятие IX съездом РКП(б) программы Троцкого по превращению страны в огромный

концентрационный лагерь, где каждый рабочий и крестьянин должен был считать себя «солдатом труда, который не может собой серьезно располагать», – все было подчинено одной-единственной задаче: ликвидации России как таковой, ибо физическое уничтожение крестьянства и превращение рабочих в крепостных означали фактический конец великой державы.

Программа эта на практике так и не была до конца воплощена в жизнь. Любоедские планы превращения России в вязанку дров для костра мировой революции были сорваны, ибо наперекор им легли костями сотни и сотни тысяч «неизвестных солдат» – простых русских мужиков, взявших в руки винтовки и пулеметы, дабы ценой крови отстаивать свое право и право своих семей на хлеб и кров.

«Город пострадал сравнительно мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные интернационалисты понесли тяжелые потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев, усеяв ими все улицы». Это направленное в Совнарком сообщение повествует о разгроме крестьянского восстания в Ливнах. А вот донесение из Поволжья: «...Крестьяне озверели, с вилами и с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулемет, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию...» Подобная картина наблюдалась повсеместно – и на Дону, и на Северном Кавказе, и в средней полосе России.

На Украине из уст в уста передавалось имя «батьки» Нестора Махно. Сам он в откровенных беседах со своими приближенными мечтал о том, чтобы его имя встало в один ряд с именами Разина и Пугачева. И это были отнюдь не беспочвенные фантазии. Слухи о нем ползли по Украине, и, когда в 1918 году на юге страны разгорелось крестьянское восстание, кто-то вспомнил знаменитую реплику закованного в кандалы Пугачева: «Я не ворон, я – вороненок. А ворон-то все еще летает».

К середине 1920 года Махно, прошедший огонь и воду в борьбе с Деникиным, Слащевым, Григорьевым, Пархоменко, Якиром, был, по существу, обречен. Бои с врангелевскими частями, расправы с продотрядовцами и директива Фрунзе, призывающего покончить с махновщиной «в три счета», были еще впереди, но уже становилось ясно, что сохранить за собой более или менее обширную территорию, не подчиняющуюся советской власти, ему не удастся.

А большевистский режим все круче завинчивал гайки.

«Известия» от 24 мая 1920 года. Наряду с информацией о перевыборах в Союзе поэтов и нелепой стычке во время одного из выступлений Есенина с поэтом Соколовым («В связи с инцидентом Есенин – Соколов общее собрание исключило из членов С. Есенина») в том же номере был опубликован документ, вокруг которого в столице пошло много слухов и домыслов.

Речь идет о приговоре по делу Бориса Мокеевича Думенко, который был вынесен выездной сессией Ревтрибунала под председательством некоего А. Я. Розенберга:

«Комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начальник разведки Колпаков, начальник оперативного отдела Блехерт, комендант штаба Носов, начальник снабжения 2-й бригады конкорпуса Кравченко 1. вели систематическую юдофобскую и антисоветскую политику, ругая центральную Советскую власть и обзывая в форме оскорбительного ругательства ответственных руководителей Красной Армии жидами, не признавали политических комиссаров, всячески тормозя политическую работу в корпусе...»

Цитируем только первый абзац. По прошествии времени ясно, что Думенко и его окружение – герои первого этапа Гражданской войны – были «за Советы, но без жидов и коммунистов» и против «института комиссаров», учрежденного Троцким для надзора за такими командирами, как Думенко.

Текст же приговора был следующий: «Лишить полученных от Советской власти наград, в том числе ордена Красного Знамени, почетного звания Красных командиров и

применить к ним высшую меру наказания – расстрелять... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Председатель А. Розенберг, члены А. Зорин, А. Чуватин».

Тройка, выполняя распоряжение Троцкого, повязала себя кровью. Есенин прочитал номер газеты, скользнул взглядом по фамилии председателя, и мысль мелькнула: «А это хорошо, что у меня приятели – евреи да в фаворе! Ишь времена-то какие! Геройского Думенку расстреляли!»

* * *

В июне Есенин в компании с Мариенгофом отправился в поездку на Кавказ в отдельном салон-вагоне в сопровождении Г. Р. Колобова. Маршрут разработали сами поэты, рассчитывавшие провести несколько показательных «имажинистских» выступлений в различных городах.

Ростов, Таганрог, Новочеркасск...

Гастроли сопровождались привычными скандалами и водкой. Зреть, что сотворено с Россией, трезвыми глазами было невозможно.

В спокойные минуты Есенин молча смотрел в окно, читал, думал. Невеселыми были эти думы, которыми он делился в письмах к харьковской знакомой Жене Лившиц.

«Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление... Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».

Не было ему, конечно, никакого дела до красот Кавказа после вида разоренной и изнасилованной России. Он еще пытался отвлечься то подтруниванием над Гришей Колобовым, то чтением Флобера, пока не увидел из окна вагона несущегося рядом с паровозом рыжего тоненького жеребенка, который постепенно отставал и наконец совсем пропал из виду.

Сам не свой ходил Есенин после этого зрелища. «Этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной».

Многим тогда казалось, что с окончанием братоубийственной гражданской войны наступит новая жизнь и русский крестьянин, оставив пулемет, возьмется за ручку деревянной сохи и руль стального трактора и устроит вечную счастливую жизнь, которая будет одинаково не похожа на жизнь дореволюционную и жуткую жизнь эпохи военного коммунизма.

Об этом мечтал Чаянов, этого страстно жаждал Клюев.

А Есенин видел и понимал все куда яснее.

«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если построен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают...»

Как всегда, внутреннее не соответствовало внешнему. Публика рычала и свистела во время всех «кавказских гастролей». Афиши били по глазам и щекотали нервы. «Первое отделение: Мистерия. 1. Шестипсалмие. 2. Анафема критикам. 3. Раздел земного шара. Второе отделение: 1. Скулящие кобели. 2. Заря в животе. 3. Оплеванные гении. Третье

отделение: 1. Хвост задрала заря. 2. Выкидыш звезд. Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов...»

Совсем непохожим получился вечер в «Домино» после возвращения в Москву, где впервые прозвучал «Сорокоуст».

Сорокоуст – служба по умершему, совершаемая в церкви в течение 40 дней после смерти. Поэма Есенина напоминала скорее не заупокойную службу, а отчаянный крик человека, обреченного на гибель и все еще сопротивляющегося в последней агонии.

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у мерина?

.....

Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.

О первом исполнении поэмы вспоминал Иван Грузинов:

«Есенин только что вернулся в Москву... Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор.

– Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь...

Через две-три минуты Есенин на эстраде...

На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь: расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.

Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт России, кто-то ему мешает, кто-то его «не признает». Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.

По-видимому, он ожидал протеста со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму... Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы, и вдруг... никто не протестует...»

Там же, в кафе, Есенина внимательно слушал Валерий Брюсов.

Постаревший, много переживший символист, он ныне стремился играть роль некоего литературного арбитра, третейского судьи, который квалифицирует поэтов, отводит каждому свое место, определяет пути развития русской поэзии. Все это выглядело несколько комично – Брюсов превратился в обычного советского служащего. Снисходительно одобряя, иронически поощряя и едко издеваясь, он с улыбкой наблюдал за всеми теперешними «школами» и «школками», которые не могут закатить даже настоящего литературного скандала. Что и говорить, далеко им было всем, вместе взятым, до него в молодости! Все эти «желтые кофты», мушки на щеке, «скулящие кобели» и «беременные мужчины» мало что стоили в его глазах. Но... молодежь есть молодежь. На роду написано резвиться. «Блажен, кто смолodu был молод...»

В настоящий момент Брюсов неподвижно сидел и не отрывая глаз смотрел на светловолосого юношу, срывающимся голосом бросавшего в неподвижный и молчаливый зальчик:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

Такого он не слышал за последнее время ни от кого из поэтов. Ранее совершенно не выделял Есенина в массе других. Бывший «новокрестьянин», нынешний «имажинист». А здесь... послышалось то, чего не было до сего дня в русской поэзии. Виду Брюсов, естественно, не подал.

Растерянный Есенин подошел к столику.

Брюсов напряженно улыбался.

– Рожаете, Сергей Александрович?

– Да, – безучастно ответил Есенин.

– Рожайте, рожайте!

Но публично свое отношение к есенинской поэме он продемонстрировал 23 ноября на вечере поэзии, устроенном Союзом поэтов в Политехническом музее.

Этот вечер у многих сохранился в памяти.

Остервенелые крики послышались после первых же строк «Сорокоуста». «Не хотите ль пососать у мерина» вызвало возмущенный вой, а еще после четырех строчек в зале вообще ничего было невозможно услышать. Здесь и взял в свои руки бразды правления Брюсов.

– Надеюсь, присутствующие поверят мне, что я в поэзии что-то понимаю. Я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из того, что появилось в русской поэзии за последние два или три года.

Есенин начинает читать сызнова, и опять раздаётся протестующий рев. Одни требуют, чтобы Есенин читал дальше, другие настаивают на немедленном прекращении. В неистовом гаме слышен лишь голос Шершеневича: «А все-таки он прочтет до конца!!!» И Есенин дочитывает до конца, бросая в лицо ошарашенной публике:

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой разможжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то выросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик

Захлебнулся лихой самогонкой.

И это стихотворение он посвящает Мариенгофу – «любителю песенных блох», не слушающему и не желающему слышать, как за селом «плачет жалостно гармоника».

Он буквально «вытаскивал» своих «собратьев», которым постоянно доставалось на вечерах и стихотворных диспутах. Так, на вечере, о котором идет речь, публика и присутствующие поэты просто рвали их в клочья. Маяковский, можно сказать, стер Шершеневича в порошок. И только Есенин поставил «агитатора, горлана, главаря» на место.

– У этого дяденьки достань воробышка хорошо привешен язык... Он ловко пролез сквозь игольное ушко Велимира Хлебникова и теперь готов всех утопить в поганой луже, не замечая, что и сам сидит в ней... Сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез!

– А каков закон судьбы ваших кобылез? – отозвался Маяковский.

– Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах...

Это была далеко не первая и не последняя их стычка.

Есенину нестерпима была сама мысль, что умелый стихотворец, напрочь лишенный чувства родины и поэтического мироощущения, покоряет аудиторию не только и не столько своим басом и площадным остроумием, сколько содержанием своих античеловеческих творений!

– Россия моя! Понимаешь? Моя Россия! А ты... ты – американец, – кричал он Маяковскому во время очередной стычки. А тот даже не спорил, только издевательски бросил в ответ:

– Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!

Вот это «ешь ее с хлебом!» Есенину жутко было слышать в стихах и репликах своих «собратьев», которые без него не просуществовали бы и месяца. «А мы не Корнеля с каким-то Расином. Отца – предложи на старье меняться, – мы и его обольем керосином и в улицы пустим для иллюминаций...» Ну и чем отличаются от этих маяковских каннибальских откровений мариенгофские:

Что днесь
Вонь любви, раздавленной танками?
Головы чловечьи
Как мешочки
Фунтиков так по десять,
Разгрузчики барж
Сотнями лови, на!

Это и многое другое такого же типа читалось в Большом зале консерватории на литературном вечере «Суд над имажинистами». Председательствовал все тот же Брюсов, и ничто бы не спасло веселую компанию от убийственных насмешек и издевательств, если бы не Есенин.

31 декабря. Встреча Нового года с имажинистами. Снова в уши зрителей лилась отборная мерзость Шершеневича, Мариенгофа... На сей раз разыгрался скандал похлеще скандала в Политехническом. Есенин пришел с только-только написанной «Исповедью хулигана».

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Начало многообещающее, все внимание слушателей было приковано к одинокой фигурке на сцене. А он вдруг, повысив голос, стал хлестать публику строками, и каждая была как удар плетью.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.

Мне нравится, когда камень брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Буря постепенно стихла, когда поэт с нежностью вспомнил своих родителей. Но не успела публика по-настоящему настроиться на волну лирических воспоминаний, как последовал новый взрыв:

Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Никто не знал – негодовать или аплодировать. И крик возмущения сливался с гулом аплодисментов.

А Есенин прощался со старой деревней, с крестьянским миром, с крестьянским космосом, и это прощание вырывало у него из горла предсмертный хрип.

Несколько мотивов закрутили тугой узел этого стихотворения. «Нежное воспоминанье детства» возникало уже за той чертой, которую деревенский сын безвозвратно пересек. Цилиндр и лакированные башмаки, наделавшие столько шуму, – символ той самой «культуры» Политехнического и «Стойла Пегаса», которой он отдал обильную дань, став в центре помойной ямы, именуемой «литературной жизнью» Москвы 1920-х годов. Он и здесь остался самим собой с «нежными воспоминаньями детства», только перестроившим себя по новому плану, дабы заставить дрожать мелкой дрожью «чужой и хохочущий сброд».

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

Зрители замирали, ожидая нежного, подчиняясь властной силе стиха. Никто и не замечал, как естественно и безболезненно вкраплен был сюда ставший чужим и почти ненавистным Клюев («Ах и солнышко отмыкало болость нив и бездорожий, и земле в поминок выткало золоченые рогожи...»). И тут же последовало то, отчего зашлась в негодующем вопле половина зала, а вторая ответила радостным ревом:

Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерек зари коса...
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Есенин подтвердил репутацию хулигана, и на последующих вечерах эта злосчастная «луна» ожидалась уже с нетерпением. Все знали, что будет буря, и предвкушали ее.

Откуда такое отношение к луне?

Да оттуда же, откуда метафизическое противостояние солнечного начала лунному в «Пантократоре». От прежних «метафизических» бесед в обществе «кожаных курток» и споров с Устиновым: «Женщина есть земное начало, но ум у нее во власти луны. У женщины лунное чувство. Влияние луны начинается от живота книзу. Верхняя половина человека подчинена влиянию солнца. Мужчина есть солнечное начало, ум его от солнца...»

Уже в «Кобыльях кораблях» отразилось влияние лунной атмосферы, как импульс чувственного распада и разложения. Солнечное начало полностью подавлено лунным, и воля к жизни сменяется ощущением близкого конца и как бы заблаговременным приурочением к нему: «В эту синь даже умереть не жаль». А похабное действие по отношению к луне – лишь знак еще агонизирующей солнечной жизни, протестующей против такого исхода.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!

Еще один всплеск хулиганства? Для публики – бесспорно. По существу же – злая пародия на Диогена Синопского и одновременно свидетельство того, что существует хотя бы *такой* источник света, с которым можно найти человека в мире нелюди...

Человека?

Вот тут-то, в конце поэмы, и следует признание поистине страшное.

Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.

Крысы в трюмах «кобыльих кораблей», в лошадиных трупах, несущихся в никуда под вороньими парусами, не прославляются старой нежной лирикой. Нежить, окружающая поэта, требует иного воплощения, и поэт, облачившийся в цилиндр и лаковые башмаки, заглушает воронье карканье своим свистом, сдергивает вороний парус и водружает иной – свою желтоволосую башку, «люющуюся бурливых волос вином». Она станет «желтым парусом», несущимся в неведомую страну, имени которой не знает никто.

Какое дело было публике до трагедии, разыгрывающейся на ее глазах?

– Сережа! Дав-вай!!!

– Режь правду-матку!

Голоса протеста заглушались приветственными криками.

* * *

А параллельно со всем этим в жизнь Есенина настойчиво вмешивалась сила, игнорировать которую не представлялось возможным.

Заявление в ВЧК

12 сентября 1920 г.

В семье Кусиковых, проживающих по Б. Афанасьевскому пер. (Арбат) в доме № 30, есть один сын по имени Рубен. Он бывший денкинский вольноопределяющийся, служил в денкинской армии в Дикой дивизии, в Черкесском полку... Этот тип белогвардейца ненавидит Сов[етскую] власть и

коммунистов, как и вся их семья, и собирается по выздоровлении бежать к Врангелю...

Мне он рассказывал, как их дивизия зверски расправлялась с нашими красноармейцами, когда они имели несчастье попасть к ним в плен, и как он жалеет, что он из-за раны не мог уехать со своими друзьями к Врангелю при приближении наших войск...

В результате этого доноса (естественно, анонимного) братья Александр и Рубен Кусиковы были арестованы на своей квартире, там был произведен обыск и оставлена засада. Брали всех – молочницу, сапожника, принесшего сапоги, случайно зашедшего соседа. После короткого допроса их поочередно отпускали. Есенин тоже попал в эту засаду и был отвезен на Лубянку.

19 октября Есенин дал следующие показания.

На вопрос: «С какого времени знакомы с гр. Кусиковым?» – отвечаю: «Я знаю Кусикова с 1917 г., знаком, как с товар[ищем] по деятельности литературной. Политические убеждения моего товарища вполне лояльны. К Советской власти сочувствие моего тов[арища] выразалось в тех произведениях, которые принадлежат ему. Например, в сборнике „Красный офицер“ и книге под заглавием "В никуда". „Коеван-гелиеран“. У меня также имеется ряд произведений в револ[юционном] духе. Я был одним из первых поэтов в современном быте». На вопрос: «Кто может подтвердить о вашей деятельности и благонадежности?» – «Тов. Ангарский и тов. Луначарский и целый ряд других обществ[енных] деятелей». На вопрос: «Как вы смотрите на современную политику Сов[етской] власти?» – «Вполне лоялен в переходный момент. К той эпохе, которая насаждает социализм, каковы бы проявления Сов[етской] власти ни были, я считаю, что факты этих проявлений всегда необходимы для той большой цели, какую несет коммунизм. Всякое лавирование Сов[етской] власти я оправдываю, как средство для улучшения военного и гражд[анского] быта Сов[етской] России».

На вопрос: «Что для вас кажется лавированием в действиях Сов[етской] власти?» – «Те действия Сов[етской] власти, которые осуществляются в области военной политики, я считаю безусловно лавированием. На заключение мира с Польшей я смотрю, как на необходимое явление в данный момент, в момент именно истощенной в экономич[еской] жизни страны». На вопрос: «Кто может вас взять на поруки?» отвечаю: «Может безусловно за меня ручаться, кроме вышесказанных, тов. Устинов, сотр[удник] Прав[ительственной] газеты, и другие. Больше показать ничего не могу.

С. Есенин

В показаниях поэта проскальзывает очевидная ирония, выражающаяся хотя бы в определении книги под названием «В никуда», как «выражающей сочувствие Советской власти», а также в репликах об эпохе, которая «насаждает коммунизм», и «лавированиях», связанных с этим насаждением. Ирония не едкая, а скорее добродушная. Такое впечатление, что с чекистами разговаривает человек, не слишком хорошо понимающий, что происходит. Это было, конечно, тонкой игрой – Есенин был блестящим актером по призванию. «Сочувствую? А почему бы и нет? Лоялен? Ну, разумеется... Отвязались бы, господа хорошие! Не до вас...»

Полушутя-полусерьезно говорит и о «заключении мира с Польшей». Поход на Варшаву ассоциировался у него с набегами стародавних времен, с Тарасом Бульбой, а также с великой Российской империей XIX столетия и пушкинскими «Клеветниками России». Гордость за великую, единую и неделимую Россию, безусловно, присутствовала в его душе, и в период развала и распада государства он, и смеясь и возмущаясь одновременно, подчас говаривал: «А что такое Украина? Окраина! Могу я ее признавать?»

Отвечая на вопрос о прежней судимости, поэт написал в анкете, что 4 месяца провел в дисциплинарном батальоне. А какая, в сущности, разница, если надо выбираться из этого «благословенного заведения» как можно скорее?

25 октября поручительства за Есенина дал Я. Г. Блюмкин.

ПОДПИСКА

о поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции по делу гр. Кусиковых, 1920 года октября месяца 25 дня. Я, нижеподписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по[адресу] гостиница Савой, № 136, беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей.

Партбилет ЦК Иранск[ой] коммунист[ической] партии.

Я. Блюмкин

А еще две недели спустя на волю вышли Александр и Рубен Кусиковы.

После восьмидневной отсидки Есенин пришел к Марине Цветаевой. Что потянуло его в дом к хорошо знакомой и вместе с тем не особо близкой ему душевно поэтессе? О чем они говорили? Едва ли мы это узнаем когда-нибудь. Дочь Марины Аля позднее вспомнила только то, что Есенин, придя, попросил еды. «Восемь дней ничего не ел. Там даже воскресенья не празднуют, ни кусочка хлеба. Мне дали поляблока. Едва-едва вырвался».

На этот раз вырвался. Что ждет впереди – не знал. Знал только, что ничего хорошего ожидать не следует.

Они сидели за столом, смотрели друг другу в глаза и вели тихую, неспешную беседу.

А за окном – «синий свет, свет такой синий...».

Глава восьмая Советская пугачевщина

Только раз ведь живем мы. Только раз.

С. Есенин

Осенью 1920 года Есенин получил после долгого перерыва весточку от Иванова-Разумника, который приглашал его в Петроград. Только 4 декабря он написал ответ:

«Дорогой Разумник Васильевич!

Простите, ради Бога, за то, что не смог Вам ответить на Ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло.

Я уже собирался к 25 окт. выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК.

Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться.

Мне очень и очень хотелось бы Вас увидеть, услышать и самому сказать о себе. Уж очень многое накопилось за эти 2½ г., в которые мы с Вами не виделись. Я очень много раз порывался писать Вам, но наше безалаберное российское житие, похожее на постоялый двор, каждый раз выбивало перо из рук. Я удивляюсь, как еще я мог написать столько стихов и поэм за это время.

Конечно, переструение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык. Но я потерял зато все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кой-что по этому поводу Вы уже слышали...»

Есенин ощущал настоящую внутреннюю потребность встретиться с бывшим идеологом «скифов», объяснить старшему сотоварищу, в *чем* заключалось его «великое перестроение», *что* вытянуло нутро, положило в формы и дало ему новый язык. Тем более что для Иванова-Разумника первым поэтом современности и примером остальным стихотворцам оставался Николай Клюев.

Клюев... Сколько пудов соли было съедено вместе с ним, и как резко разошлись их пути! Пресловутой «дружбой-враждой» это не назовешь. Как был другом Николая, так и остался. Только в творчестве стало им не по дороге.

«Он с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, – продолжает Есенин в письме Разумнику, – думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера и, порой, довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ошущью вот теперь он пойдет?»

Разговор о форме и манере здесь не более чем переложение глубинных противоречий на язык, могущий быть понятным Иванову-Разумнику. Клюев верит, что все еще может вернуться на круги своя, когда пишет:

Я знаю, родятся песни —
Телки у пегих лосих, —
И не будут звёзды чудесней,
Чем Россия и вятский стих!

Города Изюмец, Чернигов
В словозвучьи сладость таят...
Пусть в стихе запылают Выгов,
Расцветет хороводный сад.

По заставкам Волга, Онега
С парусами, с дымом костров!..
За морями стучит телега,
Беспощадных мча седоков.

Черный уголь, чудесный радий,
Пар-возница, гулеха-сталь
Едут к нам, чтобы в Китеж-граде
Оборвать изюм и миндаль.

Чтобы радужного Рублева
Усадить за хитрый букварь...
На столетье замкнется снова
С драгоценной поклажею ларь.

В девяносто девятое лето
Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещей строк...

Промчатся бури, вернется все на круги своя, и засияет златоглавый Китеж... Нет, Николай, не вычеркнуть того, что пережито. По иным путям понеслась наша птица-тройка, далеко занесла: уж и не узреть тех самоцветов. Ты и Разумник Васильевич все еще видите во

мне светлого инока, нежного отрока... Вольно вам жить в мире призраков. «С Зороастром сядет Есенин – рязанской земли жених, и возлюбит грозный Ленин пестрядинный клюевский стих...» Ха-ха-ха! Уже возлюбил. Камня на камне не осталось от того, чем мы жили когда-то. Да лучше дышать нынешним воздухом с примесью крови и гари, чем погрузиться в вечный сон, как ты, в ожидании девяносто девятого лета.

Всего несколько раз Клюев выбирался из Вытегры. В восемнадцатом, кажется, году посетил Москву, пришел к Есенину, побрели в «Домино»... Крестьясь, бежал тогда Клюев от хохота проституток, накакаиненных мальчиков и фразно-цилиндрических стихотворцев, источавших ненависть при его появлении. С кем связался Сереженька! Гибнет, гибнет райская душа, доходит в этом бардаке под названием «кафе поэтов». Предал, забыл старых друзей...

С болью сердечной читал есенинское: «Тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая...» А в «Стойле» рай свой обрел? Уберег он дружка, душеньку в свое время от Мережковского, от литературного сброда петербургского. Да ушел Сереженька разбойной тропинкой прямо в имажинистский кабак в поисках жемчужины потерянной.

В степи чумацкая зола, —
Твой стих, гордынею остужен.
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.

И груз «Кобыльих кораблей» —
Обломки рифм, хромыя стопы, —
Не с Коловратовых полей
В твоём венке гелиотропы. —

Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеветанных Голгоф
Тропа к иудиным осинам...

Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, соловьиный сад трепля,
Парит есенинское лихо.

Оно как стая воронят,
С нечистым граем, с жадным зобом,
И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом.

В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным, —
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.

Словесный брат, внемли, внемли
Стихам – берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с Голубенем.

Трерядница и Песнослов —

Садко с зеленой водяницей.
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище-странице.

Супруги мы... В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.

Мотивы расхождения и надежды на неизбежное воссоединение здесь очевидны. Менее убедителен обернувшийся против Клюева его же образ соловьиного сада, заставляющий вспомнить блоковскую поэму... Так кто же прав: Клюев, оставшийся в соловьином саду, или Есенин, в ушах которого вместо соловьиных трелей, разрывая барабанные перепонки, рокочет житейское море?

«Кобыльи корабли» ругает, а «Трерядницу», где они опубликованы, все-таки признает. Почуял исподволь старший собрат ту незримую связь, что неразрывна между ними, несмотря на то, что изредка они теперь перекликаются далекими голосами, в которых больше упреков, чем братской любви. Трерядница... Икона, которая при взгляде на нее с трех разных сторон – прямо, справа и слева – открывает каждый раз иной, дотоле не замечаемый образ. Для имажинистов – темный лес. А Клюев не мог не понять, не почувствовать.

«Сам знаю, в чем его сила и в чем правда...» Подобное можно было неоднократно услышать в то время от Есенина. Только не совпадала сейчас клюевская правда с есенинской.

А печататься и издавать книги становилось все трудней и трудней.

Все, что мог, делал Есенин в Москве для того же Александра Ширяевца. Летом 1920 года он сдал в набор его книгу «Золотой грудок», которая так и не вышла в свет. 26 июня он писал товарищу в Ташкент:

«"Золотой грудок" твой пока еще не вышел и, думаю, раньше осени не выйдет. Уж очень трудно стало у нас с книжным делом в Москве. Почти ни одной типографии не дают для нас, несоветских, а если и дают, то опять не обходится без скандала. Заедают нас, брат, заедают. Конечно, пока зубы остры, это все еще выносимо, но все-таки жаль сил и времени, которые уходят на это. Живу, дорогой, – не живу, а маюсь, только и думаешь о проклятом рубле...»

Многое стоит за этими строчками дружеского письма. Представление о Есенине, как о счастливчике, которому все в жизни давалось почти без хлопот, достаточно распространено и поныне. Как же – кафе, книжный магазин, салон-вагон... Да и книжки вроде выходили. А выходили они благодаря тысячам разнообразных ухищрений. То найдет «мецената», а точнее, спекулянта, готового дать деньги под мифические проценты от прибыли (а какая там прибыль, если тиражи – несколько сот экземпляров!). То организует с «собратьями» кооперативные издательства «Злак» или «Див», которых хватает на выпуск одного-двух сборников. Часть прибыли от «Стойла» и книжной лавки посылал родителям и сестрам, а сам при этом постоянно думал о том, как бы выгодно продать очередную книжку, вышедшую «на такой бумаге, что селедки бы обиделись», если бы вздумали завертывать их в нее, как вспоминал Лев Повицкий.

А государственное издательство смотрело на Есенина не просто косо, а скорчив откровенно неприязненную гримасу.

В конце 1919 года была зарублена книга «Звездное стойло». Редактор «всего лишь» вознамерился вычеркнуть из есенинских стихов всякие упоминания о Боге и все библейские образы. В ответ Есенин обратился с письмом в Госиздат с требованием «изъять мою книгу стихов... из списка принятых к печати, ввиду того, что она нуждается во многом исправлении и пересмотре». Пришлось вернуть и аванс – 3650 рублей.

Тогда же руководство Госиздата дало указание техническому отделу приостановить работу над сборником «Телец». К вопросу об этом сборнике в издательстве вернулись через год, и тут на первом плане выступил «старый друг» – Жорж Устинов. Его отзыв фактически поставил на книге крест.

В конце 1920 года тот же Госиздат отклонил рукопись Есенина «О земле русской, о чудесном госте» после отзыва Серафимовича: «Несомненное дарование; свое лицо, яркие образы, но все это перевешивается манерничеством, словесными фокусами, какой-то модернизированной изломанностью и, что особенно делает неприемлемым, постоянные образы религиозные, все равно, будет ли это умиление перед матерью божиею или нарочитое кощунство, вроде выдирания зубами боговой бороды. Можно выбрать часть стихотворений». Откуда взять такую «часть» при столь замечательной характеристике?

Что оставалось? Частное издательство «Имажинисты», для которого правдами и неправдами нужно было доставать бумагу, договариваться с типографиями, обходить всевозможные препоны, хитрить и изворачиваться. «...Вдруг пришлось печатать спешно еще пять книг, на это нужно время, и вот я осужден бродить пока здесь по московским нудным бульварам из типографии в типографию и опять в типографию...» (из письма Жене Лившиц).

Отсюда и жалоба, обращенная к Ширяевцу: «Заедают нас, брат, заедают...» И далее рассказ о том, что распалась крестьянская купница, и объяснение, почему она не могла не распасться.

«С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается... А Клюев, дорогой мой, – бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так под себя, под себя... Клычков же, наоборот, сама простота, чистота и мягкость... Я люблю его очень и ценю как поэта выше Орешина. И во многом он лучше и Клюева, но, конечно, не в целом. Где он теперь, не знаю».

Клычков был в Крыму, где его дважды приговаривали к расстрелу – сначала махновцы, потом белые, заподозрив в нем «красного комиссара». Оба раза спасался почти чудом. Теперь Крым был в руках красных, Клычков вышел из тюрьмы.

Клюев жил в Вытегре. Выступал на митингах, печатал статьи-очерки в «Звезде Вытегры» с проповедью сохранения духовных ценностей народа. Собирал иконы, древние рукописные книги, предметы старины... В 1920 году постановлением Петрозаводского губкома был исключен из партии за свои религиозные убеждения.

Еще за год до этого события он, охваченный предчувствием полного крушения традиционной русской жизни и культуры, писал в статье «Сорок два гвоздя»: «Где ты, золотая тропиночка, ось жизни народа русского, крепкая алмазная веревка, застава Святогорова? Заросла ты кровяник-травой, лют-травой невылазной, липучей, и по золоту – настилу твоему басменному, броневик – исчадь адово прогромыхал. Смята, перекошена, изъязвлена тропа жизни русской. И не знаешь, куда, к кому и зачем идти».

Горькое одиночество и обида на своего «жавороночка» изливались Клюевым в письмах к оставшимся немногочисленным друзьям. «На што Сергей Александрович Есенин, – писал он Миролубову, – кажется, ели с одного куса, одной ложкой хлебали, а и тот растер сапогом слезы мои. Молю Вас, как отца родного, потрудитесь, ради великой скорби моей, сообщите Есенину, что живу я, как у собаки в пасти, что рай мой осквернен и разрушен, что Сири мой не спасся и на шестке, что от него осталось единое малое перышко. Все, все погибло. И сам я иду к гибели неизбежной и беспесенной. Как зиму переживу, один Бог знает...»

Но пока до Есенина доходили эти известия, он объяснялся с Ширяевцем, пытаясь вытащить его из-под влияния духовного отца «крестьянской купницы».

«...Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же, нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого пахнет, а тебе нет...»

Однако Ширияевца не так-то легко было свернуть с избранного пути. Он дал свою характеристику есенинским метаниям в сочинении «Каменно-железное чудище», оставшемся в рукописи:

«Блудным сыном или падшим ангелом можно назвать *Сергея Есенина* — «Рязанского Леля», златокудрого, полевого юношу, загубленного Городом... Пообещав «Град Инонию», первым обитателем которого будет, конечно, Сонька с Кузнецкого моста, Сережа удалился в кафе, обсуждать вкупе с Толей и Димой план мирового переустройства... Не знаю, зрит ли Господь «словесный луг» Есенина, но думаю, что хороший хозяин и овцы паршивой на такой луг не пустит...

Не пора ли припасть опять на траву, а?.. Пророки-то не из кафе выходят... Вернись!»

Насмешки насмешками, а положение Есенина было весьма трудным. Ради внутреннего «перестроения» и выработки нового поэтического языка, которым только и можно было воплотить в стихах эту чудовищную эпоху, он ушел от старых друзей, пожертвовал своей литературной репутацией, отдав ее на растерзание газетчикам, большинство из которых не отличало его от Мариенгофа с Шершеневичем, а меньшинство проникалось жалостью при виде «загубленного таланта».

Другое дело – Александр Ширияевец. Старый друг, с которым связывают многолетняя переписка, глубинное родство душ и схожесть взглядов. Ведь Ширияевцу, как и ему, были невыносимы «руки марксистской опеки», и выражал он свое отношение к ним совершенно недвусмысленно. Писал Заволокину, составлявшему сборник рабоче-крестьянских поэтов: «Участвовать в *агитационном* сборнике и конкурировать с Демьяном Бедным и иными «пролетариями», вкушающими кремлевские пайки, я не согласен [посему] будьте добры вернуть все посланное Вам.

Я сын крестьянской полевой Руси, а не той, которая проповедуется в сферах».

Есенин переписывался с Ширияевцем с января 1915 года, впервые поэты встретились в мае 1921-го, когда Есенин в салон-вагоне в сопровождении Колобова приехал в Ташкент. Ехал через Самару, через Поволжье, где царил страшный голод.

Деревни вымирали на корню. Люди питались крапивой, лебедой... Нередки были случаи людоедства. Те, кто мог еще держаться на ногах, бросали все и уходили в другие места в тщетной надежде спастись.

Звенит-звенит разящая коса!
И люд и скот хрипят, распухнув, рядом!
Звенит-звенит разящая коса,
Несется смерть с несатым, жадным взглядом!
И вот, собрав крупницы хилых сил,
Запруживая толпами дороги,
Бегут, бегут от дедовских могил
Куда глаза глядят, куда дотащат ноги...
Молящие, больные голоса!
А смерть – за ними, с ненасытным взглядом!
Звенит-звенит разящая коса!
И люд, и скот, хрипя, ложатся рядом.

(А. Ширияевец. Из поэмы «Голодная Русь»)

Есенин приехал в Ташкент в начале мая, в праздник уразы. Его ослепило необычайно синее небо, оглушили крики ишаков и верблюдов, шум и гам восточного города, захватили великолепие красок, разноцветие базаров, одуряющий запах цветов.

«Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке, – еще совсем недавно писал Есенин Ширияевцу. – Разве ты настолько уж осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?»

Это был одновременно камешек и в клюевский огород.

«Пиши о своем» – это была главная заповедь для Есенина-поэта. Он терпеть не мог, когда поэт начинал говорить чужим голосом, когда в его стихах появлялся чуждый ему материал. Можно предположить, что до встречи с Ширяевцем в Ташкенте он однозначно отрицательно относился к «восточным мотивам» в стихах новокрестьянских поэтов. Интересное свидетельство находим мы в статье «Быт и искусство». Категорически разделяя свою поэзию и стихотворчество «собратьев по величию образа», Есенин и здесь не мог не пройти по Клюеву:

«Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни...

Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру...»

Это прямая полемика с «ориентализмом» Клюева и с его мотивами воссоединения Руси и Востока в некое единое мировое братство, нашедшими наиболее яркое воплощение в стихах 1919–1921 годов, вошедших позднее в книгу «Львиный хлеб». «Есть Россия в багдадском монисто с бедуинским изломом бровей...», «От Бухар до лопского чума полыхает кумачный май...», «Там, Бомбеем и Ладогой веющий, притаился мамин платок...», «Прозвенеть тальянкой в Сиаме, подивить трепаком Каир, в расписном бизоньем вигваме новолодожский править пир...».

И что-то начало переламываться в Есенине во время пребывания в Ташкенте и кратковременных поездок в Бухару и Самарканд. Наплывали новые мотивы, ощущалось зарождение новых образов, и он уже не так ожесточенно спорил с «осартившимся» Ширяевцем по поводу «восточных тем». Но где он продолжал оставаться непримиримым – так это в споре о Клюеве.

И немудрено. Все они словно заклинаят себя от чары смертной. И первый – Клюев. «Не размыкать сейсмографу русских кручин, Гамаюнов – рыдающих птиц красоты...» Где они, эти Гамаюны? Словно крестным знаменем себя осеняют, а того не хотят видеть, что земля ушла из-под ног. И никакие Китежи здесь не помогут.

«Александр Васильевичу Ширяевцу – с любовью и расположением. С. Есенин. Я никогда не любил Китежа и не боялся его. Нет его и не было, так же как и тебя и Клюева. Жив только русский ум. Его я люблю, его кормлю в себе. Поэтому ничто мне не страшно. И не город меня съест, а я его проглочу (по поводу некоторых замечаний о моей гибели)». Такова дарственная надпись на «Исповеди хулигана» в это же ташкентское гощение.

Так что напрасно Ширяевец зовет его, Есенина, снова «припасть на траву». Он-то ни на шаг от нее не уходил. Не на цилиндр смотри, друг. Читай лучше стихи, вот, например, это, последнее...

Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается зверенышем теплым душа.
Мне нравится запах травы, холодом
подоженной,
И сентябрьского листолета протяжный
свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать

Мудрости своей звериной,
Чтоб смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.

.....

Я значенье мое разгадал...

Слухи, в том числе и дурные, – лишь шлейф, необходимый для славы. Иное дело – то, что в душе...

С этим осознанием и писался «Пугачев».

А устные споры с Ширяевцем вылились в письмо, адресованное Иванову-Разумнику. Адресованное, но не отосланное. И едва ли Есенин думал его отсылать. Ему скорее всего просто нужен был перед глазами образ идеолога «скифов» для окончательного объяснения по всем пунктам. Само же незаконченное письмо было оставлено Ширяевцу на память.

Еще недавно в Ростове в гостях у Нины Грацианской он читал стихи и с любовью вспоминал Блока: «Очень люблю Блока. У него глубокое чувство родины. А это – главное, без этого нет поэзии...»

Но теперь речь шла не о чувстве родины, а совсем о другом. Есенин стремился выговорить то, что не выговорил Иванову-Разумнику в предыдущих письмах.

«Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал, по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев, как некогда пришибленный им, не сумел отойти от его голландского романтизма, но все-таки они, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовке всех приходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально».

Это было переложение на внятный язык тех смутных ощущений, что бродили в нем во время работы над «Пугачевым». Есенин чувствовал, что эта драматическая поэма – шаг в неведомую дотопле область, даже по сравнению с «Сорокоутом» и «Исповедью хулигана», хотя изначальный импульс – убиваемое в мире и человеке животное начало – был, по существу, тот же.

«...Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким. Я его хорошо изучил, обломал и потому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей „имажинистами“...» «Скифы» здесь – конечно же их старая литературная группа под «патронажем» Иванова-Разумника.

С «собратьями» он объяснялся по поводу «не выветрившегося духа разумниковской школы». С Ивановым-Разумником пришлось объясниться по поводу «имажинизма». И те и другие отказывались поддаваться есенинским увещаниям и не хотели верить тому, что есенинские «скифство» и «имажинизм» есть развитие оригинальной образной системы, как результат все более углубленного восприятия тайных процессов, изменяющих ощущение времени и пространства. Они не желали понимать, что учебными пособиями для Есенина были не статьи Иванова-Разумника или Зои Венгеровой и не стихи Эзры Паунда, а Библия и «Слово о полку Игореве», о котором он мог говорить часами. Есенин тщетно пытался внушить как тем, так и другим, что первые «имажи» появились в его стихах задолго до знакомства с Клюевым, Блоком и Ивановым-Разумником.

Литературные стычки с Ширяевцем чередовались в Ташкенте с несчастными выступлениями и прогулками по старому городу.

«В кинотеатре „Хива“, – вспоминал художник А. Волков, – шел фильм „Кабинет профессора Каллигари“ с Конрадом Вейдтом в главной роли. Есенин в кино не пошел. Сказал: „Надоело“. Пробовали его затащить в концерт, где заезжая певица пела „Шумит ночной Марсель“. Но он и оттуда удрал – по ногам, со скандалом. „Пустите, – говорит, – меня, не за тем я сюда приехал“. Вышел на улицу, а там верблюд стоит, склонил к нему свою голову. Есенин обнял его за шею и говорит: „Милый, унеси ты меня отсюда, как Меджнуна...“ Пришел ко мне, сел на пол в комнате возле окна и стал читать стихи: „Все познать, ничего не взять пришел в этот мир поэт...“»

А Туркестан жил своей жизнью, в которой причудливо смешивалось дыхание старого патриархального Востока с ледяным, обжигающим ветром нового времени. Ташкентскую ЧК возглавлял знаменитый Яков Петерс. Ему в открытом суде еще предстояло столкнуться лицом к лицу с человеком, жившим тогда в Ташкенте, о котором долгое время спустя рассказывали легенды, – священником и хирургом Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким.

Красные части умирляли басмачей и готовились к броску в Иран – во исполнение идеи мировой революции.

Есенин читал стихи в Ташкентском клубе Красной Армии, в Туркестанской библиотеке. Тогда он отказался читать лишь одно произведение, о котором тщательно просили собравшиеся, – драматическую поэму «Пугачев».

* * *

Блудным сыном, покинувшим родной дом в поисках свободы, ощущал себя Есенин, с горечью признаваясь, что возвращаться ему некуда, ибо сметен с лица земли родной очаг и не стало милого деревенского мира, раздавленного безжалостной железной пятой.

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Грань между жизнью и смертью практически стерта. Ибо жизнь русской деревни этих лет жизнью назвать нельзя. Право на существование «мира таинственного и древнего» можно и нужно было отстаивать только силой, только отчаянным сопротивлением.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу!

Как и ты – я, отсюда гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты – я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зареюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1 марта 1921 года восстал Кронштадт. Бастовали питерские рабочие. «Это уже нечто новое, – писал Ленин, будто бы впервые другими глазами посмотрев на страну, где большевики обладали полной властью, – это обстоятельство, поставленное в ряд со всеми кризисами, надо очень внимательно политически учесть и очень обстоятельно разобрать. Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая, с лозунгами свободной торговли и всегда направленная против диктатуры пролетариата. И это настроение сказалось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом ряде пунктов провинции».

Большевики, на практике руководствовавшиеся девизом, исчерпывающе сформулированным в одном из бухаринских писем («На Россию мне наплевать!»), испытали самый настоящий шок. «Несомненно, в последнее время было обнаружено брожение и недовольство среди беспартийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные собрания, ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (В. И. Ленин).

Речь шла не о свержении советской власти, а о свержении комиссародержавия, ибо ни о какой советской власти в 1921 году говорить уже не приходилось. Но не Кронштадт был главной опасностью. Решающий удар по всей политике военного коммунизма нанесли крестьянские выступления, в первую очередь знаменитое тамбовское восстание под руководством Александра Антонова.

Он родился в 1886 году. В 1917–1918 годах был начальником уездной милиции в Кирсанове. Член партии эсеров. В 1920 году несколько сколоченных им отрядов заняли Кирсанов. Доведенные до отчаяния мужики, обреченные на голодную смерть после того, как продотряды под защитой десятитысячного корпуса войск выгребали из амбаров все подчистую, а тех, кто оставлял себе необходимый минимум на пропитание, брали в заложники, расстреливали, живьем закапывали в землю, – стали стекаться к Антонову.

К 1921 году практически все мужское население Тамбовщины сосредоточилось в повстанческих отрядах. Крестьянская армия состояла из 18 хорошо вооруженных полков общей численностью около 50 тысяч человек, против которых были брошены регулярные части под командованием Тухачевского, Уборевича и Котовского. В основном эти части включали в себя «интернационалистов» – латышских стрелков, мадяров и других инородцев. Для подавления восставших использовалось все: начиная от превентивных угроз привести в действие отравляющие вещества и заканчивая самой настоящей оккупацией районов проживания крестьян, сопровождавшейся выжиганием сотен сел и деревень и поголовным уничтожением всего населения.

Борьба была неравной, и все же крестьянская война длилась более года – по своим масштабам она сопоставима со знаменитыми народными выступлениями прошлых лет – Болотникова, Разина и Пугачева.

Это восстание никогда бы не было подавлено, если бы перепугавшийся Ленин не поставил крест на политике военного коммунизма, приняв в марте 1921 года на X съезде

партии ключевое решение о замене продразверстки твердым налогом, который составлял примерно половину планировавшихся реквизиций. Остальное было делом времени. Крестьяне отстаивали свое право на существование и, устав воевать, постепенно покидали своего вождя. Летом 1922 года Антонов, оставшийся практически без армии, был выслежен и убит в селе Нижний Шибряй вместе со своим братом Дмитрием.

* * *

Антоновское восстание и гульба неуловимого батьки Махно, прозванного «Пугачевым», заставляли вспоминать мужицкие бунты в русской истории – с их сокрушающим размахом и роковым исходом.

Но в «Пугачеве» Есенин менее всего задавался целью написать историю восстания и рассказать о причинах его поражения. Пугачевщина стала для него стихией, перед лицом которой открывались глубинные противоречия человеческой природы. Нерв самой трагедии, ее суть – в постоянном, напряженном, непрекращающемся конфликте внутри человеческой души, в постоянных мучениях личности, не отделившей себя от природы до конца, еще представляющей собой физически и духовно одно целое с окружающим миром.

Действие «Пугачева» протекает в беспросветной мгле, в которой разыгрывают свою трагическую мистерию призраки – ожившие покровители деревьев, птиц, зверей. «Музыка трагедии» звучит в монологах действующих лиц, пытающихся разгадать тайный смысл вакханалии живых сил природы. Здесь властвует звериная языческая стихия. Все действующие лица понимают ее язык, ибо в каждом из них сохранилась та часть души, в которой находит отзвук каждое явление природы, каждый ее мистический жест. Глубокой ночью, когда призраки, словно макбетовские ведьмы, покидают свои убежища и бродят по земле, совершаются все основные моменты действия: появление Пугачева, бунт казаков, появление Хлопуши, разгром восставших и, наконец, предательство.

Природа бунтует и парализует волю к действию. Скованная ужасом толпа лишь наблюдает буйство неуправляемых сил, вырвавшихся наружу. Все, кроме Пугачева, потрясены зловещими знаменами.

Мокрую цаплей по лужам полей бороздя,
Ветер заставил все живое,
Как жаб по их гнездам, скрыться,
И только порою,
Привязанная к нитке дождя,
Черным крестом в воздухе
Проболтается шальная птица.
Это осень, как старый оборванный монах,
Пророчит кому-то о погибели вещи.

Пугачев кощунствует, уверенный в своей правоте и силе. Он рассказывает весть, услышанную от черни: призрак шествует по России, закутанный в дырявый саван, призывая к мести, как некогда призывал к ней своего сына злодейски умерщвленный король датский. Но призрак, преследующий Пугачева, не обретает первоначанного облика Петра III. Зловещий образ убитого царя предстает перед его глазами в том виде, в котором он был заключен в «смердящий гроб», как подлинный выходец с того света. Появление мертвеца – знамение гибели Пугачева и всех его сподвижников. Остается только, затаив дыхание, следить за все ускоряющимся темпом действия – приближения к роковому концу.

Тайна тюрьмы, которой не дано было касаться призраку Гамлета-отца, предстает в «Пугачеве» воочию. В течение одной сцены происходит смена ликов осени, что является в трагедии символом злого рока. Облик «старого оборванного монаха» сменяется обликом

мертвого Петра, в которого напряженно, с каким-то мрачным удовлетворением от переживаемого мистического ужаса вглядывается Пугачев.

Эта тень с веревкой на шее безмясой,
Отвалившуюся челюсть теребя,
Скрипящими ногами приплясывая,
Идет отомстить за себя,
Идет отомстить Екатерине,
Подымая руку, как желтый кол.

«Голов бурливый флот» оказывается на поверку флотом мертвецов. Возникает идея отправиться в рискованное плавание восстания на скелете «под хохот сабель», обтянуть тот скелет парусами, прежде всего парусом головы Емельяна. И он делает последний шаг к пропасти – принимает имя мертвеца. Это – кульминация трагедии.

Он бросает вызов року и миру. Добровольно залезает со своей «звериной душой» в гроб смердящий, уверяя себя и соратников, что каждое знамение, «предвещающее беду», предвещает его торжество.

Исподволь, как из рукава злого духа являются все новые и новые кошмары. Осень обретает свой новый лик, еще более страшный, чем все предыдущие:

Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и прохожих.

Это явление уже не оставляет места никаким догадкам – «все считают, что это страшное знамение, предвещающее беду...». Осень обрывает головы, как желтые листья. Заря красит ножи кровью, она льется с неба потоком крови, обрызгивая поля. Природа буйствует, как и взбунтовавшиеся россияне. В упоении возмездием они пытаются заглушить приступы страха, делают все, чтобы не чувствовать, что скоро возмездие настигнет их самих.

Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны.

Это пророчество неизбежной гибели – голос, вещающий: «Быть беде! Быть великой потере!..» Казаки не дрожали под пулями, но дрожали они, как осенние листья, при виде наваждений. Они не дорожат своими головами – они боятся *предзнаменований*. Поднявшийся вихрь закружит тех, кто вызвал его, снося с плеч их головы.

В предпоследней сцене – «ветер качает рожь» – *действие* природы вынесено в название главы. В III главе – «Осенней ночью» – бунт только начинался, и пейзаж был относительно статичен. Теперь же, после разгрома восставших, после всеобщей гибели – «ветер качает рожь», – холодный ветер со свистом гуляет по России.

Еще в самом начале трагедии звучало предупреждение, что природные знамения – пролог трагических событий. Здесь в пору воскресить в памяти шекспировский монолог Горацио, который вспоминает страшные события, предшествовавшие падению римского императора.

В высоком Риме, в городе побед,

В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
Покинув гробы, в саванах вдоль улиц
Визжали и гнусили мертвецы;
Дождь кровью шел, кометы мчались в небо,
Тускнело солнце; влажная звезда,
В чьей области Нептунова держава,
Болела тьмой почти как в Судный День.

Гибнут Хлопуша, Зарубин, печать смерти лежит и на оставшихся. Природа начинает подавать свои прежние знаки, как бы напоминая о том, что она раньше пророчила;

Посмотри! Там опять, там опять за опушкой
В воздух крылья крестами бросают крикливые птицы.

Те самые, которые метались в воздухе на Таловом уме, похожие на могильные кресты. Гибель стучит по деревьям, и укрыться от нее некуда.

Некуда?

И вот здесь мы подходим к тому, ради чего, может быть, была написана эта трагедия.

Есенин, воплощавшийся одновременно в каждом из своих героев и задававший их устами животрепещущие вопросы, всерьез волнующие его, *понимает* ту грань, которую нельзя перейти, вспомнив о своей *человеческой* сути. В такие минуты пробуждается в душе «роковая зацепка за жизнь», и перед самым концом Пугачев увидит тот же низкий месяц и «синь ночную над Доном», что и предавшие его Бурков и Творогов. Но не может он ни предать своего прошлого, ни изменить себе, не в пример Буркову, пожелавшему ради сохранения жизни вернуть все, что отдал «за свободу черни»:

Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли!
Хоть карманником, хоть золоторотцем,
Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,
Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют
в колодце.
Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечесем саду!

Кажется, что Есенин напряженно вслушивается в этот страстный монолог. Люди для поэта – «из одного сада, сада яблонь, баранов, коней и волков». В то время, когда он писал «Пугачева», ему необходимо было нащупать в плодоносной почве какой-то родственный корень, за который можно было бы зацепиться. До конца обнажил он в «Пугачеве» два противоположных полюса человеческой природы – добра и зла, света и тьмы... Но трагедия в том, что тьма наступает здесь, как положительное начало, как очищающий вихрь, тогда как свет недостижим. Чтобы достигнуть его, необходимо предать и себя, как носителя «темной стихии», и своих соратников. Рвавшиеся навстречу новой неведомой заре повстанцы слышат, что

Лишь золотом плюнет рассвет,
Вас развезят солдаты, как туш, на какой-нибудь площади.

И последнее, что видит поверженный Пугачев перед смертью, – это призрачная,

окутанная легкой дымкой картина света, умиротворения природы, гармонии, к которой стремится душа человеческая.

Поразительна душевная сила поэта, гением своим удерживающего обе стихии – «светлую» и «темную» – в равновесии.

Он берет на себя личную ответственность за *душу* каждого из своих героев: Пугачева с его стихией упоения бунтом, Хлопушу с его звериной сутью, Буркова с его жаждой жизни и даже Творогова, который не дает опомниться сомневающемуся сподвижнику – наносит ему удары в самое уязвимое место, склоняя на предательство.

Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность, как месяц в родной губернии.

Душа самой природы обретает живую плоть, и все более очевидной становится слиянность человеческого и природного существа. Поэтому и гибель Пугачева одновременно и растворение в природе, нисхождение не в ад, но в недра матери-земли, породившей и вскормившей его, и одновременно она – эта гибель – воспринимается как жестокая несправедливость по отношению к человеку, который всем своим существом рвется навстречу жизни *земной*, ощущая родство своей души и ее потаенных сил.

«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности, как живого...» В свете этих признаний «Пугачев» предстает перед нами, как лебединая песня человеческой души, где органически переплетены человекья и природная нити. В последнем монологе голос Емельяна и голос поэта сливаются в единое целое:

Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица,
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.

Это последнее, что он видит перед эшафотом, – он, не предавший прошлого, не отказавшийся от себя самого – способный понять соратников, выдавших его в руки палачей... В последних строках трагедии словно приоткрывается завеса, скрывавшая ее внутренний смысл, – обретает ясные очертания лицо, омытое пеной желтых, кудрявых волос, с синими, как чистые глубокие ледяные озера, глазами. И будто наяву слышится хриплый, срывающийся голос:

А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Далеки от истины были исследователи, пытавшиеся оценить драматическую поэму Есенина как «историческую». Не меньший, впрочем, соблазн возникает при мысли о возможности проанализировать «Пугачева» как произведение, в котором впрямую отразилось антоновское восстание. Есенин думал об этом, трижды сделал в тексте сознательные ошибки. Трижды он указывает, что мятеж подавляет не Петербург, где царствовала Екатерина, а Москва. Он настойчиво и прозрачно заменяет имперский Петербург большевистской Москвой. Во всех трех случаях ропщут мятежники:

Оттого-то шлет нам каждую неделю
Приказы свои Москва.

.....

Пусть знает, пусть слышит Москва —

На расправы ее мы взбыстрим.

И наконец, в третьем случае мятежник Караваев в ответ на реплику Пугачева о том, что нужно «крепкие иметь клыки», вздыхает:

И если б они у нас были,
То *московские* полки (выделено нами. – *Ст. и С. К.*)
Нас не бросали, как рыб, в Чаган.

Удивительно, что эту сознательную «географическую путаницу» до сих пор не заметил ни один из литературоведов.

Отголоски крестьянской войны начала 1920-х годов действительно слышатся в трагедии, и слышатся очень явственно. В монологе Буркова мы встречаемся с луной, которую «как керосиновую лампу в час вечерний, зажигает фонарщик из города Тамбова...». Да и в других монологах разгромленных повстанцев явственно слышен стон, который прокатился по Тамбовской губернии после того, как интернациональные отряды под командованием лихого командарма Тухачевского смели с лица земли несколько сотен деревень с их жителями, наводя «умиротворение» среди восставших крестьян.

Нет, это не август, когда осыпаются овсы,
Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.
Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,
Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.
Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.
Даже дождь так не смог бы траву иль солому высечь,
Как осыпали саблями головы наши они.
Что это? Кто это? Куда мы бежим?
Сколько здесь нас в живых осталось?
От горящих деревень бьющий лапами в небо дым
Расстиляет по земле наш позор и усталость.
Лучше б было погибнуть нам там и лечь,
Где кружит воронье беспокойным, зловещим
свадьбищем,
Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,
Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

Но проникнуть за оболочку поверхностных исторических или современных ассоциаций так никому и не удалось. И когда Владимир Кириллов объявил Есенину, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что он – это сам поэт (то есть имажинист), Есенин с какой-то внутренней обидой ответил: «Ты ничего не понимаешь! Это действительно революционная вещь!» Иначе говоря, вещь не просто с современным подтекстом, но совершающая кардинальный поворот в поэзии и драматургии. Пожалуй, лишь один Сергей Городецкий из писавших о «Пугачеве» указал, что трагедия эта «не для сегодняшнего дня». Все остальные отклики были предельно примитивны: «дивертисмент, где актеры декламируют есенинскую лирику», «высокоталантливый набросок», «порождение мелкобуржуазного анархизма» и так далее, и тому подобное.

– Говорят, лирика, нет действия, одни описания, – что я им, театральным писателем, что ли? Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве» – все в природе. Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт. Лирика! Да знают ли они, что человек человека зарезать может в самом наилиричном состоянии?

Есенин жаждал постановки «Пугачева» на сцене. И первым, к кому он обратился со своей трагедией, был Всеволод Мейерхольд.

* * *

Этот неутомимый театральный экспериментатор появился в Москве в августе 1920 года, а 16 сентября того же года Луначарский назначил его заведующим Театральным отделом Наркомпроса, на место отставленной от должности О. Каменевой. На этом посту Мейерхольд развернулся вовсю.

Он выдвинул лозунг «Театрального Октября», состоявший в том, чтобы в искусстве и, в частности, в театре произвести переворот, не уступающий государственному перевороту октября 1917 года, и принялся за дело с присущей ему энергией. Первой ласточкой «нового театра» стала постановка «Зорь» Верхарна.

По существу, это был непрекращающийся трехчасовой митинг на сцене, реализованный в духе и стиле, насаждавшихся Пролеткультом. Думается, представляют некоторый интерес характеристики творчества Мейерхольда и его поведения в этот период, данные Юрием Елагиным, автором в целом панегирической книги о режиссере «Темный гений».

«Актеры играли убого, беспомощно, да в этом спектакле они и не были особенно нужны, и задачи их на сцене были весьма несложны. Отчасти была осуществлена мечта Вахтангова о спектакле, в котором играет толпа. Но атмосфера революционно-коммунистического пафоса безусловно создавалась на сцене и передавалась аудитории. К искусству, как таковому, это, конечно, имело весьма мало отношения...

Еще два его спектакля оказались художественно неполноценными из-за отсутствия квалифицированных актеров, воспитанных в духе его театральной системы. Но, как и раньше бывало с ним в таких случаях, духом он не пал. Провалов и неудач бывало в его жизни так много, что, казалось, у него выработался к ним своего рода иммунитет. Создавалось впечатление, что неудачи всегда подхлестывали его творческую фантазию, заставляли его работать с удесятенной энергией...»

Суть дела была, очевидно, в том, что театральная система Мейерхольда была просто противопоказана человеческой природе, и в дальнейшем он то вынужден был ее модифицировать, то подгонял актеров под найденное решение, превращая их в бездушных кукол, что не мешало ему при этом считать себя непогрешимым.

Вот с этим режиссером и завязались дружеские отношения у «собратьев по величию образа». Вот ему-то и принес Есенин «Пугачева» для постановки вместе с Анатолием Мариенгофом, предоставившим «Заговор дураков». Прежде чем рассказать о том, как завершилась вся эта затея, следует сделать одно небольшое отступление.

* * *

Анатолий Мариенгоф впоследствии утверждал, что Есенин «бесконечно любил и город, и городскую культуру, и городскую панель, исшарканную и заплеванную». Кое-кто из друзей слышал от Есенина такое: «Ну разве можно сравнивать город с деревней! Здесь культура, а там... Дунул, и пусто». Есенин вообще был человеком, которого тянуло к себе все, не совместимое с его природой. Интересные, мягко говоря, отношения складывались у него и с городской культурой.

Он терпеть не мог кинематографа (даром что однажды в «преображенческий» 1918 год принял участие в написании киносценария вместе с Сергеем Клычковым, Михаилом Герасимовым и Надеждой Павлович). Не любил цирк (особенно удручающее впечатление на него производила «французская борьба»). Пренебрежительно отзывался об ипподроме («То ли дело табун бежит!»). Массовая эстрадная культура той эпохи (всякого рода «румынские оркестры», ресторанные певцы и эстрадные шансонетки) производила на него тяжелейшее

впечатление. Во всем этом он видел воинствующую пошлость. При этом неустанно читал книги, проглатывая огромное их количество. И не просто проглатывал – прорабатывал, извлекая из них все, годящееся для своего поэтического хозяйства.

Но те явления в искусстве, которые представляли собой деформацию привычных форм, фундаментальное искажение человеческой природы, он обозревал с интересом и каким-то затаенным любопытством, как нечто глубоко враждебное и в то же время бессмысленное: как знак эпохи крушения всего и вся до основания. Так, в картинной галерее он напряженно всматривался в картины Пикассо, о котором Сергей Булгаков писал, что, когда смотришь на его полотна, «вас охватывает атмосфера мистической жути, доходящей до ужаса. Покрывало дня, с его успокоительной пестротой и красочностью, отлетает, все объемлет ночь, страшная, безликая, в которой обступают немые и злые призраки, какие-то тени, это – удушье могилы». Сейчас же он, с тем же любопытством, что и к Пикассо, присматривался к Мейерхольду. Создавалось ощущение, что неугомонный театральный экспериментатор – тот единственный режиссер, который сумеет поставить трагедию, поистине революционную для театрального искусства.

Еще в 1920 году Есенин принял предложение Мейерхольда написать для Театра РСФСР-I драму в стихах «Григорий и Димитрий» – драму о самозванце, воцарившемся на Москве с помощью иноземных штыков, – с явным отталкиванием от пушкинского «Бориса Годунова». Драма эта не сохранилась, и мы не можем сказать, как реализовал поэт этот интересный замысел. О том, что она была в непосредственной работе, свидетельствует Иван Грузинов.

«Утро. Вдвоем. Есенин читает драматический отрывок. Действующие лица: Иван IV, митрополит Филипп, монахи и, кажется, опричники. Диалоги Ивана IV и Филиппа. Зарисовка фигур Ивана IV и Филиппа близка к характеристике, сделанной Карамзиным в его „Истории государства Российского“. Иван IV и Филипп, если мне не изменяет память, говорят пятистопным ямбом. Два других действующих лица, кажется монахи, в диалогах описывают тихую лунную ночь. Их речи полны тончайшего лиризма: Есенин из „Радуницы“ и „Голубеня“ изъясняется за них обоих. В дальнейшем, приблизительно через год, Есенин в „Пугачеве“ точно так же описывает устами своих героев бурную дождливую ночь».

А теперь поэт пришел к режиссеру с готовой драматической поэмой и приступил к чтению.

«Есенин читал мне „Пугачева“, – вспоминал через много лет Мейерхольд, – и я почувствовал какую-то близость „Пугачева“ с пушкинскими краткодраматическими произведениями. Есенин читал мне пьесу как бы в конкурсном порядке, когда предлагались и другие произведения к постановке. Он читал, так сказать, внутренне собравшись.

В этом чтении, визгливо-песенном и залихватски-удалом, он выражал весь песенный склад русской песни, доведенной до бесшабашного своего удальского выявления. Песенный лад Есенина связан непосредственно с пляской – он любил песню и гармонику. А песня, подобно мистерии, – явление народное».

Мейерхольд выделил в есенинском чтении то, что показалось ему наиболее характерным. Но многие слушатели вспоминали, как дрожь брала их, когда слышали они монологи в есенинском исполнении, в особенности монолог Хлопуши, где звериная языческая стихия трагедии была сконцентрирована с наибольшей силой.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умет,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.

Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепями дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной
верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Постановка есенинской трагедии так и не состоялась. «Пугачев» был заменен Мейерхольдом другой пьесой – «Мистерией-Буфф» Маяковского. Здесь театральный экспериментатор ощутил полный простор для своих новаций. С «Пугачевым» же ничего не вышло, да и не могло выйти.

Мейерхольд не мог не ощутить все бессилие своего творческого метода при столкновении с есенинской трагедией. Для Есенина же отказ от постановки был весьма тяжелым ударом. Позднее он попытался еще раз предложить «Пугачева» для сценического воплощения – на сей раз П. П. Гайдебурову. Но и эта попытка кончилась ничем.

Да и что было делать его трагедии и ему самому в пышном и нищем, по сути, театральном мире начала нэпа? Это его «собратья» чувствовали себя там, как рыбы в воде, они со своими пьесками, консультациями в литчасти у Таирова, в журнальчиках «Театральная Москва» и «Новый зритель» поистине нашли себя.

Когда в 1967 году Юрий Любимов принимался за постановку «Пугачева» в Театре на Таганке, неудача спектакля была как бы запрограммирована изначально. Считающий себя последователем Мейерхольда, режиссер подошел к трагедии во всеоружии с явным намерением воплотить неосуществившийся более полувека назад замысел. Но, возможно, его не постигла бы столь серьезная творческая катастрофа, если бы главным консультантом и автором сценической редакции не был бы приглашен постаревший Николай Робертович Эрдман, бывший имажинист и поставщик пьес для Мейерхольда, «расцветивший» трагедию пошлейшими сценами с императрицей Екатериной – в стиле воинствующих «антимонархистов» литературно-театральной Москвы 1920-х годов.

История с «Пугачевым» стала для Есенина еще одним камнем преткновения в отношениях с «собратьями», о чем он им открыто заявил после чтения трагедии в «Стойле Пегаса». Заслуживает внимания краткое содержание есенинской речи в изложении Ивана Грузинова.

«Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.

Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.

Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему, как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.

Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.

И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть».

* * *

7 августа 1921 года умер Александр Блок.

Незадолго до смерти он писал:

«Хотим мы этого или не хотим, уйти от этого слова некуда, потому что в России два года назад окончилась революция. Каждый день истекшего двухлетия – для нас день изживания последствий этой окончившейся революции, каждая бытовая мелочь говорит о ней же, каждый изживал эти дни по-своему – активно, пассивно, сочувственно, с ненавистью, тупо, весело, клонясь к смерти, наполняясь волею к жизни, – каждый по-своему, но все равно – с чувством ее неотступного присутствия».

В начале мая Блок приехал в Москву. Бледный, уставший, сжигаемый изнутри болезненным огнем, он читал на вечерах – в Политехническом, в Доме печати – старые, всем знакомые стихи: «Голос из хора», «Перед судом», «Седое утро». И в конце – о девушке, певшей в церковном хоре.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Кто смотрел на Блока, терзаясь от боли, кто слушал его с недоумением и с насмешкой, кто видел в нем отставшего от жизни интеллигента. И много было тех, кто не скрывал своего злорадства, глядя на «большевика» – автора «Двенадцати».

«Это же стихи мертвеца!» – раздался торжествующий вопль, как только Блок закончил чтение.

«Он прав. Я действительно мертвец», – спокойно и устало согласился Блок. Жизнь была кончена.

Вернувшись домой, в Петроград, он слег и больше уже почти не вставал. Ни дышать, ни жить в новой атмосфере он не мог.

О смерти Блока Есенин узнал в «Стойле Пегаса». Сообщение о происшедшем вызвало замешательство среди посетителей кафе. Есенин молча ушел. А когда пролетарские поэты устроили в клубе «Кузница» на Тверской вечер памяти Блока, он, ворвавшись в зал, в крайнем возбуждении крикнул:

– Это вы, пролетарские поэты, виновны в смерти Блока!

До конца он не уставал при этом подчеркивать свое преимущество перед Блоком, и не только формальное. «Блок много говорит о родине. Но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая».

Так прорывалось у Есенина отношение крестьянина к интеллигенту, в котором он улавливал определенную чужеродность. Отношение, идущее еще со времен «крестьянской купницы» и ее неприязни к «романцам» и «западникам». Все это накладывалось на демонстративное «высвобождение» из-под авторитета поэта, которого Есенин еще недавно признавал первым в России. Сейчас же «самый лучший в России поэт» должен был акцентировать внимание слушателей и читателей на том, в чем Блок ниже его самого.

Это же подчеркивание своего первородства по сравнению с поэзией Блока прозвучало и в «Манифесте», который должен был открывать книгу «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Этот же мотив прозвучит и через два года в «Предисловии» к предполагаемому собранию сочинений («Я очень люблю и ценю Блока, но на наших полях он часто глядит, как голландец...»).

С Блоком был связан у Есенина сложный комплекс ощущений. Он в дым разругался со своими «собратьями», «почтившими» Блока похабнейшим вечером под издевательским названием «Чистосердечно о Блоке», на котором прозвучало «Слово о дохлом поэте» (впрочем, после того как Блоку в лицо было заявлено, что он – мертвец, удивляться ничему не приходится). Хотя это «в дым разругался» отличалось той же непоследовательностью, как и все у Есенина в то время. Не проходит и месяца, как он подписывает совместно с Мариенгофом пресловутый «Манифест», в котором укладывает «в гроб» всех соперников на поэтической арене, и покойного Блока в том числе.

* * *

Шум и гам сопровождал «всю банду» на протяжении 1921 года. Месяца, пожалуй, не проходило, чтобы не разыграли «великолепные» какую-нибудь очередную историю.

Однажды в начале лета с помощью девушек, добровольных помощниц – Гали Бениславской, Ани Назаровой, Яны Козловской, – развесили ночью на московских изогнутых улицах так называемое «Обращение имажинистов» с совершенно издевательским вступлением:

«Имажинисты всех стран, соединяйтесь!
Всеобщая мобилизация
поэтов, живописцев, актеров, композиторов,
режиссеров и друзей действующего искусства».

Тут уже, в отличие от истории с переименованием улиц, дело так просто не обошлось.

Друзей пригласили в ВЧК и ясно дали понять, что если они не отменят сию мобилизацию, то незамедлительно будет закрыта их «Ассоциация», а соответственно они лишатся кафе и книжной лавки, не говоря уже о невозможности в будущем издания книг. Мобилизацию пришлось отменять прямо на Театральной и распускать взбудораженную толпу молодежи, требующей стихов.

Не успели стихнуть разговоры об этом достопамятном событии, как литературная Москва вновь была взбудоражена очередным скандалом, разразившимся между имажинистами и наркомом просвещения Луначарским.

Нарком все время пытался сидеть на нескольких стульях сразу: то расхваливал на все лады футуристическую братию, то солидаризировался с разрушителями из Пролеткульта, то хватался за голову и начинал бомбардировать Ленина письмами, в которых настаивал на необходимости сохранения культурных ценностей. Потом опять пожимал руки «революционерам в области духа», а ознакомившись с их творениями, приходил в ужас (все это вместе взятое называлось «культурной политикой» и «бережным отношением к художникам»).

Ознакомившись с последними имажинистскими публикациями, Луначарский разразился статьей «Свобода книги и революция», в которой назвал имажинистов «шарлатанами, желающими морочить публику... среди которых есть талантливые люди, но которые как бы нарочно стараются опаскудить свои таланты...». Еще раньше в «Известиях» появилось письмо Луначарского, касающееся книг, «выпущенных за последнее время так называемыми имажинистами», которые «при несомненной талантливости авторов представляют собой злостное надругательство и над собственным дарованием, и над человечностью, и над современной Россией».

Речь шла о сборнике «Золотой кипяток», посвященном «Сакше», то бишь А. Н. Сахарову. Здесь нарком мог ознакомиться с есенинской «Исповедью хулигана» со знаменитой «луной», а также насладиться мариенгофским словотворчеством.

Но окончательно добило слабонервного наркома «Перемирие с машинами» Шершеневича.

Друзья ремингтоны, поршни и шины,
Прыщи велосипедов на оспе мостовой!
Никуда я от вас, машины,
Не уйду с натошак головой!

.....

Оторву свою голову пьяную,
И, чтоб мыслям просторней кувырк,
Вместо нее я приделаю наново
Твой купол, Государственный Цирк.

И на нем прической выращу
Ботанический сад и лысину с прудком,
А вместо мочевого пузыря
Мытищинский водоем.

.....

Рот заменю маслобойней,
Ноги ходулями стоэтажных домов,
Крышу надвину набекрень спокойней
И новый царь Давид готов.

И так далее. Про жажду «ласк супруга с заводской машиной» мы уже говорили.

Луначарский был в бешенстве. Можно сказать, оскорблялось его достоинство как почетного председателя Всероссийского союза поэтов...

«Так как Союз поэтов не протестовал против этого проституирования таланта, вывалянного предварительно в зловонной грязи, то я настоящим публично заявляю, что звание председателя Всероссийского союза поэтов с себя слагаю».

А как насчет футуризма и поэта «ста пятидесяти лимонов», Анатолий Васильевич? Откуда вдруг такая стыдливость? Чем «Золотой кипяток» с Шершеневичем хуже? Уж признавать, так всех!

«Мастера ЦК ордена имажинистов» приняли вызов и ответили соответствующим образом:

«1. Наркому Луначарскому – или прекратить эту легкомысленную травлю целой группы поэтов-новаторов, или, если его фраза не только фраза, а прочное убеждение, – выслать нас за пределы Советской России, ибо наше присутствие здесь в качестве шарлатанов и оскорбительно для нас, и не нужно, и вредно для государства.

2. Критику же Луначарскому – публичную дискуссию по имажинизму, где в качестве компетентных судей будут приглашены проф. Шпет, проф. Сакулин и др. представители науки и искусства».

Составлял это письмо Шершеневич, и понятно, что имена Шпета и Сакулина не были взяты им с потолка: личное близкое знакомство с ними Вадима и предварительная обработка могли обеспечить победу в грядущей дискуссии.

Интересен первый пункт обращения с озадачивающей фразой: «Выслать нас за пределы Советской России».

Эпатаж? Издевательство? Над кем и над чем?

Подобный способ расправы с «шарлатанами, вредными для государства», еще не вошел в практику режима. По меньшей мере год оставался до того дня, когда будет снаряжен «философский пароход», на котором 160 философов, писателей, ученых будут отправлены в вечное изгнание. Так дразнил Шершеневич Луначарского, или, чувствуя общую атмосферу, предугадывал неизбежное?

Так или иначе, это была игра с огнем. Другое дело, что имажинисты в том виде, в каком они существовали, никому не были опасны и прекрасно вписывались при всех своих скандалах, объяснениях в ВЧК и перепалках с ругающимися критиками в «культурную обстановку» Советской России тех лет. Самой громкой, скандальной и подчеркнута аполитичной группе можно было простить многое, время от времени огревая ее по затылку, а потом с иронической улыбкой выслушивая очередной протест. Чем больше грязи и разгрома вокруг – тем лучше.

А нервы товарища Луначарского – это его личное дело. Пусть сам объясняется. Он и объяснялся.

На этом все затихло. Но ненадолго. Следующий скандал произошел на заседании пролетарских писателей в ЛИТО, куда явился Есенин, посидел, послушал, а потом вышел на сцену.

– Здесь говорили о литературе с марксистским подходом. Никакой другой литературы не допускается. Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчали! Сколько же еще вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет...

Возмущенные крики перебивались насмешками: ну чего еще можно от него ждать? Репутация известная: мало того, что имажинист, еще и хулиган в быту и в поэзии. Знаем мы, дескать, друг, и твой «кистень в голубой степи», и «мерина», и «Исповедь хулигана» с «луной»...

Чего он добивался? Неужели рассчитывал, что поймут смысл написанного и сказанного?

Пожалуй, ясно отдавал себе отчет в том, что слава «первого русского поэта» неотделима от славы «хулигана и скандалиста». Одно, увы, тогда было невозможно без другого. И приходилось тащить за собой этот черный шлейф, да так, чтобы никто из окружающих не понял, насколько тебе все это осточертело.

Он с упоением перечитывал в те дни Гоголя и с затаенным ужасом находил полное подтверждение его прозрений в окружающей жизни. О какой, к черту, революции здесь можно говорить? Вокруг все тот же Миргород со знаменитой лужей и достопамятной свиньей, таскающей с казенного стола важные бумаги. Только лужа полна крови, и кровавые капли стекают со свиных клыков. Вокруг все те же «прекрасные» Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, готовые глотку перегрызть друг другу из-за очередного «гусака», и катит по России бессмертный Чичиков, торгующий мертвыми крестьянскими душами. Блуд на крови. Лиц человеческих не видно – сплошные свиные рыла кругом...

Поистине легче в кабаке, чем среди этой замечательной публики.

Он и отправлялся с друзьями-приятелями в кабак, в какую-нибудь тайную забегаловку, где в эпоху «сухого закона» можно было разжиться спиртом и хорошей закуской.

Во время одного такого визита на квартирку у Никитских ворот к Зое Петровне Шаговой веселая компания наткнулась на сотрудников ВЧК. По сигналу о тайной нелегальной сходке «контрреволюционеров» чекисты явились к Шаговой и обнаружили, что никакой «контрреволюцией» там и не пахло. Просто этот притон частенько посещали разного рода дельцы и спекулянты, которые за ромом и бургундским обдывали свои делишки, торговали золотом и драгоценностями. Всех посетителей, включая и поэтов вместе с сопровождавшим их Гришей Колобовым, забрали в кутузку. Колобов, размахивая своим

мандатом, пытался убедить чекистов, что они не имеют права арестовывать «ответственного работника». Конечно, ничего из этого не вышло, друзьям пришлось не просто провести ночь на нарах – один из чекистов-латышей заставил поэтов мыть камеру.

Покидая тюремный двор, Есенин услышал позади себя: «Сережа!» Оглянулся. В тюремном окне мелькнуло женское лицо, глаза неподвижно смотрели на него. Он улыбнулся, махнул рукой. Старая знакомая! Мина. Мина Свирская... Еще совсем недавно он провел ее за руку в Политехнический, где читал «Сорокоуст»... Потом встретил случайно на улице, когда бежал в типографию... Вот где довелось свидеться! Милая подружка. Девочка-эсерочка. Что ждет ее теперь?

После освобождения Есенин пил на квартире в Богословском, стремясь унять боль. Напевал популярную бандитскую песенку: «В жизни живем мы только раз, когда отмычки есть у нас...» Потом переходил на частушки собственного сочинения: «Эх яблочко да цвету ясного, есть и сволочь в Москве цвету красного...» Вдруг замолкал, опускал голову, о чем-то мучительно про себя думал.

«Только раз ведь живем мы. Только раз...»

Шел в «Стойло Пегаса», как всегда, откалывал очередные номера. Одному дельцу, громко ругающему выступавших, опрокинул на голову тарелку с соусом. В другой раз отказался выступать, вызвав негодующий рев в зальчике. Знал, что в «Стойле» его ждут с нетерпением: либо Есенин устроит скандал – хоть и небезопасно, а будет на что посмотреть, потешить нервы. Либо начнет читать стихи – тоже зрелище из незабываемых.

На эстраде танцевали приглашенные актрисы. То «Цыганская венгерка» заставляла замирать слушателей в сладкой истоме, то Сандро Кусиков выскакивал со знаменитой гитарой и пел под всеобщий восторг романсы на свои слова.

Слышу звон бубенцов издалика, —
Это тройки знакомой разбег...
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег...

* * *

– Жизнь моя с авантюристической подкладкой, но все это идет помимо меня...

Слышавшие от Есенина эту фразу едва ли понимали, о чем идет речь. А между тем «авантюристическая подкладка» была отнюдь не «стойлопегасовского» и не «хулиганского» происхождения.

Стычки, скандалы, объяснения – все это лишь сцена, которую наблюдают окружающие, создающие поэту соответствующую репутацию. Суть была в другом.

Соответствие своим жизненным и поэтическим жестам Есенин неустанно искал и находил в сюжетах, разработанных и воплощенных классиками. Оценивая его жизнь, нельзя не прийти к мысли, что он достиг того, чего тщетно добивались символисты, срачивая в органическое целое жизнь и поэзию, не подменяя одно другим. Это единство просматривалось в нем еще в юности, когда он только ступал на литературный путь. Причем оно никогда не лежало на поверхности, как казалось многим, оно обреталось в глубине души, создавая ощущение бездонности, неисчерпаемости написанного.

Слышавшим его сиюминутные литературные оценки казалось, что они присутствуют при описании круга есенинского чтения. Между тем каждое из названных имен было для Есенина принципиально важным именно в данный момент.

Так, в беседе со Старцевым он проронил:

– Ставрогин – бездарный бездельник. Верховенский – замечательный организатор.

Многое тут вспоминается: разрубание в 1919 году иконы на щепочки для самовара – реализация на деле цитаты из Достоевского. И старые угрозы времен «Инонии» – «Языком

вылижу на иконах я лики мучеников и святых», – отозвавшиеся в одном из клюевских стихотворений, навеянном рассказами о есенинском богохульстве и строчками «Дневника писателя»:

Блузник, сапожным ножом
Раздирающий лик Мадонны, —
Это в тумане ночном
Достоевского крик бездонный.

И ныряет, аукает крик —
Черноперый, колдующий петел,
Невестной Матери лик
Предстает нерушимо светел.

.....

И звенит Достоевского боль
Бубенцом плакучим, поддужным...
Глядь, кабацкая русская голь
Как Мадонна, в венце жемчужном!

И хорошенький, однако, контраст: «бездарного бездельника» и «замечательного организатора»... Так и напрашивается сопоставление «замечательных организаторов» на политических ступенях и в литературном окружении с «бездарным бездельником» Ставрогиным, который соблазняет молоденьких девочек да приводит в шок благородное собрание, вцепившись генералу зубами в ухо...

Много их было, почитавших Есенина за некое ставрогинское подобие... А еще больше тех, кто видел в нем хулигана от безделья. Интересный в этом смысле вышел разговор с поэтом Николаем Полетаевым.

– Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил?

– А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?

– Конечно.

– Так если он и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам. Знаешь, как он работал?

– А я не работаю?

У Есенина даже губы задрожали от обиды.

– Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.

Он писал в это время на ходу, во время прогулок... Его видели праздношатающимся, сидящим за кафежным столиком, запоминали влипающим в очередную историю... Лишь единицы запомнили сжатые губы, ничего и никого не видящие глаза, нечленораздельное мычание, раздававшееся в такт походке, из которого вдруг выплывали отдельные слова. Иной знакомый, встречающий его в переулке, обращался с сакраментальным вопросом:

– Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?

– Всегда.

Постепенно из неясной музыкальной волны рождались слова, сливающиеся в стихотворные строки.

Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово.
В черной луже продрогший фонарь
Отражает безгубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колокольня
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты – будешь сытым.
Коль несчастен – то весел и рад.
Только лишь не гляди открыто,
Мой земной неизвестный брат.

Первое, что вспоминается здесь, – блоковское «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь...». Но, отвлекшись от первого впечатления, прозреваешь гоголевский Невский проспект с его газовыми фонарями, что зажигает дьявол, дабы показать все в ненастоящем виде, проспект, лгущий во всякое время года... Только интонационно стихотворение больше схоже не с гоголевской фантазией, а с «ржавой мретью» Достоевского в «Неточке Незвановой» и «Преступлении и наказании».

Есенин «шатался», как «шатались» герои Достоевского по сумрачным, неприветливым улицам, снедаемые раздражающими мыслями или одной пламенной страстью. «Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь», – писал он Мариенгофу. Этот взгляд внутрь себя помогал собрать части разорванного целого, но он же обнаруживал тот душевный перелом, когда всерьез думалось о невозможности дальнейшего бытия на этой земле.

Только сердце под ветхой одеждой
Шепчет мне, посетившему твердь:
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть».

Это в душе, в стихах... А в обыденной жизни возможность подобного исхода неизменно предстала в трагикомическом, если не в совершенно смешном виде.

Из письма Л. Повицкому 1919 года:

«Милый Лев Осипович! Как вы поживаете? Али так, али этак? Кому повем печаль мою?..

Сколько раз я зарекался по той улице ходить!

Я живу ничаво, больно, мижду прочим, уж тижало, думаю кончать...

Жить не могу! Хочу застрелица... А револьвера убежал на улицу.

Так прыгает по коричневой скрипке

Вдруг лопнувшая струна².

Гостин. «Европа». 66. С. Есенин».

Память услужливо подбрасывает и «пистолет юнкера Шмидта» из письма к Евгении Лившиц, и приветствие поэта, обращенное к даме во время знакомства: «Свидригайлов!», и

² Стихи В. Шершеневича. (Прим. авт.)

кличку «Алеша Карамазов», которой Есенина встретили крашенные «юрочки» в литературном Петрограде. Карамазовское находило свое место в душе поэта, пусть занимало в ней сравнительно небольшую нишу, но временами, повинувшись настроению, в полной мере выплескивалось наружу.

Спасал и приводил в чувство Гоголь. Благодаря ему открывались новые источники жизненных сил, уходили мрачные мысли, рождалось ощущение самоценности жизни, независимой от окружающей мерзости.

– Я у него все люблю... Начнешь читать – и весь мусор с души сдувает!

«Это теперь мой *единственный* учитель», – говорил Есенин, с любовью поглаживая корешки гоголевского Собрания сочинений. Перелистывая «Мертвые души», он отыскивал строчки, идеально соответствующие его нынешнему состоянию.

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строенье, все, что носило только на себе впечатленье какой-нибудь заметной особенности, – все останавливало меня и поражало... Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользнет теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..»

Равнодушный взгляд на «пошлую наружность» убитой русской деревни обнаружит себя позже, и не в стихах, а в публицистике и в устных разговорах. Теперь же появляется впервые и набирает звук нота, услышанная им у Гоголя, по которой в дальнейшем он и будет настраивать свою лиру.

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Каждая строфа этого стихотворения звучит по нарастающей, и когда кажется, что после «буйства глаз и половодья чувств» ничего сильнее не скажешь, вдруг следует образ всадника, знакомый нам по стихам о «чудесном госте», который под воздействием некоего волшебного жеста оживает сейчас, обретая черты самого поэта.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

В 1918 году Есенин, восторгаясь Гоголем, находил соответствие окружающей жизни

образу птицы-тройки, даром что несущей в бичке Чичикова, но поражающей силой и удалю своего полета... «Дымом дымитесь под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!..» Познав на себе, что значило это «наводящее ужас движение», и «неведомую силу» птицы-тройки, разметавшей по кочкам всю прежнюю жизнь, Есенин ищет в Гоголе ответа на иной вопрос: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?» Связь эта отыщется им в том измерении, о существовании которого догадывается человек, но ни определить, ни назвать его не в состоянии.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

Но был среди современников Есенина человек, любивший Гоголя не меньше его самого: Андрей Белый. И Есенин жадно впился в его прозу.

В «Серебряном голубе» Белого Есенин наслаждался не только ритмом, строением фразы, перебивками основного сюжета лирическими отступлениями – всем тем, что находил у любимого Гоголя. Он видел в нем мучившее его разложение гоголевского прекрасного мира, где каждое уродство составляло одно целое с цветущей природой, с загадочной и таинственной Русью... Теперь же дисгармония мира усиливается с каждым движением внутри его, и столь знакомый по Гоголю музыкальный мир провинциальной Руси начинает звучать с неслыханным доселе надрывом, словно что-то случилось с таинственной струной, звучащей в тумане, и доносится до человеческого слуха дребезжащий, режущий душу звук.

«...Не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью: этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на богатство соседа, на его глянцевиные со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради, а сосед: – нос задерет сосед, руки в карманы; и обидно: сердце горит, указывает обороняться: не фря ведь какая: сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами спит, не у чужого; так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая: непотребное слово на соседском заборе выведет или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутой иглою; пес подохнет – и вся тут, а соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать да подпаливать, доносами изводить: глядишь – один другого пеплом развеет по ветру.

А с чего бы?»

Кажется, единственное душевное пристанище в этом мире можно найти среди братьев-голубей, совершающих свои радения в ожидании дня, «когда родится царь-голубь – дите светлое», «и поющих, и преображающихся, и, сдается, преображающих мир вокруг себя...».

В Дарьяльском – герое романа «Серебряный голубь» – Есенин видел многое, близкое себе самому. В Дарьяльском, которому разобьют голову кроткие сектанты, а потом в «переливах радуги воздушной» со светлыми ликами понесут его хоронить, а впереди пойдет женщина с распущенными волосами, неся все то же изображение голубя – символ духа и святости – в руках.

Есенин с жадностью глотал страницы романа, угадывая в Дарьяльском и себя, на гибель свою отдавшегося буйному вихрю, гуляющему по опустелым полям милой и ненавистой России – кровью умытой...

«Дикой красой звучали его стихи, тьму непонятным заклинающие заклятьем в напоре бурь, битв, восторгов. И, сковывая эти бури, битвы, восторги, – он насильно обламывал их

ухарством – и далее: побеждал ложное, но неизбежно отламываемое ухарство византийством и запахом мускуса: но – о, о: запах крови дымился над запахом мускуса.

И этот путь для него был России путем – России, в которой великое началось преображение мира или мира погибель...»

Традиционный русский быт и бытие русской природы, в самых неуловимых тонкостях воплощенные Гоголем, Есенин вновь увидел в прозе Андрея Белого, сравнения с которым в его глазах не выдерживает ни один из ныне живущих писателей:

«Мария – это церковный день святой Марии, а „зажги снега“ и „заиграй овражки“ – бытовой день, день таянья снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие в России. Это близко только Андрею Белому. Посмотрите, что пишет об этом Евгений Замятин в своей воробьиной скороговорке „Я боюсь“ № 1 „Дома искусств“».

Это Есенин писал Иванову-Разумнику из Ташкента.

Он не принимал истерического страха Замятина перед жизнью и противопоставлял ему гоголевскую веру в Россию, пускай даже в интерпретации Андрея Белого.

«Я боюсь, что у русской литературы останется только одно будущее – ее прошлое...» – Есенина возмутила эта эффектная фраза Замятина. Так ли, Евгений Иванович? Белый все понимает куда лучше вас, когда пишет о неразрывной связи Гоголя с Россией завтрашнего дня...

Года не проходит, как Есенин пишет новое письмо Разумнику, где намеренно подчеркивает ту же мысль: «Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда. Вероятно, после пожара всегда так бывает. С тоски перечитывал „Серебряного голубя“. Боже, до чего все-таки изумительная вещь. Ну разве все эти Ремизовы, Замятины и Толстые (Алекс.) создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним. А какой язык, какие лирические отступления! Умереть можно. Вот только и есть одна радость после Гоголя».

Но Есенин не был бы Есениным, если бы в переписке с Разумником не предъявил бы свои претензии и к Белому, из которого следует «выбить Штейнера» и которому следует сделать выволочку за то, что тот в «Записках мечтателей» в статье «Рембрандтова правда и поэзия наших дней» в самых восторженных тонах оценил стихи Владислава Ходасевича. «Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом... Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил. Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем».

Проведя три года в накуренной имажинистской богадельне, немудрено стосковаться по свежему воздуху. Узнав об издании книг под маркой «Скифов» в Берлине, Есенин с радостью сообщает в этом же письме от 6 марта 1922 года: «Журналу Вашему или сборнику обрадовался тоже чрезвычайно. Давно пора начать – уж очень все мы рассыпались, хочется опять немного потесней „в семью едину“, потому что мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией...» Это первое подобное откровенное и резкое признание в частном письме за все время существования ордена «великолепных».

Ни черта не поняли его «собратья» ни в «Быте и искусстве», ни в «Пугачеве», ни в последних стихах. Налипли на ногах, как комья грязи, и тащит он их на себе уже по привычке.

Как все же ни относишься к идеологии «скифства», а достаточно сравнить нынешнюю есенинскую компанию – Андрей Белый, Иванов-Разумник, Клюев, Ремизов – с прежней – и Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев... Понятно, среди последних он – звезда первой величины. Но до чего же осточертело светить на их фоне, когда знаешь себе *подлинную* цену!

И все же не сцепиться с Разумником он не мог даже сейчас. И яблоко раздора все то же, родное, знакомое, любимое и ненавистное одновременно... Старый далекий друг, Николай Клюев...

* * *

В начале 1922 года в петербургском издательстве «Эпоха» вышла отдельным изданием небольшая поэма Клюева «Четвертый Рим».

Вещь эта писалась в состоянии черного отчаяния, что наложило отпечаток на каждую ее строку. Здесь максимальной концентрации достигают и мотивы предыдущей клюевской книги – «Львиный хлеб», и с предельной (точнее, запредельной) отчетливостью выражена вечная клюевская антитеза – «земля – железо». Всю поэму пронизывает ощущение полной выбитости из колеи и потери всяких надежд на возрождение крестьянского рая – «Четвертого Рима». Пытаясь переломить это настроение, Клюев концентрировал образы, сгущал их, устроив в поэме настоящий «пир плоти», столь не любимый Есениным, а также заложил в ее содержание горчайший антиесенинский заряд.

Клюев отталкивался от статьи Иванова-Разумника «Третий Рим», опубликованной еще в октябре 1917 года: «И с новым правом повторяем мы теперь старую формулу XVI века, только относим ее к идее не автократии, а демократии, не самодержавия, а народодержавия...» Душа Клюева болела при одной мысли о том, как они некогда едины были с Есениным, исповедуя эту идею. И нестерпимой была горечь обиды оттого, что «словесный брат» так и не внял «стихам – берестяным оленям»... Горечь эта вдвойне усилилась после прочтения есенинской «Исповеди хулигана».

Ничего Клюев не увидел в этой поэме, кроме «цилиндра и лаковых башмаков». «Исповедь» стала для него свидетельством окончательного отречения Есенина от «крестьянской купницы», и все свое раздражение, весь жар полемики Клюев вложил в антиесенинскую инвективу, в противопоставление есенинским «башмакам» своего, первородного, земного, крестьянского мира... которого уже не было. Еще в 1920 году он писал Сергею Городецкому: «Жизнь моя старая, личная сметена дотла. Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше – разинское, самосожженческое, от великого Выгова до тысячелетних индийских храмов гремящее. Но кто выживет пляску земли освободительной?!» Теперь же, сердцем понимая, что ему не выжить этой «пляски», Клюев заново пытается построить крестьянский мир на развалинах в его первоизданном виде, отпуская проклятия некогда любимому брату.

Не хочу быть знаменитым поэтом
В цилиндре и в лаковых башмаках.
Предстану миру в песню одетым,
С медвежьим солнцем в зрачках,
С потемками хвои в бородище,
Где в случке с рысью рычит лесовик!
Я сплел из слов, как закат, лаптище
Баюкать чадо – столетий зык.

.....

Не хочу цилиндром и башмаками
Затыкать пробойну в барке души!
Цвету я, как луг, избяными коньками,
Улыбкой озер в песнозвонной тиши.
И верен я зыбке плакучей родимой,
Могилушке маминой, лику гумна;
Зато, как щеглята, летят серафимы
К кормушке моей, где любовь и весна.

.....

Не хочу быть лакированным поэтом
С обезьяньей славой на лбу!
С Ржаного Синая багряным заветом
Связую молот и мать-избу.
Связую думы и сны суслона
С многоязычным маховиком...
Я – Кит Напевов, у небосклона
Моря играют моим хвостом.
Блюду я, вечен и неизменен,
Печные крепки, гумна пятау.
Пилою-рыбой кружит Гсенин,
Меж ласт родимых ища мету.

И в эту дисгармоническую, раздирающую уши симфонию вплетается «распутинский» мотив. Давние встречи с Распутиным ожили в памяти Клюева и окончательно разбередили душу, ибо нестерпимой была для Клюева сама мысль о том, что не он, а ненавидимый им «старец Григорий» явился посланцем в Питер от глубинных недр Руси, дабы внести смуту в покои Романовского дома.

Я вскормлен гумном, соловецким звоном,
Что вьет, как напевы, гнезда в ушах. —
Это я плясал перед царским тронном
В крылатой поддевке и злых сапогах.
Это я зловещей совою
Влетел в Романовский дом,
Чтоб связать возмездье с судьбою
Неразрывным красным узлом.

«Четвертый Рим» произвел ошеломляющее впечатление на читающую публику. Похвалы чередовались с ругательствами и недоумением. А Иванов-Разумник не выдержал потрясения и разразился хвалебной статьей. «...Осознавший свою силу Илья Муромец размахивается в последних своих стихах и бьет, как в былинах, „по чем попадя“. Самонадеян захват поэмы, но Клюев – имеет право на самонадеянность: силач! Техникой стиха его недаром восторгался Андрей Белый... торжественной песнью плоти является вся первая часть „Четвертого Рима“...»

Прочтя статью, Есенин дал ей достойную отповедь, ибо раздражила его даже не столько «торжественная песнь плоти», которую он никогда в Клюеве не переносил, но редкая для Клюева слабость и неубедительность самой поэмы, когда нагромождение образов, затемняющих смысл, неожиданно оказывается сопоставимым с надоевшими до чертиков опытами «собратьев» по воинствующему ордену... Есенин писал:

«Чужда мне и смешна, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит.

«Рим» его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. «Молитв молоко» и «сыр влюбленности» – да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими «бутербродами любви». Интересно только одно фигуральное сопоставление, но увы, – как это по-клюевски старо!...»

В декабре 1921 года близкий друг Клюева редактор вытегорской газеты Николай Архипов был командирован в Москву на Всероссийский съезд Советов делегатом от Олонецкой губернии. Он вез с собой специально переплетенный цикл стихов Клюева

«Ленин» из второго тома «Песнослава» с дарственной надписью вождю и письмо для Есенина, получив которое, поэт ответил коротенькой запиской:

«Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы, и то, что пишу так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и отчего болею. А о тебе я всегда помню, всегда ты во мне присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятней выразить все это без письма...»

Увидеться им довелось не скоро. Вернувшийся назад Архипов рассказал Клюеву о том, о чем шумела, гудела и сплетничала вся Москва. О переезде Есенина на новое место жительства. В Балашовский особняк на Пречистенке. В дом, где поселилась недавно приехавшая в Москву мировая знаменитость – американская балерина-босоножка Айседора Дункан.

* * *

Она приехала в Россию 24 июля 1921 года в сопровождении ученицы и приемной дочери Ирмы, а также камеристки Жанны. Приехала «по приглашению Советского правительства».

Вот как писала она об этом в своих воспоминаниях:

«Весной 1921 года я получила телеграмму от Советского правительства:

«Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам. Мы создадим вашу школу».

Откуда пришло это обращение? Из ада? Нет – но из ближайшего от него места, которое для Европы заменяло собою ад, – от Советского правительства, из Москвы. Я ответила:

«Да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы...»

По дороге в Россию у меня было чувство, словно душа, отделившись после смерти, совершает свой путь в новый мир. Мне казалось, что я покинула навсегда все формы европейской жизни. Я в самом деле верила, что на земле каким-то чудом создано идеальное государство, о котором мечтали Платон, Карл Маркс и Ленин. Со всей энергией своего существа, разочаровавшегося в попытках достигнуть чего-либо в Европе, я была готова вступить в государство коммунизма...»

Если отвлечься от напыщенной риторики, то окончание воспоминаний балерины представляет немалый интерес.

Это было ее пятое путешествие в Россию. Путешествие, кардинально отличавшееся от всех предыдущих.

Буржуазной Европе после Первой мировой войны все надоело. Не нужна ей уже была и полузабытая, стареющая, отяжелевшая босоножка. Приезд Айседоры в Россию был ее последним шансом продлить свою артистическую жизнь. С другой стороны – Айседора была козырной картой в игре кремлевских идеологов. Готовясь к изгнанию своей национальной элиты – к высылке философов, экономистов, писателей, не желающих сотрудничать с властью, теряя Шаляпина, Горького, Анну Павлову, Сергея Лифаря, Нижинского, кремлевские мудрецы судорожно старались не ударить в грязь лицом перед Европой. Им в скором времени надо было выходить на переговоры с Западом, появиться на Генуэзской конференции, но не варварами, а просвещенными строителями новой культуры. Положение свое в этой области они оценивали как благоприятное, потому что русофобствующий Запад (они это знали) никогда не будет гневаться на них за изгнание значительных фигур, связанных с тысячелетней Россией, с ее имперским блеском... Западу эта тысячелетняя Россия была чужда и враждебна даже в большей степени, нежели большевистская.

Да Запад и не заметит изгнания всяких Ильиных, Бердяевых, Булгаковых, Карсавиных, Лосских... Зато он заметит и оценит приглашение в Россию Джона Рида, Герберта Уэллса, Арманда Хаммера, Айседоры Дункан...

Кто был инициатором приглашения Дункан? Красин? Подвойский? Луначарский? Впрочем, так ли это важно? Важнее другое: телеграмма эта пришла вовремя.

Существует версия, что эта телеграмма – не что иное, как легенда, изобретенная Айседорой... Так или иначе, не будем гадать...

Успех Дункан в Европе был чрезвычайно кратковременным. Ее публичные выступления против классического балета, ее «концепция танца будущего», как «движения дикаря, живущего на свободе в теснейшей связи с природой», и призывы к «добровольной нагоде зрелого человека, тело которого будет гармоническим выражением его духовного существа», ее «оживление» в танце застывшего движения древнегреческих скульптур – все это вызывало взрыв любопытства, естественной тяги к непривычному, провоцирующему на спор, скандал... Она была, бесспорно, талантливейшей женщиной, поглощенной «одной, но пламенной страстью», одержимой своей идеей обновления балета. Западная публика, как всегда, клевала на все свеженькое, а потом быстро охладевала. Кроме того, возраст брал свое. В 1921 году Айседоре было уже 43 года.

Оказавшись к весне того года буквально в мертвой точке, ощущая свою ненужность, пережив трагическую гибель детей, брошенная всеми знаменитыми мужьями и последним любовником, Дункан сходила с ума от одиночества и находилась, как можно судить по ее воспоминаниям, на грани самоубийства. Приглашение в Советскую Россию (если оно было) явилось для нее истинным спасением.

В памяти ее возникали картины прежних приездов в Россию, и особенно первого – в декабре 1904 года. Ее любовь к России всегда была обостренной и только усиливалась с годами, а Октябрьская революция стала для нее воплощением силы, способной перевернуть мир и придать ему новые формы, которые она тщетно искала на сценах парижских, берлинских и лондонских театров.

* * *

Для танцевальных опытов и обустройства грандиозной школы танца ей поначалу был обещан... храм Христа Спасителя. Святое место для русского человека должно было стать языческим капищем, местом радений босоногих вакханок.

К счастью, из этого ничего не вышло. Для начала Дункан с домочадцами разместили в квартире балерины Екатерины Гельцер, а потом переселили в особняк на Пречистенке, приставив к танцовщице в качестве переводчика и соглядатая некоего Илью Шнейдера, который через много лет будет выступать на многочисленных литературных вечерах и публиковать пространные «мемории» в качестве одного из главных «вспоминателей» о Есенине. Шефство над Дункан по линии Советского правительства взял по личному поручению Ленина Н. И. Подвойский.

Жизнь Дункан – это жизнь, полная авантюры и приключений. Но то, что ждало ее в возлелеянном в мечтах коммунистическом раю, не идет ни в какое сравнение с предыдущими десятилетиями.

Ей была обещана школа на тысячу детей. А пришлось довольствоваться полусотней ребятишек в бывшем особняке балерины Балашовой. Надо сказать, что и это было роскошью в то время, когда квартиры в Москве ежедневно уплотнялись, лишь один из четырех жителей мог рассчитывать на получение угла, не говоря уже о тысячах беспризорников, бродящих днем и ночью по городу.

Быт Айседоры Дункан на Пречистенке вообще стал предметом самых фантастических сплетен и разговоров по всей Москве. Вызывающее и демонстративное роскошество дома, в котором обосновалась дунканская школа, у многих вызывало смесь зависти с неприязнью. Имя Дункан ассоциировалось с богатством и расточительностью.

Она приехала в Москву, настроившись мужественно испытывать все лишения рядовых советских граждан. Облаченная в красный хитон, Айседора явилась на вечеринку партийного истеблишмента в особняк замнаркома иностранных дел Льва Карахана. На

обращенное к ней «мадемуазель Дункан» она резко ответила: «Товарищ Дункан!» А оглядев аляповатую роскошь дворца (до революции в нем жил крупнейший сахарозаводчик П. И. Харитоненко), увидев вокруг себя чиновничьих жен, разодетых в декольтированные платья и увешанных драгоценностями (все это товарищи получали со специальных складов, где хранились ценные вещи расстрелянных или сидящих под замком), и услышав пасторальные французские песенки в исполнении какой-то бывшей певицы Императорской Оперы, пришла в ярость:

– Да вы хоть что-нибудь понимаете? Вышвырнуть буржуев лишь для того, чтобы забрать себе их дворцы и наслаждаться той же театральной рухлядью, что и они и в том же самом зале! Ничего не изменилось! Вы просто захватили их дворцы! Вы не революционеры! Вы буржуа в маске! Узурпаторы!

Самой Айседоре, впрочем, с того же склада предложили на выбор несколько меховых шуб, и она выбрала самую невзрачную на вид.

...Нищие родители приводили своих голодных детей в «школу танца», с тайной целью хоть немного подкормить ребятишек. Те быстро привыкали к Айседоре и льнули к ней, не понимая ее языка. А о том, чему она их обучала, красочно писали парижские газеты:

«Товарищ Дункан считает, что и прежде ее танцы были сами по себе революционными, бунтом против старого русского балета, и поэтому она исполняла их перед русской публикой без изменений, лишь призывая своих учеников и публику петь „Интернационал“ до и после своего выступления. Айседора заявила, что отказаться надо не только от балета, который, по мнению большинства туристов, представляет собой сегодня одно из немногих оставшихся ярких впечатлений от старой России, но также от большинства национальных русских танцев. Она видела, как группа детей водила простой хоровод, держа в руках свисающие платки и делая что-то такое, что символизирует деревенское ухаживание, и нашла, что в этом, по ее мнению, отражалось раболепие перед царем. Вознося руки к небу, она велела через переводчика мужицким детям повторять ее движения и думать об Аполлоне».

Такое впечатление, будто в Россию приехала не танцовщица, а некий миссионер, посвящающий дикарей в новую религию...

* * *

Человек богемный по своей сути, Дункан чувствовала себя как рыба в воде в кругу художественной богемы – писателей, художников, актеров... Именно в одном из самых известных мест артистической Москвы – студии художника Георгия Якулова – и произошла ее встреча с Сергеем Есениным.

Есенин к этой встрече был уже своеобразно подготовлен. Услышав о приезде Дункан, он, по свидетельствам очевидцев, жаждал с ней личной встречи.

Нельзя сказать, чтобы Дункан пользовалась большим успехом в России. Широкая публика ее принимала лишь отчасти, а композиторы, музыканты, тонкие ценители балета вздрагивали от ужаса. Ее балетные босоногие вариации под музыку Бетховена, Штрауса, Чайковского не могли не шокировать. Но где Дункан встретили на ура, так это в кругу поэтов-символистов.

Случайно или нет, но Дункан появлялась в России в самые трагические для страны периоды – в 1905, 1907, 1914, 1921 годах. В первый ее приезд в Петербурге кровь человеческая окрасила январский снег... И в эти же дни, глядя на танцовщицу, захлебывался от восторга Сергей Соловьев и восторженный гимн слагал ей Андрей Белый:

«Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни – жизни счастливого человечества, предававшегося тихим пляскам на зеленых лугах...»

Нашли родственную душу.

Андрей Белый не мог не поделиться своими давними восторгами с Есениным. И образ Дункан возникал перед Есениным в романтическом ореоле, который только усиливал тягу к никогда не виданной, таинственной, обворожительной женщине.

Несмотря на свой возраст, она действительно была еще на редкость хороша и обаятельна – фотографии не лгут.

Их встреча была, что называется, предрешена. С первого мгновения они ощутили не просто взаимную душевную близость. Нет, это была встреча особой одной человеческой породы, одного типа.

Есенин как-то незадолго до гибели назвал себя «Божьей дудкой». Такой же «Божьей дудкой» была и Дункан. Оба не колеблясь жертвовали своим земным благополучием ради искусства, вне которого не мыслили своей жизни.

Оба в это время были страшно по-человечески одиноки. О Дункан мы уже говорили. Что касается Есенина, то незадолго до встречи с Айседорой народный суд города Орла вынес решение о расторжении брака Есенина с Зинаидой Райх. Семьи как таковой давно уже не было, и все же потерю детей и официальный развод Есенин перенес крайне болезненно. В попытках найти утешение он пишет письмо верной имажинистской помощнице Галочке Бениславской с предложением встретиться. Бениславская, влюбленная в Есенина, долго ждала этой минуты... Поторопилась, однако. Айседора заслонила вся и всех. Галина будет ждать своего часа, «как верная собака», вплоть до возвращения Есенина из-за границы.

Оба они – и Дункан, и Есенин – отличались редкой широтой, душевной щедростью и мотовством. Дункан проматывала состояния своих мужей и свои собственные гонорары не глядя. Есенин точно так же поступал со своими жалкими заработками. И оба они были, по существу, бездомными людьми.

Оба искали того, «чего в мире нет», строили воздушные замки. Есенин в кровавой революционной действительности пытался найти Инонию, Дункан – в пошлом мире буржуазной Европы – античную Грецию.

В письме к Луначарскому Айседора, просясь в Россию, писала:

«Я устала от буржуазного коммерческого искусства... Я устала от современного театра, который больше походит на публичный дом... Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство и у которых никогда нет денег, чтобы прийти и увидеть меня...»

И потянулись два мечтателя, Есенин и Дункан, друг к другу не столько как мужчина и женщина, сколько как два человека схожего душевного склада. Каждый из них ценил друг в друге нечто высшее, чем собственно мужское или женское... И с его и с ее стороны в большей степени преобладала любовь к образу, созданному в реальной жизни каждым из них, чем к конкретному человеку.

Чем сильнее подобная тяга вначале, тем кратковременнее союз и страшнее разрыв. Их соединение было соединением динамитной шашки и горящего фитиля, в чем им обоим пришлось убедиться очень скоро. Но пока... Пока они были очарованы друг другом с первой же минуты.

В студии Якулова, как всегда, стоял гам и шум. Шел третий час ночи. Папиросный дым стелился клубами. Мужские выкрики и женский визг перемежались звоном стекла. Спирта в этой студии всегда хватало. Хорошо чувствовала себя художественная богема в революционной России в период «сухого закона»!

Дункан появилась в сопровождении Шнейдера, облаченная в танцевальную тунику и с газовым шарфом на голове. Глаза, подведенные черной тушью, ярко-красной помадой накрашенные губы... Все как полагается.

Ее ждали с нетерпением. Как только она вошла, несколько человек тут же бросились к ней. «Айседора! Почему так поздно? Тут наш поэт Есенин пол-Москвы перевернул, разыскивая тебя. Сказал, что не уснет, пока с тобой не увидится...» Это жужжание, шум и звон перекрыл призывный вопль из соседней комнаты: «Где Дун-ка-ан?!»

Айседоре поднесли полный стакан водки. Едва она выпила его до дна и прилегла на кушетку, как дверь с треском распахнулась и в гостиную влетел Есенин. Представлять их было не надо. С первой же секунды они не могли отвести глаз друг от друга.

Айседора погрузила пальцы в есенинскую шевелюру и, смешно коверкая слова, громко проговорила:

– За-ла-тая га-ла-ва...

Больше никто и ничто вокруг их не интересовало. Есенин читал ей стихи, и они пытались «разговаривать»... Разговаривали больше жестами и взглядами, оба уверенные в том, что прекрасно друг друга поняли.

Под утро Айседора отправилась домой на Пречистенку. Возле дома на Садовой остановилась пролетка, в которую рядом с Дункан уселся Есенин, бесцеремонно отстранив Шнейдера, которому пришлось устраиваться на облучке.

С этой ночи особняк на Пречистенке стал есенинским пристанищем...

* * *

Нельзя не сказать еще об одном обстоятельстве, которое толкнуло этих двух людей в объятия друг друга.

Если Айседора Дункан, помимо всего прочего, увидела в Есенине сходство со своим погибшим малолетним сыном, то для Есенина не меньшее значение имело ощущение не столько женской, сколько материнской ласки, которой ему так не хватало в детстве. И едва ли случайно то, что все женщины, оставившие глубокий след в жизни поэта, были старше его по возрасту.

Можно ли всерьез говорить о всех этих Женях, Ритах, Надях, Ликах и даже о Галине Бениславской?.. После юношеского романа с Анной Сардановской Есенин подсознательно тянулся к женщинам, способным дать ему именно материнскую заботу и нежность. Лидия Кашина – 1885 год рождения... Анна Изряднова – 1891-й... Айседора Дункан – их разница в возрасте измерялась 18 годами. Старше его была и Августа Миклашевская... Единственное исключение из этого правила – Софья Толстая.

С этих пор Пречистенка стала еще одним местом веселого времяпрепровождения имажинистской компании. Приятели являлись туда, как к Надежде Робертовне Адельгейм, весело провести время. На Пречистенке все было бесплатно, более того, провизия и спиртное поставлялись непосредственно из Кремля.

Компания гуляла и веселилась, наслаждаясь «общением» с Айседорой. Перескакивая с английского на французский и обратно, она смешно и неумело вставляла в поток своей речи исковерканные русские слова. Потом, поворачиваясь к Есенину, начинала очередной монолог, обращенный персонально к неподвижно сидящему, опустившему голову поэту: «люблю тебя», «ангел», «черт»... Если в разговоре возникала пауза, она вскакивала и включала патефон. Или мчалась к роялю.

Очутившись на Пречистенке, Есенин скоро почувствовал себя так, словно попал под воздействие сильно действующего наркотика.

С ним неизбежно должно было произойти и произошло то, о чем позднее поведал белоэмигрант Петр Моргани, описывая последний роман Айседоры и своего приятеля: «Польщенный и обвороченный поначалу, Иван стал тяготиться скоро назойливой страстью стареющей женщины. Близость срывает драгоценную вуаль таинственности, за которой женщина может казаться иной, чем она есть на самом деле. Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальное. Под влиянием момента она способна была на все. Но не думаю, чтобы ее переживания носили глубокий и длительный характер». Моргани привел также слова своего приятеля, произнесенные, насколько можно судить, в состоянии глубокой горечи: «Каюсь, сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность... Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны».

Схожее чувство, когда близость срывает вуаль таинственности, очень скоро начал испытывать и Есенин, но выражал его далеко не столь изысканно. Привычно радостный шум гостей и приятелей могла прорезать бешеная матерная тирада... Все в ужасе замирали, только Айседора радостно всплескивала руками, как бы наслаждаясь вспышкой есенинского гнева и необычным русским лексиконом, который она тут же начинала перенимать. Все это еще больше бесило поэта, и он то начинал прилюдно издеваться над своей возлюбленной, то с еще большим угрюмством принимался пить водку, то заставлял Айседору танцевать.

Танцы на Пречистенке были совсем иного рода, нежели на московских и петроградских сценах. Тут не было ни «Интернационала», ни «Славянского марша». Айседора демонстрировала свой коронный номер – танец публичной женщины с апашем, роль которого исполнял черный шарф Дункан...

Есенин, замерев на месте, не отрываясь смотрел на этот жуткий танец. Что-то новое начинало расти в его душе, что-то режущее, беспокойное, не находящее выхода.

Дункан медленно двигалась по кругу, покачивая бедрами, подбоченясь левой рукой. В правой – ритмично, в такт шагам, подрагивал шарф, буквально оживавший на глазах потрясенных зрителей.

От нее исходила пьянящая, вульгарная женственность, влекущая и отвращающая одновременно. Танец становился все быстрее... «Апаш», превратившийся в ее руках в сильного, ловкого, грубого хулигана, творил с блудницей все, что хотел, раскручивал ее вокруг себя, бросал из стороны в сторону, сгибая до земли, грубо прижимал к груди... Создавалось впечатление, что он окончательно покорила ее и овладевает своей жертвой на глазах у всех...

Постепенно его движения становились все менее уверенными. Теперь *она* вела танец, *она* подчиняла его себе и влекла за собой... Он терял прежнюю ловкость и нахальство с каждым движением, превращаясь в ее руках в безвольную тряпку...

Злую шутку играла жизнь с этими двумя людьми. Есенин, меривший себя и свою поэзию по классическим литературным сюжетам, неожиданно оказывался в положении героев то ли Достоевского, то ли Пушкина, не знающих, кинуться ли на кого-либо с топором, молчать ли, истекая кровью изнутри, или, может, застрелиться.

Так, во время пребывания с Айседорой в Берлине (подробнее о нем в следующей главе) он, рассорившись со своей подругой, отправился в сопровождении налипшей вокруг компании из русских эмигрантов в ресторан Ферстера, где за есенинский счет эта «кувырк-коллегия», как ее назвал поэт, закатали дикий кутеж... Во время пиршества в ресторан вошли Николай Оцуп и Ирина Одоевцева. Обрадованный Есенин усадил их за стол, а потом в сопровождении нескольких человек из компании потащил в отель «Адлон» к Дункан.

...Войдя, он сбросил на пол нелепо сидевшие на нем моднейшие пальто и шляпу, которые Айседора с радостным возгласом кинулась поднимать. «Кувырк-коллегия» ввалилась следом.

– Шампанею! Чаю, кофе, конфет, фруктов! Живо, Ванька, тащи тальянку. Я буду частушки петь.

Под принесенную тальянку, посреди роскошно убранного номера Есенин запел хриплым голосом деревенские частушки, включая и те, что не поют в обществе при дамах. Компания была в восторге.

– Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь!

«Весело? – вспоминала Ирина Одоевцева. – Нет, здесь совсем невесело. И не только невесело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из занавешенных бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью.

Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически среди дыма от папирос».

А когда подсевшая к Одоевцевой Айседора стала жаловаться на Есенина и шептать на ухо, что поэты – отвратительные любовники, Сергей подошел к ней и грубо предложил танцевать.

– Ну, валяй!

Ей так и послышалось ее любимое: «Voila!»

...И в конце танца безвольный, обездушенный шарф полетел на ковер, а она, победительница, растоптала его ногами, гордо вскинув голову.

Гром аплодисментов раскатился по гостиной. Отовсюду послышались восторженные крики. Какой-то совершенно ополоумевший есенинский спутник рухнул перед Айседорой на колени.

– Божественная, дивная Айседора! Мы, мы все недостойны даже ножку вашу целовать... – вместо ножки он начал иступленно целовать ковер.

Она, ничего не замечая, смотрела вверх голов. Почерневший от напряжения Есенин сидел с искаженным судорогой лицом.

– Стерва! Это она меня!..

На что все это похоже? Вроде нечто подобное уже было с ним? Нет, нет, что-то другое... Вспомнил! Он схватился за голову.

Это все – словно ожившая картина из Достоевского. Гостиная Епанчина. Королева, божественная Настасья Филипповна... И – явление Рогожина с компанией... Сто тысяч в грязной газете, а внизу уже тройки ждут, бубенчиками позвякивают... И пьяный Фердыщенко, целующий носочек туфли королевы...

А сам он тут кто? Дико влюбленный, охамевший от страсти Парфен или... идиот?

Кусая губы, Есенин встал, подошел к столу, налил полный бокал шампанского, выпил до дна и с размаху расколотил его о стенку.

– It's for good luck!

Глаза возбужденной Айседоры сияли от счастья.

Есенин расхохотался страшным смехом.

– Правильно! В рот тебе гуд лака с горохом!.. Что же вы, черти, не пьете, не поете: многая лета многолетней Айседоре!.. Пляшите, пейте, пойте, черти! И чтобы дым коромыслом, чтобы все ходуном ходило. Смотрите у меня!

Оцуп с Одоевцевой быстро ушли. «Дальнейшего вам видеть не полагается», – шепнул Оцуп на ухо своей спутнице, догадавшись, что последует за этим танцем.

Махровым цветом расцвело все это в берлинских и парижских отелях. Но началось – на Пречистенке...

Объясняться с Айседорой Есенин не мог. К английскому языку испытывал подлинно физическое отвращение еще до заграничной поездки. Поговорить по душам... О чем? Каким образом? От ее ласк временами становилось тошно. Тогда он сбежал. Ночевал у друзей. Проходил день, два, три... В конце концов возвращался на Пречистенку. На Богословском жили Мариенгоф и его жена – молоденькая актриса таировского театра Анна Никритина. Другого дома у Есенина не было. А расстаться с Айседорой он все же не мог.

«Любит меня... Чудная какая-то... Добрая... Славная... Да все у нее как-то... не по-русски...»

Сплетни о том, что «женился на богатой старухе», слушал, стиснув зубы. Чапушки о «Дуне на Пречистенке» от своих «собратьев по величию образа» также было выслушивать невмоготу.

Слава его росла. Два издания «Пугачева» и многочисленные поэтические вечера сделали свое дело. Его узнавали на улицах, мгновенно раскупили появившуюся в продаже фотографию Есенина с трубкой в зубах. Тут еще матушке-Москве подвалило такое счастье – пицца для разговоров на год... Есенин – Дункан... Поэт «уходящей деревни» и постаревшая балерина-босоножка!

В театре во время танца Айседору лорнировала компания только-только появившихся нэпманов, обсуждая ее прелести. «Компания кретинов!» – громко отчеканил Мариенгоф, сидевший рядом с Есениным.

Жирные физиономии тут же повернулись к ним.

– Эт-то поэты Есенин и Мариенгоф! Они назвали нас «компанией кретинов», – с восхищением прошипел один из них.

Есенин встал и молча вышел из театра.

А в московских кабаре артисты распевали «современные частушки»:

Не судите слишком строго,
Наш Есенин не таков.
Айседур в Европе много —
Мало Айседураков!

Текст принадлежал Анатолию Мариенгофу.

* * *

После рассказов Архипова об увиденном на Пречистенке Клюеву не составило труда представить себе теперешнюю жизнь Есенина и вообразить свое возможное появление у «жавороночка», облепленного со всех сторон черными – в прямом и в переносном смысле – людьми... Из размышлений об этом и родилось одно из проникновеннейших стихотворений Клюева.

Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домово́й ограде...
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб Христа ради!

Я скоротал все проселки,
Придорожные пни и камни...
У горничной в плоёной наколке
Боязливо спрошу: «Куда мне?»

В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.

За стеною Кто и Незнаю
Закинут невод в Чужое...
И вернусь я к нищему раю,
Где Бог и Древо печное.

Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки...
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.

Домовину оплатит баба,
Назовет кормильцем и ладой...
В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.

За дверью пустые сени,
Где бродит призрак костлявый.

Хозяин Сергей Есенин
Грустит под шарманку славы.

28 января 1922 года Клюев пишет Есенину письмо – ответ на есенинскую записку, присланную с Архиповым. Письмо это – и плач по своей разбитой жизни, и упрек, и покаяние, и пророчество. Не единожды Есенин читал и перечитывал кровью душевной написанные строки.

«Облил я слезами твое письмо и гостинцы, припадал к ним лицом своим, вдыхал их запах, стараясь угадать тебя, теперешнего. Кожа гремучей змеи на тебе, но она, я верую, до весны, до Апреля урочного.

Человек, которого я послал к тебе с весточкой, прекрасен и велик в духе своем, он повелел мне не плакать о тебе, а лишь молиться. К удивлению моему, как о много возлюбившем.

Кого? Не Дункан ли, не Мариенгофа ли, которые мне так ненавистны за их близость к тебе, даже за то, что они касаются тебя и хорошо знают тебя плотяного...»

Это, схожее, Есенин читал уже в «Четвертом Риме». Зубы сами сжались в приступе ярости, а рука стиснула листок, исписанный затейливой клюевской вязью... Не может без этого! Хотел отшвырнуть в сторону, но сделал над собой усилие, продолжил читать и уже не мог оторваться до самого конца.

«Семь покрывал выткала Матерь-жизнь для тебя, чтобы ты был не показным, а заветным. Камень драгоценный душа твоя, выкуп за красоту и правду родимого народа, змеиный калым за Невесту-песню.

Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обреченный на заклятие за Россию, за Ерусалим, сошедший с неба.

Молюсь лику твоему невещественному...

Коленька мне говорит, что ты теперь ночной нетопырь с глазами, выполосканными во всех щелоках, что на тебе бобровая шуба, что ты ешь за обедом мясо, пьешь настоящий чай и публично водку, что шатя вокруг тебя – моллюски, прилипшие к килю корабля... (В тропических морях они облепляют днище корабля в таком множестве, что топят самый корабль), что у тебя была длительная смертная схватка с «Кузницей» и Пролеткультом, что теперь они ничто, а ты победитель.

Какая ужасная повесть! А где же рязанские васильки, дедушка в синей поддевке с выстроганным ветром батожком? Где образ Одигитрии-путеводительницы, который реял над золотой твоей головкой, который так ясно зрим был «в то время».

Но мир, мир тебе, брат мой прекрасный! Мир духу, крови и костям твоим!

Ты, действительно, победил пиджачных бесов, а не убежал от них, как я, – трепещущий за чистоту риз своих. Ты – Никола, а я Касьян, тебе все праздники и звоны на Руси, а мне в три года раз именины...

...Сереженька, душа моя у ног твоих. Не пинай ее! За твое доброе слово я готов простить даже Мариенгофа, он дождется несчастья...»

Дождется... Он-то дождется. А вот ты, Николай, уже дождался. Всю жизнь трепетал за «чистоту риз своих»... И «Четвертый Рим» твой – такое же трепетанье. Вот и сидишь теперь на хлебе с кипятком, плачешь и молишь Бога о непостыдной и мирной смерти... А какой леший тебя заставляет там сидеть?

В мыслях отругивался Есенин, но спорил уже как бы по инерции. Не мог не признать глубинную правоту клюевского письма, слов о своих стихах, которых не доводилось прочесть ни в одной газете:

«...Порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение – ибо Лев и Голубь не простят власти греха ее. Лев и Голубь – знаки наши – мы с тобой в львиноголубинности. Не согрешай же, милый, в песне проклятиями, их никто не слышит. „Старый клен на одной ноге“ страж твой неизменный. Я же „под огненным баобабом мозг ковриги и звезд постиг“. И наваждение –

уверение твое, что я все „сердце выпеснил избе“. Конечно, я во многом человек конченный. Революция, сломав деревню, пожрала и мой избяной рай. Мамушка и отец в могиле, родня с сестрой во главе забрали себе все. Мне досталась запечная Мекка – иконы, старые книги, – их благоухание – единственное мое утешение...

Покрываю поцелуями твою «Трерядницу» и «Пугачева». В «Треряднице» много печали, сжигающей скорлупы наружной жизни. «Пугачев» – свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужней и желаннее «Бориса Годунова», хотя там и золото, и стены Кремля, и сафьянно-упругий сытовый воздух 16–17 века. И последняя Византия.

Брат мой, пишу тебе самые чистые слова, на какие способно сердце мое. Скажу тебе на ушко: «Как поэт, я уже давно кончен», ты в душе это твердо сам знаешь. Но вслух об этом пока говорить жестоко и бесполезно.

Радуйся, возлюбленный, красоте своей, радуйся, обретший жемчужину родимого слова, радуйся закланию своему за мать-ковригу. Будь спокоен и счастлив.

Твой брат и сопесенник».

Знал Есенин, что делал, когда посылал Клюеву «Трерядницу» и «Пугачева». Дождался признания – победителю ученику от побежденного учителя... Последняя Византия – это в твоих стихах, Николай, бессильная, обветшавшая, не слышимая и не видимая никем... Снова вспомнился герой «Серебряного голубя» Дарьяльский с его византийским ухарством.

Есенин бросился к Луначарскому, оповестил всех, кого можно, о бедственном положении Клюева. Сделал все, что мог, с пайком, послал 10 миллионов. Столько же послал Луначарский и 2 миллиона – Клычков... В ответном письме, написанном намеренно в сухом и деловитом тоне, подробно рассказал, на что может его друг рассчитывать, чтобы не умереть с голоду.

«Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от „Ара“. На днях вышлю еще 5 миллионов.

Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со «Скифов». Разговоры об условиях беру на себя и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.

Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо.

Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно.

В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации и пусто – хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда.

Перед отъездом я устрою тебе еще посылку. Может, как-нибудь и провертишься. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком – если этой паршивой спекулянтской «Эпохе» за гроши свой «Рим» продал. Раньше за тобой этого не водилось.

Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво.

Ну, да ведь у каждого свой путь.

От многих других стихов я в восторге.

Если тебе что нужно будет, пиши Клычкову, а ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает все, что нужно. Потом можешь писать на адрес моего магазина приятелю моему Головачеву, Б. Никитская, 15, книжный магазин художников слова. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтемся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни...»

Обращают на себя внимание в этом письме несколько деталей. Прежде всего – упоминание об АРА – Американской организации помощи голодающим. Отечественный комитет помощи голодающим просуществовал лишь 2 месяца – июль-август 1921 года. 31 августа члены этого комитета сидели в лубянских застенках – это было прологом будущей

высылки. А за 10 дней до этого события Литвинов подписал соглашение с АРА, возглавляемой Гербертом Гувером. Де-факто – советская власть была признана на Западе.

Все происходило чрезвычайно синхронно. X съезд партии, состоявшийся в марте 1921 года, на котором была истреблена всякая фракционность, разгромлена «рабочая оппозиция» и взят курс на нэп. Практически одновременно с этим – наведение мостов в отношении с Европой и США, что автоматически означало отказ от доктрины «мировой революции». Одновременно же – усиление внутренних репрессий против соотечественников и расшаркивание перед представителями иностранных держав, милостиво предоставлявших «гуманитарную помощь» разоренной стране, в которой за три года при помощи массовых убийств и голода утвердилась новая власть.

Американские представители приезжали в Россию как своеобразные «цивилизаторы», с любопытством взирали на голодное и обнищавшее население, которое выбивалось из сил, пытаясь поддержать хотя бы минимальный уровень существования. Есенин насмотрелся на этих деятелей в дунканском особняке, да и в других местах. Господи, что они понимают, эти лощеные франты, в народе, которому милостиво подбрасывают свои подачки!..

Один такой представитель, узнав, что перед ним находится знаменитый русский поэт, тут же попросил Есенина через переводчицу написать ему что-нибудь на память. Есенин горько ухмыльнулся и на белой манжетине американца начертил следующее четверостишие:

Американским ароматом
Пропитан русский аромат...
Покрыть бы АРУ русским матом.
Поймет ли АРА русский мат?

Переводчица наотрез отказалась переводить написанное на английский.

«Семья моя... разбрелась кто куда...» За этими словами стояло одно: недавняя поездка Есенина в Константиново – в феврале 1922 года.

Александр Никитич перебрался в Москву. Уезжая из Константинова, Есенин забрал с собой сестру Екатерину – ей надо было учиться. Оставил ее у отца.

Об этом приезде родные не оставили практически никаких воспоминаний. Можно только предположить, что Есенину было куда горше, чем летом 1920 года. Он вернулся на Пречистенку совершенно растерзанный душевно, никак не мог успокоиться. Видевшие его в те дни запомнили болезненно-испытанное лицо, припухшие веки, охрипший голос... Как-то на Пречистенке поэта навестил старый приятель, Михаил Бабенчиков. Есенин встретил его в гостиной, уставленной портретами Дункан, посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями. В углу – тахта, покрытая ковром. На столе деревянный бюст Есенина – конёнковская работа. Громадное зеркало, на подзеркальнике – небольшая скульптура Ниобеи, оплакивающей своих детей.

Все вокруг было в полном беспорядке. И посреди этого разгрома – Есенин в пестром нелепом халате. Иронически усмехнулся.

– Видишь – живу по-царски! А там, – указал на дверь, – Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет.

Вышла Дункан. Заговорила, лениво цедя русские слова... Бабенчиков догадался перейти на французский, Айседора оживилась, начала кокетливо вещать о том, какой это ужас, что она целых пятнадцать минут не целовала Есенина... Поэт молчал, смотрел в пол, нервно прихлебывал вино из бокала... Так и сидел неподвижно, пока Дункан тащила Бабенчикову в соседнюю комнату – показать своих учениц... На вопрос гостя, знает ли она, что Есенин крупный поэт, недоверчиво ответила вопросом: «Да?» – потом стала жаловаться, что ее возлюбленный не понимает музыки, а она жить без нее не может.

Когда Бабенчиков вернулся в гостиную, Есенин сидел на ковре у печки-временки. Неподвижно смотрел на огонь, а потом, словно через силу, произнес:

– Был в деревне. Все рушится... Надо самому быть оттуда, чтобы понять... Конец всему.

И – словно выбило пробку. Он заговорил жадно, лихорадочно, даже не столько с собеседником, сколько с самим собой. Воспоминания полились потоком. Деревня... Дед... Бабка... Товарищи детских игр... Клюев – единственный человек, которого по-настоящему любил и любит... Из печки вывалилась головня, и Есенин встал, чтобы положить ее обратно.

«Внезапно вспыхнувшее пламя, – вспоминал Бабенчиков, – осветило угол письменного стола и стоявшую на нем неоконченную конёнковскую голову Есенина. Мгновение, и из грубого обрубка векового дерева, из морщин его коры на меня взглянуло лицо прежнего Сережи. И, не в силах удержаться, я взглянул на него самого. Передо мной находились даже не братья, а два смутно похожих друг на друга чужих человека. Первый был – оживленная материя. Второй?.. Первый звал к унылой, плоской земле, „назад к дереву“. Вторым не звал никуда. Один улыбался улыбкой пробуждающейся жизни. Судорога прикрывала улыбку другого. Огонь времянки вспыхнул снова, чтобы, дымясь, погаснуть совсем. По стенам пошли длинные черные тени. Но скоро не стало и их. Разговор прервался...»

А когда Есенин пошел провожать гостя, то сообщил ему, что скоро собирается уезжать за границу. На шуточный вопрос Бабенчикова: «Навсегда?» – только безнадежно махнул рукой.

– Разве я где могу?..

Разошедшиеся по разным дорогам Клюев, Клычков, Есенин, Карпов – все они испытывали схожее мучительное чувство в это время – чувство безвозвратной потери домашнего очага, окончательного слома породившего и вскормившего их таинственного и древнего мира русской деревни.

В те же месяцы Пимен Карпов в родном селе Турки, сидя за деревянным столом при свете коптящей керосиновой лампы, изливал на страницы записных книжек все, что наболело на душе.

«Русскую революцию погубило германофильство ее вождей. Особенно большевиков. Удивительно – ведь и старый режим погубило германофильство. Не отсюда ли это родство души в дальнейшем: смертная казнь, охранка, крепостничество, ненависть к мужикам, барство, кастовая отчужденность от широких масс, ложь, достигшая до геркулесовых столбов, и кровь, кровь без конца, без края. Николай Кровавый мальчишка и щенок перед Владимиром Кровавым... Чуть кто заикнулся о гнете – „бандит“ – и к ногтю.

А все-таки дело большевиков – в идее – христианское дело. Но проводит это дело в жизнь – Сатана. И ведь в том-то и ужас, что иначе, как сатанинской тактикой, нельзя ничего провести в жизнь – даже Божье дело. Т. е. сразу, сейчас. А ждать столетиями – кому охота? А впрочем, может, в том-то и состоит каверза Сатаны, чтоб все сразу, сейчас.

Буржуи и вообще эксплуататоры, богачи – дети Сатаны. И поделом вору мука. Но если беднота их сейчас мучит, то какое право имеет она жаловаться на свои мучения в прошлом?..

Нищие духовно – нищие материально. Сатана – отец в образе Христа. Заклание агнца – русского народа. Голгофа.

Параллель между Лениным и Николаем, Троцким и Распутиным, Дзержинским и Протопоповым...

Толпа единоплеменна только в несчастье и нищете. Но как только нищие дорвались до «общественного пирога» – прощай единение, разговоры о солидарности трудящихся, о коммунизме и проч.!

Борьбу с крестьянами они называют «борьбой с эпидемией рогатого скота». Крестьяне для них – не больше, чем рогатые скоты. Отряды ЧК так и называются – «отрядами по борьбе с чумой рогатого скота».

Кулаки изобрели средство борьбы с тружениками: чуть что заметил за бывшим эксплуататором и заговорил о законности – сейчас тебе: «А, бандит, саботажник! В Чеку!» А так называемые ответственные и партийные работники,

эти чекисты и проч. – теперь все кумовья и сваты бывшим помещикам и купцам: поженились на ихних дочерях, породнились и проч. Словом, сказка про белого бычка. Через 10 лет все нынешние ярые коммунисты будут ярые защитники собственности и «естественного подбора» сильных, т. е. кулаков и головорезов...

Расстрел сидоровских ребят. Накануне расстрела гуляли в орлянку, плясали, играли на гармошке, веселились. А на рассвете – черная карета и расстрел у вырытой канавы. Недостреленные матюкаются, клянут палачей за плохой прицел. Сначала первую партию расстреляли скопом. Потом привезли другую партию (13 человек), залп по этим, и все-таки... не убили до смерти и всех закопали в канаву живьем, стонущих (доктора не было, да и вообще «волынка»).

О труддезертире, у которого произвели реквизицию и самого взяли в трудармию, говорят: его выдали замуж за Ленина с приданым (корова, овечки и пр.).

В уездном городе без конца можно наблюдать сцены, как ведут «ленинских невест», а за ними приданое: коровы, овцы, свиньи, куры и проч. ...

Что такое РСФСР? Тот же вел[икий] мастер Адонирама, в котором могут выступать за свою настоящую идею. . . . народа – только не русского. Им даже говорить о русск[ой] нац[ии] запрещено.

Что такое ВЦИК Советов? Корпорация половых, обслуживающая трактир «Совнарком». Вместо всеобщего, прямого, равного и тайного голосования всеобщее и т. д. воровство...

Страдания существуют для того, чтобы переплавить души, подобно огню, переплавляющему железо в сталь. Но бывает и так, что страдания совершенно уничтожают душу, из которой получается один только шлак, т. е. негодное ни для чего вещество. Вот в этом кто виноват? Кто виноват в безмерных страданиях человечества? Свобода? Глупость? Низость? Несправедливость? Едва ли не более всего страдают именно угнетенные, а не свободные, умные, а не глупые, возвышенные, а не низменные, правдивые, а не лживые...

Таковыми приметами характеризовал Карпов начало «благословенного» нэпа. Начало новой политики создания нового класса феодалов вместо прежней уничтоженной аристократии... Так называемое «временное отступление», рассчитанное по первым примерным прикидкам на несколько десятков лет.

Соответственно менялась и культурная политика. После разгрома Пролеткульта, осуществлявшего культурную деятельность в неразрывной связи с декларациями о создании трудовых армий, необходимо было объединить всех более или менее лояльно настроенных к советской власти, собрать их под одно крыло. С этой целью и был создан толстый литературно-художественный журнал «Красная новь», главным редактором которого с личной подачи Ленина был утвержден партийный деятель и литературный критик Александр Константинович Воронский.

Он тут же привлек к сотрудничеству Всеволода Иванова, Артема Веселого, Бориса Пильняка, Семена Подъячева, Михаила Пришвина, Бориса Пастернака, Павла Радимова, Петра Орешина, Дмитрия Семёновского, Александра Неверова, Михаила Герасимова, Николая Асеева – и многих других без различия групп и течений. «Кто не против нас – тот с нами» – принцип, исповедуемый Воронским, был принципиально отличен от пролеткультовского. И писатели с радостью пошли к нему. Сергей Клычков вошел в редакцию на правах штатного сотрудника, и Есенин всерьез подумывал о том, что можно будет осуществлять собственную литературную политику в журнале, благо и у него, и у Клыčkова имелся определенный опыт в издательском деле, в то время как Воронский играл скорее роль идеологического организатора.

Публикуя статьи, направленные против писателей белой эмиграции, Воронский осознавал: на горизонте сгущалась новая опасность. В осознании этой опасности были солидарны, пожалуй, все, собравшиеся под крылом главного редактора:

«Герой нашего времени поглощен быстрейшим оборотом денег, падающих с быстротой катастрофической, в часы же досуга вместо стихов Ахматовой, исследований Жирмунского, публицистики Изгоева он покупает „Экран“, „Запад“, „Петербург“.

...Она идет – эта пресса и литература углов, киосков – более бесцеремонная, бесшабашная, наглая и беспардонная, чем ее дореволюционная сестра, и эта уличная проститутка сумеет растлить многих из молодежи, если наша советская политпросветительная работа будет почивать на лаврах и путаться в инструкциях, резолюциях входящих и исходящих, как это часто бывает с ней теперь... С обывательщиной в литературе и в жизни придется вести серьезную борьбу, и время для этой борьбы приспело...»

Интересно, что описанная опасность для Воронского представлялась куда более страшной, чем опасность, исходящая от заведомых «внутренних эмигрантов» – Ахматовой, Жирмунского, Изгоева. Но, будучи твердокаменным большевиком по сути, он был не в состоянии понять, что невозможно с ней бороться «советской политпросветительной работой», даже и поставленной на новую основу, ибо «уличная проститутка» – прямое порождение «новой экономической политики», с которой неразрывно связаны и Политпросвет, и «культурные объединения», и его собственный журнал, неустанно бьющий тревогу при виде совершающихся безобразий.

«А на улицах афиши с надписью: „Преступная страсть и кровосмешение“, „Джек-потрошитель“, „Похождения маркиза де Сада“ или вход в дешевый, общедоступный шантан, где ходит кверху ногами замученная халтурой женщина, разделяется танго сверхапашей, а какие-нибудь Бим-Бомы преподносят шуточку: изображают переехавших на новую квартиру жильцов и примеряют, что им делать с портретами Ленина и Троцкого. Оказывается, одного надо повесить, а другого к стенке поставить... Воспитательное зрелище». (М. Рейснер. «Старое и новое. Из писем о культуре».)

Впечатления от все новых жизненных реалий требовали выхода. В каком бы душевном состоянии ни был Есенин, он продолжал напряженно работать. Созревал замысел новой драматической поэмы.

Впервые мысль о ней возникла сразу же после выхода в свет «Пугачева». Действующими лицами должны были стать реальные, современные поэту герои – Ленин, Махно, русские мужики-повстанцы. Он набрасывал первоначальные отрывки и, недовольный, уничтожал их. Должно было пройти несколько месяцев, прежде чем замысел обрел ясные очертания и перед глазами поэта вживе возникли его герои: Нестор Махно, его противник – комиссар железнодорожной линии и... мечущийся между ними интеллигент.

Читая первые номера «Красной нови», он с особым тщанием отмечал декларации партийных идеологов вроде той, что «пролетариат для удержания своей политической власти должен страдать, терпеть лишения и голодать». Знаем мы, какой это пролетариат! И для удержания чьей власти он «должен» терпеть лишения. Жадно перелистывал статьи, рисующие жуткую картину голода и массовых переселений людей. А вот и самое главное: статья Я. Яковлева «Махновщина и анархизм», где приводятся цитаты из махновской газеты «Набат»: «Крестьянские выступления против Советской власти – это движение народа, заявляющего свои права, – такого движения штыком задавить нельзя...» Тут же рассказы очевидцев о расправах махновцев над членами комитета бедноты, о бесплатной раздаче Махно хлеба крестьянам с ссыпных пунктов, о реквизиции оружия (в частности, броневиков)... «Махновцами разграблен отдел снабжения 23-й дивизии и произведен налет на транспорт»...

Хорошая завязка для будущей пьесы... А вот и статья Иллариона Бардина о крестьянском союзе под выразительным заголовком «Реакционная демократия». Здесь приводится программа Тамбовского крестьянского союза, включавшая пункты о необходимости политического равенства всех граждан, без разделения их на классы, «за исключением дома Романовых»; требование созыва Учредительного собрания и проведения всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; установления прочного мира со всеми

иностранными державами. В статье также говорилось о необходимости «впредь до созыва Учредительного собрания установления временной власти на местах и в центре на выборных началах союзами и партиями, участвующими в борьбе с коммунистами»... И все это вместе автор называет программой «бешеной мужицкой диктатуры, идущей значительно дальше официальной программы эс-эров»...

Читая, размышляя, набрасывая план действия, обдумывая сцены и диалоги, Есенин ясно видел прототипов, с которых будет писать своих героев.

Прототип железного комиссара ясен – Троцкий Лев Давидович. Лучшего комиссара не придумаешь! Само воплощение комиссародержавия в России. И внешность, и биография – все одно к одному.

Замечательный портрет Троцкого, набросанный в нескольких штрихах, оставил Н. А. Афиногенов, писавший под псевдонимом «Н. Степной».

«Ястребиный нос, опускаясь, оскаливает мефистофельскую улыбку.

Сквозь стекла пенсне глаза пытливо смотрят, а черный клочок бородки придает лицу докторское что-то.

Вот он снял пенсне, не снял, а скорее сдернул, и утомленные до какого-то ужаса, до какой-то белой искры глаза – замерли.

Губы долго сжаты, что все выражение слов проступает, сочится, как кровь.

Говорит подбородок.

Края губ говорят».

Примерно таким же видел Троцкого и Есенин во время нескольких, единичных встреч с наркомом.

А биография... лучше не придумаешь. Вечный эмигрант, перекасти-поле, явившийся взнуздывать Россию и подавлять железной рукой стихийное русское начало. «Гражданин из Веймара», местечковый революционер... Вся программа жизни заявлена в первых же репликах.

Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

«Сочувствующий коммунистам» Замарашкин пытается урезонить распоясавшегося комиссара, достучаться до его совести... Совесть? Чекистов-Лейбман слова такого не знает. И даже услышанное от Замарашкина «жид», должное по идее подействовать на него как красная тряпка на быка, не производит никакого впечатления, ибо понятие национального происхождения в теориях этого интернационалиста отсутствует как таковое.

Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.

«Перестраивание» это шло повсеместно. Чекистовы, оттолкнув протянутую руку помощи православных священников, их же обвинили в утаивании церковных ценностей, в нежелании накормить голодающих, и начался страшный церковный погром.

санкционированный лично Лениным. Под плач верующих и улюлюканье «безбожников» шли повсеместный беспардонный грабеж и уничтожение церквей, сопровождавшиеся арестом епископов, священников, дьяконов, монахов. В чем, в чем, а в перестраивании храмов «в места отхожие» чекистовы преуспели...

Чекистов и сам прекрасно понимает, что несет «околесину», но «околесина» стала для него жизненной программой, и укрощение «дураков и зверей» для него, ничтожной, по сути, личности, стало единственно возможным оправданием собственного существования на земле. «Я не тварь дрожащая, я право имею...» Кто дал ему это право? Он сам, подчиняясь извивам своей «глупой души», которая «хотела быть Гамлетом».

На этой почве, в стремлении романтизировать безобразие, кровь и убийство, протягивают друг другу руки два непримиримых противника, два антипода – комиссар и крестьянский вожак, Чекистов и Номах, Лев Давидович Троцкий и Нестор Иванович Махно.

Оба они проносят себя сквозь революцию «как личности» (так Есенин говаривал о Троцком). И для каждого из этих «личностей» окружающие их люди, каждый со своим миром и своими устремлениями, превращаются в полное ничто. Выслушав монолог Чекистова, Замарашкин слушает в следующей сцене Номаха, который в своих притязаниях так же, как и его противник, ссылается на Гамлета, снижая образ шекспировского героя до собственного уровня, намекая на некий «высокий смысл» своего существования.

Что другие?
Свора голодных нищих.
Им все равно...
В этом мире немывом
Душу человеческую
Ухорашивают рублем,
И если преступно здесь быть бандитом,
То не более преступно,
Чем быть королем...
Я слышал, как этот прохвост
Говорил тебе о Гамлете.
Что он в нем смыслит?
Гамлет восстал против лжи,
В которой варился королевский двор.
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор.
Потому что человеческая жизнь
Это тоже двор,
Если не королевский, то скотный.

.....

Это все твари тленные!
Предмет для навозных куч!
А я – гражданин вселенной,
Я живу, как я сам хочу!

.....

Я теперь вконец отказался от многого,
И в особенности от государства...

.....

Мне до дьявола противны
И те и эти...

.....

Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймешь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство – обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка,
Подлецам – порядочный улов.

При чтении этих монологов неизбежно вспоминается «Пугачев». Но разница поистине дьявольская. Тема Гамлета теперь вышла на поверхность, и образ его воспринимается уже не в мистическом, но в сугубо реальном плане – принц датский вырван из времени, из всей трагической атмосферы надмирного существования, опущен на землю, и его окарикатуренными чертами наделены персонажи поэмы. Сохраняется время действия – ночь, и природа в первой сцене новой пьесы так же мучит человека, как и ранее. «А на ветру как щиплет. Ну и холод!» – первая реплика Гамлета перед встречей с призраком. «Скверный дождь! Экий скверный дождь!» – начало монолога Караваева перед решающими событиями. И в том же тоне проклинает погоду Чекистов: «Ну и ночь! Что за ночь! Черт бы взял эту ночь с блядским холодом...»

«Звериная тема», столь дорогая для Есенина и его героев в «Пугачеве», здесь предельно окарикатурируется, низводится до уровня обычной брани. Сам Номах представляет собой уродливую пародию на Пугачева – для него уже не существует тайн мироздания, таинственной органической связи человеческой и природной стихий... Понимая, что его «подвесят когда-нибудь к небесам», он может только отпустить ироническую пилюлю – дескать, «там можно будет прикуривать о звезды»...

Образ Махно стал совершенно неузнаваем, ничем не напоминает он того красногривого жеребенка, который был для Есенина символом тяжбы живой силы с железной.

Перед поэтом два бандита: один в кожаной куртке, другой в русском полушубке. Один исполняет волю политической элиты, другой – личную, собственную. Но при этом оба становятся похожими друг на друга, как родные братья.

Правда Номаха все же ближе Есенину, чем правда Чекистова. Но и эту правду поэт не может до конца принять. Невозможно не увидеть в этом современном Робин Гуде хорошо знакомую личность, весьма типичную для того времени – одного из многочисленных «батек», встававших за дело угнетенных и ограбленных и очень скоро терявших всякое представление о чести, справедливости, милосердии. Кровь – водица, жизнь – копейка, душка – полушка...

А между ними... Между этими двумя непримиримыми врагами мечется, как затравленный заяц, «сочувствующий коммунистам доброволец» – Замарашкин, безуспешно пытающийся отстоять свою «третью правду» и вынужденный попеременно подлаживаться к каждому из них.

В образе Замарашкина туманно видится прежний есенинский герой – пугачевский соратник Бурнов, мучительно пытавшийся заклать себя от близкой гибели: «Ради бога научите меня, научите меня, и я что угодно сделаю, сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечесем саду!» Но тогда, по существу, Пугачев, Бурнов, Крямин были заодно в главном – их роднила принадлежность к дикой природной стихии, и незримой связью между ними

протягивалась все та же «роковая зацепка за жизнь»... Теперь все кончено. Связь утрачена. Вокруг лишь враги, жаждущие пролить побольше крови, а Замарашкин все так же бросается от Чекистова к Номаху и обратно со своим «что угодно сделаю»... И делает.

Выслушав омерзительный монолог Чекистова и безуспешно попытавшись воздействовать на комиссара: «Там... За Самарой... Я слышал... Люди едят друг друга...» – Замарашкин принимает от него винтовку и заступает на пост – сторожить станцию. И тут же дает Номаху сигнал – все чисто, можешь выходить. Это – действия. Действия, которые Замарашкин пытается прикрыть хорошими словами.

«Я никогда не был слугой. Служит тот, кто трус. Я не пленник в моей стране...», «Мы ведь товарищи старые...» Все это изливается в жалкой и бессильной попытке отстоять свою «независимость» уже после того, как пошел на службу к Чекистову, надеясь при этом сохранить дружбу с Номахом.

Помнишь, мы зубрили в школе?
«Слова, слова, слова...»
Впрочем, я вас обоих
Слушаю неохотно.
У меня есть своя голова.
Я только всему свидетель,
В тебе ж люблю старого друга.
В час несчастья с тобой на свете
Моя помощь к твоим услугам.

А Номаху нужна одна-единственная помощь – передача ему в руки красного фонаря, светом которого он мог бы остановить поезд и ограбить его. По ходу диалога с Замарашкиным становится понятно, что это далеко не первый подобный его «подвиг». Раньше он весьма удачно действовал на этом поприще, и именно с помощью Замарашкина, который теперь, когда дороги назад уже нет, пытается остановить своего друга: «Я тебе желаю хоть немного смирить свой нрав. Подумай... Не завтра, так после... Не после... Так после опять...» И до каких пор?

Расправиться с Замарашкиным Номаху ничего не стоит. Обезоружить и связать его – раз плюнуть. У Замарашкина нет сил сопротивляться – он сам себя лишил такой возможности. Он замаран сотрудничеством и с властью, и с повстанцами одновременно. Осталось только ожидать, когда его раздавят вместе с «третьей правдой».

В Замарашкине Есенин воплотил многих своих добрых друзей и приятелей. В группе «попутчиков», объединившихся вокруг Воронского в «Красной нови», он не мог временами не узнавать коллективного Замарашкина. Фронда и приспособленчество одновременно. Боль о мужике и соглашательство с властью. Поклоны туда и сюда. Ну а сам он что, лучше?

Он ведь так и предполагал начать пьесу – с приезда самого автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор... Это он, Есенин, должен был стать свидетелем-увещателем обоих негодяев... Нет, не выйдет. Здесь логичным и неизбежным был принципиальный отказ от лирического воплощения своей души в каждом из героев, как в «Пугачеве»... Реальная картина жизни и нравов могла воплотиться только при взгляде автора со стороны, при его трезвой и безжалостной оценке происходящего.

«Страна негодяев» – так будет называться эта пьеса, в которой нет ни одного положительного героя. Россия, ставшая страной негодяев, – это надо было признать, пережить, осмыслить. Выплеснуть все наболевшее.

«Кем бы я был без революции? – спрашивал он себя и иных своих незадачливых собеседников. – Так и засох бы на религиозной символической...» Это один раз, в другой – через несколько лет: «В кого бы превратился? В поэта блядей и сутенеров, в бардачного подпевалу?» Намеренно используя штампы из критических статей о себе, заострял тему, давая понять, что без революции не было бы такого поэта – Есенина. Он отчетливо понимал,

что именно стихия русского бунта, одинаково враждебная и старому и новому режиму, и поклонникам трона, и почитателям конституционных демократов, и большевикам (которые именно благодаря русскому бунту пришли к власти, чтобы потом подавить его железной рукой), пробудила в нем великую творческую силу. Тем тяжелее было ощущать бесславный конец русского бунта. «Что такое *наша* революция, – вещал Чекистов-Лейбман, то бишь Троцкий-Бронштейн, – если не *бешеное восстание* против стихийного бессмысленного... *против* т. е. *мужицкого корня* старой русской истории, *против бесцельности* ее (нетелеологичности), *против* ее «святой» идиотической каратаевщины – во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни... Еще десятки лет пройдут, пока каратаевщина будет *выжжена* без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат *хорошо*».

«Процесс пошел» и дошел до своей логической точки. Есенинская революция не только не свершилась, а даже еще и не начиналась. Позже Троцкий иронизировал над фразой из есенинской автобиографии 1922 года: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее...» А иронизировать было не над чем. Это святая, истинная правда, так же как и та, что русский бунт, частью раздавленный, частью выродившийся в инерционное кровопролитие, кончился, не оставив в почве живительного зерна.

И Есенин, отделив себя от своих героев – Чекистова, Номаха, Замарашкина, – остался с самим собой и с единственным воплощением русского бунта, которое мог нести в себе. С образом русского хулигана. Хулигана, все хулиганство которого состоит в том, что он по-прежнему подхвачен стихией ветра, в то время как ее никто вокруг уже не ощущает. В том, что он продолжает улыбаться, тогда как окружающие забыли, что такое добрая человеческая улыбка. В том, что он любит и жалеет зверье в эпоху, когда жизнь человеческая дешевле медного гроша. В том, что ни разу не призвал он к кровопролитию – ни в жизни, ни в стихах – не в пример всем поэтам-современникам.

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Не понадобилось слишком много времени, чтобы это стихотворение цитировала,

зачитывала, упивалась им, пародировала вся литературная и не только литературная Москва.

* * *

«Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда. Вероятно, после пожара всегда так бывает...» – писал Иванову-Разумнику, а уже всерьез подумывал об отъезде за границу.

Вместе с Дункан. С танцевальной школой. «По делу издания книг: своих и примыкающей ко мне группы поэтов, предлагая свои услуги по выполнению могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению», – как он писал в заявлении Луначарскому.

Все это был только предлог. Истина одна: он жаждал уехать. Хоть на время – но сменить обстановку. Новая атмосфера жизни становилась невыносимой. Страна негодяев, будь она проклята!

Айседора, ничего не понимая, сердцем любящей женщины чувствовала, что с Есениным происходит что-то неладное. Она, по-своему все оценивая, стала инициатором их заграничного путешествия.

Этому способствовали следующие обстоятельства.

12 апреля 1922 года мать Айседоры Дункан умерла в Париже. Узнав об этом, Дункан стала рваться в Европу и дальше – за океан. Она послала телеграмму Солу Юроку с просьбой организовать двенадцатинедельные гастроли ее, Ирмы, «великого русского поэта Есенина» и двенадцати своих учениц. В конце концов заграничные паспорта получили Есенин и Айседора, которые предварительно сходили в загс и зарегистрировали свой брак. При этом поэт получил замечательную фамилию: Есенин-Дункан.

Все это было нелепо и дико с самого начала, но и Есенину, и Айседоре было не до деталей. Кроме всего прочего, Дункан собиралась везти нового мужа за границу... для лечения. Ей казалось, что ему необходимо проверить нервы у лучших европейских специалистов.

Ирма, недолюбливавшая поэта, пыталась отговорить Дункан от того, чтобы та брала Есенина с собой. Айседора ничего не хотела слушать.

Помимо всего прочего, Есенин был чрезвычайно нужен «Дуньке» для поездки на Запад. Ей нужны были шум при ее появлении, скандалы поэта, постоянное в связи с ними внимание газет к экзотической чете. Есенин своими выходками, своей способностью привлекать внимание, дерзостью, репутацией самого лучшего и самого революционного поэта, одновременно стоящего в оппозиции к власти, – был той приманкой, той рекламой, тем магнитом, без которого поездка полузабытой «Дунканши» на Запад, все ее гастроли и вся надежда на большие гонорары были обречены на провал... Это чувствовала и сама Дункан, и, самое главное, понимали организатор поездки американский импресарио Соломон Юрок и советский его двойник Илья Шнейдер.

Есенин готовился к отъезду, заранее предвкушая встречу с русской литературной эмиграцией. Иван Грузинов запомнил один такой разговор:

– Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

– А ты руки ему не подавай! – отвечивал Сахаров.

– Я не подам руки Мережковскому, – кивнул головой Есенин, и скулы его напряглись, а глаза потемнели. – Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!

Он готовился к встрече не только со своими явными противниками. В Европе уже вовсю шла работа по разложению единого фронта русской эмиграции. Возникло движение сменовеховства, многие деятели науки и культуры протягивали руку советскому правительству. Выходила просоветская газета «Накануне», противостоявшая «Рулю» и

«Возрождению». Границу пересекали эмиссары с особыми заданиями под видом творческих командировок.

Один из таких эмиссаров уже почти год жил в Берлине – имажинист Сандро Кусиков, с которым Есенин списывается и просит дать объявление в газетах о предстоящем совместном вечере стихов.

Последние приготовления. Последние деловые письма сестре Екатерине и Гале Бениславской. Последние распоряжения относительно денег, которые могли бы поддержать семью во время его отсутствия. Все.

Глава девятая **«Молю бога не умереть душой...»**

Я перестану понимать, к какой революции я принадлежал.

С. Есенин

10 мая 1922 года была открыта первая международная линия только что родившегося Аэрофлота.

Репортерская заметка об этом примечательном событии гласила: «Аппарат с виду точно игрушечка. Каюта, в которую ведет дверь с каретным окном, похожа на вместилище старых дилижансов: друг против друга два мягких дивана на шесть мест. Вес аппарата 92 пуда. Грузоподъемность 56 пудов... Путь от Москвы до Кенигсберга приходится в 11 часов с остановками в Смоленске и Полоцке».

Айседору и Есенина провожали девочки из балетной школы с Ильей Шнейдером, ставшим за этот год импресарио и завхозом студии. Илья Шнейдер выпросил в Коминтерне единственный тогда имевшийся в Москве большой красный автобус английской фирмы «Лейланд» с лозунгом на борту: «Свободный дух может быть в освобожденном теле». Автобус въехал на весеннюю траву Ходынского поля, которое по иронии судьбы называлось аэродромом имени Л. Д. Троцкого. Вместе с Есениным и Дункан летел Пашуканис – заместитель наркома иностранных дел, самого Чичерина.

Есенин волновался и переживал. Дункан заботилась о нем как о ребенке, прихватила с собой корзину с лимонами: сосать, чтобы не укачало. Пассажиры напялили на себя специальные брезентовые костюмы (таковы были тогда правила полета) и присели на траву. Вдруг Айседора спохватилась: что случись, все-таки пробный рейс, она не оставила никакого завещания. Илья Шнейдер быстро вытащил из полевой сумки блокнот и авторучку. Айседора торопливо написала, что в случае ее смерти наследником остается ее муж – Сергей Есенин.

– Но ведь вы летите вместе, – смущенно заметил Шнейдер, – если произойдет катастрофа...

– Ах, я об этом не подумала, – расхохоталась Дункан и дописала еще одну фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин».

Они влезли в самолет, и машина с ревом двинулась по полю. Вдруг в окне показалось бледное лицо Есенина: «Лимоны забыли!» Шнейдер бросился к автобусу, схватил корзину, с трудом догнал медленно двигавшийся по неровному полю самолет и на ходу из-под крыла протянул корзину с лимонами в окно, открытое Есениным.

Самолет разогнался, подпрыгнул, оторвался от земли, и Есенин через несколько минут, затаив дыхание, увидел чуть ли не весь свой «вязевый город» с его колокольнями, бульварами, с Петровским парком и синим изгибом Москвы-реки, внутри которого сиял чистым золотом храм Христа Спасителя.

– Изадора! – закричал Есенин, перекрывая шум мотора. – Гляди, вон наша Пречистенка, полюбуйся на свой дворец!

Изадора хохотала, блестя глазами, целовала Есенина.

В тот же день вечером молодожены выехали поездом из Кенигсберга в Берлин. Утром 11 мая они уже поселились в одном из лучших отелей Берлина «Адлон», и в тот же день Есенин побывал в редакции сменовеховской газеты «Накануне», которая опубликовала репортаж об этом визите.

«Сергей Александрович о России вообще говорит кратко:

– Я люблю Россию. Она не принимает иной власти, кроме Советской. Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадёжного мещанства».

В репортаже сообщалось также, что Есенин подписал контракт с американским импресарио Юроком на ряд публичных выступлений. Заявление, конечно, было странноватым, ибо вряд ли за один день пребывания за границей Есенин уже разглядел западное мещанство и успел понять, как велики заслуги русской революции в борьбе с ним. К тому же поэт несколько слукавил, когда говорил о подписании контракта. Все переговоры с Америкой вела Айседора, но ему, видимо, неловко стало перед журналистами выступать в роли мужа, едущего посмотреть мир за счет знаменитой жены.

А на следующий день Есенин одержал свою первую победу в открытом бою над русской эмиграцией в берлинском «Доме искусств».

Там проходил литературный вечер, на котором Алексей Толстой дочитывал высокопарные воспоминания о Гумилеве:

«Я не знаю подробностей его убийства, но, зная Гумилева, – знаю, что, стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха... Хмурая тень его, негодуя, отлетела от обезображенной, окровавленной, страстно любимой Родины...»

Потом Алексей Ремизов что-то говорил о земной жизни Спасителя, но эмигрантская толпа, состоящая из стильных девиц, мелких меценатов, озлобившихся от череды неудач бывших хозяев жизни, толпа волновавшаяся, пыхтящая сигарами, пахнувшая потом и дешевыми духами, ждала скандала, ждала популярного совдеповского хулигана Сергея Есенина. Наконец-то раздались аплодисменты. Вбежавший в зал патриарх либерально-народнической поэзии Минский возвестил:

– Пришел Есенин!

Есенин вошел уверенной и легкой походкой, одетый с иголки, оглядел публику, скользнул взглядом по Минскому, заметил Эренбурга – кивнул ему, как старому знакомому, протянул руку Кусикову, обнялся с ним.

Он вошел в зал впереди Айседоры. Она – за ним. Все заметили, что муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красном платье с глубоким вырезом. Аплодисменты смешались с неодобрительным гулом. Произошло замешательство, потому что в публике были и сторонники, и противники Есенина. Вдруг ни с того ни с сего один эмигрант-неврастеник заорал во все горло, обращаясь к Айседоре и размахивая руками: «Да здравствует Интернационал!» Айседора с нелепой улыбкой помахала рукой в сторону кричавшего и крикнула: «Да здравствует!» Замешательство усилилось. Какая-то часть присутствующих вразной запела «Интернационал», тогда – официальный гимн РСФСР, другая часть тут же начала свистеть, кричать: «Долой! К черту!» Минский неистово зазвонил председательским колокольчиком. Есенин не то чтобы вскочил, а взлетел на стул, что-то закричал об «Интернационале», о России, что он, как русский поэт, не позволит смеяться над собой, что он умеет свистеть похлеще всех эмигрантов, вместе взятых: заложил в рот три пальца и действительно засвистел, перекрыв весь шум. Аплодисменты усилились. Минский из последних сил выкрикнул: «Сергей Александрович, почитайте стихи!» А Кусиков, давний друг Есенина, защищая поэта от какого-то мрачного типа, загородил Сергея собою, спрятал руки за спину и мрачно зарычал: «Отойди, а то застрелю, как щенка». Есенин спрыгнул со стула и подождал, пока зал успокоится. Айседора села в первом ряду, и Есенин начал читать. От стихотворения к стихотворению он овладевал залом. А когда закончил «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым...», весь зал уже лежал у его ног. На бис он прочитал «Песнь о собаке», а в конце

выступления, после строк: «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт», зал окончательно взорвался несмолкающими аплодисментами, и всем стало ясно, что Есенин, взявший приступом «Дом искусств», обречен во всех своих дальнейших выступлениях на абсолютный успех.

Берлин в ту пору был своеобразным отстойником, перевалочной базой русской интеллигенции, из которой кто-то ушел через границу нелегально, кто-то прибыл сюда из отделившейся Финляндии, кто-то находился в какой-нибудь бессрочной командировке от Наркомпроса. Но, встречаясь, напиваясь и споря до хрипоты, все решали для себя: что делать? То ли бросить Россию, как отрезанный ломоть, и уезжать дальше – во Францию, в Англию, в Америку. То ли все-таки возвращаться – вон, сменовеховцы уже находят что-то российское, великодержавное в действиях большевиков. А может быть, махнуть на все рукой и забыться в богемном чаду, ни о чем не думая...

В Германии жить становилось все трудней и трудней. Страна разорялась на глазах, инфляция росла, контрибуция обескровила страну, и нация со злобой, поблескивавшей в глазах ее граждан, глядела на этих русских, прожигающих жизнь. А русские еще не подозревали, что Ленин уже написал 19 мая 1922 года письмо Дзержинскому, которое начиналось так: «Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее». Политика большевиков в первой половине двадцатых годов уже определилась: изгнать из страны безнадежных противников режима и разрешить вернуться в Советскую Россию тем писателям, которые, по их предположениям, могли бы стать в той или иной степени их помощниками или в крайнем случае «попутчиками». Большевики готовы были не препятствовать возвращению тех, кто не стал бы в открыто враждебную позу по отношению к власти. Опускать «железный занавес» было еще рано, прослойка интеллигенции, открыто поддерживающей режим, была слишком тонкой и непрочной. Демьян Бедный, Серафимович, Гладков, всякого рода партийные публицисты вроде Сосновского, Воронского, Вардина – не в счет. Им и по их положению следовало быть таковыми... И вот неизвестно, по чьему сценарию, по чьему плану, по чьим распоряжениям, но в Советскую Россию один за другим возвращаются Алексей Толстой, Андрей Белый, Иван Соколов-Микитов, Виктор Шкловский, Глеб Алексеев. Случайным или стихийным этот процесс быть никак не мог, ибо люди типа Н. Бердяева, И. Ильина, С. Булгакова, уезжая якобы на два-три года в изгнание, подписывали документы, где было условие, что их возвращение в Россию невозможно, и если оно окажется нелегальным, к ним будут применены самые жесткие меры, вплоть до расстрела. Скорее всего «железный занавес» будет решено окончательно опустить после разгрома РОВСа и похищения генерала Кутепова, то есть после того, как роман с эмигрантской интеллигентской средой придет к своему естественному концу.

Пребывая в Берлине, Есенин в течение дня обычно вел достаточно деловой стиль жизни. Посещал редакции газет, оговаривал с издательствами планы издания своих книг и книг Мариенгофа. Вечером же, как правило, его ждали гости, встречи, выступления и неизбежная выпивка.

17 мая состоялась широко известная ныне встреча с Горьким. Посредником был Алексей Толстой. Именно ему Горький сказал, поглаживая усы:

– Зовите меня на Есенина, интересуется меня этот человек.

В пансионе Фишера, где Толстые жили в двух меблированных комнатах (своего жилья в Берлине, естественно, не имели), был организован завтрак для Горького и четы Есениных-Дункан. Айседора быстро захмелела, Алексей Толстой щедро подливал ей водку в стакан: рюмок она не признавала.

– За русски рэволюсс! – шумела Айседора, протягивая стакан Горькому. – Да здравствует Горки! Я буду тансоват для русски рэволюсс!

Горький чокался, хмурился, шептал Наталье Толстой-Крандиевской:

– Эта пожилая барыня расхваливает русскую революцию, как театрал – удачную премьеру. Это она зря!

Потом Дункан «тансовала», кружась и извиваясь в тесной комнате, нелепо прижимая к отяжелевшей груди букет из мятых цветов, с застывшей улыбкой на опухшем и покрасневшем лице. Есенину было не по себе глядеть на ее нетрезвые движения. Он, как бы желая избавиться от дурного наваждения, несколько раз встряхнул головой, но наваждение не пропадало, наоборот, оно в просторном платье кирпичного цвета подплыло к нему, опустилось на колени, деланно-картинно изображая из себя на людях полную покорность хозяину. Есенин глянул ей в глаза: «синие брызги», как у него самого. «Что ж ты смотришь так синими брызгами...» Но в ту же секунду ему стало жалко эту немолодую грузную женщину с детской душой, так самозабвенно влюбившуюся в него, сердце вдруг кольнуло невесть откуда взявшееся чувство вины, и он понял: вот оно, стихотворение, уже родилось, надо только его записать.

А потом Горький попросил его почитать стихи. Есенин читал как никогда вдохновенно. «Хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час... Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось».

Потом вся компания поехала в «Луна-парк», где громадные аттракционы с кривыми зеркалами и грубыми развлечениями должны были отвлекать побежденных немцев от мыслей о катастрофе, голоде, инфляции, унижении... Есенин созерцал весь этот кошмар, как показалось Горькому, с одной целью: «Человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть».

Воспоминания Горького – одни из самых ярких страниц мемуарной литературы о Есенине. Но даже Горький не понимал поэта до конца. Они встретились в Петрограде в 1915 году – тогда Горький очень приблизительно понял, что собой представляет Есенин. Есенин приехал в Петроград завоевать его, утвердиться в русской поэзии как один из лучших ее поэтов. Он был полон уверенности в себе и в своем таланте, а на Горького произвел впечатление слабого и скромного юноши, «растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что ему не место в огромном Петербурге».

Горький в своих мемуарах все время недоумевает: стихи Есенина понравились ему еще в 1915 году, но «не верилось, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик». Стихи Есенина потрясли его в Берлине, но «не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства». В конце концов Горькому и после смерти Есенина не верилось, что Есенин – поэт общенародный, общерусский, поэт мировой ноты, он все-таки решил, что Есенин всего лишь навега поэт обреченного на гибель русского крестьянства, кстати сказать, не любимого самим Горьким.

Горький восторгался есенинским чтением в Берлине, однако несколько месяцев спустя писал Елене Феррари: «Есенин – анархист, он обладает „революционным пафосом“, – он талантлив. А – спросите себя: что любит Есенин? Он силен тем, что ничего не любит, ничем не дорожит. Он, как зулус, которому бы француженка сказала: ты – лучше всех мужчин на свете! Он ей поверил, – ему легко верить, – он ничего не знает. Поверил – и закричал на все, и начал все лягать. Лягается он очень сильно, очень талантливо, а кроме того – что? Есть такая степень опьянения, когда человеку хочется ломать и сокрушать, ныне в таком опьянении живут многие. Ошибочно думать, что это сродственно революции по существу, это настроение соприкасается ей лишь формально, по внешнему сходству».

А пока – пока Горький просит его еще почитать стихи:

«Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали...

– Я не устаю от стихов, – сказал он».

Действительно. Есенин уставал от друзей, от гонений, от женщин. От стихов – никогда. В любом месте, в любом настроении он по первой просьбе читал их, если его об этом просили. Объяснение тому может быть только одно. Собственные стихи были для его души своеобразным кислородом. Он оживал, вспоминая их, приходил в себя от усталости или

хмеля. Он готов был несколько раз повторить одно и то же полюбившееся слушателям стихотворение. Во время чтения он как бы заново еще раз переживал всю свою жизнь, он «бледнел от волнения», сжимал пальцы так, что из ладоней чуть ли не сочилась кровь, едва-едва в обморок не падал; его уши, как заметил Горький, «даже становились серыми» – от них отливала кровь. Чтение стихов было для него не театром, но как бы напряженным продолжением жизни. Скорее жизнь для Есенина была театром, а стихи и чтение их – жизнью. Он не думал во время чтения о соблюдении достоинства, как Блок, чтение стихов для него, в отличие от Маяковского, не было работой, а являлось скорее мучительным наслаждением... Он в это время будто пил кровь из самого себя и за счет этого молодец, оживлялся, трезвел, становился то страшным, то обаятельным в своем самозабвении. Вот почему берлинский эмигрантский люд, встречая его почти враждебно в своих залах и ресторанах, провожал всегда восторженно и влюбленно. Есенин хорошо знал эту свою силу.

Первые полтора месяца Есенин с Дункан жили в Берлине и путешествовали по Германии. Дункан при всем своем показном подчинении «русскому гению», «черту», «ангелу» ничего не могла поделать со своей властной, капризной и до предела ревнивой натурой. Н. Крандиевская-толстая, с женской проницательностью наблюдавшая их отношения, писала: «Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина, не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?»

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства».

Есенин сталкивался с ее ревнивым, властным характером постоянно и жаловался в письмах к Илье Шнейдеру: «У Изадоры дела ужасны... Имуущество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест... Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии – истерика». «Она ревнует – ко всякому и ко всякой. Она не отпускает его от себя ни на шаг. Есенин прогоняет ее – взглядом.

– Проклятая баба, – произносит он вполголоса» (из воспоминаний Е. Лундберга).

Она умела разыгрывать роль слабой и отчаявшейся женщины, униженной русским гениальным дикарем и ради своей любви к нему прощающей все унижения. Алиса Коонен вспоминает, как однажды она и Таиров, только что приехав вечером в Берлин, подымались по лестнице отеля «Кайзерхоф». Сверху вниз по ступеням пронесся в цилиндре и в крылатке Есенин, а наверху в коридоре они увидели босую, в халате, плачущую Дункан, тихо повторяющую то ли для себя, то ли для них: «Серьожка меня не любит!»

И однажды произошло то, что должно было произойти. Сандро Кусиков ворвался ночью к Толстым и потребовал взаймы сто марок.

– На жизнь. Есенин сбежал от Айседоры. Мы окопались в пансиончике на Уландштрассе, но прошу не выдавать, выпиваем понемножечку, стихи пишем.

Однако Айседора знала, что делать. Она села в машину и за три дня объездила все отели и пансионаты Берлина. Наконец нашла беглецов и ночью с хлыстом, как разъяренная амазонка, ворвалась в тихий семейный пансионатик. Хозяева и жильцы спали, лишь полуночники-поэты за бутылкой пива спокойно резались в столовой в шашки. Их окружал бургерский уют: сервизы, кофейники на застекленных полках, старинные часы, кружева, вышитые салфеточки... И в эту тишину, в этот почти старонемецкий уют, насыщенный запахами кофе и темного дерева, как ведьма с Брокена, как революционная буря, ворвалась Айседора. Есенин поднял глаза и тут же шмыгнул в какой-то темный коридорчик. Кусиков рванулся за помощью и спасением к хозяйке, но за несколько минут до ее прихода Дункан успела разгромить всю столовую – коллекционные сервизы были разбиты вдребезги, часы сорваны со стены, кружева растерзаны, шашки с бутылками пива выброшены в окно. Потом Айседора двинулась в коридор и вытащила оттуда Есенина, прятавшегося за гардеробом.

– Немедленно покиньте этот публичный дом и следуйте за мной, – сказала она по-французски.

Есенин все понял, молча надел цилиндр, накинул крылатку и покорно пошел за разгневанной супругой. Кусиков остался как залог за ущерб, причиненный хозяевам. Счет за разгром, присланный через два дня на имя Айседоры, был ужасен. Дункан расплатилась, приказала погрузить в два «мерседеса» чемоданы и коробки, и кавалькада тронулась к Парижу. Но поскольку французские визы еще не были получены, решено было заехать в Кельн и Страсбург, а потом в Бельгию и Голландию. Позади остались ошарашенные и долго еще вспоминавшие набег Есенина и Дункан на Берлин Роман Гуль, Илья Эренбург, Ирина Одоевцева, Николай Оцуп, Юрий Морфесси и другие, те, кто считал своим долгом написать воспоминания об этих днях.

Как в наркотическом сне пролетели перед взором Есенина великие немецкие города, «священные камни Европы», все эти Висбадены, Дюссельдорфы, Кельны. Не потому, что он бывал пьян, он и трезвый-то на них не глядел. Разве только в письмах, рядом с датой, они обозначены, а так – никаких впечатлений. Что ему замки да соборы, если кругом «ужаснейшее царство мещанства», если «человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет». Зачем ему этот Запад, который и знать не знает, и в упор не видит поэзии, которой он, Есенин, отдал всю жизнь.

Двухмесячный кусочек жизни с конца июля по конец сентября, когда Айседора с Есениным приехали в Париж и оттуда совершили поездку по Италии, – один из самых малоизвестных периодов жизни поэта. Дело в том, что в Париже и в Италии, в отличие от Берлина, тогда еще почти не было русских писателей-эмигрантов. Почти не с кем было встречаться. Ростовский еврей В. Рындзюн (писавший под псевдонимом «А. Ветлугин»), которого они захватили с собой из Берлина, чтобы он был гидом и переводчиком между Есениным и Дункан, ничего достоверного и фактического в своих воспоминаниях не рассказал. Кстати, два слова о нем. Это был мелкий писатель, циничный журналист и авантюрист по натуре. Он и к Есенину с Айседорой прилип в Берлине, обещая им свои услуги лишь для того, чтобы «на халяву» добраться до Америки. Поэт Дон Аминадо весьма проницательно писал о нем: «Автору „Записок мерзавца“ вообще и всегда все было смешно. А еще и потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил и, значит, опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в теплой, хотя и противоестественной компании, это, согласитесь, не каждый день и не со всеми случается».

Плодовитый беллетрист Ветлугин был автором нескольких поверхностных, но достаточно лихо написанных книг – «Записки мерзавца» (1922 год, посвящена Есенину и Кусикову), «Третья Россия» (1922 год), «Авантюристы гражданской войны» (1921 год). По поводу последней книги Иван Бунин писал: «Нынешний Ветлугин смотрит на мир ледяными глазами и всем говорит:

– Все вы черт знает что, и все идите к черту!»

А в «Записках мерзавца» Ветлугин, как бы продолжая монолог Чекистова из «Страны негодяев», исповедовался: «Я ненавижу Россию, я бесконечно равнодушен к судьбе моих родных, у меня нет друзей, есть собутыльники, и их не жалко».

Вот таков был спутник Есенина на всю его дальнейшую поездку. Но надо отдать ему должное – он в отличие от Мариенгофа понимал разницу между Есениным и собой. И в письме поэту, отсланном уже после возвращения Сергея в Москву, писал: «Ты еще в революции. А я уже на „отмели времен“... Мне мое имя – строка из паспорта, тебе – надпись на монументах... Быть Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и так далее. И в этом мое расхождение с тобой... Это не трактат о „Ты“ и „Я“. Просто объяснение – почему мы никогда не смогли бы сойтись. О тебе вспоминать всегда буду хорошо, с искренним сожалением, что меряешь на столетия, а проходишь мимо дней».

Наиболее ценный и, видимо, объективный портрет Есенина этого времени дает полячка Лола Кинел в своей книге «Под пятью орлами» (1937 год). Лола приехала к Айседоре летом

1922 года, чтобы выполнять при актрисе обязанности секретарши. Она хорошо знала русский язык и оставила превосходное описание того, как Есенин читал в Брюсселе отрывки из «Пугачева». Она была свидетельницей «трезвого» (почти двухмесячного) периода его жизни во время поездки всей компании из Франции в Италию. Однажды в Венеции на прогулке в гондоле Есенин вспоминал свою жизнь в России. «Его голос был тихим, и глаза его были мечтательными, и в нем было то, что заставляло меня думать, что душа его похожа на душу ребенка, таинственно мудрую, но нежную». В эту ночь, по словам Лолы Кинел, Есенин вспоминал свое детство, лица того времени и самое прекрасное лицо, которое он когда-либо видел в своей жизни: лицо юной монахини в православном монастыре. Он размышлял о живых и мертвых словах в языке, о всегда живом языке крестьян, странников, воров, пел народные песни. Однажды в гостинице «Лидо» на берегу Адриатики Есенин читал вслух стихи Пушкина.

Из воспоминаний Лолы Кинел, перепечатанных у нас в 1995 году:

«Затем дошли до стихотворения, в котором было слово „Бог“. Вспомнив что-то смешное, Есенин усмехнулся и сказал:

– Большевики, вы знаете, запретили использовать в печати слово «бог». Они даже издали декрет по этому поводу. Раз, когда я показал свои стихотворения, редактор вернул их мне, требуя всех «богов» заменить другими словами... Другими словами!

Я засмеялась и спросила, как же он поступил.

– О, я просто взял револьвер, пошел к этому человеку и сказал ему, что декрет или не декрет, а ему придется печатать вещи как они есть. Он отказался. Тогда я поинтересовался, случалось ли ему получать по морде, и сам пошел в наборный цех и поменял шрифт. Вот и все.

Услышав наши голоса и смех, Айседора вернулась с балкона и захотела узнать, в чем дело. Она с минуту помолчала и, к моему удивлению, сказала по-русски:

– А большевики прав. Нет бога. Старо. Глупо.

Есенин усмехнулся и сказал с иронией, как бы разговаривая с ребенком, который старается казаться взрослым и умным:

– Эх, Айседора! Ведь все от Бога. Поэзия и даже твои танцы.

– Нет, нет, – убежденно ответила Айседора по-английски. – Скажите ему, что мои боги – Красота и Любовь. Других – нет. Откуда ты знаешь, что есть бог? Греки это поняли давно. Люди придумывают богов себе на радость. Других богов нет. Не существует ничего сверх того, что мы знаем, изобретаем или воображаем. Весь ад на земле. И весь рай.

В это мгновение Айседора, прекрасная и яростная, была сама похожа на кариатиду. И вдруг она простерла руки и, указывая на кровать, сказала:

– Вот бог!»

Может быть, вспомнив этот разговор, он тогда и написал с горечью:

Наша жизнь – простыня да кровать.

Наша жизнь – поцелуй да в омут.

Но иногда, как вспоминает Лола Кинел, они спорили о весьма серьезных вещах.

«Есенин и Айседора беседовали как-то об искусстве. Есенин сказал:

– Танцовщица не может стать великим человеком, ее слава живет недолго. Она исчезает, как только умирает танцовщица.

– Нет, – возразила Айседора. – Танцовщица, если это выдающаяся танцовщица, может дать людям то, что навсегда останется с ними, может навсегда оставить в них след, ведь настоящее искусство незаметно для людей изменяет их.

– Но ведь они умерли, Айседора, те люди, кто видел ее, и что? Танцовщики, как и актеры: одно поколение помнит их, следующее читает о них, третье – ничего не знает.

Я переводила, а Айседора слушала, как всегда полная внимания и симпатии к Есенину. Он медленно поднялся, прислонился к стене и, сложив руки – была у него такая привычка при разговоре, – нежно посмотрел на нее и сказал:

– Ты – просто танцовщица. Люди могут приходиться и восхищаться тобой, даже плакать. Но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя великая слава испарится. И – никакой Айседоры!

Все это он сказал по-русски, чтобы я перевела, но два последних слова произнес на английский манер и прямо в лицо Айседоре, с очень выразительным насмешливым жестом – как бы развеивая останки Айседоры на все четыре стороны...

– А поэты – продолжают жить, – продолжал он, все еще улыбаясь. – И я, Есенин, оставлю после себя стихи. Стихи тоже продолжают жить. Такие стихи, как мои, будут жить вечно.

В этой насмешке и поддразнивании было что-то слишком жестокое. По лицу Айседоры пробежала тень, когда я перевела его слова. Неожиданно она повернулась ко мне, и голос ее стал очень серьезен:

– Скажите ему, что он не прав, скажите ему, что он не прав. Я дала людям красоту. Я отдавала им душу, когда танцевала. И эта красота не умирает. Она где-то существует... – У нее вдруг выступили на глазах слезы, и она сказала на своем жалком русском: – Красота ни умирай!

Но Есенин, уже полностью удовлетворенный эффектом своих слов – оказывается, у него часто появлялось нездоровое желание причинить Айседоре боль, унижать ее, – стал сама мягкость. Характерным движением он притянул к себе кудрявую голову Айседоры, похлопал ее по спине, приговаривая:

– Эх, Дункан...

Айседора улыбнулась. Все было прощено».

На нескольких фотографиях, снятых на пляже Адриатического моря, Айседора выглядит довольной, скучающей, пресыщенной светской львицей. А у Есенина везде грустное, где угрюмое, а где усталое лицо человека, который тяготится и пляжем, и Венецией, и Айседорой. Поездка по Европе затягивалась, визы в Америку еще не были готовы, а в России шел суд над его бывшими друзьями эсерами.

А между тем, находясь за границей без друзей и собеседников, поэт позволял себе весьма рискованно «шутить» с полькой Лолой, видимо, понимая, что ей можно довериться.

«По дороге домой мы с Есениным пели русские песни, и гондольер, изумленный соперничаньем в занятии, которое было его работой, все же аплодировал от всего сердца. Спустя некоторое время Есенин, будучи все еще в разговорчивом настроении, снова завел беседу о России. Но теперь это был другой Есенин. Поэт, который казался простоватым, наивным и вместе с тем мудрым, поэт, с которым я общалась на протяжении часа, а может быть, и двух, – исчез. Теперь это был обычный, хорошо знакомый мне Есенин: вежливый, уклончивый, строящий из себя дурачка, но достаточно скрытный, с лукавинкой в уголках глаз. Он говорил о большевизме, и я спросила его, знал ли он Ленина.

– Ленин умер, – ответил он мне шепотом.

Я чуть не подпрыгнула от удивления. Шел 1922 год. Ленин был очень болен. Он был окружен известными немецкими врачами: время от времени в газетах можно было прочитать их официальные бюллетени.

– Зачем вы так шутите, Сергей Александрович?

Мы говорили шепотом, будто боялись, что кто-нибудь подслушивает.

– Я не шучу. Уже год, как он умер, – послышался ответный шепот. – Но мы не можем допустить, чтобы это стало известно, потому что большевизм сразу бы

тогда потерял силу. Нет на его место достаточно сильного руководителя. Неужели вам это непонятно?

– Но, Сергей Александрович, такую вещь трудно скрыть. Даже невозможно. Можно это скрывать в течение нескольких дней, может быть, недель, но не больше.

– Нам это удалось. Пришлось скрыть. Никто об этом не знает. Только несколько надежных людей. – Он говорил голосом заговорщика, и только тут я начала понимать его подвох. Но, вместо того чтобы протестовать, я притворилась обманутой. Я хотела послушать дальше. Это казалось таким интригующим.

– Видите ли, – продолжал он тихим голосом, – если спустя некоторое время кто-нибудь попытается дознаться, врачи впустят его на минуту и покажут, что Ленин спит. А он не спит. Он набальзамирован. Умер! Искусно набальзамирован. Это сделали немцы. На бальзамирование у них ушло несколько недель. И вот так откладывается извещение с недели на неделю, пока мы не сумеем найти сильного руководителя. Большевизм не может существовать без сильного человека. Тем временем они продолжают публиковать бюллетени о «постепенном ухудшении». Неужели вы этого не заметили? Неужели вы не обратили внимания, как мало людей допущено к нему? Что нет интервью?

Я была в восторге. Что за выдумка! Даже если это просто подвох, как здорово придумано! Он возбудил мое воображение.

Тихий голос продолжал:

– Но если вы хоть слово пророните – умрете! Известно, как это делается. У нас повсюду шпионы!

Я не сказала ни слова. По спине у меня побежали мурашки. Я была восхищена, и в то же время мне хотелось смеяться. Есенин сидел, не скрывая улыбки удовлетворения...

В ту ночь я так и не смогла уснуть – рассказ, столь фантастический и вместе с тем вполне правдоподобный, волновал мое воображение. До сих пор мне это кажется вероятным. Какая интрига, будь она правдой!»

До поездки в Америку Есенин и Дункан живут в Париже, несколько раз он встречается с поэтом и переводчиком Франсом Элленсом, который пытается переводить стихи Есенина. 27 сентября поэт и танцовщица наконец-то погружаются на пароход «Париж», стоявший на рейде в Гаврской гавани. Этот многопалубный пароход был «Титаником» своей эпохи. Его корабельный ресторан, по словам Есенина, был размерами с Большой театр, он вмещал громадные залы библиотек, казино, бассейны, типографию, танцевальные залы, оранжереи, бойню для коров и свиней, чтобы пассажиры парохода ели только свежее мясо. Даже самолет стоял на палубе «Парижа», для тех, кто пожелал бы попасть в Нью-Йорк на двадцать четыре часа раньше. Целую неделю в этой роскоши, фантастической после голодных лет военного коммунизма и прудразверстки, добирался Есенин до Америки.

Из газеты «Последние новости»: «Вчера прибыла в Нью-Йорк известная танцовщица Айседора Дункан в сопровождении поэта Сергея Есенина. Представители иммиграционного ведомства запретили Дункан и Есенину сойти на берег и распорядились об отправке путешественников на Эллис-Айленд, где будет произведено дознание в связи с полученными сведениями, что оба прибыли в Америку для коммунистической пропаганды.

Дункан резко протестовала, категорически опровергая слухи о ее близости к советскому правительству. Танцовщица указывала, что она не раз критиковала коммунистический режим. Она ссылалась на то, что, как урожденная американка, она, согласно недавно принятому конгрессом закону, сохраняет права американского гражданства и по выходе замуж за иностранца... Протестовал и Есенин. Чета оставлена была на пароходе, где провела ночь. Сегодня ожидается окончательное решение властей о судьбе московских гостей».

Видимо, кто-то из Европы «стукнул» в Вашингтон о том, что в Америку едут большевистские агитаторы. Но инцидент лишь добавил известности Есенину и Айседоре. Целый день на пароход валили валом журналисты с блокнотами, фотоаппаратами и

кинокамерами. К вечеру супругам принесли около двадцати газет с их портретами и огромными статьями о них. А на другой день утром задержанных отправили на «остров слез» – Эллис-Айленд, проходить всяческие полицейские процедуры. Есенин с Айседорой и Ветлугиным сели на скамейку в ожидании чиновника, а когда тот вышел, Сергей зажал рот от смеха: чиновник был совершенно гоголевский.

– Смотри, – сказал Есенин Ветлугину, – это Миргород, сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены.

Но чиновник неожиданно на чисто русском языке приказал:

– Мистер Есенин, подойдите к столу.

Обомлевший Есенин встал со скамьи.

– В Бога верите?

Есенин растерянно оглянулся на спутников.

– Да.

– Какую власть признаете?

Поэт пробормотал о том, что он вне политики, но потом догадался произнести слова «народная власть».

Чиновник, обращаясь к Есенину, как к новобранцу, принимающему присягу, предложил ему повторить за ним слово в слово:

– Именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участие.

Напоследок с них взяли подписку нигде на выступлениях не петь «Интернационала». Есенин, Дункан и Ветлугин подписались...

– Миргород! Миргород! Свинья спасла!

«Когда мы сели в автомобиль, – пишет Есенин, – я сказал журналистам: „Mi laik America“».

Через десять минут они были в «Валдорф-Астории» – самом роскошном отеле Нью-Йорка на Пятой авеню.

* * *

В первые дни жизни в Нью-Йорке Есенин пытается, как и в Берлине, заняться издательскими делами, встречается с переводчиком А. Ярмолинским и делает ему предложение об издании в его переводах сборника стихов и поэм. Абрам Ярмолинский удивился этому предложению. Он не предполагал, что поэт так наивен и не знает, что никакая книга стихотворений не будет иметь ни успеха, ни спроса в Америке: «Я не принял всерьез это предложение. Но оказалось, что он действительно верил в возможность издания сборника».

Они встречаются в отеле, Есенин передает Ярмолинскому маленькую рукопись – восемь стихотворений и поэму «Кобыльи корабли». Но вскоре, чуть обжившись в Америке и побывав на нескольких концертах с Дункан, Есенин и сам понял, что никому здесь его стихи о России не нужны. «Дальше составления рукописи Есенин не пошел. Передав ее мне, он, видимо, потерял интерес к своей затее, и мы больше не встречались», – вспоминал переводчик.

Есенин очень быстро потерял интерес не только к этой затее, но и к Ярмолинскому, и к Америке вообще. Поскольку через две недели после высадки в Эллис-Айленде уже пишет знаменитое письмо Анатолию Мариенгофу:

«О себе скажу (хотя ты все думаешь, что говорю я для потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь... Здесь имеются переводы тебя и меня в издании „Modern Russian Poetry“, но все это убого очень. Знают больше по имени, и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи. По-видимому, евреи самые лучшие ценители искусства...»

Написал Есенин эти слова и задумался. Да, в Берлине он все-таки, в основном, был в окружении пускай враждебной белой эмиграции, но все-таки в русской среде. А здесь –

здесь ему придется искать понимания в еврейской, коренная русская эмиграция еще не добралась до Нью-Йорка. Впрочем, что это он расстроился? И его бывшая жена – еврейка, и любовницы были в основном – еврейки. Так что как-нибудь приживемся, Бог не выдаст – свинья не съест. Скорее бы только им с Изадорой заработать денег на обратную дорогу, развязаться с контрактами – и в Россию. Изадора, дрянь, все хвалилась «банки, замки!», а сидим без копейки, все просадили в Европе. Теперь одно спасение – гастролы, как с Мариенгофом в 1919 году. Только тогда Мариенгоф возле него кормился, а теперь он, Есенин, возле Дунканши. Раздосадованный от подобных мыслей, Сергей закончил письмо, поставил точку и сплюнул.

* * *

Со 2 по 18 октября Сергей Есенин постоянно живет в Нью-Йорке. 7 октября он присутствует на первом из четырех намеченных представлений, которые дала Айседора в концертном зале Карнеги-холл. Если верить газетной заметке, Есенин тоже ненадолго вышел на сцену в высоких сапогах и русской рубашке, его шея была обмотана длинным шарфом. Айседора представила его зрителям как великого поэта великой революционной России, он откланялся и ушел за кулисы, а она произнесла страстную речь в защиту Октябрьской революции. Зал раскололся. Одни шикали и свистели, другие – аплодировали. Соломон Юрок – организатор всего турне, вытирал пот со лба и не знал: то ли ему расстраиваться, то ли радоваться. Конечно, любой скандал будет подхвачен завтрашней прессой и привлечет много зрителей на следующий концерт. Айседора уже не та: обрюзгла, отяжелела, и танцы ее, увы, уже не очаровывают зрителей. Им гораздо интереснее узнать, что делается в России, так что пускай говорит, митингует. А с другой стороны, если наговорит лишнего и власти запретят дальнейшие выступления, он прогорит, заплатит неустойку. Ведь билеты уже проданы, и за все залы заплачено вперед. А танцует она тяжеловато не только из-за возраста. Богемная жизнь не прошла для нее даром: перед началом спектакля прямо заявила ему – не буду танцевать, если не взбодрюсь шампанским или, в крайнем случае, виски. А в Америке – сухой закон. Пришлось искать бутлегера, переплачивать.

В симфоническом павильоне Бостона, куда собралось 10 тысяч зрителей, Айседора вышла на сцену в блестящей кожаной куртке с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. Этот костюм под названием «а-ля большевик» ей сшил законодатель парижских мод Поль Пуаре. Есенин смотрел на нее из-за кулис, нелепую в этом клоунском наряде, и вспоминал свою строчку: «Мать моя родина, я – большевик», морщился, словно от зубной боли. Когда она, вскинув руки, закричала слегка хриловатым от закулисного глотка голосом: «I am red, red!» (Я – красная, красная) – публика на галерке взревела от восторга и хлынула в партер, требуя исполнения «Интернационала». Но тут распахнулись двери огромного павильона, в зал въехала конная полиция и начала разгонять толпу. А Есенин в это время, решив утопить отчаяние в озорстве, открыл окно туалетной комнаты, высунул красный флаг и стал размахивать им, крича: «Да здравствует Советская Россия! Да здравствует большевизм!»

После концерта и организатору, и актерам пришлось писать объяснение в полицейском участке.

23 октября Есенин и Дункан отправились в путешествие по северо-восточным штатам, но перед отъездом состоялось весьма любопытное свидание Есенина с Бурлюком – одним из вождей русского футуризма, другом молодости Маяковского, потрясавшим когда-то, еще до Первой мировой войны, своими скандальными выступлениями аудитории Москвы, Питера, Харькова.

Бурлюк позвонил в гостиницу, представился Есенину и напросился на визит. Есенин вспомнил некогда скандальную строчку его стихов «...мне нравится беременный мужчина» и недобро усмехнулся: приходите, я вас жду. Постаревший Бурлюк, растерявший в Америке весь свой бойцовский футуристический задор и свою молодую наглость, для храбрости

пригласил с собою к Есенину молодого поэта, американского коммуниста Мориса Мендельсона. Мендельсон встретился с Бурлюком в холле гостиницы и с удивлением подметил, что в Давиде Давидовиче произошла какая-то перемена: «Он стал как будто совсем не такой, каким я его знал раньше. Бурлюк всегда говорил громко и ходил твердым шагом. А теперь в нем появилась какая-то неуверенность. Постояв минутку, а то и две перед дверью есенинского номера, Давид Давидович тихонько постучал». Бурлюк несомненно робел перед встречей с Есениным. Когда они с Мендельсоном вошли в номер, Есенин посадил их так, чтобы оба посетителя сидели все время лицом к громадным окнам, за которыми слышался неумолкаемый гул города. А сам поэт сел в кресло перед ними, чтобы не видеть ни города, ни площади за окнами.

С первых же слов беседа стала какой-то напряженной, вымученной и безрадостной для участников. В речи Бурлюка то и дело проскальзывали заискивающие нотки. Сидел он очень неестественно, на самом кончике стула и все время предлагал Есенину какие-то услуги в качестве гида, предлагал ему показать всяческие достопримечательности города, но говорил обо всем столь робко и неубедительно, словно бы опасался, что Есенин просто не захочет иметь с ним дело. «Мне стало невыносимо тяжело, – пишет Мендельсон. – Мучил стыд за немолодого человека, продолжавшего сидеть на кончике стула, – словно по первому слову Есенина он готов был вскочить на ноги». Но Есенин слушал Бурлюка молча, иногда отделялся краткими репликами, холодно благодарил, но вместе с тем просил не утруждать себя. Он при разговоре даже ни разу не обернулся к городу, ни о чем не переспросил и вел себя так, как будто бы заставлял пришельцев понять: то, что происходит за стенами гостиницы, его совершенно не интересует.

Бурлюк, не понимая, в чем дело, снова и снова, как бы беря на себя обязанности полномочного представителя Америки, что-то говорил о достопримечательностях, а Есенин все явственнее раздражался. И когда Давид Давидович в который уже раз повторил: «Так что же Сергей Александрович желал бы увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?» – Есенин наконец-то взорвался. «Он вскочил с места, пробежал по комнате, затем в неожиданной категорической форме – от первоначальной куртуазности не осталось почти следа – объявил: никуда здесь он не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем».

Но даже взволнованно мечась по комнате, Есенин ни разу не подошел к окну, не поглядел на город, словно еще раз хотел доказать Бурлюку, что ему и впрямь нет никакого дела ни до нью-йоркской толпы, ни до потоков машин, ни до небоскребов, ни до самого Бурлюка.

Обидевшись за своего учителя, которого он весьма уважал, молодой Морис Мендельсон, до сих пор молчавший, вступил в разговор. Неужели Есенину не интересно, как здесь живут люди, в каком настроении они возвращаются домой после дня изнурительной работы? Есенин неожиданно для Мориса внимательно выслушал его и даже улыбнулся, как бы поощрив юношескую наивность, но еще раз твердо повторил, что ему совершенно нет дела до того, что творится там. И показал рукою за окно.

Много позже, когда Мендельсон прочитал «Железный Миргород», он понял, что Есенин был потрясен Америкой. «Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды».

После Бостона Есенин и Дункан побывали в Чикаго, где Есенину особенно запомнилась скотобойня. В ноябре Дункан выступала в Индианаполисе – танцевала на банкете перед местными бизнесменами в полупрозрачном хитоне, чем вызвала недоумение и даже возмущение у пуританской части зрителей. Танцевала она одновременно и «распущенно и равнодушно», по словам Юрока. А Есенин, предварительно выпивший, от расстроенных чувств во время отъезда прямо на вокзале начал читать свои стихи, собрал толпу любопытных, но поскольку никто из них русского языка не понимал, то все постепенно разошлось, оставив поэта одного, с чувством досады и какого-то непристойного

конфуза. «Набиваюсь я к ним в душу, как Бурлюк набивался ко мне», – подумал Есенин и решил в дальнейшем не открывать даже рта перед американцами.

Проехав в угнетенном состоянии еще несколько городов – Кливленд, Милуоки, Детройт, где Айседора танцевала под музыку Бородина и Листа, – они вернулись под Новый год в Нью-Йорк. Соломон Юрок был недоволен последними выступлениями. Публики приходило все меньше и меньше, сборы падали, надо было возвращаться домой. Но перед отъездом Есенин получил приглашение выступить перед небольшой аудиторией на квартире у еврейского поэта Мани-Лейба и, к несчастью, принял это приглашение, стосковавшись по встрече с людьми, хоть немного понимающими русский язык. Да и время надо было убить: они ждали разрешения от французского консульства на возвращение через океан во Францию. Конечно же Есенин ходил в кино, смотрел вестерны, но как же ему хотелось прочитать кое-что новое, написанное им здесь, в Америке, людям, которые поймут его. Ведь от тоски в последние несколько дней он каждый вечер спускался в ресторан и выпивал с понравившимся ему негром. Негр не понимал ни слова по-русски, но очень добродушно улыбался Есенину. Сергею это нравилось, и каждый вечер они, пошатываясь, расставались, довольные друг другом.

* * *

О роковом вечере на квартире Мани-Лейба осталось несколько весьма различных по достоверности воспоминаний. Роман Гуль и Абрам Ярмолинский там не присутствовали и писали обо всем, что произошло, неполно и неточно, с чужих слов, иногда выдавая за правду выдумки и домысливая кое-что. Ветлугин, видимо, присутствовавший при происшедшем скандале в Бронксе, говорит только о том, что у Есенина случился тогда эпилептический припадок: то есть он повторяет версию, которую придумал сам Есенин на другой день в извинительном письме к Мани-Лейбу. О подробностях и причинах скандала Ветлугин умалчивает. Наиболее честные и подробные мемуары об этом вечере написаны Вениамином Левиным, который знал Есенина еще по Питеру 1917–1918 годов, где работал в левоэсеровских изданиях, печатавших тогда стихи Есенина. Жена Левина дружила с Зинаидой Райх. Левин эмигрировал в Америку из Китая, еще в Китае из шанхайской газеты, издававшейся на английском языке, он узнал о том, что Есенин в Америке. Левин обрадовался. Он искренне любил поэта и, пока добирался до Нью-Йорка, сначала через океан, а потом пересекая Канаду, даже написал о нем стихи:

Заплаканная Русь без хлеба
Взыскующе свой стелет след,
И в песне слышится обет.

.....

И по тропиночке из мхов
Гуляет с Гоголем – Есенин...

Как только Левин прибыл в Нью-Йорк, он сразу же разыскал телефон отеля «Вашингтон» и позвонил Есенину. Через час Левин с женой и его брат Миша были уже в отеле.

«Мы горячо обнялись, оба были несказанно рады чудесной встрече в Нью-Йорке после Москвы 1918 и 1920 годов. Я был так счастлив, что едва заметил его новую подругу, которая, насколько помню, удивлялась горячему выражению наших дружеских чувств».

Отметим, что Левин был человеком простодушным, сентиментальным, любящим Есенина, и потому очень подробно описал все, что произошло на злополучной вечеринке. Ему можно верить. А то, что он по происхождению был евреем, еще больше укрепляет

объективную ценность его рассказа. Нельзя не обратить внимания и на то, что Левин, прежде чем перейти к описанию вечера, несколько очень теплых страниц посвящает воспоминаниям о дружеских встречах с Есениным в России и еще несколько страниц – весьма тонкому и глубокому анализу стихов и поэм Есенина, чрезвычайно высоко оценив его как поэта и оправдав все изъяны его характера. Он даже распад есенинской семьи поставил в вину не поэту, а Зинаиде Райх. Левин закрыл глаза на «богохульство» Есенина и нашел, что его поэзия исполнена христианских чувств. Он принял его вместе с Айседорой – «личностью тоже трагической». «Это была конгениальная пара», – писал Левин. И заключал: «Венцы славы витали вокруг них, а тут же рядом – ненависть и злоба». Есенин чувствовал искреннее отношение к себе Вениамина Левина. И насколько он не сошелся с двумя другими еврейскими литераторами Бурлюком и Ярмолинским, настолько полюбил и приблизил к себе русского еврея Левина. Они встречались в отеле чуть ли не каждый день, Есенин ходил к Левину в гости, они строили планы о создании будущего издательства. Изадора уже собиралась дать им на издательство 30 тысяч долларов из 60, которые пообещал ей ее бывший муж – Зингер – на устройство бедствующей московской балетной школы. Но пока Левин только устраивался в Нью-Йорке, и однажды Есенин, внимательно поглядев на него, вышел в другую комнату и вернулся с бумажкой в сто долларов.

– Это Вам пока... Я ведь Вам должен много.

– Вы мне ничего не должны.

– Нет должен, Вы мне не раз давали.

Благодаря особому знанию единоплеменников, Левин ощущал, что вокруг Есенина и Дункан в те дни собирались какие-то тучи. Он пишет об этом так: «Где-то чувствовались вокруг них люди, которым нужно было втянуть их в грязную политическую борьбу и сделать их орудием своих страстей. В такой свободной стране, как Америка, именно в те дни трудно объяснить людям, что можно оставаться прогрессивными и все-таки быть против коммунистической политики, пытающейся все вовлечь в свою сферу, удушить все, что не подходит под их норму... Но Есенин не дался. И они это запомнили».

Читаешь этот отрывок, и постепенно проясняется механизм интриги. Левин знал, что одна русская нью-йоркская «левая» газета предложила Есенину устроить литературное выступление и даже дала ему аванс. Поэт сначала согласился, но потом решил не связываться с партийной газетой и аванс вернул. Он позволял себе кричать на выступлениях о своем большевизме, но иметь дело с «левыми» революционными течениями «бывших русских» не захотел. А ведь именно Морис Мендельсон, пришедший к Есенину с Бурлюком, представлял полулегальный коммунистический еженедельник «Новый мир». А Давид Бурлюк работал в ежедневном «Русском голосе», газете, также относившейся к Советской России благожелательно. Так что, не пойдя на контакт с Мендельсоном и Бурлюком, эмиссарами американских левотроцкистских кругов, «большевик» Есенин как бы демонстративно отказался сотрудничать с еврейской русскоязычной прессой коммунистической и прогрессивной ориентации. Но именно с представителями этой, отвергнутой им прессы он и столкнулся, сам того не понимая, на вечеринке у Мани-Лейба.

* * *

Когда Айседора с Есениным, Вениамин Левин и литератор Файнберг приехали в далекий район Бронкс к Мани-Лейбу, хозяин и его жена поэтесса Рашель встретили их радушно. Квартира была заполнена людьми, разговаривавшими на идиш. Все с нетерпением ждали гостей. Незнакомые мужчины окружили Айседору, она всем улыбалась, по рукам пошли стаканы с дешевым вином. Есенин сразу же оказался в центре внимания женщин, и Левин вскоре услышал фразы некоторых дам:

– Старуха-то ревнует!

«Это говорилось по-еврейски, с наивной простотой рабочего народа, к которому они принадлежали... Это она была „старуха“ среди них, лет на десять старше, но главное,

милостью Божьей великая артистка, и ей нужно было досадить. При всем обществе Рашель обняла Есенина за шею и говорила ему что-то на очень плохом русском языке. Всем было ясно, что все это лишь игра в богему, совершенно невинная, но просто неразумная» (В. Левин).

Вскоре началось чтение стихов. Есенин прочитал монолог Хлопуши, Левин – поэму Есенина «Товарищ», которую знал наизусть, а Мани-Лейб несколько своих переводов из Есенина на идиш. Гости все прибывали, и скоро в квартире уже невозможно было сидеть, все пили стоя. Очутившись ненадолго в стороне от Есенина, Левин услышал, как стоявший у камина человек в черном костюме настойчиво предложил несколько раз Файнбергу, разливавшему из бутылок по бокалам вино: «Подлейте ему, подлейте еще!»

Впоследствии Левин узнал имя этого человека (но не назвал его в мемуарах). Это был какой-то писатель, автор нескольких пьес и романов. Айседора быстро напивалась, мужчины бесцеремонно тянулись к ней, обнимали ее потными руками, подливали вино и ей, и Есенину, а поэт мрачнел все больше и больше. И тут ему предложили прочитать что-нибудь еще. Он угрюмо обвел компанию взглядом и начал читать разговор Чекистова с Замарашкиным из «Страны негодяев». Для понимания последующих событий необходимо привести отрывок из этой сцены в том виде, в каком написал и читал ее Есенин, а не в том, в каком она печаталась после смерти поэта во всех советских изданиях.

Замарашкин

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты настоящий жид,
Ругаешься ты, как ярославский вор,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов

Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом.
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.

Выделенные курсивом строчки изъятые из всех посмертных изданий Есенина редакторами и цензорами советской эпохи.

«Вряд ли этот диалог, – вспоминает В. Левин, – был понят всеми или даже меньшинством слушателей. Одно мне было ясно, что несколько фраз, где было „жид“, вызвали неприятное раздражение». Да, возможно, что большинство слушателей не поняли диалога, но наверняка его слышали и закулисные режиссеры вечеринки, русскоязычные журналисты. Они-то поняли, в чей огород летит есенинский камушек. Дело в том, что в среде американских русскоязычных революционеров если и царил культ вождей революционной России, это был культ не Ленина, а Троцкого. Именно Троцкий жил много лет в эмиграции в Америке, именно он с «пароходом революционеров» прибыл весной 1917 года в революционную Россию, именно люди Троцкого составляли авангард революционной Америки. Этот авангард делал ставку в России не на Ленина, а на своего вождя, своего

человека – Лейбу Троцкого. Именно они, знавшие все труды последнего наизусть, помнили, что после революции 1905 года Троцкий эмигрировал в Германию, жил в Веймаре, где и писал многие статьи, хорошо известные им. И в «гражданине из Веймара» их революционный инстинкт тут же угадал Троцкого, на которого русский поэт только что на поэтическом вечере «поднял руку». «Чекистов-Лейбман»... Да только дурак не поймет, что Есенин имеет в виду Лейбу Троцкого, их кумира, которому совсем недавно в нью-йоркском журнале «Еврейский мир» пели подлинные дифирамбы: «О Троцком нельзя заключить иначе, как об образованном человеке, изучившем мировую экономику, как о сильном и энергичном вожде и мыслителе, который несомненно будет отмечен в истории как один из числа великих людей, которыми наша раса облагодетельствовала мир». Возмездие этому русскому поэту должно было последовать неизбежно. Но как? В какой форме? Ведь невозможно в американской капиталистической прессе защищать одного из идеологов мировой революции – Троцкого... Остается только один путь: наказать Есенина, ославив его за антисемитизм.

– Подлейте же ему, подлейте еще! – услышал опять Вениамин Левин.

А скандал уже разгорался. Слово «жид», которое поняли все, ожесточило публику, и большинство ее уже недобро поглядывало на Есенина. Поэт ощутил на себе злые взгляды, почувствовал изменение атмосферы и, понимая, что он уже почти попал в сети режиссеров, решил разорвать их демонстративным скандалом с Айседорой Дункан. Перевести неизбежный скандал, так сказать, на личную почву. Тем более что жена давала к тому множество поводов. Но он забыл, что Нью-Йорк – это не Берлин, здесь совсем другая публика, которая все истолкует по-своему. Он подошел к Изадоре, вырвал ее из чьих-то мужских объятий и рванул воздушное платье так, что ткань затрещала.

– Что вы делаете, Сергей Александрович? – бросился к нему Левин. – Что вы делаете?

– Болван! – неожиданно резко отбрил его Есенин. – Ты чего защищаешь эту блядь?!

Пьяная Айседора, покачиваясь, пыталась прижаться к Есенину, ласково повторяя:

– Ну хорошо, Серьожка! Блядь, блядь...

Ее отгнали от Есенина, увели в разорванном платье в соседнюю комнату под женский гомон: «А он-то ревнует, ревнует!» Вся квартира гудела как улей. Есенин оглянулся. Где Изадора? Где? Кто-то нарочно сказал ему, что она уехала домой. Есенин бросился на улицу, за ним понеслись Мани-Лейб и еще несколько человек. В ужасе от скандала Вениамин Левин ушел из дома, а Есенина, упирившегося и кричавшего Бог знает что, втащили обратно в квартиру. О том, что произошло далее, рассказывал Вениамину Левину Мани-Лейб. Есенин вторично пытался сбежать, и вторично его силой вернули обратно.

– Распинайте меня, распинайте! – закричал он.

Его связали и уложили на диван. Он окончательно вышел из себя:

– Жиды, жиды проклятые!

Мани-Лейб нагнулся к нему:

– Сережа, ты ведь знаешь, что это – оскорбление.

Есенин умолк. Потом, повернувшись к Мани-Лейбу, повторил:

– Жид!

– Сережа! Если ты не перестанешь, я дам тебе пощечину.

– Жид!

Мани-Лейб подошел к Есенину и, как написано в мемуарах Левина, «шлепнул его ладонью по щеке (он с улыбкой показал мне, как он это сделал)». Есенин в ответ плюнул ему в лицо.

Мани-Лейб выругался, и оба сразу обессилели.

Есенин полежал некоторое время связанный, успокоился и почти равнодушно заявил:

– Ну развяжите меня, я хочу домой.

Он уехал на такси в гостиницу, а Айседора осталась ночевать у Мани-Лейба.

Далее процитируем несколько мыслей Вениамина Левина о последствиях этого спровоцированного скандала: «Что всего ужаснее – на завтра во многих американских

газетах появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, „избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан“. Все было как будто правдой и в то же время неправдой. Есенин был представлен „антисемитом и большевиком“... Стало ясно, что в частном доме поэта Мани-Лейба на „вечеринке поэтов“ присутствовали представители печати – они-то и предали „гласности“ всю эту пьяную историю... Не будь скандала в газетах, об этом не стоило бы и вспоминать, но история эта имела свое продолжение».

Есенин наутро, придя в себя, понял, что надо как-то спасти положение. Тогда-то он и написал известное письмо Мани-Лейбу, где все происшедшее объяснил приступом эпилептической болезни, которой он якобы подвержен с детства.

Милый, милый Монилейб!

Вчера днем Вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чем-то, но о чем – я забыл, потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила сестра милосердия. Был врач и вsprыснул морфий.

Дорогой мой Монилейб! Ради бога, простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь.

Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб[ивал] целые дома...

Уговорите свою жену, чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить...

Любящий вас всех

Ваш С. Есенин.

Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты-братья. Душа у нас одна, но она по-разному бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький, чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо, передайте всем мою просьбу простить меня.

Этой версии поверили все: и Левин, и Мани-Лейб, который, получив письмо, пришел в гостиницу, где они с Есениным помирились.

– У меня дети от еврейки, а они обвиняют меня в антисемитизме, – пожаловался Есенин на журналистов Мани-Лейбу и Левину.

Однако мир с Мани-Лейбом уже ничего не мог поправить. Концертные выступления Дункан после газетных скандалов стали невозможны. Ее бывший муж Зингер, обещавший 60 тысяч долларов, исчез.

И еще из мемуаров Левина: «Дни пребывания Есенина и Изадоры в Америке были сочтены. После истории в Бронксе им только и оставалось скорей сесть на пароход и ехать в Европу. „Друзья“ отвернулись, за исключением очень немногих, газеты тоже. Кто-то сделал свое дело блестяще... Но что удивительней всего, так это то, что именно в Америке удалось ошельмовать самого яркого представителя русского антиматериализма, антибольшевизма, ошельмовать до такой степени, что ему стало невозможно самое пребывание здесь. На него приклеили ярлык большевизма и антисемитизма – он возвратился в Советский Союз, где хорошо знали его „как веруеши“, все его слабые человеческие места, и на них-то и построили „конец Есенина“».

Этот скандал и последующая травля в «левых» и других газетах были своеобразной американской репетицией будущего советского «дела четырех поэтов». Здесь, в Америке, были свои «сосновские», а там, в Москве, у Есенина, в товарищеском суде, найдутся свои «Левины»: Андрей Соболев, Львов-Рогачевский и другие. Но и в Америке, и в России голоса здравомыслящих евреев, вроде Левина и Соболя, уверявших, что никакой Есенин не антисемит, были заглушены воем «еврейских троцкистов» – советских и американских.

В сущности, только одно сакраментальное слово «жид» дало возможность американской газетной своре совершить акт возмездия Есенину за его выпад против Троцкого. Надо вспомнить, что Вениамин Левин ровно через тридцать лет после скандала, в январе 1953 года, готовя к печати свои мемуары о Есенине, писал издателю С. Маковскому, предложившему снять это слово из рукописи: «Одно скажу: у Есенина не было антисемитских настроений, у него была влюбленность в народ, из которого вышел Спаситель Мира... Такова русская душа, что любит „ласкать и карябать“... Так что не нужно пугаться его горячих слов, как это многие делают. На канве жизни Есенина расшита ткань трогательных взаимоотношений русского и еврейского народа. Во всяком случае, нужно сохранить его слова... Все равно – тема не исчерпана и только начинается. Любовь и ненависть идут бок о бок». Умер В. Левин в 1953 году, будучи в лоне христианской секты духоборов.

Очерк Левина, хранящийся в РГАЛИ, полностью не был опубликован. У него есть такое продолжение: «Позже я несколько раз встречался с одной молодой матерью-еврейкой... она тоже присутствовала на том вечере в Бронксе. Ее русский язык был далеко не идеальным, но она каким-то чутьем поняла и Есенина, и Дункан – и сказала:

– Какие они изумительные и какие большие! И какие все другие оказались незначительными и маленькими». (Как это похоже на мысль Есенина из письма: «Не думайте, что я такой маленький...»)

Прощаясь с Мани-Лейбом, который скорее всего не был причастен к успешно завершённому заговору против Есенина, поэт подарил ему свою берлинскую книжку с надписью: «Дорогому другу – жиду Мани-Лейбу». И с напускной суровостью, глянув на него, добавил: «Ты меня бил». Позже Мани-Лейб признался Левину, что он молча принял подарок, но, выйдя на улицу, достал авторучку и зачеркнул слово «жиду»... Не выдержал резкой и одновременно грустной есенинской шутки.

В отличие от праздничной и шумной атмосферы приезда Есенина и Дункан в Америку, на их проводы почти никто не пришел. Не было ни корреспондентов, ни киноаппаратов, ни фотокамер. Провожавших было всего лишь несколько человек. Изадора жаловалась, что даже никто цветов не прислал. 4 февраля 1923 года Есенин и Дункан на пароходе «Джордж Вашингтон» отбыли в Старый Свет...

«Эту большевистскую шлюху, которая носит недостаточно одежды, костыль ей вместо подстилки... я бы послал назад в Россию...» – такими словами популярного протестантского проповедника Билли Санди проводила Америка свою знаменитую Айседору. Та в долгу не осталась и заявила на прощанье репортерам нью-йоркских газет:

«Материализм – проклятие Америки. Последний раз вы видите меня... Лучше я буду жить в России на черном хлебе и водке, чем здесь в лучших отелях. Вы ничего не знаете о любви, о пище духовной и об искусстве!»

Каждый из них – и проповедник, и великая танцовщица – были правы по-своему.

* * *

Единственной отдушиной, через которую Есенин все-таки мог излить свои чувства и свою тоску, были его письма в Россию. Читаешь их и понимаешь, что именно в Европе и в Америке Есенин вдруг ощутил, что родные и близкие, оставшиеся сейчас в голодной и холодной России, на сегодня его единственная «роковая зацепка за жизнь». Читаешь и начинаешь сомневаться: а так ли уж он с утра до вечера пьянствовал, буйствовал, похмелялся шампанским, издевался над Дункан, как это пишут чуть ли не все в своих воспоминаниях. Особенно усердствовала в создании именно такой легенды о Есенине ближайшая подруга Айседоры Мэри Дести, чьи мемуары рисуют жизнь Есенина, как сплошную цепь сумасбродства, сумасшествия и алкогольного психоза. К сожалению, эту версию, то ли руководствуясь слухами, то ли от предубеждения к поэту, явившемуся из ненавистной ему Советской России, поддержал своим высоким авторитетом Иван Бунин. Но

письма Есенина из-за границы (их сохранилось около 15, а написано было, судя по всему, более 30) – это письма умного, тонкого человека, глубоко мыслящего и глубоко понимающего, что такое Европа и что такое Америка. Они – не только документ его личной судьбы, но исторические свидетельства вечного духовного противостояния России и Запада. С этой точки зрения его письма совершенно естественно и в то же время оригинально вписываются в контекст русской культурной духовной традиции, заложенной Достоевским, Леонтьевым, Данилевским, Блоком.

Есенин побывал в Европе через пятнадцать лет после того, как туда съездил Александр Блок. Даже маршруты их в какой-то степени совпадали: Италия, Северное море, Бельгия... Италия взволновала сердце Блока лишь воспоминаниями о Данте, о его тени «с профилем орлиным». Но окружающая реальная Италия ужаснула поэта.

Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!

.....

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!

Это о Флоренции. И с ничуть не меньшей неприязнью, лишь с более приглушенной, холодной интонацией – о Равенне:

А виноградные пустыни,
Дома и люди – все гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба...

В письмах на родину деликатный обычно во всех национальных вопросах Александр Блок даже сравнивал итальянцев с «цивилизованными обезьянами». И вот, по истечении 15 лет, Есенин смотрит на Европу, пережившую мировую войну, революции, перекроившую свои границы, и говорит то же самое, и почти теми же словами, о духовной смерти благополучных европейцев: «Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди – а могильные черви, дома их гробы, а материк – склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут».

Совпадения мнений двух русских поэтов в оценке европейской жизни поразительны.

Вот что писал Блок в своих письмах из Кэмпера:

«...В каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны... и лихорадочно из всех сил живет „в поте лица“. Жизнь – страшное чудовище, счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле, так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла...»

В письме из Дюссельдорфа Есенин как бы продолжает блоковское письмо, хотя письма Блока тогда еще не были изданы и Есенин конечно же их не читал.

«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять

фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать – самое высшее музик-холл...

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину...»

А из Остенде:

«...Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию...»

И в такие минуты оба поэта по-своему вспоминали Москву...

Блок:

«...Вершина Монмартра: весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем: купол Пантеона, крыши Оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж – не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра – картина тысячелетней бессмыслицы, величавая и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего Девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза – во главе Москвы; и ни одной крупицы московского золота и киновари – все черно-серое море – и его непрерывный и бессмысленный голос».

И Есенина на Западе охватил приступ глубочайшей депрессии и ностальгии:

«Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские „сто тысяч улиц“ можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире...»

Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре «железа и электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу».

Еще за месяц до отъезда в письме к Иванову-Разумнику поэт писал: «В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное. Рогачевские и Сакулины больше ценят линию поведения, чем искусство, и хоть они ко мне хорошо относятся, но одно сознание, что видишь перед собой алжирского бея с шишкой под носом, заставляет горько смеяться и идти лучше в кабак от сих праведников. Нравы у них миргородские. Того и гляди вбежит свинья и какой-нибудь важный документ съест со стола души».

Но пробыв лишь месяц-другой в Европе, Есенин аж застонал, осознав свою трагическую ошибку: «Там, из Москвы, нам казалось, что Европа – это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле».

Поистине, что имеем, не храним; потерявши, плачем. Винится он перед Россией и перед Москвой, посыпает голову пеплом и проклинает свои заграничные иллюзии: «В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски», «молю бога не умереть душой и любовью к моему искусству». И как бы во искупление своих недавних злых чувств по отношению к Москве с ее якобы «миргородскими нравами» образ свиньи, хватающей со стола «важный документ», Есенин окончательно привязывает к Америке в знаменитом очерке, который назван им демонстративно в наказание за прошлое легкомыслие: «Железный Миргород».

В конце своего путешествия, когда он уже вернулся из Америки в Европу, им овладевает почти маниакальное чувство – пока еще жив, скорее на Родину, разоренную, холодную, голодную. Лишь бы «не умереть душой»... А вдруг не пустят – страх-то какой! Ведь изгнали же многих из тех, с кем он еще год назад встречался в Москве: Бориса Зайцева, Николая Бердяева... И он не просто пишет, а в иступлении пишет, срываясь на крик, в письме к Мариенгофу из Парижа весной 1923 года: «Господи! даже повеситься можно от такого одиночества. Ах, какое поганое время, когда Кусиков и тот стал грозить мне, что меня не впустят в Россию».

Только за границей в состоянии отчаяния и одиночества Есенин почувствовал, как нужны ему родные и близкие, как невозможно жить, не любя никого. Особенно переживает он за сестру Катю: он ее оставил в Москве на попечение отца. Да и младшей сестренке Шуре всего только одиннадцать лет. Как они там? Правда, Кате он оставил перед отъездом 20 миллионов и 100 миллионов отцу. Родители в деревне с голоду не помрут. А вот Катя... Чуть

ли не в каждом письме в Россию живет его душевная боль и забота о сестрах, что тоже опровергает столь распространенную в мемуарах легенду о его непрерывном заграничном пьянстве.

И. Шнейдеру из Висбадена 21 июня 1922 года: «Ради бога, отыщите мою сестру через магазин (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги по этому чеку в „Ара“. Она, вероятно, очень нуждается».

Из письма А. Сахарову, Дюссельдорф, 1 июля: «Голубь милый. Уезжая, я просил тебя помочь моим сестрам денежно, с этой просьбой обращаюсь к тебе и сейчас. Дай им сколько можешь».

И. Шнейдеру из Брюсселя 13 июля: «К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте, ради бога, денег моей сестре... Это моя самая большая просьба».

Таких писем множество. А в письме к Екатерине от 10 августа Есенин вообще предстает перед нами в неожиданной для него роли воспитателя и сурового моралиста: «Живи и гляди в оба. Все, что бы ты ни сделала плохого, будет исключительно плохо для тебя; если я узнаю, как приеду, что ты пила табачный настой, как однажды, или еще что, то оторву тебе голову или отдам в прачки. Того ты будешь достойна. Ты только должна учиться, учиться и читать».

А далее Есенин пишет такое, чего никогда никому в других письмах не писал. Он предупреждает сестру, чтобы она на всякий случай никому ничего не рассказывала о нем. Конечно же, Есенин почувствовал, особенно за границей, что за каждым шагом его следят верные слуги режима и что ухо с государством надо держать остро. «Язык держи за зубами, – учит он девушку. – На все, исключительно на все, когда тебя будут выпытывать, отвечай „не знаю“. Помимо гимназии, ты должна проходить школу жизни и помни, что люди не всегда есть хорошие.

Думаю, что ты не дура и поймешь, о чем я говорю.

Обо мне, о семье, о жизни семьи, о всем и о всем, что очень интересно знать моим врагам, – отмалчивайся, помни, что моя сила и мой вес – благополучие твое и Шуры». Это – письмо умного, трезвого, осторожного и все понимающего человека. В состоянии непрерывного загула, веселья и похмелья, когда море по колено, таких писем не пишут.

Через несколько месяцев он в письме той же Кате напомнил еще раз открытым текстом о своих подозрениях: «Пиши сжато и разумней, потому что письма мои читаются».

Но самое важное письмо, из которого можно видеть, с каким настроением Есенин возвращался в Россию, поэт послал не в Москву, а в Париж. Если бы это письмо каким-то образом попало в ЧК, то Есенину следовало бы остаться в эмиграции. Но письмо дошло до адресата – Александра Кусикова. Сорок пять лет Сандро Кусиков нигде не приводил полного текста письма, то ли оберегая себя, то ли заботясь о посмертной славе Есенина, о его лояльном отношении к советской власти. И лишь в 1968 году он показал его английскому исследователю творчества Есенина Гордону Маквею. А дальше с письмом стали происходить чудеса: оно пропало и не найдено до сих пор. Впрочем, предоставим самому Маквею рассказать обо всем, что произошло.

«Адресат письма Александр Борисович Кусиков... с 1922 года жил в основном за границей. Во время нашей встречи в Париже 6–8 января 1968 года он позволил мне переписать с оригинала публикуемое ниже письмо. Я тщательно и точно переписал письмо Есенина, соблюдая все особенности есенинской орфографии и пунктуации. Происходило это в присутствии Кусикова в Париже 8 января 1968 года около трех часов ночи. Вернувшись в Англию, я получил записку от Кусикова, в которой он сообщал, что назавтра, 9 января, в конце дня он обнаружил, что письмо исчезло из его квартиры вместе с другими ценными документами – по всей видимости, оно украдено. Выражая надежду, что оригинал письма когда-нибудь будет обнаружен, мы публикуем текст по сделанной нами копии: подлинность текста заверена Кусиковым.

Милый Сандро!

Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж. Едем вдвоем с Изадорой. Ветлугин остался в Америке. Хочет попытать судьбу по своим «Запискам», подражая человеку с коронковыми зубами.

Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая: внешне типом сплошное Баку, внутри Захер-Менский, если повенчать его на Серпинской.

Вот что, душа моя! Слышал я, что ты был в Москве. Мне оч[ень] бы хотелось знать кой что о моих делах. Толя мне писал, что Кожеб[аткин] и Айзен[штадт] из магазина выбыли. Мне интересно, на каком полозу теперь в нем я, ибо об этом в письме он по рассеянности забыл сообщить.

Сандро, Сандро! тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, **законному** сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а ешо тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей Богу, не могу. Хоть караул кричи или бери ноте да становись на большую дорогу.

Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка, теперь, когда там жмут руки тем [нрзб.] – кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что ты и я были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать.

Слушай, душа моя! Ведь и раньше ешо там, в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь, теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь. Ну да ладно, оставим этот разговор про Тетку. Пришли мне, душа моя, лучше, что привез из Москвы нового, и в письме опиши все. Только гадостей, которые говорят обо мне, не пиши. Запиши их лучше у себя «на стенке над кроватью». Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и веселое, как друг. Сам видишь, как я матерюсь. Значит, больно и тошно.

Твой Сергей.

Незадолго до этого Л. Д. Троцкий, не без оснований надеясь на то, что поездка приблизила поэта к большевикам, писал о Есенине: «Есенин не только моложе, но и гибче, пластичнее, открытее влияниям и возможностям... Вернется он не тем, что уехал. Не будем загадывать, сам расскажет». Есенин действительно вернулся другим и рассказал. Но не только о Железном Миргороде. Часть, может быть, самых сокровенных мыслей он вложил в письмо Кусикову. Эти мысли, сохранявшиеся под спудом почти полвека, были не чем иным, как сопротивлением чекистско-большевистской диктатуре. Без их учета невозможно сегодня составить полное представление о Есенине 1923 года. А если еще вспомнить фразу про «Тетку», то есть про ГПУ – как называл это всероссийски известное учреждение Иванов-Разумник...

* * *

В Париж Айседора и Есенин прибыли в середине февраля, и дальнейшая их жизнь в ожидании окончательного отъезда протекала без особенных запоминающихся событий.

Разве что у профессора Ключникова Есенин читал «Пугачева» лицом к стене от отвращения к слушающим его и ничего не понимающим французским парламентариям.

– Мне скверно, – говорит Есенин Евгению Лундбергу, а тот и без слов видит, что Есенину скверно, и слышит диалог опостылевших друг другу людей.

«Ты – сука, – говорит Есенин.

– А ты – собака, – отвечает Дункан».

Он прищуривается и отгоняет ее взглядом.

А недавно, после очередного скандала с Айседорой, он перебил в фешенебельном отеле «Crillon» зеркала, выбросил в окно кушетку и туалетный столик, сломал пару стульев. Айседора, которую он к этому времени начал поколачивать, схватившись для храбрости за Мэри Дести, убежала в другой отель. Есенина забрали в полицию. Узнав об этом, Дункан нашла врача, чтобы с его помощью освободить мужа из участка. Но это не помогло. Полиция заявила, что Есенина выпустят лишь при условии, если он немедленно покинет Францию.

Слава тебе, Господи, Изадора не может с ним ехать, у нее какой-то концерт, а он хоть отдышится в Берлине, все-таки там немало русских людей, которые любят его. Может быть, и над «Черным человеком» удастся поработать.

...Берлинский Шуберт-зал был переполнен. Ждали Есенина – не просто поэта, а Есенина, вернувшегося в ореоле скандальной славы после разрыва с Дункан. Когда он, встреченный уже привычными аплодисментами, вышел на эстраду, зал обмер: поэт был вдребезги пьян, в руке он держал фужер водки и время от времени отпивал от него. Аплодисменты стихли, но Есенин, забыв о стихах, увидел в первом ряду жену Горького Марию Федоровну Андрееву и покрыл ее матом. В публике поднялся шум, раздались крики: «Уведите его!» Однако Есенин уперся, ахнул бокал с водкой об пол и закричал: «Слушайте стихи!» Он словно еще раз хотел испытать, имеет ли власть над залом, в каком бы состоянии ни был. И оказалось, что – да. Когда с надрывным криком он бросил всем в лицо стихотворные строчки: «Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня», зал не выдержал и взорвался аплодисментами. Пьяный, полумертвый, едва стоящий на ногах, Есенин опять победил.

1 марта 1923 года в Доме немецких летчиков состоялся концерт-бал для российских студентов в Германии. В концерте, кроме Есенина, участвовали Алексей Толстой, Сандро Кусиков и Мария Андреева. О событиях этой ночи оставил чрезвычайно важные воспоминания писатель Роман Гуль: «И мы вышли втроем из Дома немецких летчиков. Было часов пять утра. Фонари уж не горели. Берлин был коричневым. Где-то в полях, вероятно, уже рассветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро трезвел, шел тверже и вдруг пробормотал:

– Не поеду в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн...

– Да что ты, Сережа? Что ты – антисемит? – проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто яростью закричал на Алексеева:

– Я – антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу... и зарезу... понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не должен ей править... Дурак ты, ничего этого не понимаешь...

Алексеев старался всячески успокоить его, и вскоре раж Есенина прошел. Идя, он бормотал:

– Никого я не люблю... только детей своих люблю. Дочь у меня хорошая... – блондинка, топнет ножкой и кричит: я – Есенина!.. Вот какая у меня дочь... Мне бы к детям... а я вот полтора года мотаюсь по этим треклятым заграницам...

– У тебя, Сережа, ведь и сын есть? – сказал я.

– Есть, сына я не люблю... он жид, черный, – мрачно отозвался Есенин.

Такой отзыв о сыне, маленьком мальчике, меня как-то резанул по душе, но я решил «в прения не вступать»... А Есенин все бормотал:

– Дочь люблю... она хорошая... и Россию люблю... всю люблю... она моя, как дети... и революцию люблю, очень люблю революцию, а вот ты, Алексеев, ничего-то во всем этом не понимаешь... ничего... ни хрена...

Уже начало рассветать. Берлин посветлел. Откуда-то мягко зачастили автомобили. Мы остановились на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным и Алексеевым и повернул к себе – к Мейнингерштрассе. Идя, я все еще слышал голос Есенина, что-то говорившего Алексееву».

И чего бы это так вспоминать о Троцком Есенину, собирающемся возвращаться в Россию? Но не выдержал, видимо, память о нью-йоркской вечеринке занозой сидела в душе...

И тем не менее, несмотря на такой образ жизни, успел подготовить к изданию книгу «Стихи скандалиста», написать к ней вступление, еще раз прочесть стихи в конце марта на прощальном вечере в Klindworth-Scharwenka-Saal. И опять, несмотря на перепалку с публикой, которую поэт затеял в начале своего выступления, «Пугачевым» и «Москвой кабацкой» он уже в который раз покоряет ее. Да и было чем покорять. С июня 1922-го по август 1923 года в Европе и Америке он написал 9 или 10 стихотворений. И в каждом из них Россия, Москва, деревня, земля обетованная. Для тех, кто слушал его, Москва и Россия тоже были такой землей. «Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах...», «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог...», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь...».

А когда весной 1923 года до него дошла весть, что их родовое гнездо в Константинове сгорело, он пишет настоящий реквием своему «низенькому дому»:

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

.....

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная мощь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

То, что Есенин писал это стихотворение, зная, что дом сгорел, можно только предполагать... Но сколько раз он видел в Константинове пожары, после которых на пепелище оставались лишь нелепо и страшно торчащие в небо печи, похожие на каких-то странных животных – то ли на игрушечных глиняных коней, то ли на сказочных верблюдов. Только печь, стоящая в центре пепелища, могла зрительно отложиться в таком отделенном от дома образе.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.

(Печь плачет то ли о нем, хозяине, то ли о доме, от которого остались зола да уголья?)

Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Да что там дом с печью, вся Россия догорает! Есенин отбросил авторучку с золотым пером, подаренную ему Дункан, и подошел к громадному окну, за которым мчались машины, сновали, как муравьи, прохожие. Горько усмехнулся, подумав, что стихи о низеньком родительском доме написаны им в роскошном особняке Айседоры, в одном из самых аристократических районов Парижа – Пасси...

Айседора между тем заложила у какого-то мошенника несколько ценных картин Каррьера, наняла машину и помчалась в Берлин к Есенину, поскольку она получила какую-то шутивную телеграмму, где были слова: «люблю», «скори, скори» (скорей, скорей),

«браунинг» – это означало, что Есенин может застрелиться. Она и Мэри Дести на каком-то автомобиле через двое суток добрались до Берлина, и, когда подъехали к отелю «Адлон», Есенин одним прыжком влетел через голову водителя в открытое авто и очутился в объятиях Айседоры. И опять началось: шампанское, русские песни, танец с шарфом, сцены ревности, битье посуды, изгнание из отелей, успокаивающие уколы и так далее. Кончилось все семейным советом, о котором Мэри Дести пишет так: «На семейном совете Айседора решила, что мы все должны поехать в Россию. Но сначала крайне необходимо съездить в Париж и сдать или продать ее дом, распорядиться мебелью и т. д. Затем забрать ее вещи и книги с собой в Москву, куда она решила уехать насовсем и где, несмотря на все трудности, она будет вести свою школу, а Сергей писать великолепные стихи».

Компания в несколько человек села в громадную открытую машину и словно бродячая цирковая труппа потащилась к французской границе. Есенин был облачен в одну из Айседориных огромных русских шуб и высокие сапоги, на боку у него висели бинокль и фотоаппарат. За ними увязался какой-то музыкант с балалайкой; сама Айседора была закутана в несколько пледов – и вот в таком виде труппа, успев посетить по дороге дома Гёте и Листа в Веймаре, двинулась к границе. По пути Есенин в припадке ярости расколотил балалайку, и музыкант от огорчения отстал от труппы. А на границе Айседоре пришлось наплевистить консулу, что она везет мужа во Францию для консультации к специалисту, у мужа припадки, женщинам с ним справиться невозможно, и потому они взяли на помощь санитаря. Санитаром был Сандро Кусиков.

Наконец-то они приехали в Париж, но чете Есениных-Дункан был закрыт вход во все отели города. Париж действительно был пресыщен их скандалами, шум от которых разносился по всей Европе. Айседора без промедления направилась к торговцу картинами, вместе с ним она приехала к мошеннику, взявшему у нее под залог три полотна Каррьера, тут же картины были ею выкуплены и сразу же проданы, она получила значительную разницу и окончательно смирилась с происшедшим.

Потом началась жизнь, поддерживаемая распродажей мебели из апартаментов Айседоры, и, наконец, ей удалось все-таки выгодно сдать свой особняк, заплатить за два последних костюма, заказанных Есениным у модного парижского портного, и неподражаемая пара снова выехала в Берлин...

На Берлинском вокзале Мэри Дести провожала Есенина и Айседору: «Айседора махала мне рукой, и по лицу ее лились слезы: „Мэри, родная, обещай, что приедешь!..“ Я вернулась в Париж и через неделю в ужасном состоянии легла в больницу».

И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.

* * *

Поездка в Европу и Америку почти что сломала Есенина. Он как никогда мало писал – это для него, «Божьей дудки», человека, весь смысл жизни которого заключался в творчестве, было невыносимо. Как ни тяжело приходилось ему в России, «стране негодяев», но всякий раз, когда он осмысливал новое состояние родины и свое место в ней, наступал катарсис, приходило очищение, освобождение от тяжести, сознание исполненного долга, счастье совершенного творческого подвига. В Европе и в Америке год с лишним он был почти лишен проблеска такого счастья. Душа поэта переполнялась шлаками, пониманием бессмысленности его зарубежной жизни, ощущение глубочайшего пессимизма требовало хоть какого-нибудь выхода, а при немоте, сковавшей его уста, выход был только один – пьянство, которым он, пускай на время, глушил свою художническую совесть. Тяжелые

периоды похмелья с новым, более сильным приступом вины перед собой и своим даром, ему не принадлежащим, усугубляли дело. Его активная, физически сильная натура требовала естественного исхода чувств и мыслей. В России таким исходом было постоянное чтение стихов друзьям, душевные порывы которых он понимал, сознавая, насколько ценно и значительно, по их мнению, все только что прочитанное им.

А литературные вечера! Сотни, тысячи слушателей. Овации друзей, любящих его читателей, негодующие крики недругов, счастливое изнеможение и необходимая для души опустошающая радость, которую он испытывал каждой клеточкой своей, понимая, что он нужен этим людям, что он несколько часов жил, купаясь в их чувствах, в их любви, в их восторге. А сколько живой человеческой энергии вливалось в него через их взгляды, признания, рукопожатия? А что в Америке вместо этого моря глаз, рук, слов? Выходить на сцену, где Соломон Юрок представляет тебя как мужа Айседоры, ты кланяешься, как манекен, и уходишь – непонятый, униженный, оскорбленный. С горечью вспомнил свое чтение стихов на каком-то перроне американского вокзала, где его приняли чуть ли не за сумасшедшего проповедника какой-то новой веры, послушали две-три минуты и разошлись по своим делам. Его рязанская кровь при этом воспоминании ударила в голову, щеки налились краской, только уши от волнения побелели, и он застыл тогда на полуслове и с ненавистью взглянул на ничего не понимающую Айседору. Может быть, после этого он и написал в письме на родину о том, что никому здесь душа его не нужна, что распахивать ее здесь, на чужбине, все равно что ходить с незастегнутой ширинкой. Неприлично!..

Глава десятая Роковой вопрос

Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем.

С. Есенин

3 августа Есенин ступил на платформу Виндавского вокзала. Медленно, с трудом приходил он в себя после заграничного «турне», как приходят в себя люди, очнувшиеся после многодневного пребывания в шумном борделе.

– Мразь!

– Что?

– Европа – мразь!

Больше о Европе он почти не говорил, только изредка вспоминал пение «Интернационала» в Берлине, которое, по его словам, окончилось дракой. Америка была удостоена более пространных излияний.

– Да, я скандалил... мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что... я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения – это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, и честь! О, меня они теперь помнят лучше, чем Дункан!..

До конца своих дней сохранил в памяти Есенин эти мерзкие разноцветные обложки американских журналов, с которых смотрели на читателя он сам и его Изадора. И подписи под снимками: «Айседора Дункан со своим молодым мужем», «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом» и так далее. Айседору поэт уже с трудом переносил возле себя, как ненужное, опостылевшее напоминание о том жутком мире, откуда он не чаял вырваться.

Впрочем, в первые дни после возвращения на родину ему было не до личных драм. Он вернулся совсем не в ту Россию, из которой уезжал. Перед ним была *иная страна*, ни одной чертой не напоминавшая его романтическую Инонию.

«Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь...» Так писал он еще до возвращения, пытаясь разобраться в собственных смутных ощущениях, вспоминая Пушкина, мечтавшего

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил...

А Есенин, переходя от литературы к реальности, с ужасом думал о том, что ждет его в любимой «сумрачной России», и не мог представить ничего утешительного.

«Тошно мне, *законному* сыну российскому, в своем государстве пасынком быть...»

В последние годы своей жизни он сделал все от него зависящее, чтобы перестать быть «пасынком», чтобы стать «настоящим, а не сводным сыном...». Сделал ровно столько, сколько мог, сохраняя себя как поэта. Эти усилия «стать своим» совпали с его первыми шагами по родной земле.

Россия крестилась в новую веру, принимала новую идеологию. Ее трубадуры от журналистики трубили со страниц центральных газет еще во время пребывания поэта за границей: «Американизм? Неужели он возможен только в стране за океаном и присущ только янки? Где, если не в Стране Октября, он может войти корнями в землю и скорее всего в виде коммунистического американизма?..»

Газета «Известия» от 29 июля 1923 года, за четыре дня до возвращения Есенина. Статья «Обломовщина, американизм и Всероссийская сельскохозяйственная выставка». Сельскохозяйственная выставка, как воплощение американизма, в противовес российской обломовщине... И в этой же газете – старый знакомый Жорж Устинов вещает о Есенине как идеологе «мелкобуржуазной оппозиционности»... «Есенин, родившийся в начале нэпа, – синоним оппозиционности по отношению к пролетарскому государству уже не за „левизну“, а за „правизну“ его политики».

Если в 1921–1922 годах это «блядское снисходительное отношение власть имущих» только раззадоривало, то теперь становилось просто невыносимым. «Что это на вас за гетры такие?» – вспоминались Гиппиус и тот же Мережковский, прошедший по нему недавно в парижской печати. Ну а наши, что, лучше?

Он схватил «Правду», вчитываясь в литературные опусы Льва Троцкого.

«По Пильняку, национальное было в XVII веке. Петр антинационален, – вещал наркомвоенмор и литературный критик по совместительству. – Выходит, что национально только то, что представляет мертвый груз развития, от чего дух движения отлетел, что проработано и пропущено через себя национальным организмом в прошлые века. Выходит, что национальны только экскременты истории. А по-нашему, наоборот. Варвар Петр был национальнее всего бородатого и разужоренного прошлого, что противостояло ему... Жизнь и движение нации совершаются через противоречия, воплощенные в классах, партиях, группах. В динамике своей национальное совпадает с классовым. Во все критические, т. е. наиболее ответственные, эпохи своего развития нация сламывается на две половины – и национально то, что поднимает народ на более высокую хозяйственную и культурную ступень».

«Игрок, игрок, – подумал Есенин. – Ишь, как противоречиями играет, личность свою выпячивает, в историю входит! Смотри, как смело он расправляется с национальной идеей в русской революции. В перманентную хочет ее превратить... А мы все, кто видит в стихийности русского бунта его национальную волю, – для него консерваторы, навоз истории, русский навоз!» ...Несколько раз перечитывал следующий абзац статьи Троцкого. Наткнулся на свое имя. Дочитал до конца, пытаясь понять, какой смысл запрятан во всей этой эффектной политической трескотне.

«Для Блока революция есть возмущенная стихия: „Ветер, ветер – на всем божьем свете!“ Всеволод Иванов почти не поднимается над крестьянской стихией. Для Пильняка революция – метель. Для Клюева, для Есенина – пугачевский и разинский бунты. Стихия, вихрь, пламя, водоворот, кружение...»

Так и слышится здесь ненависть к стихии, метели, водовороту и желание загнать все это в железную клетку.

«Поэзия революции не в пулеметной стрельбе, и не в баррикадных боях, и не в героизме падающего, и не в торжестве победившего... Пафос революции и поэзия ее в том, что новый революционный класс подчиняет себе все эти средства борьбы и во имя новых целей, расширяющих и обогащающих человека, преобразующих нового человека, ведет борьбу со старым миром, падает, поднимается – до тех пор, пока не победит...»

«Не поеду в Москву... Не поеду, пока Россией правит Лейба Бронштейн...» Это вырвалось в Берлине, как крик души, но куда денешься от России, какой бы Лейба ею ни правил?

Без России Есенин не мог, а Россия и революция в самой кровавой, грязной, «железной» своей ипостаси окончательно теперь слились в его сознании в одно целое. И, естественно, оставалось только смириться с властью нынешних революционных вождей.

Защити меня, влага нежная,
Май мой синий, июнь голубой.
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.

Советские газеты сообщали о приезде Айседоры Дункан (как и в Америке, она здесь была на первом плане!), а Есенин читал о себе статьи, в которых, казалось, был замурован на стадию 1916 года.

«Внеоктябрьская литература!» Хорошенькое названьице придумал Лев Давидович! А еще лучше та лихость, с которой он распределяет поэтов по классам и видам. Вот и о нем, Есенине...

«Сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин: хочет быть страшным, но не может. Есенинский Пугачев сентиментальный романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда же Пугачев изъясняется как отягощенный образами романтик, то это хуже. Имажинистский Пугачев немножко смехотворен.

Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин еще впереди. Заграничным журналистам он объявляет себя левее большевиков. Это в порядке вещей и никого не пугает. Сейчас для Есенина, поэта, от которого – хоть он и левее нас, грешных, – все-таки пахнет средневековьем, начались «годы странствия». Вернется он не тем, что уехал. Не будем загадывать, сам расскажет».

Горькая усмешка скользила по губам Есенина, когда он читал эти глубокомысленные сентенции наркомвоенмора. «Пахнет средневековьем...» Нет, не так, товарищ! В прошлом не замуруете, как ни пытаетесь!

Цивилизационный бум в Советской России неизбежен, и нет никакой возможности да и желания ему противостоять. Сильнейшее впечатление от Америки наложило на восприятие новой России как страны, преображающейся через кровавую ломку, когда затихают последние шумы русского бунта и безумный ветер начинает улегаться в душе... Иная жизнь требует иных песен, и «последнему поэту деревни» суждено вписаться в нее и найти в ней свое место. «Конь стальной победил коня живого», но прежней горечи ощущение этой неизбежной победы уже не вызывает. «Железная Инония»? Ну что ж, пусть будет так.

«Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попала мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?... Видите ли?..

Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.

Да, я вернулся не тем. Многое дано мне, но и многое отнято. перевешивает то, что дано...»

Так он начал писать статью об Америке, которую назвал метко и уничтожающе «Железным Миргородом», лукавя, иронизируя, как бы проявляя уважение к партийному деятелю и в то же время не соглашаясь с ним. Впрочем, полемика с Троцким была лишь отправной точкой для размышлений, поистине мучительных для Есенина.

«Железный Миргород» – это прежде всего попытка осознать перелом в собственной душе и в русской жизни. Вся статья построена на контрасте между Америкой и Россией – Америкой, усмирненной и преображенной железом, и Россией, которой сие только предстоит.

Америка предстала перед его глазами как образец человеческой цивилизации и как воплощение миргородских нравов. Железная комфортная оболочка только оттеняет абсолютное внутреннее бескультурье и наглое сытое самодовольство молодой, еще окончательно не сформировавшейся страны. Что до России, то за ее внутреннюю суть испытывать беспокойство нет нужды. Культура свое возьмет. Но до каких пор она будет оставаться «нищей Россией»?

«Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, 2 ваннные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про „Дым отечества“, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за „Русь“ как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150 000 000-м рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в „Летописи“ Горького некий Тальников...

Милостивые государи! лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздражающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чортовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород.

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство...»

Рука Есенина выводила строчки, невысказанные для него еще год назад. Не чувствуя в себе надежной опоры, не ощущая подлинной справедливости этих жутких пассажей, он ссылался на статью, опубликованную еще в «Летописи» 1916 года, опираясь на приводимые Тальниковым цитаты из Бунина и Ивана Вольнова. Но мало того, раскавычивал и подавал уже от себя людоедский монолог Чекистова-Лейбмана из первой сцены «Страны негодяев».

Станный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?

Одно дело, когда ее ругают «люди заезжие», вроде «гражданина из Веймара». И совсем другое, когда эти же ругательства повторяет от себя русский поэт, гордящийся своей рускостью. Впрочем, это обычный удел отечественных писателей – бранить подчас свое отечество так, как никакому «гражданину из Веймара» с самыми русофобскими поползновениями и в голову не придет. Не случайно здесь вспомнился Иван Бунин. Да

только ли он? В есенинском сбивчивом потоке чувств и мыслей явственно слышится и блоковская нота, оказавшаяся чрезвычайно созвучной его нынешним настроениям, – нота «Новой Америки».

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

.....

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Черный уголь – подземный мессия,
Черный уголь – здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста Россия,
Голос каменных песен твоих!

«Америки новой звезда», загоравшаяся в Российской империи 1913 года, десять лет спустя снова взошла на небосклон, уже над Советской Россией. И Есенин подхватывает тот же мотив, что затаили над Русью «люди заезжие». Впрочем, такие же люди создали нынешнюю Америку на месте бывшей английской колонии, на крови и костях коренных жителей – краснокожих. А «Русскую Америку» – на костях русских крестьян. И он продолжает в «Железном Миргороде»:

«Обиженным культурникам на жестокость русской революции не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя культуры индустрии...

Америка это прежде всего была страна краснокожих. Вслед после открытия этой страны Колумбом туда потянулся весь неудачливый мир Европы. Искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили красный народ всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться. Начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась малая горсточка... Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все ж, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется крышам 20-этажных домов, все ж никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой. Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Отсюда лишь один шаг до того, чтобы принять как должное уничтожение русского народа в годы Гражданской войны и пропеть величественный гимн «людям заезжим», перестраивающим Россию по американскому образцу. Что же остановило?

Пожалуй, только трезвое осознание того, что американскую цивилизацию построили именно «хищники», для которых чужая жизнь не имела никакой цены. Сыграло здесь свою роль и знакомство с американской провинцией, не праздничной и не выставочной Америкой, а «страшно похожей на Россию». Но главное – реальная жизнь самой России, на взрыхленной и окровавленной земле которой лишь начинала строиться «новая Америка»,

когда ни перспектив, ни возможных последствий этого строительства еще не было видно на горизонте.

«В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, – которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем, – подчеркивал Есенин. – В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, но в наших родных пенатах я даже и самого гениального электрофикатора Ленина видел в Петербурге на жалком тарантасе с лицом, упертым в почтенный зад кобылы».

Ближе к концу очерка начинает доминировать тема глубочайшего внутреннего бескультурья «среднего американца», для которого блага цивилизации исчерпывают все содержание жизни.

Лучше фокстрот, чем песня про Лазаря? Допустим. Ну а что такое фокстрот?

«Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы – народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в „Business“ и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития... Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей...»

А какие чертежи ныне создаются для России? Чего от них ждать, от нынешних хозяев земли русской, от этого бородатого коршуна в кожанке, гения политических интриг и переворотов, жестокого «чертежника»?

Неужели того же, к чему пришли Соединенные Штаты? Где если и есть культура, то лишь в еврейской эмигрантской среде, а в специфически американской – «отсутствие всякого присутствия».

«Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

...Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны Америки».

В «Железном Миргороде» органически слились голоса персонажей «Страны негодяев» – Чекистова и Рассветова, двух «заезжих людей», «гражданина из Веймара» и гражданина из Америки. Еврей и русский, два негодяя и авантюриста отнюдь не «низшей», а «самой высокой и лучшей марки», они предлагают свои чертежи по «обустройству России». Но если для Чекистова-Лейбмана идеалом для подобного чертежа является Европа, где нет хат, «которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор», то Рассветов – штука более тонкая. Он – ходячее воплощение идеи «русского американизма», хотя сама Америка для него отнюдь не образец, ибо

Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца
Проходимец и джентельмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково – business men,
На цилиндры, шало и кепи
Дождик акций свистит и льет.

Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она – мировая биржа!
Вот они – подлецы всех стран.

Соблазнительно расслышать в этом монологе слова самого Есенина. Переключка, и смысловая и текстуальная, с есенинскими письмами, устными высказываниями и «Железным Миргородом» здесь безусловно присутствует. Вплоть до упоминания хлестаковских «тридцати пяти тысяч одних курьеров», вызывающих в памяти американского Хлестакова с его миргородскими нравами, заявляющего, что ему не нужен Парфенон, ибо такой же «Парфенон» гораздо новей и лучше есть в штате Теннесси. Интереснее, однако, другое: настойчивое акцентирование Рассветовым «их» негодяйства. «Вот они – подлецы всех стран!». Не *мы*, а они! В то время как тут же из монолога рассветовского собеседника Чарина выясняется, что преобразователи, мечтающие лечить Россию «стальной клизмой», мало чем, по сути, отличаются от тех негодяев, по чертежам которых выстроена современная Америка.

Весь этот сложнейший комплекс ощущений, мыслей и смутных предчувствий требовал своего разрешения, и Есенин инстинктом подлинного художника понял, что декларации, на мгновение совпавшие с его не до конца осознанными стремлениями, не могут, не должны стать предметом лирического воплощения. «Железный Миргород» призван был явиться свидетельством того, что поэт вернулся на *свою* землю, что он не чужой *своему* времени, что он – участник «битв земных» в Советской России и не пасынок *в своем* государстве.

Перелом, произошедший в душе, был чрезвычайно болезненным. И «Железный Миргород», писавшийся под горячую руку, представлял собой не только собрание точных живых зарисовок и публицистических высказываний в попытке утвердить себя как «настоящего, а не сводного сына», но и являлся попыткой разобраться в новых мыслях, чувствах, идеях. Когда первая горячка прошла, очерк стал подвергаться кардинальным сокращениям.

В окончательный печатный текст не вошли рассуждения про Лазаря и фокстрот, декларации необходимости переделать церкви в сортиры, исчезли ссылка на Тальникова и упоминание Ленина, упертого в зад кобылы. Другими словами, почти полностью исчезли чисто российские реалии и наиболее горячие и остервенелые рассуждения, непосредственно с ними связанные.

Есенин не мог не почувствовать, сколь далеко способно завести его подобное пение в унисон с упомянутыми «чертежниками».

Наиболее явно произошедший перелом был отражен в очерке и в монологах героев «Страны негодяев». Стихи же этого времени говорили совершенно об ином. Нота, зародившаяся в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу...» и отозвавшаяся за границей в стихах «Мне осталась одна забава...» и «Эта улица мне знакома...», с полной силой зазвучала в конце 1923 года, по возвращении.

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Осознание «непутевости жизни» гармонически соединяется с образом осени, которая уже не буйствует и не пророчит неизбежную гибель, как раньше в «Пугачеве», а осыпает мелкий дождик на поблекшие волосы умиротворенного, опечаленного поэта.

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить без цели,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

Есенин снова возвращается к пограничному состоянию между земным миром и «тем светом», характерному для его ранних стихов, но теперь это уже не открытие чего-то неизведанного, вызывающее соблазн раствориться в космическом пространстве. Это скорее легкость и естественность осознания кратковременности и непрочности бытия в предчувствии приближения того предела, за которым... Он впервые отказывается определить, что там, за чертой.

И необходимость смирения выражается им не как жажда или осознанное волевое усилие, а как именно необходимость.

И теперь даже стало не тяжело
Ковылять из притона в притон, —
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл...

Это в «Железном Миргороде» можно было лукавить насчет страстного желания переделать Русь на американский манер. Здесь, в стихах, не слюкавишь. Россия сама переделывается по предназначенным чертежам – тоже чтобы выжить. И русскому поэту остается лишь склонить голову. Поединок жеребенка с паровозом выиграл последний. И природа, и ее поэт оказываются поистине в «смирительной рубашке».

Но и сам он уже не может, как раньше, воскликнуть: «Плюйся, ветер, охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган!» Он обрел явные *человеческие* черты, что-то неотвратимо изменилось в его душе и мироощущении. Его любовь к природе, оставшаяся, кажется, прежней, все же обретает иные, *человеческие* формы. Прежнее органическое единство со стихией и ее потайными силами утеряно безвозвратно.

Прощание с молодостью... Так он называл это чувство сам, и так же воспринимали его окружающие. Это было прощание с чем-то, без чего раньше нельзя было жить, а ныне, увы, жить приходилось.

Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воронам,

И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

«Смирительная рубашка» – образ куда более точный, чем сортиры на месте церкви, появления коих жаждали Чекистов и его прототип, с которыми в минуту помрачения, дабы не чувствовать себя полностью вычеркнутым из времени, объединился поэт. По зрелому размышлению он приходил, естественно, к иным выводам.

– Я за Россию теперь спокоен. Недавно я прочитал: чтобы электрифицировать нашу страну, сделать ее индустриальной, нужна не одна сотня лет.

Авось еще поживет своей жизнью «вось свободной Ладоги». Авось...

«Железный Миргород» он написал, по его собственному признанию, «в один присест». 16 сентября была напечатана вторая часть, которая оказалась заключительной. Больше Есенин к этой теме не возвращался, хотя собирался писать еще «ряд статей». Обещание это содержится в самом конце черного автографа.

* * *

И дело здесь, думается, совсем не в издевательской рецензии на есенинскую статью, напечатанную в «Правде» неким Оршером, который наибольший заряд своей злобной и тусклой иронии выпустил по фразе Есенина: «Мне нравится гений этого человека». Фельетонист был вне себя от того, что какой-то поэт посмел назвать *самого* Троцкого «этим человеком» и вообще говорил о вожде без должного подобострастного придыхания.

Не в жалком критике тут было дело, а совсем в другом. Во-первых, всякого рода «американские впечатления» Есенину стали уже не нужны. Судьба России взволновала его в первый же прожитый на родине месяц гораздо больше. И к тому были серьезные основания. И во-вторых... Ему пришлось убедиться в том, как своеобразно проявляет себя «гений этого человека», то бишь Л. Д. Троцкого. Это стало ясно при чтении очередной статьи наркомвоенмора «Искусство революции и социалистическое искусство», опубликованной в «Правде» спустя неделю после публикации «Железного Миргорода», в котором поэт так неудачно попытался солидаризироваться с наркомом, – 23 сентября 1923 года.

«Нынешнее расположение гор и рек, полей и лугов, степей, лесов и морских берегов никак нельзя назвать окончательным, – вещал Троцкий. – Кое-какие изменения, и немалые, в картину природы человек уже внес; но это лишь ученические опыты в сравнении с тем, что будет. Если вера только обещала двигать горами, то техника, которая ничего не берет „на веру“, действительно способна срывать и перемещать горы. До сих пор это делалось в целях промышленных (шахты) или транспортных (туннели), в будущем это будет делаться в несравненно более широком масштабе по соображениям общего производственно-художественного плана. Человек займется перерегистрацией гор и рек и вообще будет серьезно и не раз исправлять природу... Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всем ее объеме, с тетеревами и осетрами, через машину изменит направление рек и создаст правила для океанов.

Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший хомо сапиенс снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами – объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки».

Все эти замечательные проекты можно с полным основанием определить как классическую паранойю. Но факт остается фактом: Троцкий лишь наиболее четко

сформулировал те идеи, которыми были одержимы в тот период поголовно все революционеры и партийные вожди, а также многие и многие представители средних и низших слоев населения России. У одних этот угар прошел довольно быстро, другие избавлялись от него не сразу, чаще всего под влиянием дальнейших тяжелых испытаний, а третьи так и не смогли освободиться даже спустя много десятилетий. Что же касается Есенина, то он не мог не понять, что речь шла действительно о «перерегистрации» всей человеческой природы, а не только окружающего мира.

Здесь его конфликт с Троцким был неизбежен. Он объективно следовал из всего происходящего, с какой бы ласковой улыбкой нарком ни приглядывался к Есенину и какие бы похвалы ни расточал поэт Троцкому в устных разговорах. Можно утверждать, без особого риска ошибиться, что Есенин ставил Троцкого-политика на один уровень с собой-поэтом. Вполне вероятно, что в абстрактных размышлениях он допускал возможность сойтись первому российскому поэту с первым политиком России.

Не будем гадать, точно ли такими или более-менее схожими были мечтания Есенина, но то, что реальная действительность не оставляла от них камня на камне, не подлежит сомнению. Подчас поэт не мог не испытывать странного ощущения смеси восторга с ужасом и отвращением при мысли о наркомвоенморе – символе и олицетворении революции.

Яркое личностное начало всегда вызывало у Есенина острый интерес, тем более когда проявлялось в крайнем нравственном, политическом или литературном антиподе. Здесь было своего рода влечение по контрасту.

Так или иначе, независимо от взаимных оценок, даваемых за глаза и публично, две личности – поэтическая и политическая – не могли не войти друг с другом в острый конфликт. И он состоялся, правда, в достаточно завуалированной форме. К нему привел целый ряд событий, на которых необходимо остановить внимание. Вообще по насыщенности событиями первые два месяца по возвращении Есенина из-за границы едва ли сопоставимы с каким-либо другим периодом его головокружительной, наполненной потрясениями биографии.

* * *

Еще в 1921 году, при встрече с историком литературы Иваном Никаноровичем Розановым, Есенин сказал, как отчеканил:

– Чувство родины – основное в моем творчестве.

После возвращения из-за границы эта мысль в устных беседах уже не просто подчеркивалась, но с болью, с надрывом, с яростью вбивалась в головы собеседников.

– Основная тема моей поэзии – Россия! Без этой темы я не был бы поэтом. Мои стихи национальны...

Есенин, выйдя за рамки каких бы то ни было конкретных школ, течений и направлений, осознав себя в родстве с классиками, берег, лелеял и нес в себе то исконно русское начало, без которого его стихи просто не могли бы существовать. Любая политика неизбежно сопрягалась в его сознании с вопросом: «А что будет с Россией?» И русский поэт в его представлении не мог не разделить с Россией ее судьбы, какой бы горькой она ни была.

«Возвращение на родину» началось в поэзии Есенина еще в период его доживания в опустыленной Европе. Доживания и изживания всей европейской и американской мути, взбредившей душу. По приезде он читал последние стихи, написанные в Париже, в которых всплывало окутанное голубоватой призрачной дымкой воспоминание об азиатских странствиях двухлетней давности.

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!

По возвращении «нежная дрема» стала рассеиваться и родной край начал обретать все более четкие очертания. Настолько четкие, что поначалу резало глаза и зарождалось ощущение негодности еще совсем недавно написанных стихов.

– Нет... Все это не то. И не так нужно говорить о том, что я здесь увидел. Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать?.. – И после небольшой паузы: – Россия! Россия! Какое хорошее слово... И «роса», и «сила», и «синее» что-то... Эх! Неужели для меня все это уже поздно?

Всеволод Рождественский, приводя эти слова Есенина, пишет далее, что «слезы перехватили ему горло, и как-то по-детски – неловко и грузно – он упал всю грудью на спинку стоявшего перед ним стула. Тело его сотрясалось от глухих, рвущихся наружу рыданий».

* * *

Во второй декаде августа 1923 года Есенин был вызван в Кремль для беседы с Троцким. Наркомвоенмор к этому времени был уже прекрасно осведомлен о многом, начиная со скандала поэта в берлинском Доме искусств и вплоть до инцидента на квартире у Мани-Лейба. Думается, что известна ему была и реплика Есенина относительно невозможности вернуться в Россию, «пока ею правит Лейба Бронштейн». (В начале 1930-х годов Алексей Толстой privately сообщил Роману Гулю о том, что Глеб Алексеев – свидетель берлинской сцены – является нештатным агентом ГПУ. Естественно, Алексеев был не один такой. Нетрудно предположить, что уже в начале 1920-х годов подобного рода агенты делились нужной информацией с работниками соответствующего учреждения, которая передавалась по инстанции в Советскую Россию.)

Есенин на эту встречу не напрашивался. Он пришел по личному вызову Лейбы Бронштейна буквально через две недели после того, как его нога ступила на родную землю. Чем же было вызвано желание Троцкого скорее повидаться с поэтом, который еще совсем недавно был им весьма пренебрежительно охарактеризован?

Предполагать здесь можно многое, но стоит ограничиться лишь несколькими фактами. Еще до отъезда за границу, нося клеймо «имажиниста», Есенин уже обладал всероссийской известностью, как один из первых поэтов республики.

Троцкому, утверждавшему, что Есенин «воротится не тем, что уехал», было в данном случае не просто интересно посмотреть на поэта и выяснить, по какому пути тот пойдет. Он явно прикидывал, в какой степени может рассчитывать на Есенина в качестве союзника в культурной политике. Тем более что последний был для члена правительства в известной степени воплощением именно той чуждой и враждебной стихии, которую в области культуры наркомвоенмор намеревался так или иначе привлечь на свою сторону. В своих рассуждениях о партийной политике в искусстве Троцкий, оставляя в силе все ярлыки, вроде «мужиковствующих» и «попутчиков», задавался естественным вопросом:

«Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильняка с его „Голым годом“, серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского, Есенина, так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу?..»

Область искусства не такая, где партия может командовать...»

За пролетарских и комсомольских литераторов можно было не беспокоиться – они и так «свои». А вот привлечь на свою сторону «попутчиков», использовать их талант и влияние на читателя – это совсем другое дело. Тем более в ситуации, когда в борьбе за власть необходимо использовать все возможные козыри, в том числе и на литературном фронте.

Наркомвоенмор уже обдумывал свои будущие письма в ЦК в борьбе за ленинское наследство, устранение от реальной власти Бухарина, Зиновьева и Каменева, утверждение в качестве официальной доктрины теории «перманентной революции». Ради этой цели можно было пойти на многое...

«Большинство попутчиков принадлежит к мужиковствующим интеллигентам. Интеллигентское же приятие революции, с опорой на мужика, без юродства не живет. Оттого попутчики не революционеры, а юродствующие в революции... Мужик, как известно, попытался принять большевика и отвергнуть коммуниста... Крестьянская Россия, лишенная городского руководства, не то что не доберется до социализма, но не устоит на ногах и двух месяцев и поступит, в качестве навоза или торфа, на расточение к мировому империализму. Вопрос политики? Вопрос мирозерцания, следовательно, и вопрос большого искусства».

По всем параметрам напоминает политический приговор. Но в данных условиях встреча с Есениным приобрела особенный интерес.

Что же касается поэта, то он явился на эту встречу не с пустыми руками. Он шел к Троцкому как к всеильному члену правительства с конкретной просьбой.

В памяти всплывала их первая встреча еще до есенинского заграничного путешествия, когда по вызову наркомвоенмора Есенин явился в Кремль с первым номером «Гостиницы для путешественников в прекрасном» в руках, а Троцкий вынул из ящика стола тот же номер того же журнала, открыл и прочел вслух мариенгофские стихи:

Не поминай нас лихом, революция.
Тебя встречали мы, какой умели, песней.

– Передайте вашему другу, что он рано прощается с революцией, – сказал тогда Троцкий. – Революция – это движение. А движение – это жизнь.

Теперь разговор был иной. Поборник «вечного движения» внимательно выслушал просьбу Есенина, который пришел с целью осуществить свою мечту, высказанную им еще два года назад в письме к Иванову-Разумнику, – собраться «потесней в семью едину», восстановить творческое содружество всех «новокрестьян», куда входили бы он сам, Клюев, Клычков, Ширявец...

Беседа была очень теплой. Троцкий пообещал большие средства на издание журнала «Россияне» с ядром из крестьянских поэтов. Есенин в письме от 20 августа к Айседоре Дункан, уехавшей на гастроли в Кисловодск и звавшей его к себе, писал: «Я очень занят книжными делами, приехать не могу... Дела мои блестящи. Очень многого не ожидал. Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство». Однако «изумительное отношение» наркомвоенмора не помешало Есенину в конечном счете отклонить это лестное предложение.

В мемуарах Матвея Ройзмана указывается, что Есенин отказался от издания журнала прямо в кабинете Троцкого. С хронологической последовательностью событий у названного мемуариста далеко не всегда все в порядке, и доверять его сообщению можно с трудом. Между тем именно благодаря Ройзману нам известно содержание разговора поэта с высокопоставленным членом правительства. Поэтому предоставим слово ему. Упомянем лишь, что сопровождал Есенина на эту встречу все тот же, хорошо известный нам, Яков Блюмкин, к тому времени уже исполнявший обязанности одного из секретарей наркома.

«Есенин заявил, что крестьянским поэтам и писателям негде печататься: нет у них ни издательства, ни журнала. Нарком ответил, что этой беде можно помочь: пусть Сергей

Александрович по своему усмотрению напишет список членов редакционной коллегии журнала, который разрешат. Ему, Есенину, будет выдана подотчетная сумма на расходы, он будет печатать в журнале произведения, которые ему придется по душе. Разумеется, ответственность, политическая и финансовая, за журнал целиком ложится на Сергея. Есенин подумал-подумал, поблагодарил наркома и отказался.

Когда вышли из кабинета, Блюмкин, не скрывая своей досады, спросил Есенина, почему тот не согласился командовать всей крестьянской литературой. Сергей ответил, что у него уже был опыт работы с Клычковым и Орешиним в «Трудовой артели художников слова»: однажды выяснилось, что артель осталась без гроша. А кто поручится, что этого не произойдет и с журналом? Он же, Есенин, не так силен в финансовых вопросах. А зарабатывать себе на спину бубнового туза не собирается».

Едва ли стоит принимать на веру все написанное мемуаристом. Тем не менее есть в этом рассказе факты, вызывающие определенный интерес. Ройзман пишет, в частности, что Блюмкин был не только сопроводителем Есенина, но организатором этой встречи и своего рода посредником между поэтом и Троцким.

Есенин и сам неоднократно излагал вышеприведенную версию отказа от издания после разговора с наркомом. В чем причина? Только ли в боязни финансовой ответственности? Похоже, что это – лишь отговорка.

Троцкому желательно было бы иметь журнал с редколлекгией из крестьянских поэтов, глубоко чуждых и ненавистных ему, дабы получить возможность взять их под свой контроль и заставить проводить в созданном органе печати нужную ему политику. На стихотворцев типа Безыменского, «без лести преданных», ставку делать все же не приходилось – художественная беспомощность их виршей бросалась в глаза. А заставить талантливых крестьянских поэтов издавать журнал в нужном Троцкому направлении – это была бы существенная стратегическая победа на культурном фронте.

Есенин не мог не понимать, что немало зависит от того, на чьей стороне окажется в заварившейся политической схватке он сам, будучи крупнейшим русским поэтом, обладающим колоссальным влиянием на литературу и пользующимся поразительным успехом у читателя. Бесспорную характеристику в этом плане дал ему Александр Воронский: «Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря мощному таланту, но и благодаря своему уму».

Вскоре Есенин выступил со своим первым после возвращения из-за границы публичным чтением стихов. Выступление состоялось в Политехническом музее. «Импресарио» все рассчитали, и Политехнический был забит до отказа. В компанию навязались и старые приятели – Грузинов, Ивнев, Ройзман, Мариенгоф, Шершеневич, Эрдман. Кроме чтения стихов, были запланированы «впечатления о литературе, театре и живописи в Америке и в Европе».

Была мобилизована конная милиция, которая едва сдерживала напор толпы. Не говоря уже о зрителях, сами участники вечера еле-еле сумели пробраться в зал. Наконец вечер начался.

В соответствии с программой Есенин начал со своих «впечатлений». В эти минуты его совершенно не волновали европейские или американские театр, литература, живопись. Не о том он думал, иные впечатления переполняли его. Но публика замерла в ожидании. И Есенин начал про Берлин, через несколько слов перескочил на Париж, потом снова заговорил о Берлине... Путаные, скомканые фразы, исполненные раздражения и гнева, вызвали в зале иронические реплики. Есенин окончательно сбился и начал пикироваться с залом. Потом перескочил на Америку.

– Подплываем к Нью-Йорку. Репортеры, как мухи, лезут со всех сторон... Фотоаппаратами щелкают. А возле меня двадцать пять чемоданов, мои и Айседоры Дункан...

Раздался громкий язвительный хохот. Есенин замер, потом плюнул на все «впечатления» и начал читать стихи, которые только и могли сказать о том, что творится на душе.

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот – и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Хрипловатый голос заставил замереть публику. Она жадными глазами впиалась в поэта, который смотрел в пространство, поверх голов сидящих, руки плясали не в такт, фигура ритмично покачивалась на сцене... Он не читал, он заново рождал, создавал строки, потрясшие слушателей. Перед ними был совершенно новый, неожиданный Есенин, берущий в плен буквально каждого из присутствующих не отдельной строчкой и не манерой исполнения, а всем своим существом, в котором образ поэта и созданное им слово представляли собой единое, неразрывное целое.

Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

.....

Вот за это веселие мути, —
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Аплодисменты захлестнули зал. Толпа неистовствовала. А Есенин читал одно стихотворение за другим: «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», «Пой же, пой. На проклятой гитаре...», «Все живое особой метой...».

Под конец последовали отрывки из «Страны негодяев». Думается, что среди присутствующих в зале было немало тех, кто прекрасно понимал, чьи именно слова слышатся в репликах Чекистова-Лейбмана: «Ха-ха! Ты обозвал меня жидом. Нет, Замарашкин! Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей...» У многих свежи были в памяти жуткие тезисы наркомвоенмора, обосновывающего принудительную милитаризацию труда: «Можно

сказать, что человек есть довольно ленивое животное, и на этом качестве, в сущности, основан человеческий прогресс...»

Чтения имажинистов никто не услышал и не вспомнил. Оно прошло незамеченным, а публика топала и свистела, вызывая Есенина. Он снова вышел на эстраду, снова читал, и до позднего вечера восторженные зрители не желали его отпустить.

Весьма любопытная заметка об этом вечере была опубликована в «Известиях», редактируемых Стекловым-Нахамкесом, – газете, где Есенина тогда привечали и похваливали. Журналист Сема Шерн (он же Семен Борисов), ставший вскоре шапочным приятелем и на короткий период неизменным собутыльником, писал полуграмотным языком, но весьма восторженно: «Необходимо отметить, что в первом цикле – „Москва кабацкая“ – несмотря на жалость поэта к этой умирающей Москве, которую Октябрь выбросил за борт истории, чувствуется новая большая струя в поэзии Есенина. Сила языка и образа оставляет за собой далеко позади родственную ему по романтизму поэзию Блока. Следующие стихи „Страна негодяев“ относятся еще к старым работам и слабее первых».

Так начала создаваться репутация «Страны негодяев», как неудавшегося есенинского произведения.

* * *

Отказ от издания журнала под эгидой Троцкого имел под собой все же основу отнюдь не личную. Есенина, при всем его желании стать *своим* в Советской России, одолевало неизбывное и неотвратимое чувство: он здесь чужой. Чужой не только властям предрержащим, а вообще... всей здешней атмосфере.

Конец 1923-го и последующие два года жизни поэта – время буйного цветения нэпа. Голодная Москва преобразилась почти мгновенно. Один за другим открывались частные и кооперативные продовольственные магазины с изобилием продуктов; у частных, торгующих промтоварами, был весьма богатый выбор одежды и обуви. Процветал «рынок», а точнее, частная торговля на улицах, где продавали абсолютно все, от «бюстгальтеров на меху» и «духов Лориган» до пятновыводителей и средств против бытовых насекомых. На книжных развалах можно было выбирать между «Тарзаном», «Мемуарами Казановы» и Спинозой, Кантом, Ницше. Шла безостановочная гульба в «Ампире», «Нерыдае» и тому подобных заведениях, где отводили душу и заключали сделки новые хозяева жизни – «нэпманы» и «совбуры», то бишь советские буржуи. Очнувшиеся от «военного коммунизма», граждане стремились наверстать свое. «Деньги, деньги, всюду деньги, всюду деньги, господа...» Жажда обогащения и наслаждения «радостями жизни» обуяла тогда многих. Расслоение общества происходило стремительными темпами. Одних обуревало стремление успеть урвать в этой жизни как можно больше. Другие вели себя более спокойно и воспринимали происходящее как неизбежное тактическое отступление социализма перед его победоносным рывком. Третьи мечтали о возрождении старого дореволюционного русского быта и видели в нэпе первые шаги в этом направлении. Четвертые усматривали в наступивших переменах мерзкую, уродливую пародию на прошлую жизнь. Пятые оказались не в состоянии жить в изменившейся России. Апологеты коммунизма эпохи Гражданской войны сходили с ума, стрелялись и вешались, некоторые из них, будучи не в силах добровольно уйти из жизни, уходили из партии.

Пора потрясающих социальных контрастов и небывалого разгула бандитизма. Хулиганы чувствовали себя как рыбы в воде. В переулках и подворотнях то и дело «играли вальс на ребрах» или «надевали на голову гитару». Пышно цвела проституция. «Дамы» на Тверской стоили от пяти рублей и выше, на Неглинной и Цветном бульваре – от двух до трех рублей, у трех вокзалов – не дороже полутора. Возле асфальтных котлов, в развалинах околачивались оборванцы в грязи и во вшах – беспризорники, промышлявшие воровством, попрошайничеством, пением на улицах за грош. «Позабыт-позаброшен с молодых, юных лет, я остался сиротой, счастья-доли мне нет... На мою на могилку, знать, никто не придет,

только раннею весною соловей пропоет...» Семь миллионов насчитывалось их тогда по всей стране.

Есенин то смотрел на них, стиснув зубы и напрягая желваки, то приходил в злой восторг от их бесстрашной суеты на улицах. «Смотрите, смотрите, – кричал он, – да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся! Вот это сила. Вырастут – попробуйте справиться с ними. ...Да это же государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал...»

Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они – карманники,
Веселые воры.

.....

Пускай от пива горько,
Они без пива – вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.

Подлинным бичом являлась безработица. Рабочие же подолгу ждали зарплаты, и никто – ни завком, ни трест, ни банк – не мог с точностью ответить, когда будут деньги. И в то же время всю гуляла «черная биржа».

«Русский размах, соединенный с американской деловитостью», пропагандируемый в речах и выступлениях партийных вождей, на деле обернулся смесью российской нищеты и самого отвратительного воплощения американского чистогана, что с почти фотографической точностью отразилось в «Стране негодяев», в споре Марина с главным носителем «американской идеи» комиссаром Рассветовым.

Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде
За налог на крестьянский труд
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?
Потому что мы очень строги,
А на строгость ту зол народ,
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падает скот.
Люди с голоду бросились в бегство,
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян.
Их озлобили наши поборы,
И, считая весь мир за бедлам,
Они думают, что мы воры
Иль поблажку даем ворами.

Потому им и любы бандиты,
Что всосали в себя их гнев.
Нужно прямо сказать, открыто,
Что республика наша – bluff,
Мы не лучшее, друг мой, дерьмо.

Здесь Есенин намеренно совместил реалии периода крестьянских восстаний первых послеоктябрьских лет и эпохи новой экономической политики, когда стали править бал «маклера с Ильинки». Он как в воду глядел, когда писал в письме Кусикову о тошном унынии, которое находит на него при мысли о России, где «жмут руки тем, кого раньше расстреливали». Партийные вожди в новое время срослись со свежеиспеченной «финансовой олигархией». Какое им было дело до певца России, кровью умытой, выходца из русского крестьянства? Есенин понимал: он для них лишь нужная карта в грязной политической игре. Это максимум, на что он годен, а потом его же сделают той «сволочью, на которую всех собак можно вешать».

В 1919-м, лучшем году жизни поэта, по его собственному признанию, все было проще, жестче и яснее. То время было страшным и кровавым. Нынешняя эпоха была страшна и омерзительна. Не он один ощущал эту новую кардинальную ломку – вторую за столь короткий промежуток времени. Находились среди близких его друзей и такие, кто с благодарностью оглядывался назад – в те годы, когда жизнь каждый час стояла на кону. Они не могли забыть ни с чем не сравнимое ощущение «ветра на всем божьем свете». То была эпоха, ничем не напоминавшая нынешнюю. Теперь же вместо кровавых луж – сплошная грязь, вместо рокота вьюги – шелест червонцев...

Пряжа дней, гнилая шерсть овечья,
Рвись и тлей. Алейте, розы ран.
Сток столп. Пути Замоскворечья,
Как ручьи, стекают в Ханаан.

.....

В свисте пуль мне пела песня птичья,
И не штык – тяжелый колосник!
Этих дней голодного величья
Не предал строптивый мой язык.

Стихи Эмиля Кроткого 1924 года.

* * *

15 сентября Есенин зашел в «Стойло Пегаса», превратившееся за время его отсутствия из «поэтического кафе» в типичный нэповский кабаk. Он посещал это заведение исключительно с целью получения своей доли денег от выручки. Именно в этот день в кафе и произошел первый скандал с участием милиции после возвращения поэта на родину.

В отделении Есенин утверждал, что у него «вышел крупный разговор с одним из посетителей кафе „Стойло Пегаса“, который глубоко обидел моих друзей. Будучи в нетрезвом виде, я схватил стул, хотел ударить, но тут же прибыла милиция, и я был отправлен в отделение...». Работники милиции к этому добавили, что Есенин в момент задержания ругал их «хамами, сволочами, взяточниками, жандармами...». А буфетчица «Стойла» Елена Гартман, давая показания, заявила, что скандал, оказывается, затеял... «неизвестный гражданин в нетрезвом виде»... И лишь потом уточнила, что этот «неизвестный» не кто иной, как «поэт Сергей Александрович Есенин»...

Мелочь? Пустяк? Для кого угодно из окружающих, но только не для Есенина. Милиция, вступающая за нэпмана, позволяющего себе безнаказанно оскорблять поэтов, – симптом зловещий. Когда сотрудница газеты «Беднота» Елена Кононенко, получив отказ от участкового надзирателя в ответ на просьбу освободить поэта, набрала телефонный номер М. И. Калинина, тот, выслушав сначала просительницу, а потом учнадзирателя, подтвердил правильность действий милиции.

На следующий день Есенин, признав себя виновным в хулиганстве, отверг все обвинения в нанесении оскорблений работникам милиции и сопротивлении представителю власти и вообще очаровал милиционеров, тихо, спокойно и ласково беседуя с ними. С пожеланиями «всего хорошего» поэт был освобожден, дав подписку о невыезде «без разрешения на то властей из г. Москвы и губернии». И тут же отправился... в Тверь, а оттуда – в Верхнюю Троицу, к Михаилу Ивановичу Калинин.

Беседа со «всесоюзным старостой» не принесла облегчения, а только разбередила душу. Калинин, выслушав стихи, покровительственно объяснил Есенину, что не стоит воспевать старую деревню с грязью и тараканами, надо петь новую, социалистическую. Свое собственное отношение к грязи и тараканам Есенин уже недвусмысленно высказал, но покровительственная интонация председателя ВЦИК, отказавшегося протянуть руку помощи в трудную минуту, вызвала только очередной приступ раздражения.

Галина Бениславская, ставшая для Есенина подругой и поверенной в делах в это время, достаточно точно отразила состояние поэта. В основу ее воспоминаний положены откровенные беседы с ним.

«Положение создалось таким, – писала она уже после гибели Есенина, – или приди к нам с готовым, оформившимся мирозерцанием, или ты нам не нужен, ты – вредный ядовитый цветок, который может только отравить психику нашей молодежи...»

Не раз он говорил: «Поймите, в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают».

Я не знаю, чувствовал ли он последние годы по-настоящему жизнь «своего дома». Но он знал твердо, что он-то может чувствовать и понять ее именно так, как «настоящий, а не сводный сын» чувствует и понимает свою семью. И сознание, что для этого он должен стучаться в окошко, чтобы впустили, приводило его в бешенство и отчаяние, вызывало в нем боль и злобу. В такие минуты он всегда начинал твердить одно: «Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, за всех, кого не пускают. Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся. Это вам не фунт изюма. Как еще обозлятся. А мы все злые, вы не знаете, как мы злы, если нас обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят – пусть сажают – еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго. Но не трожь. Не надо».

Тогда он не знал еще, на что пойдет – на борьбу или на тот конец, который случился. И притом больно ведь бить стекла в собственном доме. Больно даже тогда, когда в доме чужие хозяйничают, – дом-то и стекла ведь свое добро. Ему было очень больно. Но его не звали в дом, и этой обиды он не мог забыть...»

Только теперь Есенин мог в полной мере оценить послание Клюева годичной давности, пророчество старшего друга: «Страшная клятва на тебе, смертный зарок! Ты обреченный на заклятие за Россию, за Ерусалим, сошедший с неба... Порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе...»

Вспоминал и слова Клюева о Клычкове из того же письма: «Клычков с Коленкой послал записку: надо, говорит, столкнуться нам в гурт, заявить о себе...» Тогда Николай называл эти призывы «бараньей идеологией». Но всему свое время, и сейчас жизненно необходимо восстановить старую дружбу.

«Россияне»... Так будет называться их журнал. Это в то время, когда все русское травят и поносят, выдирают с корнем, полагая вредным пережитком прошлого.

– Занимаюсь просмотром новейшей литературы... Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов... – такое нередко приходилось слышать в те дни людям, встречавшимся с Есениным.

Он действительно ощущал себя центром притяжения всех своих старых друзей – талантов «новокрестьянской» плеяды – и объединение это мыслил уже не на прежней, «социальной» основе, а на новой. Должно было состояться единение крупнейших фигур русской поэзии, разрывающее удавку безнационального «интернационализма», накинутаю «людьми заезжими».

Осенью того же года Есенин познакомился с Воронским, в «Красной нови» у которого он начал печататься еще до заграничного путешествия. Придя в редакцию, поэт недвусмысленно заявил:

– Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю – вы коммунист. Я – тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я – по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет!

Тем временем над Воронским стали сгущаться черные тучи.

Разгром Пролеткульта не остановил, да и не мог остановить профессиональных демагогов и рьяных выпальвателей на ниве русской культуры. Партия давала им полную волю до тех пор, пока, вдохновленные безнаказанностью, они не заявляли о своей идеологической монополии в управлении культурной политикой. Тогда следовало расформирование гурта, на месте которого спустя короткое время сколачивался новый. Так Пролеткульт сменился «напостовством», на основе которого возник РАПП, ликвидация которого в 1932 году означала создание единого союза писателей на рапповских принципах.

Воронский, ни на мгновение не забывая о классовом подходе, привлекал к себе «попутчиков» от Пильняка и Клычкова до Мандельштама, соблазненных самой возможностью публиковаться в толстом литературном госиздатовском журнале. У него находили приют талантливые литераторы всех оттенков и направлений – он понимал, что как организатор и главный редактор не может давать волю чрезмерному проявлению своего личного литературного вкуса. Маяковский, Пастернак, Асеев на равных печатались в «Красной нови» с Клычковым и Орешиним. Однако когда дело доходило до литературной полемики, то она отнюдь не ограничивалась «разборками» с журналом «На посту». Не менее острые дискуссии кипели в лагере «единомышленников», причем верх здесь явно брали те писатели, что восстанавливали прерванную традицию, возрождали бережное отношение к форме, к русскому литературному языку в то время, когда с ним еще продолжались варварские эксперименты, которые Сергей Клычков однозначно оценил как шабаш ведьм на Лысой горе.

«Едва ли это разнообразие и пестрота – от богатства, от избытка творческих сил, уверенности в них, – писал Клычков. – Ведь оттого, что курица пестра, не значит, что она кладет золотые яйца. И у волка шерсть пестра, да не греет. Случайность группировок, формальная и подчас шкурническая спайка так называемых литературных школ и направлений не есть еще Sturm und Drang, а апашеская круговая порука – „стоять за своих“, во что бы то ни стало „выручать“ – манера далеко не „рыцарей без страха и упрека“, а больше отошедшей в предание москворецкой „стенки“... Искания *только* формы завели нас в тупик – к полному аформизму и какой-то действительно сказочной легкости достижений в области формы... Дорого стоила нам эта всеобщая мобилизация бессмыслицы и крестовый поход против человеческого нутра и простого здравого смысла».

Это писалось в сентябрьском номере журнала за 1923 год. А в декабрьском клычковскую мысль уже по-своему развил Иван Касаткин в статье «Литературные ухабы»:

«Мы грохнули оземь весь монумент веками накопленных устоев и заветов творчества... Отмахнувшись от прежних творческих навыков, мы попытались строить все заново, без всякой прикладки старых кирпичей... Теперь-то мы видим, что зря валили всю громаду старого здания литературных наследий... Очухавшись, мы ныне вылезаем из-под

обломков и видим: перед нами все тот же, объезженный по всем дорогам, классический возок».

Эти суждения, пожалуй, были не менее опасны для слуха «неистовых ревнителеев», чем прямые инвективы Воронского, направленные против них. А если еще вспомнить литературно-критические выступления Вячеслава Полонского, Валериана Правдухина...

И уж совершенно невыносимой была сама мысль о том, что в «Красной нови» собирается все самое талантливое в современной русской литературе, что у Воронского под крышей находят приют как старики, так и молодые дарования.

Ответным ходом со стороны бывших пролеткультовцев стала I конференция Московской ассоциации пролетарских писателей, на которой особенно агрессивны были Г. Лелевич, С. Родов, Ю. Либединский, А. Безыменский.

С именами этих малограмотных и самоуверенных молодых людей, возглавляемых «старыми большевиками» вроде Бориса Волина (Фрадкина) и Иллариона Бардина (Мгеладзе), и связано то движение в литературной политике 1920-х годов, которое получило название «напостовство». Беспардонная ура-классовость и ультраортодоксальность, безудержное преклонение перед Троцким – теоретиком «перманентной революции», остервенелая ненависть к «попутчикам» и ярая русофобия – вот отличительные черты этой литературной группировки. Кое-какие интересные факты можно обнаружить в биографии отдельных ее членов. Так, Юрий Либединский свое литературное крещение получил не где-нибудь, а в «Красной нови» у Воронского. Именно в этом журнале была опубликована его единственная более или менее известная повесть «Неделя», весьма существенно отредактированная... Сергеем Клычковым. Можно сказать, выкормили на свою голову!

Есенин свел близкое знакомство с Воронским уже после того, как первый номер журнала «На посту» успел прогреметь и взбудоражить литературную общественность. Раскрыв следующую книжку, поэт мог прочесть на первой же странице недвусмысленное заявление.

*Мы заявляем:
самая беспощадная борьба с мещанским и клеветническим
искажением революции в литературе,
неустанное разоблачение мелкобуржуазных литературных
уклонов в нашей среде,
обоснование и защита пролетарской литературы,
ВОТ—
единственная линия, продолжающая славные традиции
нашей партии.*

Во исполнение сих директив «напостовцы» открыли шквальный огонь на уничтожение по периметру, не минуя ни единой литературной группы, попадающей в прицел.

Но самая ожесточенная пальба была направлена в сторону «Красной нови», точнее ее авторов – Пильняка, Всеволода Иванова, Горького, Пришвина, Есенина.

«Теперь для всех ясно, что опыт не удался, – вещал Семен Родов, – попутническая литература, за исключением отдельных произведений, себя не оправдала и обнаружила свое враждебное целям революции реакционное нутро... Воронский предполагал использовать попутчиков, заставить их служить пролетариату, но в конечном счете они использовали его, получив через его посредство новые силы для борьбы с революцией; он их организовал, но очутился у них же в плену».

В том же номере еще один лихой «кавалерист» А. Зонин разразился статьей «Надо перепахать», в которой «перепахивал» весь литературный раздел «Красной нови» и заявлял, что стихи Маяковского, Есенина, Тихонова, Брюсова, Антокольского – «просто стишки, но ничего похожего на поэзию революции нет».

Встретив однажды Зонина на улице, Есенин решил поговорить с ним по душам и, крепко обняв его за шею одной рукой, а другой помахивая свеженьким номером «На посту», спросил, глядя прямо в глаза:

– Вы, видимо, не читали моих стихов о революции, что так пишете обо мне?

Критик молчал.

– Почему вы думаете, что моя поэзия враждебна рабочим? – продолжал Есенин. – Вы их спрашивали об этом?

Зонину нечего было сказать в ответ. Он только промямлил: «Отпустите...»

– Прочитал я Вашу статью и подумал: не обидел ли я Вас когда-нибудь?

Критик топтался на месте и мечтал только об одном – поскорее исчезнуть. В конце концов Есенин сжалился над ним и отпустил, так и не получив членораздельного ответа на свой вопрос.

Он сразу понял, что это не «безумство храбрых», тут дело серьезнее. Тем более что в том же номере журнала было заявлено: «...во всех библиотеках, в рабочих клубах и в каждой фабзаводской литколлегии журнал „На посту“ должен быть на первом месте, постоянной настольной книгой...»

Вся полемика с «октябристами» того же Троцкого, время от времени возникающая на газетных и журнальных страницах, могла быть исчерпывающе охарактеризована русской пословицей: «Милые бранятся – только тешатся». Троцкий был умнее и дальновиднее всех «напостовцев» вместе взятых и проницательнее всех теоретиков пролетарской культуры. В отличие от Родова, Лелевича, Либединского Троцкий понимал, что настоящее время этих и им подобных искоренителей еще не пришло, и исподволь осаживал их, призывая не прищипывать коней и из тактических соображений примириться с временным существованием «попутчиков» в советской литературе, у которых те же «пролетарии» могли бы многому поучиться.

Это не раз повторялось в истории русской литературы XX столетия. Всевозможные лефы, комфуты, «октябристы» или эстеты – радетели «чистого искусства» – могли нападать друг на друга, облаивать и рвать друг другу глотки. Но едва только речь заходила о писателях, русских по мироощущению, воплощающих в своем творчестве синтез классической русской культуры XIX столетия и традиции крестьянской культуры, как непримиримые противники мгновенно спланивались и единым фронтом обрушивались на «русопиятствующих консерваторов». С одной стороны исходили «праведным гневом» Родов и Зонин. С другой стороны, в «Правде», изощрялся в самых оскорбительных репликах по адресу «мужиковствующих» и персонально Есенина Жорж Устинов. Николай Асеев вещал «о „тараканьих“ тенденциях в современной литературе»... А в интеллектуальном опоязовском кругу отношение к Есенину было точь-в-точь таким же, как в свое время в салоне Зинаиды Гиппиус: «Что это на вас за гетры такие?» «Я говорю Тынянову, – записывал в дневник Корней Чуковский, – что в Есенине есть бальмонтское словотечение, графоманская талантливость, которая не сегодня-завтра начнет иссякать. Он: – Да, это Бальмонт перед Мексикой». И тот же Тынянов в статье «Промежуток», опубликованной «Русским современником», снобистски вещал сквозь зубы: «...Желая выровнять лирику по линии простой исконной эмоции, Есенин на деле переводит ее на досадные и не совсем простые традиции... Есть досадные традиции – стертые (так стерт для нас сейчас – как традиция и Блок)... В период промежутка звонкая монета чаще всего оказывается фальшивой. Мы это видели, говоря о Есенине».

В этой атмосфере Есенин собирает вокруг себя старых друзей, собирает материалы для журнала с демонстративным названием «Россияне», зная, что одно это слово станет поводом для бешеного лая политических и литературных цепных псов идеологии.

Он знал, что отношение к нему и к его друзьям – Клюеву, Клычкову, Орешину – лишь деталь в общей чудовищной картине Советской России нэповского периода.

«Россияне» так и не вышли в свет, хотя активную работу по их изданию Есенин не прекращал после беседы с нарком-военмором. Невозможность издания подобного альманаха предопределили многие внешние и внутренние причины.

С самого начала не заладились деловые отношения с Сергеем Клычковым и Петром Орешиним. Они хотели на равных принимать участие в составлении и редактировании альманаха, на что Есенин ни под каким видом не мог согласиться, желая играть первую скрипку в новом издании.

В помощь и поддержку себе он привлек Николая Клюева, за которым лично съездил в Петроград.

Но не в добрый час собирал Есенин «крестьянскую купницу».

Клюев приехал в Москву, сравнительно недавно освободившись из-под ареста. Сначала он был арестован в Вытегре и доставлен в Петроград, а спустя некоторое время после освобождения, по непроверенным данным, арестован вторично. Обвинялся он, по словам бывшего вытегорского чекиста, в «хранении икон и торговле ими». Разумеется, ни о какой «торговле» и речи не могло быть. Клюев в дни страшного погрома православной церкви пытался уберечь хоть что-нибудь из шедевров древнерусской иконописи от разграбления и уничтожения. Отсидев сравнительно короткое время в «пробковой камере» на Шпалерной, поэт вышел на свободу, но, естественно, долго не мог забыть этого кошмара.

Пимен Карпов встретился со старыми друзьями, уже пережив обыск в родном доме и другие не менее «приятные» события, о которых он рассказывал в письмах к близкому знакомому, библиофилу Александру Борисовичу Рудневу. «Едва только я приехал в Рыльск, оттуда домой, чтобы заняться работой над книгой, – вдруг узнаю, что дома у меня и у моих знакомых был обыск, что меня хотели арестовать, а за что – черт их знает!.. Ты там, друг мой, пожури Воронского, а при случае и других – зачем меня терзают? Ведь это же скандал в бла-ародном семействе: преследуют „писателя-пролетария“, вышедшего из низин и т. д., и ухаживают за каким-нибудь Вандервлиптом, Урквартом, вообще – за целой оравой капиталистов, становясь перед ними на задние лапки. Нехорошо!..» Словно наяву сбывалось недавнее сновидение, отраженное в стихотворении «Тринадцатый колдун»:

И мы пошли: я в бездну преисподней,
Ведя святых самосожженцев в бой;
Ты – к алтарям обители Господней,
Туда, вослед за солнечной трубой.

И вот обожжены венцы и крылья
В молниеносном пламенном пути...
И белая тебе приснилась лилия,
А мне приснилось: некуда идти.

О том же, о потере всех иллюзий и радужных надежд в бесчеловечном мире, писал и Сергей Клычков.

На всех, на всем я чую кровь,
В крови уста, цветы, ресницы.
О, где ты, мать людей, – Любовь?
Иль детям о тебе лишь снится?

.....

Родимый край угрюм и пуст,
Не видно рыбака над бегом.

И лишь улыбка чистых уст
Плывет спасительным ковчегом.

Петр Орешин, постоянно мечущийся, жаждущий «спаяться» с послереволюционной жизнью и не будучи в состоянии подавить в себе пронзительной лирической ноты, пишет в это же время стихотворение, в каждой строчке которого слышатся одновременно и отчаяние, и радость, и гнев, и удивление.

Соломенная Русь, куда ты?
Какую песню затянуть?
Как журавли, курлычут хаты,
Поднявшись в неизвестный путь.

.....

И что ж? Крестом, как прежде было,
Никто себя не осенил.
Сама земля себя забыла
Под песню журавлиных крыл.

А в стихах Александра Ширияевца – сплав древних исторических мотивов с холодной и неуютной современностью. Здесь жуткая картина окровавленной и поруганной отчизны:

Свистят кнуты над мясом человеческим,
У рдяной лужи заскакали псы;
У солнца, солнца кровавые плечи!
Несчетны с убиенными возы!

Но вот, бывает, узрит чудо площадь:
Дрожмя дрожит властителей рука —
Пред лохмачом, иссохшим, словно мощи,
Блеснет венец заместо колпака!

И все таращат пропитые зенки,
Всех обжигает: «Волчью шкуру скинь!»
И хоть неделю вдруг пусты застенки...
Блаженны духом нищие! Аминь!

Юродивым, кричащим в глаза монарху: «Нельзя молиться за царя-ирода!» – стал русский поэт-«новокрестьянин», но его слово не только не освобождало застенки от невинно осужденных – напротив, его самого швыряли в узилище. И только Бога мог он благодарить, если оставался жив.

Ко времени приезда Клюева в Москву и новой встречи с ним и Сергеем Есениным Ширияевец был уже исключен из «Кузницы», отказавшейся от «смычки» с крестьянскими писателями. Был временно запрещен цензурой его «Мужикослов», а сам он, живя на копеечные гонорары, практически нищенствовал. В письме Семену Фомину он сообщал, как после чтения стихов в «Литературном особняке» был облаян «бульварной сволочью». Через несколько дней, вспоминая об этом событии, подчеркивал: «Критиковала та бульварная сволочь, которой цена – грош медный – стоит ли принимать всурьез – смешно! Не они породили, не они убьют нас...» Не «бульварная сволочь» страшна сама по себе. Хуже то, что дан ей полный карт-бланш верховной властью, и шавки, с ведома и покровительства ее, не ведая о своей грядущей участи, травят без устали «крестьянскую купницу» скопом и каждого

русского поэта по отдельности. «Тем, о чем пишу я, ты и нам подобные, – писал Ширяевец старому другу Павлу Поршакову, – коммунистических лбов не прошибешь и шума не вызовешь. Не забывай, в чьих руках печать».

Хотелось бы забыть об этом, да жизнь ни на секунду не давала такой возможности.

В подобном же, пожалуй, даже в еще худшем положении оказался появившийся в Москве Алексей Ганин, друг Алеша, с которым Есенин не виделся, почитай, пять лет. С распростертыми объятиями встретил он задушевного приятеля и поселил его у себя в комнате, точнее, в комнате Галины Бениславской в Брюсовском переулке, куда перебрался сравнительно недавно.

Через год, давая в ГПУ показания, арестованный Ганин последовательно, день за днем, описывал кошмарную эпопею своей московской жизни:

«Я приехал сюда, в Москву, как в центр научной и литературной работы. Так как начаты мною работы – ряд художественно-драматических хроник, „Освобождение рабов“, „Иосиф“ и несколько других из истории эллинского Рима и России. Кроме того, мною начат большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет... Но приезд мой оказался для меня роковым. Все мои работы, особенно последняя, рассчитанная приблизительно на десять лет, требовали еще некоторой, хотя бы минимальной обеспеченности, которой у меня абсолютно не было.

Напротив, я оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег. И так продолжалось с 1923 года, с сентября месяца до дня ареста. Питался я большей частью в кафе Союза поэтов «Домино». Позднее – «Альказар» и «Стойло Пегаса». А ночевал – где застигнет ночь... Желая уехать обратно и не имея ни гроша денег, я хлопотал перед Наркомпросом, чтобы уплатили мне гонорар за книгу стихов, принятую еще в 1921 году ЛИТО. Но так как ЛИТО было уже давно ликвидировано, а материалы перешли в архив академии, в уплате гонорара мне было отказано. Я окончательно остался на мели, во власти всяких случайностей. Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу поэту Есенину в дом «Правды» по Брюсовскому переулку, где познакомился с его тогдашней женой Галей...»

А 25 октября Есенин, Клюев и Ганин выступали на «вечере русского стиля» в Доме ученых. «Известия» в заметке об этом вечере сообщили, что «в старый барский особняк» на Пречистенке «пришли трое „калик переходящих“, трое русских поэтов – бродяг». В этом, однако, не было ничего похожего на прежние актерские стилизации. Перед собравшимися выступали поэты, вычеркнутые из времени, отторгнутые государством, лишённые крова, загнанные в угол. Само воплощение русского поэта в современности.

Есенин читал «Москву кабацкую». Участь русского поэта, вынужденного «покинуть родные поля» и умереть «на московских изогнутых улицах», была сродни участи самой «неприкаянной России» клюевских «Песен на крови».

Псалтирь царя Алексея,
В страницах убрусы, кутья,
Неприкаянная Россия
По уставам бродит кряхтя.

Издрана душегрейка,
Опальный треплется плат...
Теперь бы в сенцах скамейка,
Рассказы про Китеж-град.

.....

Как в былом, всхрапнуть на лежанке...
Только в ветре порох и гарь...

Не заморскую ль нечисть в баньке
Отмывает тишайший царь?

Не сжигают ли Аввакума
Под вороний несметный грай?..
От Бухар до лопского чума
Полыхает кумачный май...

Есенин читал об одной человеческой судьбе. Клюев – о судьбе всей России, превратившейся в нищенку, постаревшую побирушку. Ганин переносил слушателей в еще не забытый, но, казалось, окончательно уничтоженный мир сказочной русской деревни, в мир поэмы «Памяти Деда», написанной еще в 1918 году, исполненной веры в Божий Промысел, витающий над всем сущим... Бог для него был Любовью, разлитой в мире, Красотой, растекающейся по лесам и косогорам родины, Светом, проникающим во все уголки природы и бытия... На глазах слушателей восстанавливалась нерасторжимая связь понятий, обретшая реальную плоть тысячелетие тому назад, – крестьянин-хрестьянин-христианин.

Сквозь голубые глаза
и небу,
и высокому Солнцу,
и каждой былинке,
и птахе
тысячи дней улыбалось Дедово сердце...

.....

Боговым маслом и ладаном,
воском топленным
и жито
празднично пахнет в избе.
Тихо, как в церковь, приходят соседи.

«Жутким показалось мне выступление Есенина, – вспоминал Семен Фомин. – ...Перед чтением стихов сказал вступительное слово. Упомянув о поэме Блока „Двенадцать“, принимался несколько раз наливать из графина в стакан воду, пил большими глотками и затягивался папироской. Перед долго ждавшей аудиторией ходил, потирал руки, хмурил брови и держал себя с нарочитой развязностью...»

Здесь, на этом вечере, окруженный старыми друзьями, охваченный старыми воспоминаниями, он окончательно, как ему казалось, подводил черту под целым жизненным периодом, добрым словом помянув Александра Блока и запоздало гласно рассчитываясь со своими приятелями из числа «имажинистской братии».

– Блок, к которому приходил я в Петербурге, когда начинал свои выступления со стихами (в печати), для меня, для Есенина, был – и остался, покойный, – главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете... Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней, с благоговением... Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся... Да, я не участвовал в этом вечере и сказал им, моим бывшим друзьям: «Стыдно!» Имажинизм ими был опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма... Как можно осмелиться поднять руку на Блока, на лучшего русского поэта за последние сто лет!

Клюев был угрюм и молчалив. Он как бы знал, что ничем хорошим это временное единение «крестьянской купницы» окончиться не может.

Именно тогда, в октябре 1923 года, все они, Есенин, Клюев, Орешин, Клычков, Ширяевец, Пимен Карпов, Павел Радимов, Чапыгин, Иван Касаткин, подписали письмо в ЦК РКП(б) с просьбой «уделения со стороны рабоче-крестьянской власти внимания к нашим творческим достижениям». Внимание это, по мнению писателей, должно выразиться в предоставлении возможности «самостоятельно издавать свои книги, тем более что возможность эта дана почти всем литературным группам. Считая себя не ниже каких бы то ни было существующих литературных групп, просим предоставить нам право пользоваться самостоятельной сметой при Госиздате на тридцать печатных листов в месяц, с самостоятельной редакцией из представителей нашей группы и самостоятельным распределением печатного материала».

Никакого положительного ответа из ЦК, однако, не последовало. Кроме того, в решающий момент обнаружилось, что писатели не в состоянии найти общий язык.

«Наше объединение не ладится. Выходит лебедь, щука и рак», – писал Иван Касаткин. Все происходило чисто по-русски: каждый стал гнуть свою линию и был не в состоянии хоть в чем-то уступить товарищам. Со всей очевидностью стало ясно: прежнему тесному содружеству времен «скифства» не бывать. Дважды войти в одну реку оказалось невозможно.

В эти же дни, слушая стихи Клюева, Есенин говорил как бы про себя: «Какой он хороший... Хороший, но чужой. Ушел я от него. Нечем связаться. Не о чем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос...»

На самого же Клюева тяжелейшее впечатление произвел московский быт Есенина. «Я живу в непробудном кабаке, – писал он Николаю Архилкову. – Пьяная Есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льется рекой, и люди кругом бескрестные, злые и неоправданные. Не знаю, когда я вырвусь из этого ужаса...»

Уже после смерти своего друга в «Бесовской басне про Есенина» Клюев, утрируя и приукрашивая виденное, создаст очерк потерянной, погибшей в безбожии и кабацкой мути души некогда родного «Сереженьки», а местом дьявольских похждений Есенина будет им изображена квартира в Брюсовском переулке, комната Гали Бениславской, где жил Клюев у Есенина по приезде в Москву.

В этой квартире Есенин обосновался после двухмесячной бесприютности и скитаний по разным адресам. Буквально не прошло и двух недель по возвращении из-за границы, как он разорвал брачные отношения с Дункан и съехал с Пречистенки. Пришел на Богословский к Мариенгофу, у которого уже была семья. Пожил недолго и заявил, что «не может сидеть на краю чужого гнезда». А самое главное, убедился, что с Мариенгофом ему не о чем стало говорить.

Тут-то и возникла на его пути Галя Бениславская, бывшая работница секретариата ВЧК, ныне – сотрудница редакции «Бедноты», с имажинистских времен по уши влюбленная в Есенина. Она и предоставила ему угол в своей комнате, ему и его сестре Екатерине. В этой же густонаселенной квартире жили старые знакомые – Аня Назарова, Яна Козловская, дочь известного большевика, а также партийная журналистка Софья Виноградская, редактор «Бедноты» Грандов.

Все попытки Есенина добиться собственной жилплощади остались тщетными. Ни в секретариате Троцкого, ни в Моссовете у Каменева – нигде даже ухом не повели. Ходатайства не имели никакой силы, ибо квартиры в Москве получали в первую очередь «ответственные работники». Так в Брюсовском переулке, в комнате Бениславской, Есенин и прожил около года.

Он был искренне благодарен этой женщине, приютившей его и взявшей в дальнейшем в свои руки все дела по устройству рукописей и книг. Но при этом не испытывал к ней сердечных чувств, что травмировало и оскорбляло ее. Открытые свидания поэта с крутящимися вокруг «розочками» вроде Риты Лившиц, Нади Вольпин или Агнессы Рубинчик доставляли ей немалые страдания, как и поездки Есенина на Пречистенку – долго он еще не находил в себе сил окончательно порвать с Дункан и, оставив ее, испытывал

обостренное желание видаться с ней хоть раз в неделю... Но даже о них Бениславская не писала в своих воспоминаниях с такой злобой и яростью, как о друзьях поэта, навещавших его на дому и встречавшихся с ним в «Стоиле Пегаса».

Наибольшую ненависть ее вызывали жившие и столовавшие у нее в комнате Николай Клюев и Алексей Ганин. Для Бениславской все приятели и собутыльники поэта в эти дни были на одно лицо, и она не выделяла ни Клюева, ни Ганина из числа собутыльников и любителей «острых ощущений», жаждущих выпить на дармовщинку и безудержно льстивших Есенину, обирая попутно его карманы, – таких, как Сема Шерн, Иосиф Аксельрод, Зелик Персиц, Борис Глубоковский... По существу, и они-то были глубоко несчастные люди, вся радость которых заключалась в том, чтобы посидеть за одним столом со знаменитым поэтом, выпить с ним, побуяннить, побить посуду, все это, естественно, за есенинский счет, а потом закатиться к Дункан – в салон, куда их без Есенина на порог не пустили бы... А тут – известный поэт и знаменитая балерина. С поэтом можно напиться, а танцовщица продемонстрирует свое искусство не на сцене, а дома, у них на глазах... Экзотика!

А Есенину эта «экзотика» уже давно стояла поперек горла. Но, повинувшись внутреннему позыву забыться, «чтоб не видеть в лицо роковое» и плыть по течению, дабы отвлечься от жути и мерзости окружающей жизни, травящей душу, он поддерживал общение с этой богемой – всеми этими Зеликами, Иосифами, Марцеллами Рабиновичами. Последнего Бениславская и Назарова выделяли из общей толпы, наверное, потому, что дольше всех умел сохранять трезвую голову и вообще был расчетливее остальных. Хорошо знавший его Сергей Третьяков имел все основания написать эпиграмму, начинающуюся строками:

Общаясь с певуном Марцеллом,
Рискуешь не остаться целым...

Может быть, и не следовало даже вспоминать имена всех этих пропойц и кокаинистов, притворявшихся то «поэтами», то «ответственными работниками», если бы не последующие события, при позднейших описаниях которых неразрывно переплелись правда и ложь, реальность и слухи, сплетни и передергивания.

* * *

1 марта 1915 года газета «Утро России» опубликовала обращение под красноречивым заголовком – «К русскому народу». В этом обращении речь шла не о помощи армии, не о сплочении вокруг трона, и вообще оно было начисто лишено пресловутой патриотической риторики. Нет, в обращении содержалось требование уравнивать в правах еврейскую нацию с русской. Подписали этот документ самые известные в то время деятели русской культуры, среди которых выделяются имена Н. Бердяева, Л. Андреева, И. Бунина, Максима Горького, Вячеслава Иванова, В. Каменского, А. Серафимовича, Ф. Сологуба, П. Струве, И. Северянина, Алексея Толстого, Д. Философова, В. Фриче, Е. Чирикова, А. Чапыгина, Д. Мережковского, З. Гиппиус.

Не пройдет и трех лет, как у многих подписавших изменится отношение к данному вопросу. Произойдет это в то время, когда исполнится их розовая мечта 1915 года и еврейская нация будет «уравнена в правах». Конкретное воплощение сего «уравнения» и реакцию на него можно увидеть в дневнике Зинаиды Гиппиус.

«На днях всем Романовым было поведено явиться к Урицкому, зарегистрироваться. Явились. Ах, если б это видеть! Урицкий – крошечный, курчавенький жидочек, самый типичный. И вот, перед ним – хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина...»

Из «Окаянных дней» Бунина. Одесса 1918 года.

«Недавно встретил... проф. Щепкина, „комиссара народного просвещения“... Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским „депутатам“:

– Товарищи, скоро во всем свете будет власть Советов!

И вдруг голос из толпы этих депутатов:

– Сего не буде!

Фельдман яростно:

– Это почему?

– Жидив не хватя!

– Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных».

Впрочем, в глазах миллионов людей первые ряды палачей в революционную эпоху составляли не Щепкины, а Фельдманы. От этого факта никуда не денешься. Будь иначе, не пришлось бы в 1918 году издавать декрет «О борьбе с антисемитизмом», подразумевавший в военное время применение высшей меры наказания за одно произнесение слова «жид». Будь иначе, не появлялись бы с другой стороны страницы, подобные тем, что опубликованы русско-еврейским общественным деятелем И. Бикерманом в книге «Россия и евреи» в 1922 году:

«Русский человек никогда не видал еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Были и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной Армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит теперь славное имя Нахамкеса (правильно – Нахимсона. – *Ст. и С. К.*), исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск – в Слуцк. *Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом. Он встречает евреев и не-коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти: она ведь всюду, и уйти от нее некуда. А власть эта такова, что, поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждает в мысли, что нынешняя власть – еврейская, и что потому именно она такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть».*

Но это, что называется, голос с той стороны. А по эту сторону раздавались декларации, по сути, ничем не противоречащие приведенной картине. «У нас нет национальной власти – у нас власть интернациональная. Мы защищаем не национальные интересы России, а интернациональные интересы трудящихся и обездоленных всех стран», – писали «Известия» 8 февраля 1921 года. Под трудящимися и обездоленными в Советской России в первую очередь имелись в виду евреи, пользовавшиеся, в частности, правом преимущества при поступлении в вузы и огражденные от всяких «чисток», когда из этих же самых вузов «пачками» исключали молодых людей за «непролетарское происхождение». Пройдет еще несколько лет, и «Правда» выдаст очередную декларацию все в том же духе, уже применительно к литературе: «Писатели должны выкинуть за борт литературы мистику, похабщину, национальную точку зрения». Ряд поистине замечательный!

Ариадна Тыркова-Вильямс, некогда входившая в ЦК партии кадетов (то есть ее принадлежность к «либеральной», лишенной каких бы то ни было «национальных предрассудков» интеллигенции не вызывает сомнений), вынуждена была констатировать, что «среди большевистских заправил было очень мало русских, т. е. мало людей, пропитанных русской культурой и интересом к русскому народу... Наряду с просто иностранцами большевизм привлек много приверженцев среди эмигрантов, проживших долгие годы в эмиграции за границей. Особенно много среди них было евреев. Они очень плохо говорили по-русски... Нация, над которой они захватили власть, была им чужда. К тому же они вели себя, как победители в покоренной стране...

В Советской Республике все комитеты и комиссариаты были заполнены евреями. Они часто меняли свои еврейские имена... Но этот маскарад никого не обманывал... Доминирующий класс, который очень быстро выкристаллизовался кругом большевиков, в большинстве своем состоял из инородцев, людей, чуждых русскому народу...».

Негласные осведомители поставляли в Информационный отдел ОГПУ материалы об «антисемитизме среди рабочих», «антисемитизме среди безработных», «антисемитизме в деревне», «антисемитизме среди коммунистов», «антисемитских настроениях среди интеллигенции», «антисемитской работе духовенства». Люди, независимо от их социального происхождения и отношения к советской власти, не таясь, выражали свое возмущение революционной ломкой национальных отношений, сложившихся обычаев, традиций, народной психологии. Более того, сплошь и рядом приходилось видеть, как любое недовольство начальством моментально влекло за собой обвинение в «антисемитизме», а отношение начальника-еврея к рядовому гражданину служило конкретным воплощением известного выражения: «Ваше времечко прошло, наше времечко настало!»

«Одолели нас люди заезжие...» Эта мысль постоянно стучала у Есенина в висках по возвращении из-за границы. Девушки-подружки, на квартире которых он жил, воспитанные в «интернациональном духе», воспринимали его разговоры на эту тему как психическое отклонение и тем большей ненавистью проникались к Клюеву и Ганину, когда те заводили разговоры о судьбе России и русской культуры. «К[люев] рассказывал, как тяжело ему живется: „Жида правят Россией“ – потому „не люблю жидов“, – не раз повторял он. У С. А. что-то оборвалось – казалось, он сделался юдофобом, не будучи им по натуре. „Жид“ для него стал чем-то вроде красного для быка», – писала Анна Назарова, будучи совершенно не в состоянии понять того, что она слышала и чему была свидетельницей. «К[люев]... тихо, как дьячок, – продолжала она, – великим постом что-то читает в церкви, – соболезнавал о России, о поэзии, о прочих вещах, погубленных большевиками и евреями. Говорилось это не прямо, а тонко и умно, т[ак] ч[то] он, невинный страдалец, как будто и не говорил ничего...» Назаровой все, сказанное Клюевым, было чуждо, так же как и Галине Бениславской. Та вообще выходила из себя при его виде и особенно при виде Ганина. «Приехал сюда и обозлился, что таких, как он, поэтов, р-р-р-усских „поэтов“ не принимают. С его торгашеской психологией он, конечно, ненавидел советскую власть», – вспоминала она, сбиваясь с иронии на неприкрытую ненависть. Особенно замечательно здесь упоминание о «торгашеской психологии» человека, оригинального поэта, выброшенного из жизни и вынужденного буквально нищенствовать и побираться. Ощущение собственной ненужности владело тогда многими русскими писателями, которые откровенно делились друг с другом своими переживаниями, о чем свидетельствовал сам Ганин, год спустя давая показания в ГПУ:

«Все разговоры наши вращались исключительно в области литературы, литературного быта, воспоминаний о годах гражданской войны и вообще о всех вопросах, которые затрагивали и затрагивают мыслящие люди... После собраний неизбежно уходили в „Стойло Пегаса“, где был галдеж до двух часов ночи, а оттуда, если в состоянии мы были двигаться, отправлялись, кажется, в „Подвал энтузиастов“, ныне закрытый, где было кручение до шести часов утра. Нередко компаниями уезжали в ночные чайные на Триумфальную. Что там были за люди, я не знаю. Какие-то расфранченные дамы, актрисы, артисты, художники, поэты, иностранные представители печати. Все это гудело, вертелось, был пьяный угар и смертельная тоска. Но где же было быть? на улице? пешком уходить в Вологодскую губернию? К тому же многие из всяческих трестов и учреждений обещали устроить на службу. Но все это был миф. Все больше одолевало черное отчаяние...»

Состояние черного отчаяния не покидало ни Есенина, ни Клюева, ни Клычкова, ни Орешина. Есенин в это время дарит свои книги знакомому поэту Евгению Соколу с характерными дарственными надписями: «Милому Соколу, ростом невысокому, но с большой душой русской...», «Милому Соколу с любовью русской, великоросской...», «Тех,

кто ругает, всыпь им. Милый Сокол! Давай навеки за Русь выпьем...», «Милый Сокол! Люблю Русь. Прости, но в этом я шовинист...»

Пожалуй, ни до, ни после этого времени Есенин не подчеркивал свою русскость с таким нажимом, бросая открытый вызов «людям заезжим». Возмездие, впрочем, последовало незамедлительно.

20 ноября 1923 года планировалось празднование пятилетия Союза поэтов. В этот день Петр Орешин, Сергей Есенин, Сергей Клычков и Алексей Ганин зашли в Госиздат, где вели переговоры об издании книг, а спустя некоторое время забрели в столовую на Мясницкой.

За столом зашел откровенный доверительный разговор о России, советской власти, культурной и национальной политике, отношении к русским поэтам, выходцам из крестьянства. В выражениях друзья не стеснялись, да и смехотворно было бы предположить нечто иное. Тут как тут оказался соглядатай в серой кожанке по имени Марк Родкин.

«Рядом со мной сидели четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво, – давал он спустя несколько часов показания в милицеем отделении. – ...Они были далеко не настолько пьяны, чтобы не в состоянии были отдать себе отчет в своих действиях. Они вели между собой разговор о советской власти. Но ввиду того, что в это время играл оркестр, до моего слуха доходили отдельные слова, из которых я, однако, мог заключить, что двое из этих граждан не только нелояльно относятся к соввласти, но определенно враждебно... Двое из них сразу перешли на тему о жидах, указывая на то, что во всех бедствиях и страданиях „нашей России“ виноваты жидаы. Указывалось на то, что против засилия жидов необходимы особые меры, как погромы и массовые избиения. Видя, что я им не отвечаю и что стараюсь от них отворачиваться, желая избежать столкновения, они громко стали шуметь и ругать паршивых жидов... Затем эти же двое граждан говорили о том, что в существовании черной биржи виноваты те же жидаы-биржевики, которых поддерживают „их Троцкий и Каменев“. Такое же оскорбление вождей русской революции меня до глубины души возмутило, и я решил об этом заявить в отделение милиции для составления протокола...»

В этом доносе замечательно многое: и его стиль, и демонстрация чрезвычайно острого слуха доносчика, который на основании нескольких услышанных фраз сделал вывод о нелояльности к советской власти... Совершенно очевидно, что Родкин намеренно подслушивал разговор, никоим образом его не касавшийся, и нарвался в результате на то, что полностью заслужил.

«По дороге из редакции, – давал свое объяснение Есенин, – я, Клычков, Орешин и Ганин зашли в пивную. В разговоре мы касались исключительно литературы, причем говорили, что зачем в русскую литературу лезут еврейские и другие национальные литераторы, в то время когда мы, русские литераторы, зная лучше язык и быт русского народа, можем правильно отражать революционный быт. Говорили о крахе пролетарской поэзии, что никто из пролетарских поэтов не выдвинулся, несмотря на то, что им давались всякие возможности. Жаловались на цензуру друг другу, говоря, что иногда она, не понимая, вычеркивает некоторые строфы или произведения. Происходил спор между Ганиным и Орешиним относительно Клюева, ругая его божественность. Говорили – если бы его произведения стали печататься, то, во всяком случае, без Бога. К нашему разговору стал прислушиваться рядом сидящий тип, выставив нахально ухо. Заметя это, я сказал: „Дай ему в ухо пивом“. После чего гр[аждани]н этот встал и ушел. Через некоторое время он вернулся в сопровождении милиционера и, указав на нас, сказал, „что это контрреволюционеры“. ...По дороге в милицию я сказал, что этот тип клеветник и что такую сволочь надо избить. На это со стороны неизвестного гр[аждани]на последовало: вот он, сразу видно, что русский хам-мужик, на это я ему ответил: „А ты жидовская морда“. ...В милиции вообще никаких разговоров о „жидах“ и политике не было...»

Друзья Есенина, уже немного остывшие, рисовали более случайную картину происшедшего и утверждали, что «в долгой и дружеской беседе относительно советской власти ничего не говорили, и говорили, что роль евреев в литературе уже как на черной бирже и ничего не ожидается от последней. Называть тов. Троцкого и Каменева жидами не

называли, а, наоборот, говорили, что эти люди вышли из... своей национальности...» (С. Клычков). Петр Орешин вообще утверждал, что о Троцком и Каменеве говорили в самых радужных тонах, как о покровителях русской литературы. Танин отрицал всякие разговоры о евреях и советских вождях.

Все четверо в один голос отрицали какие-либо разговоры о еврейском вопросе в отделении милиции, ибо понимали, что подобный разговор легко можно подверстать под антикоммунистическую пропаганду в советском учреждении, но милиционер Абрамович утверждал, что арестованные поэты «запели в искаженной форме с ударением на Р, подражая еврейскому акценту, рев. песню „Вышли мы все из народа...“. ...Промежду собой повели разговор о том, зачем „жидовские литераторы лезут в русскую литературу, они только искажают смысл русских слов“, и в этом духе проходил их разговор с иронией и усмешками, направленными против евреев... Помню, что они говорили приблизительно следующее: „Хотя Троцкий и Каменев сами вышли из еврейской семьи, но они ненавидят евреев и на фронте однажды был приказ Троцкого заменить евреев с хозяйственных должностей и послать на фронт в качестве бойцов...“».

22 ноября поэтов освободили из-под стражи, взяв подписку о невыезде, а 6 декабря дело передали в следственный отдел ГПУ товарищу Абраму Славатинскому.

С этим деятелем нам еще придется познакомиться. Пока же отметим, что даже в этом вопросе, жизненно важном для каждого из четверки, между ними явно не было единогласия. Даже по протоколам допросов видно, что наиболее умеренно вел себя Петр Орешин, уже настроившийся на мысль, что плетью обуха не перешибешь. Чрезвычайно интересной в этом ракурсе выглядит его полемика за столом с Ганиным относительно Клюева, причем ясно, что «ругал клюевскую божественность» именно Орешин, поэт более «советский», чем остальные, а Ганин, защищая эту ноту в Клюеве, защищал ее и в себе самом...

Но эти детали, естественно, никого не интересовали, тогда как «еврейская тематика», точнее, пресловутый «антисемитизм» – вот что было подхвачено и расцветчено на страницах прессы и склонялось на все лады. Заводилой в этой истории на страницах газет стал известный по тем временам партийный журналист Лев Сосновский.

Это была весьма примечательная личность. Ярый апологет Троцкого, будущий оппозиционер, зоологический русофоб (в отличие от своего шефа, для которого понятия национальности вообще не существовало), он выполнял роль цепного пса в среде партийной журналистики. Он старался настолько рьяно, что подчас вызывал приступы отвращения у своих хозяев, начиная с Ленина и кончая Дзержинским. Ему устраивали выволочки, но тем не менее всегда держали наготове, и он всегда был готов среагировать на очередную команду «фас!». «Дело четырех поэтов» было для него в своем роде случаем идеальным – здесь просто невозможно было промахнуться. Тем более оседлав своего любимого конька под названием «антисемитизм».

22 ноября в «Рабочей газете» появилась статья Сосновского «Испорченный праздник», в которой он, поминая Николая Успенского, Некрасова, Куприна, в самом издевательском базарном тоне расписал происшедшее, щедро используя предоставленные ему показания коменданта и ответственного контролера МСПО Родкина, который, не ограничившись рассказом о происшедшем, сделал соответствующие политические выводы: «...для меня стало ясно, что предо мной сидят убежденные „культурные“ антисемиты и „истинно русские люди“... которые сознательно стараются при удобном случае дискредитировать и подорвать авторитет советской власти и ее вождей...» Все эти пассажи были красочно пересказаны Сосновским и в «Рабочей газете», и в «Жизни искусства».

К делу подключился также «напостовец» Борис Волин-Фрадкин – и пошла писать губерния. «Рабочая Москва», «Известия», «Правда», «Рабочая газета» в течение месяца занимались разбором происшедшего скандала. Словом, все произошло, как в Америке. Одна из заметок под названием «Что у трезвого попутчика на уме» представляет особый интерес. В ней пересказывалось содержание телефонного разговора между Есениным и Демьяном Бедным, которому Есенин позвонил из отделения милиции.

«На вопрос Демьяна Бедного, почему же он не на своем юбилее, Есенин стал объяснять:

– Понимаете, дорогой товарищ, по случаю праздника своего мы тут зашли в пивнушку. Ну, конечно, выпили. Стали говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ, куда ни кинь – везде жида. И в литературе все жида. А тут подошел какой-то тип и привязался. Вызвали милиционеров – и вот мы попали в милицию.

Демьян Бедный сказал:

– Да, дело нехорошее!

На что Есенин ответил:

– Какое уж тут хорошее, когда один жид четырех русских ведет.

Прервав на этом разговор с Есениным, тов. Демьян Бедный дежурному комиссару по милиции и лицу, записавшему вышеназванных «русских людей», заявил:

– Я таким прохвостам не заступник».

Невозможно сейчас сказать, *такой ли* на самом деле произошел разговор. Важно, что в *таком* виде он попал на страницы печати. Другими словами, Демьян просто настучал на поэтов, предоставив в распоряжение Сосновского и Волина содержание телефонного разговора, не предназначавшегося для чужих ушей.

Поэты категорически отвергли все гнусные обвинения в свой адрес.

«Ввиду появления в „Рабочей Москве“ и „Рабочей газете“ статей, обвиняющих меня в „антисемитизме“, – писал Петр Орешин, – считаю нравственной своей обязанностью заявить всему белому свету, что никогда я антисемитом не был и быть не могу».

«Прошу присовокупить мое заявление к письму П. Орешина, – писал Сергей Клычков. – Считаю оправдываться унижительным, ибо труднее всего доказать свою невиновность тогда, когда тебя обвиняют в очень многом, а когда ты если и виновен, только в сущих пустяках».

Газетный вал набирал силу. Слухи о происшедшем, как снежный ком, обрастали самыми невероятными деталями... И трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы дело не взял в свои руки Союз писателей... В его правление входили многие из «попутчиков», а газеты ясно дали понять, «что у трезвого попутчика на уме, то у пьяных Есениных и Орешинных на языке».

Сосновский, будучи в данной ситуации рупором «напос-товцев», не преминул заявить:

«Лично меня саморазоблачение наших поэтических „попутчиков“ очень мало поразило. Я думаю, что если поскрести еще кое-кого из „попутчиков“, то под советской шкурой обнаружится далеко не советское естество.

Очень интересно узнать, какие же литературные двери откроются перед этими советскими альфонсами после их выхода из милиции и как велико долготерпение тех, кто с «попутчиками» этого сорта безуспешно возится в стремлении их переделать».

Другими словами, речь идет не только о «черносотенцах», которые выявили себя и должны быть поставлены вне закона, но и о тех печатных органах, которые осмелятся проявить к ним свое сочувствие и «открыть для них двери». Писатели не могли не понять, что стоит за этими угрозами.

20 ноября «Правда» опубликовала заявление четырех поэтов, в котором они отказывались давать всякие объяснения и в чем-либо оправдываться «до разбора дела третьей инстанцией». А 10 декабря состоялся товарищеский суд, удостоверивший, что тов. Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных групп. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Танин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность продолжать свою литературную работу».

Обстановку на этом суде характеризуют несколько эпизодов. Так, желая «помочь» Есенину, к нему в перерыве подошла Лидия Сейфуллина и спросила его: «Есенин, почему вы им не сказали, что ругали не только евреев, но и татар, и грузин, и армян?» – «Бог с вами, Сейфуллина, – отозвался Есенин, – да никого я не ругал».

Пришли на суд и имажинисты. Рюрик Ивнев предложил вынести осуждение Бедному и Сосновскому за раздутую провокацию. Что же касается Мариенгофа, то он взялся «защищать» своего друга весьма своеобразно, доказывая, что Есенин – больной человек, который не в состоянии отвечать за свои поступки.

А русские литераторы еврейского происхождения – Львов-Рогачевский, Абрам Эфрос, – понимая всю лживость и надуманность обвинения четырех поэтов в «антисемитизме», убеждали судей, что подобные утверждения не имеют под собой никакой почвы. С полной определенностью об этом же сказал и Андрей Соболев.

– Я – еврей. Скажу искренно: я еврей-националист. Антисемита я чую за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат. В душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу.

Тем временем в «Рабочей Москве» и в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК Советов» судебные заседания получали свое, весьма своеобразное отражение.

«...Если у кого еще и были кой-какие сомнения в возмутительных поступках поэтов, то последние постарались доказать это своим вызывающим, если не сказать резко, поведением на самом суде.

Они отрицали все. Не только показания т. Родкина, свидетельство милиционера, но даже содержание своего разговора с Демьяном Бедным. Их оклеветали, им навязывают антисемитизм, их травят.

В то же время Есенин не видит ничего особенного в слове «жид»; Орешин считает разговор о роли евреев в литературе самой безобидной беседой.

Не лучшее впечатление производят и свидетели защиты. Особенно жалок Львов-Рогачевский, пытающийся дать литературную характеристику Есенина, Орешина и других, как революционных поэтов. Тов. Сосновский ядовито замечает ему, что с таким же успехом Львов-Рогачевский провозглашал революционным поэтом и М. Волошина, ярого контрреволюционера.. .

Резко обрушивается на поэтов Демьян Бедный, который возмущенно заявляет, что если у него еще оставалось хорошее чувство к некоторым из обвиняемых поэтов, то их отвратительное поведение на суде окончательно заставляет его смотреть на них с презрением.

– Если вы антисемиты, – обращается он к четверем поэтам, – имейте мужество заявить об этом открыто.

Сущность дела формулирует тов. Сосновский.

– Этот мелкий как будто случай, – заявляет он, – на самом деле показывает, что мы имеем дело с весьма опасной для общества болезнью... Эта гниль тем более опасна, что носители ее являются сотрудниками наших журналов и газет, что по ним некоторые будут судить о всей нашей литературе. Есенин, например, который слывет революционным поэтом, устраивал скандалы также и за границей. Известны антисемитские выходки Есенина и в Америке. Мы не можем терпеть, чтобы по Есенину судили о литературе Советской России...

Уже сейчас можно сказать, что, каков бы ни был приговор суда, кое-что должно измениться в отношении наших органов к тем из своих сотрудников, которые недостаточно связаны с революцией и которые умеют зачастую скрывать свои истинные настроения под удобной маской «приятя» революции» (Рабочая Москва, 12 декабря 1923 года).

«Перед допросом ряда свидетелей слово было предоставлено обвинению и подсудимым для изложения фактического хода событий. Все четверо обвиняемых категорически отрицали наличие элемента антисемитизма в их поведении и приписываемые им разговоры о „жидовском засилии“. Сергей Есенин, подтверждая, что он крикнул

свидетелю Ро/д/кину: „жид“, указывал, что этот выкрик был только ругательством, лишенным абсолютно политического содержания...

Львов-Рогачевский отмечал, что в произведениях обвиняемых можно отметить не только отсутствие антисемитизма, но даже любовь к еврейскому народу. А. Эфрос указывал, что с поэтами Орешиним и Клычковым он встречается ежедневно в течение нескольких лет и не заметил с их стороны никаких антисемитских выпадов, хотя, как еврей, он был бы к ним особенно чуток. Такое же показание сделал писатель Андрей Соболев. Тов. Сахаров, в течение пяти лет живший вместе с Есениным, отмечает случаи пьянства и дебоширства с его стороны, но отвергает возможность проявления им антисемитизма. Поэт Герасимов в своей характеристике поэтов Орешина и Клычкова отметил, что с первых дней революции они работали в Пролеткульте, работали честно, причем ему в течение нескольких лет приходилось общаться с ними и опять-таки он не наблюдал у них никаких антисемитских уклонов...

С защитительной речью выступил т. В. П. Полонский, призывавший судить поэтов за хулиганство, за пьянство, за дебоширство, но отнюдь не за антисемитизм, которого он в их деяниях не усматривает.

В своем заключительном слове Есенин подтверждает, что он хулиганил, дебоширил и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Берлине, но, по его мнению, он «скандалил хорошо». Он говорит, что через эти скандалы и пьянство он идет к «обретению в себе человека», но в то же время он категорически отвергает какое-либо обвинение в антисемитизме» (Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов, 12 декабря 1923 года).

После завершения суда, 18 декабря 1923 года, «Рабочая Москва» опубликовала заметку Б. Волина, несогласного с решением суда, под заголовком «Прав ли суд?» с призывом «к рабкорам и пролетарским поэтам» «высказаться по данному вопросу». 19, 20 и 22 декабря газета печатала «отклики», заголовки которых говорят сами за себя: «Один выход – тачка», «Им нет места в нашей семье!», «Сосновский прав – суд не прав», «Суд не прав!», «Поэтов на суд рабкоров!», «Под народный суд!», «Есенина выделить!», «В семье не без уроды», «Мы требуем пересмотра» и др.

Обращает на себя внимание и заметка известного партийного журналиста Михаила Кольцова (Фридлянда) в «Правде» от 30 декабря 1923 года «Не надо богемы», по сути задавшая тон на много десятилетий вперед и своей фразеологией очень напоминающая многое из того, что пишется на эту тему сегодня:

«Славянофилов из „Базара“, с икрой, с севрюгами, разговорами о национальной душе и еврейском засилье тоже на старом месте не найти! Но если вы очень хотите – они отыщутся...

Недавно закончился с большим шумом и помпой шедший товарищеский суд по «делу четырех поэтов» о хулиганских и антисемитских выходках в пивной.

На суде было очень тяжело. Совсем девятьсот восьмой год. Четверо подсудимых, из них один – крупнейший и талантливейший художник, слава нашей страны, засосанный богемой по уши, – кокетливо объясняющий, что поэт, как птица, поет и потому за слово «жид» не ответственен; свидетели из милиции, обязательные еврейские интеллигенты, из самых лучших чувств берущие под свою защиту антисемитов; толки о роли еврейства в русской литературе, тени Петра Струве и Трубецкого, в зале витающие; дамы-поклонницы и семеро журналистов-большевиков, вынужденных в давно остывшей и ныне подогретой реакционно-неврастенической каше разбираться...

Конечно, педагогические способы борьбы в духе идейного поощрения трезвости тут мало помогут.

Надо сделать другое. Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши и в прошлые дни – уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте будем грубы и нечутки, заявим, что все это одно и то же...»

Сам же Есенин отозвался на эту истерику с русофобской подкладкой статьей «Россияне», начатой в январе 1924 года и оставшейся в рукописи.

Симптоматично уже начало этой статьи. «Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством».

С горечью Есенин мог здесь вспомнить собственные строки из «Железного Миргорода» об американских продажных и беспринципных журналистах, которых «у нас не пускают на порог». Пришлось на собственной шкуре убедиться в том, что не менее продажная и беспринципная журналистская братия не только пускается на порог, но перед ней еще и ковровые дорожки выстилают власти предержавшие, дабы сподручнее было обрушиться всей армадой на русских поэтов. При всех нюансах ситуации существовала очевидная смычка «напостовцев» с идеологами типа Сосновского, последние играли направляющую роль, сами же действовали, в свою очередь, с высшего соизволения «вождей пролетариата».

Замечательная разящая метафора «скотного двора» в есенинской статье как бы предугадывала будущий «скотный двор» Оруэлла, предупреждая о давлении на литературу тотального механизма власти, отлаженного с помощью «неистовых ревнителей».

«Некоторые типы, находясь в такой блаженной одуре и упоенные тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора.

Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский...

В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева...»

Остается подчеркнуть, что писатели, принимавшие участие в суде над четырьмя поэтами, оказались на высоте. Чувствуя, что подобная травля может обрушиться и на каждого из них, они тогда фактически спасли поэтов, вынеся им общественное порицание. Если бы они самоустранились и предоставили власти возможность «поступить по закону», как рекомендовал Демьян Бедный, поэты неизбежно были бы осуждены и их действия были бы квалифицированы в соответствии с положениями декрета «О борьбе с антисемитизмом» 1918 года. В лучшем случае им грозил Соловецкий лагерь особого назначения. В худшем...

* * *

В зале суда присутствовали писатели Александр Неверов и его друг, известный нам Н. Степной. Интереснейшие воспоминания оставил Степной о суде над четырьмя поэтами, о выступлении на нем Неверова и о последующей беседе со своим другом в арбатской пивной по поводу случившегося. В них содержится яркое и конкретное описание атмосферы, в которой проходил суд, а также последующих событий, послуживших своеобразным подтверждением правоты судимой четверки в глазах Неверова.

«...Председательствовал Д. Бедный. Издали глядя, казалось, что словно сидела десятипудовая туша, шея которой сливалась с головой, а глаза, обрамленные тучными, отвислыми щеками да тройным подбородком, поблескивали словно из колодца.

Дом Печати был переполнен. Зал очень оригинальный, стильный, но маленький, много людей не вмещалось, стояли вдоль стен, жадно глотая накуранный душный воздух.

Были здесь от правого крыла крестьянских писателей Клычков, Орешин, Наседкин, от левого – А. С. Неверов и пишущий эти строки.

Я сидел рядом с А. С. Он часто хватался по-мужицки за подбородок.

– Надо выступать.

Трудно раскачиваться, чувство огромной ответственности за каждое слово.

– Выступай ты, а я потом, – толкнул меня в бок А. С.

Д. Бедный зло, ядовито смеялся... и, обрывая, вставлял:

– Антисемиты проклятые, писателями еще считаются, вам место не в Доме Печати...

Критик Львов-Рогачевский – высокий, слегка сутулый, свинцового цвета лицо, борода отпущенная – говорил об уклоне в народничество, поглядывал в нашу сторону. Наконец он уже, словно ясно показывая, взмахнул рукой...

А. С. увидел – знак.

– Ну, пора, видишь, приглашают – пора!

– Слово писателю Неверову, – прохрипел Д. Бедный, голос его был неприятным, как скрипучая подворотня.

Минутная пауза.

Надо было пробираться к столу председательствующего, за кафедру. А. С. почти боком протискался сквозь толпу присутствующих.

Сам Есенин притих, опустил голову, и только пальцы руки его барабанили нервно по колену. Окружающая его правая крестьянская давила на него.

Как же! Беда могла быть большая, показательный суд, скандальный поступок, уголовное дело.

Я сидел, как на ножах, и боялся, что поскользнется А. С. Его формула «И жалеть нельзя, и не жалеть нельзя» в его речи выступала всюю.

Глаза А. С. горели, он весь напрягся, казалось, все больше и больше был тот А. С, которого я видел в острые моменты его жизни... Он взвешивал каждое слово, осторожно заменяя острые слова мягкими, более приемлемыми.

Выступали многие и «за» и «против», требовали пресечь зло в корне, также требовали – оправдать, основываясь на том, что оба были пьяны – и Есенин, и еврей...

Приговор оказался совсем не тем, что было в репликах Д. Бедного, боялись, будет хуже, а тут судьи вынесли выговор...

Вокруг слышалось: «Слава Богу, свалилась с плеч тяжесть...» Мы вышли... Вечер теплый, мягкий. Когда мы шли домой уже по Арбату, сквозь полуоткрытые двери пивнушек неслись звуки скрипок, что манили собой...

А. С. остановился около полураскрытой двери, из которой вместе с гарью, дымом обдавало жарой, как из бани.

– Давай пойдем, я люблю посидеть за кружкой пива с зеленым горошком в этом угаре.

– Стоит ли тратить время?

Но он уже толкнул дверь.

Я последовал за ним.

Мы заняли столик.

– Ну, как, кто резоннее всех выступал? – уставился А. С. на меня.

– Да, тонко ты подошел к вопросу, – ответил я.

– Ты не хитри, ты по существу говори, а не вокруг да около.

Под влиянием пива – кругом кричали, горланили, рыдали скрипки, накурено, наплевано.

– По существу не могу. Напрасно мы сюда зашли. Мне воздуху не хватает.

– Что, не нравится? – улыбнулся Неверов. – Ну вот ты и представь, в такой обстановке звона стаканов, кружек, сплывков, бросков окурков он, Сережа, сидит пьяный и видит, как пригнулась, почти засыпает рядом голова, распустив длинную бороду, и вытирает ею столик...

И вряд ли еврей был трезв, может, он и действительно положил голову, засыпая, дремал. Может, и сам Есенин виноват, допустив, чтобы взбрела в голову, обезволенную алкоголем, шальная мысль...

На сцену, маленькую, убогую, вышла артистка – она была одета в легкое, без рукавов, коротенькое, с большим вырезом на груди, платьице.

И платье, и ее песенка, и жуткое с хрипотой контральто еще больше подтверждали убогость пивнушки, громко носившей в ту пору модное словоназвание – «кафе».

– Ухарь-купец, удалой молодец! – застонала она, зарабатывая свой горький кусок хлеба у хозяина-нэпмана, показывая оголенную ножку.

Но пьяному казалась и эта песнь, и эта обстановка прекрасной...

– И как все это старо и давно надо изжить, что еврей, что русский, не все ли равно? – ответил я А. С. – Особенно когда пьяны!

– Верно, браток, одинаково напиваются и будоражат, но вот видишь, кому-то надо было подсунуть здесь антисемитизм, – горькая улыбка проскользнула чуть-чуть на губах А. С., – это только обыкновенное дело, а как стараются выдавить из него что-то большее. Глупости! Давай-ка еще по одной!

– Нет, брат, шалишь, пора и по домам!

Но А. С. уже стучал по кружке усиленно, все громче и громче... Подбежал служитель...

– Еще две кружки и горошку побольше, да сотри, пожалуйста, со стола, будь добр!

– Где тут навтытираешься... видишь, где пьют, тут и льют! – ответил служитель и убежал...

Бочком пробирался человек. Он был одет опрятно, в хороший коверкотовый костюм и быстро бегающими глазами оглядывал столики, словно наблюдая хозяйски за всем.

– Вы что просили? – услышав ответ служащего, подошел он к нам.

– Да вытереть, – ответил я.

– А вы кто, из наших будете? Что-то я вас в своем заведении в первый раз вижу, – спросил он нас.

Неверов поднял глаза, сурово возразил:

– При чем тут «из наших»?

– Видите ли, – у спрашивающего разлилась по выбритому толстому лицу улыбка слащаво-приторная, – я это спросил, потому что я сам еврей и хозяин этого кафе.

– Нет, мы не евреи, – ответил А. С., – а все-таки в чистоте и мы ощущаем необходимость.

– Ну, это уже лишний расход, а удорожать стоимость пива я не хочу. – Он по-хозяйски повернулся, слащавая улыбка исчезла с его лица, появился оскал предпринимателя, и почти визгливо закричал: – А кому не угодно – может поискать другое кафе!

Допили быстро и вышли.

Арбат, весь освещенный, переполненный молодежью, что нервно спешила урвать хоть часок отдыха, был задорен.

– Хороша Москва! – втянул в себя свежий воздух А. С. – Сколько одного света, теперь как не полюбить ее после нашего темного захолустья».

Неверов, всеми возможными способами стремившийся избежать социально-политического контекста, в который вписалось «дело четырех поэтов», переводя в разговоре случившееся на чисто бытовой уровень, все же достаточно ясно показал своему собеседнику, что дело не только в пьянстве – но в принципиальном отношении к русскому человеку в новом государстве – от верхушек власти до арбатской пивной. И когда «Журналист», раздувая эту историю, обратился к литераторам с анкетой «О нездоровых явлениях в литературе» и помянул нравы дореволюционного кабака «Вена», Неверов отказался связывать прежнее состояние русского писателя с нынешним, а остановился на том, что выпивки «вызываются... не общественной испорченностью того или иного писателя, а в большинстве случаев скорее *бедностью* его жизни и просто нашей русской особенностью «посидеть на людях», «завязать горе веревочкой». Ведь если пройти по писательским комнатухам хотя бы Москвы, можно убедиться, до какой степени тяжела в них так называемая домашняя, семейная обстановка, где в большинстве случаев писателю и поэту

приходится работать тогда, когда все «улягутся». Бывают ли писатели и поэты в театрах? Думаю, что девяносто из сотни только «собираются» сходить, потому что билет не по карману. Литературная обстановка, если можно так выразиться, до сих пор для большинства современных писателей и поэтов тоже такова, что находятся они в каком-то безвоздушном пространстве, за тысячу верст от современной критики в лице ее талантливых представителей. Критика современная не видит и не хочет видеть современных писателей. И если она одних усердно афиширует, ставя им плюсы и минусы художественного и идеологического характера, то других усердно обходит, замалчивает, откладывает «в долгий ящик». Писатель не требует похвалы, но на общественное внимание в лице критики он имеет право, ибо критика нужна, как воздух, как свет, как начало, организующее и укрепляющее писателя. А поскольку этого нет, поскольку писатель, работающий не за грош, а по внутреннему глубокому убеждению, является лишь *батраком*, которому со всевозможными проволочками платят 40 руб. за печатный лист, то отсюда, на мой взгляд, писательская усталость, некая *обида*, разочарованность, которые легче всего забыть за стаканом пива».

В отличие от Неверова, отвечающие на ту же анкету Стеклов, Попов-Дубовской, Лелевич предпочли сделать упор на «черносотенство» молодых писателей, которые «поддаются деклассированию», и на отсутствии политического воспитания.

Материалы этой анкеты появились в печати уже после смерти Неверова, закончившего свои дни в нищете. Похоронили его на Ваганьковском кладбище.

* * *

Вокруг Есенина и после его смерти продолжала твориться сушая фантазмагория, связанная с «делом четырех поэтов». 2 января 1926 года следователь московского ГПУ Семен Гендин в сводке наблюдений за № 4 сообщал о том, что творится в «Доме Герцена»: где «...сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя: Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы. Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются».

Эту чушь не смог перенести даже начальник 5-го отделения ОПТУ Дерibas, который снабдил донос следующей резолюцией: «Тов. Гендину. Покойников можно оставить в покое! А в чем конкретно выражаются их антисоветские инстинкты? Вообще, надо воду <лить> прекратить и взяться всерьез за работу по руководству осведомлением».

...В эти же самые злополучные дни Есенин встретился на трамвайной остановке с писательницей Галиной Серебряковой, женой партийного функционера.

– Сережа! – радостно воскликнула молодая эффектная дама. – Что ты здесь делаешь?

– Подъевреиваю трамвай!

– Что?! – Серебрякова не поверила своим ушам.

Есенин посмотрел ей прямо в глаза. Лицо его побелело, скулы напряглись, а зрачки приобрели темно-фиолетовый оттенок.

– Я теперь слово «жид» не употребляю. Так что все здесь поджидают трамвай, а я его – подъевреиваю... Ясно?!

Рядом загрохотал на рельсах вагон, раздался предупреждающий звонок. Есенин повернулся, схватился за поручни и легко вскочил на подножку. Обернувшись через плечо, бросил:

– Адью!

Окаменевшая Серебрякова осталась стоять на том же месте в позе неподвижной кариатиды.

* * *

Здесь возникает настоятельная необходимость расставить точки над «и» в истории происхождения одной из черных легенд, сопровождавших имя поэта, – легенде о «Есенине-антисемите».

На суде он чрезвычайно неловко пытался оправдываться, уже не заостряя внимания на политических мотивах: «Да у меня любовницы сплошные жидовки». Естественно, подобные реплики только подливали масло в огонь, притом что говорить о какой-бы то ни было «юдофобии» в данном случае просто смешно, достаточно вспомнить хотя бы многочисленные компании есенинских друзей и собутыльников.

Вопрос этот на самом деле далеко не так примитивен, как кажется поначалу, более того, он выходит за рамки уже упомянутого общественно-политического контекста.

Прежде всего эта легенда зародилась не в конце 1923 года. Тогда состоялось, если угодно, ее «второе рождение». А возникла она впервые еще до революции.

Вспомним стихотворение Николая Клюева, написанное и посвященное «светлому братику» в начале 1917 года, где поэт воспроизводит есенинское пришествие в петербургский литературный мир.

Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.

Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиточный сноп;
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин – поэт-юдофоб!»

Напрасно искать среди известных нам газетных материалов, посвященных Есенину в тот период, подобные утверждения. Но Клюев знал, о чем писал. Если вспомнить вопли жены Якова Сакера и издательницы «Северных записок» Софьи Чайкиной: «Новый Распутин! Второй Протопопов!» – после известия о чтении Есениным стихов перед императрицей, то становится понятным, что в «либеральных» салонах к поэту после этого события приклеили ярлык «черносотенца». Среди роющей себе в те годы могилу интеллигенции сам факт общения с царской фамилией был «изменой демократическим идеалам» и, соответственно, смычкой с «черной сотней», разумеется, также на основе «юдофобства». Тем более что речь шла о «крестьянских поэтах», предрасположенность которых к «антисемитизму» как бы априори подразумевалась.

Сплетня эта с новой силой ожила в связи с «делом четырех поэтов» и, что самое интересное, в той же интерпретации, что и семь лет назад. В газетах замелькало имя Пуришкевича, причем читателю давали понять, что Есенин, Клычков, Орешин и Ганин – фигуры хоть и не соответствующие калибру «главного черносотенца», но их поведение находится явно в том же русле, что и деятельность «Союза русского народа».

Все это смыкалось с тем, что писали о Есенине и в эмигрантской прессе, и в американских газетах после памятного скандала на квартире Мани-Лейба. Трогательное единодушие в этом вопросе просто бросается в глаза. Образ «хама», упомянутый Клюевым, из салона Чайкиной перекочевал в статью Д. Мережковского, опубликованную парижской газетой «L'Eclair», а оттуда плавно переместился на страницы «Рабочей газеты» и «Рабочей Москвы»...

Обращает на себя внимание и тот факт, что «дело четырех поэтов», непосредственно связанное с общей политической и культурной атмосферой Советской России, как бы полностью вытеснило из памяти многих людей вполне благожелательную и даже восторженную оценку Есениным поэзии Мани-Лейба, а также Давида Гофштейна и Переца

Маркиша в «Железном Миргороде». Относя их творчество к «жаргонной культуре», он отмечал их «красивые таланты» и утверждал, что среди еврейских поэтов выдвигается несколько имен «мировой величины». Это была его принципиальная позиция – хвалить поэта, достигающего крупного успеха в изображении того мира и той жизни, которую он знает.

Впрочем, и здесь все было не так просто.

Однажды в разговоре с Эмилем Кротким Есенин, будучи слегка под хмельком, бросил ему:

– Разве они по-русски пишут? Нас, русских, только трое: я, ты да Мандельштам. Не спорь! Вы русский лучше меня знаете.

– Маловато, Сережа, на 120 миллионов населения: ведь из этих троих – двое евреи.

Услышав сей ответ, Есенин иронически улыбнулся. Дескать, сами все понимаем. Не исключено, что подобные удочки он закидывал, чтобы проверить собеседника.

К Мандельштаму он относился, как к человеку чуждой литературной группы, и свое превосходство над ним всякий раз спешил продемонстрировать при немногочисленных личных встречах. Он мог, увидев Мандельштама за столиком какого-либо литературного кафе, подойти к нему и со спокойной ухмылкой произнести:

– А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-а-хие стихи!

В другой раз, проходя мимо, мог издевательски бросить через плечо:

– Вы – плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы!

И прежде чем покрасневший от гнева Мандельштам успевал что-либо ответить, Есенин уже исчезал.

Он любил подобным образом задирать поэтов, но делал это, поистине «резвяся и играя», не придавая в иных случаях своим репликам серьезного значения. В другой раз мог сказать: «Если судить по большому счету – чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама. А то... То было как бы в шишке поэтических школ...»

Он в самом деле испытывал определенный интерес к поэзии Мандельштама, который, будучи чуждым ему внутренне поэтом, не мог не восхищаться его холодной красотой «Веницейской жизни», «Ласточки» или «Сумерек свободы». С другой стороны, Мандельштам негодуяще отзывался о Есенине в присутствии третьих лиц: «Ему ведь нечего сказать: стоит перед зеркалом, любитесь, „смотрите: я – поэт!“» И он же, прочтя есенинское «Не расстреливал несчастных по темницам...», позже писал: «Вот символ, вот поэтический канон настоящего писателя – смертельного врага литературы»; а по следам есенинской «Волчьей гибели» («...но отпробует вражеской крови мой последний, смертельный прыжок») подвел *собственную* черту в отношениях с веком-волкодавом: «Не волк я по крови своей...»

«Отношения были странные, но дружеские, – вспоминала Надежда Мандельштам. – Осмеркину Есенин говорил, что он „этого жида любит“; встретили мы его чуть ли не накануне самоубийства, он звал в трактир, и Ося долго каялся, что не пошел...»

Подобных «странных, но дружеских» отношений у Есенина не было и не могло быть с Борисом Пастернаком. Пастернак в своих позднейших воспоминаниях явно приукрасил свои отношения с Есениным, написав, что они колебались от драк до взаимных объятий и поцелуев. Драки действительно были. А в «поцелуях» позволено будет усомниться.

Стихов Пастернака Есенин на дух не выносил и изредка, когда доводилось слушать пастернаковское чтение, вставал и молча выходил из помещения. «Так вот Пастернаком и проживешь», – бросил он однажды Асееву, говоря о нужности нелюбимого им поэта маленькому, ограниченному кружку читателей. А когда столкнулся лицом к лицу с Пастернаком в «Домино», заявил ему, уже не шутя и не иронизируя:

– Ваши стихи косноязычны. Их никто не понимает. Народ Вас не признает никогда.

Пастернак не остался в долгу:

– Если бы Вы были немного более образованны, то Вы бы знали о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором Вы, может быть, и не

слышали. Ему тоже казалось, что он – знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?

Последовал незамедлительный ответ:

– Не волнуйтесь. О Кукольнике я знаю не меньше, чем Вы. Но я знаю так же и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву пастернак знаем и очень любим».

Пикировка закончилась рукопашной схваткой, и драка эта между поэтами была отнюдь не последней, причем Пастернак в подобных ситуациях был далек от «джентльменства», подчас атакуя Есенина в компании трех-четырёх человек.

Пастернак нашел добрые слова о Есенине уже через много лет после смерти своего литературного противника, категорически отвергнув прежнюю поэтическую манеру. Тогда же, работая над «Доктором Живаго», он хотел придать главному герою отчасти и есенинские черты, в то же время напрочь вычеркивая из памяти всю взаимную неприязнь, которую испытывали друг к другу он и поэт, названный им «живым воплощением моцартовского начала».

И уж совершенно в ином контексте складывались отношения Есенина с Ильей Эренбургом. Ни стихов, ни прозы Эренбурга Есенин не воспринимал органически и отзывался о нем, как о писателе, категорически пренебрежительно: «Пустой. Нулевой. Лучше не читать». Но в человеческом плане мечущийся в те годы, постоянно изменяющий самому себе и не могущий найти никакой твердой опоры Эренбург был ему чем-то симпатичен. Может быть, здесь сыграло свою роль то же влечение по контрасту, вообще характерное для Есенина. Тогда еще, в начале 1920-х годов, конечно, никто не мог предвидеть дальнейшей судьбы Эренбурга, занявшего оставшееся вакантным после Демьяна Бедного место на официальном Олимпе, воспевшего все, что можно воспеть, и, подобно Демьяну, не угадавшего однажды изменения политической конъюнктуры... А в те годы Есенин, нечасто встречаясь с Эренбургом, в метаниях которого он угадывал то самое отсутствие чувства родины, которое ценил и нес в себе, вел с ним жаркие споры относительно судьбы России, революции, русского человека... Он дарил Эренбургу свои книги с характерными надписями: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина». Это – 1918 год. А в 1921-м, в год «Пугачева» и «Волчьей гибели», надписал на «Треряднице»: «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его, на снегах нашей родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и для этих». В берлинской «Новой русской книге» Эренбург писал о Есенине точно в тональности этой дарственной надписи, однако его позднейшие воспоминания свидетельствуют, что чего-то самого главного в Есенине он так и не понял.

В этих же воспоминаниях есть и коротенькое описание последней встречи мемуариста и поэта: «Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти – бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: „Ну,пусти!.. Я ведь не против тебя... Я вообще...“»

Сцена эта преподносилась Эренбургом в разрезе клиническом, с сожалеющей интонацией. Дескать, вот до чего себя довел... Подлинный смысл происшедшего раскрыла в своих мемуарах Раиса Орлова, приведя в них рассказ Эренбурга о том, что же случилось *на самом деле*. В разговоре о Шолохове Эренбург вспомнил и Есенина, и то, как Есенин во время этой встречи заявил ему: «Сейчас пойду на улицу и крикну: „Жида продали Россию!“» Эренбург вцепился в Есенина мертвой хваткой: куда ты не пойдешь. Вот тут-то и последовало: «Я ведь не против тебя. Я вообще...» Смысл этого «вообще», думается, был понятен им обоим.

Но с кем у Есенина не могло быть никаких – ни дружеских, ни дружеско-вражеских, ни откровенно вражеских контактов, – так это с «молодой гвардией» бездарностей, лихо копытящей по ниве русской словесности и потрясающей при каждом удобном случае своим национальным происхождением – Безыменским, Уткиным, Алтаузенем и другими

«талантливыми советскими поэтами» – несть им числа. Здесь он едва ли даже различал их по лицам и именам, и эта банда была страшна именно своей спаянностью, наглостью и полной беспардонностью как в человеческом, так и в литературном поведении. К ним однозначно относилось слово «жиды» уже без всяких добродушных коннотаций. В начале – середине 1920-х годов опасность, исходящая от этой лихой молодежи, многими только угадывалась, в 1930-е годы она стала страшной и повседневной реальностью.

* * *

Разговор о «любовницах-жидовках» был бы здесь, наверное, совершенно излишним, если бы не выявлял в Есенине одну черту, имеющую прямое отношение к его духовному миру, а вовсе не к обыденной жизни.

В каждой из молоденьких евреек, стайкой вертевшихся вокруг поэта, ему виделась одна из библейских красавиц, вроде той, о которой сложена «Песнь песней». Личное здесь органически сочеталось с прочитанным, и в образах миловидных, глупеньких и умненьких барышень оживали героини древних легенд.

Он говорил об этом Агнесе Рубинчик, на эту же тему, уже сугубо применительно к литературе, вел беседы и с Надей Вольпин. А в письме к Мариенгофу из Америки называл еврейских эмигрантов из России «лучшими ценителями искусства» – «ведь и в России, кроме еврейских девушек, никто нас не читал...».

Играла здесь, конечно, свою роль и вечная для Есенина тяга по контрасту к чему-то чужому, симпатичному, не до конца изведанному. Однажды, услышав от какого-то «доброжелателя» о «еврейской крови» у Дункан, он только пожал плечами: дескать, к чему было это скрывать?

Отношения с Айседорой Дункан были драматичными и стоили им обоим достаточно крови и нервов, но, расставшись с ней, он все же сохранил в душе чувство нежной благодарности к этой женщине.

Подлинной трагедией стал для него разрыв с Зинаидой Райх. И хотя друзья для него значили всегда больше, нежели жена, ни один свой разрыв он не переживал так тяжело, как этот, ставший и для него, и для нее незаживающей раной.

Болела душа о детях, и, когда Райх была уже замужем за Мейерхольдом и стала актрисой его театра, Есенин иногда приходил к ней. С детьми, преимущественно с дочерью, общался серьезно, по-взрослому, а у самого сердце разрывалось. Изредка встречался с самой Райх, и начинались эти встречи с взаимных нежностей, а заканчивались жестокими женскими упреками и очередным выяснением «позиций».

Двусмысленность отношений с Бениславской мучила и раздражала: он живет в квартире у женщины фактически на правах мужа, здесь его ждут, заботятся о нем, он полностью доверяет ей свои деловые отношения – но и только! В его собственной душе не было ничего похожего на любовь, и даже доверительно, откровенно поговорить с ней о том, что он чувствует, о чем думает – не мог! Женский ум, вечная ревность ко всем окружающим, абсолютная «идеологическая выдержанность» советской служащей... Так и хотелось найти утешения на стороне, но не среди «розочек»... Хотелось чего-то высокого, чистого, постоянного.

Это «высокое» почудилось ему в актрисе Камерного театра Августе Миклашевской, с которой его познакомила жена Мариенгофа Анна Никритина.

Через много лет Миклашевская вспоминала, с какой удивительной нежностью и благородством относился к ней Есенин, как он повторял ей во время почти ежедневных встреч: «Я с вами, как гимназист». Писала с долей удивления, что не слышала от него ни одного не только грубого, а даже резкого слова. Как будто во время встреч с ней отходило куда-то в сторону все, что мучило его в эти месяцы, улетучивались тяжкие, невеселые думы, и сам он преображался на глазах.

Приблизительно в эти же месяцы Есенин начал нечто вроде повести или романа с явно автобиографической подкладкой. Сохранились из этого произведения лишь две машинописные страницы, но сам по себе текст, дошедший до нас, в высшей степени симптоматичен.

«Я очень здоровый и потому ясно осознаю, что мир болен, у здорового с больным произошло столкновение, отсюда произошел весь тот взрыв, который газеты называют скандалом.

В сущности, ничего особенного нет. История вся зависит от меня. Дело в том, что я нарушил спокойствие мира.

Обыкновенно в этом мире позволяется так. Первое: если ты мужчина и тебе 25 или 27 лет, то ты можешь жениться на женщине 20 или 22 лет. Если ты до супружества имел дело с такой-то и такой-то, то женщина твоя должна быть абсолютно «честной», обладающей той плевой, которая называется «невинностью». Второе: если ты родился бедным, то работай в поле сохой или иди на фабрику. Если ты родился богатым, то расширай свое дело и жми рабочих.

Этих человеческих законов можно привести без числа.

Когда я был маленьким, эти законы меня удручали, а когда я вырос, я оскорбился и написал письмо всему человечеству. «М. Г.», эти договоры вы писали без меня, моей подписи нет на вашей бумаге. Посылаю вас к черту. Один мой друг испугался того, что произведения его никогда не будут поняты, потому что он вообразил, что человечество остановилось в своем развитии. Я человек оригинальный. Я не люблю захватывать чужие мысли. Но эта мысль удивительно похожа на то, что я думаю. Я не хочу этим оскорбить ни одного человека. «Каждого люблю я выше неба», – как говорит один поэт, но сегодня в растворенное окно мое дует теплый весенний ветер...»

Это и ответ на газетную травлю, и объяснение с недоумевающими и сплетничающими за спиной, и утверждение своей позиции, исполненной редкого по тем временам человеческого достоинства. И мысли, бродившие в момент работы над одним из вариантов «Черного человека», нашли здесь свое место... Но самое главное то, что вечный «нарушитель спокойствия мира» нарушает течение своей же собственной мысли, как бы ставя точку на объяснении с окружающими. «Получите, господа хорошие, разжевывать больше не буду, начинаю о том, что сейчас главное для меня...» И объяснение с миром плавно перетекает в объяснение с любимой женщиной.

«Я всматриваюсь в линии сердца и говорю: теперь она любит другого.

Это ничего, любезные читатели, мне 27 лет, завтра или послезавтра будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45 лет.

Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с ее лба, я не взял бы золота волос самой красивейшей девушки.

Фамилия моя древнерусская – Есенин. Если перевести ее на сегодняшний портовый язык и выискивать корень, то это будет – осень.

Осень! Осень! Я кровью люблю это слово. Я люблю ее, ту, чьи перчатки сейчас держу в руках, – вся осень».

В воображении поэта образы двух любимых женщин – Айседоры и Августы – сливаются в одно неразрывное целое. Указание на возраст любимой – не более, чем все то же «нарушение спокойствия мира», мира внутреннего, который занимает сейчас поэта более, чем мир внешний. Ведь в окно подул «теплый весенний ветер», но на поверку оказалось, что за распахнутым окном переливаются осенние краски, любимая женщина предстает перед ним как воплощение осени и сам он оживляет «осенний корень» в своем собственном имени.

Он и в самом деле в эти дни не обыденно встречался, а творил, созидал, произвольно менял жизненные реалии.

Он надевал крылатку и цилиндр, и Миклашевской даже не нужно было спрашивать его, почему это он так вырядился. Мягко улыбаясь, произносил: «Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим...» А когда Клычков, слушая стихи,

посвященные Августе, отпустил ироническую пиллюлю, что, дескать, ты и десяти дней с женщиной не знаком, как уже посвящаешь ей стихи, не то что Пушкин, – Есенин тут же заявил, что никакого отношения к Миклашевской прочитанное не имеет.

По Пушкину мерил себя пристально и ревниво. Да и весь свой платонический роман воспринимал, как овейный дымкой начала XIX века.

Лишь в первом стихотворении, написанном после встречи, – «Заметался пожар голубой...» – еще слышен мотив перехода в иное душевное состояние, в который вплетается воспоминание о прошлом: «Я б навеки забыл кабаки...» Да еще одна строфа из стихотворения «Ты прохладой меня не мучай...» сжато вобрала в себя все слухи и сплетни, которые ходили о поэте по миру.

На этом и кончаются все реалии. Сама любовь в этих стихах выглядит неземной, сказочной, напоминающей любовный мотив есенинских стихов рубежа 1915–1916 годов... только теперь вместо весенних и летних красок преобладают осенние, более соответствующие душевному состоянию поэта.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

В семи стихотворениях цикла, если рассматривать их в хронологической последовательности, проходит целая жизнь человеческой души в разных стадиях. Первое стихотворение – радость узнавания. Второе – неожиданность открытия силы своего же чувства, и оно же – последнее, где голос временами срывается на крик, а признание «не хочу я лететь в зенит» – только секундная пауза перед тем, как в зенит отправиться.

И сама героиня стихотворения растворяется в окружающей умиротворенной осени – «потому и грущу, осев, словно в листья в глаза косые...». А ее присутствие только помогает поэту «расстаться с озорной и непокорною отвагой», ибо прощание с хулиганством происходит в унисон с умиротворением природы, вбирающей в себя души двух влюбленных.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

.....

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

«Сестра и друг...» Вот чего ему не хватало всю жизнь и что в мгновение ока уничтожило сохранившийся от старого плотский позыв – «слишком многое телу надо»... Без проклятий и жалоб, тихо и просветленно он «летел в зенит» в этих стихах, откуда и родная земля казалась ему лишь переменным пристанищем на пороге вечного бытия, что снова вязало неразрывной нитью его, нынешнего, с прежним, «космическим», восьмилетней давности.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

И перестала страшить «ивовая медь», еще недавно навевавшая смертельный ужас. «Иная радость мне открылась...» – открылась в желтом тлене и сырости, причине прежней смертной тоски... Здесь снова возникает мотив сада, но сада, которому не суждено цвести вечно, и с этой мыслью поэт впервые по доброй воле примиряется, ни на что не сетуя... Единственно, о чем он вспоминает с радостной тоской, – это о родном доме, о местности, где «мечтал по-мальчишески – в дым», но коли ураганом развеялись все детские мечты – не о чем жалеть. И от воспоминаний он переходит к тому, ради чего, наверное, и писался весь этот цикл, носящий задиристое название – «Любовь хулигана».

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески – в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

Последнее стихотворение цикла – «Вечер черные брови насопил...» – может служить примером предельной поэтической свободы Есенина.

Первые три строфы ничего особенного в себе не заключают. Здесь любой читатель будет усыплен простеньким описанием переживания быстротекущего времени.

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!

Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

А дальше... Дальше следует такой провал, что не сразу даже веришь своим глазам – да Есенин ли это? Набор самых дурных стихотворных штампов из жестоких романсов, где один буквально перебивает другой, поначалу ошарашивает.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Сдается, стихотворение безвозвратно погибло. Но тут Есенин делает то, на что в XX веке среди русских поэтов был способен, кажется, только он один. Поистине, «вы ж такое загигать умели, что другой на свете не умел...». Это признание Маяковского впрямую связано с его восхищением следующей строфой, хоть «агитатор, горлан, главарь» и старался скрыть это всеми возможными способами.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Эта совершенная во всех отношениях строфа кажется невиданным взлетом после всего предыдущего. Но в следующих двух строках еще не опомнившегося читателя настигает нечто совершенно головокружительное:

Расскажу, как текла бывая
Наша жизнь, что былой не была...

После этого можно перевести дух и опуститься на землю, опустить вместе с собой и ошеломленного любителя поэзии, тривиально вздохнуть, махнув рукой.

Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

* * *

В то время как Есенин парил в творческих эмпиреях, события шли своим чередом.

По делу о скандале в «Стойле Пегаса» 23 ноября должен был состояться суд над поэтом. Однако «дело четырех поэтов» заслонило все предыдущее. Раздутая провокация, несмотря на решение товарищеского суда, могла иметь самые дурные последствия, и Есенин, которому вся эта история явно не прибавила здоровья, решил лечь в профилакторий для нервных больных на Большой Полянке. Необходимо было отдохнуть, успокоиться и скрыться хотя бы на время от милиции и всякого рода стукачей и провокаторов.

А само «дело четырех поэтов» лежало и ждало своего часа. Никто и не думал его закрывать. Оно было сдано в архив лишь в мае 1927 года, уже после гибели Есенина и Ганина, а в отношении Орешина и Клычкова было «прекращено за давностью».

Глава одиннадцатая Русь Советская

В своей стране я словно иностранец...
С. Есенин

Московский профилакторий для нервных больных на Полянке...

Есенин лежал в палате, рассчитанной на четырех человек. Официально он лечился от алкоголизма при помощи комбинированных ванн и душей с лекарствами. Но, по сути, лег для того, чтобы как следует отдохнуть, отойти, успокоить нервы и заодно спастись от милиции.

От милиции он спасся, но публика, неугомонная публика настигла его и здесь. По санаторию мгновенно распространился слух, что среди больных находится знаменитый поэт Сергей Есенин. Медицинский персонал и его подопечные – все начали упрашивать поэта устроить импровизированный вечер стихов. Упрашивать, впрочем, особенно не понадобилось. Есенина всегда подкупало доброе отношение к его стихам, он был равнодушен к искреннему выражению восторга... Да и успел соскучиться без благодарной аудитории. На дворе бушевала метель, а в теплом уютном зале лечебницы поэт читал стихи, каждое из которых оканчивалось громом аплодисментов. «Москву кабацкую!» – раздался задорный голос одной из медсестер. И Есенин читал, а у слушателей слезы наворачивались на глаза – каждый из них глубоко переживал услышанное, так, словно речь шла о нем самом, о его судьбе, о его трагически искаженном жизненном пути.

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Лежавший вместе с поэтом в больнице работник административного отдела Моссовета Гутштейн спустя много лет вспоминал, что Есенин «вел себя исключительно мирно, ничем не нарушая установленного режима... Держал он себя очень просто, ничем не отличаясь от остальных больных санатория. Ходил он в своей одежде: темных брюках и сером пиджаке, в сорочке, по-домашнему, без воротника...».

Играл в шахматы, шашки. Принимал посетителей – его навещала Айседора Дункан, приходила Бениславская, забредали «на огонек» Борис Глубоковский, Марцелл Рабинович – «Сережа, чего ты здесь маешься? Пошли лучше выпьем!». Приходил Алексей Ганин.

Первые две недели Есенин из больницы никуда не отлучался. Читал, размышлял, общался с соседями по палате. По утрам приходили пионеры – целый пионерский отряд стайкой врвался в двери профилактория, а поэт, обрадованный, спешил им навстречу. Он на ходу сочинял экспромты, посвященные маленьким друзьям, шутил, играл с ними, особо выделяя из круга новых знакомых девочку Марину Ивановскую.

Скажу Вам речь не плоскую,

В ней все слова важны:
Мариной Ивановскою
Вы звать меня должны.

.....

Глазенки мои карие
И щечки не плохи,
Ах, иногда в ударе я
Могу читать стихи.

Еще до больницы он сговаривался со старым ташкентским знакомым, ныне заведующим книжным и издательским отделом ГУМа Валентином Вольпиным о возможном издании «Москвы кабацкой». Он составлял эту книгу придирчиво и любовно, понимая, что она означает определенный, причем очень важный этап в его творческом пути. Однако, уже будучи на Полянке, поэт получил известие, что ГУМ отказался печатать «Москву кабацкую» и что Вольпин может попытаться напечатать ее в другом издательстве. 1 января 1924 года Есенин написал Вольпину письмо:

«Очень благодарен Вам за устройство с книгой. Посылаю Вам доверенность и прошу отпустить из Вашего склада за деньги 2 книги моей сестре – Когана и Устинова о новой литературе. Буду весьма признателен... Очень хорошо было бы, если б издатель сделал один оттиск книги наскоро. Это нужно Воронскому. Он в „Красной нови“ пускает обо мне большую статью с большим вниманием к „Москве кабацкой“...»

Не переставал Есенин думать и о возможном издании своего журнала. С «Россиянами» ничего не вышло, так будет другой... Он, основавший «Ассоциацию вольнодумцев», так и назовет новый журнал – «Вольнодумец». Он привлечет лучшие литературные силы и оставит далеко позади «Красную новь»... Его номера будут расхватывать, читать, спорить. И отдел критики он создаст – не в пример Воронскому.

Лежа на кушетке в палате, Сергей читал книги, принесенные Екатериной. П. Коган. «Пролетарские поэты». Ну, с этим голубчиком все ясно. Слова без лукавства сказать не может. Вспомнился литературный вечер и Маяковский, громящий Айхенвальда. Так и заявил тогда, тыча в критика пальцем: «Этот Коган!» А когда Айхенвальд попытался что-то возразить, «первый футурист», скосив в его сторону глаз, процедил сквозь зубы: «Все вы... Коганы!» Праведник, от проповедей которого в пору идти в кабак. Что он, что Рогачевский... Изощряются в словесных пассажах, демонстрируют свою образованность, а элементарной искренности от них не дождешься.

А вот это уже серьезнее: Георгий Устинов, старый приятель Жорж, неистовый коммунист, рубящий сплеча, от души. Такие как бы ни любили поэзию, а коммунизм любят больше и всю литературу мечтают выстроить по ранжиру. «Литература наших дней». Почитаем...

«М. Горький, Ив. Бунин, Ив. Вольный, К. Тренев, Ив. Касаткин, Евг. Замятин и др. – все с удивительной нарочитостью, словно стараясь перещеголять друг друга, изображали российский народ в образе полудикаря, полуживотного, неизбежно пьяного, неизбежно дикого, неизбежно религиозного и несправедливого». О Блоке: «...верил известному навету, что октябрьская революция сделает из России колонию германских империалистов». Далее... «Маяковский – не поэт. Это – один из публики, горячий и впечатлительный человек, которому смертельно надоело, что писатели и поэты „пишут не так, как нужно“».

Занятно... Ну а как насчет моих стихов, Жорж? Допустим, Маяковский для тебя «не поэт» (для меня, впрочем, тоже явление абсолютно не самостоятельное – «роза краской питана, обокрал Уитмана»), но уж о Есенине ты сказать этого никак не можешь. Насчет «полудикаря, полуживотного» тоже, пожалуй, правда – что с них взять, умников? Ну а твое

«народолюбие»... Авось позволит тебе по достоинству оценить стихи и поэмы Сергея Есенина?

Глава о Есенине, Клюеве, Орешине называлась кратко и исчерпывающе: «Психобандитизм».

«Ни Блок, ни Орешин с Есениным и Клюевым не понимали, что центральным пунктом идеологии организованного революционного пролетариата является уничтожение частной собственности. Они принимали революцию лишь внешне. У них не было революционного осознания – осознания ее материальности и целесообразности. Она лишь захватывала своим внешним видом, как движение. Но когда они увидели ее настоящий смысл, крестьянские деды и прадеды возмутились в их анархо-мужичьей душе... У Есенина большевизм... не настоящий. „Мать моя родина, я – большевик“ – это звучит для подлинного большевика фальшиво, а в устах Есенина как извинение – извинение все перед той же дедовской Россией. Впрочем, в дальнейшем Есенин совершенно отрекся от своих „большевистских“ заблуждений. Рязанский кулак может спать спокойно. Сын вполне оправдал его доверие...

Есенин никуда не ушел от Клюева. Эти два анархо-мужичка идут по одной дорожке. И если Клюеву мила старая, сермяжная Русь, то Есенину сладок запах отцовского навоза... Психический бандитизм недалеко ушел от действенного бандитизма...»

Так! Знакомо. Читали. Лев Давидович Троцкий и его знаменитые рассуждения о «внеоктябрьской литературе»... Только тот потоньше кружева плел, а Жорка сплеча рубит, не глядя. Своего рода идеологическое обоснование разгрома «кулацких последышей», которые кажутся Устинову опаснее Горького, Бунина и Замятина вместе взятых... Перелистнем страницу. Хорош! Названьице-то главы какво – «Осуждены на погибель».

«Чуют ли поэты свою погибель? Конечно! Ушла в прошлое дедовская Русь, и вместе с нею с меланхолической песней отходят и ее поэты.

По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью, —

меланхолически вздыхает Николай Клюев. И Есенин – самый яркий, самый одаренный поэт переходной эпохи и самый неисправимый психо-бандит, вторит своему собрату: «Я последний поэт деревни...» ...Есенинский Пугачев – не исторический Пугачев... Это – Пугачев – антитеза, Пугачев – противоречие тому железному гостю, который «пятой громоздкой чащи ломит». Это Пугачев – Антонов-Тамбовский, это лебединая песня есенинской хаотической Руси, на короткое время восставшей из гроба после уже пропетого ей Сорокоуста...»

Ясно, что подобная «констатация факта» могла повлечь за собой для поэта весьма серьезные последствия. Тем более что Устинов, выражаясь с большевистской прямоотой, не скрывал возможности *практического* использования формулировок своего «литературного труда», фактически подводя Есенина «под монастырь». Поэт с его «лебединой песней хаотической Руси» был лишь помехой на пути «железной поступи» победившего пролетариата.

«Всего вероятнее, – продолжал Г. Устинов, – что та форма, которую дал Есенин стиху, останется и воскреснет в другом поэте, который волеет в нее новое содержание. Это и будет его заслугой. Содержание же вместе с Есениным отойдет – да уже и не отошло ли? – в прошлое, вместе с дедовской Русью, вместе с ушедшей эпохой буржуазного субъективизма и психо-пугачевщины...»

Точь-в-точь те же формулировки, что у Зонина или Родова. Словно журнал «На посту» читаешь... Давно ли Ольга Каменева увещевала Блока, что не надо «Двенадцать» читать вслух, ибо в них есть то, «чего мы, старые социалисты, больше всего боимся»? Блок тогда записал в дневнике: «Марксисты, умные, может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?» А дело это не нужно новым властям, ибо страшно для них и враждебно им. Чего боятся? Все той же неукротимой стихии русского бунта, мужицкой

революции. Этот страх руководит и Устиновым, чьи рассуждения отличаются откровенной безапелляционностью:

«Психо-бандитизм, основание которому положил интереснейший, но пропащий поэт Сергей Есенин, идет развернутой цепью по всей линии... Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, А. Ширяевец и другие „крестьянские“ поэты принесли из своих деревень психику деревенского „хозяина“, анархиста и самоеда...»

Всю его крестьянскую купницу Жорж оплевал да еще и к уничтожению приговорил; прочих же зачислял в «литературный разброд»:

«Те, кто идут сейчас в литературном разброде, будут идти мимо жизни до тех пор, пока не воспримут новой материалистической культуры. Они попадут между жерновов, будут стертые, прах их развеется по ветру, и о них не будет помнить даже подрастающее поколение...»

А кто же, по мнению Устинова, все-таки достоин права на существование и на память подрастающих поколений?

«Демьян Бедный – крупнейший поэт великой русской революции. И как-то не представляется, чтобы революция была без Демьяна».

Когда Есенин дошел до устиновского «теоретического обоснования» художественного творчества – «Интуиция!» «Вдохновение»!.. «Пора бросить эти идеалистические буржуазные побрякушки и относиться к писательству, как к серьезному организованному труду, подчиненному тем же законам, как и всякое мастерство вообще», – он в изнеможении отшвырнул книгу.

Нет, таких не переделаешь! Ничего им не объяснишь. Фанатик-параноик. Меня обзывает «психо-бандитом», а сам... Это не Воронский. С тем и поскандалить можно, и в чем-то убедить его. А Жорка – безнадежный случай. Вспомнилось, как он целился в Дид Ладо. И ведь пристрелил бы, не окажись я рядом. С такими только мужицкая хитрость помогает. Слушаешь его, киваешь головой, соглашаешься – он и отходит. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы из маузера не палило.

Своего рода проявлением такой хитрости стало предисловие к двухтомному собранию стихотворений и поэм, написанное Есениным 1 января 1924 года.

Не единожды он собирался издать свое собрание в двух томах. Предпринял несколько таких попыток. Давал собранию разные названия: «Телец», «Руссеянь», «Ржаные кони»... Ни одно из этих изданий не осуществилось. Лишь в Берлине стараниями Гржебина удалось выпустить первый том «Собрания стихов и поэм». На этом все и закончилось.

Конец 1923 года, как отмечал сам поэт, – десять лет с момента первой публикации. И двухтомник должны были открывать стихи, написанные в 1912 году (ключ, данный самим Есениным последующим издателям его собраний сочинений).

К этому двухтомнику (также невышедшему) он и писал предисловие, отмечая в самом начале: «Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений», оговариваясь, что это предисловие мог бы не писать вообще (читатель и так, безусловно, поймет), но все же «некоторые этапы требуют пояснения». Еще бы... Государственное издательство по-прежнему кривит физиономию. «Избранное» в 1922 году еле-еле удалось издать. Да и вспоминается, как вычеркивали из рукописи Иисуса, Марию, Саваофа... И Есенин начинает отчаянно врать, описывая первый этап своей поэтической жизни.

«Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в пору моей литературной деятельности...»

Получается, что ответственны за этот этап его дед, бабка и «литературная среда 13–14–15 годов», в том числе и среда московская! Походя обзывается «голландцем» Блок – носитель «протухших настроений о Розах, Крестах и прочей дребедени» – лишь бы самого мистиком не обозвали... Но последующие слова перечеркивают все его предыдущее лукавство.

«Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры...» (Хотя в этом же абзаце

вновь следуют оговорки: «Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии... все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.».)

Там же, на Полянке, он продолжал обдумывать заключительные сцены «Страны негодяев». Новые краски обретал образ Номаха. Позиция стороннего наблюдателя не устраивала поэта, он ощущал настоятельную необходимость влезть в шкуру главного героя, по примеру «Пугачева»... Но в эти же январские дни свершилось событие, которое заставило Есенина иначе взглянуть и на крестьянское повстанческое движение, и на всю историю Гражданской войны.

21 января 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин.

* * *

«Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!.. Другое дело Троцкий. Троцкий пронесит себя сквозь революцию, как личность».

Эту фразу Есенин произнес в разговоре с Надеждой Вольпин в 1920 году.

А поскольку «первое для поэта – быть личностью», по словам того же Есенина, следовательно, Троцкий был для него потенциальным поэтом, но только *поэтом в политике*. Этим и объясняются те немногочисленные восторженные реплики Есенина в адрес наркомвоенмора, которые запомнили современники.

Названный *поэт в политике* получил прекрасное художественное воплощение в образе Лейбмана-Чекистова, однако этому персонажу «Страны негодяев» уже не находилось места в поэме, начатой Есениным зимой 1924 года.

Человек, «распластавший себя в революции», умер и самим фактом своей смерти выделился из революционной стихии, *проявился*... что могло означать только одно: революция кончилась. Смерть подвела черту.

23 января Есенин вышел из профилактория и добрался до одного из проходных дворов Замоскворечья. Здесь он присоединился к траурной процессии с телом Ленина, что двигалась от Павелецкого вокзала к Дому союзов. В редакции «Правды» получил пропуск в Колонный зал и долго стоял в общей толпе, не сводя глаз с мертвого лица вождя.

Вернувшись в профилакторий, он прочитал написанный Гутштейном некролог, а в ответ на его просьбу написать траурные стихи покачал головой: дескать, врачи запрещают писать. Не объяснять же этому невежде, что такое стихи и каково работать над ними... Тем более что в голове складывались строчки, никак не укладывающиеся в обычный поминальный тон.

Этот жуткий мороз, толпы людей, костры на улицах, пять ночей прощания запомнили все, кому довелось быть свидетелем. Каждый знал – завершилась эпоха в истории государства. Что будет теперь?

Там же, в профилактории, в последние дни января, он перелистывал ленинские сборники, вчитывался в статьи, пытаясь разобраться в этом человеке. Однако в голове роилось нечто иное. Наплывала музыка откуда-то из давних времен, слышались свист и гиканье «Тараса Бульбы» и все тот же дивный звон колокольчика гоголевской тройки...

Нет, никак Ленин не выделяется из снежной, кровавой стихии. Не может обрести индивидуальные отчетливые черты.

Буря, закрутившая и взбаламутившая крестьянскую Россию, бросает навстречу друг другу и расшвыривает в разные стороны главных героев кровавой драмы – Ленина и Махно.

Украина! Страшный чудный звон.
В деревьях тополь, в цветъ подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Потом Есенин заменит *Украину Россией*. Мятежник Нестор Иваныч не то чтобы отойдет на второй план, но разделит поэтическое пространство с таким же мятежником по определению – Лениным, который не сразу выделится в вихре вечного мятежа, бушующего на протяжении нескольких столетий русской истории.

Но что там за туманной дрожью?
То ветер ли колышет рожью
Иль движется людская рать,
Ужель проснулось Запорожье
Опять на ляхов воевать,
Ужели голос прежней славы
Расшевелил былую сечь
Прямым походом на Варшаву,
Чтоб победить иль всем полечь...

Перед нами маленький кусочек исторического полотна, размеров которого мы не в состоянии себе представить. Поэма «Гуляй-поле», по словам самого Есенина, своими размерами превосходила пушкинскую «Полтаву»... Впрочем, Есенин мерился с Пушкиным не только объемом поэмы. И отталкивался он здесь не только от «Полтавы», но и от «Бородинской годовщины», от победной пушкинской интонации взятия мятежной Варшавы:

Сбылось – и в день Бородина
Вновь вторглись наши знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк...

Пушкинская восторженность сменяется у Есенина трагическим знаком вопроса при мысли о недавнем «Даешь Варшаву!», о походе Тухачевского к стенам польской столицы и страшном его разгроме. Сразу после этого все исторические аналогии и геополитические реалии отходят на второй план перед трагедией самой России в братской междоусобице, от которой горше всего досталось русскому крестьянину.

...Страшный год,
Год восемнадцатый в истории.
Тогда маячил пулемет
Чуть не на каждом плоскогорьи,
И каждое почти село
С другим селом войну вело.
Здесь в схватках, зверски оголтелых,
Рубили красных, били белых
За провиантовый грабеж,
За то, чтоб не топтали рожь.

.....

Крестьяне! да какое ж дело
Крестьянам в мире до войны.
Им только б поле их шумело.
Чтобы хозяйство было цело,

Как благоденствие страны.
Народ невинный, добродушный,
Он всякой власти непослушный,
Он знает то, что город плут,
Где даром пьют, где даром жрут,
Куда весь хлеб его везут,
Расправой всякою грозя,
Ему не давши ни гвоздя.

А началось все с того самого русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», по выражению Пушкина. Беспощадного? Да. Бессмысленного? С этим Есенин никак не мог и не хотел согласиться. Перед глазами мужика стоял все тот же злейший враг и угнетатель – как до революции, так и после нее.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.

Вот против чего восстали мужики. Банкир – он хуже всякого аристократа. А главное, эта сволочь необыкновенно живуча. Аристократию выжгли с корнем, без остатка, без надежды на возрождение. А банкир все пережил. Пережил и воцарился. В новом обличье. И все снова прибрал к рукам, вцепившись в Кремль «когтями с Ильинки»... Насмотрелся он на этих «хозяев жизни». С прежними аристократами легче было найти общий язык, чем с этими тварями.

Но – мимо, мимо... Главное не в этом. Повод для бунта быстро забывается, и бунт начинает жить своей собственной, особенной, никому и ничему не подвластной жизнью. Он упивается самим собой, своими перепадами, приливами и отливами, когда воцаряется атмосфера полного безвластия, анархии – матери порядка, живым воплощением которой в русском народе стал в первые послереволюционные годы батька Махно. «Жаль мне только волюшки во широком полюшке, жаль мне мать-старушку да буланого коня...»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

.....

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенег?
Не сон, не сон, я вижу вьявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?

Все спуталось...

Различить в этом междоусобном разоре человеческие черты – дело не то чтобы трудное. Непосильное. Тем более что реального представления о человеческом облике героя поэмы нет. Ему просто неоткуда взяться.

Если Есенин когда и видел живого Ленина, то лишь раз, издали, во время праздника на Красной площади в 1918-м. Рассказы людей, общавшихся с ним, и статьи самого вождя мало что могли здесь дать. Ленин существовал в сознании поэта именно как мифический персонаж. Фантом, дух бродячий, кочующий из разговора в разговор. Образ его был осенен еще при жизни странным ореолом, в котором сочеталось подчас несочетаемое. Поэт слышал разговоры о простоте, доброте, внимании к простому человеку. Эти рассказы соседствовали с рассказами о беспощадности к врагам, политическом гении и всенародной любви к вождю. А на улице можно было в это же время услышать залихватскую частушку:

Ходит Ленин в Петрограде
С красной сумкой на боку.
Вы подайте, Христа ради,
Заграничному коту.

Реальный образ, как показалось поэту, стал намечаться после нескольких часов стояния в Колонном зале. Желтый профиль покойного резко выделялся на общем фоне смертного одра. Отчетливо проступили монголоидные черты. Восковые губы застыли в какой-то странной полуулыбке.

Цивильный костюм умершего, с одной стороны, производил впечатление обыденности и приземленности, с другой же – еще более усиливал ощущение нереальности. Весь облик мертвеца был исполнен загадки, о существовании которой смутно догадывались немногие из шедших проститься. Есенин ощутил эту загадку всем своим нутром, но – как ее разгадать? Где та таинственная заветная игла, в каком яйце находится, как отломить ее кончик?

Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Да, что и говорить, это не Махно. Это персонаж совсем иного плана, резким контрастом выделяющийся в общей свалке и человекоубоине. И уже этим – противостоящий ей... Стоп! Так ли? Что означает эта улыбка на желтом лице? Воплощение доброты? Этаким символ гуманности в противовес батьке! И разговоры об играх с сопливой детворой, и «лысина, как поднос» – все вместе составляет некий портрет добренького дедушки из сказки? Тут крайности не сходятся, а разбегаются так, что концы с концами не соединишь. Вроде бы «застенчивый, простой и милый», а эта застенчивость таит в себе куда большую тайну, нежели откровенная жажда крови, мести и призывы к переделу мира. Вот и получается, что за всей этой цивильностью и простецкостью открывается такая бездна, куда и заглядывать-то рискованно.

Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс...

Ленин то выделяется из общего вихря со словами «Для вас спасенья больше нет – как ваша власть и ваш Совет», то снова пропадает в нем, охваченный бурей, в немолчном топоте и «странном чудном звоне»... Вот и поди, разгадай загадку этого сфинкса, которого похоронили под салют из «меднолающих громадин»...

Вся поэма «Гуляй-поле», воплотившая стихию русского бунта, была, судя по сохранившимся отрывкам, ареной противостояния двух мятежников и одновременно попыткой раскрыть тайну каждого из них. Ленинская загадка представляется куда сложнее. Сумел ли разгадать ее Есенин? – мы не знаем по сей день. От поэмы сохранились лишь жалкие остатки, да и то лишь благодаря тому, что поэт извлек из общего текста несколько строф, специально посвященных вождю, и успел опубликовать их до своей гибели.

Он так никогда и не узнал, что в библиотеке вождя находился экземпляр его «Избранного» 1922 года издания, а непосредственно в ленинском кабинете среди других книг было берлинское издание «Триптиха» – книги, объединяющей в себе «Пришествие», «Октоих» и «Преображение». Что думал Ленин, когда читал эти поэмы, как отнесся к ним – еще одна тайна.

* * *

А параллельно с «Гуляй-полем» дописывалась и дорабатывалась «Страна негодяев».

Нестор Махно бежал в Румынию, чтобы потом перебраться в Париж и по-обывательски тихо и незаметно умереть через десяток лет... Впрочем, его заграничное бытие – это уже другая глава, так далеко Есенин не заглядывал, да и не мог заглянуть.

Что же касается столь свежих в памяти событий, развернувшихся на родных просторах, то к ним интерес Есенина несколько не ослабевал, скорее даже наоборот... Во второй половине «Страны негодяев» нечто новое появляется в образе Номаха. Происходит некое его раздвоение: еще более отчетливо начинают проступать в этом персонаже чисто савинковские черты, и тем яснее становится звучание лирической есенинской ноты – поэт больше не в силах был наблюдать за своим героем со стороны.

– Зря я не написал о Махно, – обронил как-то Есенин в застольном разговоре в «Стойле» по возвращении из-за границы. – Напрасно мне отсоветовали.

Кто отсоветовал и когда? Уж не с Троцким ли поделился поэт своим замыслом, когда притащил к наркому первый номер «Гостиницы для путешественников в прекрасном»? Интересно также, что разговор о «нереализованном» замысле идет в то время, когда половина пьесы уже написана и поэт не думает бросать ее на полпути. Другое дело, что смерть Ленина и захлестнувшие Есенина мотивы «Гуляй-поля» смешали карты. Можно предположить, что многое было вложено в образ Махно из «Гуляй-поля» уже наработанного. Соответственно изменился и Номах «Страны негодяев».

Номах

Ну и народец здесь.
О всех веревка плачет.

Барсук

М-да-с...

1-й повстанец

Если так говорить,

То, значит,
В том числе и о нас.

Барсук

Разве ты себя считаешь негодяем?

1-й повстанец

Я не считаю,
Но нас считают.

Этот разговор происходит в притоне с тайным паролем «Авдотья, подними подол», где встречается весьма пестрое общество – повстанцы Номаха, дворяне Щербатов и Платов, «торгующие из-под полы спиртом и кокаином», китаец – торговец опиумом... Короче говоря, отбросы общества.

Кто считает негодьями Номаха и его друзей? Не так-то прост ответ на этот вопрос, как кажется. Повстанцы настолько идеально вписываются в атмосферу притона, что кажется сущим недоразумением их какое-либо организованное сопротивление власти. Максимум, на что они способны, – это остановить поезд с золотом по примеру каких-нибудь обнищавших калифорнийских ковбоев, ставших бандитами. Они – негодяи по сути своей. И негодьями их считают не только такие же негодяи, как и они сами, но и тот «бедный вшивый собрат», которого Номах мечтает облагодетельствовать.

Притон, напоминающий одновременно и «Зойкину квартиру», и якуловскую студию, и «Стойло Пегаса», и берлинский эмигрантский кабац, – идеальное место для тех, о ком «веревка плачет». Номаховский план российского переворота с единственной целью «погулять и под порохом и под железом» созревает под звон гитары, поющей в руках кабатчицы – бывшей дворянки-гимназистки. Под звуки романса «Невозвратное время» и популярнейшей нэповской песенки: «Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло... Все, что пело, все, что млело, – все давным-давно истлело... Только ты, моя гитара, чистым звоном хороша...» Под проклятия князя Щербатова, мечтающего о старой Руси восьмилетней давности:

Пью за Русь!
Пью за прекрасную
Прошедшую Русь.
Разве нынче народ пошел?
Разве племя?
Подлец на подлеце
И на трусе трус.
Отцвело навсегда
То, что было в стране благородно.
Золотые года!

Подобных речей Есенин вдосталь наслушался за границей и тогда однозначно обрывал все эти излияния. Теперь же появляется ощущение, что монолог спившегося дворянина не вызывает у поэта прежнего внутреннего сопротивления. Ведь не спрячешься от очевидного: воистину «подлец на подлеце и на трусе трус».

Тем временем в притоне появляется еще один негодяй – «советский сыщик Литза-Хун» под маской опиумного торгаша. Это была фигура весьма характерная для эпохи Гражданской войны да и для более поздних лет. Китайцы-интернационалисты входили в состав карательных полков, заградительных отрядов, но, пожалуй, наилучшее применение

им нашлось в чрезвычайных комиссиях. Ни мадьяры, ни евреи, ни выродки украинского и русского происхождения, служившие в ЧК, не были способны на то, на что оказались способны эти желтолицые изуверы, абсолютное большинство из которых не понимало почти ни слова по-русски. Кроме того, им практически не приходилось маскироваться, проникая под видом торговцев наркотиками во всякого рода подозрительные места. Китайский торговец опиумом – что может быть естественнее?!

И впрямь, «о всех веревка плачет» в этом притоне – вопрос лишь в том, когда именно каждый из этого сборища негодяев «получит свою веревку»... Пока что ее плетением заняты Чекистов с Рассветовым, не чуя, что в свое время веревка найдется и для них.

Чекистов, чуждый каким бы то ни было стратегическим расчетам, ждать не желает. Для него донос Литзы-Хуна – непосредственный сигнал к действию. Рассветов же – совершенно иной тип большевика. Типичный, если можно так выразиться, экземпляр «ленинской закалки».

Послушайте, мой дорогой:
Мы уберем Номаха,
Но завтра у них будет другой.
Дело совсем не в Номахе,
А в тех, что попали за борт.
Нашей веревки и плахи
Ни один не боится черт.
Страна негодует на нас.
В стране еще дикие нравы.
Здесь каждый Аким и Фанас
Бредит имперской славой.
Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.
Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет на его рожон.
Мужик если гневен не вслух,
То завтра придет с ножом.

«Страна негодует на нас...» Негодует на Рассветова и ему подобных, для которых отсутствие в человеке боязни «веревки и плахи» и любовь к своей окровавленной и изнасилованной отчизне – свидетельство *диких нравов*. Соответственно в его голове запечатлелось совершенно справедливое соображение – таких, как он и Чекистов, негодьями считает *вся страна*, сохранившая, несмотря на все кровопускания, патриотический дух, несовместимый с духом «интернациональным».

Кто же является символом противостояния этой «интернациональной» силе? Все тот же негодяй Номах?

Известие о скором аресте застаёт его в киевской гостинице. Повстанец Барсук, принесший это известие, торопит своего главаря бежать, причем в его репликах так и слышатся интонации столь же нетерпеливого Чекистова: «Всем нам одна дорога – поле, леса и снег, пока доберемся к границе, а там нас лови! Грози!» Он весь в движении, подчас бестолковым, обуреваем жаждой крови – для него и Замарашкин – враг, которому лучше заткнуть рот навсегда. Пародия на Хлопушу – пугачевского сподвижника, в большей мере, чем кто-либо из повстанцев, сохранившего звериное начало в своей душе.

Номах же ведет себя подобно Рассветову. Никуда не торопится. Рассчитывает каждый свой шаг. Но не это главное. Суть в том, что в момент наивысшей опасности он ощущает необходимость произнести свой последний монолог – раскрыться так, как не дано ему было

раскрыться ранее. Он словно знает, что для него это последняя возможность скинуть маску «благородного разбойника» и остаться самим собой наедине с жестокой и неприкрашенной реальностью.

Слушай! я тоже когда-то верил
В чувства:
В любовь, геройство и радость,
Но теперь я постиг, по крайней мере,
Я понял, что все это
Сплошная гадость.

.....

Теперь, когда судорога
Душу скрючила
И лицо как потухающий фонарь в тумане,
Я не строю себе никакого чучела.
Мне только осталось —
Озорничать и хулиганить...

.....

Банды! банды!
По всей стране,
Куда ни взглядишь, куда ни пойдешь ты —
Видишь, как в пространстве,
На конях
И без коней,
Скачут и идут заостенелые бандиты.
Это все такие же
Разуверившиеся, как я...

Топот повстанческих коней напоминает «звон синего сумрака над ширью равнин» из «Пугачева»... Только тогда не ведающие о скорой гибели повстанцы ликовали при виде страшного знамения, предвещающего беду — «зреет, зреет великая сеча. Взвост в небо кровавый туман...». Кончилась музыка революции, и затихла мелодия всепокрушающего бунта. Нынешние повстанцы, разуверясь во всем, уже по инерции скачут в никуда, и кажется, что не они погоняют коней, а кони несут их к неведомой пропасти.

Все, что звенело, пело, свистело пронзительным свистом стрелы в «Пугачеве», — в «Стране негодяев» опущено на грешную землю, материализовано, доведено до логического конца. И не «под душой, как под ношей» падает Номах, а под тяжестью свершенных преступлений и пролитой крови, даром что те же преступления совершают и ту же кровушку льют его противники.

Вот в эту решающую минуту и вкладывает Есенин в уста Номаха то, чем болел и мучился сам, обретая тайное родство с душой измученного и непутевого атамана.

А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем

И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов,
И рас, и племен.
Пустая забава,
Одни разговоры.
Ну что же,
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те же жулики,
Те же воры,
И вместе с революцией
Всех взяли в плен...

На этом откровения Номаха кончаются. Он обрывает самого себя, как бы очнувшись от наваждения, и снова включается в авантюрную игру, связанную с побегом, осуществление которого строится по канонам пошлого детектива. Он отправляет награбленное золото с переодетым в костюм стекольщика Барсуком, сам прячется за портретом Петра I, наблюдая оттуда за происходящим, обезоруживает Литзу-Хуна и исчезает.

Безусловно, есенинский герой предстал бы перед зрителем в некоем величественном ореоле, если бы, подобно Пугачеву, склонил голову перед неизбежным и покорился судьбе. Бегство же Номаха означает его полное поражение. Он обречен по инерции продолжать все ту же бесконечную игру. Поначалу Есенин предполагал, что пьеса может закончиться арестом Номаха, и даже набросал черновой вариант окончания именно в таком ключе. Но то ли почувствовал фальшь подобного финала, то ли не смог остановиться на какой-либо определенной линии. Пьеса осталась фактически незаконченной. В последние месяцы жизни, готовя собрание сочинений, Есенин собирался еще поработать над ней. Но осуществить задуманное он так и не успел.

* * *

Одновременно с работой над «Гуляй-полем» и «Страной негодяев» в жизни Есенина в первой половине 1924 года происходили события – одно не радостнее другого. Скандальная известность персонажа «дела четырех поэтов» ползла по площадям, улицам и самым укромным закоулкам. Поэтический образ *хулигана* намертво сросся в представлении многих с искаженной информацией о скандале в кафе, оброс самыми фантастическими деталями и стал своего рода мишенью для возможных провокаций со стороны людей, жаждущих «отомстить антисемиту», особенно на глазах публики, наслаждающейся бесплатным спектаклем.

20 января, за день до смерти Ленина, к Есенину в больницу пришел Алексей Ганин. Друзья решили пройтись, по дороге зашли в кафе, выпили, а потом... Потом некто Ю. Эрлих давал показания в милиции: «Я сидел в клубе поэтов и ужинал. Вдруг влетели туда С. Есенин и Ганин. Не говоря ни слова, Есенин и Ганин начали бить швейцара и, продолжая толкать и бить присутствующих, добрались до сцены, где начали бить конферансье. Пришедший милиционер просил всех разойтись, но Есенин начал бить по лицу милиционера, последний при помощи дворника усадил его на извозчика и отправил в отделение. Он, Есенин, все же бил опять дворника и милиционера... В продолжение всей дороги Есенин кричал: „жиды продают Россию“ и т. д.».

Дворник также засвидетельствовал, что Есенин «разорвал мне тулуп и бил по лицу, кричал „бей жидов“ и все в этом духе». С чего начался скандал – осталось неизвестным. В

постановлении о предании поэта суду зафиксировано, что «гр-н Есенин, явившись в кафе „Домино“, начал придирается без всякого повода к посетителям и кричал: „бей жидов“». Так вот, ни с того ни с сего «злостный антисемит» начал драку... Сам же Есенин отделался коротким замечанием: «Я вышел из санатория, встретился с приятелями, задержался и опоздал в санаторий, решил пойти в кафе, где немного выпил, и с тех пор ничего не помню, что я делал и где был». Знал, что объяснять что-либо бессмысленно.

Ни «избитый» конферансье, ни «присутствующие» никаких показаний не дали. Не сняли тогда показаний и с Алексея Ганина. Ясно, что скандал произошел лично с Ю. Эрлихом, и все на той же почве. Причем инициатором скандала был явно не Есенин. В этом убеждают протоколы последующих уголовных дел.

9 февраля, уже после выхода из санатория, Есенин сидел в «Стойле Пегаса». На сей раз «в роли» Ю. Эрлиха оказался Семен Абрамович Майзель. В милиции на допросе Есенин сообщил, что «сего числа, около 2-х часов ночи, я встал от столика и хотел пойти в другую комнату; в это время ко мне подошел какой-то неизвестный мне гражданин и сказал мне, что я известный скандалист Есенин, и спросил меня: против ли я жидов или нет? – на что я выругался, послав его по матушке, и назвал его провокатором. В это время подошли милиционеры и забрали меня в 46 отделение] мил[иции]...». Сам же Майзель показал, как, зайдя в кафе, «услышал, как гр. Есенин в нетрезвом виде говорил следующее: „По делу моему жидов мне плевать, и никого я не боюсь“. На мое возражение, что на него никто плевать не хочет, гр-н Есенин набросился на меня, но был удержан публикой и администрацией, нанося при этом ряд оскорблений нецензурными словами...». Еще один тут как тут оказавшийся свидетель, «гр. Одесской губ., г. Одессы» М. А. Крымский добавил, что «гр-н Есенин, придя в отделение милиции, одного из милиционеров называл „взяточником и мерзавцем“ и ругался площадной бранью...». А буфетчица Е. О. Гартман, уже не в первый раз осуществлявшая свою «благородную миссию», заявила, что Есенин «делал дебош, ругался неприличными словами по адресу гр. Майзель»...

Проходит месяц, и Есенин попадает в очередную историю, но уже с братьями М. и В. Нейманами. Случайный свидетель этой сцены гр. М. П. Пуговкин показал в милиции: «...Я заметил стоящего гр-на в нетрезвом виде, какового двое граждан били, причем один из них схватил другого за рукав, а другой за воротник, сдернув с него пальто, он же стал от них отрываться. За что они его били, мне неизвестно, и что между ними до этого произошло – мне тоже неизвестно...» А произошло все то же самое – мимолетная ссора и сорвавшееся с есенинских уст все то же словечко.

Через много лет Екатерина Есенина, которая также присутствовала при этой сцене, рассказала, что прибывшие в милицию братья Нейманы предъявили удостоверения сотрудников ГПУ, после чего их тут же отпустили. Спрашивается: не из этого ли учреждения были и такие посетители «Домино» и «Стойла Пегаса», как Ю. Эрлих и С. Майзель? Какую цель преследовали эти люди, намеренно играя на больной струне поэта? Зачем изощренно выводили его из себя? Не для того ли, чтобы добиться суда и приговора по известной статье – чего не удалось добиться Сосновскому?

И так раз за разом, вплоть до скандала в Ленинграде в студии актера Ходотова на вечере Рины Зеленой полгода спустя. Какой-то актеришка подошел сзади и полез в драку со словами: «Ты жидов ругаешь? Получай!» На следующий день Есенин, волнуясь, говорил Вольфу Эрлиху:

– Нет, ты понимаешь в чем гнусность? Ведь он уверен, что он под меня работает! А того понять не может, что я отроду никого сзади не бил! Ты меня извини, но он сволочь!

А каково было поэту огрызаться и отплеиваться от этих провокаторских шпилек? Каково было все время чувствовать себя под прицелом милиции, зная, что тяжелой плитой наваливаются все новые и новые уголовные дела, и сознавать при этом, что милиция вся повязана, что ни один из ее сотрудников не поднимет голос против работника ГПУ? «Взяточники! Сволочи! Паразиты!» – кричал доставляемый в отделение поэт, которого тут же подводили под новую статью – оскорбление должностного лица при исполнении

служебных обязанностей... Опять, в который раз, он чувствовал себя волком, обложенным со всех сторон.

Газеты тут же с радостью сообщали о «новых подвигах поэта Есенина»... В этой ситуации он готов был принять помощь от кого угодно – лишь бы на время почувствовать себя защищенным. И помощь эту он получил в кругу людей, весьма своеобразных.

* * *

В начале февраля, ночью, возвращаясь домой изрядно захмелевшим, Есенин случайно разбил стекло в полуподвальном этаже и глубоко разрезал себе правую руку. Его отвезли в Шереметевскую больницу, куда 20 февраля явился милиционер, держа в руках письменное определение суда. В этом документе указывалось, что поскольку поэт не явился в суд «для вручения обвинительного акта», а также «уклоняется от суда и продолжает в дальнейшем хулиганить», его предписывается взять под стражу.

Навестившая поэта Галина Бениславская убедила лечащего врача Герштейна продержатъ Есенина в больнице как можно дольше. Со своей стороны, Герштейн сообщил ей о том, что работники милиции взяли с хирурга обязательство предупредить их, когда поэт будет выписываться.

Необходимо было срочно что-то предпринимать. Спасательную работу Бениславская начала с того, что рассказала обо всем по телефону Анне Абрамовне Берзинь.

С этой женщиной Есенин познакомился в «Стойле Пегаса» еще в пору военного коммунизма. Участница Гражданской войны, свой человек в кругу ответственных работников ВЧК – ОГПУ, она в начале 1924 года работала редактором отдела крестьянской литературы Госиздата. При этом по своим идейным и литературным позициям она была близка к группе «Октябрь» и журналу «На посту» и находилась в интимной дружбе с Илларионом Бардиным – заведующим сектором ЦК РКП(б). (Бардин одно время сотрудничал с Воронским, это было в первый год издания «Красной нови», а потом стал его непримиримым противником.) Именно Анна Берзинь и стала своеобразным «передаточным звеном» в предпринятой многоходовой операции по изоляции Есенина от Воронского и приближению его к группе Бардина.

Странную роль играла она в жизни поэта. Убежденная интернационалистка, непримиримая противница сколь-нибудь заметных проявлений «великорусского шовинизма», благообразная советская дама, жаждущая достичь высокого положения и с этой целью вступающая в связь с разного рода «перспективными людьми», начиная от наркомвоенмора Грузии Элиавы и Бардина и кончая Бруно Ясенским, она в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти, рисовала себя как наиболее близкого друга последних лет жизни Есенина: «...Из женщины, увлеченной молодым поэтом, быстро минуя влюбленность, я стала товарищем и опекуном, на долю которого досталось много нерадостных минут...»

Не подлежит сомнению – она была искренне увлечена Есениным и любила его стихи. Но столь же несомненно и то, что искреннее чувство соседствовало у нее с жесткой прагматичной установкой на подчинение поэта определенной идеологической линии. Момент был выбран как нельзя более удачно. Есенин жаждал выхода из замкнутого круга, стремился любым способом оттянуть неизбежное, уйти от суда... Берзинь явилась как ангел-хранитель. Она тут же нажала на Бардина, тот воспользовался своими связями, и Есенина перевели в Кремлевскую больницу, куда милиции доступа не было.

Берзинь же обнадежила Есенина известием, что у него наконец-то будет своя комната. Новость обрадовала и успокоила поэта: слава Богу! Кончатся эта бездомность, шатание с квартиры на квартиру... Он стал делиться с благодетельницей творческими замыслами, рассказывал о работе над «Страной негодяев», читал первый вариант «Черного человека»... В Кремлевке он продолжал работу над поэмами, которые казались ему важнее, чем написанные тогда же лирические стихи.

Софья Виноградская и Яна Козловская, навестив Есенина, услышали новое стихотворение, о котором поэт проронил: «Маленькое, нестоящее оно...» Женщины сидели возле кровати, будучи не в силах пошевелиться и остановить слезы, льющиеся по щекам, а Есенин хрипел, стучал по кровати забинтованной рукой и, кажется, готов был сорваться с места, разорвав путы, приковавшие его к больничной койке.

Руки вытяну – и вот слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси всюду! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И за место лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой...

Словно вьюга «Гуляй-поля» хлестнула в глаза, залепив их мокрым снегом, подхватила лихую тройку и понесла без пути, без дороги... Пушкин... «Бесы»... «Коням, барин, тяжело...» Если Пушкин замер в оцепенении при виде играющей в вихре бесовщины, которая надрыгает сердце «визгом жалобным и воем», то Есенин заглушает этот вой своим криком и хлещет коней в надежде вырваться из заколдованного круга... Тщетно. Вывалился в ледяной сугроб, как недавно на Малой Бронной из извозчичьей пролетки. Лихорадочное видение сменяется тоскливой, режущей душу реальностью. Только отзывается в конце стихотворения вопль замученного гоголевского Поприщина, окруженного санитарями: «Матушка, спаси своего бедного сына!» Не спасет.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, —
Синие твои глаза в кабаках промокли».

Образ матери возникает позже среди умиротворенной зимней ночи, когда вьюга улеглась, ветер не глушит человеческое слово потусторонним завыванием и не слепит снег, — можно хоть издали рассмотреть родные черты милого лица, едва узнаваемые после пронесшегося над землей урагана.

До 1917 года поэт вспоминает о матери по известным причинам лишь изредка, гораздо чаще – о деде и о бабушке. В ранних стихах образ матери возникает обычно как условный,

сказочный персонаж: «Матушка в Купальницу по лесу ходила...» Поэт, как мы знаем, родился не в ночь под Ивана Купалу, а в «осеннюю сырость». В 1917 году образ матери появляется в другом контексте – она свидетельница его надежд, его будущей славы:

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!

Она сейчас нужна поэту лишь для разговора о том, что его время пришло и что он скоро будет знаменитый русский поэт. Легендарный же образ матери, равно как и образ родного дома, культ дома, как единственно надежного в этом страшном мире пристанища, и культ матери, как единственно преданной души, окончательно складываются у Есенина в стихах последних двух лет. Для этого надо было разочароваться во всем, что до сих пор очаровывало поэта, – в революции («перестая понимать, к какой революции я принадлежал»), в социализме («ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал»), в любви и дружбе («пусть обманут легкие подруги, пусть изменят легкие друзья»)...

Тема возвращения блудного сына зазвучит у поэта, как воспоминание о потерянном рае. Символический родной дом появится позже, а началось все с обращения в памяти к вполне конкретному реальному дому: «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом...» Дом, о котором идет здесь речь, не материнский: тот был не низенький, а высокий, почти двухэтажный. А этот – скорее всего – дом деда и бабки. «А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом» – оба дома как бы слились в воображении поэта в один, что было совершенно естественно. К 1924 году Есенин почувствовал, что его поэзии не хватает какой-то светлой ноты, необходимой для еще большего народного признания. Ни «Москва кабацкая», ни стихи о светлом любовном чувстве – «Любовь хулигана» – не восполняли этого пробела. Нужно было искать новую «зацепку за жизнь», но не «роковую» и «страстную», а вечную, незыблемую, независимую от плотских страстей, и блудный сын, нарушая и вместе с тем как бы обновляя библейскую традицию, возвращается не к отцу, а к матери, создавая ее иконописный и одновременно по-русски живой национальный образ.

Для этого он делает нечто необычное: соединяет в своей поэзии образ матери с образом любимой бабушки. Широко известна фотография: Есенин с матерью сидит за самоваром. 1925 год. Есенину тридцать. Его матери пятьдесят. Это хотя и пожилая, но еще крепкая крестьянка, без морщин, признаков дряхлости, увядания, преждевременной старости. После этого свидания с сыном она прожила еще тридцать лет, наполненных борьбой за жизнь, за своих дочерей, внуков и внучек, за восстановление в правах имени своего сына.

А что делает Есенин?

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Да никакой она одряхлевшей не была, просто поэт совместил ее облик с обликом давно уже умершей бабушки Наталии, о которой он никогда не забывал.

В другом, хрестоматийном ныне и, быть может, самом знаменитом своем стихотворении он вспоминает о матери в том же ключе:

Ты жива еще, моя старушка?

Да никакая она еще не старушка, Татьяне Федоровне всего лишь 49 лет, но она в стихотворении стоит, ожидая его, как бабушка Наталия, «в старомодном ветхом шушуне», и поэт, когда просит ее: «И молиться не учи меня. Не надо!» – конечно же вспоминает

бабушку, потому что не мать, которая не жила рядом с ним в детские годы, а именно бабушка учила его молиться.

И наконец последнее стихотворение из этого поэтического иконостаса. Здесь мать кажется поэту не просто старушкой, не просто старенькой, но такой ветхой, что она почти бесплотна и светится сторонним светом, она призрачна, как призрачно последнее свидание с ней.

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.

Традиционно образ матери один из самых святых и целомудренных в русской литературе. Вспомним Некрасова, Блока, Клюева. Но почему именно образ матери, а не жены, сестры, дочери, отца? Ведь все они, казалось бы, столь же необходимы для земного бытия. Столь же, да не совсем... Мать – это словно бы вся прошлая жизнь, постепенно отделяющаяся от человека, туманная память, золотая дымка. Это – кровная связь, истонченная временем до состояния душевной, связь, ничего не требующая, кроме памяти, начисто лишенная эгоистической энергии.

Недаром один из наших знакомых, старый помор, тяжело заболев в городе, решил уехать в родную деревню. Умирать. На вокзале, прощаясь с друзьями, он произнес слова старой поморской поговорки: «Отцов, как псов, а мать одна...»

Русское религиозное и эстетическое сознание всегда отводило матери особое место: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда», «Матушка, матушка, что во поле пыльно»... И наконец «Мать сыра земля». Народ всегда понимал эту истину, понял ее на закате своей жизни и Сергей Есенин, несмотря на то, что в детстве был обделен материнской лаской. Он создал такой идеальный и одновременно близкий каждому русскому сердцу образ матери, что любой из нас, читающий эти стихи, как бы обращается с теми же чувствами к матери своей.

Недаром у Василия Шукшина в «Калине красной» есть три «цитаты» из этой есенинской антологии. «Ты жива еще, моя старушка?» – первое, что приходит на память, когда мы смотрим кадры фильма, в которых Егор Прокудин глядит в морщинистое лицо матери, а она не узнает его так же, как есенинский дед не узнал своего внука. Падает убитый своим зверем-товарищем Егор – и тут же всплывает в памяти есенинская строчка: «...саданул под сердце финский нож». И третья киноцитата из Есенина – шукшинский герой, освободясь из лагеря, обнимает стаю березок и говорит им что-то ласковое, сыновнее, есенинское...

* * *

«Письмо к матери» было написано на квартире Бардина, где Есенин жил, выписавшись из больницы. Немного позже он читал это стихотворение и «Годы молодые...» в

литературно-художественной редакции Госиздата. Присутствующие были потрясены и стихами, и манерой чтения, а взволнованный Воронский тут же потребовал стихи для публикации в «Красной нови». Среди слушателей были Василий Казин, сменивший Клычкова в литературном отделе журнала, и будущий редактор есенинского собрания сочинений искусствовед Иван Евдокимов.

Сотрудничество в «Красной нови» и непрестанное обдумывание проекта будущего журнала «Вольнодумец» побуждали Есенина все к новым и новым знакомствам в литературном кругу тогдашней Москвы. В первую очередь Есенин тесно сошелся с «попутчиками», объединившимися вокруг Воронского, мечтая привлечь самых талантливых из них к сотрудничеству в своем журнале. Он даже набросал начало статьи, цель которой была – защитить близких ему писателей, возможных сотрудников, от «неистовых ревнителей» из «На посту». Есенин определял главную черту, объединявшую Всеволода Иванова, Пильняка, Шишкова, Зоценко, Бабея, Николая Никитина и одновременно присущую ему самому.

«За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса...» В этом хаосе, подчеркивал Есенин, оказались бессильны все литературные группировки, и единственное внимание приходится уделять «попутчикам», «которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюканья со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи».

Легким щелчком урезонив критиков вроде Шершеневича, вещавшего, что Пильняк и Никитин смотрят на революцию с точки зрения «половых органов», и Бардина, советовавшего писателям и Есенину в том числе «усвоить основы пролетарской идеологии хотя бы в размере уездной совпартшколы», поэт выделил прозаиков по одному характерному признаку. Он связывал будущее советской литературы с теми, кто творчески, как ему виделось, усваивал заветы его любимого Гоголя, его ритм и образы через посредство Андрея Белого. Гоголя Есенин напрямую сопоставил с Пильняком, а в повестях и рассказах Вс. Иванова отметил, «помимо глубокой талантливости автора», еще и «географическую свежесть» России азиатской, «по ту сторону Урала». Рассказ «Дитё» был любимейшим рассказом Есенина из написанного Ивановым, и строчки из него он декламировал вслух наизусть, словно восхищался удачным ярким стихотворением: «Тропы вы, тропы козы! Пески вы, пески горькие!»

«Он был очень подвижен, – вспоминал Вс. Иванов. – Огонь в нем вспыхивал сильно и внезапно: действие этого внутреннего пламени тотчас же отражалось на его лице, во всех его поступках, во всем его поведении». Встречаясь с Ивановым, беседуя с ним о журнале, как с будущим членом редколлегии, Есенин непроизвольно переключался на разговор о поэтической работе, о внутренней сути писателя, о его нравственном стержне.

Раз заговорил о «напостовцах».

– А я их поймал!

– В чем?

– Это они – хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи мои им нравятся.

– Но ведь ты хулиганишь?

– Ровно настолько, чтобы они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают, что смогут меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут; мне ее жалко: она и моя!

«Шутит он, что ли?» – задавал себе вопрос Всеволод. Такого ему ни от кого не приходилось слышать. Есенин, конечно, слегка играл, но при этом говорил вещи абсолютно серьезные и чрезвычайно важные для него.

– Мне нравятся люди дела, а не только слова. Это – самый опасный род мещан...

А в другой раз, размышляя и точно вглядываясь в себя:

– Да, есть благородные помыслы, даже душевные движения, но этим все и кончается. А нужен подвиг! Подвиг!

И Иванову не надо было спрашивать, в чем состоит подвиг самого Есенина. Он хорошо запомнил слова поэта: «Я пишу для того, чтобы людям веселее жилось...»

Глядя на него, Иванов как-то проронил:

– А ты веселый.

И тут же услышал в ответ:

– Не я веселый, а горе мое весело.

Серьезный разговор возникал как бы из ничего.

– Есть очень хорошее слово – водомоина. А есть еще красивой – водоросина, везде рост!

И без всякого перехода отчеканил, глядя в глаза писателю:

– Я – бунтовщик и крамольник, это-то пора бы понять!

В непрестанной войне за человеческую совесть, за людские души он неустанно искал единомышленников, соратников, на которых можно было бы положиться.

Касаткин, Чапыгин – старые друзья. Клычков тоже. С ними работать можно. Но отбирать и чистить материалы для первого номера своего журнала он будет строжайшим образом. Ни единой червоточки не должно быть! Прозу откроют самые яркие и талантливые – Иванов, Пильняк, Леонов. Из поэтов в первую очередь привлечет «китов» – Брюсова, Белого, Клюева, Городецкого. Даже Блока посмертно напечатает... А вот с молодыми...

Пристально и внимательно вчитывался Есенин в строчки стихов поэтической молодежи. Мало радости! Либо лепят из себя невесть что, слова человеческого нормально не скажут, либо бездари законченные, либо подражатели без единого самостоятельного образа. Словно девочки, которых рано растлили, не пережили еще ни на грамм того, о чем пишут, а все туда же... Вася Казин. Уж как ни расхваливают на все лады его «Рабочий май», а ведь хреновая книжка-то, по совести говоря. В своем роде второе издание Герасимова и Кириллова. Те выпеснили несколько лет назад все, что смогли, – и остановились. Талантишко-то – на пяточок сопливый. А Вася поет от души, да душа с кулачок! «Мой отец – простой водопроводчик...», «Живей, рубанок, шибче шаркай...» Вот, пожалуй, и все. Глаз не на чем остановить.

Тихонов. Этот серьезнее. Крепче. Сильнее. И стихом хорошо владеет, чувствуется, мастеровитости у Гумилева поднабрался. Интонация жесткая, холодная, вроде льдышка внутри вместо сердца. «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Лихо! Да ведь люди-то не гвозди, милый, они живые! Тебя самого, что, из металла изготовили? «Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой...» Что верно – то верно. Разучились. И других разучить пытаетесь.

Да, просто беда с этой молодежью. В пору «великого имажинистского содружества» прибил к ним Коля Эрдман, между прочим, живые стихи писал, не в пример Шершеневичу. «Только я, целомудренный отрок...» Но как был отроком в поэзии, так и остался. Зря только надежды на него возлагал. Ну да авось не пропадет, по театральной части заделался. Слышал, вроде пьесу для Мейерхольда теперь пишет. Ну и с Богом!

Вот на кого всерьез можно рассчитывать – на Ивана Приблудного. Помнится, как еще в сентябре 1923-го пришел Есенин на открытие Брюсовского литературного института. Мэтр вложил в создание этого питомника всего себя. Государственный интерес идеально совпал с личным: не стал Брюсов литературным вождем – так стал учителем для молоденьких, начинающих. Тогда, на открытии, с триумфом выступали Есенин, Маяковский... С радостью встретился Есенин через много лет с соучеником по университету Шанявского Васей Наседкиным. Той же осенью последний познакомил его с молодым крестьянским парнем Родионом Акулыпиным. Как пели они дуэтом народные песни! «Ох да ты калинушка, ты малинушка. Ой да ты не стой, не стой на горе крутой!»

Тогда же Есенин обратил внимание на восемнадцатилетнего парня, косая сажень в плечах, рослого, с откинутым назад чубом, который открыто и размашисто читал стихи о «чернобровой Украине».

Яша Овчаренко, бывший ездовой тачанки во 2-й черниговской дивизии Котовского. По комсомольской путевке приехал в Москву и поступил в Высший литературно-художественный институт. Псевдоним «Иван Приблудный» он принес с собой из той же дивизии – именно так там прозвали пятнадцатилетнего паренька, «приблудившегося» к красноармейцам.

Влюбленный в поэзию Есенина, Приблудный не мог обойтись без подражания, а то и чуть ли не прямого переписывания есенинских стихов. Для самого Есенина не было более бранного слова, чем «эпигон», тем не менее он взял над юношей «шефство», почуяв в нем незаурядную силу, природный талант и собственную тему. «Талантливый парень... А без меня пропадет», – слышали в ответ те, кто недоумевал по поводу его дружбы с Приблудным. Некоторые стихи юноши не могли не нравиться Есенину.

– О, край мой, выгон и овин,
Есть у меня отрад отрада —
Что этих строк немудрым складом
Холодным, каменным громадам
Несу тепло своих долин.

И я не сам, за мною рать
Детей затей, сынов событий...
– Не трогайте ж нас, не травите
И не спешите признавать!

Читая наивные, во многом подражательные строки, сквозь которые, однако, пробивалась собственная, незаемная интонация, Есенин считал своим долгом передать Приблудному секреты поэтического мастерства. И, что греха таить, Приблудный, уловив доброе покровительственное отношение к себе, на какое-то время совершенно «отпустил вожжи», считая, что подобное положение в порядке вещей. Он перешел на полное иждивение к старшему собрату, без зазрения совести пользовался принадлежащими тому вещами, практически не работал над стихами, решив, что на Есенине выедет в любом случае. Во время публичных выступлений нарабатывал славу, используя большое личное обаяние, всегда и везде был душой компании, а когда начинало казаться, что для известности этого недостаточно, использовал и другие приемы.

Как-то, будучи с Есениным в Ленинграде, он отправился на прогулку раздетым до трусов, уверяя, что это необходимо для закалки. Есенин тут же понял, что сие «одеяние», по сути, то же, что его ранние плисовые шаровары или Маяковская желтая кофта. Он мгновенно остановился и выдал Приблудному по первое число:

– А знаешь, я с тобой не пойду! Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно. Понимаешь? Не нужно! Ты что? Думаешь, я поверю, что ты из спортивных соображений голый ходишь? Брось, милый! Ты идешь голым, потому что это входит в твою программу! А мне это не нужно! Понимаешь? Уже не нужно! Ну так вот. Ты иди по левой стороне, а я – по правой.

Подчас «подвиги» Приблудного вызывали у Есенина неприкрытое раздражение, которое шло по нарастающей и отразилось в письмах к Галине Бениславской.

«Гребень, сей Приблудный, пусть вернет! У меня все это связано с капризами суеверия. Потом, пусть он бросит свою хамскую привычку обворовывать ближних!»

«Вчера Приблудный уехал в Москву. Дело в том, что он *довольно-таки* стал мне в копейку, пока жил здесь. Но хамству его не было предела. Он увез мои башмаки. Не простился, потому что получил деньги. При деньгах я узнал, что это за дрянной человек.

Абсолютно точь-в-точь такой же, как с папиросой. Все это мне ужасно горько. Горько еще потому, что он треплет мое имя. Здесь он всем говорил, что я его выписал. Собирал у всех деньги на мою бедность и сшил себе костюм. Ха-ха-ха – с деньгами он устраиваться умеет. Поэтому я сказал ему, чтоб он заплатил мне за башмаки. Это было ведь почти лучшее, что я имел из обуви. Он удрал. Удрал подло и низко. Повидайте его и получите с него три червонца. Сам я больше с ним не знаком и не здороваюсь. Не верьте ни одному его слову. Это низкий и продажный человек. Получить же я хочу с него ради принципа – чтобы не дать сволочи облапошить себя».

Сказать и даже написать такое всегда легче, чем исполнить. Есенин искренне привязался к Приблудному и не прогнал его от себя окончательно даже тогда, когда ему показалось, что, кроме подражательства, молодой стихотворец ни на что не способен. Это было для Есенина куда хуже, чем все человеческие пороки, вместе взятые. Однажды он отчеканил Приблудному, глядя ему в глаза:

– Ты понимаешь, ты вот – ничего! Что ты списал у меня – то хорошо. Ну а дальше? Дальше нужно свое показать, свое дать. А где оно у тебя? Где твоя работа? Ты же не работаешь? Так ты – никуда! Пошел к чертям. Нечего тогда с тобой возиться.

Подобные взбучки Есенин устраивал Приблудному не единожды, и, надо сказать, они в конце концов произвели впечатление. Достаточно сравнить две книги Приблудного – «Тополь на камне» и «С добрым утром!», изданные уже после смерти Есенина, чтобы убедиться в этом.

Не меньше, чем с Приблудным, Есенин возился и с другими молодыми людьми, жаждущими поэтических лавров. В Ленинграде возникла группа, назвавшая себя «Воинствующим орденом имажинистов». Влюбленные в поэзию Есенина и восхищавшиеся приемами «творческого поведения» старших московских собратьев, они мечтали о славе, о шумных скандалах, приносящих известность, хотели издать журнал «Необычайное свидание друзей», по примеру «Гостиницы», и всеми силами стремились обратить на себя внимание. Группа объединяла нескольких задушевных приятелей – Леонида Турутовича, выбравшего себе «красивый» и «иностранный» псевдоним «Владимир Ричиотти», Семена Полоцкого, Вольфа Эрлиха, Григория Шмерельсона.

Имажинизм к этому времени был для Есенина как прошлогодний снег и воспринимался им не иначе, как порождение «царства хаоса», которое осталось далеко позади. Еще будучи за границей, он писал Мариенгофу: «Стихи берегу только для твоей „Гостиницы“... И еще раньше: «Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя...» Приехав же, убедился в том, на каких «сторожей» он оставил литературу. Всю политику «Гостиницы» определял Мариенгоф, подгоняя под себя не только сам материал, но и его расположение. В «Стойле Пегаса» для поэзии места уже не было – занюханное нэповское кафе. Мало того, Есенин убедился, что за время отсутствия его просто ограбили. Сестра Екатерина не получала никаких денег из пая «Стойла», а книжный магазин друзья-приятели продали Сахарову. При этом Мариенгоф вел себя как натуральный «вождь имажинизма», а Есенин оказался сбоку припека. А самое главное – не ощущалось ни малейшей перемены в духовном содержании группы. Веселое хулиганство выродилось в обыкновенную тоскливую пошлость. Прежние разговоры о манифестах, декларациях... И Есенин – в заднем ряду. Все его возражения воспринимались как психический сдвиг. Да еще плюс к этому – выступление Мариенгофа на суде по «делу четырех».

Есенин резко разорвал отношения с Мариенгофом, и, по существу, на этом группа прекратила свое существование. Все остальное шло уже по инерции. Четвертый номер «Гостиницы», самый бездарный из всех, оказался последним, и ни одной строчки есенинских стихов в нем уже не было. Когда же к Сергею пришел Рюрик Ивнев «выяснить есенинские позиции» – поэт великодушно пригласил в будущий «Вольнодумец» всех своих бывших друзей, но при этом заявил, что ни о какой «Гостинице» слышать не хочет, ни о какой автономной группе не может быть и речи и что никого неволить он не будет – пусть каждый печатается, где найдет нужным.

Что же касается ленинградской молодой поросли, то Есенин в разговорах с этими птенцами пытался внушить им самое главное – то, без чего не может быть поэта. Едва ли он всерьез полагал, что им под силу будет воспринять его уроки даже при большом желании – дарование-то крошечное. Но поделиться с ними выношенным, пережитым, прочувствованным считал своим долгом. Наиболее внимательным его слушателем был Вольф Эрлих, который, единственный из членов «воинствующего ордена», оставил пространные воспоминания о поэте.

– Все они думают так: вот – рифма, вот – размер, вот – образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого – мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь Пугачева? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть, – вот тогда ты мастер!

Видел Есенин, что путаница в головах у ребят несусветная. Что внешнее они принимают за внутреннее – так оно проще, естественнее и снимает необходимость напряженной душевной работы, которая только и позволяет «улыбнуться в стихе и снять шляпу». Что на первом плане у них остаются все та же «шляпа» и «лакированные туфли».

– Хочешь притчу послушать?.. Жили-были два друга. Один был талантливый, а другой – нет. Один писал стихи – а другой... (последовало нецензурное ругательство). Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет. Отсюда мораль: не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр!

Слушая восхищенные реплики о Шершеневиче и стихи, посвященные ему («Наш бог вознесенный, Вадим Шершеневич...»), словно нехотя говорил: «Озоруют ребята...» И не упускал случая объяснить разницу между собой и «великолепным другом», намеренно все упрощая – чтоб понятнее было.

– Вадим умный! И талантливый! С ним всегда интересно! Я даже думаю так: все дело в том, что ему не повезло. Мне повезло, а ему нет. Понимаешь? Себя не нашел! Ну а раз не нашел...

И далее:

– Знаешь, почему я – поэт, а Маяковский так себе – непонятная профессия? У меня родина есть. У меня – Рязань! Я вышел оттуда, и какой ни на есть, а приду туда же! А у него – шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь – пан! Не найдешь – все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины.

«Чувство родины – основное в моем творчестве...», «У меня нет периодов – через все мое творчество проходит одна и та же тема: любовь к родине»... Звучит, как своеобразное предупреждение для всех, кто соберется писать о нем. Немногие услышали.

А Маяковский... Это не просто литературный противник. Дарование мощное, большое. И при этом – ничего человеческого в стихах. Хватается за любую тему, мечется, как угорелый, а все оттого, что действительно ткнуться некуда. Берет горлом, а начнешь читать с листа – так волосы дыбом встают. «Всем Титам и Власам РСФСР»... А что он в этом понимает? Да и какая это поэзия? Приложение к идеологии. Он – поэт для чего-то, а я – поэт от чего-то. Вот таким – «для чего-то» – и наставят памятников после смерти. А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. Но поменяться с ним – нет уж! Что-то ведь было в его стихах раньше нежное, человеческое: «Ах, закройте, закройте глаза газет!..» А теперь...

А теперь выросла фигура исполинского масштаба. Истукан с зычной глоткой, бешеной популярностью, все собой затмевающий. Любую чушь перекладывает на мастеровитые рифмы, всему может придать блеск, на всякой дичи в его стихах лежит печать таланта. Нет, его не выкинешь с парохода современности. Ляжет в литературе бревном, и многие об него споткнутся и ноги себе переломают. Сейчас уже видно – бегут петушком-петушком за этим горланом. Ни силы, ни энергии, а туда же лезут. И скольких он еще искалечит?

Договориться? Заключить своеобразный «холодный мир»? Ведь привлек же его к себе Воронский, который в принципе не любит стихов Маяковского. Тем более что Маяковский сам нащупывает контакты с Есениным, так сказать, зондирует почву. Ему тоже нужен

талантливый и популярный союзник в «ЛЕФе», в том самом «ЛЕФе», который воюет с журналом «На посту». Конечно, два сапога – пара, но тут уже всю разворачивается «литературная политика», когда старые друзья становятся врагами, а бывшие враги приглашаются к сотрудничеству – лишь бы утереть нос новым врагам. С Асеевым Есенин уже встречался. Держал себя настороженно, хотя из всех левовцев Асеев был ему наиболее симпатичен. «Ты – настоящий русский» – так и заявил ему Есенин при встрече. Договорились созвониться с Маяковским. И – сошлись лицом к лицу.

Асеев уже намекал Есенину на то, что в «ЛЕФе» поэт мог бы получить отдел в свое распоряжение. «Отдел? – засмеялся Есенин. – Вы бы дали мне отдел и устранили бы меня от дел. Нет, я войду только с манифестом». – «Какой манифест? Они же теперь не в моде», – отшутился Асеев. И теперь разговор с Маяковским начался все с того же «отдела»:

– Ну и чем Вы там будете распоряжаться? – поинтересовался Маяковский.

Есенин решил тут же проверить «агитатора» на «вшивость», закинув свою любимую удочку.

– А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!

– Какое же оно будет?

– А вот будет отдел называться «Россиянин»!

– А почему не «Советянин»?

– Ну, это Вы, Маяковский, бросьте! Это мое слово твердо!

– А куда же Вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать? А Азербайджан? А Грузия?

Ну, понес! У этих интернационалов слово «Россия» и не ночевало в журнале. Бессмысленно даже разговаривать.

И дипломатичный, хотя и прохладный, диалог тут же вылился в очередную пикировку. Слово «Россиянин» для Маяковского стало знаком не прерывавшейся связи Есенина с ненавистными «мужиковствующими», разрыв с которыми был в его представлении главным условием вступления Есенина в «ЛЕФ».

– Бросьте Вы Ваших Орешиных и Клычковых! Что Вы эту глину на ногах тащите?

– Я глину, а Вы – чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?

– А из чугуна памятники!

«Ну и ставь себе памятник на здоровье! Адью, ребята!» И это ведь – лучшие среди левов! А заправляет у них ничтожество по фамилии, напоминающей воробьиное чириканье: «Брик!» И со связями, от которых лучше держаться подальше. Кстати, по Москве ходит эпитаграмма:

Вы думаете, кто такой Ося Брик?

Исследователь русского языка?

А он на самом-то деле шпик

И следователь ВЧК!

Недавно в «Стойле Пегаса» ему, Есенину, шепотом, оглядываясь, Ваня Грузинов прочитал. А того не знает, что эту эпитаграмму сам Есенин сочинил и пустил по рукам. Пусть все знают, в какой компании творит их циклоп двухметровый...

Не дано было знать Есенину, что его, всенародно признанного и всеми любимого поэта, будут протаскивать в пантеон советской литературы, присобачив к Маяковскому, всячески сглаживая и стирая острые углы между ними, сочиняя всякого рода легенды о дружеских встречах и творческом единении, ибо только так и можно было утвердить есенинское имя в официальном списке – наравне с «агитатором, горланом, главарем».

Что же касается Маяковского, то он после смерти своего противника вспоминал о том, как рассчитывал за него «взяться», и сочинил стихотворение «Сергею Есенину», по собственному признанию, «издевательское», но выстроенное таким образом, что примиряло с ним самых преданных поклонников погибшего поэта. Стихотворение, в котором ощущение

потери – «в горле горе комом» – тут же перебивается все теми же мыслями о памятнике и безостановочной литературной полемикой... Не успев износить башмаков после его написания, он вещал о Есенине на всевозможных диспутах: «Дай бог такому писателю поменьше распространения». А когда, очевидно, при посредничестве Эренбурга, до него дошла есенинская реплика о «памятнике» и «заборе», он, перекроив и передернув, вложил ее в уста репортера-приспособленца Моментальникова: «Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором».

* * *

Тем временем Есенин готовил к печати книгу «Москва кабацкая». После провала с ГУМом Вольпин предпринимал новые попытки издания и вышел на людей, имевших прямое отношение к издательскому делу в Ленинграде, – А. Калмановского, И. Морщинера, Е. Иоффе.

Через эту цепочку удалось выйти на руководителя ленинградского отделения Госиздата ИONOва – шурина Зиновьева. Ионов заинтересовался изданием, но его интерес так и остался интересом. Связываться с книгой Ионов не рискнул – в журнале «На посту» уже громили «оригинальную поэзию Госиздата» за выпуск книг Марины Цветаевой и Владислава Ходасевича. Бросать очередной вызов членам группы «Октябрь», размахивая перед их носом «красной тряпкой» – новой книгой Есенина, – представлялось опасным.

В конце концов после долгих уговоров Ионов согласился на выпуск книги, но не под маркой Госиздата, а в качестве авторского издания, для чего нужны были деньги. Посредники решили устроить в Ленинграде авторский вечер Есенина, выручки от которого должно было хватить, чтобы расплатиться за «Москву кабацкую».

Вечер этот состоялся 14 апреля в «Зале Лассалья» (бывшем зале городской думы). Афиша была сделана намеренно крикливо, с расчетом на привлечение публики: «Сергей Есенин прочтет стихи Москва кабацкая, Любовь хулигана и скажет слово о мерзости и прочем в литературе. Вызов не попутчикам». Ребята из «воинствующего ордена» решили примазаться и настояли на том, чтобы принять участие в вечере без вынесения их имен на афишу.

Народу набился полный зал. Подошло время начинать. А Есенина нигде не было. Ни в гостинице, ни в зале. Наконец устроители получили записку: «Я ждал. Ходил 2 раза. Вас и не бывало. Право, если я не очень нужен на вечере, то я на Николаевской, кабачок слева внизу».

Один из устроителей бросился в этот кабачок и нашел Есенина за столом в большой компании. Поэт тут же сказал, что у него важный разговор и что он скоро будет. Когда посланник вернулся в зал, зрители уже свистели и топали ногами. А минут через десять появился Есенин, весьма крепко выпивший, растерзанный, явно после драки. Кое-как приведя себя в порядок, вышел на сцену.

Пошатываясь, никого и ничего не видя, хватая рукой воздух, он швырял в зал едкие, жгучие фразы... «Блок и я – первые пошли с большевиками», а они, вот, дескать, как с нами обошлись... Когда же публика услышала в сем контексте знаменитое «жиды», она словно сорвалась с цепи. Поднялся страшный шум. Крики, свист и улюлюканье показались чем-то хорошо знакомым – что-то вроде Политехнического пятилетней давности.

Устроители вечера пришли в ужас. «Да верните же его назад», – прошептал один. Второй, желая немедленно прекратить этот веселый обмен мнениями, высунулся из-за кулис и шепотом закричал: «Сергей Александрович! Довольно! Читайте стихи!» Есенин улыбнулся, трезвея на глазах, и совсем иначе, уже доброжелательно произнес:

– Да что ж это я?! Ведь это, право, не моя специальность! Я лучше прочту вам стихи.

Начал читать, и произошло обыкновенное чудо. Взбудораженный, раздраженный, частью обозленный зал был покорен полностью. Присутствующий на вечере Владимир Пяст позднее записал впечатления от происшедшего: «Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили, все оскорбленные и

завороженные им, кругом это широкое возвышение в глубине длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст, – толпа схватила его на руки и понесла, с шумными восклицаниями хвалы, – вон из зала, по лестнице вниз, до улицы...»

Восторженные поклонницы бросились снимать с Есенина башмаки и галстук в качестве сувениров... По горячим следам он писал из Ленинграда Бениславской: «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали...» А вырученных денег вполне хватило, чтобы рассчитаться за издание «Москвы кабацкой», которая вышла в свет в июле и разошлась в течение месяца.

Вышла, увы, не без потерь. Цензура сняла полностью два стихотворения – «Пой же, пой. На проклятой гитаре...» и «Мне осталась одна забава...», а стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» – искалечила, вычеркнув две строфы, одна из которых с тех пор так и не восстанавливалась в основном тексте (за исключением первого тома собрания 1926 года) – слишком очевидно ее родство и с известным письмом Александру Кусикову, и с монологами Номаха, и с некоторыми устными высказываниями самого поэта.

Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалю точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.

Что касается Воронского – то он не подвел. В № 1 «Красной нови» действительно появилась статья «с большим вниманием к „Москве кабацкой“ – в основу анализа легли книга „Стихи скандалиста“ и отдельные подборки в журнале конца 1923 года. Внимание Воронского было пристальным, но, по сути, очень уж неоригинальным. Красной нитью через статью проходила мысль о разочаровавшихся в революции, и „когда обнаружилось, что революция – дело трудное, кровавое, затяжное, что она имеет свои будни... – стали обнаруживаться колебания, сомнения, появились упадочные настроения, разочарование, прямой декаданс. Естественно, что раньше других дрогнули те, кто плавал в заоблачных туманах...“. Все это, в принципе, было известно уже по „Внеоктябрьской литературе“ Троицкого. Интереснее другое. Очевидно, почуяв, что Есенина этим не возьмешь, Воронский использовал поистине иезуитский прием.

«В истории русской поэзии впервые появляются стихи, в которых с отменной изобразительностью, реализмом, художественной правдивостью и искренностью кабацкий угар возводится „в перл создания“, в апофеоз. И что хуже всего: в эти висельные, конченные, безнадежные стихи поэт вдохнул подлинный лиризм, сообщил им крепость, нашел себе для выражения кабацкого чада неподдельный пафос. Это хуже всего потому, что в „Москве кабацкой“ отразился „дух времени“, и уж, разумеется, нет никакой случайности в том, что один из лучших по одаренности современных поэтов опустил до страшных, пропащих стихов».

В этих нескольких строчках «критического отзыва» закручен тугой узел, распутать который тем не менее Есенину труда не составляло. Оба – и критик и поэт – прекрасно понимали, о чем идет речь.

Побокую Блока, влияние которого здесь сказалось вроде бы со всей определенностью. Да и Пушкина с его «Дорожными жалобами» – «На большой мне, знать, дороге умереть Господь судил...», – чье влияние Есенин признавал в первую очередь в этом цикле. Но от классики, Сергей Александрович, Вы никуда не уйдете. Я для Вас не авторитет – так получите в укоризну своего любимого Гоголя:

«Не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создання... не признаёт

современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха!»

Стихи, на которых бесспорно лежит печать русской классической поэзии, Воронский подверг суду «общественному», «идейному», но так все подстроил, что, кажется, судьей над Есениным становится сам Гоголь. Тонкость и, если угодно, подлость этого хода мог в полной мере оценить только сам поэт!

* * *

Отойдя от «Москвы кабацкой» в стихах, исчерпав тему и поставив точку, Есенин все же не мог расстаться с ней. Она вошла в его жизнь, как деталь общего быта, как неизменная составная часть всей атмосферы нэповской Москвы. В той или иной мере она была достоянием каждого из рядовых москвичей в те годы, потому и пользовалась есенинская книга бурным успехом там, где в чудовищной обстановке рождались полные пронзительной боли и высокого искусства стихи, далеко оставившие за собой хорошо знакомую, родную романсовую струю XIX столетия, переживавшую свое второе рождение.

Отсюда и родилась еще одна легенда о пропойце, по недоразумению пишущем гениальные стихи чуть ли не за кабацкой стойкой. Понятно, что мало кому удавалось видеть Есенина за работой. Он запирался, прятался тогда даже от друзей, исчезал, а на глазах у всех маячил в совершенно иной обстановке.

Во время своих походов в столовые и чайные «литературному обществу» он предпочитал людей малознакомых, подчас совсем опустившихся и потерянных. Немногие из его случайных собутыльников смогли через несколько лет вспомнить и изложить на бумаге есенинские реплики, которые почти никогда не слышала из уст поэта литературная братия.

С одним из таких, мелким чиновником-книготорговцем, Есенин случайно встретился в «Стойле Пегаса», заказал выпивку и начал разговор в жестких тонах.

– Это вы, совчиновники, испоганили новую Московию, выдумали портфели и мандаты. Вы ищете во всем отчет и смысл, а он только в любви к земле. Вот меня с высоких гор тянет в долины, как моих предков к лошадям, к хомуту... Поедем куда-нибудь подальше, попроще, чтоб перестать думать.

Они вышли из «Стойла» и добрались до пивной в одном из переулков у Казанского вокзала, в которой пахло вареной колбасой и прокисшим пивом. На стене висели плакат: «Учение есть популярный факел нашего недоразвития» и большие портреты Ленина и других коммунистических вождей издания ВСНХ. Над стойкой колыхался еще один лозунг: «Дух пролетариата – невидимый кабель между слоями народностей». Кругом стоял табачный дым, в звоне кружек и общем шуме слышались отдельные реплики:

– Эй, как ваш текучий момент протекает?

– Спасибо. Горсовету на разведение – Главтютю на утешение.

Сели, взяли по паре кружек и бутылку водки. Есенин, казалось, жадно глотал изнуряющую отраву, которая пропитала весь воздух пивной. Разговор продолжился, как будто и не прерывался.

Литература... Бездари и подхалимы... Пушкин... любовь... и Россия, Россия...

– Слушай, я вижу ее, как в окне... и ничего не хочу. Ты книги возишь вагонами, почему книг сейчас много, потому что врут все, вот почему... Наши врут подло и дружно. Пахнет везде, как от копилки в уборной, а они... ну их... Копилка бездарей, а становись, кричат, по порядку... На чужую каланчу забрались и звонят, а прихода нет, никто не слушает. Творчество у многих: «карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой», а дома не существует, сожгли, между прочим... Остается идеология, продукты пайковые и идеология пайковая.

– Хочешь, Сергей, поехать в вагоне по Союзу, месяца на два?

– Думаешь, страну не знаю, выписался, – лучше тебя знаю: ты не поймешь мужика по моему... Незачем мне ехать – хуже стану... Видишь, те... желтенькая и черненькая – давай пошлем им по червонцу – пусть пойдут домой, хоть раз отоспятся и пожрут за наше здоровье...

Посеревшие волосы разметались, помутневшие глаза пытливо и напряженно смотрели на собеседника. Он действительно походил в эти минуты на ангела с разбитыми крыльями, как назвал его один из зрителей, присутствовавший на выступлении в ленинградском Доме самодеятельного театра.

– Пришли, друг, почитать Шпенглера, пришлешь? Ты знаешь, как трудно собрать аэроплан, однако собрали, изобрели радий, а для русских надо только одно – микстуру, чтобы не думать о том, что было и что еще будет...

– Скажи, Серега, как ты представляешь Родину не в политике, а в ощущении, в образе. Помнишь, писали, Блок олицетворял ее «Прекрасной Дамой» и дошел до комиссариатской девицы.

Есенин, недобро улыбаясь, вылил водку из стакана в тарелку с горохом.

– Не знаю. Вот оглянусь к деревне, думаю – там Россия. Живу в городе – думаю, здесь... Вместе не выходит. А ты веришь – *они* знают? – И он резко повернулся в сторону портретов и плакатов. – Нет. Небось знали бы, так о царе брехню писать перестали и чекушки разогнали...

А уже под утро, вспоминая свои молодые годы, то, что было «восемь лет назад», тихо произнес:

– Многозвенная пора, жилось, как реке плескалось... Подрасти хотел каждый день. Верил, сильно всем верил. Думал: себя, успехов – на сто лет хватит. Раз целую ночь у памятника Пушкину просидел. Показалось, не он – я стою превыше...

Крепко сжал колено собеседнику, махнул рукой, опустил голову...

Что, спрашивается, знали обо всем этом те, кто с наслаждением распространял свежие сплетни об очередных скандалах «пропойцы» и перешептывался о «затяжном кризисе» у Есенина? Какое представление о его горьких думах имели все они? В том числе и эти заботливые женщины, окружавшие его и видевшие в нем только больного человека?

«Милый, хороший Сергей Александрович! Хоть немного пощадите Вы себя. Бросьте эту пьяную канитель, – писала Есенину Галина Бениславская, измученная не только своими заботами о нем, но и ощущением совершенной невозможности понять человека, которого она, как ей казалось, знает, как облупленного... – То, что сейчас с Вами, все эти пьяные выходки, весь этот бред, все это выворачивание души перед „друзьями“ и недругами, что это?.. У Вас ведь расстройство души... Сразу же идите домой, запирайтесь, и довольно, ведь не могу же я за Вас делать то, что Вы и только Вы один можете сделать – не выходить, не показываться в „общество“...»

Вы сейчас какой-то «не настоящий». Вы все время отсутствуете. И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя, все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей Вы видите постольку, поскольку находите в них отзвук вот этому копанию в себе... Вы разучились вникать в мысли, Вашим мыслям несозвучные... Вы по жизни идете рассеянно, никого и ничего не видя. С этим Вы не выберетесь из того состояния, в котором Вы сейчас. И если хотите выбраться, поработайте немного над собой...

Я сейчас на краю. Еще немного, и я не выдержу этой борьбы с Вами и за Вас... Вы сами знаете, что Вам нельзя. Я это знаю не меньше Вас. Я на стену лезу, чтобы помочь Вам выбраться, а Вы? Захотелось пойти, встряхнуться, ну и наплевать на все, на всех... Хожу через силу... Покуда Вы не будете разрушать то, что с таким трудом удается налаживать, я выдержу...»

Да, он был благодарен ей за заботу. Но причину происходящего ни она не понимала, ни он не мог объяснить. «Расстройство души...» Удобное объяснение! Ты хоть раз, голубушка, попробовала понять, что из дома к приятелям уйду, чтобы дома, при тебе, дров не

наломать? Тошно бывает так, что куда угодно кинешься, а тут вы еще со своим «лечением»...

Из Ленинграда он пишет ответное письмо, целиком выдержанное в успокаивающем, умиротворяющем духе. Главное, чтоб она не впадала в панику и перестала писать истеричные письма.

«Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. *Дорожу Вами очень*, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Сейчас я решил остаться жить в Питере...

Дорогая, уговорите Бардина и Берзину так, чтоб они не думали, что я отнесся к их вниманию по-растоплюевски.

Все мне было очень и очень приятно в их заботах обо мне, но я совершенно не нуждаюсь ни в каком лечении...»

В этот раз жить в Питере он не остался. Заработав деньги на издание книги, вернулся в Москву, рассчитывая еще приехать в Ленинград, пожить и поработать, благо что впечатление от новой встречи с городом, где началась его литературная слава, способствовало возникновению нового замысла. А пока ждали неотложные дела в Белокаменной.

* * *

4 мая 1924 года завершился пленум Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, тон на котором задавали «октябристы», а резолюция, принятая по докладу Бардина «Идеологический фронт и задачи литературы», содержала в себе требование «решительного изгнания антиреволюционной литературы из наших журналов и сборников», ибо «наиболее опасными являются так называемые попутчики. Они издают произведения, в которых революция искажена, опошлена». Тактика была очевидна: разгромить Воронского, сменить руководство «Красной нови», часть «попутчиков» включить в свои ряды, установив над ними строгий контроль. Воронский принял вызов.

9 мая ЦК РКП(б) созвал специальное совещание по вопросам политики партии в области художественной литературы.

Уже сам состав участников этого совещания показывает, что дискуссия о литературе в данном случае служила своеобразным прикрытием раздирающих страну внутривластных страстей, когда каждый из политиков ставил на своих «лошадках» в литературе и, естественно, пытался использовать все возможные стратегические и тактические нюансы сложившейся ситуации. Собственно литераторы, вроде Артема Веселого, Вячеслава Полонского, с одной стороны, и Александра Безыменского – с другой, весьма бледно выглядели на совещании среди политических зубров – Воронского, Бардина, Осинского, Раскольников, Бухарина, Авербаха, будущего «героя» коллективизации Я. Яковлева, К. Радека, В. Плетнева, Л. Троцкого, А. Луначарского, Н. Мещерякова, П. Керженцева, Д. Рязанова, Демьяна Бедного.

На этом совещании было оглашено письмо группы писателей, очевидно заблаговременно подготовленное Воронским как один из аргументов в борьбе за «попутчиков». Письмо содержало, в частности, следующие положения: «Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе – две основные ценности писателя... Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в коей мере не противопоставляем себя им и не считаем их враждебными или чуждыми нам... Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как „На посту“, и их критика, выдаваемые притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно... Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд нужен и полезен для нее». Под

этим письмом в числе прочих стояли подписи Б. Пильняка, С. Клычкова, Андрея Соболя, М. Герасимова, В. Кириллова, И. Бабеля, Ал. Толстого, М. Пришвина, М. Волошина, П. Орешина, О. Мандельштама, Н. Тихонова, Вс. Иванова, Н. Никитина, В. Шишкова, А. Чапыгина. Подписал это письмо и Сергей Есенин.

После оглашения письма Авербах заявил, что Воронский «развратил попутчиков» настолько, что они осмеливаются жаловаться в ЦК. Бардин обрушился на Воронского, требуя «диктатуры партии в литературе» и утверждая, что орудием этой диктатуры «может стать и ВАПП».

Поскольку резолюция совещания должна была лечь в основу резолюции XIII съезда партии «О печати», схватка разгорелась нешуточная. Раскольников бил Воронского и Осинского, Бухарин – Бардина, Плетнев – Бухарина, Троцкий и Луначарский – Бардина, Демьян Бедный – Мещерякова и Воронского... Но возникает вполне логичный вопрос: кому из них по-настоящему было дело до литературы?

Наиболее показательным на этом совещании было выступление Бухарина, причем не самое пространное (Троцкий говорил гораздо дольше). Выступление, выражаясь современным жаргоном, сугубо «плюралистичное» и сравнительно мягкое по тону. Но именно оно показывает со всей определенностью: какие бы далее зигзаги и крутые повороты ни дала «литературная политика», какие бы политические пертурбации ни совершились в дальнейшем – русским писателям, выходцам из народа, отстаивавшим в своем творчестве традиционные народные ценности, рассчитывать не на что.

«У нас должна быть крестьянская художественная литература. Должны ли мы ее душировать за то, что она не пролетарская? Это бессмысленно. Мы должны вести такую политику, чтобы постепенно, с такой постепенностью, с какой мы ведем крестьянство, учитывая весь его вес и его особенности, вести его по линии раскрестьянивания, точно так же и в области художественной литературы, как и во всех других идеологических областях».

Бухарин слов на ветер не бросал и политику «литературного раскрестьянивания» начал с гнусных «Злых замечок» от января 1927 года, после чего покатила смертоносная лавина.

Ну а что могли здесь ждать те, кто считал себя «крестьянским писателем» и не отрекался от своего фактического и литературного происхождения? На что могли надеяться такие поэты, как Петр Орешин, Сергей Клычков, Алексей Ганин, Александр Ширяевец?

* * *

Александр Ширяевец скончался 15 мая 1924 года.

Последние месяцы он жил на Тверском бульваре в одной комнате с Пименом Карповым. Время проходило в работе, в чтении, в душевных разговорах, в обсуждении творческих планов и насущных проблем. Карпов позже писал в одном из писем, что поэты «можно сказать без преувеличения, радовались одними радостями и печалились одними печалью. И никогда я не слышал в речах его слова отчаяния или упадка сил. Наоборот, он очень был бодр, много работал, трунил даже надо мной, как „пессимистом“. Немного роптал он на современные условия, не позволявшие писателям жить и работать так, как подобает, но это – ропот всех современных людей, причастных к творчеству». Внезапная смерть Ширяевца была ударом для всех.

В цветущий весенний день 17 мая друзья отнесли гроб с телом поэта на Ваганьковское кладбище – свежая могила была вырыта поблизости от надгробного камня, под которым лежал недавно скончавшийся Александр Неверов.

Городецкий, Пришвин, Орешин, Клычков, Герасимов, Кириллов, Львов-Рогачевский и другие писатели стояли вокруг гроба, потрясенные этой безвременной кончиной. Безвременной... 37 лет. Пушкинский возраст...

«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа...»

Есенин не сводил глаз с мертвого лица Ширяевца, казалось, хотел запечатлеть каждую черточку умершего друга. Подавленные писатели молчали, потом началось чтение стихов покойного поэта-жизнелюбца...

Пусть свалюсь в кладбищенскую яму,
К берегам безвестным уплыву,
Но вцеплюсь звериными зубами
В жизнь, в судьбу, и в солнце, и в траву.

И – словно прорвало. Заговорили все по очереди, не сдерживая слез: Орешин, Клычков, Городецкий, Есенин... Раздались строчки ширяевского «Мужикослова»:

Накрывается тучею-схимою
Вышний пастырь, а звезды чудесно ярки.
Вот встают они, праотцы, деды, отцы мои —
Мужики, мужики, мужики!

Всласть поели немного вы ситного,
Пиво ячное, мед протекли мимо ртов...
За лихое тягло, за судьбу челобитную
Быть вам, быть окол райских кустов!

Кто-то начал говорить о тракторах, о «проклятых мужицких лаптях», которые отжили свой век, а следовательно, отжило свой век и творчество таких поэтов, как Ширяевец. Ответный крик Орешина: «Не смей проклинать мужика!» – потонул в горячем вспыхнувшем споре, а Ширяевец, казалось, напряженно прислушивался к нему.

Спор оборвался... раздалось пение соловья, сидевшего рядом на березе, и все поняли, что это и есть лучшее надгробное слово над могилой поэта... А потом поминали Ширяевца в Доме Герцена, пели его любимую песню «Во субботу, день ненастный...», читали стихи... Есенин срывающимся голосом читал «Письмо к матери». Позже, зайдя в «Стойло Пегаса», он вскочил на эстраду, объявил о смерти друга и бросил равнодушному пьющему залу:

– Оживают только черви. Лучшие существа уходят навсегда и безвозвратно.

Трудно передать словами то, какое впечатление произвела на Есенина смерть Ширяевца. Смерть первого из крестьянской купницы, друга, товарища, спорщика и наперсника. «Было пять друзей, один ушел. Помяни его и меня», – надписал Есенин на фотографии, подаренной критику Богословскому через несколько дней после похорон.

Он никак не хотел верить, что Ширяевец умер от малярии. Говорил, что отравился Шурка каким-то таинственным «волжским корнем». Более конкретные подозрения в том, что дело здесь нечисто, были у Пимена Карпова, который в письме ширяевской подруге Маргарите Новиковой-Костеловой рассказывал, что произошло в последние дни.

«6 мая э. г. он заболел легко малярией. Приглашенный врач ограничился общими советами. Я в это время сам был болен и должен был ехать в санаторий. Александр Васильевич попросил меня отложить мой уход в санаторий и побыть с ним. Я остался. 10 числа в болезни А. В. наступило резкое ухудшение, и я, посоветовавшись с врачом и с самим А. В., должен был отвезти его в больницу... Простившись со мною в больнице, покойный посоветовал мне ехать в санаторий, что я и сделал. Как вдруг 15 мая вечером я по телефону слышу от Есенина, что Александра Васильевича не стало... Из расспросов больных и сиделок можно было узнать, что покойный тяготился отсутствием близких, часто бредил. 15 мая, в день смерти, его посетила какая-то девушка в вуали и он навстречу ей, встав с кровати, прошел несколько шагов. Та успокоила его и, побеседовав, ушла. Спустя несколько минут в болезни наступил, очевидно, кризис и Ширяевец скончался. Это было в 4 ч. 10 мин. пополудни. Смерть была мгновенной.

В истории болезни говорится, что роковой исход произошел от менингита (кровоизлияние в мозгу на почве малярии). Все же там стоит огромный знак вопроса. Подлинная причина смерти не уяснена».

Незадолго до конца Ширяевец в письме к ташкентскому другу писал, в частности, что «вечером сидели в сквере на бревнах с Клычковым, Орешиним и Ганиным и жаловались на судьбу...». Они часто встречались, беседовали – невеселыми были их беседы. Предчувствовали друзья, что ничего доброго не ожидает их ни в настоящем, ни в будущем. Заходил и Иван Приблудный. Разгоняли иногда поэты тоску народными песнями, а подчас запевали под настроение песню, залетевшую в столицу с огненной Тамбовщины. По рассказам, пели ее последние антоновцы, когда их вели расстреливать курсанты Тухачевского.

Бывший красноармеец Федор Давыдов, в числе других «усмирявший» антоновский мятеж, вспоминал, как после разгрома повстанцев отряд, посланный на подавление, окружил небольшую группу крестьян, спрятавшуюся в лесу. Крестьяне знали, что окружены, шли последние часы... Кого убьют ночью во время штурма, а кого на рассвете поведут на расстрел. Допивая самогон, мужики пели под гармонь эту протяжную трагическую песню, дожившую до наших дней.

Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.

Ой доля, недоля,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Могила темна.

Эй, орава с пьяным гулом!
Коммунист, по грудям пли!
Чур не ползать перед дулом,
Не лизать у ног земли.

Через год расстреляют Ганина. И еще десяток с небольшим лет будет отмерено Клычкову и Орешину, прежде чем их, затравленных, загнанных и оболганных, чудовищными пытками заставят опуститься на колени – признаться в несовершенных преступлениях. Самый молодой из них и самый, казалось, легкомысленный Иван Приблудный выдержит все. Он не признает себя виновным, ни на кого не даст показаний, откажется подписать обвинительное заключение, а на стене тюремной камеры начертит последний автограф: «Меня приговорили к вышке. Иван Приблудный».

* * *

В это лето Есенин приезжал в Константиново дважды, каждый раз с Екатериной, и привозил своих друзей – Сахарова и Приблудного. Он показывал им свою родину, как самое редкое сокровище – так когда-то очаровывал Сергей константиновскими пейзажами Лёню Каннегисера. Но одно Константиново было в 1915-м, другое – взбаламученное, взвихренное – в 1918-м, разоренное, разворошенное и выморенное – в 1920–1921-м, и совершенно ни на что не похожее – в 1924-м.

«Очень странно...», «Я ничего не понимаю...» – подобные мысли нередко высказывались им тогда вслух. И действительно, было откуда взяться тягостному недоумению.

Никогда еще так бедно, буквально нищенски, не жила его семья. После пожара она влачила свое существование в убогой, шестиаршинной избушке, стоявшей посреди огорода. Почти половину ее занимала русская печь. Небольшой стол, три стула, оставшиеся от пожара, и кровать. Вот и все.

За окном – чудесный сад. Яблонева и вишнева кипень как бы оттеняла общую убогость деревенской жизни. Но подлинной загадкой были самочувствие и настроение односельчан.

– Мне тяжело с ними, – признавался потом Есенин, вспоминая родных. – Отец сядет под деревом, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией...

Самое поразительное было то, что происшедшее константиновцы словно бы и не расценивали как трагедию. Нэп оживил деревню, дал возможность приподняться – и началась лихорадочная погоня за барышом... С ней соседствовали иные настроения – всю разворачивался крестьянский комсомол, отряхивавший со своих башмаков как прах старой деревни, так и нынешней, стремящейся урвать что можно. По околицам слышались под гармошку песни Демьяна Бедного.

– Вот раньше, когда, бывало, я приезжал в деревню, – рассказывал позже поэт, – то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком – так, больше из задора... А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики: то неладно, это не так... А отец мне вдруг отвечает: «Нет, сынок, эта власть нам очень даже подходящая, вполне даже подходящая...»

Он оказался чужим и родителям, мечтающим о лишнем гроше, и односельчанам, подсчитывающим каждую меру овса, и крестьянскому комсомолу с его лихими песнями. «Ух, какая ты стала!» – с удивлением разглядывал он сестру Шуру. Да, выросла за два года. Но не только выросла – стала просто неузнаваемой.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатую кашей.

Так свершается на наших глазах трагедия столкновения поэтического мира с неприкрашенной реальностью. «Голубую Русь» уже не стережет «старый клен» – можно себе представить, что это значит для поэта, который «восемь лет назад» отождествил свой образ с образом любимого древа! Образы «Инонии» и «Иорданской голубицы» рухнули и рассыпались вдребезги. В 1919–1922 годах Есенин, отчаянно сопротивляясь уничтожению своего сказочного мира, воспроизводя в стихах чудовищную картину всеобщего озверения и разрушения, только накапливал в себе ярость и силы для «последнего смертельного прыжка», ибо за его спиной стояла все та же «голубая Русь»...

Теперь же сопротивляться некому и отстаивать, похоже, нечего. Незузнаваемый дед, представлявшийся раньше непутевому внуку сидящим «под Маврикийским дубом», только и может пожаловаться на сестер поэта, которые «стали комсомолки», и на комиссара, снявшего крест с церкви: «Уж я хожу украдкой нынче в лес, молюсь осинам... Может, пригодится...» И матери, что представала в «Инонии» в образе Богородицы, пытающейся поймать «пальцами луч заката», уже не видно на крылечке... В доме на стенке – «календарный Ленин», точь-в-точь как в городе – в официальном учреждении или в паршивой пивной. И – страшное ощущение разрыва времен, слома преемственности поколений, распада узловых жизненной завязи.

Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

А сестренка хвалится перед братом своими познаниями, «раскрыв, как Библию, пузатый „Капитал“»... Всего можно было ожидать, но этого... Эта «бухгалтерия» для родной сестры – жизненный путеводитель.

Ну, это он придумал, никакого «Капитала» Екатерина в руки не брала, как и он сам. Но ведь надо же было как-то объяснить, почему родная деревня поет не его, Есенина, стихи, а агитки какого-то Бедного Демьяна, он нарочно так и написал – «Бедного», «перевернув» псевдоним.

А как он, этот «пролетарский», травил его, Есенина, на товарищеском суде! Сволочь кремлевская, Ефим Лакеевич Придворов...

О чем же еще ему, Есенину, пришлось написать? О том, как встретила Она с Ним – и не узнали друг друга! Поневоле классические строки всплыли в памяти: «Но в мире новом друг друга они не узнали».

Чему же удивляться, если даже собачонка у ворот встретила поэта «по-байроновски», то есть желая вонзить клыки в появившегося невесть откуда, спустя целую вечность, хозяина, по которому, как по Чайльд Гарольду, уже никто не вздохнет.

При виде этих картин поэтом овладевает столь несвойственная ему робость.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

Поклон не узнавшей его и неузнанной им семье, поклон родной земле, поклон Руси советской, которая преображена до полной неузнаваемости пронесшимся ураганом, после которого над землей застыла странная тишина и воцарилось непривычное умиротворение.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

.....

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?

Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

.....

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

В разных измерениях оказались «скандальный пиит» и знаменитое – в будущем – село, которое ныне оглашают иные песни молодого поколения и иные разговоры – «о Буденном, о том, как красные отбили Перекоп»... И это – тоже жизнь, тоже история родной страны.

Единственное утешение здесь в том, что ему удалось воплотить свое время, и боль родного края отвечала его душевной боли – «пускай меня сегодня не поют – я пел тогда, когда мой край был болен...». И неважно, что сейчас по русскому селу звучат «другие песни» – поэт будет петь свою, единственную, независимо от того, что потребует новая эпоха, ибо при всем несогласовании разума с чувствами остается все же ощущение, что его песня неизбежно останется в памяти и сердце родной стороны... Она, и только она будет нужна если не этому поколению, так последующему.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

.....

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Именно на этой грани – присутствия во времени и выпадания из него – рождается лирика, напоенная чувством нежности к реальному земному бытию, ко всем его внешним жизненным проявлениям, когда рождаются единственно возможные слова любви к родному и близкому, пусть и обезображенному миру:

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дождаясь улыбчивых дней.

Вспомнились циничные строчки из письма Ветлугина. «Быть Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и т. д.». Что ж, каждому свое, и каждый по-своему с ума сходит. Сам же Есенин, сочиняя очередную автобиографию в эти дни, повторил выношенную мысль в прозе, перекладывая на свой язык запомнившееся по статье Блока «Судьба Аполлона Григорьева»:

«...Из той же „борьбы“ возникла и встала в душе Григорьева рядом с первой несчастной любовью – вторая несчастная любовь: любовь к родине, к „почве“. Так бывает в середине жизни. В народных песнях, в Гоголе, в Островском открылось ему то „безотчетное неодолимое, что тянет каждого человека к земле его“. За резкие слова об этой любви, всеми и всегда гонимой у нас, Григорьеву досталось довольно и в то время и в наше. Бог судья тем людям, которые усмотрели опасный „национализм“ (так, что ли?) в наивных стихах („Рашель и правда“) или в страстных словах, подслушанных, например, Григорьевичем („Шекспир настолько великий гений, что может стать уже по плечо русскому человеку“).

Так как любовь Григорьева была, как все его любви, бескорытна и страстна, то он и не взял от нее ничего, кроме новой обиды и нового горя...

Я приложил бы к описанию этой жизни картинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю; на смятом жнивье – худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до слез: это – наше, русское».

Это – Блок, от которого Есенин временами отпихивался, с которым спорил и которому признавался в любви, чтобы тут же отпустить в его адрес что-либо уничижительное... Сейчас очевидно: никуда от старшего собрата ему не деться, ибо сходятся они в самом главном, основополагающем, жизнедеятельном.

Он буквально повторяет Блока и не стыдится этого повторения.

«Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного выросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошадушка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.».

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да раkitник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

«Хотел не любить»... Хотел бы, да не могу... Не справиться с тем, что сильнее воли, рассудка, жизненной силы. И пускай «отговорила роща золотая березовым, веселым языком...». Опадание листвы уже не навеивает ужас и не вызывает смертную тоску, как в «пугачевские» времена. А самое главное, просветленное чувство родства с породившей и вскормившей землей не оставляет места для тоски по прошлому и жалости к себе – прежнему.

Не жаль мне лет, растроченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

Дерево расцветет и покроется зеленью вновь, но человеку не дано вернуть себе прежнее состояние молодости. В стихах, позже объединенных в цикл «Рябиновый костер», Есенин как бы вновь воспроизводит сказанное в «Руси советской» – «приемлю все. Как есть все принимаю...». Но теперь это «принимаю» растворено в общем музыкальном потоке стиха, пронизывает каждую строку, не выходя на поверхность.

Стихотворение, написанное в мае 1924 года, он сначала назвал «Ровесникам», потом посвятил «Памяти Ширяевца» и в конце концов снял и посвящение, и название – пережитое и передуманное не обозначить одним словом, здесь судьба всего рода человеческого, а не только его собственная или его поколения. Вспомнил одно из последних стихотворений покойного Шурки – «но вцеплюсь звериными зубами в жизнь, в судьбу, и в солнце, и в траву...». У Есенина же этот яростный порыв давно прошел. Неистовая жажда жизни уступила место прозрачному, просветленному ее ощущению и обыкновенному человеческому чувству страха перед смертью, который ранее не был свойствен Есенину. Само стихотворение выстраивается по законам классической гармонии, сродни пушкинской, когда ни одна эмоция не выходит на поверхность и ни одна музыкальная нота не перебивает остальные – но вплетается в общее стройное звучание.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облакает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

На этом переломе настроения и мироощущения спасительную руку мог протянуть только гений и царь русской поэзии – Пушкин. Есенин никогда не расставался с ним, но каждым своим творческим усилием словно стремился открыть то, что не было изведено тем, кого называли «солнцем русской поэзии» и о котором говорили – «русский человек в его развитии». Сейчас же пришлось убедиться в справедливости этих высоких слов, когда есенинская лира осознанно настраивалась по пушкинской.

Когда такого настроения не было – в ход шли отдельные реминисценции в стихах, а также крылатка, цилиндр и мечты «стоять превыше» пушкинского бронзового памятника. Словно каждый взлет и падение сопровождалось одним желанием – при всех перипетиях и перепадах ощущать за своим плечом пушкинское дыхание, даже если тот или иной жест «по Пушкину» и кажется окружающим смешным.

Чтение Пушкина рождало в душе головокружительный восторг и приступы белой зависти: нет, так мне никогда не написать! И никто за сотню лет, пожалуй, кроме Лермонтова, не смог к нему приблизиться.

Технику изучать бессмысленно – это по Брюсову можно распознавать «как делать стихи». А здесь каждое стихотворение – живой организм, концентрация всего человеческого существа, в голос которого вслушиваешься и время от времени пытаешься продолжить, протянуть ноту той или иной строки.

Он читал «Роняет лес багряный свой убор...» – и только и мог, что щелкнуть в восхищении пальцами: «Вишь, как он!» Читал «Телегу жизни», «Дорожные жалобы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и в нескольких пушкинских строфах или строчках отыскивал то, что позволяло с душевной легкостью и внутренним успокоением принять и благословить земной мир. В «Руси советской», прежде чем найти слова для приветствия младому поколению, выжившему после прошедшего урагана, нужно было вспомнить пушкинское «возвращение на родину» и его «прощание с друзьями» – «Вновь я посетил...» и «Была пора. Наш праздник молодой...». Пушкин пробуждал память, способствовал обретению гармонии в душе и спокойствия в обыденной жизни. Он же помогал с большей легкостью относиться к разного рода житейским неприятностям. Так, перелистывая пушкинский томик, Есенин остановился на стихотворении, написанном 26 мая 1828 года. Почти столетие тому назад...

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Прочел и полушутя, с горьким юмором произнес:
– Вот ведь не скажешь про это стихотворение – «упадочное»... А у нас как тоскливая нотка появится, так тут же начинают вопить: «Упадочный! Припадочный!»
Да... Написать такое однажды – и умереть не страшно.

Но все эти переживания, углубленное чтение, напряженная работа – наедине с самим собой. На людях – жажда славы, уверенность в своих силах и... дружеское, одновременно и почтительное и задорное обращение к Пушкину, прочитанное у памятника на Тверском бульваре 6 июня 1924 года – в день рождения любимого поэта.

Пушкинская легенда и живой пушкинский образ – связь и пропасть между ними соотносятся с есенинской легендой и есенинским живым образом. Демонстративно, «нагло» и в то же время с абсолютным внутренним достоинством разговаривал поэт на глазах у толпы с памятником, в котором проступали для него живые черты буйного потомка африканцев и великого мужа России.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

Прочитав это стихотворение, Есенин возложил к подножию памятника букет цветов и, подойдя к столпившимся зрителям, произнес: «Камни души скинаю...» Он читал первым, и читавшие вслед за ним Орешин, Городецкий, Кириллов уже не были услышаны.

Этот тихий майский вечер стал новым триумфом Есенина, когда каждый из присутствовавших на Тверском бульваре, шокированный прямым отождествлением «повесы Пушкина» с «хулиганом Есениным», не мог не поверить, что песня этого «обреченного на гоненье» поэта непременно прозвенит бронзовым звоном.

* * *

Обращение к Пушкину неизбежно влекло за собой обращение к новой столице, перед которой в свое время «померкла старая Москва, как перед новою царицей порфиноносная вдова» – Петербургу – Петрограду – Ленинграду, городу, трижды сменившему имя на памяти Есенина; к Петровской эпохе, от которой тянулась нить через столетия и завязывалась тугим узлом в «суровые грозные годы» – 1917-1918-й.

В это лето он дважды посещал Питер, ставший Ленинградом, и в один из приездов поделился с Вольфом Эрлихом замыслом «Песни о великом походе», в которой собирался «из Петра большевика сделать». Дело императора, выстроившего град на русских костях, было продолжено новыми управителями, в очередной раз вздыбившими Россию.

Мысль сама по себе – неоригинальная для той эпохи. Ее уже сформулировал Максимилиан Волошин в поэме «Россия» – «великий Петр был первый большевик», она же вдохновила на «Голый год» Бориса Пильняка. Есенин же возвращался к своей старой идее,

возникшей у него, но так и нереализованной при работе над «Гуляй-полем» и «Страной негодяев». Он мечтал тогда создать поэму, отталкиваясь от «Двенадцати» Блока, построив ее на переключке голосов, объединенных единой музыкальной волной. Теперь именно таким образом строилась «Песнь о великом походе».

Начинается она с запева, который вызывает в памяти запев «Слова о полку Игореве», где певец намеревается рассказать о происшедшем «по былинам сего времени, а не по замыслению Бояню». Есенин вступает в своеобразное творческое соревнование, заявляя о намерении поведать о великом революционном походе, увиденном глазами народа, его совершившего, и поэта, чей голос вплетается в общее многоголосье, независимо от будущих упреков в «необъективности» созданной картины.

Для тебя я, Русь,
Эти сказы спел,
Потому что был
И правдив и смел.

Был мастак слагать
Эти притчины,
Не боясь ничьей
Зуботычины.

И далее Есенин продолжает песнь уже в компании гусяров и гармонистов, перебивая сюжет поэмы отступлениями, как бы давая певцам передышку:

Вы, конечно, народ
Хороший,
Хоть метелью вас крой,
Хоть порошей.
Одним словом,
Миляги!
Не дадите ли
Ковшик браги?

.....

Эх, песня,
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?
Хоть под гусли тебя пой,
Хоть под тальяночку.
Не дадите ли вы мне,
Хлопцы,
Еще баночку?

Здесь уже в поэму вторгается Лермонтов с его перебивками в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», в которой гусяры дают веселую разудалую ноту, снимая напряжение сюжета:

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина

И боярыню его белолицую! —

чтобы потом снова продолжить сказ о человеческой трагедии, сломанных судьбах и искалеченных жизнях.

Из-под болотистой почвы, из преисподней, на которой был возведен «град Петров», слышится гул – голоса ненависти и мести, предупреждающие Петра о неизбежной расплате за содеянное злодеяние: «Мы придем, придем! Мы возьмем свой труд. Мы сгребем дворян да по плечи им, на фонарных столбах перевешаем!..» И когда настал этот роковой час, раздается песня, в которой бесполезно отыскивать логику и смысл – в ней слышна лишь жажда социальной справедливости, утоляемая обильной кровью.

Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!
Но с чего же там
Пушки бьют-палят?
Бьют за городом,
Бьют из-за моря.
Понимай как хошь
Ты, душа моя!

Здесь снова вспоминается Блок, его недоумение при виде вьюги, закрутившей все вокруг, и тревожные гадания о будущем: «Что впереди?» – перебиваемые резким окриком красноармейского патруля: «Проходи!» Для героя есенинской поэмы, мужика, надевшего красноармейскую шинель, такого вопроса не возникает. Он не хочет думать о будущем – он живет настоящей минутой, озабоченный одной-единственной мыслью: «Власть советская им очень нравится, да идут войска с ней расправиться». Все предельно просто и понятно: здесь красные – там белые. А дальше – понимай как хошь ты, душа моя! Гульба предстоит страшная, битва жестокая, и все за то, «чтоб шумела рожь и овес звенел, чтобы каждый калачи с пирогами ел». И проносится перед глазами белая конница, и сменяется красной, на речь Зиновьева отвечает Корнилов, а денкинцев, топчущих крестьянскую рожь, гонят лихие конники Ворошилова и Буденного, вдохновляемые Троцким, обещавшим коней красной кавалерии напоить из Дона. И вся эта рубка сопровождается лихими куплетами, исполненными злобой и ненавистью взаимного противостояния.

Ну и как же тут злобу
Не вынашивать?
На Дону теперь поют
Не по-нашему:
«Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами».
А у нас для них поют:
«Куда ты котишься?»

В Вечека попадешь —
Не воротишься».

Великий поход завершается победой тех, кто вынес истинно народную идею справедливости и счастливой жизни. Кумачный цвет разливается по улицам Петрограда, и воскресший Петр при виде красных флагов «грозно хмурится» – жертвы его отомщены. ...Поначалу Есенин, вдохновленный мыслью о «первом большевике», хотел заставить Петра «любоваться» алым цветом, но повторять уже сказанное не пожелал. Да и фальшивым был бы этот финал после всего пропетого... Дело Петра все же пыталась отстоять именно «рать Деникина», которая нещадно избивала мужиков с озверелыми криками: «Отплати за то, что ты вешал знать. Эй, в кнуты их всех, растакую мать!» – и бежала под «свистом ядерным», дабы кумачный цвет разлился по всей стране.

* * *

Образ Петра, преследовавший Есенина во время работы над «Песнью», естественно, вызывал в памяти образ его духовного двойника, осмысленный совсем в иной плоскости, с явным полемическим зарядом по отношению к императору – образ Ленина. Он остался за скобками «Песни о великом походе», но именно в процессе работы над ней Есенин вернулся к «Гуляй-полю», вписав несколько строк в экземпляр альманаха «Круг», где был опубликован фрагмент, посвященный вождю. Портрет «застенчивого, простого и милого» здесь обретает новые краски.

Ученый бунтовщик, он в кепи,
Вскормленный духом чуждых стран,
С лицом киргиз-кайсацкой степи
Глядит, как русский хулиган.

Сей образ, вольностью воспетый,
И скажем,
Чтоб кто не вспылит,
Хоть не всегда, но есть портреты,
В которых он поэтам мил.

Таких мы любим.
Ну, а в общем
Серьезной славы не потопчем.

В этих иронических строчках слышится и полемика с известным патетическим стихотворением Николая Полетаева: «Портретов Ленина не видно, похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет», и еще более, чем раньше, акцентируется мысль о «растворении» Ленина в революции; тут и напоминание о «пугачевском» хулиганстве и азиатском буйстве, усмотренном в ленинских монголоидных чертах. Но, помимо всего прочего, здесь явственна и отсылка к очерку Горького «Владимир Ленин», прочитанному тогда же в Ленинграде, в первом номере «Русского современника», журнала, куда Есенин отдавал свои стихи.

«Я бы назвал основную черту его характера – воинствующим оптимизмом, и это была в нем не русская черта... Владимир Ленин был человеком, который исхитрился помешать людям жить привычной жизнью, как никто до него не умел сделать это...»

На «нерусской черте» вождя Горький останавливается еще раз, приведя слова самого Ленина:

«Умных жалею. Умников мало у нас. Мы – народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови».

Это почти полностью совпадало по смыслу с есенинской строкой: «Одолели нас люди заезжие...» Но именно в данном конкретном случае Есенин, соглашаясь с Горьким относительно «духа чуждых стран», вступает с ним в полемику, настаивая на «русском хулиганстве» человека, обуреваемого «вольностью» российских просторов и самой природы, – и это «настояние» органически вплетается в дальнейшее описание «салазок» и «перепелиной охоты».

А тут еще, как назло, встречается и Замятин со статьей «О сегодняшнем и современном».

«В стихах – новое только у Есенина: он, кажется, впервые пробует себя в патетической форме оды – и увы: до чего это оказывается близко к сусальности прочих бесчисленных од. Быть может, отчасти, тут и вина редакции, украсившей стихи Есенина длинным ожерельем многоточий».

Ну, после «киргиз-кайсацкой степи» едва ли придется говорить о «сусальности»... Но не в этом суть. А в том, что покойник, нереальный при жизни и оставшийся таким же нереальным, то есть продолжающим *существовать* после смерти в своей нереальности, вдохнул жуткую силу в своих последователей, и они, надевающие на страну смирительную рубашку, продолжают деяние человека, закружившего метельный революционный вихрь. Этим – все человеческое чуждо. «Того, кто спас нас, больше нет...» И не было как такового! А эти – вот они, рядышком, заезжие с холодным умом.

Для них не скажешь:
«Л е н и н у м е р!»
Их смерть к тоске не привела.

.....

Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...

* * *

За «Песнь о великом походе» обеими руками начали хвататься журналы. Сначала ее выпросил главный редактор ленинградской «Звезды» Майский, и Есенин отдал ему еще не отделанную до конца поэму. Потом в игру включилась Берзинь, которая вознамерилась получить ее для «Октября». Одновременно через нее же экземпляр поэмы был отдан Ионову для отдельного издания. Берзинь взяла поэму и показала ее Бардину. Тот написал Есенину письмо, в котором снисходительно одобрял поэта за «крестьянскую революционную сознательность» и требовал переделать конец. Замечания Бардина Есенин тогда не учел, но под влиянием уговоров Берзинь склонялся отдать поэму в «Октябрь» и написал письмо сотруднику ленинградского отделения Госиздата с просьбой передать Майскому, «чтобы он обождал печатать поэму», ибо поэт «ее еще значительней переделал». Но долго тянуть было нельзя. В том же письме Есенин признался, что «час его финансового падения настал», а Берзинь передала через Екатерину солидный аванс от «Октября». Операция была проведена блестяще: Бардин утер нос Воронскому и мог потирать руки.

С другой стороны, в «Звезде» вовсе не были заинтересованы соглашаться на просьбу поэта. Поэма, в которой в общем хоре звучит овечьим героическим ореолом имя Зиновьева, могла стать крупным козырем для ленинградцев, уже начавших себя противопоставлять московской партийной организации и ЦК. Практически одновременно «Песнь о великом походе» была напечатана в «Звезде».

Разразился крупный скандал. Воронский был в ярости. Пожалуй, этим, в частности, можно объяснить его последующие нападки на Есенина, которого он считал «соблазненным» «напостовцем» Бардиным. В самом «Октябре» тут же начались выяснения, может ли этот журнал печатать «попутчиков», и прежний ненавистник Есенина Семен Родов (куда только былой «классовый подход» делся!) стал защищать Есенина от своих собратьев по литературной войне. Все это происходило, когда Есенин был уже на Кавказе. Туда и летели ему письма от Бениславской, писавшей: «Вас здесь встретят не слишком тепло: многие, боюсь, руки не подадут... Если у Вас есть силы бороться – бейте отступление (если надо отступать)...» О том же писала Екатерина: «Видела Воронского. Если бы ты знал, как ему больно. Никаких распоряжений за глаза не давай. Помни, ты козырная карта, которая решает участь игроков. Остерегайся».

Есенину до зеленых чертей надоели вся эта мышиная возня и эти делатели «литературной политики». В «Красной нови» печатаешься – «идеологически невыдержанный»... В «Октябре» – значит, продался «напостовцам»... Да пошли они все...

«Печатайте все, где угодно, – писал он Бениславской из Батума. – Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная – я сам». Перед отъездом он в письменной же форме объяснился с Анной Берзинь: «Вы ко мне были, как говорят, „черт-те что такое“. Люблю я Вас до Дьявола, не верю Вам навеки еще больше. Все это смешно, а особенно тогда, когда я навеки твоя...» И ей же в дружеском послании из Тифлиса напомнил: «Демьяновой ухи я теперь не хлебаю».

Но все это позже, а пока в перерывах работы над поэмой он гулял по Ленинграду. После ее окончания в очередной приезд посетил Сестрорецк, плавал на пароходе, зафрахтованном Союзом писателей, в Петергоф, навестил Царское Село. Бродил по пушкинским аллеям, фотографировался прямо на пьедестале памятника Пушкину рядом с его бронзовой статуей, навещал старых друзей. Был у Клюева. Зашел в гости к Иванову-Разумнику, провел с ним несколько часов за невеселым разговором, о котором Разумник, по его собственному признанию, написал воспоминания. Последние, увы, не сохранились.

Однажды в компании ленинградских имажинистов неожиданно забрел в Фонтанный дом, в гости к Анне Ахматовой.

Они никогда не были особенно близки. Личного контакта между ними не возникало. Есенин хорошо помнил свой первый приезд в Царское Село, знакомство с Ахматовой и Гумилевым, их снисходительно-сдержанную реакцию на его стихи. Помнил и ахматовские «петербургские» шпильки: «Да... мы с вами встречались на углу пирамиды Хеопса...» В то же время он с тайной симпатией относился к ее стихам и был неприятно удивлен тем, насколько поэтический образ не совпадал в данном случае с образом человеческим. Теперь же, спустя почти десять лет, он ходил по Ленинграду, оживляя в своей памяти все самое доброе и лучшее, чем приветила его когда-то Северная столица. Он встречался со старыми друзьями и знакомыми после многих лет разлуки и под впечатлением накативших чувств делился с ними самыми горькими переживаниями. Иногда это был несвязный поток обрывочных фраз, объединенных только чувством боли, с которым они произносились. Владимир Чернявский, с которым Есенин встретился в те же дни, попытался уговорить поэта «не пьянствовать и побережь себя», чтобы написать еще много «хороших вещей»... В ответ последовал взрыв: Есенин лихорадочно заговорил, перескакивая с одной мысли на другую. «Если бы я не пил, разве я мог бы пережить все, что было?..» Потом, перебивая себя, не будучи в состоянии ясно высказать, что его мучило, повторял, как бы досадуя на собеседника за непонимание: «Россия! Ты понимаешь – Россия!»

И вот теперь он стоял перед Ахматовой, к которой подошел тихо, почти благоговейно, и поцеловал ей руку. Она увидела в нем нечто новое – совсем не того поэта и человека, к которому когда-то относилась с чисто эстетским «столичным» высокомерием. Надо сказать, что этот «столичный» тон она умела великолепно выдерживать и позднее, когда, встречаясь и беседуя с петербуржцами, завсегдатаями литературных кругов, вспоминала о Есенине в достаточно колких и резких тонах. По этому поводу даже спорила с Мандельштамом.

Никому бы из своего литературного окружения не призналась Ахматова, что ее по-настоящему волнуют есенинские стихи, гласные же реплики Анны Андреевны в адрес Есенина продиктованы взлелеянным ею самой в своей душе ощущением несправедливости в распределении прижизненной и посмертной славы. Но так или иначе, в этот раз, в минуты неожиданной и нелепой встречи, они разговаривали на удивление мирно и доверительно, ощущая едва осознаваемое ими родство душ. Пожалуй, первый и последний раз в жизни Ахматова оценила Есенина адекватно его личности и поэтической значимости. «О нем часто писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать, – вспоминала она незадолго до смерти. – Его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути... а он явно искал свой путь – третий – и пел о жизни на шестой части земли с названьем кратким „Русь“... В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказов стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и роц... Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что

Новый свет горит
Другого поколения у хижин.

А ведь увидеть – значит понять. А это определяло путь, по которому идти».

Они беседовали о Пушкине, о портрете Ореста Кипренского, и Есенин с усмешкой говорил, что не родился художник, который бы написал с него такой же льстивый портрет. Говорили о судьбе Параши Жемчуговой, крепостной актрисы, жене графа Шереметева, и Сергей читал и читал стихи – «Возвращение на родину», «Пушкину», весь цикл «Рябиновый костер»... Уходя, «забыл» томик «Пугачева» без всякой дарственной надписи, и, раскрыв его, Ахматова увидела подчеркнутые строки:

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.

...Написанное через год стихотворение «Так просто можно жизнь покинуть эту...», адресованное расстрелянному Гумилеву, Ахматова, узнав о гибели Есенина, посвятила его памяти, осознав страшное предсказание, содержащееся в нем, навеянное есенинскими мотивами предчувствие близкой смерти. А еще через несколько лет, вспоминая погибших своих современников, набросала несколько строк, воплотивших размышление о трагической судьбе русского поэта:

Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке,
Иль Большим Маяковским путем...

* * *

Это свидание с Ленинградом всколыхнуло в душе Есенина новые воспоминания. Ионов, жаждавший получить от поэта нечто «идейно выдержанное», пытался приобщить его к изучению истории революционного движения и рассказывал ему о своем пребывании в Шлиссельбургской крепости, о заключении и ссылке первого поколения русских революционеров. Есенин внимательно слушал, и перед его глазами вставали образы близких друзей, молодых романтиков революции, женщин-боевичек эсеровской партии. «Юность, юность! Как майская ночь, отзвенела ты черемухой в степной провинции...»

Лёня Каннегисер, Вениамин Левин, Мина Свирская... Раскидала их судьба. Кто в могиле, кто за границей, кто пошел по новым тюремным этапам и ссылкам после процесса над эсерами 1922 года. Всплыли в памяти и «патриархи» – седобородый Герман Лопатин, с которым он познакомился у Сакеров и где впервые увидел Свирскую; Вера Фигнер; неистовая Мария Спиридонова – Ключев рассказывал, как члены подпольного Всероссийского крестьянского союза хранили ее портреты вместе с иконами Богородицы; старый шлиссельбуржец Николай Морозов...

Приехав в начале августа в Константиново, Есенин уединился в уголке у окна маленькой хибарки, где жили его родные, и непрестанно работал, только изредка выкраивая время для отдыха и рыбалки, которую очень любил. Он писал новую поэму – поэму о судьбе политкаторжан, социалистов-революционеров, прошедших царскую ссылку и каторгу и после Октября пошедших в ссылку советскую.

Вспоминались не только живые люди, но и книги. Кровавый террорист Савинков и его роман «То, чего не было», опубликованный под псевдонимом «Ропшин» в «Заветах», который Есенин читал в Москве 1913 года. Тогда он писал Грише Панфилову о «необузданном мальчишестве» революционеров, которые «отодвинули свободу лет на 20 назад»... Теперь же, размышляя о них, он не мог не задуматься о страшной расплате за мужество, теракты, «необузданное мальчишество».

Буря и грозный
Вой.
Грузно бредет
Конвой.
Ружья наперевес.
Если ты хочешь
В лес,
Не дорожи
Головой.

Ссылный солдату
Не брат.
Сам подневолен
Солдат.
Если не взял
На прицел, —
Завтра его
Под расстрел.
Но ты не иди
Назад.

Здесь воедино сплавлены две эпохи, объединенные судьбой «борцов за счастье народа», вдохновленных девизом «В борьбе обрешь ты право свое!». Они легко убегали из прежних ссылок, пересекали границу, сызнова начинали войну с самодержавием. Пуля в спину бежавшему – знак нового времени, когда вырваться на свободу было уже практически невозможно. И реалии нового тюремного режима, вторгающиеся в поэму, – не в пример шлиссельбургским: «Их было тридцать шесть. В камере негде сесть...» Это Есенин испытал на себе в 1920 году в переполненной камере Лубянки.

Жесткий ритм поэмы, напоминающий стук сапог конвоира, когда каждая строка словно гвоздь вбивается в мозг, только подчеркивает общее ощущение трагизма совершающегося. Но и здесь было бы чрезмерным упрощением оценивать поэму как политическое сочинение с экскурсом в историю. Все происходящее в ней – заключение, побег, новый революционный взрыв – растворяется в общем гуле снежной вьюги, гуляющей на просторах родины и

закручивающей в своем вихре героев поэмы, как бы настаивая на бесконечности свершающегося.

Много в России
Троп.
Что ни тропа —
То гроб.
Что ни верста —
То крест.
До енисейских мест
Шесть тысяч один
Сугроб.

А теперь, после революции, как живут бывшие террористы, которые готовы были жертвовать собой, бросать бомбы, выступать в судах с пламенными речами? Нет, нынешняя власть не позволит им такого. Она осудит их так, что никто не узнает, где зарыты кости «в борьбе обретавших право свое». Революционный театр кончился. Началась будничная расправа с актерами. А потому лучше замолчать и забыть обо всем. Кто-то из них отсидел, кого-то выпустили, все сломлены, подавлены, обессилены. Не до прав им, не до борьбы. Быть бы живу.

Быстро бегут
Дни.
Встретились вновь
Они.
У каждого новый
Дом.
В лёжку живут лишь
В нем,
Очей загасив
Огни.

.....

Тот, кто теперь
Задремал,
Уж не поднимет
Глаз.

Первоначально поэма называлась «36. Баллада». Окончательное название она обрела при подготовке к печати – «Поэма о 36».

* * *

После того как Есенин отдал «Песнь о великом походе» в Госиздат, он собирался присоединить к ней «Поэму о 36» и последние стихи. Уже вышла «Москва кабацкая», в «Круге» готовилась книга избранных стихотворений, и поэт хотел, чтобы и госиздатовский сборник выглядел достойно, не желая видеть «фронттовую брошюру», составленную из одной «Песни», как он писал заместителю Ионова Осипу Бескину. Но все его уговоры были напрасны – в Питере книжка не вышла, а московский Госиздат выпустил «Песнь» отдельным изданием без новой поэмы и стихов.

Еще в феврале 1924 года Есенин познакомился с Петром Ивановичем Чагиным, вторым секретарем ЦК Азербайджана, работавшим в подчинении у Кирова и редактировавшим газету «Бакинский рабочий». Тот, чуть-чуть поддразнивая поэта, рассказывал о Баку, о том, что в этом городе много «золотой дремотной Азии», но «опочила» она не на куполах, а на нефтяных вышках. С жадностью слушал Сергей его рассказы, вспоминал свое первое путешествие на Кавказ... Тогда не довелось увидеть его по-настоящему, а теперь вроде появилась такая возможность. Запад он уже видел, сейчас же с новой силой овладело им желание увидеть Восток. Персия, издавна манящая, загадочная, волшебный край! Индия! Они фантазировали вместе с Чагиным, думали о возможности попасть туда. В памяти оживали восточные мотивы в стихах Клюева, Ширяевца... Есенин воспринимал их уже совсем по-иному, чем несколько лет тому назад. И «Песнь о великом походе» завершалась тем же ощущением вседоступности неведомых открывшихся горизонтов спасительной «голубой Азии»: «В берег бьет вода пенной индеевью... Корабли плывут будто в Индию...»

Полгода об этом за новыми трудами и заботами не вспоминалось. А в августе 1924 года произошло событие, которое в очередной раз перевернуло жизнь Есенина и сделало далекую мечту вполне осуществимой.

Здесь надо оговориться: достоверных документальных сведений о происшедшем у нас нет. Случившееся можно вполне воспринимать как один из эпизодов есенинской легенды, но если мы примем его на веру, то некоторые известные фактические события этих дней сложатся в стройную картину.

В 1950-х годах Борис Пастернак рассказывал Ольге Ивинской о своей личной встрече со Сталиным. Произошло это, если верить Ивинской, следующим образом: в Кремль были приглашены Пастернак, Маяковский и Есенин, с каждым из которых генеральный секретарь беседовал по отдельности. Разговор шел о необходимости перевести на русский язык современных грузинских поэтов, поднять знамя грузинской поэзии и вообще дать «смычку» поэтов разных народностей по примеру «смычки» рабочих и крестьян.

Что за этим стояло? А стояла за этим весьма непростая обстановка в самой Грузии, сложившаяся там после «грузинского инцидента», разыгравшегося в конце 1922 года. После свержения правительства Ноя Жордания в Грузии царил направленный туда Сталиным Орджоникидзе, перед которым стояла задача обеспечить вхождение Грузии в состав Закавказской Федерации, против чего восстал весь ЦК грузинской компартии во главе с Буду Мдивани. История эта достигла своей кульминации, когда, протестуя против «держимордовского режима» Орджоникидзе, А. Кабахидзе назвал московского эмиссара «сталинским ишаком» и в ответ получил от Орджоникидзе пощечину. В результате разразился скандал, который привел фактически к разрыву отношений между Лениным, поддержавшим грузинский ЦК, и Сталиным. Постепенно страсти улеглись, но обстановка не стала менее напряженной. Мдивани и окружавшие его грузинские коммунисты были серьезной силой в разыгравшейся внутривластной склоке, и Сталин в обстановке все более ощутимого сопротивления, с одной стороны, Троцкого, а с другой – Зиновьева, не мог не чувствовать уязвимости в своем излюбленном вопросе национальной политики. Необходимо было обеспечить на данном фронте прочный тыл, а с этой целью – привлечь на свою сторону грузинскую интеллигенцию, в частности, представителей грузинской литературы.

Получив необходимую информацию, Сталин пригласил к себе трех самых популярных поэтов, которые в литературных кругах котируются по высочайшему счету. Мы не имеем никаких сведений о том, как протекала беседа Сталина с Есениным и о чем, кроме переводов, они еще говорили. Но кое-что можно предположить.

Со слов Шагане Тальян, батумской знакомой поэта, пошла по свету гулять история о том, что якобы «Москва кабацкая» была издана при поддержке Луначарского, поставившего условием издания книги разрыв Есенина с имажинистами. Очевидно, здесь все поставлено с ног на голову, и если Есенин и рассказал ей нечто подобное, то намеренно все затемнив и исказив – вплоть до имен действующих лиц. Рискнем высказать предположение, что фраза,

сказанная как бы мимоходом в кремлевском разговоре (дескать, для чего вам эта компания?), прозвучала как намек.

А 31 августа письмо за подписью Есенина и примкнувшего к нему Ивана Грузинова о роспуске группы «имажинисты» «в доселе известном составе» было напечатано в газете «Правда», где прежде не публиковалось ни одной есенинской строки.

Не следует только думать, что Есенин пошел на какую-то беспринципную сделку. Он лишь поставил формальную точку там, где она уже давно была поставлена фактически.

Можно также предположить, что Есенин растрезвонил направо и налево о своем разрыве с бывшими «собратьями». Сия информация, переданная по инстанции, также могла быть отмечена перед кремлевской беседой.

Но так или иначе, не будем гадать. Факт остается фактом: Есенин оставляет московские дела на сестру и Галину Бениславскую и устремляется в Баку. Слава Богу! Он, облаянный и оболганный газетной сволочью, «хулиган», «скандалист» и «антисемит», признан в высших кругах тем, кем он является на самом деле – одним из первых поэтов современной России! Неужто советская власть, наконец, протянула руку? Неужели перестала приближать к себе одних бездарей и мерзавцев? Так ведь об этом же и у Пушкина:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

...Последние приготовления. Последние распоряжения относительно книг. Письмо Берзинь: «Уезжаю года на два». Чем на дольше, тем лучше – прочь из этой опостылевшей Москвы!

И стучат колеса поезда. Впереди – Азербайджан, Грузия и – чем черт не шутит – Персия! Остановиться есть у кого на первое время – Чагин встретит с распростертыми объятиями... Вот и жаркий ветер начинает обдувать, а за окном – поля, усеянные розовыми кустами. Кажется, цветы поднимают головки и медленно, плавно срываются с места и плывут, плывут в странном чудодейственном полете... Его губы шевелятся, и он шепчет: «Тихо розы бегут по полям...»

Глава двенадцатая «Персия прогорела...»

Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду.

С. Есенин в разговоре с А. Воронским

Пятого сентября 1924 года Есенин прибыл в Баку, надеясь пожить здесь достаточно долго. Остановился Сергей в гостинице «Новая Европа». Он уже собрался было навестить Чагина, как вдруг нос к носу столкнулся в ресторане со своим старым знакомым, с которым не виделся, почитай, с год, – Яковом Блюмкиным, жившим в той же гостинице под конспиративной фамилией «Исаков». Есенин отложил свой визит к Чагину, и они с Блюмкиным завели разговор о славных и голодных годах военного коммунизма, об имажинистских похождениях, вспомнили осень 1920 года, когда под поручительство Блюмкина Есенин был выпущен из ЧК, куда попал вместе с братьями Кусиковыми...

Из беспорядочной болтовни «Исакова» Есенин понял, что он выполняет здесь какое-то секретное задание, связанное с коммунистическим движением в Иране, недаром Блюмкин уже давно подписывался как «член коммунистической партии Ирана». В те годы, когда надежды на мировую революцию в кремлевских головах еще не повыветрились, многие партийные и чекистские функционеры, пытаясь раздуть мировой пожар, побывали в

качестве официальных послов и секретных уполномоченных в близлежащих странах. Иоффе какое-то время являлся послом в Австрии, Крестинский – в Германии, Раскольников – в Афганистане... А Блюмкин плел свои сети в Иране. Баку представлял собой что-то вроде его основной резиденции. Это было время международного революционного авантюризма, и такие люди, как Блюмкин, готовые на все, высоко ценились в левотроцкистских кругах кремлевско-лубянской элиты.

За обедом Блюмкин познакомил Есенина с женщиной, которую представил как свою жену. Есенин не поверил и через некоторое время в присутствии «пламенного революционера» отпустил в ее адрес какой-то фривольно-легкомысленный комплимент... Истеричный Блюмкин побагровел, вскочил из-за стола, выхватил револьвер, замахал им в воздухе и заорал нечто такое, из чего поэт сразу понял, что тому известно и про его похождения в Америке, и про всю историю с судом над четырьмя поэтами.

Даже не пытаясь успокоить своего знакомого, Есенин вышел из ресторана. Он хорошо знал этих «романтиков революции», для которых своя голова полушка, а чужая шейка – копейка. Не для того он убежал из Москвы, чтобы обзаводиться здесь новыми милицейскими протоколами и очередными «делами»...

В тот же вечер, ничего не сообщив Чагину о своем коротком пребывании в Баку, Есенин вместе с Илларионом Бардиным уехал в Тифлис. «Об этом происшествии мне потом рассказывал художник Константин Соколов. Сам Есенин молчал» (*Н. Вержбицкий*).

В жаркий осенний день секретари Ассоциации пролетарских писателей Грузии Бенито Буачидзе и Платон Кикодзе вместе с журналистом Николаем Стором встретили на тифлисском вокзале Есенина и Бардина.

Илларион Бардин прибыл в Закавказье по каким-то партийным делам. Есенин охотно встречался с ним в Грузии и без сопротивления принимал всяческую вардинскую опеку над собой, тем более что Бардин хорошо знал Тифлис и его жителей. Правда, в одном из писем сестре из Тифлиса (от 17 сентября 1924 года) поэт заметил: «Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одно беда, что коммунизм он любит больше литературы».

Есенин пробыл в Тифлисе в первый свой проезд недолго – всего двенадцать дней, но успел познакомиться с несколькими десятками людей. Впрочем, трудно представить себе реальную картину жизни Есенина, опираясь на их воспоминания, которые порой оказываются сочиненными и недостоверными. Приведем характерный пример.

Не кто иной, а сам Николай Вержбицкий, сотрудник газеты «Заря Востока», с которым общался все эти дни Есенин, вспоминает, как после 7 сентября Сергей встретился с Маяковским и задел своего соперника по поэзии весьма язвительно. Сначала он якобы прошелся по стихотворению «Юбилейное», в котором был назван «балалаечником», а потом прочитал из только что написанного:

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельтроне.

Маяковский будто бы улыбнулся и тихо произнес:

– Квиты...

«Но Есенин, видимо, только еще собирался брать реванш. Постучав папироской о пепельницу, он слегка притронулся к колену Маяковского и, вздохнув, произнес:

– Да... что поделаешь, я действительно только на букву Е. Судьба! Никуда не денешься из алфавита!.. Зато Вам, Маяковский, удивительно посчастливилось – всего две буквы отделяют вас от Пушкина...

И, сделав короткую паузу, неожиданно заключил:

– Только две буквы! Но зато какие – «Но»!

При этом Сергей высоко над головой помахал пальцем и произнес это так: «Н-н-но!», предостерегающе растянув "н". А на лице его в это время была изображена строгая гримаса.

Раздался оглушительный хохот... Смеялся Маяковский. Он до того был доволен остротой, что не удержался, вскочил и расцеловал Есенина».

Описание этой встречи включено даже в биографически дотошный двухтомник В. Белоусова «Сергей Есенин. Литературная хроника».

Однако Симон Чиковани, молодой тогда грузинский поэт, не единожды встречавшийся в Тифлисе с Есениным, в своих воспоминаниях отмечает:

«6 сентября 1924 года после десятидневного пребывания из Тбилиси уехал Владимир Маяковский, а 9 сентября на проспекте Руставели появился Сергей Есенин...»

По данным же биографа Маяковского В. Катаняна, его герой покинул Тифлис в середине сентября.

Вот и выбирай, кому верить.

Но как бы то ни было, жизнь Есенина в Тифлисе была чрезвычайно насыщена и без Маяковского: поэтические вечера, вечерние и полуночные кутежи, знакомства с журналистами, русскими и грузинскими поэтами и художниками сливались в сплошное бестолковое и праздное времяпрепровождение. Как всегда, поражает количество событий, встреч, разговоров. Впечатление такое, что Есенин пробыл в Грузии не двенадцать дней, а двенадцать месяцев. Многие мемуаристы в этом абсолютно уверены. Кто-то из них пишет, что Есенин прожил в Грузии *полгода*, кто-то говорит о *целом годе*...

Есенин понимал, что в стране, где цветет вечнозеленый лавр, где сверкают вечные снега и шумит под вечно синим небом вечно голубое море, поэты будут всегда мыслить и чувствовать несколько иначе по сравнению с теми, кто видит бесконечные просторы весной – зелеными, осенью – почерневшими от мелкого дождика, зимой – белыми, когда «в декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки», где смена времен года беспощадно напоминает о быстротекущей жизни. Однажды поэта привели в невзрачный домик, где жил народный поэт и певец, глубокий старик, неграмотный Иетим Гурджи. Старенький ковер на тахте, табуретка, в углу ведро с водой. Но прямо на стене размашистой кистью написан портрет Шота Руставели... Во время скромного застолья Иетим Гурджи сначала спел свое стихотворение о том, что дружба и веселье в этом мире дороже серебра и золота, а потом попросил Есенина прочитать свои стихи.

И Есенин запел:

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Хозяин, не знавший русского языка, слушал, опустив голову, а потом воскликнул:

– Не надо печали! – и толкнул ногой дверь. – Посмотрите, как хорошо на свете!

Перед гостями возникло чудесное зрелище – вечернее закатное солнце, синие тени, огни, громадные деревья, далекие, синие от поднимающейся мглы горы...

* * *

Есенин заходит в редакцию «Зари Востока», где его окружает местная журналистская братия: Вирапян, Вержбицкий, Стор, Лифшиц; передает им для публикации «Песнь о великом походе», собирает их в одном кабинете, читает стихи, очаровывает, пытается создать себе надежную гонорарную базу для дорогой тифлисской жизни – один день в гостинице обходился поэту в 20–25 рублей, а «Заря Востока» едва-едва платила по 50 копеек за стихотворную строчку.

16 сентября состоялся вечер Есенина и Бардина в клубе совработников.

Сначала Сергей читал свою лирику, однако внимали ему на сей раз не московские его приверженцы, а молодые функционеры, уже напичканные партийными указаниями о «несозвучности Есенина эпохе», о «растлевающем влиянии», о «богеме». Один из них, некто М. Юрин, начинающий поэт, оставил воспоминания, опубликованные в 1931 году.

«Я узнал, что в Тифлис приехал Бардин, который, как известно, был нашим литературным вождем. Вся наша ВАППовская молодежь очень любила его...» К стихам Есенина люди такого типа относились иначе. «Находили многие стихи Есенина слишком слабыми... Подумаешь, Есенин... Старый поэт, барчонок, кулак, читал царице свои стихи... Вот мы – это да... Пролетарии от станка».

Естественно, такая аудитория встретила «богемную лирику» поэта неприязненно. Тогда Вержбицкий шепнул ему: «Прочти из „Гуляй-поля“». И Есенин, тихо бросив в зал: «Я вам еще прочту», – начал:

Россия —
Страшный, чудный звон.

Местная публика еще не знала этих стихов, и лишь когда Есенин дошел до слов: «И вот он умер... Плач досаден» – всем стало ясно, что речь идет об умершем несколько месяцев назад Ленине.

Жажущие социальных переживаний и политических оценок получили их, и зал утонул в аплодисментах.

Сердца молодых жестоковейных партийцев были завоеваны Есениным, и после этого он мог читать все что угодно, даже самое «упадническое» – все принималось на «ура».

На другой день, когда поэт отлеживался, приходя в себя от вчерашнего успеха, который они с Вержбицким хорошенько отметили, в дверь гостиничного номера постучал посланец Бардина, уже знакомый нам М. Юрин – один из тех, кто осуждал Есенина за «Москву кабацкую» и за «упадничество». Он вошел в номер и увидел Есенина сидящим на кровати. На полу перед ним на номере «Комсомолии» со стихами Безыменского стояло несколько бутылок красного вина и стаканы. Вино разлилось на стихи Безыменского, стихи которого так любил молодой Юрин. Начинающий поэт упрекнул Есенина за пьянство.

– Скучно, вот и пью, – оборвал его Есенин, – ты лучше мне стихи свои почитай.

Юрин собрался с духом и начал:

Мой век – не тот, к чему таить —
Покрой есенинский мне узок.

После «антиесенинского» стихотворения оба помолчали.

– Ну мой покрой тебе узок, а чей же покрой тебе по душе?

– Ну вот поэты «Комсомолии» – Безыменский, Алтаузен, Светлов, Уткин...

Есенин насупился:

– Ты русский?

– Да, русский.

– Любишь русских?

Юрин пожал плечами:

– Русского рабочего люблю.

Есенина, очевидно, удовлетворил его ответ, и он, обернувшись к кровати и показывая пальцем на «Комсомолию», хриплым голосом проговорил:

– А чего же вы в «Комсомолию» насажали одних жидов?

* * *

Вместе с Николаем Вержбицким, к которому Есенин переехал на окраину города,

сбежав от гостиничных цен и ежедневного потока гостей, он в эти дни посетил колонию для беспризорных, поговорил с ними, рассказал о том, как якобы сам был беспризорником, голодал, холодал, но потом нашел в себе силы, выучился грамоте, теперь стихи пишет и неплохо на них зарабатывает. Потом он вытащил пачку дорогих папирос и стал угощать подростков, но не всех подряд, а по какому-то своему выбору.

– А ты какие стихи пишешь? – спросил один из мальчишек. – Про любовь?

– Да, и про любовь, – скромно ответил Есенин, – и про геройские дела... разные!

Беспризорники в благодарность Есенину спели на прощание свою любимую песню «Позабыт, позаброшен...».

...Через три дня в «Заре Востока» появилось есенинское стихотворение «Русь бесприютная».

А вскоре Есенин попал в объятия «голуборожцев» («Голубые роги» – так называлось тамошнее литературное объединение) – Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе. Встречи их проходили в традиционном для грузинской поэтической богемы стиле: чтение стихов друг другу, восторги, взаимные искренние комплименты, вечерние застолья, переходящие в утреннее похмелье, грузинские бани, потасовки, кончающиеся дружескими объятиями.

За столом, уставленным вином, изысканными грузинскими кушаньями, в полумраке, который разрывал свет одинокой лампы, Георгий Леонидзе высокопарно декламировал звенящим от избытка чувств голосом:

В винограднике я, как лоза, что с землей сращена,
Я раздался, как тучные чресла Иори во время
дождя или бури.
В наших квеври бушуют черпалки, вмещающие
тридцать ведер вина,
И стоит над землей насыщающий дух чакапули.

.....

Девять литров топленого масла изливается
в каждый мой стих,
Сладким ядом из гроздьев мои откровенья облиты.
Два пурпура меня ослепляют – два кумира моих:
Оборванец Рембо и с орлом на плече Багратида.

Тициан читал Сергею стихи Важа Пшавела, переводил их тут же на русский язык, и Есенин восторгался, что Пшавела понимает душу зверя, шум травы, шелест дерева столь же глубоко и пристрастно, как и он сам.

Под тосты за великих поэтов, за Пушкина и Пшавела, за великую Россию и не менее великую Грузию друзья кутили всю ночь напролет на тифлисской окраине Орточала, а на рассвете поехали в хашную – угостить Есенина хаши. Заветное блюдо запаздывало, и нетерпеливый Паоло, демонстрируя Сергею грузинский темперамент, в театральном отчаянии бросил в котел с кипящим хаши свою кепку, что очень понравилось Есенину, который и сам был способен на подобные «номера».

Через несколько дней русский поэт доказал «голуборожцам», что актерским даром владеют не одни они. Во Дворце писателей, куда они пришли после очередного кутежа, три товарища решили подремать на пыльных казенных креслах и коврах. Есенин к утру разбудил Тициана и Паоло громкими рыданиями якобы во сне. Когда его растормошили и спросили, почему он плачет, не приснился ли ему какой дурной сон, Есенин, размазывая слезы по щекам, захлюпал:

– Да, действительно страшный сон видел! У меня две сестры – Катя и Шура. Один я о них забочусь. Помогаю, как могу. Привез я их в Москву. Сейчас они там, а кто знает, каково им без меня, ихнего кормильца! И ночью мне приснилось: им трудно, ждут моей помощи, протягивают ко мне руки!

На его голубых глазах снова выступили алмазные слезы.

– Сегодня же достанем тебе денег! – воскликнул Паоло, и вскоре все трое, подкрепившись по дороге «Мукузани», двинулись на приступ «Зари Востока». Сергей, храня скорбное лицо, молчал в кабинетах Лифшица и Вирапяна, все переговоры гневно и напористо провел Паоло. С Есениным тут же заключили договор на издание книги его новых стихов и сразу же дали аванс. Однако хитрый Паоло разгадал есенинскую «драматургию» и к вечеру отыгрался сполна.

– Знаешь, Сережа, – сказал он за обедом у Тициана Табидзе. – Я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тифлис Айседора Дункан. Я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она скоро придет.

Есенин побледнел, с минуту он стоял, как громом пораженный, потом схватил свой чемоданчик и бросился к выходу. Его едва-едва вернули уже с улицы. Паоло клялся отцом, матерью, детьми, всеми родными, что он пошутил. Сергей вернулся, но каждый раз, когда в столовую открывалась дверь, он вздрагивал и приподнимался со стула...

А Дункан вскоре действительно появилась в Тифлисе, но Есенин к тому времени уже умчался в Баку.

* * *

20 сентября Есенин вернулся в Баку. Блюмкина там уже не было, и поэт со спокойной душой послал Чагину записку: «Остановился в отеле „Новая Европа“».

Через час Сергей был уже у Петра Ивановича, который всплеснул руками: «Ведь сегодня день памяти 26 бакинских комиссаров!» Если бы Есенину приехать на два дня раньше и написать стихи для юбилейного номера! Договорились, что Сергей сегодня запрется в редакторском кабинете, а Чагин снабдит его всеми материалами о бакинских комиссарах – к утру поглядим, что получится.

«Под утро приезжаю в редакцию и вижу: стихи „Баллада о двадцати шести“ на столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит полусонный на диване, шепча еще неостывшие строки:

Пой, поэт, песню,
Пой,
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокошет
Песнь.
26 их было,
26.

В ближайшем номере, 22 сентября, «Баллада о двадцати шести» была напечатана в «Бакинском рабочем»» (П. Чагин).

В этой истории интересно все. Интересно, что Есенин скорее всего разыграл Чагина и поэма у него уже была написана. А тут – посидел ночку, и готова «жемчужина советской поэзии». Завтра он ее читает перед народом, а Чагин расскажет Кирову, как, и где, и за какое время написана баллада. Киров ахнет... Тут тебе и покровительство, и Персия, и что хочешь.

А если правда – если действительно за одну ночь написал? Еще более интересно!

Это не экспромт какой-нибудь Любове Столице, не акrostих Рюрику Ивневу, тут не то что Киров с Чагиным ахнут, тут в пору хлопнуть себя по лбу и, вспомнив Пушкина,

закончившего «Бориса Годунова», вскричать утром в кабинете Чагина: «Ай да Есенин! Ай да сукин сын!»

Конечно, кое-что от торопливости написано:

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетарьят.

По-маяковски позволил себе словами отделаться, ну, хоть какой-то прок от этого футуриста... А что? Тому можно нести что попало, а Есенин каждое слово должен с кровью выхаркивать? Вон в сегодняшней «Заре Востока», от 20 сентября, утром на вокзале купил, как по заказу этот горлопан косноязычит, и что самое обидное – тоже о двадцати шести:

Сила
миллионов
восстанием била —
но тех,
кто умел весть,
борьбой закаленных,
этих было —
26.

Нет, далеко этому циклопу до него, Есенина. Кричит:

Никогда,
никогда
ваша кровь не остынет,
26 —
Джапаридзе и Шаумян.

Ни образа, ни краски, ни звука, хуже любого Асеева, любого Мариенгофа, одна наглость футуристическая! А у меня – у меня совсем по-другому – у меня читаешь, и все в глазах встает:

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.

Есенин щелкнул пальцем и тут же вприсядку пробежался по кабинету Чагина. Вот как писать надо!

«Постой, стой! – улыбка сбежала с его лица, – где-то я уже об этом писал, да нет, не писал, а картину эту я уже где-то видел». Он на секунду задумался, хлопнул себя по лбу – и, обращаясь к портрету Кирова, висевшему над столом Чагина, лебедью выворачивая руку, начал наизусть декламировать:

– «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх... Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего... Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец... Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца...» Гоголь! – в восторге закричал Есенин. – Гоголь! «Страшная месть», кладбище великих грешников! Память, память моя проклятая! Наизусть когда-то выучил!

Ключ в двери повернулся, и в кабинет вошел Чагин в чесучовом костюме и белых парусиновых туфлях.

– Что, Сережа, кричишь?

– Да вот, радуюсь, балладу закончил. А тут стихок Маяковского на глаза попался в «Заре Востока», тоже о 26, но наша баллада покрепче будет. Бездарь он все-таки, Петр Иванович!

«Баллада о двадцати шести» стала очень популярной, особенно в Азербайджане. Ее декламировали эстрадные чтецы, цитировали партийные пропагандисты, но Есенин знал ей цену, да и к самим героям относился несколько иначе, нежели в юбилейной поэме. Так, через несколько месяцев в письме к Бениславской он напишет, издеваясь над нравами восточно-коммунистического интернационала: «Товарищи! Перед моей глазами стоит как живой Шаумян. Он четыре тыщ людям говорил: „Плюю на Вам“. (Это из речи одного наркоматюрка.)».

* * *

В конце сентября стихи Есенина в течение целой недели каждый день печатались в «Бакинском рабочем». Поэт постоянно заходил в газету, спорил по поводу гонораров, доказывал, что его стихи очень хорошие, что теперь так никто не пишет, «а Пушкин умер давно, за „Моссельпром“ монету гонят, неужели мне по рублю за строчку не дадите?»

Да не от жадности торговался он, от нужды. И сестрам надо было послать, и отцу с матерью – они отстраивали сгоревший дом, и хозяин «Новой Европы» бесцеремонно напоминает ему, что за гостиницу поэт должен рассчитаться за несколько дней вперед. Есенин стыдил прижимистого азиата:

– А ты знаешь, милый человек, кто я, кого ты у себя принимаешь? Другой бы за честь считал... Потом бы рассказывал: «Вот в этом номере у меня поэт Есенин стоял». А ты о деньгах беспокоишься.

Хозяин смущенно откланивался, бормоча:

– Якши, якши... Я знаю. Я своих постояльцев уважаю, – и спешил удалиться.

А Сергея уже ждал на улице Васька – шустрый прожженный бакинский беспризорник лет шестнадцати. О поэзии он не имел никакого понятия, но Есенину был предан до чрезвычайности. Познакомились они в бильярдной. Выпивший Есенин пришел поразвлечься в бильярд, и Васька, выиграв у него несколько партий, увидел, что партнер из Сергея никуда не годный, но человек он добрый. Васька вывел поэта на улицу, посадил на извозчика и отвез домой.

С тех пор он состоял при Есенине ординарцем и нянькой и при этом полностью перешел на попечение поэта. Пьяного Есенина Васька отвозил домой, раздевал, укладывал в постель, заботился о ванне, о белье, знал, когда и где Сергею нужно было выступать, и по

мере сил удерживал его от пьянства. Поэт тоже привязался к Ваське, даже в Тифлис его брал, и незадолго до смерти интересовался Васькиной судьбой.

Образ жизни Есенин вел, как всегда, безалаберный. Днем гулял, заходил в редакцию, хлопотал о визе в Персию, вечером оседал с компанией приятелей в каком-нибудь частном кабаке. И совершенно непонятно было, когда же он писал.

А писалось ему легко, даже еще легче, нежели раньше. Осенью 1924 года он нащупал какую-то лирическую повествовательную интонацию, которая позволяла ткать своеобразное биографическое полотно, внешне простоватое и в то же время очень искреннее и смелое (именно в смысле своей простоты).

Я из Москвы надолго убежал.
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Что верно, то верно. С двадцать третьего по двадцать четвертый год на Есенина было заведено несколько уголовных дел. Но ни одно из них не дошло до суда: Есенин пропал, исчезал, растворялся. От одного из дел убежал в Ленинград, потом в Тверь, опять в Ленинград, опять в Москву и, наконец, сбежал на Кавказ, где вскоре почувствовал необыкновенный прилив вдохновения и с радостью увидел, что в его последних стихах появляется какой-то новый, естественный и широкий взгляд на окружающий мир.

Поэт, опять как бы в пику Маяковскому, писавшему громогласные эпические здравицы эпохе социалистического строительства, противопоставил вольное, подкупающее простотой и естественностью подробное изложение своей жизни, некий лирический репортаж, действующий на сердца читателей гораздо сильнее, нежели рассказы Владим Владимыча о вселении литейщика Ивана Козырева в квартиру или о том, как в Курске были добыты первые тонны железной руды. Конечно, Есенин понимал, что эта манера – единственное, на что он сейчас может сделать ставку, понимал и то, что до таких стихов, как «Не жалею, не зову, не плачу...» или «Разбуди меня завтра рано...», этим лирическим репортажам, ох, как далеко! Но не до жиру, быть бы живу... Да и простота этих стихотворений была им тщательно продумана и взвешена, они должны быть написаны в форме писем кому-либо: матери, деду, женщине, поэтам Грузии; это – как бы переписка, требующая ответа.

Вслушиваясь в звучание последних своих стихотворений, Есенин радовался новым счастливым возможностям, открывавшимся в них. Какой простор для размышлений и лирических отступлений! Заодно в любом из таких писем счета можно свести с Бедным Демьяном, и с Клюевым, и с Маяковским – пиши, пока вдохновение не кончится. И отчего он раньше вбил себе в голову, что идеальный размер для лирического стихотворения 20–25 строк? Это все Клюев его муштровал, и Блока он слушал больше, чем нужно. Давно уже пора своим умом жить.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

А как же иначе изображать все, что видишь, все строительство, все, что ждут от тебя

Киров, Сталин, Фрунзе? Только так – смотрю, говорю, рифмую, только без лишнего напряжения, только по-восточному, по-акынски... Вижу нефтяные вышки – пою нефтяные вышки... лишь бы интонацию свою сохранить, душевную...

А слова? Слова могут быть и новые:

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Это вспомнилось, как они с Колей Вержбицким смотрели в Тифлисе парад физкультурников. Коля тогда сказал ему: побежать бы, мол, за ними!

В стихотворных письмах, которые каждый читатель получает от него как бы лично, – все сгодится, все в дело пойдет. Какое счастье, что он нащупал-таки эту манеру письма! Впервые, кажется, он обрел ее в «Возвращении на родину» и в «Руси советской». Ну да, «язык сограждан стал мне как чужой», и «некому мне шляпой поклониться». «Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен»... Вот отчего он на Кавказ и сбежал. Да и здесь тошно. Скучно. Одна радость – пишется легко. «Стансы» за два дня написал, которые Чагин не хочет печатать из-за Демьяна – «Я вам не кенар. Я – поэт. И не чета каким-то там Демьянам...» А «Письмо к женщине», от которого Бениславская чуть с ума не сошла, – он ведь за один присест! И нечего, Галина Артуровна, придирается и говорить необдуманно, что он «перестал отделявать стихи». Вовсе нет! Наоборот, он сейчас к форме стал еще более требователен. Только пришел к простоте и спокойно цитирует Пушкина: «К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы». Прошло время, когда издевался над глагольными рифмами...

Опять Александр Сергеевич вспомнился! То Пушкин, то Гоголь. И смех, и грех, так он с ними заигрался, что и судьба с ним, с Есениным, начинает играть. Гоголь вон уж вынырнул в «Балладе о двадцати шести». А этот «блондинистый, почти белесый» всегда неожиданно, как чертик из табакерки, выскакивает... Облачился ты когда-то в крылатку и цилиндр, поносил и, думаешь, все? Можно жить дальше по-своему? Хрена с два, Александр Сергеевич все где-то рядом маячит. Недавно сотрудники «Бакинского рабочего» решили покатасть его по морю, подвели к пирсу, стали усаживать на парусник, а он, Есенин, глянул, как парусник называется, и аж сердце упало. «Ай да Пушкин, ай да молодец» – прочитал он на борту судна... Мистика! Вот так-то. Пошутковал с судьбой, а теперь она с тобой шуткует...

Когда Пушкин и Гоголь в жизнь вмешиваются – это дело тревожное, таинственное, это свыше, а когда свои в душу лезут – надо в морду бить. Ведь убежал из Москвы от всех Мариенгофов, Крученых, Орешиных, а тут в Баку настиг его совсем уж безобразный тип – Владимир Гольцшмидт, цирковой борец, балующийся стихами, «футурист жизни», который, выходя на сцену, ломал о свою голову толстые доски и гнул железные брусья. Есенин помнил его еще как директора «Кафе поэтов». Недавно этот тип чуть не сорвал ему вечер в университете, где Сергей решил отметить свой день рождения.

Утром студенты, пригласившие его в университет, с ужасом увидели в городе печатные афиши, извещавшие, что в тот же день и в те же часы Есенин выступит в театре вместе с Гольцшмидтом.

Потрясенные таким обманом, студенты бросились в гостиницу, где жил Есенин. Он только что проснулся и умывался, склонившись над мраморным умывальником. С удивлением уставился на них.

– Вы же обещали! Мы уже и плакаты развесили!..

Уразумев из сбивчивых слов, в чем дело, Есенин рассвирепел. Оказалось, Гольцшмидт приставал к нему, но Сергей наотрез отказался с ним выступать. И вот циркач поставил его

перед свершившимся фактом, как видно, сговорился с администрацией театра и заказал афиши.

Тут отворилась дверь и на пороге появился сам Гольцшмидт. Есенин сразу же накинулся на него с упреками. Тот слушал, иронически щурясь.

Это окончательно вывело Есенина из себя. Он схватил пустую бутылку и швырнул ее об пол прямо у ног Гольцшмидта. Бутылка разбилась вдребезги. Гольцшмидт повернулся, вышел и прикрыл за собой дверь с такой силой, что вырвал ручку. Вторая медная половинка ее вывалилась внутрь комнаты на пол.

Наступила тишина. Все сидели на диване ошеломленные. Есенин поглядел на студентов. В его светлых глазах сверкнуло веселье:

– Вам обещал, у вас и буду выступать!

И действительно поехал к ним.

А в театре был скандал. Публике возвращали деньги за билеты. Гольцшмидт из города предусмотрительно скрылся.

В октябре Есенин снова уехал в Тифлис, попрощавшись с Брюсовым стихотворением, посвященным его памяти и опубликованным в «Заре Востока». Продолжая цикл своих писем-посланий, написал «Письмо к женщине», а в течение следующих двух месяцев несколько обычных писем, которые открывают нам какую-то настойчивую, постоянную работу души и ума поэта, работу, совершенно не сочетающуюся с его внешней легкомысленной и беспутной жизнью, полной встреч, пьяных скандалов, позерских выходов.

В письмах того времени одновременно с глубокими и точными оценками и самооценками Есенин показывает незаурядную способность следить за своими издательскими делами, торговаться за каждую строку, держать в уме, где, что и когда ему надо напечатать, распоряжается гонорарами, дает указания своим добровольным «секретарям» – Бениславской, Эрлиху, сестре Кате, – как надо вести его издательские и денежные дела.

Он расчетливо ведет литературную борьбу, отстаивая и защищая свои журналы, своих редакторов, свою линию «крестьянской купницы» в литературной жизни. Это – письма работающего, делового человека с хорошей житейской хваткой.

За материальную независимость – свою и своих близких – он борется жестко, настойчиво, лишний раз опровергая легенду о себе, как о праздном гуляке, не выходящем из запоев, субъекте «не от мира сего».

«Мне кажется, я приеду не очень скоро. Не скоро потому, что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело» – Г. Бениславской из Тифлиса 20 октября 1924 года.

Он помнит обо всем. Держит в уме все дела, и большие и малые. Стараясь не продавать вдохновения, он умело продает рукописи: «Скажите Бардину, может ли он купить у меня поэму 1000 строк. Лиро-эпическая. Очень хорошая» (ей же. 20 января 1925 года. Батум).

Из письма сестре Кате 17 сентября 1924 года. Тифлис:

«Скажи Сахарову, чтоб он в октябре дал мое зимнее пальто починить Ивану Ивановичу.

Как дома и сколько нужно денег еще для постройки? Посылаю тебе для них еще 10 червонцев».

Г. Бениславской. 17 октября 1924 года. Тифлис:

«Доверенность прилагаю. Высылаю стихи. „Песнь о великом походе“ исправлена. Дайте Анне Абрамовне и перешлите Эрлиху для Госиздата. Там пусть издадут „36“ и ее вместе».

Г. Бениславской. 29 октября 1924 года. Тифлис:

«Издайте „Рябиновый костер“ так, как там расставлено. „Русь советскую“ в конце исправьте. Вычеркните слово „даже“, просто сделайте „но и тогда...“»

Г. Бениславской. 17 декабря 1924 года. Батум: «...Соберите, ради бога, из Питера все мои вещи в одно место. Ведь я неожиданно могу нагряться, а у меня шуба в Питере».

Но все-таки наступил тот день, когда Есенин почувствовал, что, убежав из Баку, он должен бежать и из Тифлиса, куда-нибудь в тихое место. «Гости, гости, гости, хоть бы кто меня спас от них. Главное, мешают работать».

А работать хотелось. Хотелось дописать «Персидские мотивы», в душе и воображении уже шевелились интонации, строчки и образы будущей поэмы... Времени и вдохновения терять было нельзя.

Шестого декабря, заключив с издательством «Советский Кавказ» договор на выпуск книги «Страна советская», Есенин уехал с Николаем Вержбицким в Батум, а через несколько дней газета «Трудовой Батум» напечатала первые два стихотворения «Персидских мотивов» – «Улеглась моя былая рана...» и «Я спросил сегодня у менялы...».

Конечно, резко сменить образ жизни Есенину не удалось, слишком не любил он одиночество, чтобы закрыться от всех и работать. Уже через неделю после приезда в Батум угораздило его ввязаться в представление академического театра, где проходил «суд над футуристами» – каким-то поэтом из Москвы Давидом Виленским и артисткой мейерхольдовского театра. Все проходило, как «в лучших домах» Питера, со свидетелями обвинения, с судьей Львом Повицким, давним знакомым Есенина... Свидетелем обвинения был чекист Л. Могилевский, редактор «Красного пограничника», заодно пописывавший стишки.

Целый день Есенин был вне себя от злости: согласился участвовать в пошлом фарсе... опять Могилевские, Виленские, Берковские, ну, Лёва Повицкий, хоть и еврей, но друг хороший...

К вечеру поэт настолько напился, что пришел в театр, шатаясь, поднялся на сцену, вытащил из-за пазухи щенка, которого подобрал на улице. Щенок со страха твякнул на футуристов, и Есенин молча ушел за кулисы. Под аплодисменты...

И все-таки после переезда из гостиницы «Ной» в дом к Лёве Повицкому Сергей почувствовал себя хозяином своего времени. Гостей стало меньше, а партийной опеки, вроде чагинской в Баку или вардинской в Тифлисе, не было вообще.

Никаких социальных заказов, никаких нефтепромыслов, просьб написать стихи о Ленине или о двадцати шести комиссарах, никаких споров в редакциях – можно задевать Демьяна Бедного или нельзя... Душа свободна, ум ясен, перо просится к бумаге... «Куда ж нам плыть?» То ли в Персию, то ли в Константиново 1917 года...

«Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе».

«Работается и пишется мне дьявольски хорошо. До весны я могу и не приехать... На столе у меня лежит черновик новой хорошей поэмы „Цветы“. Это, пожалуй, лучше всего, что я написал».

«Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра... Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия».

В последние два месяца 1924 года и в январе 1925-го им написаны, кроме нескольких «персидских» стихотворений, «Письмо от матери», «Ответ», «Льву Повицкому», «Русь уходящая», «Письмо деду», «Батум», «Метель», «Весна», «Мой путь».

Стихи-послания писались легко, как бы перетекая одно в другое, словно поэт в который раз по кругу прогонял свои мысли и чувства, пытаясь уяснить смысл всего, что с ним произошло.

В каждом из посланий он выносит себе приговор, как человеку ушедшего времени, как неудачнику, выброшенному из жизни новой жестокой эпохой.

И я, я сам
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.

.....

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою...

Но тут же все его существо восстает против подобного самоуничтожения, он пытается преодолеть отчаяние, но находит для этого лишь несколько красивых декоративных фраз.

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

В «Письме к женщине» отчаяние опять овладевает им:

С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий.

И опять поэт пытается вырваться из заколдовавшей его тоски и нащупать «зацепку за жизнь»:

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Но неуверенно, совсем неуверенно звучат эти слова...
А в диалоге с матерью он погружается в «жуть» и жалуется, как ребенок:

Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И – что тебя хоронят.

И опять, в который раз, он собирает остатки душевных сил, чтобы вырваться из «жути», чтобы снова ухватиться за материнское чувство, за дружбу, за революцию, за что угодно, лишь бы отойти от роковой черты.

А качели раскачиваются все шире и шире.

А если я помру?
Ты слышишь, дедушка?
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать

На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя»?

«Письмо от матери», «Ответ», «Письмо деду», «Метель» – самые пессимистические, самые безнадежные страницы поэзии Есенина.

В них он впадает в один из самых тяжких грехов – в грех уныния. Все его прежние стихи о смерти – «В том краю, где желтая крапива...», «Устал я жить в родном краю...», «Волчья гибель» и даже поэма «Пугачев» были исполнены трагического чувства, в них бушевала стихия очищения. Энергия переживания, заключенная в них, была столь велика, что в ней не было места никакому безволию, никаким расхожим пессимистическим нотам.

А в посланиях-исповедях осени – зимы 1924 года – Есенин неузнаваем; он как бы сдался на волю судьбы, в них нет никакого вызова ей, никакого «хулиганства», никакой безрассудной веры в свою победу над роком, веры, подобной той, которой он жил, когда писал:

Только, знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.

Не с кем ему здесь сойтись в последнем поединке, даже Черный человек не приходит, а вместо него какие-то вялые мысли и чувства, рожденные обессилевшей душой:

Себе, любимому,
Чужой я человек...

.....

И первого
Меня повесить нужно...

.....

А мать – как ведьма
С киевской горы.

.....

Себя усопшего
В гробу я вижу...

И даже клен, который несколько лет тому назад, как юный золотоголовый витязь, стоявший на одной ноге, «стерег голубую Русь», сейчас кажется ему облезлым, хрипло гнусавящим.

Словом, и мать не мать, и клен не клен, а «просто столб позорный», на котором нужно повесить первым его, поэта.

За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.

А в отместку ему сегодняшней ночью мешают спать петухи, и луну не видно, словно ее

«собаки съели», и кот, свесившись головой с лежанки, похож на черную сову в жилище ведьмы...

Одна небольшая радость была для него в этих посланиях. Кто еще до него писал письма в стихах? Ну конечно же Пушкин своим друзьям – Дельвигу, Катенину, Языкову. А те отвечали ему в том же духе. Потом традиция оборвалась.

Ни у Некрасова, ни у Фета, ни у Блока ничего подобного нет. Они были, каждый по-своему, слишком серьезны, чтобы создавать вещи в таком легкомысленном эпистолярном жанре... А он его возродил! Да еще и подчеркнул в стихах свои заслуги: все объяснять надо – иначе не поймут:

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Правда, тут же спохватился его соперник Маяковский – настроил послание Пушкину «Юбилейное» – и еще, конечно, целую кучу посланий сочинит, глядишь, и ему, Есенину, какую-нибудь эпитафию выдаст... Посмертную... Небось Брик подсказал насчет жанра. У самого-то голова не варит. Бревно бревном... И еще обзывается: «балалаечник», «мужиковствующий», «шумит, как Есенин в участке». А кто в участок-то да в ЧК тащит? Друзья Маяковского аграновы, а Ося Брик их обслуживает...

Необычное стихотворение написано в том декабре. «Батум» был найден в бумагах Есенина и опубликован лишь спустя 20 лет после смерти поэта. Здесь чувство одиночества и собственной потерянности достигает своего пика. «Далеко я, далеко заброшен, даже ближе кажется луна...» Он провожает глазами отплывающие «в очарованную даль» корабли, и мелькают в строчках имена каких-то француженок или американок... «Может быть, из Гавра или Марселя приплывет Луиза или Жаннет, о которых помню я доселе, но которых вовсе – нет. Запах моря в привкус дымно-горький. Может быть, мисс Митчел или Клод обо мне вспомнят в Нью-Йорке, прочитав сей вещи перевод...» И с чего это он вспомнил о них? Может быть, созерцая огни пароходов, слыша выстрелы пограничников, вышедших на охоту за контрабандистами, подумал о таком же одиноком офицере, заброшенном на Кавказ «с подорожной по казенной надобности», отлюбившем и отстранствовавшем? Или потянули его к себе дальние страны, из которых он некогда бежал, не оглядываясь, в любимую Русь, потянули с такой притягательностью, что подумал он о трюме какого-нибудь парохода, где можно тихо плыть «в очарованную даль», ни о чем не думая и ни о ком не заботясь? Кто знает?

Все мы ищем
В этом мире буром
Нас зовущие
Незримые следы.
Не с того ль,
Как лампы с абажуром,
Светятся медузы из воды?

В последнем, заключительном стихотворении «Весна» этого беспредельно пессимистического цикла Есенин точно пытается перевести в шутку все мрачные картины, до того одолевавшие его, говорит, что «припадок кончен, грусть в опале», но впечатление

отчаяния, впервые так накотившего на него, остается столь сильным, что отшутиться ему размышлениями о весне, взбодрившей душу, и о понятности «Капитала» не удастся. Отчаяние как бы уже окончательно выпало в нерастворимый осадок. Преодолеть его можно было только каким-то еще неведомым для него душевным подвигом, к которому он исподволь готовился, засева в холодной батумской гостинице.

Подвиг этот будет называться поэмой «Анна Снегина».

* * *

Есенин не случайно поэму о 1917 годе, о революции в деревне, о своем дезертирстве – словом, поэму о времени – назвал нежным женским именем.

Воспоминание о безответной, но счастливой любви стало для него «роковой зацепкой за жизнь» на переломе 1924–1925 годов, когда его, казалось, оставили все душевные силы.

Давно замечено, что чистое счастье любви поэт испытывал, когда эта любовь была взаимной, но как бы не состоявшейся; когда она словно останавливалась на высшей точке слиянности двух тянущихся друг к другу душ; когда любовь оставалась невоплощенной в ее грубые земные формы. Именно такая любовь рождала самые, может быть, светлые страницы есенинской лирики, именно жажда такой бестелесной, нематериальной, не плотской любви, вечно длящейся, не оставляла его на протяжении всей жизни... Основная загадка есенинской любовной лирики, может быть, и кроется в том, что при всей своей разгульной жизни, при всем «хулиганстве», при всем том, что «много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал» – поэт не отдал темным страстям свою юношескую мечту об идеальном женском образе, созданном в самых целомудренных глубинах души. Дойти до черты – но не преступить ее, ибо... «если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь».

В 1916 году молодой поэт написал маленькую поэму «Мечта» и дал ей многозначительный подзаголовок – «Из книги „Стихи о любви“».

В поэме он изобразил идеальный образ женщины, которая притягивает его к себе не телесной статью, не чувственностью, а именно душевной красотой и какой-то неотмирной духовностью...

Но всегда хранил в себе я строго
Нежный сгиб твоих туманных рук.

Тихий отрок, чувствующий кротко,
Голубей целующий в уста, —
Тонкий стан с медлительной походкой
Я любил в тебе, моя мечта.

Он влюблен в этот образ, как пушкинский рыцарь в Святую Деву; она для него почти то же, что и Прекрасная Дама для Александра Блока.

Ты шепнула, заслонясь рукою:
«Посмотри же, как я молода.
Это жизнь тебя пугала мною,
Я же вся как воздух и вода».

Для Есенина это образ Жизни, в которой есть место светлым чувствам – и нет места темным страстям. И когда он пишет – «была ты песня и мечта» или

Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала, —

то понимаешь, что самые светлые воспоминания жили в душе поэта о тех женщинах, которых он любил, но которые ласково говорили ему «нет!» («И девушка в белой накидке сказала мне ласково: „Нет!“»). Именно такой образ, сблизившийся с ним и удалившийся от него, оставался для поэта не женщиной-любовницей, не женщиной-женой, а женщиной-«мечтой», женщиной-«песней».

Такое понимание любви, никогда не покидавшее Есенина, свидетельствовало о том, что свет, заложенный ему в душу Творцом при рождении, не могла погасить никакая житейская мреть.

Спасая этот внутренний свет, Есенин как бы выработал свою личную философию понимания человека. В этой философии человек – неизбежное вместилище тьмы и света, божественного и дьявольского, плотского и духовного... Время от времени отвращение к плотскому у поэта становилось почти манией, почти болезненным чувством. Все плотское, «низшее» для него как бы гнездило в человеческом сердце, а все высокое, светлое, светящееся он воплощал в человеческом лице, окаймленном золотистым светом, носящим приметы образа Божия. Потому-то Есенин и влюблен в свою голову. Для нее он находит самые лучшие слова: «Голова ты моя золотая», «куст волос золотистый вянет», «голова моей парус». С чем только он не сравнивает драгоценную голову: с «яблоком», с «золотой розой», с «древесной кроной». А сердце? «Глупое сердце, не бейся», «Озлобленное сердце», «Слушай, поганое сердце, сердце собачье мое. Я на тебя, как на вора, спрятал в рукав лезвие...»

С сердечными страстями, неотделимыми от позывов плоти, связано у Есенина все темное, мохнатое, животное в человеке, что тянет его к гибели, пронизывает разрушительными токами. Он прямо-таки жаждал докопаться до природных истоков зла человеческой природы; он и боролся с этой гибельностью, носимой в себе, и в то же время любил ее, как «роковую зацепку за жизнь», как все живое, звериное, кровное, природное. Недаром же в «Песни о хлебе» он обнаруживает истоки зла в том, что человек, питающийся плотью зверей и растений, совершая насилие над природой, неизбежно вбирает в себя дух этого насилия и рано или поздно выплескивает его в мир:

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Питаясь плотью, человек неизбежно кладет в «жбан желудка» «яйца злобы», из которых потом вылупливаются темные разрушительные силы...

С ужасом, как будто он существо с другой планеты, отшатывается поэт от земной, плотской «правды», завязанной на продолжении рода:

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Видимо, он действительно, по словам отца, «не такой был, как все», был «Бог знает кем», если обычное для деревенского мальчишки зрелище собачьих свадеб, обычная картина животного соития или того, как петух топчет курицу, произвели на заре жизни поистине потрясающее впечатление на его особую душу. Деревенская жизнь вообще в этом смысле гораздо более естественна: мир сук и кобелей, коров и быков, жеребцов и кобыл. Она далека от книжного целомудрия. Да если взять и мир людей, окружавших Есенина, то можно вспомнить строчки из автобиографии о том, что дед всегда крутил какие-то «невенчаные

свадьбы», и картины юношеских есенинских вещей – «Яра» или рассказа «У белой воды» – насыщены всякого рода натуралистическими животными подробностями деревенского бытия.

Однако то, что обычно и естественно для других, для него было «горькой правдой земли», ее страшной и неприглядной тайной. Не раз перед его глазами вставала она в разном обличье. То он видит, как длинноволосый урод читал стихи курсистке, «половой истекая истомою», то вспоминает, что «дворовый молчальник бык весь свой мозг на телок пролил». Его отвращение к плотской стороне жизни порой достигает такой степени, что он кажется существом, заброшенным к нам из другого мира, ангелом, вынужденным жить по грешной и горькой «правде земли», мучающимся от земной греховности.

Словно понимая, что он не в силах одухотворить, высветлить, принять грешные, темные стороны земного бытия, поэт переводит их в «бесстрастные» образы изначально безгрешной растительной жизни, окружающей его:

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!..
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

И уж если грешная земная жизнь все-таки берет его в свой темный плен, он и тут не сдается ей и находит чисто поэтический путь к спасению: уподобляет теплокровную, грешную, горячую человеческую жизнь чистому безгрешному хладнокровию растительной природы: «И утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал березку», «березки-девушки»; вплоть до монашески-аскетического – он видит у березки «груды» и радуется: «таких грудей у женщин не найдешь».

Попыток высветления грешной человеческой сущности (особенно в тех стихах, которые называются «стихами о любви») у Есенина столько, что поневоле закрадывается мысль о том, что натура поэта вообще была создана не для земного, плотского чувства. Он почти всегда с гениальной легкостью «остужает» его: «Зеленая прическа, девическая грудь. О, тонкая березка, что загляделась в пруд?..», «Золотей твоих кос по курганам молодая шумит лебеда...», «Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол...», «Я навек за туманы и росы полюбил у березки стан, и ее золотистые косы, и холщовый ее сарафан...»

Откуда взялось расхожее убеждение, что Есенин «чувственный поэт», «певец страсти нежной»? Николай Клюев хорошо знал, чем уязвить его, когда незадолго до гибели Есенина сказал другу жестокие слова о том, что есенинские стихи будут переписывать в альбомы тысячи поклонниц его любовной лирики.

Но, как был Есенин в детстве потрясен зрелищем «кобелей» и «истекающих соком сук» – так и пронес это отвращение к плотской стороне жизни до последних дней, воплотив его осенью 1925 года в «Черном человеке» («как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою...»). Зрелище собачье-человечьей свадьбы не раз омрачало его душу. Это зрелище присутствует и в известном стихотворении, обращенном к Айседоре: «Пей со мной, паршивая сука, пей со мной!», «К вашей своре собачьей пора простыть...» Опять картина собачьей свадьбы.

Сведя все эти наблюдения воедино, понимаешь чувства поэта, овладевшие им в Венеции, когда, споря с ним о Боге, Айседора, как пишет Лола Кинел, «красивая, величественная и страшная... распростерла руки и, указывая на постель, сказала с какой-то необыкновенной силой: – Вот Бог!.. Есенин сидел на стуле бледный, молчаливый,

уничтоженный. Я убежала на пляж, легла на песок и заплакала, хотя, хоть убей, я не могла бы ответить почему».

На самом же деле все трое были потрясены, потому что приняли участие в сцене поистине апокалиптического значения. В эти мгновения Есенин конечно же понял, какая непреодолимая бездна лежит между ним и Айседорой, между ней и его идеалом.

Бог – это постель?! И это сказано ему, который ходит в цилиндре «не для женщин», потому что «в глупой страсти сердце жить не в силе»! Ему, который с отчаянием однажды осознал, что до конца жизни придется «звать любовью чувственную дрожь»! Тут поневоле почувствуешь себя «бледным, молчаливым, уничтоженным»!

Все «сисястое», «измызганное» было невыносимо Есенину и приводило его в отчаяние. А потому более чудовищной лжи, нежели бухаринская, когда Есенин был объявлен певцом «сисястых баб», «сук и кобелей» и даже «некрофилии», невозможно и придумать.

«Антихрист» Бухарин, всерьез подозревавший, что его мать при зачатии сына согрешила с самим Сатаной, в данном обвинении изрек то же самое, что и Черный человек, сравнивший поэта с длинноволосым уродом, истекающим «половой истомой».

Бухарин выдвигал не просто политические обвинения. Он в союзе с Черным человеком попытался своими циничными выпадами раздавить все светлое и божественное, что было в душе поэта.

Если прочитать Есенина именно так, то становится понятным его пристрастие к голубизне и синеве. Эти цвета – не просто любимые цвета Есенина, это символ всего чистого, высокого, горного, божественного, что он ощущал в себе и в людях.

Перед испитой, «измызганной» Айседорой он преклоняет колени и просит прощения, увидев, что у нее не глаза, а «синие брызги», и, когда хочет удержать себя от падения, от погружения в омут нечистых страстей, – он судорожно вспоминает о голубом цвете:

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

Когда еще раз он затоскует о «единственной», «той, которой в мире нет», то опять же вспомнит, что она как бы создана из синевы:

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

У него нет в стихах понятия «святой Руси» – вместо него он воссоздает «синюю» или «голубую Русь», приравнивая тем самым голубизну к святости.

Осознавая крушение своих жизненных идеалов, Есенин связывает это поражение с утратой сини в глазах:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле...

А когда он хочет показать, что за человеческую душу борются две силы – черная, дьявольская, и синяя, божественная, он с гениальной смелостью двумя мазками кладет оба эти цвета на лицо человеческое:

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Почернелые лица – и в них голубые рты – вот оно, поле боя Бога и дьявола! Этот образ через десять лет снова сверкнет у него в «Черном человеке». Поэт рискнул показать наивысшую степень кощунства, на которую решается Черный человек, сознательно и цинично растоптавший свою голубую божественную ипостась... Она еще светится в его глазах, эта голубизна, но свет безнадежно осквернен, и эта скверна куда более ужасна, чем на «почернелых лицах» убийц с «голубыми ртами».

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой... (курсив наш. – Ст. и С. К.)

Вот почему, когда Есенин обдумывал «Анну Снегину» и заводил в тоскливом батумском захолустье кратковременные романы с кем попало, душу свою он, как камертон, настраивал на небесную ноту.

Свет шафранный вечернего края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

* * *

Из батумских писем Сергея Есенина Г. Бениславской, А. Берзинь, П. Чагину, Н. Вержбицкому, написанных в декабре – январе 1924–1925 годов:

«Работаю и скоро пришлю Вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал» (П. Чагину).

«Лёва запирает меня на ключ и до 3 часов никого не пускает. Страшно мешают работать» (Г. Бениславской).

«С чего это распустили слухи, что я женился? Вот курьез! Это было совсем смешно... Я сидел просто с приятелями. Когда меня спросили, что это за женщина – я ответил – моя жена. – Нравится?»

– Да, у тебя губа не дура.

Вот только и было, а на самом деле сидела просто надоедливая девчонка – мне и Повицкому, с которой мы даже не встречаемся теперь» (А. Берзинь).

«Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу... Увлечений нет. Один. Один. Хоть за мной тут бабы гоняются. Как же? Поэт ведь. Да какой еще, известный. Все это смешно и глупо» (Г. Бениславской).

«Завел новый роман, а женщину с кошкой не вижу второй месяц. Послал ее к черту. Да и вообще с женитьбой я просто дурака валял. Я в эти оглобли не коренник. Лучше так, сбоку, пристяжным. И простору больше, и хомут не трет, и кнут реже достает» (Н. Вержбицкому).

«Miss Olli отдали мы – ее кошке. С ней ей уютней. Нам она не ко двору» (Н. Вержбицкому).

А теперь немного расшифруем эти отрывки, дающие весьма противоречивое представление о том, как Есенин жил в Батуме. А. А. Лаппа-Старженецкая, знавшая поэта по жизни в этом городе, так изображает Батум, Есенина и его окружение в ту зиму:

«У самого синего Черного моря на углу улиц Бульварной и Воскресенской стоял и поныне стоит трехэтажный дом княгини Тамары Михайловны Накашидзе. В нижнем этаже этого дома разместилось представительство англо-американской фирмы „Стандарт ойл“.

В те годы в Грузию, особенно в Батум, стекалось множество беженцев из России, женщин из богатых семей, перепуганных победоносным шествием большевистской армии. Из Батума тогда можно было свободно выехать за границу. Многие выехали, но многие осели в городе. Большинство женщин, не привычных ни к какому труду, хотя и образованных, предпочли «веселиться» и вести легкую жизнь. Вот в этом-то акционерном обществе эти женщины были желанными гостями. Когда рассказывающая мне об этом Мария Михайловна Громова навестила свою знакомую Накашидзе с целью снять у нее комнату внизу, та ответила: «Что вам там нужно? Там 'бордель', конечно, негласная». Вот в этой-то бордели встречался Сергей Есенин в бытность свою в Батуме со всеми женщинами, которые его осаждали, в том числе и с Ольгой Кобцовой, и с Есауловой, Соколовской, Шагане Тертерян. А не в «обществе педагогов», как говорит Шагане, ибо в двухклассной армянской школе, где она временно работала групповодом «нулевки», не было никаких педагогов, кроме ее сестры Катры.

Помимо этой бордели, была другая, у массажистки Иоффе, где очередь стояла из матросов, прибывающих в Батум на океанских иностранных пароходах».

Упомянутую Ольгу Кобцову Есенин называл «мисс Оль» – не только от имени ее, а и от «Стандарт ойл» – места их знакомства и встреч (очевидно, так она там звалась).

Не так уж замкнуто и одиноко жил Есенин, как он пишет об этом в Москву Бениславской. Одиночество, как всегда, было внутренним, а не внешним его состоянием. Были в Батуме и попытки драки, и другие всевозможные чудачества. Однажды, гуляя по бульвару, он увидел двух женщин, сидящих на скамейке. Он направился к ним, взяв по пути у мальчика – чистильщика обуви его ящик, и опустился перед женщинами на колени.

– Разрешите, сударыни, почистить вам туфли.

Дамы узнали Есенина, сконфузились, стали отказываться, поэт элегантно настаивал на своем, пока к нему не подошел Лев Повицкий и не прибегнул к неотразимому аргументу:

– Сергей Александрович, последний футурист не позволит себе того, что Вы сейчас делаете.

Есенин вспыхнул и отказался от своей затеи.

Тот же Лев Повицкий помог развязаться с «мисс Оль», которая вместе с ее родными была, как вспоминает есенинский друг, причастна «к контрабандной торговле с Турцией, а то еще, может быть, и к худшему делу».

Повицкий поделился своими опасениями с Есениным; поэт уже стал похаживать к «мисс» и ее родителям в гости. «Мисс» догадалась, что Повицкий «уводит» от нее поэта. И однажды, когда Есенин, сидевший с девушкой за столиком ресторана, пригласил проходящего мимо Повицкого присесть, «мисс Оль» с вызовом сказала:

– Если Лев Осипович сядет, я сейчас же уйду.

Есенин криво улыбнулся, прищурил глаза и медленно проговорил:

– Мисс Оль, я вас не задерживаю. – Так закончился странный роман Есенина, роман явно «литературного» происхождения, с дочерью контрабандистов, как у того странствующего офицера, занесенного судьбой то ли в таманское, то ли в батумское захолустье.

«Батум – город небольшой, и я, – вспоминала А. Лаппа-Старженецкая, – часто встречала его на улице и всегда слышала от него одну и ту же тоскующую фразу: „В Москву хочу, все мне здесь опостытело... черного хлебушка хочу... Русского хлебушка...“ Но вот однажды встречаю его оживленным, радостным... Весело пожимает мне руку, говорит:

– Еду, еду, Анна Алексеевна, еду в Москву, стосковался... Домой, домой!»

В «Анне Снегиной» Есенин как бы подытожил все свое понимание семи революционных лет. «Как сон, как утренний туман» слетела с его глаз романтическая дымка, через которую он видел русского мужика: верующим, крепким, работающим. Годы Первой мировой и Гражданской войн, насилие власти, ответственное насилие народа, разруха и нравственный распад, при которых было дозволено грабить награбленное, проявили в деревне все худшее, темное, завистливое, что теплилось в ней всегда. Вопреки мнению многих литературоведов «Анна Снегина» – самая антикрестьянская поэма Есенина. Но о его «антикрестьянстве» надо поговорить особо.

Образ «крестьянина-христианина» Есенин создавал осознанно, находя и воплощая в нем то светлое, глубинное, что извечно присутствовало в крестьянском мире, притом что еще в юности он ясно видел внешнюю, «несказочную» оболочку этого мира. В раннем наброске, посвященном творчеству Глеба Успенского и его «безыдеальному» отношению к народу, молодой поэт отмечал: «Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще не понял своего народа, как Успенский... Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки...» Другое дело, что «горькая правда жизни» в то время отступила для Есенина на второй план, когда он, не без помощи Блока и Клюева, открыл в русском крестьянине идеальные, божественные черты.

А теперь – теперь с «идеальным» покончено. В «Руси уходящей» Есенин с ужасом писал о новых крестьянских упованиях: «С Советской властью жить нам по нутрию. Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...» Вот и весь идеал! И поэт в отчаянии хватается за голову: «Как мало надо этим брадачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе...»

23 декабря 1925 года, перед роковой поездкой в Ленинград, Есенин разговаривал с писателем Александром Тарасовым-Родионовым. Жаловался, что у него совсем нет близких людей, ругал свою сестру «Катюку» за то, что она требует, чтобы брат помогал ее мужу Василию Наседкину в его литературной карьере:

– Я прогнал ее с глаз долой и больше знать о ней не хочу. Такая же она, как и все остальные. Такая же, как и мать с отцом. Ты думаешь, они меня любят? Они меня понимают? Ценят мои стихи? О, да, все они ценят и жадно ценят, почему мне платят за строчку. Я для них неожиданная радость: дойная коровенка, которая сама себя кормит и ухода не требует и которую можно доить всюю. О, если бы ты знал, какая это жадная и тупая пакость, крестьяне. Вот видишь: поддержки в семье я не встречу. Друзья – свора завистников или куча вредного дурачья: я не могу здесь работать. Меня все раздражает.

Есенин был возбужден, пьяноват, но, как говорится, что у трезвого – на уме, то у пьяного – на языке.

Тарасов-Родионов посоветовал ему ехать в деревню...

– О, нет, только не в деревню. – В глазах Есенина метнулись искорки страха. – В деревне, кацо, мне все бы напоминало то, что мне омерзительно опротивело. О, если бы ты только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне. Из-за медного семишника они готовы глотку перервать друг другу. О, как прав Ленин, когда он всю эту жадную мужичью мразь согнул в бараний рог.

Его собеседник возразил:

– Ну, братец мой, Ленин не особенно-то был сторонником того, чтобы гнуть крестьян в бараний рог, и вообще, ты зря перегибаешь палку.

Раздраженный и усталый Есенин не стал спорить:

– Ну, коль не Ленин, то – Троцкий.

Очень раздражало Есенина, когда в Москву из деревни приезжал отец, жаловался на то, что из-за дождей сгнило сено, что не уродилась картошка. Сын слушал отцовские жалобы и

поправлял отца, мол, во время сенокоса стояла солнечная погода, негодовал на то, что у всех на Рязанщине картошка родится, а у отца недород.

– Я для вас – мошна. Вот помру – и не по мне заплачете, а по мошне...

Однажды вытащил из-под подушки книгу и вслух прочитал о каком-то барышнике, который попал под поезд. Его несут на операционный стол, а он все волнуется: где сапог с отрезанной ногой, там, в сапоге, у него ассигнация... Укоряюще смотрит на отца, потом дает ему денег и выпроваживает в деревню. Да, бывало и так. И об этом лучше, чем все мемуаристы, написал сам Есенин в 1924 году.

Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать.

Конечно, столик стал «угрюмым» лишь потому, что полученное письмо повергло его в угрюмое состояние:

Она мне пишет:
«Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты,
У нас в дому
Большие недостатки».

Мать укоряет сына за то, что он «свою жену легко отдал другому», жалуется на несбывшиеся надежды: «...У отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше», сетует, что у них «нет лошади» и что самое обидное – ей не нравится, что ее сын – поэт, а ведь мог бы занимать «пост председателя в волисполкоме»...

Можно себе представить отчаяние и ярость Есенина, получившего такое письмо! Ведь еще несколько лет тому назад он, обращаясь к матери, звенел, восторгался, торжествовал:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Конечно, он знал: отцу и матери «наплевать на все мои стихи», отчаивался: «О, если бы вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт» – и все же надеялся, что они в роковую минуту защитят сына от его врагов и ненавистников: «Они бы вилами пришили вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня»... И вот прошли годы, все его пророчества сбылись – он стал вопреки всем и самым лучшим, и самым знаменитым поэтом России! И вдруг... мать жалеет, что ее сын не стал председателем волисполкома, ей не нравится, что он поэт... С ума сойти можно!

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?

В ответе матери он просто срывается на крик:

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

Больше всего Есенин возмущался, что к нему его самые родные люди относятся как к корове, «которая сама себя кормит», как к лошади...

А ведь правда: сколько раз он приезжал в родное Константиново за последние годы, и ни разу не собрались они послушать его стихи, никому в голову не пришло принять его на родине не как Серегу Есенина, а как поэта, как всенародную славу. С. Н. Соколов вспоминал: «Как это ни покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки, в своем родном селе был как поэт малоизвестен. Все здесь смотрели на него как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомиться константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое „внимание“ к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен».

Драма непонимания, отношение к нему родных лишь как к добытчику всю жизнь кровоточащей раной отзывались в душе Есенина. Этой кровью написаны многие его строки «Руси советской»:

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

.....

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?

Сколько криков было брошено в Есенина со стороны недругов, жизнь заканчивалась, а отцу и матери по-прежнему было «наплевать на все его стихи». Потому он и сказал в конце жизни: «Я не хочу быть крестьянским поэтом». Нет пророков в своем малом отечестве. История повторяется. Через несколько десятилетий Николай Рубцов прислал одному из авторов этих строк (Станиславу Куняеву) письмо из вологодской глуши, из своей деревни Николы: «Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селе Никольском: в прелестях этого уголка я уже разочаровался, так как нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество, и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной – тоже. Я проклинаяю этот божий уголок за то, что нигде здесь не

подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди... Откуда им знать, что после нескольких (любых удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка: выпить и побалагурить».

И это о деревне Николе, которая стала знаменита на всю Россию лишь потому, что в ней несколько лет в детском доме прожил Коля Рубцов. И это Коля Рубцов, написавший:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую
Самую смертную связь...

«Мне поставят памятник на селе» – не напоминают ли эти строки Николая Рубцова есенинское: «Не ставьте памятник в Рязани»...

* * *

Но вернемся к «Анне Снегиной». Оказывается, и до революции бок о бок жили две деревни. В одной были «крытые железом дворы», «крашенные ставни», по праздникам «мясо и квас», в другой:

Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохой
На паре заезженных кляч.

Комбедство-то, оказывается, зародилось еще задолго до революции, поскольку криушане «украдкой рубили», как рассказывает возница, везущий героя поэмы на родину, «из нашего леса дрова»...

А дальше пошел спор из-за этого леса: «Они в топоры, мы – то ж». И комбедовцы зарубили старшину из богатой кулацкой деревни. Как наказание за этот раздор, за этот смертный грех:

С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар.

Вот так начиналась в деревне революция, которая после обвала власти стала каким-то апокалипсисом местного значения и для радовцев, и для криушан.

Есенин наконец-то рассчитывается с историей, кладет предел своим иллюзиям 1917 года, иллюзиям «Отчаря» и «Инонии», иллюзиям крестьянского рая и задним числом доказывает, что еще тогда, летом и осенью, он все видел не хуже Петра Орешина и Михаила Пришвина, чьи очерки о крестьянских безобразных бунтах печатались в тогдашних газетах на одной полосе с его стихами. Мужик-Богоносец из цикла религиозных поэм, пройдя через бунтарское обличье Пугачева, в «Анне Снегиной» преобразается в большевика Оглоблина и в деревенского люмпена – Лабутью... Вот такое «преображение». Но Есенин был бы плохим летописцем, если бы просто талантливо описал то, что стало известно всем за эти годы о крестьянском русском бунте. Он удивительно тонко, но беспощадно высветил образ вождя этого бунта, «старшего комиссара» – Ленина. Надо сказать, что наша литературная наука была не особенно проникательна, когда восхищалась строками из «Анны Снегиной», в которых герой поэмы на вопрос крестьян:

«Скажи,

Кто такое Ленин?» —

«тихо» отвечает: «Он – вы». Вроде бы – да, поэт признает, что Ленин – вожак народных масс, плоть от плоти их. Но каковы они, эти массы, в поэме – это никому не приходило в голову: голытьба, пьяницы, люмпены, участники коллективного убийства старшины, «лихие злодеи», «воровские души». «Их нужно б в тюрьму за тюрьмой». А их вождь – Прон Оглоблин – «булдыжник, драчун, грубиян». Его брат Лабутя – «хвальбишка и дьявольский трус», он из тех, кто «всегда на примете. Живут не мозоля рук». А уж дальше беспощадные слова, брошенные Есениным русскому комбедству, просто невыносимы для интеллигента, старающегося любить народ. Вот он, портрет этого мужика:

Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец земель и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

«Грабь награбленное!» – и тащат мужики по избам из барских имений рояли и патефоны играть «коровам тамбовский фокстрот».

Вот такая картина вырисовывается нам при внимательном чтении, и если вспомнить тихую фразу героя поэмы о Ленине: «Он – вы!» – то становится ясно, что мы, как говорится, просто в упор не видели всей глубины и всего драматизма, заложенных в ней.

Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...

Так говорит об этих, появившихся на глазах поэта, новых начальниках жизни пожилая степенная мельничиха, воплощение крестьянского здравого смысла, с которым невозможно спорить. А потому поэт молча соглашается с приговором и уходит в другой слой воспоминаний, гораздо более важный для него, ради которого, собственно, и написана была поэма-воспоминание о неосуществившейся, но счастливой любви, о времени, когда

...У той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Есенин властно сжимает время, переносит свою скандальную славу «Москвы кабацкой» на несколько лет назад, и потому его бывшая любовь укоряет поэта:

Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.

Он совсем уже другой человек, прошедший огни и воды, вроде бы потерявший все прекрасное, что было в нем: доверчивость, чистоту, восторженность, он уже с расчетливостью думает о том, что «теперь бы с красивой солдаткой завести хорошо роман».

Ничто вроде бы поначалу не «пробивается» ему в душу, ничто не «смущает» его, но, после припадка болезни, после беспамятства, после обморока души и тела, он вдруг

почувствовал, что здоровье и то прежнее, «прекрасное», возвращается к нему. «Девушка в белой накидке», наоборот, изменяется в худшую сторону, явственно кокетничает с ним:

Я важная дама стала,
А вы – знаменитый поэт.

Она даже признается, что в то время, когда он валялся в беспамятстве, «вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой». Он понимает, что она, когда-то сказавшая ему «нет», готова сейчас сказать «да», не зря же у нее «красивый и чувственный рот». Однако он, почувствовав в себе возрождение прежней юной души, осторожно отклоняется:

Хотелось сказать:
«Довольно!
Найдемте другой язык!»

Герой поэмы настолько дорожит возрождением в душе полузабытого, юношеского чувства, что отказывается от первоначальной мысли «завести роман с красивой солдаткой». А героиня поэмы ведь и есть эта «красивая солдатка» – вдова офицера. Весь его жизненный опыт, слава, обретенная с годами мужская хватка – все отступает перед высоким соблазном испытать почти забытое чувство влюбленности, целомудрия, чистоты. Он, этот многоопытный светский лев, снова ведет себя как смущенный юноша:

Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

.....

Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.

Последняя встреча после разорения усадьбы соратниками Прона и Лабути ничего не меняет в их отношениях. Женщина, не понимая его чувств, как бы оправдывается, что не зашла так далеко, как хотелось бы:

Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутылку...

А герой не выходит из своего заколдованного круга, делает вид, что не слышит ее полупросьб, полунамемов об утешении за все – за смерть мужа, за хуторской разор:

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза...

И тогда она смутно начинает понимать, что нужна ему не как женщина, не как возможная любовница, а как прекрасное воспоминание о жизни, что «былой не была»:

«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...

Но что?..
Я понять не могу...»

То, что для него является сутью, «голубенью», таинственным светом, для нее – просто полузабытая картинка.

«Ах!.. Да... (наконец-то вспомнила. – *Ст. и С. К.*)
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

И как бы окончательно поняв, что они говорят на разных языках, живут в разных временах и разными чувствами, героиня поступает так, как и положено разочаровавшейся в своих ожиданиях женщине:

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну, ладно...
Пора на покой...»

В этих сценах Есенин впервые проявил себя каким-то волшебником, умеющим изображать и замечать тончайшие движения человеческой души...

А в награду ему уже как бы из другого, потустороннего, мира через какое-то время приходит письмо, где вдруг обнаруживается, что она все вспомнила, превратившись из красивой солдатки в юную давнюю девушку, которую он уже никогда не увидит. Его погружение в деревне в шестнадцатилетнее чувство оказалось не напрасным. За тысячи километров она все вспомнила и как бы соединилась с ним душой:

«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова...»

Она жива, они ожили душою, они теперь навеки вместе, и, венчая этот мистический роман возрождения и обручения душ в поэме, в первый и в последний раз возникает столь дорогой и столь возвышенный мотив божественного синего цвета.

Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.

Души встретились, прозрели и расстались, каждая удалившись в свой монастырь. Как в юношеском стихотворении:

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.
И все тягуче память дня

Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!

Кроме «Анны Снегиной», Есенин писал в Батуме «Персидские мотивы», но стоит ли говорить о них подробно? Они все о жизни, «что былой не была», поскольку от первой до последней строчки погружены в горнюю синь.

«Синие цветы Тегерана», «море, полыхающее голубым огнем», «воздух прозрачный и синий», «голубая родина Фирдуси», «сиреневые ночи», «голубая да веселая страна»...

Есенин демонстративно насыщает «Персидские мотивы» священным для него цветом, что делает этот мир нереальным, живущим лишь в его душе, своеобразной персидской «Инонией». Когда в «Анне Снегиной» он окончательно попрощался с голубой Русью, то создал себе другой мир, где могла бы успокоиться его измученная душа, мир персидских мотивов, мир новой «Инонии», его личной, не имеющей никакой связи с реальной жизнью. Потому и в Персию не надо было ехать, потому и погрузил он эту очередную «Инонию» в голубизну и синь, потому бесполезны и наивны всяческие попытки разгадать, кто является прототипом Шаганэ, кто скрывается под именем Лалы или Гелии. Эти образы не искажены страстями, они так же сказочны и прекрасны, как и образ «Пречистой Девы», как образ непорочной «Телицы-Руси» или старушки матери, которая в русском синем раю старается поймать пальцами луч заката, или как сверкающий святостью лик деда, сидящего под Маврикийским дубом...

«Персидские мотивы» – своеобразное продолжение есенинского иконостаса, который он писал всю жизнь.

* * *

«Срочная. Москва... Бениславской. Персия прогорела... Шлите немедленно на дорогу... Везу много поэм».

Катя с Наседкиным и Бениславской едут встречать Есенина на вокзал. Он спрыгивает с поезда, все садятся в автобус. «Но, усевшись так, мы вчетвером еле-еле набрали денег на билеты. У Сергея – ни копейки, а у встречавших его – мелкие серебрушки и медяки» (*В. Наседкин*).

В первые же дни марта, отрешившись от всех московских соблазнов, Есенин сидит часами за столом. Он дописывает, доделывает, отшлифовывает «Анну Снегину» и «Персидские мотивы». «Очень трудно нам было жить в одной комнате. Особенное неудобство доставляла я. Мне нужно было готовить уроки, а заниматься негде, да и вечерами ежедневное мое присутствие при гостях было неуместно» (*А. Есенина*).

Когда Есенин садился за ломберный столик, заменявший ему письменный, и начинал разбирать свои бумаги, все женщины потихоньку исчезали из дома.

14 марта Есенин решается выступить с чтением поэмы в литературном объединении «Перевал». Комната в Союзе писателей была набита битком. Наконец-то! Есенин вернулся и привез новые стихи. Поэт прочитал «Анну Снегину». И тут произошло нечто неожиданное: поэма не взволновала слушателей. Сидевшие рядом с Есениным писатели отозвались о ней с холодком. Кто-то из них предложил «обсудить» поэму. Есенин пренебрежительно отрезал:

– Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня.

Несколько дней он ходил расстроенный и мрачный. Не поняли, ничего не поняли!..

Небольшое утешение доставило ему случившееся вскоре после злополучного вечера у «перевальцев» знакомство с Качаловым. Качалов, вернувшийся со спектакля, застал Есенина у себя дома, обнимавшегося с гладкошерстным доберманом-пинчером красавцем Джимом, и обалдел от неожиданности: его породистый кобель никого из чужих не допускал к себе, а тут: «Я вошел и увидел Есенина и Джима – они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а в другой

держал его лапу и хриплым баском приговаривал: „Что это за лапа, я сроду не видал такой“. Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо».

Через несколько дней Есенин написал знаменитое стихотворение «Собаке Качалова», в котором были не разгаданные никем строки:

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и не всяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку,
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

Скорее всего эти строки обращены к Галине Бениславской, которой незадолго до этого Есенин написал жестокое письмо, роковым образом повлиявшее на его жизнь: «Милая Галя! Вы мне близки, как друг, но я Вас нисколько не люблю, как женщину». Это оскорбительное и убийственное для Бениславской письмо Есенин написал потому, что ему понадобился открытый разрыв с ней: за несколько дней до визита к Качалову в его жизнь вошла Софья Толстая – внучка «великого старца». Неожиданно и легкомысленно, как он всегда поступал в таких случаях, поэт принял решение жениться на ней. С Софьей Андреевной Толстой-Сухотиной – внучкой Льва Толстого – он познакомился 5 марта 1924 года на вечеринке у той же Галины Бениславской. Какова же была новая пассия Есенина, могла ли она стать другом, женой, верной спутницей «падшего ангела», «Божьей дудки», «хулигана и пьяницы»? Об этом существуют самые разноречивые суждения современников. Первое и, может быть, самое важное из того, что сказано в них и что не сказано, принадлежит самой Софье Толстой: «На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жил Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк, вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пильняку куда-то надо было попасть в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской, с сестрой Сергея – Катей. Наконец я стала собираться. ...Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве... Эта встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ... Через несколько месяцев, весной 1925 года, я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало. Что я тогда пережила... Страшно подумать!»

По иронии судьбы их знакомство произошло по случаю дня рождения Бениславской, которую Есенин иногда представлял друзьям, называя не только своим другом, но и женой. А буквально за два месяца до окончательного своего решения он обнадежил Бениславскую настолько, что она никак не могла ожидать от него такого предательства. 20 декабря 1924 года Есенин написал ей из Батума: «Может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу. Ради бога, не будьте миражом Вы. Это моя последняя ставка, и самая глубокая...» Через два месяца он сделал последнюю ставку на Софью Толстую. Для Бениславской все ее надежды на любовь и привязанность к ней Есенина снова оказываются миражом. Это было тем более невыносимо для нее, ибо всем окружающим, да и самой Галине Артуровне казалось очевидным, сколь зауядна и неинтересна Толстая по сравнению с ней. Вот как вспоминает о Толстой сестра поэта: «Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку – Льва Николаевича; властная, резкая в гневе, и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении. „Душка“, „душенька“, „миленькая“

были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне» (А. Есенина).

Летом 1925 года во время длительного сватовства Есенина к Толстой, с постоянно возникающими вечеринками, поэт написал стихотворение, в котором было высказано его заветное желание той поры:

Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Но Толстая побывала уже замужем, а во время знакомства Есенина с нею была любовницей Пильняка... Не об этом ли думал Есенин, когда писал: «...только мне – не кому-нибудь – и словами и чувствами новыми...» Так что особенно новых слов и чувств у нее, видимо, не было, и, наверное, ее имел в виду Есенин, когда в другом стихотворении сравнивал с лисицей, которая, притворившись мертвой, ловит воронят. В немногих мемуарах современников о ней идет речь как о женщине, довольно легко переходившей из одних писательских рук в другие. Борису Пильняку, видимо, она уже достаточно надоела, и он, не то чтобы с ревностью, а с облегчением заметил, что Есенин стал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Впрочем, об одной из последующих вечеринки, состоявшейся приблизительно в том же составе, существует весьма живописный рассказ наблюдательной и язвительной женщины – знакомой нам Анны Берзинь.

«Поднимаясь к дверям квартиры, в которой жили Есенин и Бениславская, я слышу, как играют баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда. Знаменитое трио баянистов.

В маленькой комнате и без того тесно, а тут три баяна наполняют душный, спертый воздух мелодией, которую слушать вблизи трудно. Баянисты, видимо, «переложили» тоже и потому стараются вовсю, широко разводя мехи. Рев и стон.

За столом сидят Галина, Вася Наседкин, Борис Андреевич Пильняк, двоюродный брат Сергея, который за ним ходил по пятам, незнакомая женщина, оказавшаяся Толстой, сестры Сергея. Сам он пьяный, беспорядочно суетливый, улыбающийся. Он усаживает меня между Пильняком и Софьей Андреевной. Сам садится на диван и с торжеством смотрит на меня.

Галина Артуровна то и дело встает и выходит по хозяйским делам на кухню. Она все время в движении.

Шура, Катя, Сергей поют под баяны, но Сергей поет с перерывами, смолкая, он бессильно откидывается на спинку дивана, опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы он закусывает – это показывает очень сильную степень опьянения.

Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю:

– Вы действительно собираетесь за него замуж?

Она очень спокойна, ее не шокирует гам, царящий в комнате.

– Да, у нас вопрос решен, – отвечает она и прямо смотрит на меня.

– Вы же видите, он совсем невменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.

– Я уверена, – отвечает Софья Андреевна, – что мне удастся удержать его от пьянства.

– Вы давно его знаете? – задаю я опять вопрос.

– А разве это играет какую-нибудь роль? – Глаза ее глядят несколько недоуменно. – Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?

– Полюбить, – тяну я, – ладно полюбить, а вот выйти замуж – это другое дело...

Она слегка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на нее, опять отбрасывает руку и добавляет нецензурную фразу.

Она спокойно отходит от него и садится на свое место как ни в чем не бывало.

– Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт, – говорю я.

И она опять спокойно отвечает:

– Он очень сильно пьян и не понимает, что делает.

– А он редко бывает трезвым...

– Ничего, он перестанет пить, я в этом уверена. – Она действительно, кажется, в этом уверена.

Галя наливает стакан водки и подает Сергею, он приподнимается и шарит по столу. Катя и я киваем: пусть уж напьется и сразу уснет, чем будет безобразничать и ругаться. Сергей Александрович выпивает водку и валится на диван.

– Пойдемте, – говорю я и, повернувшись к Пильняку, добавляю: – Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно.

За очками поблескивают хитрые и насмешливые глаза. Я отвожу взгляд, а он, пригнувшись к моему уху, говорит достаточно громко, чтобы слышала Софья Андреевна:

– Я пойду провожать вас, а ее пусть кто угодно провожает. Целованных и чужих любовниц не провожаю...

Я растерянно поднимаюсь из-за стола и, взяв Бениславскую за руку, выхожу с ней в коридор.

– В чем дело, Галя, я ничего не понимаю...

У нее жалкая улыбка.

– Что же тут не понимать? Сергей собирается жениться... Он же сказал тебе об этом...

– Ты же знаешь, что Сергей болен, какая же тут свадьба?

Она устало машет рукой, и в ее глазах я вижу боль и муку:

– Пусть женится, не отговаривай, может быть, она поможет и он перестанет пить...

– Ты в это веришь, Галя?

Она утвердительно кивает головой.

В коридор выходят остальные. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру песнями. Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закусены.

Усталая Галя провожает нас до двери. С Софьей Андреевной идет, кажется, брат Сергея.

Пильняк дорогой открывает тайны: Софья Андреевна жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза.

Мне ни о чем говорить не хочется.

Зачем это делает Сергей – понять нельзя. Ясно, что он не любит, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он говорит только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе.

На свадьбу я не пошла».

Берзинь, конечно, рассказала обо всем с неизбежным женским коварством. Иван Евдокимов же вспоминал об этой ситуации немного по-другому: «Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе А. А. Берзинь, считавшаяся близким другом Есенина».

В воспоминаниях Анны Берзинь о Есенине есть совершенно непотребные подробности. В частности, она пишет, что на другой день, после того как Пильняк провожал ее домой, Есенин и Толстая пришли к ней в гости. Есенин быстро то ли напился, то ли притворился, что пьян, вышел в другую комнату, попросил, чтобы туда зашел Юрий Либединский, и вдруг с испуганным и напряженным лицом проговорил: «Я поднял подол, а у нее ноги волосатые. Я закрыл и сказал: „Пусть Пильняк. Я не хочу. Я не могу жениться“». Все это он почти прокричал, желая, видимо, чтобы невеста, сидящая в другой комнате, слышала этот крик. Но не на такую напал. Она сделала вид, что ничего не слышит. А он продолжал жаловаться: «Я человек честный, раз дал слово, я его сдержу, но поймите, нельзя же так – волосы, хоть брей». И тут же, словно забыв обо всем, что только что наговорил, перешел на другое: как справлять свадьбу, кого из гостей позвать, и со смехом несколько раз повторил, что здорово все выйдет: «Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Толстого!»

Создается такое впечатление, что Есенин, окончательно и жестоко разрушив все надежды Бениславской на их совместную жизнь, в последний момент захотел дать задний ход, но ни сил, ни воли у него для этого не было. Он стал жертвой собственного поэтического легкомыслия. К тому же внучка Толстого, к тому же тихая квартира, семейное пристанище, которого у него никогда не было. Он метался от скандала к смирению, от театрального бунта к фанфаронской подготовке свадьбы... А что испытывала в это время Бениславская, знала только она сама да ее дневник, опубликованный совсем недавно.

Из дневника Бениславской:

«Погнался за именем Толстой – все его жалеют и презирают: не любит, а женился... даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, ее никто не заметил бы... Сергей говорит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю... Ведь есть, кроме него, люди, и они понимают механизм его добывания славы и известности... Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры – это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пойти...»

Всегдашнее – «я как женщина ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень рада встрече с Л. Это единственный, кто дал мне почувствовать радость, и не только физически, радость быть любимой...»

Есенин сам в конце концов спровоцировал отчаянное решение Бениславской.

Как свидетельствует Е. Есенина, их взаимоотношения в 1924 году часто достигали той черты, после которой они должны были разрушиться.

«Галя, Вы очень хорошая, Вы самый близкий, самый лучший друг мне, но я не люблю Вас как женщину. Вам надо было родиться мужчиной. У Вас мужской характер и мужское мышление».

Длинные ресницы Гали на минуту закрывали глаза, и потом, улыбнувшись, она говорила: «Сергей Александрович, я не посягаю на Вашу свободу, и нечего Вам беспокоиться».

* * *

Но, кроме краха отношений с Бениславской и помимо драматического фарса, в который выливалось есенинское сватовство к Толстой, в марте произошла настоящая трагедия, финал которой разыгрался 30-го числа, через три дня после очередного бегства Есенина на Кавказ.

Тридцатого марта 1925 года в камере смертников Лубянской тюрьмы загремели двери.

– Кто тут Ганин? Выходи!

Двое палачей в кожаных куртках и брюках, ставших профессиональной формой ЧК, а потом ГПУ, вытолкнули в бетонный коридор светловолосого худого человека лет тридцати и

повели его в тюремный двор. Один из чекистов на ходу расстегнул деревянную кобуру маузера.

Так погиб на рассвете весеннего дня вологодский крестьянин, поэт, друг Сергея Есенина Алексей Ганин...

Дело «Ордена русских фашистов» было начато 13 ноября 1924 года. Ордер на арест 1 ноября 1924 года подписан Генрихом Ягодой. В анкете для арестованных указано, что Ганин арестовывался дважды. Первый раз – Губчека в Москве, «по недоразумению принятый за контрреволюционера». Второй – 21 ноября 1923 года «арестован по обвинению в антисемитской агитации... Освобожден под подписку о невыезде». Речь идет о до сих пор скандальном «деле» Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина, деле, преследовавшем их всю жизнь.

Из протокола допроса от 15 ноября 1924 года. Допрашивали Славатинский и Агранов. «Читал выдержки из тезисов, которые обнаружены у меня при аресте („Мир и свободный труд – народам“). Эти тезисы я подготовлял для своего романа».

Внешний вид обнаруженных при аресте Ганина тезисов – 19 страниц желтой бумаги, оборванных по краям, исписанных химическим карандашом. Текст ясный, грамотный, почерк красивый, несколько листов заляпаны бурыми пятнами, несомненно, кровью. Ганину показывали тезисы после побоев и пыток, очевидно, копия с тезисов, послуживших причиной смертного приговора поэту, снята для палача ЧК Агранова (Собельсона): видимо, делу Ганина придавалось большое значение, коль им занимался сам Яков Саулович.

Тезисы «Мир и свободный труд – народам», пролежавшие во тьме чекистских архивов почти 70 лет, – великий документ русского народного сопротивления еврейско-чекистско-коммунистической банде, плод *народного низового* сопротивления, и написан он с таким выходом в будущее, что мысли и страсти, изложенные в нем, кажутся выплеснутыми сегодня, в наше смутное время.

ЧК арестовало 13 человек, не партийных фракционеров, не эсеров, не широко известных писателей, а никому не ведомых маленьких людей эпохи, вчерашних крестьян, начинающих поэтов, мелких служащих, объединенных одной идеей – борьбой с интернационально-коммунистическим режимом во имя спасения национальной России. Как в наши демократические времена, так и в ту тоталитарную эпоху такое мировоззрение называлось «фашистским». Группа Ганина получила название «Орден русских фашистов», Ганин был объявлен главой ордена, и после подобных ярлыков участь подсудимых была решена. «Главу ордена» с шестью товарищами расстреляли 30 марта 1925 года. Остальные семеро пошли на Соловки, откуда вернулись лишь двое. Вот имена русских патриотов, борющихся за Россию:

Братья Петр и Николай Чекрыгины, молодые поэты из города Жиздры Калужской губернии, из мещан, 23 и 22 лет. Виктор Иванович Дворяшин, поэт, сын сельского священника Тверской губернии, писавший под псевдонимом «Олег Полярный». Владимир Галанов, поэт, сын чиновника из города Петракова. Григорий Никитин, крестьянин Пензенской губернии деревни Панкратовка, поэт. Александр Кудрявцев, крестьянин Костромской губернии, деревня Здемирово, наборщик. Александр Потеряхин, из крестьян Нижегородской губернии, село Обуховка, литератор. Кротков Михаил, бывший дворянин, юрист. Сергей Головин, профессор, 58 лет. Борис Глубоковский, 30 лет, журналист, актер. Иван Колобов, из мещан, уроженец Тулы. Сахно Тимофей, крестьянин Черниговской губернии. Заугольников Евгений, 22 лет, крестьянин Минской губернии, местечко Барановичи. Вот они, участники страшного «фашистского заговора», расстрелянные в Москве и сосланные на Соловки «интернационалистами» вроде Якова Агранова.

Друг Алексея Ганина Пимен Карпов напишет после 30 марта 1925 года:

От света замурованный дневного,
В когтях железных погибая сам,
Ты сознавал, что племени родного

Нельзя отдать на растерзанье псам.

.....

Но за пределом бытия, к Мессии,
К Душе Души – взывал ты ночь и день, —
И стала по растерзанной России
Бродить твоя растерзанная тень...

Это стихотворение было опубликовано через шесть с лишним десятилетий после его написания. А летом 1925 года в «Красной ниве» появилось другое стихотворение, автор которого отдал на глазах у всех дань памяти расстрелянным и сосланным членам «Ордена русских фашистов». Это Иван Приблудный опубликовал свою «Песнь о перепеле», написанную двумя годами раньше, с демонстративным посвящением Николаю Чекрыгину.

Глупый, убитый, замученный,
Вечно и всеми гоним, —
Долго ж ты был неприрученным
К тяжким законам земным.

Чувствами, разумом спаяны
И, не стесняясь детей,
Весело, весело каины
Пели над смертью твоей.

.....

Жаль, что не скрылся на дереве,
Жаль, что родился в траве...
– Перепел, серенький перепел,
Вечная память тебе...

Отрывки из работы Алексея Ганина «Мир и свободный труд – народам»:

Ясный дух народа предательски ослеплен. Святыни его растоптаны, богатства его разграблены. Всякий, кто не потерял еще голову и сохранил человеческую совесть, с ужасом ведет счет великим бедствиям и страданиям народа в целом...

Россия стоит накануне гибели, а многомиллионное население коренной России обречено на рабскую нищету и вырождение...

Но как это случилось, что Россия с тем, чтобы ей беспрепятственно на общее благо создать духовные и материальные ценности, обливавшаяся потом и кровью Россия, на протяжении столетий великими трудами и подвигами дедов и пращуров завоевавшая себе славу и независимость среди народов земного шара, ныне по милости пройдох и авантюристов повержена в прах и бесславие, превратилась в колонию всех святых паразитов и жуликов, тайно и явно распродающих наше великое достояние...

За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушения, разрушения и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых все еще не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооруженные с ног до головы, воодушевляемые еврейскими вырожденками банды латышей, беспощадно терроризируя беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намеке на отказ

всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положительно все, что попадалось на глаза, начиная с последней коровы, кончая последним пудом ржи и десятком яиц, когда за отказ от погромничества поместий и городов выжигались целые села, вырезались целые семьи...

Достаточно опять-таки вспомнить (тот ужасный) разгром городов, промышленных предприятий, образцовых хозяйств и усадеб, бесконечно и ежедневно происходившие реквизиции, бесчисленные налоги, когда облагалось да облагается и до сих пор все, кроме солнечного света и воздуха, чтобы понять, что это только безответственный грабеж; и подстрекательство народа на самоубийство. Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, производившиеся под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли (голодной смертью) целые села, разве не опустели целые волости и уезды (цветущего) Поволжья? Кто не помнит того ужаса и отчаяния, когда люди голодающих районов, всякими чекистскими бандами и заградилками (только подумать!) доведенные до крайности, в нашем двадцатом веке в христианской стране дошли до людоедства, до пожирания собственных детей, до пожирания трупов своих соседей и ближних...

Мы еще раз повторяем, что всякий, кто умеет честно, по-человечески мыслить, тот из всего существующего положения в России ясно увидит, к чему на самом деле стремится эта изуверская секта.

Завладев Россией, она вместо свободы несет неслыханный деспотизм и рабство под так называемым «государственным капитализмом». Вместо законности дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости – неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда труд (государственных) бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Все многомиллионное население коренной России (и Украины), равно и инородческое, за исключением евреев, брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышивания налогов.

Три пятых школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов влачат свое жалкое существование. Высшие учебные заведения терроризированы и задавлены (как наиболее враждебные существующей глупости). Всякая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. Малейшее проявление ее рассматривается как антигосударственная крамола и жесточайшим образом карается, как преступление. Все сельское население, служащие, равно и рабочие массы раздавлены поборами, все они лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев, все вынуждены влачить жалкое, полуживотное существование. Свобода мысли и совести окончательно задавлена и придушена. Всюду дикий, ничем не оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями. Вот он, коммунистический рай, недаром вся Россия во всех ее слоях, как бы просыпаясь от тяжелого сна, вспоминает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. Потому что всюду голод, разруха и дикий разгул, издевательство над жизнью народа, над его духовно-историческими святынями...

Поистине над Россией творится какая-то черная месса для идолопоклонников. Вся так называемая коммунистическая пропаганда и агитация, письменная и устная – вся псевдонаучная так называемая марксистская литература и наконец неслыханный по своей зловредности в истории законодательства поток запретов и распоряжений самозванного правительства, – эти исключительные образцы злобы, коварства, предательства и изуверской тупости являются ярким доказательством справедливости наших мнений...

Мы, русские националисты, на основании повседневных фактов всей русской общественной и современной хозяйственной жизни, наконец, на

основании данных современной науки и статистики, вполне убедившись сами, перед лицом всего мира докажем не только ложность, но крайнюю зловредность данного учения для всей западноевропейской культуры и вообще для дальнейшего человеческого прогресса...

Не предрешая заранее, какой общественный строй должен быть в государстве Российском, а выдвигая со своей стороны идею великого земского собора, мы все же должны зорко смотреть, чтобы тайные враждебные силы раз навсегда потеряли охоту грабежа и бесчинства народа в целом и не помешали бы в дальнейшем развернуть в России свои еще непочатые силы на путь духовного и экономического творчества.

Тщательно взвесив современное положение России, небывалое единство настроения русского народа, мы твердо верим, что близок конец страданиям и радостно будет освобождение.

18.10.24 г.

Есенин всегда опасался быть втянутым в любую политическую борьбу, в любые заговоры. Истории с социал-демократами, с императрицей, с эсерами научили его звериной осторожности... Он был верен этому правилу и в отношениях с друзьями и со своим окружением 1924 года, вступившим в неравную и наивную тяжбу с коммунистической властью. Алексей Ганин и его друзья, как бы копируя историю с заговором Таганцева и с Гумилевым, однажды стали шутя составлять списки будущего правительства.

Из воспоминаний Г. Бениславской:

«В один из этих списков он включил и Е. – министром народного просвещения. Но Е., который, как бы ни ругался на советскую власть, все же не мог ее переменить ни на какую, рассердился, послал Ганина к черту и потребовал, чтобы тот сейчас же вычеркнул его фамилию. Ганин вычеркнул и назначил министром народного просвещения Приблудного... Почти наверное можно сказать, что как организатор тайного общества Ганин был абсолютным нулем. Все его списки и разговоры о перевороте так разговорами и оставались... Но, не зная его ближе, можно было поверить его бреду и решить, что он активный контрреволюционер. Впрочем, надо сказать, что когда я и Катя узнали о его расстреле, у нас одно слово вырвалось: „Слава богу!“, до того мы боялись, что этот погибший человек утянет за собой и С. А., которого тогда еще можно было спасти и за которого мы с таким отчаянием и остервенением боролись со всей этой „нищенствующей братией“...»

Читая необычайно зрелые, глубокие, точные и блестяще написанные тезисы Ганина, понимаешь, что современники совершенно недооценили его, считая всего лишь третьестепенным неудачником, пьяницей и представителем «нищенствующей братии».

Внешне он, конечно, соответствовал такому представлению о себе, но никто, видимо, кроме самого близкого окружения, не знал, какая мощная аналитическая и умственная работа проделана этим вышвырнутым из жизни человеком. Думается, что не представлял себе всего этого и Сергей Есенин. Видимо, он не знал и тезисов Ганина, сам Ганин, оберегая Есенина, в своих показаниях назвал его лишь в числе нескольких десятков людей, с которыми он иногда встречался в Москве, скрыв все об их давней дружбе, о жизни в Царском Селе, о поездке на Север, о том, что Есенин дважды был у него в Вологде и в деревне, о том, что он был шафером при венчании Есенина, о том, что на средства Дункан была издана его московская книга.

Словом, он делал все, чтобы тень от дела «Ордена русских фашистов» не упала на Есенина. Правда, здесь надо вспомнить и еще одно обстоятельство. Если ЧК и знала о связи Есенина и Ганина больше того, что рассказал об этом Ганин, то с Есениным, с его именем чекисты были вынуждены считаться. А может быть, и это скорее всего, приберегли известную им информацию для более подходящей минуты.

В. Чернявский вспоминал, как Есенин в 1923–1924 годах где попало, в любом застолье,

«говорил о том, что все, во что он верил, идет на убыль, что его „есенинская“ революция еще не пришла, что он совсем один... В этом потоке жалоб и требований был и невероятный национализм... и... желание драться... С кем? Едва ли он мог на это ответить, и никто его не спрашивал...» Обратим внимание на слово «национализм» и на то, что А. Ганин в своих тезисах объявляет себя и своих товарищей русскими националистами, восставшими против засилья еврейско-коммунистической власти. А вот то, что пишет Чернявский дальше в своих воспоминаниях, чрезвычайно важно: «То, что он говорил мне... слышали, вероятно, многие, как на этот раз слышал я и молчавший в кресле его приятель. Это, видимо, и было то, что прощали *одному Есенину* (у мемуариста выделено! – *Ст. и С. К.*), и чувствовалось, что он давно перегорает в этой тягостной свободе выпадов и порывов, что на него и теперь смотрят с улыбкой, не карая, щадя его, как больного...» Какое красноречивое признание того, что «национализм» и скорее всего страсти по «еврейскому вопросу» общество прощало одному Есенину, «не карая его», делая для него, в силу его популярности, до поры до времени исключение. Но Ганину и его друзьям власть этого не «простила» и «покарала» их...

Приехав в Москву в марте 1925 года, когда Ганин и его товарищи находились под следствием, и, несомненно, в первые же дни узнав об этом, Есенин заметался... Об аресте целой группы знакомых людей – художников Чекрыгиных и актера Бориса Глубоковского – ему конечно же рассказали сразу – либо в комнатке на Никитской, либо в «Стойле Пегаса». Только из официальной прессы невозможно было ничего узнать. Она, в отличие от «дела четырех поэтов», специально раздутого ею, о «фашистском заговоре» Ганина не напечатала ни слова. Невыгодно было признавать, что на седьмом году советской власти в столице возникла антисоветская группа заговорщиков, не дворян, не церковников, не бывших офицеров, а молодых людей из самого что ни на есть простого народа, вчерашних крестьян. Эти люди просто исчезли из жизни, и о реакции общества на их исчезновение не осталось никаких свидетельств. Никто не знал, что произошло. Процесс, следствие, приговор, исполнение приговора – все было сделано тайно. Как на все случившееся реагировал Есенин, до последнего времени не было известно. И лишь недавно в альманахе «Минувшее» появилось письмо художника Павла Мансурова, эмигрировавшего на Запад в 1928 году. Мансуров встретился с Есениным в «Англетере» за день до гибели поэта. На этой встрече были еще Николай Клюев, Устинов с женой и Вольф Эрлих. Письмо Павла Мансурова, написанное в 1972 году, адресовано О. И. Ресневич-Синьорелли. Письмо длинное, в нем идет речь об общеизвестных фактах, как Есенин читал Клюеву последние стихи, как Клюев съезвил, что эти стихи «для барышень». Но нас в данном случае интересует особо важное воспоминание Мансурова: «Когда Клюев... вышел на минутку и мы остались вдвоем, Есенин говорит мне: „Ты знаешь, какая стерва, этот Коленька... Но это, – говорит, – все ерунда, а вот не ерунда эта история с Ганиным... Ты знаешь, меня вызвали в ЧК, я пришел, и меня спрашивают: вот один молодой человек, попавшийся в 'заговоре', и они все мальчишки, образовали правительство, и он, его фамилия Ганин, говорит, что он поэт и ваш товарищ, что вы на это скажете? Да, я его знаю. Он поэт. А следовательно спрашивает, – хороший ли он поэт. И я, говорит Есенин, ответил не подумав, товарищ ничего, но поэт говенный“. Ганина расстреляли. Этого Есенин не забыл до последней минуты своей жизни...»

Поразительно, что об этом разговоре, мистическим образом, во всех подробностях, предвосхитившем разговор Сталина с Пастернаком о Мандельштаме, Есенин вспомнил за сутки до своей гибели.

Значит, в марте (ранее это было невозможно – Сергей еще был на Кавказе) Есенина вызывали в ЧК. Как раз в период его знакомства с Толстой, жениховства, смотрин, разрыва с Бениславской. Видимо, предчувствуя скорую развязку трагедии и, может быть, узнав в ЧК о деле Ганина гораздо больше того, что он рассказал Мансурову, Есенин прибег к испытанному не раз приему: дело не шуточное, значительно серьезнее, нежели все прежние, в которых он был замешан, так что надо бежать пока не поздно, скрыться, исчезнуть из Москвы... А то и его загребут под горячую руку...

Видимо, поэтому 27 марта, за три дня до расстрела Ганина, неожиданно для всех знакомых, предвкушавших развитие его романа с Софьей Толстой, жених сел в поезд Москва – Баку. Скорее под надежное покровительство Кирова! В Баку он прибыл 30 марта и сразу же, на всякий случай не останавливаясь в гостинице, поселился у Чагина.

* * *

Не следует думать, что Есенин, отшатнувшийся от троцкистско-партийной элиты, приблизился к сталинскому окружению после гипотетического свидания со Сталиным, наладившихся связей с Фрунзе, а также будущим вторым лицом в партии Сергеем Мироновичем Кировым. Вполне возможно, что жизнь поэта в Баку под покровительством Кирова и Чагина была не простой и что он чувствовал обволакивающие его путы дружеского партийного диктата. А ведь он, Есенин, не раз пытался не прямо в лоб, а бережно, не обижая самолюбия, объяснить Петру Чагину, что никому не следует распоряжаться его талантом. Хотя бы потому, что даже сам Есенин им не распоряжается, наоборот, его талант властвует над ним. Желая объяснить эту истину Чагину, он как-то показал на ржавый желоб в саду чагинской загородной дачи: «Видишь тот ржавый желоб? Я такой же, как он, но из меня течет чистый Кастальский источник поэзии...» По глазам увидел – ничего не поняли. Показательно письмо Чагина Есенину с добрыми партийными пожеланиями, как и о чем следует ему писать: «Дружище Сергей, крепись и дальше. Что пишешь? „Персидские мотивы“ продолжай, не вредно, но работай над ними поаккуратней, тут неряшливость меньше всего уместна. Вспомни уклон в гражданственность, тряхни стариной. Очень неплохо было бы, чтобы соорудить что-нибудь в честь урожая, не браваду и не державинскую оду, а вещь, понимаешь». В этом письме все – от первой до последней строчки – вызвало у Есенина отвращение: и снисходительное отношение власть имущих («"Персидские мотивы" продолжать не вредно»); и боярско-партийное убеждение, что можно указывать поэту, что есть «аккуратность», что есть «неряшливость». Петр Чагин фактически пытается учить Есенина, «как писать стихи». И уж, конечно, о чем писать – здесь у Чагина нет никаких сомнений, он-то знает: надо «соорудить» (стиль-то каков!) что-нибудь «в честь урожая». Чагин уверен, что это должна быть не «бравлада», не «державинская ода», а нечто наивысшее – «вещь», и, как равный к равному, чуть ли не как «поэт к поэту», обращается к Есенину: «ну ты же понимаешь»... Перед нами почти разговор Моцарта и Сальери. И в роли Моцарта выступает Чагин: «Мы с тобой, в отличие от непосвященных, от черни, ведь все понимаем». И это писал один из самых образованных партийных чиновников, один из тех, кто искренне любил Есенина. Что уж говорить о других!

Есенин не уклонялся от встреч с сильными мира сего. Более того – время от времени искал с ними свиданий, искал помощи, поддержки, но своим русским умом всегда верил, что, когда надо, как колобок: и от бабушки уйдет, и от дедушки уйдет. Поскольку понимал, что даже лучшие из них ценят его не за то, что он поэт, а за то, что он, как поэт, может послужить их делу, за то, что они надеются на выполнение им их социальных заказов, их партийной воли. Он же понимал, что воля новых хозяев жизни гораздо сильнее, гораздо могущественнее, нежели хозяев прежних, что от Чагина или Бардина зависит не меньше, а больше, нежели от полковника Дмитрия Ломана; что Киров или Троцкий могут оказать ему куда более полезное покровительство, нежели императрица Александра Федоровна. Но понимал он и то, что эти ребята потребуют от его души гораздо больше, нежели он может дать им. Все исследователи жизни Есенина восхищаются Кировым, который, после того как Есенин на даче в Мардакьянах читал партийной верхушке Азербайджана «Персидские мотивы», сказал с упрехом Петру Чагину:

– Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как он написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит – довообразит. Он же поэт, да какой!

Да, Киров относится к Есенину конечно же лучше, нежели Бухарин, Троцкий или Луначарский. Но даже в этих его благожелательных словах сколько бесцеремонного сознания своего могущества, своей спесивой непогрешимости, уверенности в том, что он-то, Киров, знает, что Есенину нужно, гораздо лучше, нежели сам Есенин. Вроде бы комплимент сказал: «Он же поэт, да какой!» А одновременно – партийное высокомерие, хамство сильного мира сего: ну что же, что не пустили в Персию! Он же довообразит, у него же профессия такая – «довоображать». Кому-кому, а уж Кирову, бывшему уездному газетчику, можно сказать, литератору, это известно лучше, нежели кому другому.

Как все просто: «Создай поэту иллюзию – и жди от него, что он, как курица, начнет нести золотые яйца». И мысль о том, что «в Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь», – весьма примечательна. Трудно сказать, что имел в виду Киров, может быть, воспоминание о судьбе Грибоедова навеяло ему подобные опасения, может быть, он знал о ссоре в Баку Есенина с Блюмкиным, который в это время находился в Персии, где вел нелегальную работу, и Киров не желал их встречи. Но дело не только в этом. А в том, что затравленный, обложенный уголовными делами, истерзанный партийной прессой после «дела четырех поэтов», не раз уже побывавший в ЧК, Есенин спасается в Баку, а Киров как будто ничего не знает об этой травле, об этих реальных опасностях, об уголовном преследовании... Палец о палец не ударит, чтобы оберечь Есенина от травли, подстерегающей поэта в России, и несет какую-то околесицу о том, что жизнь Есенина может быть в опасности, если он поедет в Персию. Поэт здесь, у себя на родине, живет «как иностранец», как «пасынок», как изгой. За его друзьями идет политически-уголовная охота, Ганин со своими соратниками уже расстрелян, а самодовольный Киров думает, что в России у Есенина все в порядке.

Есенин слышал эту тираду Кирова, обращенную к Чагину на даче, стискивал зубы, нервно закуривал, вставал из-за стола, уходил, чтобы успокоиться, по аллеям мардакьянской дачи. Дача, принадлежавшая ранее одному из бакинских нефтяных королей Мухтарову, была величественной. Сейчас она принадлежала второму секретарю ЦК Азербайджана Петру Ивановичу Чагину.

Из воспоминаний жены Чагина:

«В связи с болезнью свекрови мы в том году очень рано выехали в Мардакьяны на дачу. Было тихо. Дача была колоссальная: стройная тополевая аллея, несколько бассейнов. Один бассейн был очень красив, прямо сказочен. Он был огорожен круглой высокой каменной стеной, с чугунной витой решеткой наверху. Надо было подняться на высоту целого этажа по ступенькам до двери, ведущей в бассейн...»

«Поселил его (Есенина. – *Ст. и С. К.*) на одной из лучших бывших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями – ни дать ни взять – Персия!» – вспоминал впоследствии Чагин. Куда там особнякам Айседоры рядом с дворцами бывших российских миллионеров, перешедшими в руки новой знати.

Есенин хмурился, мрачнел лицом, вспоминал о сгоревшей константиновской избе, которая кое-как отстраивается на присылаемые им пятерки и десятки, о том, что, когда он вернется в Москву, – нельзя будет приткнуться в какой-нибудь лично ему принадлежащий угол. Опять жить приживальщиком при Бениславской, ютиться вчетвером в одной комнатухе или переезжать к нелюбимой Толстой. Или опять напрашиваться в Богословский переулок к осточертевшему Мариенгофу. Даже вещи и рукописи некуда собрать – что-то у Бениславской, что-то у Наседкина, шуба зимняя в Питере у Сахарова, чемодан с бумагами у Вардина. Тьфу! А ведь не раз ходил в Моссовет, и у Каменева был, и к Калинин уезжал, и в секретариате у Троцкого пороги околачивал. Шишки они все такие же, как и Киров, не меньше. И стихи любят и делают вид, что понимают... А на деле – никому он не нужен, только себе, Пушкину да Гоголю...

Да, он сделал после Америки сознательный шаг на сближение с властью. Написал «Железный Миргород». И сейчас подтвердил ей свое желание сотрудничать – написал «Стансы» и посвятил их не кому-нибудь, а партийному человеку Петру Чагину. Но ведь

никто из них не понял, что и здесь Есенин поступил по-пушкински, если вспомнить «Стансы» Александра Сергеевича:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Как и в наше время! Но Пушкин после 25 декабря точно предлагает компромисс Николаю с условием, что тот будет не просто вершить казнь и расправы, а продолжать петровскую политику созидания великой и культурной России:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращурю подобен,
Как он, неутомим и тверд
И памятью, как он, не злобен.

Пушкин как бы руку императору протягивает в своих «Стансах». Но ведь и он, Есенин, делает то же самое, лишь бы «памятью они были не злобны»... Не злобны... А что Алешку Ганина к стенке поставили вместе с молодыми ребятами, художниками Чекрыгиными? А где Борис Глубоковский, с которым он, Есенин, издавал «Гостиницу для путешествующих в прекрасном»? На Соловках... Все учат его писать – Киров учит, Луначарский учит, Чагин учит, Воронский учит. А он им всем сразу отвечает в своих «Стансах»:

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи – не очень трудные дела.

Для него, конечно, не очень трудные, а для них... Чего им еще надо? Ведь прямо же он говорит: «Хочу я быть певцом и гражданином». Не согласен с Некрасовым, не согласен в том, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Как это не быть поэтом, если он для этого создан? Если «не быть поэтом» – то никому он не нужен, ни им, ни себе...

Ведь уже сказал однажды яснее ясного:

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Нет, им все мало, все писать учат под видом дружбы. Вот Воронский, на что уж друг, и тот пишет: «"Стансы" режут слух, как гвозди по стеклу. Они небрежны, написаны с какой-то нарочитой подчеркнутой неряшливостью, словно поэт сознательно хотел показать: и так сойдет».

Так ведь эта якобы нарочитая неряшливость, она и есть его новое мастерство, его печальная ирония, его согласие быть с ними:

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

...Что они думают, будто бы он о нефтяных фонтанах и об индустриальной мощи будет писать с тем же трепетом, что о юношеской любви своей или о душе, которая по ночам улетает на заливные константиновские луга? Он ведь не исповедь пишет, а «Стансы». Пушкин в «Стансах» пошел на согласие с властью, и он, Есенин, шагнул по его «выбитым следам». Конечно, Воронский кое-что понимает, он не зря пишет, что в «Стансах» «за внешней революционностью таится глубочайшее равнодушие и скука; как будто говорит поэт: „Хотите революционных стихков, – могу, мне все равно, могу о фонарях, об индустрии, о Ленине, о Марксе. Плохо? Ничего, сойдет: напечатаете“... Угадал он здесь многое, да не все. Не угадал главного, того, что «хочу быть настоящим, а не сводным сыном»... Но никакого диктата над собой не потерплю... Ни троцкистского, ни кировского, ни ленинского. Он ведь об этом думал, когда говорил: «Конечно, мне и Ленин не икона». Но даже о Ленине его стихи они не сумели прочитать и понять. Аплодируют, хвалят, печатают. А того не понимают, что в «Капитане земли», которого он написал по заказу «Зари Востока», за два дня к годовщине смерти вождя, есть такие слова, над которыми умные люди задумаются. Он же прямо пишет:

Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия – его
Матросы.

Он, Есенин, помнит, как еще до октябрьского переворота популярный журналист Владимир Бурцев в газете «Общее дело» опубликовал списки всех, приехавших с Лениным в пломбированном вагоне: Инесса Арманд, Елена Кон, Григорий Бриллиант (Сокольников), Овсей Радомысльский (он же Гриша Зиновьев), Илья Мирингоф (почти что Мариенгоф), Майя Абрамович, Берк Ривкин... и так далее и тому подобное. А вслед за ними приехали будущие наркомы и дипломаты: Луначарский, Пинхус Вайнер, Давид Иоффе, Феликс Кон, какой-то Окуджава с Эренбургом... Да всех не перечислишь. Тогда Есенин не обратил внимания на этот список, а сейчас вспоминает и думает: «И эти „матросы“ с корабля Троцкого и из вагона Ленина будут, что ли, защищать интересы его крестьянской России? Нет, они будут защищать свою власть, а Россию постольку, поскольку она им нужна для этой власти...» Видел он этих «матросов» из американских троцкистских газет, подкатывались они к нему, чем кончилось – вспоминать не хочется. А кто поумнее – тот поймет, что именно такие же «матросы с разных стран» прибыли в ленинском вагоне. Но об этом молчок, это для самых умных. Несомненно, что Ленин – великий человек, «суровый гений», сумевший «потрясть шар земной», – написал он в «Гуляй-поле». Конечно, сам Ленин – «с плеча голов он не рубил», но почему при нем, по его воле, столько русских голов слетело с плеч? Да, он и его гвардия борются с анархией, с «отравившей нас свободой», с «междоусобным раздором». Но ведь только благодаря этой новой пугачевщине и новой стенке-разиновщине он смог прийти к власти. Было время, когда он ратовал за пугачевщину, опирался на нее, взмывая к высотам власти на волнах этой стихии. Да, конечно, сам лично «он никого не ставил к стенке, все делал лишь людской закон». Именно так написал он, Есенин. Но ведь должно быть всем понятно, что закон-то этот, ставящий к стенке, был ленинским. Им он написан, им утверждён. Именно по этому закону к стенке поставили Николая Гумилева, Алексея Ганина, запрятали в тюрьму его подругу Мину Свирскую... Киров, конечно, русский человек, но все равно он ихнюю коллективную волю выполняет... Как и Чагин... А у него, Есенина, своя собственная политика. Пусть это поймут раз и навсегда. Он прямо и откровенно сказал об этом в стихотворении «1 Мая»...

Об этом празднике в елейном тоне много позже напишет бакинский журналист В. Швейцер: «1 мая 1925 года Есенин встречал на рабочем празднике в Балаханах. Он переходил от группы к группе, оживленный, разговорчивый, поднимал тосты за рабочих, принимая тосты за поэзию.

Тонкие морщинки у щек изгладились. На бледные губы легла улыбка. Казалось, Есенин, озябший в своем уединении, грелся среди людского множества у праздничных костров человеческого тепла.

Киров дружелюбным, умным, чуть насмешливым взглядом следил за весенним походом поэта «в массы»».

...Внешне все было так, но что при этом чувствовал Есенин, знал только он сам. И об этом он рассказал в юбилейном стихотворении, которое стоит того, чтобы процитировать его целиком и разобрать по косточкам.

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгнуться, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.
Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я гордо выпил за рабочих
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот почему я пил четвертый
Лишь за себя.

Стихотворение никогда не считалось есениноведами серьезным и важным (так, экспромт какой-то!). Тем не менее оно наполнено всякого рода смыслом и даже несколькими тайнами.

«Пускай меня бранят за стансы...» «Стансы» были написаны поэтом осенью 1924 года в том же Баку. В них впервые открытым текстом, без оговорок, Есенин заявил о полном приятии новой власти, о том, что он хочет быть «певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, быть настоящим, а не свободным сыном – в великих штатах СССР», что он «полон дум об индустриальной мощи» и даже призвал себя к неслыханному подвигу: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем...» Название «Стансы» Есенин конечно же сознательно взял у Пушкина, который за сто лет до есенинского компромисса в стихотворении «Стансы» объявил о своем союзе с монархией, только что раздавившей декабристов.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

И Есенин демонстративно, как бы вслед за Пушкиным, поддерживает нового реформатора России:

Я вижу все.
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму нам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Судьба обоих «Стансов» – и пушкинских, и есенинских – была до удивления схожей: ближайшее окружение поэтов не приняло их.

Пушкина обвинили в измене прежним убеждениям и в лести. Но Александр Сергеевич быстро ответил обвинителям:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю.

(«Друзьям»)

Сергей Александрович же в ответ на глухие упреки в приспособленчестве, на обвинения критиков в том, что зря он, лирик, взялся за политическую тему, опять же, как бы рифмуя свою судьбу с пушкинской, пишет свой ответ «друзьям», но называет его «1 Мая»:

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.

В первой же строфе кроме пушкинского слова «стансы» стоит и второе пушкинское слово «лесть» («нет, я не льстец»). Двух случайных совпадений в одной строфе быть не может... Но дальше – дальше Сергей Александрович уже пошел по собственному пути.

Во-первых, он защищает свои «Стансы» от «брани» Воронского, не понявшего боли поэта за свое «сиротство», за то, что он не «настоящий», а «сводный сын» при новом режиме. Но при чем здесь «ложь и лесть»? Наверное, поэт ощущал на этом празднике и льстивую демагогию власти по отношению к массам, к «сорока тысячам», и какую-то еще не ясную ему до конца «ложь» в отношениях вождей и народа... Но тем не менее зрелище всенародного праздника конечно же было потрясающим! И поэт был предельно искренен, когда писал:

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть, как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.

Но откуда в его стихи залетели эти «сорок тысяч», какое-то магическое для него число, если вспомнить из «Пугачева» монолог о разгромленном войске: «Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. Сорок тысяч нас было, сорок тысяч, и все сорок тысяч за Волгой легли, как один...» То ли это число залетело, как постоянная роковая цифра в его стихи из официальных сводок о разгроме антоновского войска – их тоже было сорок тысяч! То ли однажды в юности он запоем, как и Гоголя, прочитал шекспировского «Гамлета», и слова «я вас любил, как сорок тысяч братьев любить не могут» поразили его и навсегда легли в его цепкую память? А может быть, это отголосок слов Фортинбраса из того же «Гамлета» о том, что идут полки, «сорок тысяч», «готовых лечь в могилу, как в постель»? Загадка!

Но, оглянувшись на тени великих Пушкина и Шекспира, Есенин тут же опускается на землю. Опасаясь того, что он впадает в слишком официальное историческое действие и в слишком хорошо знакомый ему «маяковский» пафос прославления социалистического строительства, он тут же с легкой самоиронией осаживает себя, заодно напоминая читателю, как скептически относится он сам и к Маяковскому, и к его журналу «ЛЕФ»:

Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

Стихотворение «разогналось», дошло до кульминации, и дальше начинается фантастическое, головокружительное по своей дерзости, точности и беспощадности описание праздника, во время которого Есенин, играючи как бы, с необыкновенным изяществом излагает всю свою иерархию ценностей.

Вспомним, что это был 1925 год, когда власть после тяжелейших лет войны, революции, разрухи, военного коммунизма, продрозверстки, нэпа стала искать общие слова с народом, примирения с ним, почву для строительства новой жизни. А самый простой и краткий путь к этому был праздник с братанием, хождением в народ, с речами, музыкой, танцами, выпивкой.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

То есть за «гостей», за власть. Однако для Есенина первый тост – совсем не означает «самый важный». А что же для него значительнее и дороже власти? А вот этот рабочий класс, эти «сорок тысяч братьев», которые напиваются – не поймешь: с радости, с горя ли, но он поэт – с ними.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я гордо выпил за рабочих
Под чью-то речь.

Поскольку речь говорил сам Киров, в скором будущем второе лицо в партии и государстве, то тем более весомо, что Есенин вспоминает его речь столь пренебрежительно: «чья-то речь» и ставит рабочую массу выше вождя.

Но Есенин – крестьянин, и крестьяне по душе и по судьбе роднее и понятнее ему, нежели пролетарии, а потому на следующую ступень этого своеобразного пьедестала он ставит крестьян.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Здесь даже слово «хан» не случайно: Есенин живет на даче бывшего миллионера-нефтепромышленника Мантулова. Но дело не в этом. Он как бы предчувствует, что власть в недалеком будущем не даст крестьянам пощады, что им еще придется «согнуться в хрипе» на Беломорканале и в эпоху коллективизации.

Стихотворение подошло к финалу, к развязке. Поэт уже выпил за все свои общественные чувства, как бы исполнив гражданский долг на виду у всего народа и его вождей, и перед тем как «вдрезину лечь» и окончательно «слиться с массами», вспоминает все-таки о самом главном. Отдав «всю душу октябрю и маю», вспоминает о своем призвании, о «милрой лире» в последний момент перед окончательным хмельным забвением. Последняя строфа – вершина его иерархической пирамиды, его заветный тост:

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот почему я пил четвертый
Лишь за себя.

«За себя», за свою «тайную свободу», за «Божью дудку».

Так внешне оптимистическое, праздничное единение власти, народа и поэта вдруг превращается у Есенина не в пьяную мелодраму, а в самоубийственную трагедию, где как бы «ложатся вдрезину» все «сорок тысяч» сестер и братьев и их поэт вместе с ними.

И последнее наблюдение.

Пораженный размахом всенародного праздника, «купающегося в солнечной пряже», Есенин конечно же знал, что его богемно-литературное окружение – московское, питерское, тифлисское – останется равнодушным к такого рода историческому событию, свидетелем коего он стал. Поэтому он и безнадежно махнул рукой в сторону салонной литературной братии:

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

То, что было для него потрясением («поражен», «ну как тут в сердце гимн не высечь» и т. д.), вызвало бы у них скептическую ухмылку.

Но и власть до конца не понимала тайного смысла этой первомайской мистерии. Поэтому Есенин «гордо выпил за рабочих» (а дальше какая издевательская интонация!) – «под чью-то речь».

Поэт мастерски, двумя буквально совпадающими по смыслу пренебрежительными строчками – «на чье-то „хны“» и «под чью-то речь» – поставил на одну доску и власть, и скептическую литературную среду, подчеркнув их сущностную безликость.

Глубокий мистический и противоречивый смысл происшедшего был понятен лишь ему, свободному человеку, наследнику Пушкина, «Божьей дудке».

...Перед последним глотком, перед тем как окончательно впасть в забвение, словно донеслось откуда-то из тумана: «Как на черный ерик, как на черный ерик ехали казаки – сорок тысяч лошадей. И покрылся берег...»

Глава тринадцатая Последние дни

Не умру я, мой друг, никогда.

С. Есенин

По возвращении в Москву Есенин закрутился в издательских делах.

Безденежье поджимало со всех сторон. Содержание домочадцев, постройка нового дома в Константинове, дети... Одна была надежда – большое количество стихов и поэм, написанных за последний год, и наладившиеся отношения с Госиздатом.

После издания откровенно халтурного сборника «О России и революции», куда были в беспорядке свалены стихи, написанные в разные годы (причем «и революции» добавили в заголовок редакционные работники), появились небольшие деньги. В приложении к «Огоньку» вышло «Избранное», и тогда же, в июне, кооперативное издательство «Современная Россия», в правление которого входил Есенин, выпустило «Персидские мотивы». Поэт подписал также договор на издание книги «Рябиновый костер»... Но все это были крохи.

И тогда в Госиздате созрела идея выпустить в свет есенинское собрание сочинений. Идея замечательная, сулящая обоюдную выгоду. Поэт одним махом решал свои материальные проблемы. Более того, это издание явилось бы достойным венцом длительного периода его творческой деятельности – более чем за десять лет. Собрание обещало прибыль и славу. И в Госиздате прекрасно знали, что внакладе не останутся – есенинские книги расходились мгновенно. Поначалу поэту предлагали шесть тысяч рублей, и он уже почти согласился, но тут вмешался Наседкин. Благодаря его настоянию и долгим увещаниям договор был подписан на десять тысяч.

В действиях Наседкина проглядывала не только забота о друге, но и определенный расчет. Есенин собирался жениться на Софье Толстой, а Наседкин, со своей стороны, добился согласия на брак от сестры поэта Екатерины. У нее завязался роман с Иваном Приблудным, но Есенин категорически воспротивился этому союзу: «Сойдутся два дурака – толку не будет» – и пригрозил сестре «ссадить ее со своей шеи». (Он поступил так же, как в свое время его дед, запретивший брак Татьяны Федоровны с любимым человеком и выдавший ее насильно замуж за Александра Никитича.) Кончилось же все это так, как и должно было кончиться. Через несколько лет Наседкин и Екатерина разошлись и на руках у Кати осталось двое детей. Но пока что «друг Василий» потирал руки, намереваясь за счет Есенина устроить и свою свадьбу.

Есенин договорился с Евдокимовым, давшим «добро» быть редактором собрания, о выплате аванса, из которого, правда, получил лишь небольшую часть (денег в Госиздате не было) и уехал в Константиново. За это лето он трижды побывал в родной деревне.

Родные радовались, показывали новый дом, расспрашивали про московскую жизнь и, конечно, интересовались насчет денег. Остальные смотрели с любопытством – как же, Серега приехал, столичный житель, писатель... И свой вроде и – чужой.

Галя Бениславская, вспоминая одну из таких поездок вместе с Есениным, Сахаровым и Наседкиным, красочно расписывала *дурное* поведение Есенина в деревне. Дескать, пил без удержу, играл ряженого, одевшись в сестринское платье, издевался над стариками, таскал ее по всей деревне, то в кашинский сад, то еще куда-то... Он действительно был в угнетенном душевном состоянии, бродил по родным местам, прощался с молодостью. Снова и снова переживал, вглядываясь в изменившийся до полной неузнаваемости облик милой стороны.

Еще в Баку он написал стихотворение, которое, казалось, подводило черту под прежней любовью. Переносясь от «нефтяных вышек» к родным местам, поэт был обуреваем идеей «воспеть, что крепче и живей».

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальнойю
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

«Железобетонная» идея, на которой строилось стихотворение, тут же дала трещину в самой своей основе. Шум мотора, в любви к которому признается поэт, называется «лаем», а скрип колес, от которого он хочет отказаться, – «песней».

Приезд в Константиново всколыхнул поэта, снова пробудил живительную силу в душе, и возникло громадное искушение поверить в свою полную сопричастность родному миру – как будто не было многих лет разлуки и ничего, по существу, не изменилось.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

Но эта сопричастность оказывалась на поверку той же иллюзией, что и жажда укрепления родной стороны «через каменное и стальное». И не случайно, думается, ни то, ни другое стихотворение не было включено им в собственное собрание, куда он стремился отобрать лучшее из написанного. Все декларации остались за его пределами – вошло туда совсем иное:

Коростели свищут... коростели...

Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

Для него немислимо было написать столь привычное нашему уху «отвык от родины». «Птицы милые» оплакивают встречу поэта с миром «таинственным и древним», любовь к которому неизбежна и теперь, когда остается, «впивая призрачную гладь», мечтать о мирном успокоении среди шума трав и свиста коростелей.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

* * *

По возвращении из деревни Есенин разорвал отношения с Бениславской.

Оскорбленная и униженная Галина в своих воспоминаниях окончательно расшифровала ту трагедию, которую она в это время молча переживала: «...Все изменилось в марте 1925 г. после его приезда с Кавказа. Я больше не могла выдумывать себе увлечения, ломать себя, тогда как я знала, что по-настоящему я люблю С. А. и никого больше. Единственное сильное чувство, очень бурно и необузданно вспыхнувшее к Л., я оборвала сама. Из-за нескладности и изломанности моих отношений с С. А. я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом. И перед возвращением его с Кавказа я еще раз решила, что как женщина уйду от него навсегда. И поэтому, закрыв глаза, не раздумывая, дала волю увлечению Л. И даже это я оборвала сразу, как только поняла, что от С. А. мне не уйти, эту нить не порвать...»

Есть предположение, что под инициалом «Л.» Бениславская имела в виду сына Троцкого Льва Седова. Сестра поэта Шура считала, что самоубийство Бениславской было обусловлено не только смертью Есенина, но и несостоявшимся браком с сыном Троцкого, а также тем, что при разделе есенинского наследства она, в сущности, бывшая несколько лет и литературным секретарем, и другом Есенина, которую временами он даже представлял как свою жену, оказалась ни при чем.

Когда до поэта дошло известие, что у Бениславской серьезный роман с Львом Седовым, он просто взбеленился.

Раньше он с порога отметал всякие нашептывания насчет того, что его подруга служит в ВЧК и что с ней надо быть поосторожнее. Не верил никаким слухам о возможной слежке за собой с ее стороны – знал Галину достаточно хорошо. Но сын Троцкого! Опять его пытаются затянуть в какое-то пакостное болото. Достаточно одной Берзинь, у которой личные отношения всегда сопровождаются «политикой». Но от Бениславской не ожидал...

Хватит! Собрав вещи, переехал на квартиру к Наседкину. Но сколько же можно мотаться по чужим углам? Часть вещей и бумаг у Сахарова. Часть – еще где-то. Ни угла, ни пристанища. Даже присесть поработать стало негде. Тогда и было принято окончательное решение – перебраться на квартиру к Толстой.

Еще раньше у Есенина завязались весьма серьезные отношения с Ириной Шалапиной – дочерью великого русского певца. Он полусуто говаривал приятелям: «Что лучше – Есенин и Шалапина или Есенин и Толстая?» Отношения, как можно предположить, развивались бурно и весьма драматично. Никто уже не скажет, с чего они начались и что послужило толчком к разрыву. Достоверно известно, что Есенин написал более двух десятков писем, адресованных Ирине Федоровне, которая уничтожила их – все до одного.

Так или иначе, поэт наконец-то обрел свой угол и рассчитывал зажить тихой, нормальной семейной жизнью. Но с этой иллюзией пришлось распрощаться в первые же дни.

«Милый друг мой, Коля! – писал он Вержбицкому. – Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ!

...С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...»

Есенин попал не в дом, не в свою квартиру, а, по сути, в литературный музей в Померанцевом переулке. Живых людей натурально вытеснял дух Льва Николаевича Толстого. Есенин хорошо помнил свое юношеское «толстовство», безоглядное увлечение «великим старцем». Теперь же «старец» не просто напоминал о себе. Нет, он упрямо и настойчиво лез в глаза. Его фотографии и портреты всюду, куда ни помотришь. И благоговейное отношение к великому деду – со стороны Софьи и ее матери – Ольги Константиновны.

Есенин полагал, что в этом доме центральной фигурой будет он – великий русский поэт, а оказалось...

Кроме того, он сразу же почувствовал крайне неприязненное отношение к себе со стороны тещи. Родственница генерала М. К. Дитерихса, командовавшего армией и фронтом в вооруженных силах колчаковской директории, проводившего расследование убийства царской семьи, она хранила тайну, боясь произнести лишнее слово. В доме соблюдались определенные традиции, поддерживался вековой уклад, и за всем этим таился естественный страх за свою судьбу. И вот в этот дом вламывается поэт с репутацией далеко не благополучной, с требованиями особого внимания к своей персоне... А еще и постоянные вспышки гнева, вызванные якобы невниманием к нему, писательские компании с водкой и чтением «советского»... Жестокие конфликты не заставили себя долго ждать.

– Надоела борода! Уберите бороду!.. Скучно!.. Раз борода, два, три, а тут – не меньше десятка! Надоело! К черту! – подобное приходилось слышать многим, посетившим Есенина.

Надо бежать. Вон из Москвы, и чем скорее, тем лучше. Куда? Можно на Кавказ, где его примут с распростертыми объятиями. А то – в Италию, к Горькому... О многом тогда они в Берлине не договорили. В Италию было бы здорово! Только там он хоть чуть-чуть отдохнул во время путешествия с Айседорой.

Горький, передавали, им интересуется. Просит прислать стихи, кажется, собирается что-то написать. Сам же Есенин читал все, что Алексей Максимович присылал Воронскому – «Автобиографические рассказы», воспоминания об Анне Николаевне Шмидт... Он собрался и даже начал писать письмо, которое так и осталось неотосланным:

«Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого. Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время. И шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне. Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все *мы* следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову».

По иронии судьбы в это же самое время Горький, прочтя роман Сергея Клычкова «Сахарный немец», писал Бухарину:

«Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, – даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая цензура тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревенелюбов, но критика – и нещадная – этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима...» Бухарин, как известно, постарался, выдал на-гора «нещадную критику»...

Но Италия пока далеко. Баку с Чагиным поближе. «Дорогой Петр Иванович! Вязну в хлопотах и жду не дождусь того дня, когда снова предстану у врат Бакраба... Завидую тебе за те звездочки, которые ты можешь считать не на небе, а на земле...» Скоро, скоро увидимся за коньячком, Петр Иваныч! А пока – сплошь заботы по собранию. Три тома будет. В первом – лирика, во втором – «маленькие поэмы», в третьем – большие вещи. И пусть тогда кто-нибудь заикнется про «исписавшегося» Есенина. Это собрание всех поставит на место!

Поэт наскоро сваливает в кучу стихи, поэмы, рукописи, вырезки... Евдокимов пожимает плечами: «Сергей! Разве можно так работать?» Да мне лишь бы поскорее! Ладно, разберем, составим как следует. Пока вот то, что есть, а композицию наметим.

В этой лихорадочности и торопливости близкие и знакомые видели только одну прогрессирующую болезнь. Разрабатывается план «лечения», то есть помещения Есенина в клинику. План этот вынашивают Наседкин с Екатериной и, конечно, Берзинь с Бардиным. С другой стороны, Чагин пишет письмо зав. отделом печати ЦК Иосифу Варейкису о необходимости отправить Есенина за границу для поправки здоровья.

В то время, когда друзья и знакомые сплетничали о вечном беспробудном пьянстве поэта, он работал как одержимый. Около сотни первоклассных стихотворений, не считая крупных поэм, за последние два года! Работал, как священнодействовал: мыл голову, приводил себя в порядок, ставил на стол цветы, поддерживал силы крепким чаем... А после работы – веселая компания, в которой – он это прекрасно знал – в лицо льстят, а за спиной говорят гадости. Он выпивал один-два стакана, после чего развязывался язык и пропадала всякая напускная вежливость. Когда находился в обычном состоянии, современники не видели более деликатного и нежного человека, который был сдержан и улыбался, разговаривая даже со своими врагами. После первой же рюмки отпускал все тормоза. Делал это сознательно, давая окружающим возможность списать все на «болезнь». Каждый скандал имел в основе своей серьезнейшую причину, когда Есенин разом вспоминал все сказанное и содеянное по отношению к нему. И тут уж не было удержу его чувствам.

Почти во всех случаях это был больше театр, чем натуральные выходки пьяного человека. Но все работало на создание репутации, а в душу свою поэт не позволял заглядывать почти никому и приоткрывался изредка ровно настолько, насколько сам считал нужным.

Вольф Эрлих вспоминал одно из посещений «Стойла Пегаса», когда Есенин, вошедший в это столь хорошо знакомое и донельзя опротивевшее заведение, тяжело опустился на стул и повел вокруг глазами с поволокой.

«Пока сидит Есенин, все – настороже. Никто не знает, что случится в ближайшие четверть часа: скандал? безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он

наконец подыметя и уйдет». А последняя фраза Эрлиха ставит все точки над «i»: «И все становится глубоко бездарным, когда он уходит».

Исаак Бабель, хладнокровный, трезвый, прагматичный человек, отнюдь не богомного склада, – и тот попал под влияние Есенина, когда во время одной из встреч с поэтом, покоренный его неистовой внутренней силой, вихрем, в коем поэт всех закручивал вокруг себя, принял участие в веселой пьянке, после чего не мог вспомнить, как попал домой без шляпы и бумажника. Потом только и вспоминал песню, которую пел Есенин на свою собственную мелодию и от которой и женщины, и мужчины плакали, не стыдясь и не утирая слез.

Эх, любовь-калинушка, кровь – заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

.....

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела – забубенная, была – ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

* * *

Минуты печали сменялись минутами безудержного веселья. Оно продолжалось и на Кавказе – и оканчивалось подчас весьма печально. «Дружище Сергей, – писал Чагин, – ты восстановил против себя милицейскую публику (среди нее, между прочим, партийцы) дьявольски. Этим объясняется, что при всей моей нажимистости два дня ничего не удавалось сделать, видимо, из садистических побуждений милиция старалась тебя дольше подержать в своих руках».

А всего-то навсего Есенин, поссорившись с Толстой, вышел на улицу, подхватил какую-то домашнюю собачку и заявил хозяйке, что отправится с ней гулять. Он тянулся к любой домашней живности – подолгу шепотом беседовал с какой-нибудь лошастью или искал бездомных собак, для которых у него в кармане всегда была приготовлена какая-нибудь снедь. В расхристанном душевном состоянии решил побеседовать с чужой собачонкой, ну и нарвался на очередную неприятность. «Сижу со своим благоверным, – отписала Толстая Наседкину, – с Божьей помощью четырнадцать часов в 5-м районе милиции города Баку... Он весь, весь побитый, пораненный. Страшно милый и страшно грустный».

Еще весной Чагин пригласил «на Есенина» двух весьма известных и влиятельных людей – Михаила Фрунзе и Сергея Кирова. Есенин очаровал их своими стихами, и ответственные товарищи дали понять, что не намерены выпускать поэта из своего поля зрения. По крайней мере Киров беседовал на эту тему с Чагиным, собираясь взять Есенина под свое покровительство.

Так поэта начало затягивать в смертельную политическую воронку, из которой ему уже не суждено было выбраться. И Фрунзе, и Киров, и их ближайший друг Куйбышев, также

положительно отзывавшийся о Есенине, были весьма влиятельными фигурами в партийном и государственном раскладе 1925 года. Киров являлся человеком Сталина. Фрунзе заменил Троцкого на посту наркома по военным и морским делам, но в большей степени склонялся в сторону «левой оппозиции», во всяком случае, он был одним из участников неофициального совещания в пещере близ Кисловодска летом 1923 года, в котором приняли участие Зиновьев, Лашевич и Орджоникидзе и где была поставлена задача уравновесить «простаалинские» кадры в Оргбюро и Секретариате ЦК. Каждый из них разыгрывал свою партию и готовился к решающей борьбе, кульминация которой пришлось на конец 1925 года.

На Кавказе уже происходили весьма интересные события. 19 марта в своем кабинете скоропостижно умирает председатель совнаркома Азербайджана Нариман Нариманов, окончивший в свое время ту самую Горийскую учительскую семинарию, где учился товарищ Коба. 22 марта, за несколько дней до открытия партконференции Закавказской республики, в авиакатастрофе гибнут председатель совнаркома Армении Мясникян (окончил ту же семинарию), видный чекист и главный редактор журнала «Красный пограничник» Могилевский, а также председатель Закавказской ЧК Атарбеков. Началась междоусобная война.

31 октября на операционном столе умирает Фрунзе. Его смерть обескуражила Есенина. «Я плачу о нем, плачу!» – все время повторял он – потеря возможного покровителя смешивалась с явной тревогой за судьбу Воронского.

Какая здесь связь? Самая прямая. Воспользовавшись случаем, Воронский стал подготавливать политическую акцию, непосредственное участие в которой принял Борис Пильняк. И Есенин был в курсе дела.

Но прежде чем говорить о ней подробно, стоит вспомнить, каково было положение Воронского к концу 1925 года. После совещания 9 мая 1924 года были сделаны необходимые оргвыводы. Бардину, как говорил Есенин, «сломали позвоночник», и журнал «На посту» был закрыт. К Воронскому же в качестве комиссара был приставлен Федор Раскольников – профессиональный революционер, бывший командующий Волжской флотилией, известный дипломат и менее известный международный шпик, работавший на несколько разведок одновременно. Кроме того, он был известен и как драматург (абсолютно бездарный), человек, близкий к «напостовцам» и разделявший все их установки.

Воронский не мог не почувствовать железную лапу этого партийца в редакции с первого же дня его появления. Мало того, он вдруг ощутил, что после смерти Ленина у него фактически не осталось наверху покровителей. В любой момент он рисковал быть вышибленным с треском. И тогда он решился на отчаянную авантюру по принципу: либо пан, либо пропал.

С быстротой молнии расползлись слухи о неестественной смерти Фрунзе, о том, что он умер под ножом во время совершенно ненужной операции, проведенной по прямому приказу Сталина. Слухи эти нашли свое отражение, в частности, в стихотворении Пимена Карпова «История дурака» – русского дурака, которое, к счастью для поэта, осталось в ящике его письменного стола. В стихотворении с потрясающей точностью воплощена картина всеобщего взаимоистребления, дикое зрелище внутривластной схватки, в которой летели головы простого люда, вкусившего отраву политической демагогии.

Ты страшен. В пику всем Европам...
Став людоедом, эфиопом, —
На царство впер ты сгоряча
Над палачами палача.
Глупцы с тобой «ура» орали,
Чекисты с русских скальпы драли,
Из скальпов завели «экспорт» —
Того не разберет сам черт!
В кровавом раже идиотском

Ты куролесил с Лейбой Троцким,
А сколько этот шкур дерет —
Сам черт того не разберет!
Но все же толковал ты с жаром:
«При Лейбе буду... лейб-гусаром!»
Увы! – Остался ни при чем:
«Ильич» разбит параличом,
А Лейба вылетел «в отставку»!
С чекистами устроив давку
И сто очков вперед им дав,
Кавказский вынырнул удав —
Наркомубийца Джугашвили!
При нем волками все завыли:
Танцуют смертное «танго» —
Не разберет сам черт того!
Хотя удав и с кличкой «Сталин» —
Все проплясали, просвистали!..
Дурак, не затевай затей:
Пляши, и никаких чертей!

Оставим в стороне тему – была ли смерть Фрунзе естественной или насильственной. Суть в другом – в том, что происшедшее было использовано как козырная карта в политической игре. Воронский изложил версию убийства Фрунзе Пильняку, который в мгновение ока разразился «Повестью непогашенной луны». Как художественное произведение названная повесть не представляла собой ничего выдающегося, но шуму наделала много. Трезвомыслящие люди не могли не заметить здесь чистой воды политиканства. Об этом, в частности, написал Чапыгин в одном из писем к Горькому. Что касается Есенина, то цинизм и откровенное делячество Пильняка давно уже вызывали у него чувство брезгливости. Он порвал с ним всякие отношения, услышав широковещательное заявление модного писателя: «Искусство у меня вот где, в кулаке зажато. Все дам, что нужно и что угодно. Лишь гоните монеты. Хотите, полфунта Кремля отпущу». Передавая эти слова Тарасову-Родионову, Есенин долго еще не мог успокоиться: «Спекулянт! Говно собачье! „Полфунта Кремля“!..»

Пружина сжималась все туже и туже, а Есенин успокаивал нервы вином, гнал от себя дурные предчувствия и сидел в Мардакьянах, ожидая случая махнуть куда-нибудь подальше. И тут приходит извещение из Госиздата – необходимо срочно быть в Москве, сдавать рукопись собрания в окончательном виде. Так! Ни о Тифлисе, ни об Абастумани нет и речи. «Классиком становлюсь. Надо все сделать как следует». Есенин бросается в Москву.

Но его преследует какой-то рок. Не успел доехать до столицы, как влип в очередную историю.

Из рапорта дипломатического курьера НКВД Адольфа Рога:

«На обратном пути моей последней командировки, в поезде начиная от Баку было несколько случаев попыток ворваться в занимаемое нами купе Есенина, известного писателя. Причем при предупреждении его он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием, сопровождая эти слова также многообещающими энергичными жестами, которые не были пущены полностью в ход благодаря сопровождавшему его товарищу. По всем наружным признакам Есенин был в полном опьянении, в таком состоянии он появлялся в течение дня несколько раз...»

По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левит, член Моссовета, но последнего Есенин не подпустил к себе и обругал «жидовской мордой».

Левит также засвидетельствовал, что Есенин «всю дорогу пьянствовал и хулиганил в вагоне». Сам же Есенин, давая показания по адресу дипкурьера Рога, отметил, что «сей

гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями... Гр. Левита я не видел совершенно и считаю, что его показания относятся не ко мне... Гр. Левит никаких попыток к освидетельствованию моего состояния не проявлял...».

В Москву приехал нервный и взвинченный, но благо был повод быстро успокоиться. Закипела работа над собранием сочинений. Поэт регулярно появлялся в издательстве у Евдокимова, где они обсуждали план собрания, обдумывали композицию, разбирали рукописи. Есенин унес гору бумаг в Померанцев переулок, подключил к работе Толстую... Но долго и усидчиво заниматься рукописью не мог. Накатил очередной прилив творческого вдохновения, и он не столько работал над собранием, сколько над новыми стихами.

В шутку потом говорил Евдокимову: «Смотрю первый том и вижу: нет стихов о зиме. Весна, осень, лето есть, а зимы нет. Надо будет написать...»

Шутки шутками, а музыка зимнего пейзажа начала овладевать им уже на Кавказе. Мотив тихой метельной ночи, снежной равнины, залитой лунным светом, все настойчивее вторгался в его стихи. Он был под стать теперешнему настроению.

...Где-то лают собаки, поскрипывают санные полозья, деревья словно беседуют друг с другом, склоняясь и треща под порывами ветра. Налетела метель и угомонилась, снова тишина и покой, навевающие странные мысли о близкой смерти.

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Лунный свет, вызывавший приступы ужаса несколько лет назад, теперь заливал его «зимние» стихи. Он, как знак потустороннего, неотмирного, играл и переливался уже в «Персидских мотивах» («Волнистая рожь при луне», «При луне собачий слышен лай», «Лунным светом Шираз осиянен», «Золото холодное луны»...) Теперь же *все* действие в каждой стихотворной миниатюре разыгрывается в лунную ночь, в мире холодного сияния и призрачных теней...

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

«Снежная замья дробится и колется. Сверху озябшая светит луна...», «Вечером синим,

вечером лунным был я когда-то красивым и юным...», «Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне?», «Синий туман. Снеговое раздолье. Тонкий лимонный лунный свет...», «Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы...» – и так через всю лирику последних месяцев. Луна, когда-то поруганная и оскорбленная в «Исповеди хулигана», распростерла над поэтом свое световое покрывало, и этот свет уже не кажется ему чужим и враждебным. Кончилась пора солнечных дней, душа, кажется, вылюблена до дна, и любимый синий свет теперь видится в лунном сиянии... Солнечный Пушкин пропадает в туманной дымке, и выходит из нее, обретая зримые очертания, любимый с раннего детства Лермонтов, что «как поэт и офицер был пулей друга успокоен». Тянет перечитать «Тамару», «Сон», «Дубовый листок...» и любимое – «Выхожу один я на дорогу...» – «Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем, холодным сном могилы...». А перед сном – обязательно помолиться, как молился этот гусар-мальчишка – вечная тайна русской поэзии. «Я, матерь Божия, ныне с молитвою пред твоим образом ярким сиянием не о спасении, но перед битвою, не с благодарностью иль с покаянием...» И напеть на собственный мотив: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить...» Эту песню он повторил почти буквально в последних стихах – лермонтовская нота властно вторгается и заставляет настраивать по ней свою лиру: «Не шуми, осина, не пыли, дорога, пусть несется песня к милой до порога. Пусть она услышит, пусть она поплачет. Ей чужая юность ничего не значит...»

В этом безжизненном лунном сиянии только изредка доносятся звон колокольчика или звуки тальянки, как напоминание о жизни, о человеческом присутствии среди тишины заснеженного пространства: «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело! Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?..», «По равнине голой катится бубенчик...»

«Не могу остановиться», – сказал он Наседкину, прочитав ему последние стихи. Их настроение показалось Наседкину странным. «С чего это ты запел о смерти?» – спросил он, словно почуяв что-то неладное. Есенин, как будто готовый к этому вопросу, начал с жаром доказывать, что, только думая о смерти, поэт может особенно остро ощущать жизнь.

Он действительно переживал в это время какое-то новое свое рождение. Думы о смерти не убавляли интереса к жизни и жажды ее, но, наоборот, лишь пробуждали. Только исчезло прежнее надрывное «Я хочу жить, жить, жить! Жить до страха и боли...» – вместо этого пробудилось чувство полной уравновешенности всего сущего. Это чувство появилось в его стихах год назад, но с какой-то новой силой зазвучало лишь осенью – зимой 1925 года.

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил —
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

.....

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.

Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.

Но как только проходило вдохновение и приходилось возвращаться к обыденной жизни, поэт поистине места себе не находил.

На горизонте маячил новый суд. Самого его не покидало ощущение непрестанной слежки и очередных провокаций. Не ладилась и отношения с Толстой, даром что недавно зарегистрировали они свой брак. Дом – не дом, жена – не жена, друзья – не друзья, сплошь собутыльники. И нервная, изматывающая работа над собранием сочинений.

«Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь – сделают все не так, как надо», – писал он в одном из писем Галине Бениславской в 1924 году, ведя речь о предполагавшемся собрании стихотворений в издательстве «Круг». Что уж говорить о трехтомнике! (После смерти поэта редакторы все сделали на свое усмотрение – ни последних стихов, написанных в декабре 1925 года, не включили в основной корпус, ни композицию второго тома не соблюли, и снятые Есениным в наборном экземпляре даты, в которых у него самого не было ни малейшей уверенности, восстановили в первоначальном виде.)

Работа была напряженная. Есенин сидел в библиотеке, просматривал старые публикации, потом разбирал рукописи. Проставлял даты, вычеркивал, снова проставлял. Советовался с женой и тут же скандалил с ней из-за очередного промаха в расположении материала. В конце концов сделал два тома, оговорив при этом, что состав не окончательный и в первый том он еще добавит лирические стихотворения, а в третий том намерен включить поэму «Пармен Крямин», насчитывающую, по приблизительному подсчету, 500 строк. Куда делась эта поэма? Неизвестно. После смерти Есенина она так и не была обнаружена.

Дмитрий Фурманов, один из редакторов Госиздата, настоял на том, чтобы Есенин приложил к собранию автобиографию. Есенин, проклиная все на свете, взялся писать ее, переписывая целыми кусками прежние автобиографии. Получилась полная «липа», но лишь бы отвязались, наконец, лишь бы поскорее запустить тома и получить гранки.

Сдача в производство была намечена на ноябрь. Окончательную проверку дат и шлифовку всей работы Есенин отложил до корректуры.

Встречался со старыми знакомыми. Навестил Мариенгофа. Присел у кровати маленького Толиного сына. Бывшие друзья как бы молча вычеркнули из памяти свою ссору. Есенин недолго посидел и ушел.

Забрел к Миклашевской. Тоже присел у кровати ее сынишки. Произнес: «Вот и все, что мне нужно». Поднялся и исчез.

Навестил Зинаиду Райх и детей. Как со взрослой поговорил с Танечкой, возмутился бездарными детскими книжками, которые его ребяташки читают. Произнес: «Вы должны знать *мои* стихи». Очередной разговор с Райх закончился скандалом и слезами. «Требует, тянет, как из бездонной бочки. Можно подумать, впроголодь живет. Это за спиной у Мейерхольда!»

Вспомнил премьеру эрдмановского «Мандата», блистательную игру Эраста Гарина в роли Гулячкина. «С этим мандатом, маменька, я всю Россию переарестую!» Смеялся тогда от души. А потом словно осекся. И в коридоре выговаривал режиссеру.

– Всеволод, что же ты делаешь? Они-то чем виноваты, люди маленькие? А ты смеешься над ними, и я смеюсь вместе с тобой и ненавижу тебя за это. Ты лучше послушай... – начал читать несколько строк из «Пугачева». – Ну что, плохо? А ты обманул, Всеволод, не поставил.

Не поставил... «Пугачев» ему не нужен. А Коля Эрдман – пожалуйста, с дорогой душой... «Смейся, паяц»... над запутавшимися, несчастными, оскорбленными в лучших чувствах людьми. Да-а-а, посмотришь вокруг... Все в Москве стали какие-то... поруганные.

Об этих последних встречах у современников сохранились самые разнообразные воспоминания. Но сходятся они на одном: каждый мемуарист старается убедить себя и

читателя в том, что уже тогда поэт готовился к смерти, что он догорал, что жить ему осталось недолго. И каждый, дескать, это видел и понимал, но сделать ничего не мог. Кто вспоминает есенинские слова о том, что у него чахотка... Кто приводит фразы типа «ну вот, с последней жизнью простился» или «попрощаюсь с Пушкиным... Может, я далеко уеду...». И все в один голос, как сговорились: допился, догулялся до белой горячки, бедняга.

Что верно, то верно: Есенин, бывало, жаловался в эти дни и на охватившую его тоску, и на то, что ему трудно работать, потому что у него «нет соперников», и что ему «надоело все»... Подобные минуты проходили, настроение менялось, он оживлялся и преображался, чтобы через какое-то время снова впасть в удрученное состояние. Он обладал острейшей интуицией и поистине звериным чувством опасности. Буквально нутром своим он ощущал: кольцо сжимается. Откуда придет опасность, не знал. Но знал, что долго ждать не придется.

– Я не могу! Ты понимаешь? Не могу! Ты друг мне или нет? Друг! Так вот! Я хочу, чтобы мы спали в одной комнате! Не понимаешь? Господи! Я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить! Я как зверь чувствую это!

Вольф Эрлих, к которому были обращены эти слова, вспоминал в дальнейшем, что Есенин в поезде по дороге в Москву еще раз повторил, что был прав, говоря, что его хотят убить и что потенциальный убийца сам ему признавался, как дважды подбирался к его комнате и непременно зарезал бы, если бы Есенин был один.

Нам еще предстоит узнать, насколько реальную почву имели под собой все эти разговоры. А пока отметим одно: Есенин всеми возможными способами стремился в последний год заковать смерть, отвести ее от себя, ускользнуть из-под ее ледяного крыла.

Он сбросил с балкона свой бюст из гипса работы Конёнкова. Дескать, если мое изображение разбилось на части, значит, смерть просвистит мимо.

В самых непотребных забегах он бесстрашно вступал в любые потасовки и два или три раза действительно находился на волосок от гибели. Что называется, искушал судьбу. Пронесло? Значит, еще проживем. В Тифлисе он едва не ввязался в потасовку в одном из духанчиков. Удержали грузинские друзья-поэты. Георгий Леонидзе крикнул ему тогда:

– Смотри, Сергей! Христофора Марло убили в кабацкой драке.

Там же, в Тифлисе, предложил Георгию драться на дуэли. «Зачем?» – удивился тот. «Ты что, не понимаешь? – последовал ответ. – Завтра все узнают, что Есенин и Леонидзе дрались на дуэли. Неужели это тебя не соблазняет?»

Шумел, чтобы не забыли, по своему обыкновению? Да, но не только. Опять проверял – настал его час или еще нет? Пережил сию минуту? Не убьют и впредь.

Пушкин, Лермонтов постоянно маячили перед его глазами. Дуэль так дуэль. Проглотить вишенку, выплюнуть косточку, посмотреть в небо. А там – можно и в воздух пальнуть. Ну, что? Орел или решка?

Придя однажды к Зинаиде, Есенин сообщил ей о своей будущей поездке в Персию, затем мрачно произнес: «И там меня убьют». Кавказ... Персия... Восток... Крестный путь русских гениев. У подножия Мтацминды стоял, не отрываясь от решетки, за которой, в глубине небольшого грота, была могила Грибоедова. Вспомнилось пушкинское «Путешествие в Арзрум»: «Откуда вы? – Из Тегерана. – Что везете? – Грибоеда!»

В Москве позвонил сестре Ани Назаровой, и та услышала в трубку, что «умер Есенин»... Переполох, слезы, брань – когда узнали, что это, с позволения сказать, шутка... От скуки «разыграл»? Да нет... Скорее всего в очередной раз заклинал смерть. Ну, авось теперь-то у старухи ни черта не выйдет!

А однажды так прямо и заявил Грузинову:

– Напиши обо мне некролог.

– Некролог?

– Некролог. Я скроюсь. Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь.

И выкрикнул с каким-то диким торжеством и надсадой:

– Посмотрим, как они напишут обо мне! Увидим, кто друг, кто враг!

Он-то прекрасно понимал, что «кто друг, кто враг» со всей очевидностью станет ясно только после его смерти. Но жаждал узнать это при жизни, причем таким образом, чтобы никому уже невозможно было скрыться ни за какой лестью.

Цену себе знал и проговаривался в минуту откровенности: «Когда помру – узнаете, кого потеряли. Вся Россия заплачет». Во время одной из последних встреч с Мариенгофом проронил: «Толя, когда я умру, не пиши обо мне плохо», – словно знал, *какие* мемуары напишет о нем бывший друг. А при последнем посещении Госиздата перед отъездом в Ленинград уговаривал Евдокимова «выкинуть к черту» написанную им автобиографию: «Ложь, ложь там все! Любил, целовал, пьянствовал... не то, не то...» Критику о себе читал с горьким смехом и словно предчувствовал, что разразится на страницах газет и журналов после того, как его не станет.

Когда Евдокимов стал ему говорить, что он не может сам написать о Есенине, ибо не знает, как жил поэт, Сергей задумался, а потом вдруг закричал, и в голосе его слышались похвальба и презрение одновременно: «Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут!»

При жизни поэт читал о себе статейки в лучшем случае поверхностные, в худшем – просто издевательские. А еще интереснее было знакомиться с пародиями. Одна из них, напечатанная в «Жизни искусства», как бы сконцентрировала в себе всю критическую «есениниану» и всевозможные слухи и сплетни, тянущиеся за поэтом наподобие черного шлейфа.

Я лицом румяный и пригожий,
С воскресенья пьян до воскресенья.
Оттого зовут меня Сережей,
Оттого фамилия – Есенин.

Я людей обманывать не стану,
У меня душа почти эсерка.
Я летел с Дункан в аэроплане,
Почитай, почти от Кенигсберга.

Мне цилиндр уборов всех милее,
От него так пахнет старой пылью.
Я бросаюсь кобелю на шею
И целую голову кобылью.

За скандал в московском ресторане
Нападают «Красные газеты»...
Ах, кабы я ведал это ране,
Я бы понял, что у нас Советы.

Но теперь ругаться я не стану,
Потому что понял сердцем мгlistым —
Отчего прослыл я шарлатаном,
Отчего прослыл я скандалистом.

В эти последние дни настал наконец срок свести счеты с «черным человеком», воплотившимся в легендах и сплетнях, провести грань между собой и черным мифом, созданным как самим поэтом, так и окружающими его людьми. Поставить в этом поединке точку.

* * *

Поэма «Черный человек» писалась на протяжении двух лет и насчитывала несколько вариантов. Первоначальный текст поэмы Есенин привез из-за границы, и одним из первых ее слушателей был Мариенгоф, который тогда же сказал: «Совсем плохо. Никуда не годится». Этот вариант, как вспоминали слышавшие его современники, был длиннее и трагичнее, чем окончательный. Текст его нам, к сожалению, неизвестен, и мы не можем проследить трансформацию замысла. Но так или иначе, в конце 1925 года Есенин создает иной вариант поэмы. Можно предположить, что поэт вполне сознательно полностью лишил ее всякой драматургии – перед ним стояла совсем иная задача. Исчезли и заграничные реалии, которые имели место в первом варианте.

Некоторые из встречавшихся с Есениным в последние месяцы вспоминали потом, что поэт с какой-то нарочитой пренебрежительностью относился к своим лирическим стихам, написанным за последний год. Дескать, то ли исписался, то ли вообще все надоело, то ли уже готовился к добровольному уходу из жизни. А то, что происходило с Есениным, заслуживает отдельного разговора.

Он действительно, работая как проклятый, создавая поэтические шедевры один за другим, уже не чувствовал прежнего удовлетворения. Слишком легко стали даваться стихи. Для него уже не существовало тайн поэтического творчества, и, казалось, он подошел к некоему пределу в своем творческом развитии и в смущении остановился перед ним. Работа уже не доставляла ему прежней радости, пропало ощущение победы, достигнутой после тяжелого преодоления сопротивления поэтического материала. Легенда о Маяковском как о великом труженике, переворачивавшем «единого слова ради тысячи тонн словесной руды», оказывается лишь легендой, когда начинаешь думать о Есенине как о работнике. Он-то в отличие от Маяковского не придавал никакого значения комфорту внешнему или внутреннему. Чем тяжелее стояла перед ним творческая задача, тем с большим вдохновением он ее решал. Ощущение дискомфорта возникло тогда, когда этого удовлетворения не стало, когда даже избитые выражения приобрели под пером мастера свой первоначальный смысл, все поэтические горизонты казались достигнутыми. Потому-то он и думал начать повесть или роман, перейдя на прозу, рассчитывая преодолеть новый порог, вновь ощутить ту радость творческой победы, что приходит после тяжелого напряженного труда.

Работа над «Черным человеком» вернула ему прежнее чувство. Сопротивление материала было колоссальным, душевная и духовная сила достигала такой концентрации в процессе работы, какой он уже давно, казалось, не испытывал. Эта победа стоила всех предыдущих!

К ноябрю поэма приобрела совершенно новый вид, но и это был еще не окончательный текст. Слишком много значила она для Есенина, и он упорно работал, шлифуя каждую строчку. Наседкин вспоминал, как дважды заставлял поэта в цилиндре и с тростью перед зеркалом, «с непередаваемой, нечеловеческой усмешкой разговаривавшим с... отражением или молча наблюдавшим за собой и как бы прислушиваясь к себе». Картина, что и говорить, не тривиальная для постороннего свидетеля. И вполне естественно, что Василий пришел к однозначному выводу: допился друг до ручки. А это была своего рода постановка спектакля, уже нашедшего воплощение в тексте.

Есенин никогда не работал в «черновом» состоянии и недвусмысленно высказался однажды, отменяя все подозрения на сей счет: «Я ведь пьяный никогда не пишу». А уж эта сверхнапряженная работа требовала особенно ясной головы и абсолютной чуткости каждого нерва.

Он читал еще незаконченную поэму друзьям в Питере в начале ноября. Окончательный же беловой текст был записан 12–13 ноября и передан в редакцию «Нового мира».

Действие поэмы разворачивается глубокой ночью в полнолуние, когда силы зла властвуют безраздельно и приходят соблазнять душу поэта. Тихий зимний пейзаж, уже знакомый нам по последним лирическим стихотворениям, на сей раз теряет свою

умиротворенность, и кажется, что снова нечто угрожающее притаилось в самой ночной тьме, каждое дуновение ветра воспринимается как предвестие появления «прескверного гостя»... Ощущение страшного одиночества рождает желание обратиться к неведомому другу, который, увы, не придет и не протянет руку помощи.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее [в] ночи
Маячить больше невмочь.

Голова, размахивая «крыльями» в ночи, напоминает черную птицу – вестницу несчастья в «Пугачеве». Природа снова начинает угрожать и пророчить недоброе, словно нечисть в гоголевском «Вие», бушующая вокруг Хомя Брута, она – лишь предвестие появления самого страшного: «Поднимите мне веки. Не вижу». «"Не гляди!" – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул».

Поэт же вступает в поединок с нечистью, не очерчивая себя заветным кругом. Он должен заглянуть в покрытые «голубой блевотой» глаза черного гостя, так напоминающего его самого и в то же время – каждого из недавних знакомцев во фраках и цилиндрах, собирающих все черное, что окружает стихотворца, проникает ему в душу, дабы потом вытащить по строчке, извлечь по крупичкам все самое отвратительное в его жизни и составить из этой мерзости свой портрет поэта.

Жизнь «какого-то прохвоста и забулдыги» разворачивает перед ним «прескверный гость», внушая, что иного портрета нет и быть не может. Так черт некогда сводил с ума Ивана Карамазова. Так Дориан Грей в ужасе смотрел на свое портретное изображение, которое становилось с каждым годом все безобразнее.

«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

.....

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но хватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой

И своею милою».

«Счастье, – говорил он, —
Гсть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

Прескверный гость бьет в самые уязвимые места. Да и он, Есенин, «казался улыбчивым и простым», да, называл некогда сорокалетнюю балерину «скверной девочкой и своею милою»... Да, и «страной негодяев» величал любимую Россию, – только сейчас слышит поэт не свой голос, не изнутри он исходит. Это и есть тот самый собирательный образ его, который с таким упоением обслонявливают и обсасывают в помоечных околотитературных углах. Но мало того, это чудовище, принявшее облик поэта, обвиняет его в том, что он, Есенин, – «жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то». Да, и это доводилось слышать. Дескать, что в нем самостоятельного – сначала под Клюева работал, потом под Блока, затем под Бальмонта...

А сам он разве неповинен в этой легенде? Разве не сам создавал ее – дабы на нее «клевали», а в душу не лезли? Вот и пришла расплата. Черный человек лезет именно в душу, сверлит насквозь своими мутными глазами... Так нет же, «ты ведь не на службе живешь водолазовой», до дна души моей все равно не достанешь. Пусть другие слушают, а я не стану...

И все же придется выслушать до конца.

Снова раздается плач «ночной зловещей птицы», и как новое предвестие появления Черного человека слышится топот копыт – деревья, как всадники, съезжаются в саду, воскрешая в памяти пугачевский деревянный табун, рвавший навстречу гибели. И снова появляется он, затягивая на сей раз другую мелодию, заходя с другой стороны... Ждали мы, давно ждали этой минуты. Сейчас он «пройдется» по «Москве кабацкой», да так, как не проходила по ней никакая сволочь, выворачивающая стихи наизнанку:

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Вот и вся «любовь». И все вы, дескать, таковы: народец, правда, забавный, но если на что и способны, так это на «дохлую томную лирику» ради «толстых ляжек».

Поэт терпит до конца. И срывается только тогда, когда в речи гостя возникает образ «мальчика в простой крестьянской семье, желтоволосого, с голубыми глазами»... Ладно, вывернул ты меня наизнанку, собрал всю грязь, но уж этого, шалишь, этого я тебе не отдам.

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».

Давно, давно разносится...

Пушкин видел его, и пушкинский Моцарт не знал покоя от его посещения и, уже создав «Реквием», все не мог отделаться от ощущения, что «как тень за мной он гонится», и кажется, что здесь, за столиком в трактире, «сам-третей сидит»... А в руке у собеседника уже зажат перстень с ядом. Снова вспомнилось пушкинское: «...он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы...» И продолжается, и долго еще будет продолжаться это зловещее вранье. Не случайно же Черный человек «водит пальцем по *мерзкой* книге», не зря же поэт отсылал в минуты чтения поэмы каждого имеющего уши и желающего слышать к великому Пушкину.

Гоголь. И его мучил этот вечный носитель зла. И Достоевский был с ним знаком, и Блок. И вот теперь – его, Есенина, очередь. Ну так он поставит на этом точку!

Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

Это не только «за меня». Это за всех них – за измученных и истерзанных тобою, которых ты так ненавидишь и без которых не можешь жить, паразитируя, насыщаясь их кровью, собирая все грехи их, великих даже в своем ничтожестве.

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

Дурная примета, предвестие смерти. Ну что ж, ежели не удастся уйти от судьбы – так хоть не будет больше Черный человек никого мучить.

...Ни один редактор при жизни Есенина не взялся напечатать эту поэму. Она откровенно всех отпугивала. Сам же Есенин читал ее бесчисленное количество раз – писателям, поэтам, каждому встречному и поперечному. Словно хотел объяснить что-то главное, самое существенное в себе самом. И знал: это – вершина.

А тем временем события развивались своим чередом и во все убаюкиваемом темпе.

Берзинь не прерывала своей лихорадочной деятельности по учреждению «опеки» над Есениным. Она нажала в очередной раз на Бардина, и тот связался с Христианом Раковским, бывшим предсовнаркомом и председателем ЧК на Украине, а ныне назначенным послом в Лондон. Он-то и написал Дзержинскому письмо:

Дорогой Феликс Эдмундович.

Прошу Вас оказать содействие – Воронскому и мне – чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина – несомненно самого талантливого в нашем Союзе.

Он находится в очень развитой степени туберкулеза (захвачены и оба легких, температура по вечерам и пр.). Найти куда его послать на лечение не трудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию.

Мы решили, что единственное еще остается средство заставить его лечиться – это Вы. Пригласите его к себе, проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта, молодости. Он много еще мог бы дать не только благодаря своим необыкновенным дарованиям, но и потому, что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую среду.

Зная, что Вас нет в самой Москве, решил написать, но удалось это сделать только с дороги – из Себежа.

Желаю Вам здоровья.

Крепко жму руку.

Х. Раковский.

Чуть ниже стоит приписка Дзержинского:

Т. Герсону.

М. б. Вы могли бы заняться ? Ф. Д.

Поистине замечательное письмо! Каждая строчка на вес золота!

Во-первых, как хорошо видно, к изоляции Есенина подключился и Воронский. Все это, естественно, из самых лучших побуждений – заставить лечиться талантливого поэта.

Во-вторых, никакого туберкулеза у Есенина не было. Он простудился на Кавказе и заработал катар правого легкого, который там же и вылечили в больнице водников. Про чахотку, а потом и про туберкулез болтал сам поэт. Так что предлог нашелся великолепный.

В-третьих, при чем тут Дзержинский? Какое ему дело до поэта? Мало ли других ответственных лиц, знакомых с Есениным?

И, наконец, великолепна просьба отправить Есенина в санаторий в сопровождении «товарища из ГПУ». Якобы с целью удержать поэта от пьянства.

Есть свидетельства, что в эти дни Есенина, который уже съехал с квартиры в Померанцевом переулке, где оставались его сестры, все же нашли и пригласили к Дзержинскому. Беседа была непродолжительной, и, судя по всему, бывший председатель ВЧК остался в явном недоумении от встречи с Есениным.

– Как это Вы живете таким?

– Каким? – спросил Есенин.

– Незащищенным.

В устах Дзержинского это прозвучало, как «Вы что, еще до сих пор живы?».

А на поэта тем временем надвигался очередной суд – работало «дело» по обвинению в оскорблении дипкурьера. Поэт бросился к Луначарскому, который позднее рассказывал, как Есенин умолял, чтобы его выручили. Подано это было так, что кончался человек от запоев. А Есенин просил конкретной помощи в избавлении от судебного разбирательства.

В результате народному судье Липкину было отправлено два письма. Одно за подписью Луначарского, который отмечал, что «Есенин... больной человек. Он пьет, а пьяный перестает быть вменяемым... Устраивать из-за ругани в пьяном виде, в кот[орой] он очень раскаивается, скандальный процесс крупному советскому писателю не стоит».

Второе письмо написал Бардин, отметив, что Есенин «находится под наблюдением Кремлевской больницы» и на днях был обследован (поэт в это время сидел в квартире Толстой, дописывая «Черного человека»). Бардин аргументировал свое письмо с

политической точки зрения: «...Подчеркиваю, что антисоветские круги, прежде всего эмигранты, в полной мере используют суд над Есениным в своих политических целях».

Ходатайства успеха не имели. Дело закрыто не было, и каждый день приходили повестки в милицию. Есенин к этому времени уже несколько раз то соглашался ехать за границу на лечение, то снова отказывался. Но тут махнул на все рукой, согласился на уговоры сестры Екатерины и лег в психиатрическую клинику профессора Ганнушкина. Заведующим отделением в этой клинике был отец невесты Ивана Приблудного – Петр Михайлович Зиновьев, хорошо знавший поэта. Он-то фактически и оградил Есенина от всех неприятностей, связанных с судебным разбирательством.

Есенин был помещен в клинику на два месяца, но не пробыл в ней и одного. В это время он несколько раз покидал лечебницу. Навестил Евдокимова, которому сообщил, что лежать в больнице «над-д-до-ело!», и спрашивал, передала ли Екатерина для первого тома последние стихи. За три недели пребывания в клинике Есенин написал шесть известных нам стихотворений, вошедших в цикл «Стихи о которой». Каждое из них – лирический шедевр: «Клен ты мой опавший...», «Какая ночь! Я не могу...», «Не гляди на меня с упреком...», «Ты меня не любишь, не жалеешь...», «Может, поздно, может, слишком рано...», «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...». Здесь происходит наконец обуздание «чувственной вьюги»; хладнокровие и нежность спокойного расставания с любимой сродни лермонтовскому. Были написаны еще несколько стихотворений с зимним пейзажем. Их Есенин забрал с собой в Ленинград, где они бесследно исчезли.

Работа работой, но больница оказывала на Есенина угнетающее воздействие. Одна психически больная девушка едва не повесилась. Бывало, что больные оглашали палаты и коридоры криками. Поневоле вспоминалось пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума...».

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

«...Нужно лечить нервы, – пишет Есенин из больницы Чагину, – а здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего без всяких лекарств... Все это нужно мне, может быть, только для того, чтоб избавиться кой от каких скандалов. Избавлюсь, улажу, пошлю всех в кем и, вероятно, махну за границу. Там и мертвые львы красивей, чем наши живые медицинские собаки».

Заграница – далеко, а первоочередной план следующий: разойтись с Толстой (больше так жить невозможно!), «послать всех в кем» и сбежать из Москвы в Ленинград. Перебраться туда насовсем. Эрлих найдет две-три комнаты, да и остановиться на первое время есть у кого. В Москве больше ловить нечего, а в Питере он наладит наконец свой журнал. Там Ионов, там Жорж Устинов, с которым он встретился во время недавнего приезда туда и который прикатил вместе с ним в Москву. Ему определенно обещали помочь...

Кто обещал конкретно? Ответа на этот вопрос у нас нет, но ясно одно: Есенин срывался в Ленинград не просто так. Там была серьезная зацепка, ему обещали покровительство в самый трудный момент.

Он пишет письмо Евдокимову с просьбой все деньги выдавать только ему в руки – не Соне, не Екатерине, не Илье (двоюродному брату).

Плюнув на лечение, 21 декабря поэт уходит из клиники. Впереди – Питер! Собрание сочинений, журнал, работа, новая жизнь!

* * *

Незадолго до поездки в Ленинград в ноябре перед больницей поэт позвонил Бениславской: «Приходи проститься». Сказал, что и Соня придет, а она в ответ: «Не люблю таких проводов».

...Еще недавно был у Миклашевской и просил навещать его в клинике. Та думала, что навещать Есенина будет Толстая (которую Сергей Александрович запретил к себе пускать), и не пришла ни разу.

Ох уж эти бабы! Не лучше всевозможных «друзей»! Человек зовет навестить его, повидаться, может, в последний раз, а у тех только одна забота – «хорошо ли выгляжу» да не будет ли от этого урона моему «реноме»?!

Ну и черт с ними! В Питер, в Питер поскорее. Надо только уладить последние дела.

Пришел в Госиздат. Перед приходом туда как следует выпил. Конец больничному воздержанию! В Питере он с этим покончит. А с матушкой-Москвой надо проститься как полагается, по-московски! Написал заявление об отмене всех доверенностей. Хотел получить деньги, но так и не получил.

Кое-что из госиздатовских денег скопилось к этому времени на сберкнижке. Он снял всю сумму (оставив лишь один рубль) и на следующий же день отправился... в Дом Герцена.

Это последнее посещение Есениным московского писательского дома присутствующие запомнили надолго. Поэт словно задался целью разом свести все счета. Писатели услышали о себе тогда много «нового», брошенного прямо в лицо. «Продажная душа», «сволочь», «бездарь», «мерзавец» – сыпалось в разные стороны. Подобное случалось и раньше, но теперь все это звучало с надрывом, поистине от души, с какой-то последней отчаянной злостью.

«Хулиган!», «Вывести его!» – раздалось в ответ. Есенина с трудом удалось вытащить из клуба. Потом благополучные любимцы муз с деланным сочувствием качали головами: «Довел себя, довел. Совсем спился!»

Он появился там снова уже под вечер. Сидел за столом и пил, расплескивая вино.

– Меня выводить из клуба? Меня называть хулиганом? Да ведь все они – мразь и подметки моей, ногтя моего не стоят, а тоже мнят о себе... Сволочи!.. Я писатель. Я большой поэт, а они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут! Кровью моей живут и меня же осуждают.

«Это не были пьяные жалобы, – писал уже после смерти поэта сидевший тогда с ним за одним столом Евгений Сокол. – Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и наконец прорывавшееся скандалом. И прав был Есенин. Завидовали ему многие, ругали многие, смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье. Наружно вежливы, даже ласковы были с ним. За спиной клеветали. Есенин умел это чувствовать внутренним каким-то чутьем, умел прекрасно отличать друзей от „друзей“, но бывал с ними любезен и вежлив, пока не срывался, пока не задевало его что-нибудь очень уж сильно. Тогда он учинял скандал. Тогда он крепко ругался, высказывал правду в глаза, – и долго после не мог успокоиться. Так было и на этот раз».

Упомянутый разговор поэт вел буквально на последних нервах. И – заходил в крике, когда вспоминал Ширияевца. Он пытался найти его могилу на Ваганькове, куда ходил с Вольфом Эрлихом. Тогда Есенин был потрясен, услышав помин священника за расстрелянного императора и его семью. Это в советской-то Москве 1925 года... А могилу Ширияевца так и не смог найти. Она находилась в совершенно жутком состоянии – была почти сровнена с землей.

И сейчас Есенина трясло при одном воспоминании об этом.

– Ведь разве так делают? Разве можно так относиться к умершему поэту? И к большому, к истинному поэту! Вы посмотрели бы, что сделали с могилой Ширияевца. Нет ее! По ней ходят, топчут ее. На ней решетки даже нет. Я поехал туда и плакал там навзрыд, как маленький плакал. Ведь все там лежать будем – около Неверова и Ширияевца! Ведь скоро, может быть, будем – а там даже и решетки нет. Значит, подох, – и черт с тобой?! Значит, так-

то и наши могилы будут?.. Я сам дам денег, только чтоб ширяевская могила была как могила, а не как черт знает что. Ведь все там лежать будем...

Под конец, уже поздним вечером, Есенин читал последние стихи и, конечно, «Черного человека». «Это было подлинное вдохновение», – вспоминал Сокол.

А на следующее утро Есенин, опять выпивший, уже сидел в Госиздате и ждал денег за собрание. Сидел долго, но так и не дождался. Гонорар выписали, но денег в кассе не было.

Пока ждал, беседовал с Евдокимовым.

– Лечиться я не хочу! Они меня лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно!.. Надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского. И он меня любит.

Сидел у Воронского, читал «Черного человека». Потом вернулся к Евдокимову.

– Ты мне корректуры вышли в Ленинград... Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу... Остановлюсь я... у Сейфуллиной... у Правдухина... у Клюева... Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуры.

На вопрос о «Пармене Крямине» ответил, что обязательно вышлет, только сменит название, а в Ленинграде допишет ее, ибо здесь, в Москве, работать невозможно.

Потом уединился в пивной с Тарасовым-Родионовым, которого знал по ВАППу и компании Бардина. Именно Тарасов-Родионов взял в свое время при посредничестве Берзинь «Песнь о великом походе» для «Октября».

А сейчас Есенин хвалил повесть своего собеседника «Шоколад» и поносил последними словами Пильняка, Анну Берзинь, а заодно и Воронского. Крайне неприязненно отзывался о своих родных – но все это как будто наедине с самим собой, погружаясь в себя, словно его и не слышит никто. Потом поднимал голову и начинал убеждать не столько сидящего перед ним писателя, сколько еще кого-то, и в первую очередь, вероятно, себя самого: «Я работаю, я буду работать, и у меня еще хватит сил показать себя. Я много пишу, и еще много надо писать... Я не выдохся. Я еще постою. И это зря орет всякая бездарная шваль, что Есенин – с кулацкими настроениями, что Есенин – чуть ли не эмигрант...»

Кончилось пиво, надоело ждать... Есенин нетвердой походкой дошел до Госиздата, вышел оттуда с чеком. Сказал, что брат Илья получит деньги и переведет ему.

В этот же вечер появился в квартире брошенной им Софьи. Там сидели Наседкин и сестра Шура. Мрачный, насупившийся поэт вошел, не сказав никому ни слова, сложил как попало вещи в несколько чемоданов, с помощью Ильи и извозчиков вынес их из квартиры. Процедил сквозь зубы «до свиданья», повернулся и вышел.

И только внизу, улыбнувшись, помахал рукой сестренке, выбежавшей на балкон.

Отправился в студию к Якулову. Там снова как следует «принял на грудь». Простился – и на вокзал.

На вокзале встретил Клычкова. Выпил напоследок и с ним.

Около полуночи поезд отошел от платформы.

* * *

В те самые дни, когда Есенин «отбывал срок» в больнице, сидел в Доме Герцена и Госиздате, в Москве разворачивалась драма, достойная шекспировской кисти.

Еще 3 ноября состоялся Пленум ЦК – велась подготовка к XIV съезду. К этому времени ленинградская партийная организация и ЦК были на ножах. Ситуация сложилась такая, что противостояние могло перерасти в открытое столкновение. «Ленинградская правда» становится, по сути, личной газетой Григория Зиновьева, который претендует на то, чтобы стать в партии первым лицом. Занимая пост первого человека в Питере и будучи председателем Коминтерна, он бросает вызов Сталину.

18 декабря Сталин читает политический доклад.

19 декабря Григорий Зиновьев выступает с содокладом. 20-го – выступление Надежды Крупской, поддержавшей Зиновьева.

Это как бы во исполнение «заветов Ильича». Ленин считал Зиновьева своим личным другом, и последний имел основания полагать, что он – самая реальная кандидатура на должность генсека после отстранения Сталина.

А 21 декабря (в день выхода Есенина из больницы) обстановка на съезде достигла своей кульминации. День рождения Сталина – и выступление зиновьевского соратника, председателя Моссовета и Совета Труда и Оборона Каменева.

«Каменев. ...Лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб... Я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба (Голоса с мест: «Неверно!», «Чепуха!», «Вот оно в чем дело!», «Раскрыли карты!» Шум, аплодисменты ленинградской делегации. Крики: «Мы не дадим вам командных высот», «Сталина! Сталина!» Делегаты встают и приветствуют тов. Сталина. Бурные аплодисменты. Крики: «Вот где объединилась партия. Большевистский штаб должен объединиться».)

Евдокимов с места. Да здравствует российская коммунистическая партия!.. (Делегаты встают и кричат «ура!», шум, бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)

Евдокимов. ...Партия превыше всего! Правильно! (Аплодисменты и крики «ура!».)

Голос с места. Да здравствует товарищ Сталин!!! (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура!». Шум.)

Рыков. Товарищи, прошу успокоиться. Тов. Каменев сейчас закончит свою речь.

Каменев. Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя! Этими словами я и кончаю речь свою. (Аплодисменты ленинградской делегации.)

Голос с места. А кого вы предлагаете?

Рыков. Объявляю десятиминутный перерыв!»

22-го числа бой продолжался. Ни одна из сторон не могла и не желала уступить. 23-го Зиновьев заявил, что если ЦК заткнет ему и ленинградцам глотку «молчаливым большинством», то о разногласиях в партии узнает вся страна и пролетариат всего мира и «дискуссия дойдет до низов». В ответ раздалось: «Пугаете!», «Не боимся!», «Ультиматум партии!»

На 28 декабря была намечена речь Зиновьева, как председателя Коминтерна, и Каменева, как председателя СТО. Партия находилась на грани полного раскола. А 23-го вечером был объявлен перерыв на один день.

Каждый из участников этой схватки отдавал себе отчет в том, что проигравший потеряет не пост, не кресло, не место в ЦК. Голову.

А теперь представим себе, что означало в этой ситуации кому-либо из людей, причастных к происходящему, узнать, о чем, в частности, говорилось 23-го числа недалеко от Госиздата.

Именно в этот день, за несколько часов до отъезда в Питер, Есенин совершил роковую ошибку. Он произнес фразу, которая, похоже, стоила ему жизни. Сидя в пивной напротив Тарасова-Родионова, Сергей заявил:

– Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно... А вот Каменева, понимаешь ты, не люблю. Подумаешь – вождь. А ты знаешь, когда Михаил отрекся от престола, он ему благодарственную телеграмму закатил за это самое из Иркутска. Ты думаешь, что если я беспартийный, то я ничего не вижу и не знаю. Телеграмма-то эта, где он мелким бесом семенит перед Михаилом, она, друг милый, у меня.

– А ты мне ее покажешь?

– Зачем? Чтобы ты поднял бучу и впутал меня? Нет, не покажу.

– Нет, я бучи поднимать не буду и тебя не впутаю. Мне хочется только лично прочесть ее, и больше ничего.

– Даешь слово?

– Даю слово.

– Хорошо, тогда я тебе ее дам.

– Но когда же ты мне ее дашь, раз ты сегодня уезжаешь? Она с тобой или в твоих вещах?

– О, нет, я не так глуп, чтобы хранить ее у себя. Она спрятана у одного надежного моего друга, и о ней никто не знает, только он да я. А теперь ты вот знаешь. А я возьму у него... Или нет, я скажу ему, и он передаст ее тебе.

– Дашь слово?

– Ну, честное же слово, кацо. Я не обманываю тебя.

– Идет, жду.

Что означает сей диалог? Действительно ли у Есенина была в руках эта телеграмма? Как он мог ее получить? Будучи в Царском Селе? Каким образом? Или это своеобразная мистификация, проверка «на вшивость» своего собеседника, зондирование «политической почвы» в сей критический момент? Или похвальба – дескать, что взять с Каменева, не такая уж и шишка, коли такой компромат на него имеем... И это при том, что 20 декабря Есенин сообщает Наседкину о возможности издания двухнедельного журнала в Ленинграде через Ионова, то есть непосредственно под «покровительством» Зиновьева, в то время, когда еще никто не знал, останется последний или слетит. Все висело на волоске.

Тарасов-Родионов, воспроизведший этот диалог в своих мемуарах, много явно недоговорил, а возможно, и кое-что сознательно исказил. Факт подачи телеграммы действительно имел место, и этот сюжет получил совершенно неожиданное развитие почти десять лет спустя.

На XIV съезде этот козырь, который мог показаться убийственным в борьбе Сталина с зиновьевской оппозицией, так и не был брошен на стол. То ли Сталин считал, что не пришло для него время, то ли сей аргумент мог оказаться чрезмерно обоюдоострым в данной ситуации. Телеграмма была использована год спустя на VII расширенном пленуме Исполкома Коминтерна. 13 декабря Сталин произнес заключительное слово, которое по объему превышало его доклад, сделанный неделей ранее, и которое окончательно уничтожило идейно Зиновьева и Каменева в глазах собравшихся коммунистов. Причем даже здесь он коснулся этой телеграммы как бы вскользь, прервав раздавшийся крик «Позор!» репликой, что «Каменев признал свою ошибку и эта ошибка была забыта».

На самом деле ничего забыто не было. Свидетельство тому – буря, разыгравшаяся на закрытом заседании Исполкома в те же дни, и речь Сталина на этом заседании, не вошедшая даже в собрание его сочинений.

«Дело происходило в городе Ачинске в 1917 году, после февральской революции, где я был ссыльным вместе с тов. Каменевым. Был банкет или митинг, я не помню хорошо, и вот на этом собрании несколько граждан вместе с тов. Каменевым послали телеграмму на имя Михаила Романова... (Каменев закричал с места: «Признайся, что лжешь, признайся, что лжешь!») Молчите, Каменев. (Каменев вновь закричал: «Признаешь, что лжешь?») Каменев, молчите, а то будет хуже. (Председательствующий Э. Тельман призывает к порядку Каменева.) Телеграмма на имя Романова как первого гражданина России была послана несколькими купцами и тов. Каменевым. Я узнал на другой день об этом от самого т. Каменева, который зашел ко мне и сказал, что допустил глупость. (Каменев вновь с места: «Врешь, никогда тебе ничего подобного не говорил».) Телеграмма была напечатана во всех газетах, кроме большевистских. Вот факт первый.

Второй факт. В апреле была у нас партконференция, и делегаты подняли вопрос о том, что такого человека, как Каменев, из-за этой телеграммы ни в коем случае выбирать в ЦК нельзя. Дважды были устроены закрытые заседания большевиков, где Ленин отстаивал т. Каменева и с трудом отстоял как кандидата в члены ЦК. Только Ленин мог спасти Каменева. Я также отстаивал тогда Каменева.

И третий факт. Совершенно правильно, что «Правда» присоединилась тогда к тексту опровержения, которое опубликовал т. Каменев, т. к. это было единственное средство спасти

Каменева и уберечь партию от ударов со стороны врагов. Поэтому вы видите, что Каменев способен на то, чтобы солгать и обмануть Коминтерн.

Еще два слова. Так как тов. Каменев здесь пытается уже слабее опровергать то, что является фактом, вы мне разрешите собрать подписи участников Апрельской конференции, тех, кто настаивал на исключении тов. Каменева из ЦК из-за этой телеграммы. (*Троцкий с места: «Только не хватает подписи Ленина».*) Тов. Троцкий, молчали бы вы! (*Троцкий вновь: "Не пугайте, не пугайте..."*) Вы идете против правды, а правды вы должны бояться. (*Троцкий с места: «Это сталинская правда, это грубость и нелояльность».*) Я соберу подписи, т. к. телеграмма была подписана Каменевым...»

Можно себе представить впечатление, произведенное на Каменева и его сторонников, при упоминании этой телеграммы. Как огня боялись многие из большевистских вождей всплытия на поверхность некоторых фактов их биографии, имевших место в февральские дни и ранее. Если Каменев решился на заседании Исполкома Коминтерна обвинять Сталина во лжи, отрицая известный всей большевистской верхушке факт, значит, он прекрасно понимал его значение и все последствия происшедшей огласки.

И можно себе представить реакцию некоторых ответственных товарищей в декабрьские дни 1925 года, до которых доходит известие о наличии у Есенина подобной телеграммы. Правду ли тогда говорил поэт или мистифицировал своего собеседника – не в этом суть. Главное, что Есенин сделал шаг, равносильный самоубийству.

Кто же такой Тарасов-Родионов, перед которым так не ко времени разоткровенничался поэт? Это была весьма темная личность с сомнительной репутацией. Арестованный летом 1917 года, он написал покаянное письмо секретарю министра юстиции Временного правительства: «Я виноват и глубоко виноват в том, что был большевиком». После Октября калялся уже перед своими: дескать, отрекся «под влиянием травли и провокации, доведших меня до прострации». В 1918–1919 годах работал в организованном им самим армейском трибунале в Царицыне. Был непосредственно связан с ВЧК – ОГПУ и одновременно подвизался на ниве литературы в среде «неистовых ревнителей». При этом был активным сторонником зиновьевской оппозиции.

В своем знаменитом «Открытом письме» Федор Раскольников уже за границей в 1938 году предъявлял счет Сталину, перечисляя имена казненных представителей «ленинской гвардии»: «Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко? Вы арестовали их, Сталин!.. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин!!!» Симптоматично, что в этом списке всенародно известных героев Гражданской войны, партийных деятелей, маршалов вдруг возникает имя никому не ведомого рапповского функционера и малоизвестного прозаика Тарасова-Родионова: «Где Тарасов-Родионов?» Очевидно, властные возможности и полномочия этого человека были куда большими, нежели все занимаемые им официальные должности, если его имя упоминается одним из знаменитейших авантюристов и революционеров той эпохи в столь славном ряду.

Вообразить себе, что в решающую минуту человек типа Тарасова-Родионова не поделился бы «ценной информацией» с «нужными людьми», при всем желании трудно.

* * *

Прибыв в Ленинград, Есенин не остановился у Эрлиха. Не навестил он ни Правдухина, ни Сейфуллину, как собирался, не остановился и у Клюева. Единственный из писателей, к кому он зашел после прибытия, был Садофьев. После этого Есенин отправился в знакомую ему гостиницу «Англетер».

В гостинице он поначалу оседать не собирался. И тут возникает первая странность. Из своей предыдущей поездки в Ленинград он вернулся вместе с Жоржем Устиновым. А теперь приехал в Питер снова... вместе с ним. Жорж был работником ленинградской «Красной газеты» и, естественно, держал руку на пульсе происходящих событий. Он и снял для Есенина 5-й номер в «Англетере», где жил вместе с женой Елизаветой.

Зачем? По своей ли инициативе? Он ли уговорил Есенина поселиться в гостинице?

Дело в том, что «Англетер» был ведомственной гостиницей для ответственных работников и в дни съезда находился под неусыпным контролем и тщательным наблюдением сотрудников ленинградского ОГПУ. Подобное соседство никак не могло радовать поэта. Он специально просил никого не пускать к нему в номер, так как за ним могут следить из Москвы.

Чувствовал за собой слезку, но совершенно не разобрался в причинах, породивших ее.

Комендантом гостиницы, кстати, был чекист Назаров, в годы Гражданской войны служивший в карательном отряде и принимавший участие в расстрелах.

Четыре есенинских дня прошли в предпраздничной суете и постоянных гостей. Есенин навещался к Клюеву, с которым встретился очень сердечно, хотя тут же не преминул зло подшутить над старшим собратом и погасил у него лампадку перед иконой, сказав, что, мол, все равно не заметит... Потом привел Клюева к себе в номер, где читал стихи, а Клюев жестоко обидел своего «жавороночка»: «Вот переплести бы эти стишки, Сереженька, в шелковый переплет, были бы настольной книжечкой для всех нежных девушек и юношей в России...» Чуть не поругались снова, но простились с любовью.

Чтение стихов перемежалось литературными спорами, в которых возникали самые разнообразные имена – от Пушкина до Владислава Ходасевича. Время от времени Есенин запевал одну из любимейших песен – песню тамбовских повстанцев:

На заре каркнет ворона.
Коммунист, взводи курок!
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.

Приблудный, перебравшийся в Ленинград, художники Ушаков и Мансуров, неизменно крутящийся вокруг Вольф Эрлих – все побывали тут. Есенин не терпел одиночества, а в последние дни – тем более. И просил Эрлиха оставаться у него ночевать, а когда тот все же уходил домой, Есенин спускался вниз к номеру Устинова и до раннего утра сидел в вестибюле, чтобы потом постучать и попроситься в номер к Жоржу и его жене.

Это было достаточно серьезно. Но либо жители «Англетера» сочли происходящее за чудачество, либо...

Через много лет вдова управляющего гостиницей Назарова Антонина Львовна рассказывала, как в 11-м часу вечера 27-го числа ее мужа вызвали в гостиницу. Прибыв туда, он увидел там двух своих начальников – работников ОГПУ Пипия и Ипполита Цкирия. Примчался же он в гостиницу, получив известие, что с Есениным – «несчастье»...

27-е число! 11 часов вечера! И первые некрологи также указывали на 27-е число. Это не утро, не 5 часов 28-го, на которые указывал потом некий таинственный врач, как сообщали газеты и чья версия была принята за официальную.

Что же произошло?

Георгий Устинов потом вспоминал, какая тяжесть его охватила 27-го числа и как он почувствовал, что что-то произойдет. К его мемуарам надо относиться вообще с крайней осторожностью. В первом же некрологе «Сергей Есенин и его смерть» он ничтоже сумняшеся заявил, что поэт отправился в Ленинград именно умереть и повесился «порязански», а в написанных позднее воспоминаниях уже утверждал прямо противоположное – что Есенин приехал жить, а не умирать. Но так или иначе, обратимся к последним мгновениям, когда Есенина еще видели живым.

Он совершенно не пил все эти четыре дня. Утверждал, что «мы только праздники побездельничаем, а там за работу». Журнал. Вот что не давало ему покоя. Ничего, скоро приедет Наседкин и они начнут выпускать номера.

Кто бы ему объяснил, что не на кого рассчитывать, что все рухнет, что взявшие на себя роль его «покровителей» проваливаются с треском?

Итак, первое: журнал. Как бы тяжело ни стало в какую-то минуту на душе, но полезть в петлю, отказавшись от своей заветной мечты, когда, казалось, так близко ее осуществление? Странно!

Он сидел за столом, накинув шубу, и просматривал старые стихи. Это был один из экземпляров собрания, том, взятый им с собой. Еще ведь предстоит работа над гранками.

Полностью углубился в чтение... Этого собрания он ждет до нервной дрожи... И, не дождавшись, головой в петлю? Несерьезно.

Одно из двух: либо неудачная шутка, окончившаяся трагически, либо убийство, происшедшее в эти два-три часа, начиная с 8 вечера.

Однако... на полу сгустки крови, в номере царит страшный разгром, ключья рукописей и окурки валяются на полу (это при его всегдашней аккуратности во время работы!), свежая рана на правом предплечье, синяк под глазом и большая рана на переносице...

И, наконец, в ожидании нападения из-за угла Есенин всегда в последний год носил с собой револьвер, который привез с Кавказа. Судя по тому, как Есенин уезжал в Ленинград, естественно предположить, что оружие он взял с собой: ясно ведь, что ощущение опасности не отступило, а еще более усилилось. И – обречь себя на мучительную смерть в петле, когда проще простого поднести дуло к виску?

Револьвер не был найден работниками милиции, но это ничего не значит. К моменту их приезда из номера уже кое-что пропало.

«Когда нужно было отправить тело в Обуховку, не оказалось пиджака (где он, так и неизвестно). Устинова вытащила откуда-то кимоно, и, наконец, Борису Лавреневу пришлось написать расписку от правления Союза писателей на взятую для тела простыню (последнее мне рассказывал вчера вечером сам Борис)...» Это дневниковая запись Иннокентия Оксенова, помеченная 29 декабря 1925 года.

Очевидно, что пиджак тщетно пытались разыскать, зная о его существовании, – иначе его отсутствия никто бы не заметил. В этой связи обращает на себя внимание и воспоминание Вольфа Эрлиха о последних минутах, когда он видел Есенина живым.

«Часам к восьми... я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель...»

Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично». Эрлих едва ли обратил бы внимание на то, что Есенин сидел без пиджака, если бы этой детали костюма в номере не было вообще. Этот злосчастный «пиджак, висящий на спинке стула», появился в мемуарах Всеволода Рождественского через 20 лет после того, как мемуарист утром 28-го числа появился на пороге гостиницы, взбудораженный вестью о происшедшей трагедии.

Летом 1925 года Есенин анонсировал в журнале «Книга о книгах» повесть о беспризорниках под названием «Когда я был мальчишкой...». Об этой повести он говорил, в частности, Елизавете Устиновой в «Англетере», причем, по ее словам, «обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть...».

Никаких следов этой повести обнаружено не было, так же как и поэмы «Пармен Крямин»... Можно ли все это принять за есенинскую мистификацию? Тогда как быть с исчезнувшим текстом поэмы «Гуляй-поле»? И что уж точно не было мистификацией – стихи «зимнего цикла», написанные в больнице у Ганнушкина. Кое-какие строчки запомнили Наседкин и Толстая, причем Толстая утверждала, что стихи эти Есенин забрал с собой в Ленинград.

Стоит, наверное, внимательно прочесть следующий «Акт осмотра переписки», найденной в черном кожаном чемодане, оставшемся после смерти Есенина. Присутствовали при его составлении Зинаида Николаевна Мейерхольд-Райх, секретарь суда М. Е. Константинов, член коллегии защитников А. Н. Мещеряков. Акт был составлен 22 апреля 1926 года.

«Среди переписки, находящейся в чемодане, оказались следующие бумаги,

написанные рукой Есенина:

1. Обрывки доверенностей на имя гр-на Эрлиха.
2. 3 обрывка стихов.
3. Рукопись стихов без подписи с 3 по 32 стр. включительно, начиная со стихотворения «Девичник» и кончая оглавлением.
4. Поэма, напечатанная на машинке под заглавием «Анна Снегина», с поправками, написанными рукой Есенина.
5. Договор с издательством Гржебина от 18 мая 1922 года.
6. 4 фотографические карточки».

Что и говорить, солидное количество бумаг было взято с собой писателем и будущим издателем журнала при переезде в другой город на постоянное место жительства! Это при том, что в номере было обнаружено еще несколько чемоданов с обувью и одеждой, принадлежавших Есенину.

Теперь посмотрим, что пишет Всеволод Рождественский: «Чемодан Есенина, единственная его личная вещь (ошибка Рождественского. – *Ст. и С. К.*), был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глянцевитых, переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой».

Итак, чемодан раскрыт. И, как можно понять по свехосторожному описанию Рождественского, вещи были вывалены на пол. Впрочем, еще более яркую картину обстановки 5-го номера после происшедшей трагедии рисовали авторы газетных заметок: «В комнате стоял полнейший разгром. Вещи были вынуты из чемодана, на полу были разбросаны окурки и клочки разорванных рукописей...»

Еще более конкретизировал увиденное в 5-м номере «Англетера» утром 28 декабря санитар Казимир Маркович Дубровский. Рассказывал он, правда, уже через много лет, пережив несправедливый арест, заключение в лагере и как бы все еще опасаясь проронить лишнее: «Там на полу лежала скатерть, битая посуда. Все было перевернуто. Словом, шла страшная борьба...» В другой раз с его же слов стало известно, что «в номере С. Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев. Кругом все разбросано, раскидано, битые разбросанные бутылки, окурки...».

Дубровский так и не сообщил, почему его подписи нет ни на одном из документов, составляющих «дело о самоубийстве С. Есенина», что за врач осматривал тело погибшего поэта на месте происшествия, на каком основании был сделан вывод, о котором сообщали газеты: «...смерть наступила за 6–7 часов до обнаружения трупа» (по другим сведениям, за 5–6 часов) и почему время наступления смерти не зафиксировано в акте судебно-медицинской экспертизы. Известно только, что престарелый, много переживший санитар произнес незадолго до смерти: «Я ни за что сидел, а за что-то тем более не хочу...»

* * *

А кто же из работников правоохранительных органов составлял акт о происшедшем? Отвечая на этот вопрос, придется отмечать сплошные несуразности и нелепости, наслаивающиеся одна на другую.

В гостиницу утром 28 декабря выезжал агент уголовного розыска 1-й бригады (занимавшейся *только* расследованием убийств!) Ф. Иванов. Его подписи тем не менее нет ни на одном документе. Протокол же осмотра места происшествия составлял учнадзиратель 2-го отделения милиции Н. Горбов, бывший сотрудник Административно-Секретного Отделения УГРО, проработавший к этому времени в отделении милиции около шести месяцев. Человек полуграмотный, не знакомый с элементарными правилами описания места происшествия (можно ли в это поверить, говоря о работнике УГРО с трехлетним стажем работы!), он и составил соответствующий «Акт»:

Акт о самоубийстве Есенина. Сост[авил] участк[овый] надзиратель 2-ого отделения Ленинградской милиции 28 декабря 1925 г. Рукой уч[асткового] надзирателя Н. Горбова.

28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною, уч[астковым] надзирателем 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбовым в присутствии управляющего гостиницей «Интернационал» тов. Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражд[анина] Назарова В[асилия] Мих[айловича] о повесившемся гражданине в номере гостиницы. Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде: шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком и ноги от пола были около 1,5 метров, около места, где обнаруже[н] был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой рук[е] выше локтя с ладонной стороны порез, на левой рук[е] на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По представленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, пис[атель], при[ехавший] из Москвы 24 декабря 1925 года. Удосто[верение] ГЦ № 42-8516, и доверенность на получение 640 р[ублей] на имя Эрлиха.

Управляющий – Назаров

Понятые – В. Рождественский, П. Медведев, М. Фроман

Милиционер – [нрзб.]шинский

Уч. надз. 2-ого отд. ЛГМ Н. Горбов.

Итак, вырисовывается довольно странная картина. Синяк под левым глазом, странная петля (не удавная!), предназначенная, похоже, лишь для того, чтобы удержать тело в висячем положении, рука, обхватившая трубу парового отопления, – все это должно было породить определенные сомнения, по крайней мере, натолкнуть участкового надзирателя на мысль о необходимости тщательного расследования происшедшего. Но участковый надзиратель недрогнувшей рукой выводит: «Акт о самоубийстве». Не говоря уже о том, что осмотр места происшествия проведен крайне небрежно, точнее, он просто отсутствовал как таковой.

Современные юристы утверждают, что «дознание по факту смерти поэта С. Есенина проводилось в соответствии с действовавшим уголовно-процессуальным законодательством» и что «допущенные неполнота и низкое качество документов дознания» не противоречат законности «прекращения производства дознания по факту самоубийства С. А. Есенина». Допустим, что с точки зрения юридической дотошности эти утверждения справедливы, тем более что анализировались только документы «дела» без привлечения анализа сопутствующих фактов и каждый из специалистов – будь это почерковеды, врачипатологоанатомы или работники Генеральной прокуратуры – работал над документом, имеющим прямое отношение только к его профессиональной области. Подобная методика анализа, бесспорно, имеет свои плюсы. Но нельзя не отметить, что минусов у нее никак не меньше.

Имел ли милиционер Горбов вообще какое-либо понятие о той работе, которую по чьему-то приказу исполнял в 5-м номере «Англетера»? Можно лишь отметить, что *не было сделано* при составлении первоначального «акта», таковое и относится как раз к азбуке следственной работы.

В № 9 журнала ленинградской губмилиции «На посту» за 1925 год указано, что в конце 1922 года отделом управления Ленинградского Совета была утверждена программа предметов и занятий для агентов уголовного розыска, в которую, в частности, входил

научный розыск, включавший дактилоскопию, все виды экспертизы, осмотр места происшествия, закрепление следов... Ни дактилоскопии, ни закрепления следов в данном случае мы не имеем. Может быть, бывшего агента уголовного розыска сему не учили? Позволительно в этом усомниться. Но если даже так, то *почему* на место происшествия не был вызван профессионал в данной области? Может быть, потому, что он там оказался бы совершенно некстати? И чем же занимался в номере вызванный туда еще один агент УГРО Ф. Иванов?

Еще более «интересно» начинает выглядеть эта ситуация с отсутствием следствия, как такового, и с «дознанием», ведшимся «безграмотными» милицейскими работниками, если мы обратимся к № 11 все того же журнала «На посту» за 1925 год. В нем опубликован очерк «Паутина», где описывается случай самоповешения, расследуя который, следователи с первых же шагов (!) заподозрили замаскированное убийство. И автор очерка подробнейшим образом описывает кропотливую работу следователей, распутывающих этот «узелок», причем в принципе не дает возможности усомниться в их весьма высокой квалификации (даром, что версия убийства в конце концов оказалась ошибочной).

На что в первую очередь обращает внимание профессионал при расследовании дела о самоубийстве через повешение? На орудие самоубийства – веревку, шнур, в нашем случае – ремень от чемодана. Узел, которым затянута петля, его характерные признаки – вот что в первую очередь попадает в поле зрения следователя. Естественно, проводится и дактилоскопия. Здесь же оказалось вполне достаточно замечания учнадзирателя, что «шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи...». Вполне возможно, что профессионал мог бы по этой косноязычной фразе реконструировать положение петли или отсутствие ее как таковой (что мы и предполагаем). Проверить сие, однако, уже не представляется возможным. Последнее упоминание об этом злосчастном ремне от чемодана мы находим в «Четвертой прозе» Осипа Мандельштама.

«В Доме Герцена один филолог с головенкой китайца, некий ходя, хао-хао, шанго-шанго, из тех, что ходят по кровавой советской земле, некто Митька Благой, лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в литературном музее веревку удавленника Сережи Есенина...»

После закрытия «дела» все материалы поступили в «Музей Есенина», для которого собирали материалы Дмитрий Благой и Александр Воронский. А после погромной статьи Николая Бухарина «Злые заметки» этот музей был закрыт. Большая часть его материалов, включая и материалы «дела», в конце концов оказалась в архиве Института мировой литературы. Ремень, обвивший шею поэта в страшную ночь в «Англетере», исчез бесследно. Куда? Где он находится ныне, если, конечно, сохранился? На эти вопросы ответа, увы, нет.

Более чем странное впечатление оставляет история с фотографиями номера гостиницы и безжизненного тела поэта, отснятыми утром 28 декабря. Делал их не фотограф-криминалист, а специалист по художественной (!) фотографии Моисей Наппельбаум. Неизвестно, кем и с какой стати он был вызван в «Англетер», когда тело погибшего еще не вынули из петли. Непонятно также, откуда возникла версия, что сын Наппельбаума снимал тело с трубы парового отопления. На самом деле выполнил это упомянутый Дубровский, и уже после портретист сделал свои известные снимки.

Кто его на это уполномочил? В неприкосновенном ли виде был снят номер или, как можно предположить, после «уборки»? И как в связи со всем вышесказанным относиться к свидетельству одной из дочерей Наппельбаума Ольги Грудцовой, которая написала в своих мемуарах, что ее отец отказался (!) делать снимки в «Англетере»? И, наконец, был ли сам Наппельбаум работником «органов»? Получим ли мы когда-нибудь удовлетворительные ответы на все эти вопросы?

* * *

Помимо всего прочего, трудно представить соответствие «с действовавшим уголовно-

процессуальным законодательством» очевидной фальсификации в протоколе Горбова. В качестве понятых расписались Всеволод Рождественский, Павел Медведев и Михаил Фроман, которые перешагнули порог 5-го номера уже после того, как тело поэта было вынута из петли, и которые, соответственно, никак не могли видеть «висевшего на трубе центрального отопления мужчину».

А теперь снова обратимся к дневнику Иннокентия Оксенова:

«Номер был раскрыт. Направо от входа, на низкой кушетке лежал Сергей в рубашке, подтяжках, серых брюках, черных носках и лакированных лодочках. Священнодействовал фотограф Наппельбаум – спокойный мужчина с окладистой бородой. Помощник держал слева от аппаратов черное покрывало для лучшего освещения. Правая рука Есенина была согнута в локте на уровне живота, вдоль лба виднелась багровая полоса (ожог от накаленной трубы парового отопления, о которую он ударился головой?), рот полуоткрыт, волосы страшным нимбом вокруг головы, развившиеся.

Хлопотала о чем-то Устинова. Пришли Никитин, Лавренев, Семенов, Борисоглебский, Слонимский (он плакал), Рождественский. Тут же с видом своего человека сидел Эрлих...

Понесли мы Есенина вниз – несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренев, Борисоглебский и я, по узкой черной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной простыне на дровни (поехал он в том, что на нем было надето, только лодочки, по совету милиционера, сняли – «наследникам пригодятся». Хороший милиционер, юный, старательный). Подошла какая-то дама в хорьковой шубе, настойчиво потребовала: «Покажите мне его». И милиционер бережно раскрыл перед нею мертвое лицо. Лежал Есенин на дровнях головою вниз, ничего под тело не было подложено. Милиционер весело вспрыгнул на дровни, и извозчик так же весело тронул. Мы разошлись, и каждый унес в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея».

Страшная картина, которую Оксенов воссоздает в своем дневнике, все же не повлияла на способность писателя делать определенные выводы. Что-то подозрительное почудилось ему во всем, что он видел. «...Каждый унес в себе злобу против кого-то, погубившего Сергея». Что Оксенов имел в виду? В переносном ли смысле употребил он сию фразу? Это остается загадкой. Но что-то среди увиденного определенно натолкнуло его, и, очевидно, не только его, на мысль: здесь не чисто. Ясно чувствуется подозрение, что здесь не обошлось без чужих рук.

Это первая мысль, которая приходит в голову при чтении оксеновского дневника. Попутный сбор информации позволяет выявить еще некоторые интересные детали.

Из писателей, присутствовавших тогда в «Англетере», по крайней мере двое (это известно с абсолютной достоверностью) были секретными агентами ОГПУ, а позже НКВД – Павел Медведев и Михаил Борисоглебский. Обращает на себя внимание и тот факт, что никто из действительно близких Есенину ленинградских писателей (Клюев, Садофьев, Правдухин) не переступил порога гостиницы в то роковое утро. Как об исключении можно сказать о Всеволоде Рождественском, если бы не его пространные мемуары, где реальные факты тонут в пышной беллетристике, и не его репутация махрового лгуна-вспоминателя. Создается впечатление «отобранности» писательской делегации, члены которой должны были удостоверить своими подписями в протоколе то, чего они не видели и не могли видеть собственными глазами.

Эрлих, «сидевший с видом своего человека», в отличие от хлопочущей Устиновой, особенно резко выделялся на фоне убитых горем пришедших. Он уже дал самые пространные показания, все засвидетельствовал, обо всем рассказал и присутствовал чуть ли не в качестве «официального лица». Никакого намека на переживание происшедшего Оксенов на его лице, судя по всему, не заметил.

* * *

Отвлечемся пока от свидетельских показаний и анализа деталей случившегося. Самое

время поговорить о «предсмертном» стихотворении. Написанное кровью, оно стало поводом для обывательских пересудов и газетных материалов, явно отдающих бульварщиной. А самое главное, именно оно послужило для миллионов людей – от членов правительства до крестьян и рабочих – главным свидетельством того, что Сергей Есенин, без сомнения, покончил жизнь самоубийством. Ведь текст этого стихотворения воспринимался именно в контексте подробных описаний произошедшего в «Англетере», вплоть до того, что сообщалось, как Есенин писал эти стихи перед тем, как «вскрыть вены» и залезть в петлю... Время не внесло никаких коррективов в восприятие этих восьми строк, и ныне люди, убежденные в версии самоубийства поэта, ссылаются именно на последние стихи. Перечитаем же их еще раз:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки,
без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

В данном виде текст этого стихотворения известен всем и перепечатывался из одного собрания в другое. Однако с текстологией его связана весьма интересная история.

Впервые оно появилось в печати 29 декабря 1925 года в вечернем выпуске «Красной газеты» в тексте статьи Георгия Устинова «Сергей Есенин и его смерть». Причем пятая строчка в некрологе читалась: «До свиданья, друг мой, без руки и слова...» Второй предлог «без» написан крайне неразборчиво и при чтении оригинала создается впечатление, что он был замазан. Устинов прочел строку по-своему и в своем прочтении пустил ее в печать. Так стихотворение с искаженной строкой публиковалось вплоть до 1968 года (единственное исключение – «Избранное» 1946 года, составленное Софьей Толстой, где строка была напечатана в своем изначальном виде).

Однако при внимательном чтении оригинала бросается в глаза вторая строка, которая читается опять же несколько иначе, чем в напечатанном виде. Третье слово второй строки отчетливо прочитывается, как «чти», а не «ты». А следующий предлог «у» носит характер явного исправления. Очевидно, поначалу было написано «и», и вся строка должна была читаться «чти и меня в груди»... Потом «и» было исправлено на «у», в соответствии с чем логично было бы прочесть первые две строки в таком виде:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, что у меня в груди.

«И», однако, в третьем слове не было исправлено на «о», и строчка осталась прежней: «чти у меня в груди». Смысловое несоответствие было устранено публикатором, ничтоже сумняшеся заменившем явственно видимое «чти» на «ты». В результате мы получили связный и грамотный текст, но не соответствующий тому, что на самом деле написал Есенин.

Создается впечатление недоработанности, неотделанности стиха. Как же он создавался за неизвестное количество часов до гибели?

Эти два четверостишия были записаны утром 27 декабря. О дальнейшем рассказывал Эрлих:

«Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Говорит, складывая листок вчетверо и кладя в карман моего пиджака:

– Тебе.

Устинова хочет прочесть.

– Нет, ты подожди! Останется один, прочтает».

Эрлих вспомнил о стихах только на следующий день после гибели Есенина. Ну а если предположить, что это произошло бы вечером того же дня и, оставшись в одиночестве, он прочитал бы их? Увидел бы он в этих восьми строках предсмертную записку? Воспринял бы их как предупреждение о возможном расставании с жизнью? Да ни в коем случае!

Эти восемь строк, волею судьбы ставшие последними для Есенина, представляют собой поэтический экспромт, написанный «на случай». Сергей сунул стихи в карман приятеля как своеобразный подарок, из чего ни в коем случае нельзя делать вывода, что строки, написанные на этом листке, посвящены какому-либо конкретному человеку. «Друг мой» – это словосочетание кочует в последние годы жизни Есенина из одного стихотворения в другое, причем встречается оно, как правило, в стихах, проникнутых ощущением страшного одиночества. «Пой, мой друг. Навейай мне снова нашу прежнюю буйную рань...», «Кто же сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг?...», «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль...»

Экспромтов такого рода, о которых Есенин говорил при встрече Николаю Асееву («Ты думаешь, легко всю эту ерунду писать?»), поэт написал в последние месяцы своей жизни более десятка. Рождались они совершенно спонтанно, словно уже давно сложились в голове, и записаны были набело, без единой пометки. Писались они подчас и так, как об этом рассказывала Софья Толстая: «Все эти стихи записаны мною за Сергеем в туманный октябрьский рассвет. Он проснулся, сел на кровати и стал читать стихи. Не видел, что я пишу. После я сказала, он просил их уничтожить». Речь идет о стихах «Ты ведь видишь, что небо серое...», «Ты ведь видишь, что ночь хорошая...», «Сани. Сани. Конский бег...», «Ночь проходит. Свет потух...», «Небо хмурое, небо сурится...».

Есть нечто объединяющее все есенинские экспромты последних месяцев его жизни – предчувствие близкой гибели. «Мчится на тройке чужая младость. Где мое счастье? Где моя радость?...», «Неудержимо, неповторимо все пролетело... далече... мимо...», «Кругом весна, и жизнь моя кончается...» Временами ощущение близкого конца нагнетается и становится почти осязаемым.

Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Среди экспромтов выделяется одно четверостишие, в котором это ощущение выражено, пожалуй, наиболее остро, острее, чем в последнем восьмистишии.

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

Это четверостишие написано в ноябре 1925 года. Что в нем? Предчувствие того, что часы сочтены. Достаточно сопоставить эти стихи с «предсмертным стихотворением» «До свиданья, друг мой, до свиданья...», чтобы понять, что прочитываются они в едином

контексте и что нет в этих строках никакого намека на добровольное расставание с жизнью. «Предназначенное расставанье» – рука судьбы, от которой не уйдешь.

Почему словосочетание «предсмертное стихотворение» взято нами в кавычки? А потому, что есть веские основания говорить о том, что стихотворение это было написано не 27 декабря 1925 года, а гораздо раньше. Об этом, в частности, писал А. Дехтерев в парижском журнале «Числа» в 1934 году, упоминая филолога и поэта Виктора Мануйлова как адресата данного стихотворения, относя его написание к 1924 году и свидетельствуя, что состояло оно из пяти строф. Так что мы имеем дело скорее всего с записью на память, при которой, возможно, строчки подверглись некоторой переработке. Но переработке, видимо, не доведенной до конца.

Виктор Мануйлов был человеком, склонным к мистике, говорили и о его близости к масонским ложам. Тем паче обращает на себя внимание указание Омри Ронена на стихотворение Аполлона Григорьева «Тихо спи, измученный борьбою...» (перевод песни немецких масонов) как на образец, по которому было создано «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Небезынтересен и еще один факт, о котором упоминает графолог Д. М. Зуев-Инсаров в книге «Почерк и личность», вышедшей первым изданием в 1927 году. «Исследование почерка Есенина сделано мною за несколько дней до его трагического конца по просьбе ответственного редактора издательства „Современная Россия“, поэта Н. Савкина». Значит, за несколько дней до рокового 27 декабря текст этого стихотворения (оригинал!) был уже в руках у Савкина, а затем у графолога. Если Эрлиху был передан еще один текст, написанный рукой Есенина, то куда же делся первый? И когда же оно в конце концов было написано на самом деле?

Вопросов здесь по-прежнему больше, чем ответов.

Есенин с его импульсивной натурой и кипучим темпераментом не мог ждать ни одной минуты после того, как стихотворение окончательно было сложено или возник новый вариант. Он стремился записать его мгновенно, не считаясь ни с чем. Бывали случаи, когда под рукой не оказывалось ни карандаша, ни чернил, он разрезал себе руку и писал собственной кровью.

И первым таким стихотворением было – «Поэтам Грузии».

* * *

Слово «самоубийство» было произнесено фактически в момент обнаружения тела. Дальше началась «бурная деятельность», в процессе которой, дополняя и перебивая друг друга, на эту версию работали все: жильцы «Англетера», милиционеры, проводившие «дознание», журналисты, в самых приукрашенных подробностях расписавшие происшедшее, и, наконец, судмедэксперт А. Гиляревский, принявшийся за исполнение своих обязанностей вечером 29-го числа, когда вывод о «самоубийстве поэта С. Есенина» уже был сделан как милицией, так и органами печати.

«Акт», составленный Гиляревским, уже не единожды приводился как в поврежденном, так и в целостном виде и рассматривался со всех сторон профессионалами судебной медицины и дилетантами в этой области. Нам остается только процитировать несколько строк из заключительной части документа:

«На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении...»

Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным и, как поверхностные, влияния на смерть не имели».

Там же, в «акте», указывалось, что «покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время», но какое именно время – ни слова! А ведь это одна из главных задач судмедэксперта – установление часа наступления смерти.

Впрочем, мы задаем лишь вопросы, которые лежат, что называется, на поверхности.

На самом деле их куда больше. Приведем достаточно красноречивый пример. Обнаруженные копии других актов вскрытия, составленных Гиляревским, весьма существенно отличаются от акта вскрытия тела поэта даже по форме их составления, не говоря уже о содержании. В них гораздо более подробно описаны характерные медицинские признаки (не в пример интересующему нас «акту»), они снабжены необходимой числовой нумерацией (которая в нашем случае также отсутствует). Возникает логичный вопрос: сам ли Гиляревский составлял названный «акт»? И если сам, то почему открываются такие существенные разночтения в документах, составленных им примерно в одно и то же время?

* * *

Теперь обратимся к еще одной немаловажной детали, нашедшей отражение почти во всех печатных материалах о гибели поэта.

В январе 1926 года из-под пера Эрлиха вышел первый вариант его воспоминаний о Есенине – описание четырех дней, проведенных поэтом в Ленинграде. В них он и поведал об этой детали, которую, очевидно, ранее передал в руки журналистов.

Обратим внимание на сообщение в «Известиях»: «Вечером 27 декабря он попросил администрацию гостиницы „Англетер“, где он остановился, не допускать к нему в номер никого, так как он устал и желает отдохнуть». Эта информация могла исходить только от Эрлиха. Ни Г. Устинов, ни Е. Устинова ни о чем подобном не вспоминали. В воспоминаниях же Эрлиха этот эпизод еще более конкретизируется: «На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой: никого в номер не пускать».

Видимо, хотел отдохнуть или, как сочли позднее, – покончить счеты с жизнью. Однако от лица администрации гостиницы показания давал управляющий Вячеслав Михайлович Назаров, вскрывший отмычкой номер Есенина. И вот еще одна странность: в его показаниях нет ни слова *о просьбе Есенина никого к нему не пускать*. В показаниях Назарова выделяется точно очерченный хронологический отрезок – с 10 часов 30 минут утра, когда к нему подошла Устинова, и до момента, когда он сам позвонил во 2-е отделение ЛГМ с сообщением о самоубийстве жильца из пятого номера. То есть речь идет о том, что произошло утром 28 декабря, и ни одним словом Назаров не упоминает о каких-либо событиях предыдущего дня или вечера.

Что же заставило Эрлиха сознательно лгать газетчикам, а потом и в своих воспоминаниях? А может быть, он не лгал? Может быть, Назаров скрыл в своих показаниях этот факт, а потом приватно сообщил о нем Эрлиху? Но как он мог это сделать, если свидетелей допрашивали тут же одного за другим? Или все же каждого по отдельности? Показания Назарова на редкость скупы, в конце он настаивает на том, что «больше ничего показать не может». Так спускался ли к нему Есенин 27 декабря около 10 часов вечера? И если да, то почему управляющий это скрыл? Но, может быть, не Есенин, а кто-то другой спускался вниз и сообщил Назарову, что поэт просил никого к нему не пускать? Кто был этот человек? С какой целью последовало это предупреждение? И если Назаров в разговоре с Эрлихом уже после дачи показаний сообщил ему о своей последней встрече с Есениным, то зачем он это сделал? С чьей подсказки, если она была?

Ну а если все же был некий «портье», с которым у Есенина действительно состоялся вышеуказанный разговор, то почему милиционеры, производившие «дознание», не сняли с него показаний? Впрочем, по зрелом размышлении, этот вопрос может только поразить своей наивностью. Не были допрошены ни Клюев, ни Приблудный, ни художники Павел Мансуров и Ушаков, приходившие в номер к Есенину. Создается впечатление, что показания давали только те, кто должен был их дать по изначальному сценарию. 28 января 1926 года Эрлих пишет письмо Валентину Вольпину, текст которого почти слово в слово повторяет протокол допроса первого. Он специально отмечает в этом же письме: «Мои обязанности кончаются как раз там, где кончаются голые показания и начинается литература». А месяцем

ранее, 29 декабря 1925 года, в утреннем выпуске «Красной газеты» появляется некролог Георгия Устинова – «теоретическое» обоснование неизбежности есенинского самоубийства.

Странное впечатление производят исключительно все воспоминания о четырех есенинских днях в «Англетере». Как будто писавшие их следуют стилю и направлению подписанного ими протокола. В мемуарах людей, не сталкивавшихся с поэтом в эти последние четыре дня, реальность и фантазия неразрывно перемешаны, детали происшедшего тонут в общем наплыве воспоминаний, а беллетристика воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Георгий же Устинов, его жена и Эрлих стремятся дотошно выписать каждую деталь, словно пытаются убедить окружающих в абсолютной достоверности ими изложенного. Достаточно взять в руки книгу Эрлиха «Право на песнь», чтобы убедиться в этом. Начало и середина книги – сплошной полет фантазии. Обрывочные зарисовки, запомнившиеся есенинские реплики, описания мимолетных встреч – все излагается прерывисто, в максимальном темпе, пунктиром – никакой заботы о достоверности изображаемого. В конце книги – картина диаметрально противоположная. Вольф словно переписывает в очередной раз протокол своего допроса, стремясь ничего не упустить и все выдержать в тоне, заданном еще во время беседы с милицией в гостинице. Эта дотошность и извлечение из памяти каждой подробности производят вообще странное впечатление, а особенно когда речь идет о Есенине.

О том, до какой степени запутался Эрлих, можно судить по воспоминаниям знакомой Есенина актрисы Эльги Каминской. «Много лет спустя, – записала она, – Вольф Эрлих проездом в Армению был в Москве. Он зашел ко мне, рассказал о том, как они вдвоем с Есениным договаривались покончить с собой. Он должен был прийти к нему в гостиницу „Англетер“, но не пришел. Когда же я спросила, как это случилось, что он не пришел, ведь если он раздумал, то мог бы повлиять и на него, Эрлих ничего не ответил, но был очень смущен».

Разговор этот состоялся уже после выхода в свет «Права на песнь». Ни в показаниях Эрлиха, ни в его мемуарах, ни в его письме к Вольпину нет ничего подобного. Откуда возникла эта, с позволения сказать, «информация»? Для чего Эрлих ее распространял спустя несколько лет после трагедии? Что означает его фраза в тексте книги о вине перед Есениным, «о которой он знал, а я знаю» (*так у Эрлиха?*). Что прикрывал Эрлих этим странным разговором? И так ли уж случайно то, что состоялся он примерно в то же время, когда покончил с собой еще один главный свидетель «четырех есенинских дней» в гостинице – Георгий Устинов?

* * *

Что же касается самой гостиницы «Англетер», то вокруг нее происходили и не могли не происходить в эти дни разного рода интереснейшие события. Ведомственное учреждение, она была одним из «укрепленных пунктов» во вражеском «тылу», то бишь в зинovieвском Ленинграде, городе, который должен был пасть под натиском «партийного большинства».

Гостиница находилась под пристальной охраной работников ГПУ, живших в ее номерах. Более того, в октябре 1925 года в Ленинградский военный округ поступило донесение из ГПУ о предоставлении в ней номера «на льготных условиях» некоему неизвестному. Подготовка к решающему сражению шла по всем правилам.

Появление в декабрьские дни Есенина в гостинице, где ему тем более нечего делать, естественно вызывает вопросы. В частности, следующий: мог ли поэт не зарегистрироваться, проживая в режимной гостинице? Так вот, в сохранившихся списках жильцов «Англетера» за декабрь 1925 года имени Есенина не значится. Более того, в этом же списке не значится имя Георгия Устинова!

Что все это означает? Одно из двух: либо перед нами чудовищная дезинформация о проживании поэта в «Англетере», созданная коллективными усилиями, либо (что вероятнее всего!) имело место поселение поэта без регистрации по согласованию с администрацией,

состоящей из работников ГПУ. И тогда мы вправе говорить о сознательном заманивании поэта в капкан под названием «Англетер».

Обратимся еще раз к дневнику Иннокентия Оксенова. В нем имеется запись, датированная тем же 29 декабря, гласящая, что 27-го числа около 10 часов вечера к Есенину заходил Берман, который якобы видел поэта пьяным. Замечание чрезвычайно интересное: никаких показаний Бермана в «деле» нет. В номер к Есенину он мог зайти только на правах старого знакомого, а это значит, что речь идет о поэте Лазаре Бермане – бывшем секретаре «Голоса жизни», с которым Сергей был знаком еще по Петрограду 1915 года.

Кто же такой Лазарь Берман и каким образом он мог в те дни очутиться в «Англетере»? После 1917 года он становится секретным сотрудником ВЧК – ОГПУ. В огромной мере на его совести лежит гибель Гумилева – Берман давал показания как «связник» между ним и «организацией» генерала Таганцева. Есть сведения, что в этих же показаниях он назвал имена Есенина и Маяковского как участников заговора. Если же мы вспомним, что «гумилевское» дело вел будущий близкий друг Маяковского Яша Агранов, то картина становится еще интереснее.

Разговоры о «пьяном Есенине» придется отбросить с порога. В те рождественские дни ни в его номере, ни в номере его друзей не было ни одной бутылки вина – все старания что-нибудь раздобыть остались тщетными. Получается, что этот слух, идеально совпадающий с «общеписательским» представлением о Есенине, распространял тот же Берман. В котором часу он появился в есенинском номере? Сколько времени он там пробыл? Почему дверь оказалась заперта – Есенин не мог в эти дни перебороть состояние тревоги и не оставался у себя в комнате один, а тем более не запирался... Почему так странно повел себя управляющий Назаров на следующее утро – открыл дверь *отмычкой* и тут же ушел, как бы заранее зная о происшедшем? Подобные вопросы сейчас можно задавать до бесконечности.

Если Есенин сам накинул петлю на шею, то, похоже, он мог это сделать только после ухода Бермана? Или в его присутствии? Что должен был сообщить поэту этот человек, если после его посещения не оставалось другого выхода? Или все же он навестил Есенина не один и именно после этого визита на полу появились сгустки крови, на переносице поэта – шрам, под левым глазом – синяк, на правом предплечье – порезы, а вещи были выброшены из чемоданов на пол?

Что же касается запертой двери со вставленным изнутри в замочную скважину ключом, то среди гостиничных воров в те годы был известен инструмент типа сточенных на конце пассатижей, так называемый «экстрактор», с помощью которого захватывалась головка торчащего в скважине ключа и дверь элементарно отпиралась и затем опять же запиралась на ключ после проделанной операции.

А по рассказу бывшего чекиста Иосифа Ханеса, 28 декабря группа сотрудников ГПУ выехала утром в «Англетер». Что они там делали – осталось загадкой. По крайней мере, никакие бумаги на этот счет до сих пор не найдены.

Показательна в этом отношении история с самим «Англетером». В марте 1987 года он был взорван среди бела дня на глазах у тысяч потрясенных ленинградцев, многие из которых делали все возможное, чтобы отстоять гостиницу. Взрыв этот стал своего рода символом «перестройки» – символом отношения новых властей к русской культуре вообще и к Сергею Есенину в частности. Впрочем, война, объявленная русскому поэту много десятилетий тому назад, не прекращалась, по сути, ни на один день. Нельзя не вспомнить, как горели московские квартиры, в которых жил поэт, едва только заходила речь о возможности создания в столице его музея.

Может быть, и настанет день, когда будут даны исчерпывающие и точные ответы на поставленные вопросы.

Ведь речь идет о *Сергее Есенине*, человеку и поэте – жизнь, поэзия и смерть которого до сих пор хранят в себе некую тайну русского бытия, перед каковой в недоумении останавливались друзья, писавшие мемуары, литературоведы, разбиравшие его поэзию по строчкам, следователи и эксперты, восстанавливавшие детали его гибели.

И если даже и будут названы по именам те, кто присутствовал при последних минутах земной жизни Есенина, едва ли это знание целиком и полностью объяснит нам причину происшедшего. Победители устраняли негодную личность? Или побежденные замечали следы? Или?.. И так до бесконечности.

Обстоятельства пушкинской дуэли известны нам, казалось бы, во всех подробностях. Посчитайте количество научных и литературных трудов, созданных на эту тему. И все же до сих пор продолжают возникать новые версии случившегося, личность поэта в последние дни его земного бытия и сегодня представляет неразгаданную тайну. Ибо речь идет о *Пушкине*.

А в нашу эпоху всеобщего копания в кровавых сгустках прошлых десятилетий абсолютное доверие многих к официальной версии гибели Есенина просто смехотворно. Косвенных данных, свидетельствующих о том, что поэт не по своей воле ушел из жизни, куда больше, чем тех же данных, говорящих об убийстве Соломона Михоэлса. И, однако, Михоэлс считается убитым злодейской волей Сталина без единого документального тому подтверждения.

* * *

А что касается непосредственных свидетелей последних четырех есенинских дней, а также людей, в большей или меньшей степени близких к Есенину в его последние месяцы, то об этом стоит сказать хотя бы несколько слов.

Георгий Устинов повесился при невыясненных обстоятельствах в 1932 году, оставив записку, написанную кровью, содержание которой неизвестно по сей день. Судьба его жены Елизаветы неизвестна.

Вольф Эрлих был расстрелян в 1937 году. Учнадзиратель Н. Горбов был арестован в начале 1930-х годов и бесследно исчез. Управляющий гостиницей чекист Назаров был арестован в 1929 году и отправлен на Соловки, откуда вернулся через несколько лет морально и физически сломленным, умер в 1942 году. Гиляревский умер в 1931 году в возрасте 76 лет. Жена его была арестована и погибла в одном из лагерей.

Галина Бениславская застрелилась 3 декабря 1926 года на могиле Есенина, оставив предсмертную записку, фактически содержащую обвинение в адрес Льва Сосновского, не успокоившегося и после смерти поэта, продолжавшего публиковать паскудные опусы типа «Развенчайте хулиганство!». Но когда подруга Галины, Яна Козловская, в день самоубийства Бениславской пришла к ней в квартиру, она обнаружила открытый шкаф, вываленные на пол платья и суций разгром в комнате. Все говорило о том, что здесь недавно проводили обыск.

Особо в этой связи стоит сказать о Зинаиде Николаевне Райх, которая не верила никогда в самоубийство первого мужа. Слышали, в частности, от нее и реплики, свидетельствующие о том, что рано или поздно она все же намерена разобраться в происшедшей трагедии.

Двадцать девятого апреля 1937 года Зинаида Райх написала письмо Сталину, содержащее, в частности, следующие пассажи:

«...Простите мою дерзость, – это беру на себя, – Вам дерзости никто никогда не скажет, – меня воспитали „Ближние мельницы“ (у В. Катаева описаны в романе „Белеет парус одинокий“). Я дочь рабочего – сейчас это для меня главное, – я верю в свой „классовый инстинкт“, он вел меня, когда я помогала Мейерхольду в борьбе с РАППом.

Он ведет меня на это письмо к Вам, я обязана перед своей совестью все, что я знаю, сказать. «Что я знаю» – не так уж много, но я Вам все расскажу при свидании. У меня много "прожесктов" в голове, но не все, вероятно, верное. – Вы разберетесь и обдумаете сам.

Сейчас у меня к Вам два дела. 1-е – это всю правду наружу о смерти Есенина и Маяковского. Это требует большого времени (изучения всех материалов), но я Вам все, все расскажу и укажу все дороги. Они, – для меня это стало ясно только на днях, – «троцкистские». О Володе Маяковском – я всегда чувствовала, что «рапповские», это чувствовала и семья его (мать и сестра). Смерть Есенина – тоже дело рук троцкистов, – этого

я не чувствовала, – была слепа (многим были засыпаны глаза и чувства). Теперь и это мне ясно, но это требует такого большого такта и осторожности; у меня этого нет, – я хочу, чтоб «развертели» это Вы, ибо я одна бессильна. Я хочу, чтоб могила Есенина была не «святой могилкой с паломничеством», чтоб на ней не стоял крест, поставленный его матерью, а стоял хороший советский памятник, и чтоб дурацкая ошибка Бухарина со «злыми заметками» была исправлена, а «сожаление» Троцкого о «незащищенном дитяти» было разгримировано, не как «истинная человечность», а как «человечность политическая».

Дорогой Иосиф Виссарионович, у меня очень счастливый «фасад биографии», но это /не/ только фасад, и потому я в себе нахожу всегда много верных слов и чувств, которых лишены многие.

Вас так бесконечно, бесконечно обманывают, скрывают и врут, что Вы правильно обратились к массам сейчас. Для Вас я сейчас тоже голос массы, и Вы должны выслушать от меня и плохое и хорошее. Вы уж сами разберетесь, что верно, а что неверно. В Вашу чуткость я верю...»

Выделенные в письме слова были подчеркнуты лично Сталиным.

Встреча эта так и не состоялась, а летом 1939 года Зинаида Райх была зверски убита в своей квартире. В то, что это чистая уголовщина, не верилось многим современникам. Предполагали (а ныне предположение все более перерастает в уверенность), что она была убита агентами НКВД, хотя доказательств тому до сих пор нет. Но если предположить, что в ее смерти действительно замешаны сотрудники органов внутренних дел, то чего ради было устраивать эту кровавую баню в квартире арестованного В. Э. Мейерхольда? З. Н. Райх проще простого было бы арестовать как жену «врага народа». Видимо, этого не было сделано потому, что Зинаида Райх *вообще не должна была попасть в НКВД*. Она не должна была произнести там *ни единого слова*.

Почему же? Архивы до сих пор хранят молчание. Предположить здесь можно многое, но ни одно предположение пока не подкрепляется документально.

Здесь уместно привести письмо Константина Есенина, адресованное Матвею Ройзману. Вот что он сообщал в нем о гибели своей матери:

«Всеволод Эмильевич был арестован 20 июня 1939 года. Мне было уже 19 лет. Я отлично помню всю эту „эпопею“ в мельчайших подробностях. Что касается смерти Зинаиды Николаевны, то хочу Вас, Матвей Давыдович, уверить, что „молва“ многое нанесла на это довольно просто объясняемое убийство. Не буду Вам об этом писать. Скажу только, что следствие по этому „делу“ велось очень бестолково и бессистемно, сомневаюсь и в том, что оно было добросовестным. Ведь известно, что внутренними делами тогда ведал Берия, этим многое сказано.

Я уехал из Москвы в Константиново под Рязань вечером 13 июля, а в ночь с 14 на 15 и случилась трагическая беда.

Ограбления не было, было одно убийство.

Всякие «мифы» о золотых портсигарах и запонках – действительно мифы.

У Мейерхольда никогда не было золотого портсигара, да если бы и был, он был бы конфискован при обыске, так как при арестах и обысках, как известно, все золотые вещи конфискуются.

Насколько мне известно из весьма солидных источников, по делу матери были осуждены три совершенно между собой не связанные бандитские группы...»

Из письма К. С. Есенина очевидно, что следствие велось явно недобросовестно (как тут не вспомнить «следствие» по делу о самоубийстве С. Есенина!) и что с целью «закрыть» это неудобное «дело» и положить конец слухам (поскольку инсценировано было не самоубийство, а разбойное нападение) арестовали уголовников, не имевших, судя по всему, никакого отношения к этому убийству.

К. С. Есенин пишет, что «ограбления не было». Очевидно, не было, так как в доме отсутствовали ценные вещи, а других не взяли. Но о чем Константин Сергеевич не упомянул

ни в этом письме, ни в своих воспоминаниях об отце и своем домашнем архиве, так это о том, не пропали ли какие-либо бумаги после убийства Зинаиды Райх.

Известно, что она писала воспоминания о Сергее Есенине. В архиве Мейерхольда был обнаружен небольшой листок бумаги, исписанный ее почерком с обеих сторон. Наброски мемуаров с упоминанием имени Есенина в связи с поездкой на Соловки, встречей «четырех» (Есенина, Дункан, Мейерхольда и Райх) перед отлетом Сергея в Америку. Упоминание о последней встрече летом 1925 года.

Все ли это, что успела написать Райх? Или, помимо данного наброска, все же были написаны гораздо более пространные воспоминания, пропавшие после ее гибели? У нас пока нет ответа на этот вопрос.

И еще одно. В 1926 году Иванов-Разумник отправил Зинаиде Райх письмо с указанием, что им написано «листов 5–6» воспоминаний о Есенине, «конечно, не для печати», и с сообщением, что в свой следующий приезд в Москву он привезет эти воспоминания ей. Оказались ли эти воспоминания в руках Зинаиды Райх с тем, чтобы после ее гибели исчезнуть? Или они остались у Иванова-Разумника и погибли с большей частью его архива в Царском Селе? Ответа на этот вопрос мы также не имеем.

* * *

Газеты ни на секунду не прекращали истерику о «самоубийстве» поэта. Дознание, так, по существу, и не начавшись, было прекращено в последних числах декабря. Следователь, бегло ознакомившись с материалами «дела», поставил точку 20 января 1926 года – а за эти 20 дней тощее «дело» не пополнилось ни одной бумажкой.

Даже выражение «нечеловеческой скорби и ужаса», которое увидел на лице мертвого Есенина Павел Медведев, не заставило задуматься ни друзей, ни милицию о том, что же *в действительности произошло* поздно вечером 27 декабря в ленинградской гостинице «Англетер». Впрочем, те немногие, кто заподозрил неладное, боялись об этом говорить.

И только самый близкий человек, родная мать поэта, сердцем чувствовала, что сын ушел из жизни не по своей воле. Анна Берзинь уже в конце 1950-х годов, вспоминая о похоронах Есенина, писала: «Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни, и она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно. Она хотела в Дом печати привести священника с причетом, чтобы тут же совершить обряд отпевания, и пришлось долго ее уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом несовместимы.

Отговорить ее от того, чтобы она отпевала Сергея заочно, я не смогла и не особенно уговаривала. Это было ее дело...»

Самоубийц, как известно, не отпевают...

Что знала Татьяна Федоровна о гибели своего сына, о чем догадывалась и как сумела убедить в верности своей догадки священника, мы никогда уже не узнаем. При жизни она не проронила об этом ни слова.

* * *

Расходы по похоронам Есенина были приняты на государственный счет. Было решено перевезти тело в Москву для захоронения на Ваганьковском кладбище – рядом с могилами Неверова и Ширяевца. На ДOME печати висел транспарант: «Тело великого русского национального поэта Есенина покоится здесь».

От Дома печати траурная процессия прошла к Дому Герцена, где, взобравшись на решетку ограды, произнес поминальную речь тихим срывающимся голосом Владимир Кириллов:

– Товарищи! Сегодня наша литературная семья переживает большое горе. От нас ушел навсегда один из прекраснейших поэтов, один из тех, кто после Кольцова и Пушкина наиболее талантливо, чутко и вдумчиво сумел почувствовать и передать нам настроение деревни, передать поэзию ее полей и лесов. Трагическая смерть поэта должна заставить нас глубоко задуматься над нашей литературной жизнью. Дадимте же, товарищи, над этой свежей могилой обещание сделать все, чтобы изменить некоторые отрицательные стороны этой жизни и общими силами создать ту дружескую, товарищескую атмосферу, которая сделает невозможной такие смерти, как смерть Есенина. Прощай и спи спокойно, дорогой Сергей!

Трудно сказать, что чувствовал Кириллов, произнося все это. Несомненно, он был потрясен и опечален, также несомненно и то, что говорил он вполне искренно. Однако: «некоторые отрицательные стороны...», «общими силами создать дружескую атмосферу...». Не мог же он не знать, какова в действительности эта атмосфера, не мог же не видеть, что невозможно ничего в ней изменить.

Не пройдет и года, как покончит с собой при весьма загадочных обстоятельствах на скамейке Тверского бульвара Андрей Соболев – один из членов президиума комиссии по организации похорон Есенина. Не пройдет и трех лет, как запольхает очередная свара между писательскими организациями, свара, которая завершится в конце концов большой кровью. Сначала выбросят из литературы «крестьянских поэтов» – Клюева, Клычкова, Карпова... Потом «победители» начнут сводить счеты между собой – это «сведение» завершится ликвидацией РАППа, самые живучие представители которого вновь окажутся у рычагов власти свежеепеченного Союза советских писателей. А еще через пять лет в кровавой мясорубке 1937–1938 годов под аплодисменты большинства уцелевших сотоварищей исчезнут многие участники литературных битв с двадцатилетним стажем начиная с 1917 года. Возмездие за «хлестнувшую за предел, нас отравившую свободу» будет страшным, и никто здесь уже не станет определять степень твоей правоты или виновности в чем-либо. Поставят к стенке и Владимира Кириллова, по пьяной лавочке бросившего несколько антисталинских фраз после получения свежих известий о начавшемся судебном процессе 1937 года...

* * *

А есенинские похороны были грандиозными. *Так* еще не хоронили ни одного русского поэта. Чья была идея? Кто распорядился? Победители или еще цеплявшиеся за остатки власти побежденные? Кто именно из них? Может, когда-нибудь мы получим ответ и на этот вопрос.

К Дому печати прибыл военный оркестр, организованный известным оппозиционером, соратником Фрунзе М. Лашевичем. Тело еще не было предано земле, а уже устраивалось театральное представление возле гроба с участием маленькой Танечки, читающей стихи погибшего отца и «Мороз и солнце...» Пушкина (Мейерхольд постарался!). Гроб трижды обнесли вокруг памятника Пушкину.

«Мы знали, что делали – это был достойный преемник пушкинской славы», – горделиво вещал через тридцать лет Юрий Либединский.

Трезво и безжалостно смотрел на все происходящее в те дни Евгений Сокол:

«...Гроб Есенина несли и похоронами руководили „ближайшие друзья“ поэта. Так было написано в газетах... И это звучало дико для тех, кто близко знал Есенина и его друзей».

Как писал Ивану Вольнову Иван Касаткин – «тут скрещиваются некие шпаги». Они скрестились сразу же после извещения о трагедии в «Англетере». Началась самая настоящая война некрологов. Устинов, Лавренев, Финк, Эренбург, Каверин и множество всякой шантрапы – все они даже в самых лучших словах не столько поминали поэта, сколько

отстаивали свое видение происшедшего. Помои на поминальных вечерах и на страницах газет выплескивались не ведрами – корытами.

Настоящие слова в эти предновогодние траурные дни нашел Леонид Леонов.

«У нас любят писать некрологи, пишут их всласть, умело и смачно, с видом нравственного превосходства, не щадя чернильных сил своих. О мертвых можно...
А *Сергей Есенин* мертв: он уже больше не придет и не пошумит, Есенин...

Так живы еще в памяти последние встречи!

Еще нет в сердце примиренья с вестью о гибели твоей, Сережа.

И еще: трудно говорить теперь хорошие слова. Слов хороших, нежных, искренних, любовных слов теперь стыдятся и чураются.

Для смягчения прекрасной их человечности – их произносят лишь с усмешкой извинения.

Их подменяют вывертами хитрого и недоброго ума. Их изгоняют из обихода, в них не верят...

Крупнейший из поэтов современья...

Его песни поют везде – от благонадежных наших гостиных до воровской тюрьмы. Потому что имел он в себе песенное дарование, великую песенную силу в себе носил...»

Поэта провожали толпы людей. Под плач и крики «Прощай, Сережа» гроб опустили в могилу. На насыпном холме воздвигли простой деревянный крест.

Жизнь была кончена. Впереди ждало бессмертие.

Так говорят о классиках. Только Есенин и здесь выбился из «классической обоймы»...

Впереди была жестокая схватка за его имя между сдававшим свои позиции Воронским и обнаглевшими молодыми рапповцами. Впереди были выпущенное и пошедшее гулять по стране мерзкое словечко «есенинщина» и борьба с молодежью, зачитывающей его стихами.

Впереди была полемика по поводу волны самоубийств среди молодых людей. Нужно было найти козла отпущения, на которого можно было бы все свалить – молодежь не может разочароваться в новой жизни. Нашли.

Впереди была нежная по тону и совершенно крокодильская по сути поминальная статья Троцкого, который объявил Есенина не соответствующим «эпичной, катастрофичной эпохе» как бы со слезой в голосе. И бухаринский ответ – гнусные «Злые заметки», после чего сочувственные голоса стали глушиться, а поток брани увеличился.

Впереди были такие труды, как «Есенин – есенинщина – религия» Г. Медынского и киносценарий «Против есенинщины» Н. Эка, И. Штока и Р. Янушкевич. Впереди были сборнички Есенина, после посмертного собрания выходявшие небольшими тиражами с соответствующими предисловиями... И – колоссальное количество переписанных от руки стихов, разошедшихся по всей стране. И – сборники, изданные на оккупированной территории в период Великой Отечественной, а также в лагерях «Ди-Пи».

Впереди были ребята, исключенные из комсомола за чтение его стихов и посаженные за попытки в полулегальной обстановке устроить откровенное обсуждение есенинской поэзии. Впереди были полуофициальные есенинские юбилейные вечера в узком кругу и первый официальный юбилей, отмеченный 60 лет спустя после рождения и через 30 лет после смерти.

Впереди было причисление Есенина к поэтам «социалистического реализма» – только так и можно было ввести его в пантеон классиков советской поэзии, предварительно сгладив все острые углы и причесав его непокорную кудрявую шевелюру. И впереди был новый поток «постперестроечной» грязи, когда заядлые русофобы новой формации стали собирать по крупицам все прежние сплетни и наветы для дискредитации Есенина как человека.

«Он уже больше не придет и не пошумит, Есенин...»

Вокруг его имени и его стихов вот уже восемь десятилетий не смолкает шум. И кажется, что это продолжает шуметь он сам – вечный бунтовщик и крамольник, чудо природы, уникальная фигура в истории XX столетия.

Будет шуметь, пока будет жива Россия.

Основные даты жизни и творчества С. А. Есенина

1895, 21 сентября (3 октября по новому стилю) — В селе Константинове Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии родился Сергей Александрович Есенин.

1904, сентябрь — Поступил в Константиновское земское четырехгодичное училище. Написал первые стихотворения.

1905, 22 ноября — Родилась сестра Екатерина.

1909, май — С похвальным листом окончил Константиновское земское училище.

Сентябрь — Поступил во второклассную церковно-учительскую Спас-Клепиковскую школу.

1911, 16 марта — Родилась сестра Александра.

1912, март-апрель — Написал поэму «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о черном идолище и Спасе нашем Иисусе Христе».

Май — Окончил второклассную Спас-Клепиковскую школу. Получил свидетельство о присвоении звания учителя школы грамоты. Подготовил книгу стихов «Больные думы».

Июль — Выехал из села Константинова в Москву.

Осень — Вступил в члены-соревнователи Суриковского литературно-музыкального кружка.

1913, март — Поступил на работу в типографию товарищества И. Д. Сытина (в экспедицию, затем в корректорскую).

Работал над созданием поэмы «Тоска» и драматической поэмы «Пророк» (тексты неизвестны).

Сентябрь — Начал заниматься на историко-философском отделении Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского.

Осень — Вступил в гражданский брак с А. Р. Изрядновой.

1914, январь — В журнале «Мирок» опубликовано стихотворение «Береза» (под псевдонимом «Аристон») – первая ныне известная публикация стихов Есенина.

Сентябрь — Создана поэма «Марфа Посадница». Написал поэму «Галки» (текст неизвестен).

21 декабря — Родился сын Юрий.

1915, 21 января — Начало переписки с Александром Ширяевцем.

8 марта — Выехал из Москвы в Петроград.

9 марта — Встретился с Александром Блоком на его квартире, читал ему стихи.

11 марта — Встреча с Сергеем Городецким.

28 марта — На вечере поэтов в Зале армии и флота познакомился с Рюриком Ивневым, Владимиром Чернявским, Константином Ляндау, Михаилом Струве.

24 апреля — Начало переписки с Николаем Клюевым.

Март-апрель — Создание литературной группы «Краса». Знакомство с Леонидом

Каннегисером.

Август — В журнале «Северные записки» (№ 7–8) опубликована поэма «Русь».

Октябрь — Знакомство с Клюевым.

17 октября — Присутствовал на учредительном собрании общества «Страда».

25 октября — Участвовал в вечере «Краса».

Осень — Знакомство с Максимом Горьким, Владимиром Маяковским, Иеронимом Ясинским, Ивановым-Разумником.

Декабрь — Знакомство с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой.

1916, *21 января* — Читал стихи в Обществе свободной эстетики.

Январь — Вышла в свет книга стихов «Радуница».

Февраль — Работа над пьесой «Крестьянский пир» (текст неизвестен).

Февраль – май — В журнале «Северные записки» опубликована повесть «Яр».

25 марта — Призван на военную службу.

16 апреля — Откомандирован в Царскосельский полевой военно-санитарный поезд № 143.

Апрель-май — Два выезда к линии фронта санитаром поезда.

22 июля — Читал стихи на встрече с императрицей и членами царской фамилии, организованной полковником Д. Н. Ломаном.

Лето — Знакомство с Алексеем Ганиным.

Октябрь — Отказался от предложения штаб-офицера для особых поручений при дворцовом коменданте полковника Д. Н. Ломана написать (совместно с Клюевым) книгу стихов – «запечатлеть» в ней «Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой». Отсидел 20 дней под арестом.

1917, *февраль* — Знакомство с Андреем Белым на квартире Иванова-Разумника в Царском Селе.

27 февраля — Отречение императора Николая II от престола.

Март — Получив направление в школу прапорщиков, дезертировал из армии Керенского.

Знакомство с Алексеем Толстым.

19–20 июня — Написал поэму «Отчарь».

30 июля — Венчание с З. Н. Райх в церкви Кирика и Улиты Вологодского уезда.

25 октября — Свержение Временного правительства встретил в Петрограде.

Октябрь — Написана поэма «Пришествие».

Ноябрь — Создана поэма «Преображение».

1918, *январь-февраль* — Участвует в заседаниях редакции журнала «Наш путь».

Январь — Написал поэму «Инония».

23 февраля — В ответ на призыв Совнаркома «Социалистическое Отечество в опасности!» записался в эсеровскую боевую дружину.

29 мая — Родилась дочь Татьяна.

Май — Вышла книга стихов «Голубень».

Осень — Знакомство с Анатолием Мариенгофом.

Сентябрь — При непосредственном участии Есенина организовано издательство «Московская трудовая артель художников слова».

Сентябрь-октябрь — Написана книга «Ключи Марии».

Октябрь-ноябрь — Издан сборник «Преображение».

7 ноября — Открытие на Красной площади мемориальной доски «Павшим за мир и братство народов». При открытии исполнялась «Кантата» Шведова на слова Есенина, Клычкова и Герасимова.

Декабрь — Вышла в свет книга «Сельский часослов».

17 декабря — Принят в члены Профессионального союза московских писателей.

1919, февраль — Совместно с Мариенгофом и Шершеневичем создал кооперативное издательство «Имажинисты».

28 августа — Избран членом президиума Всероссийского Союза поэтов.

Сентябрь — Написал поэму «Кобыльи корабли».

Октябрь-ноябрь — Открытие книжного магазина Московской трудовой артели художников слова.

Декабрь — Издана книга «Ключи Марии».

1920, 3 февраля — Родился сын Константин.

Май-июнь — Вышел сборник «Трерядница».

Июль-август — Поездка с чтением стихов по маршруту Ростов-на-Дону – Кисловодск – Пятигорск – Баку – Тифлис.

14 октября — Арестован агентами ВЧК вместе с Александром и Рубеном Кусиковыми по анонимному доносу.

25 октября — Был выпущен из заключения по ходатайству Я. Г. Блюмкина.

4 ноября — Выступал на литературном вечере «Суд над имажинистами». Знакомство с Галиной Бениславской.

6 декабря — Читал стихи в Большом зале консерватории на вечере «Россия в грозе и буре». В течение года Госиздатом были отклонены сборники Есенина «Звездное стойло», «Телец», «О земле русской, о чудесном госте».

Декабрь — В берлинском издательстве «Скифы» вышла книга «Триптих».

1921, январь — Вышел в свет сборник «Исповедь хулигана».

Май — Встреча в Ташкенте с Александром Ширяевцем.

Осень — Знакомство с Айседорой Дункан.

5 октября — Народный суд города Орла вынес решение о расторжении брака Есенина с Райх.

Декабрь — Вышла в свет отдельным изданием драматическая поэма «Пугачев».

1922, 11 января — Запись чтения стихов на фонограф.

2 мая — Заключение брака с Айседорой Дункан.

10 мая — Вылетел вместе с Дункан на самолете в Германию.

12 мая — Чтение стихов и скандал в берлинском Доме искусств.

Июнь — Вторичная регистрация брака с Дункан.

20 июля — Прибытие в Париж.

Август — Путешествие по Италии.

Сентябрь — В Париже вышла в свет на французском языке книга «Исповедь хулигана».

Октябрь — В Москве вышло в свет «Избранное».

Октябрь-декабрь — Поездка по городам Америки. Работа над поэмами «Страна негодяев» и «Черный человек».

Ноябрь — В Берлине в издательстве З. Н. Гржебина выпущен первый том «Собрания стихов и поэм».

1923, январь — Чтение стихов и скандал на литературном вечере у Мани-Лейба (М. Л. Брагинского).

Февраль — Отплытие во Францию.

13 февраля — Вечер поэзии Есенина в Париже в театре Раймонда Дункана.

Июнь — В Берлине вышла в свет книга «Стихи скандалиста».

3 августа — Возвращение в Москву.

Август — Встреча в Кремле с Л. Д. Троцким. Переговоры об издании альманаха крестьянских писателей.

Август-сентябрь — Публикация в «Известиях» статьи «Железный Миргород».

Осень — Знакомство с А. К. Воронским, Иваном Приблудным.

20 ноября — Арест Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина с предъявлением им обвинения в «антисемитизме».

10 декабря — Товарищеский суд вынес постановление, что поэты имеют право продолжать литературную работу.

17 декабря — Есенин помещен в профилакторий для нервных больных (Б. Полянка, 52).

1924, январь – апрель — В течение четырех месяцев на поэта было заведено четыре уголовных дела по статьям 88, 176, 219, 157 Уголовного кодекса.

13 февраля — Помещен в Шереметевскую больницу.

Март — Переведен в Кремлевскую больницу.

14 апреля — Авторский вечер Есенина в зале Лассаля (б. городской думы) в Ленинграде.

9 мая — Заседание в Отделе печати ЦК РКП(б), на котором было оглашено коллективное письмо, подписанное группой писателей, в том числе и Есениным.

12 мая — Рождение внебрачного сына Александра Вольпина.

15 мая — Смерть Александра Ширяевца.

Июнь — Последние встречи в Ленинграде с Ивановым-Разумником и Анной Ахматовой.

1 июля — Вышла в свет книга «Москва кабацкая».

4 августа — Избран членом правления общества литераторов и художников «Современная Россия».

Август — Написал «Поэму о 36».

31 августа — Заявление в «Правде» Есенина и Грузинова о роспуске группы имажинистов.

3 сентября — Выехал на Кавказ.

20 сентября — Приехал в Баку. Встреча с П. И. Чагиным.

1925, январь — Написал поэму «Анна Снегина».

1 марта — Возвращение в Москву.

5 марта — Знакомство с С. А. Толстой.

30 марта — Во внутренней тюрьме ВЧК расстрелян Алексей Танин. Приезд Есенина в Баку.

Апрель — Вышла в свет отдельным изданием поэма «Песнь о великом походе».

20 мая — Встреча с В. И. Качаловым и знакомство с К. С. Станиславским.

Май — Издан сборник «О России и революции».

Июнь — Вышла в свет книга «Березовый ситец».

30 июня — Подписал договор с Госиздатом об издании собрания стихотворений в трех томах.

Июнь — Изданы сборники «Персидские мотивы» и «Избранные стихи».

18 сентября — Зарегистрировал брак с С. А. Толстой.

Осень — Составил проект первого номера журнала «Поляне» и наметил состав его авторов.

12–13 ноября — Закончил поэму «Черный человек». В течение года работал над поэмой «Пармен Крямин» и повестью «Когда я был мальчишкой...» (тексты неизвестны).

26 ноября — Лег в клинику 1-го Московского государственного университета.

23 декабря — Последнее посещение Госиздата. Выехал из Москвы в Ленинград.

24 декабря — В Ленинграде остановился в гостинице «Интернационал» («Англетер»).

25, 26, 27 декабря — Встречи с Клюевым, Устиновым, Приблудным, Эрлихом.

27–28 декабря — Гибель Есенина в № 5 гостиницы. Точная дата и точное время смерти не установлены.

31 декабря — Похороны поэта на Ваганьковском кладбище в Москве.

Краткая библиография

- Есенин С. А.* Собрание стихотворений: В 4 т. М.; Л.: ГИЗ, 1926–1927.
Есенин С. А. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Гослитиздат, 1961–1962.
Есенин С. А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Художественная литература, 1977–1980.
Сергей Есенин в стихах и жизни: В 4 т.: Стихотворения 1910–1925. Поэмы 1912–1925. Проза 1915–1925. Письма. Документы. Воспоминания современников. М.: Республика, 1995.
Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М.: Наука – Голос, 1995–2002.
Львов-Рогачевский В. Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин. М.: Товарищество «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919.
Авраамов А. Воплощение: Есенин – Мариенгоф. М.: Имажинисты, 1921.
Григорьев С. Пророки и предтечи последнего завета. Имажинисты Есенин, Кусиков, Мариенгоф. М.: САВВ, 1921.
Троцкий Л. Литература и революция // Красная новь. 1923.
Устинов Г. Литература наших дней // Девятое января. 1923.
Памятка о Сергее Есенине // Сегодня. 1926.
Сергей Александрович Есенин. М.; Л.: ГИЗ, 1926.
Есенин. Жизнь, личность, творчество // Работник просвещения. 1926.
Памяти Есенина. М.: ВСП, 1926.
Литературный Ростов – памяти Сергея Есенина // Трудовой Дон. 1926.
Против упадничества – против есенинщины // Правда и Беднота. 1926.
Розанов И. Есенин о себе и других // Никитинские субботники. 1926.
Виноградская С. Как жил Есенин // Огонек. 1926.
Кирион В. Сергей Есенин // Прибой. 1926.
Лелеет Г. Сергей Есенин. Его творческий путь // Гомельский рабочий. 1926.
Ревакин А. Чей поэт Сергей Есенин? М.: Издание автора, 1926.
Беляев И. Подлинный Есенин. Воронеж: Изд. группы писателей «Чернозем», 1927.
Друзин В. Сергей Есенин // Прибой. 1927.
Клюев Н., Медведев П. Сергей Есенин // Прибой. 1927.
Грузинов И. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М.: ВСП, 1927.
Наседкин В. Последний год Есенина (Из воспоминаний) // Никитинские субботники. 1927.
Мариенгоф А. Роман без вранья // Прибой. 1927.
О писательской этике, литературном хулиганстве и богеме // Прибой. 1927.
Упадочные настроения среди молодежи. Есенинщина. М.: Издательство Коммунистической академии, 1927.
Покровский Г. Есенин – есенинщина – религия // Атеист. 1929.
Вержбицкий Н. Встречи с Есениным // Заря Востока. Тбилиси, 1961.
Воспоминания о Сергее Есенине. М.: Московский рабочий, 1965.
Юшин П. Поэзия Сергея Есенина 1910–1923 годов. М.: МГУ, 1966.
Есенин и русская поэзия. М.: Наука, 1967.
Сергей Есенин. Исследования, мемуары, выступления. М.: Просвещение, 1967.
Наумов Е. Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. Л.: Лениздат, 1969.
Аксенова Е. Талант и время. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1969.
Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. В 2 ч. М.: Советская Россия, 1969–1970.
Марченко А. Поэтический мир Есенина. М.: Советский писатель, 1972.
Ройзман М. Все, что помню о Есенине. М.: Советская Россия, 1973.

- Шнейдер И.* Встречи с Есениным. М.: Советская Россия, 1974.
- Кошечкин С.* Сергей Есенин. Раздумья о поэте. М.: Советская Россия, 1974.
- Есенин и современность. М.: Современник, 1975.
- Волков А.* Художественные искания Есенина. М.: Советский писатель, 1976.
- Прокушев Ю.* Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. М.: Советская Россия, 1978.
- Mc Vay Gordon.* Isadora and Esenin. Ardis, 1980.
- Тартаковский П.* Свет вечерний шафранного края... Ташкент: Изд. литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1981.
- Базанов В. Г.* Сергей Есенин и крестьянская Россия. Л.: Советский писатель, 1982.
- Шешуков С.* Неистовые ревнители. М.: Художественная литература, 1984.
- С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература, 1986.
- Товарищи по чувствам, по перу... Сергей Есенин в Грузии. Тбилиси: Мерани, 1986.
- В мире Есенина. М.: Советский писатель, 1986.
- Жизнь Есенина // Правда. 1988.
- Мой век, мои друзья и подруги. М.: Московский рабочий, 1990.
- О Есенине // Правда. 1990.
- Михайлов А. И.* Пути развития новокрестьянской поэзии. Л.: Наука, 1990.
- Дитц В.* Есенин в Петрограде – Ленинграде. Л.: Лениздат, 1990.
- Савченко Т.* Сергей Есенин и его окружение. М.: Прометей, 1990.
- Панфилов А.* Константиновский меридиан. В 2 ч. М.: Энциклопедия российских деревень. Народная книга, 1992.
- Дункан А.* Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин. М.: Издательство политической литературы, 1992.
- Солнцева Н.* Китежский павлин. М.: Скифы, 1992.
- Как жил Есенин. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1992.
- С. А. Есенин. Материалы к биографии. М.: Историческое наследие, 1993.
- Русское зарубежье о Есенине. В 2 т. М.: Инкон, 1993.
- Бишарев О.* Тайна Сергея Есенина. М.: Инкон, 1993.
- Хлысталов Э.* 13 уголовных дел Сергея Есенина. М.: Русланд, 1994.
- Тайна смерти Есенина. М.: Зеркало, 1994.
- Куняев Ст., Куняев С.* Растерзанные тени. М.: Голос, 1995.
- Смерть Сергея Есенина. Документы, факты, версии. М.: Наследие, 1996.
- Гусяров Е., Карпухин О.* Есенин в жизни. В 2 т. Калининград: Янтарный сказ, 2000.
- Шубникова-Гусева Н.* Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». М.: Наследие, 2001.
- Есенина Н.* В семье родной. М.: Советский писатель, 2001.
- Кузнецов В.* Сергей Есенин: тайна смерти (казнь после убийства). СПб.: Издательский дом «Нева», 2004.
- Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. В 5 т. Т. 1. (1895–1916). М.: ИМЛИ РАН, 2003.

В книге использованы также материалы есенинских фондов из архивов РГАЛИ, РНБ, ИМЛИ, ИРЛИ и ГЛМ.

Особую благодарность за помощь, оказанную в работе над книгой, и за предоставленные материалы авторы приносят В. В. Кожинину, Ю. А. Паркаеву, С. И. Субботину, Н. Г. Юсову, а также всем работникам государственных архивохранилищ, предоставившим возможность ознакомиться с материалами о жизни и творчестве Сергея Есенина.